



Вслед подвигам
Петровым...



Генералъ

Мочва







ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
В РОМАНАХ,
ПОВЕСТЯХ,
ДОКУМЕНТАХ

ВЕК
XVIII

Вслед подвигам Петровым...

Станислав Десятков

ВЕРХОВНИКИ

Роман



Юрий Нагибин

КВАСНИК
И БУЖЕНИНОВА

Повесть



ОТЕЧЕСТВО ВО ВСЕХ
ЕГО ПРЕДЕЛАХ

Свидетельства эпохи

Москва

•МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ•

1988

ББК 84Р7
В 85

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ БИБЛИОТЕКИ
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В РОМАНАХ,
ПОВЕСТЯХ, ДОКУМЕНТАХ»:

*Алимжанов А. Т., Бондарев Ю. В., Деревянко А. П.,
Десятерик В. И., Кузнецов Ф. Ф., Кузьмин А. Г., Лихачев Д. С.,
Машовец Н. П., Новиченко Л. Н., Осетров Е. И.,
Рыбаков Б. А., Сахаров А. Н., Севастьянов В. И.,
Хромов С. С., Юркин В. Ф.*

Составление, комментарии, сопроводительный текст
Г. И. ГЕРАСИМОВОЙ

Предисловие кандидата исторических наук
Л. Г. КИСЛЯГИНОЙ

Рецензент
доктор исторических наук, профессор
В. И. БУГАНОВ

Оформление Библиотеки
Ю. ВОЯРСКОГО

Иллюстрации
Е. ФЛЕРОВОЙ

В 4702010000—213
078(02)—88 137—88

ISBN 5-235-00012-9

© Издательство
«Молодая
гвардия»,
1988 г.



За кем же я пойду
Вслед подвигам Петровым...

М. В. Ломоносов

ПРЕДИСЛОВИЕ

1

В первую четверть XVIII века «при стуке топора и при громе пушек» (А. С. Пушкин) Россия вошла в число великих держав, которые теперь уже не могли не считаться с огромной империей, раскинувшейся на востоке Европы. Преобразования Петра I ускорили темпы социально-экономического и политического развития страны. Многие изменилось за первую четверть XVIII века. Россия превратилась в абсолютную монархию, были созданы новая армия и флот, которого прежде Россия вообще не имела; преобразована система управления страной; сделала огромный скачок в своем развитии русская культура. Особенно поразительны были достижения в промышленном производстве: развилась мощная для того времени цветная металлургия, появились кораблестроение, новые виды мануфактур, например парусная и другие.

Но огромные достижения обеспечивались жесткой эксплуатацией крестьянского и прочего «подлого люда», так тогда называли лиц, принадлежащих к податным сословиям. Положение крестьян и посадских людей в первую четверть XVIII века значительно ухудшилось. Длительная Северная война, неурожай, подушная подать, рекрутская и другие повинности тяжелым бременем легли на плечи народа, подорвали экономику крестьянского хозяйства. Это была оборотная сторона пышного фасада Российской империи, созданной Петром I.

«Эпохой дворцовых переворотов» метко назвал Василий Осипович Ключевский последовавший за смертью Петра I 37-летний период (1725—1762 гг.), которому и посвящен предлагаемый читателю сборник.

Семь правителей, пять дворцовых переворотов приходится на это время, когда русский престол занимали неспособные нести бремя управления огромной империей невежественные женщины, недоучившиеся юнцы и даже один младенец. Поэтому определяли политику Русского государства отдельные группировки двор-

цовой знати, боровшиеся между собой за власть и осуществлявшие дворцовые перевороты, которые были «до смешного легки, пока речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой»*. Дворцовые перевороты были легки, потому что задавленный государственными повинностями, барщиной и оброками народ не проявлял никакого интереса к борьбе за власть, узнавая о смене правителей из манифестов.

На протяжении всей второй четверти XVIII века придворная верхушка активно вмешивалась в решение вопроса о наследнике престола. Поводом для такого вмешательства послужил указ Петра I о новом порядке наследования — «Устав о наследии престола» 1721 года, по которому решение вопроса о преемнике отдавалось на волю «правительствующего государя». Сам Петр I этим не воспользовался, умер, не назначив наследника. Поэтому сразу же после его смерти между придворными группировками началась ожесточенная борьба за власть, за близость к царствующей особе, за возможность оказывать влияние на политику государства, за доступ к государственной казне и различным привилегиям. В конечном итоге она была проявлением внутриклассовых противоречий.

Русское дворянство, в первую четверть XVIII века формировавшееся в единый класс-сословие — дворянство или шляхетство, — не было однородным и включало в себя дворянскую аристократию, среднее и мелкое дворянство. Всех их связывало право владения землей и крестьянами. В отстаивании этих прав весь класс феодалов выступал единым фронтом. Но внутри класса существовали противоречия между верхушкой дворянства, владевшей тысячами душ крестьян, и основной массой среднего и мелкого дворянства. Внутри дворянской верхушки шла борьба за власть между представителями старых боярских фамилий (старой знатью) и «новой знатью», сподвижниками Петра I, людьми незнатного происхождения («худородными»), дослужившимися до высоких чинов в результате введенного Петром I принципа выслуги по Табели о рангах.

Интересы основной массы дворянства представляла гвардия, почти сплошь состоявшая из дворян. Гвардия (это знаменитые петровские Семеновский и Преображенский полки, в 30-е годы к ним прибавился Измайловский полк) включилась в борьбу за власть сразу после смерти Петра I. Ее участие решало исход дела: на чьей стороне была гвардия, та группировка и одерживала победу.

«Дворцовые перевороты» свидетельствовали о слабости абсолютной власти при преемниках Петра I, которые могли управлять государством, только опираясь на своих приближенных. Пыш-

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 443.

ным цветом в этот период расцвел фаворитизм, неизбежный спутник абсолютистских монархий. Фавориты-временщики и их окружение, играя на слабостях царствующих особ, потворствуя их прихотям, получали неограниченное влияние на политику государства. Большинство из них интересы государства подменяли заботой о собственном обогащении.

Единственным прямым наследником Петра I по мужской линии был сын казенного царевича Алексея, Петр. Но на престол претендовала жена Петра I Екатерина. Наследницами являлись и две его дочери Анна и Елизавета, но их не принимали во внимание как незаконнорожденных. «Новая знать» во главе с Меншиковым поддерживала кандидатуру Екатерины, такой же «худородной», как и они. Представители старой родовой знати — Голицыны, Долгорукие и др., — стремились возвести на престол царевича Петра в надежде, что он будет опираться на старую знать. Вопрос о преемнике Петра I был решен энергичными действиями Меншикова, который, опираясь на гвардию, совершил в ночь на 28 января 1725 года первый дворцовый переворот в пользу Екатерины и стал при ней всесильным временщиком.

Сама Екатерина не в состоянии была решать вопросы государственного управления, поэтому в помощь ей создали новый орган — Верховный тайный совет, состав его определяла начавшаяся после смерти Петра борьба за власть. Шесть членов совета из семи были сторонниками Екатерины, родовитую знать представлял князь Дмитрий Михайлович Голицын. Главенствовал в Верховном тайном совете Меншиков. В 1727 году Екатерина умерла. Согласно ее завещанию наследником престола стал одиннадцатилетний Петр II. Меншиков и при нем сначала оставался в силе и даже готовился стать тестем будущего императора, добившись его согласия на брак с одной из своих дочерей. Но затем верх одержали Долгорукие и Голицыны, Меншикова с семьей отправили в ссылку в далекий западносибирский город Березов. Власть сосредоточилась в руках старой знати.

Фаворитом Петра II стал Иван Алексеевич Долгорукий, оказывавший на юного императора огромное влияние. Теперь уже Долгорукие, чтобы упрочить свое положение, строили планы женитьбы Петра на сестре фаворита, Екатерине.

В январе 1730 года Петр II умирает от оспы, и снова перед правящими кругами России встает вопрос о кандидате на престол. Свой выбор члены Верховного тайного совета («верховники») остановили на вдовствующей курляндской герцогине Анне, дочери старшего брата Петра I, Ивана. Кандидатуру Анны предложил Дмитрий Михайлович Голицын. Он принадлежал к младшей ветви знатного рода Голицыных. Один из самых образованных людей своего времени, он, без сомнения, являл собой лич-

ципиально иная, чем при Петре I, обстановка. Судьба России и ее будущее не интересовали ни императрицу, ни ее окружение. Сиюминутные успехи подменяли патриотическую заботу о благе России, которыми руководствовались Петр и его сподвижники. Ключевский считал, что царствование Анны Ивановны — «одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно в ней — сама императрица». «С природы нрава грубого», по свидетельству современника, Анна Ивановна, невежественная, суеверная, жестокая, была окружена толпой шутов, карликов, ворожей. Жизнь при дворе в это время представляла собой резкий контраст с порядками императорского двора при Петре II. Балы, маскарады, фейерверки, небывалая прежде роскошь в одежде и в убранстве дворцов — все это требовало больших средств. Дворцовые расходы выросли по сравнению с первой четвертью XVIII века в три раза. 100 тысяч рублей золотом тратили только на содержание царских конюшен, в то время как на Академию наук и Морскую академию отпускалось всего 47 тысяч. Испанский посланник при русском дворе де Лириа доносил своему правительству, что двор императрицы «своею роскошью и великолепием превосходит даже самые богатейшие дворы, не исключая и французского».

Безмерная роскошь сочеталась с необычайной грубостью нравов. «Время грубости России» — так охарактеризовал это десятилетие историк XIX века М. И. Семевский. Состояние нравов в обществе красноречиво характеризует свадьба шутов в Ледяном доме. На эту грубую затею был затрачен труд массы людей. В предлагаемом читателю сборнике помещен отрывок из сочинения немецкого инженера Крафта, подробно описавшего это сооружение. Особенно интересны его свидетельства о высоком мастерстве создателей ледяного дворца.

Отдельные события жизни двора и царившие при дворе нравы нашли отражение в повести Ю. Нагибина «Квасник и Буженинова».

Многие часы императрица с Бироном, страстным любителем лошадей, проводили в манеже и на конюшне, предоставив занятия государственными делами своему иноземному окружению. Иностранцы, занявшие высшие посты в государстве, в своей массе не отличались ни умом, ни особыми знаниями. И прежде русские самодержцы приглашали на службу иностранцев, которых в народе вне зависимости от их национальной принадлежности называли «немцами». Но всегда действовало правило: «природные» русские занимали первые места в государственном аппарате, в армии, при дворе. Много иностранцев-специалистов служило в России при Петре I. Для некоторых из них Россия стала второй родиной. Иная обстановка сложилась в 30-е годы. В страну нах-

лынули искатели легкой паживы. Русские дворяне, оттесненные от активной государственной и военной службы, вынуждены были, чтобы пробиться к власти, угождать временщику и другим «сильным» иностранцам. Особенно униженными оказались представители старых родовитых фамилий, некоторые из них исполняли роль шутов при дворе Анны Ивановны. Неудобных отправляли на службу в дальние города, недовольных ждала ссылка, а то и плаха.

В марте 1731 года была учреждена Тайная канцелярия — центр политического сыска абсолютистского государства. Как никогда распространились доносы. От кнута, застенка и эшафота не спасали ни знатность, ни богатство. Такая обстановка не могла не вызвать недовольства дворян и гвардии. Но система политического террора, установившаяся в стране, затрудняла борьбу с иностранным засильем. Поэтому первое проявление недовольства русского дворянства положением в стране падает на последние годы правления Анны Ивановны и связано с «делом» Волынского.

Артемий Петрович Волынский происходил из знатного боярского рода, связанного узами родства с царской фамилией и с императрицей Анной Ивановной. Вероятно, это обстоятельство в значительной степени помогло Волынскому занять при Анне Ивановне в 1736 году высокую должность кабинет-министра. Одаренный от природы, он заметно выделялся среди современников образованностью, но был тщеславен, честолюбив, жесток и высокомерен с окружающими. Его служба началась еще при Петре I. Сторонник самодержавия и крепостного права, воспитанный на петровских традициях, он мечтал видеть дворянскую Россию процветающим государством. Неприглядная картина состояния дел в стране открылась ему с высокого поста кабинет-министра. Он лучше, чем кто-либо другой, видел, как национальное богатство расхищается кликой Бирона, понял антирусскую направленность деятельности иностранцев в правительстве Анны Ивановны. В кружке единомышленников, собиравшемся у Волынского в доме, или «конфидентов», как они именовались в официальных документах по «делу» Волынского, он откровенно высказывал недовольство засильем в стране иноземцев, которые, по его словам, «...вникнули в народ, яко ядовитые змеи, гонящие народ к великой нищете и вечной погибели». Резко высказывался он и о самой императрице. Стремясь изменить положение в стране, Волынский подготовил «Проект о поправлении государственных дел» — программу, защищавшую политические и сословные привилегии русского дворянства.

Среди единомышленников Волынского оказались наиболее образованные представители господствующего класса и высшие са-

ность незаурядную, но недостаточно твердую в осуществлении своих планов. Представляя в Верховном тайном совете с момента его образования феодальную знать, он при Меншикове и Долгоруких держался в тени. После смерти Петра II Голицын возглавил Верховный тайный совет и предпринял попытку осуществить свою программу социально-политических и экономических преобразований. Основное содержание этой программы можно представить по сохранившимся в архиве Тайного совета документам, хотя принадлежность части из них Голицыну не доказана. Можно предполагать, что Голицын стремился принять меры по защите интересов всего дворянства и, в известной степени, купечества, преодолев тем самым ограниченность аристократических устремлений «верховников».

Увлечение идеалами конституционной монархии привело его к решению ограничить самодержавие, воспользовавшись сложившейся политической ситуацией. Поэтому трон Анне Ивановне «верховники» предложили на определенных условиях — кондициях, составленных Голицыным. Кондиции лишали Анну Ивановну права решать без Верховного тайного совета вопросы войны и мира. Гвардия и войска передавались в непосредственное подчинение Совету, без его согласия императрица не могла налагать новые налоги, вступать в брак, назначать наследника престола, без суда отнимать жизнь, честь и имущества у дворян, обязывалась сохранять Верховный тайный совет в составе восьми членов. Один из пунктов кондиций обеспечивал право замещения высших должностей в государстве за представителями старых аристократических фамилий.

Кондиции и предложение занять российский престол были посланы в Митаву и подписаны Анной. Между тем слухи о «затейке» верховников разнеслись по Москве и взбудоражили дворянство. Дворянство обеспокоилось стремлением знати установить олигархическое правление, опасаясь, что «вместо одного самодержавного государя» получит «десять самовластных и сильных фамилий». И хотя в определенных кругах столичного дворянства высказывались пожелания ограничить самодержавие, но не в интересах только родовитых фамилий, а в интересах всего господствующего класса, среднее и мелкое дворянство выступило против кондиций верховников. В отличие от аристократии основную массу дворянства самодержавие устраивало в первую очередь потому, что оно обеспечивало помещикам право эксплуатировать крепостное крестьянство; от абсолютистской власти дворяне ожидали новых сословных привилегий. В свою очередь, самодержавие видело в дворянстве свою социальную опору и было заинтересовано в укреплении всего сословия.

Прибывшая с большой свитой курляндских дворян в Москву,

Анна Ивановна была уже осведомлена о настроении широких кругов дворянства и гвардии. Гвардейцы, протестуя против кондиций, требовали, чтобы Анна Ивановна оставалась такою же «самодержницею, как были ее предки». Поэтому 25 февраля 1730 года императрица разорвала кондиции. Так в результате активности дворянства и гвардии попытка старой знати ограничить самодержавие провалилась. Верховники оказались сначала в опале, а затем по решению Высшего суда их вождь Д. М. Голицын был заключен в Шлиссельбургскую крепость, Долгорукие сосланы, а Иван Долгорукий, фаворит Петра II, казнен.

Бурные события, связанные с историей избрания Анны Ивановны на императорский престол и «затейкой» верховников, привлекли внимание советского писателя С. Г. Десяткова, роман которого «Верховники» вошел в настоящую книгу.

Став самодержицей, Анна Ивановна удовлетворила многие требования дворянства, но, опасаясь оппозиции со стороны дворянских группировок и гвардии, поспешила найти себе опору и защиту среди иностранцев, в основном немцев, голштинцев, курляндцев, которые заняли высшие посты при дворе, в армии и высших органах управления. «Немцы, — по словам В. О. Ключевского, — посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забрались на все доходные места в управлении».

Главную роль среди них играл фаворит Анны Ивановны — Бирон, грубый и мстительный временщик, человек алчный, без стеснения запускаящий руку в государственный карман, вымогавший взятки, торговавший должностями. Не вмешиваясь явно в государственные дела, Бирон стал фактически правителем страны. Другой главной фигурой при дворе Анны Ивановны был Остерман. Хитрый и ловкий царедворец и интриган, он сумел сохранить высокое положение при пяти императорах. Обладая незаурядными способностями, он руководил внешней и внутренней политикой Русского государства. Согласно остроумному замечанию одного из иностранных послов, Бирон и Левенвольде управляют императрицей, а Остерман «сади их стоит» и «управляет империею». Третья по важности фигура при дворе Анны Ивановны — Миних, посредственный полководец, деятельность которого по управлению армией стала одной из причин упадка военного искусства и боевой славы русской армии во второй четверти XVIII века.

1730—1740-е годы вошли в историю под названием «бионовщины», символизирующей засилье иностранцев в руководстве страной с характерным для них презрительным отношением к России и ее интересам, к русскому народу и его культуре.

С приходом к власти иностранцев в стране сложилась прин-

новники государства: граф Платон Мусин-Пушкин, президент Коммерц-коллегии Василий Татищев, историк и государственный деятель, обер-прокурор Сената Федор Соимонов, советник и горный инженер Андрей Хрущев, архитектор Петр Еропкин, образованные, способные люди, принимавшие участие в политической борьбе при воцарении Анны Ивановны. По донесениям иностранных послов можно предполагать, что число сторонников Волынского было значительно большим. Но, начав открытую борьбу с кликой Бирона, Волынский не заручился поддержкой широких кругов дворянства и гвардии. Это и предопределило исход борьбы. Волынский потерпел поражение и был казнен, а его «конфиденты» подверглись жестоким наказаниям. Расправа с Волынским испугала многих, на время притушив выражение недовольства. Открыто оно проявилось уже после смерти Анны Ивановны.

Незадолго до смерти Анна Ивановна назначила наследником престола двухмесячного сына своей племянницы Анны Леопольдовны, герцогини Брауншвейг-Мекленбургской, Ивана Антоновича. Таким образом, власть переходила в руки иностранной династии в обход прямой наследницы, дочери Петра I Елизаветы. Регентом при младенце-императоре стал Бирон. Учитывая непопулярность Бирона в стране, растущую в народе враждебность к иностранцам и с целью удержания власти в руках иностранцев Миних совершает 9 ноября 1740 года дворцовый переворот. Во главе 80 солдат он арестовывает Бирона. Анна Леопольдовна объявляется правительницей, а сам Миних — первым министром. В результате вместо одних немцев у власти оказались другие. Между тем ненависть к иностранцам в народе и среди дворянства нарастала и захватила рядовой состав гвардии.

Именно в среде гвардейцев созрел заговор с целью возвести на престол Елизавету Петровну. В подготовке нового дворцового переворота приняли участие представители знати и высшей бюрократии, видевшие в Елизавете Петровне законную наследницу русского престола, которая могла обеспечить переход власти в руки «русской партии». В ночь на 25 ноября 1741 года гренадерская рота Преображенского полка совершила дворцовый переворот в пользу Елизаветы. Брауншвейгская фамилия была арестована, Миних, Бирон, Остерман и их сторонники сосланы. Засилью иностранцев в высших органах власти был положен конец, но они сохранили свои посты в среднем и низшем звеньях государственного аппарата, в армии и при дворе. С ними еще предстояла длительная борьба.

«Бироновщина» обернулась для страны ухудшением положения народных масс, обострением классовых противоречий в стране, расстройством государственного хозяйства; пустой государственной казной: недоимки в уплате подушных денег (а они шли

на содержание армии и флота) числились с 1719 года. Перед правительством Елизаветы Петровны встала задача ликвидации последствий хозяйничанья иноземцев. Были приняты меры по восстановлению системы государственного управления, созданной Петром I: распущен кабинет, восстановлены в прежних размерах власть Сената, возрождены упраздненные в 30-е годы прокуратура, Берг- и Мануфактур-коллегии, ликвидированы многочисленные конторы по сбору недоимок. Была сделана попытка найти выход из финансового кризиса: простили недоимки с 1719 по 1736 год. Правительство пошло на этот шаг не из гуманных соображений, хотя в указе и было высказано желание «облегчить подданных». Просто недоимки за эти годы почти не с кого было взыскивать. Правительство пошло даже на снижение подушного оклада за 1742—1743 годы на 10 копеек с души. Но эта мера не дала должного эффекта, недоимки по-прежнему росли, денег на содержание армии и флота не хватало. Не улучшилось и положение податного населения, основную массу которого составляло крестьянство.

После переворота 1741 года все высшие посты в государстве заняли представители русского дворянства. Правительство Елизаветы Петровны более последовательно отстаивало национальные интересы России, принимало меры для укрепления армии и флота, развития экономики страны. Но в направлении внутренней и социальной политики его курс ничем не отличался от проводившегося в предшествующие десятилетия. Для этого времени характерны дальнейшее усиление крепостничества, ухудшение положения трудящихся масс. Теперь уже не немцы, а представители русской знати и бюрократии грабили казну и народ. Сама императрица Елизавета оказалась не подготовленной к роли правительницы и скоро начала тяготиться своими монаршими обязанностями. Управление государством сосредоточилось в руках Сената, в котором шло противоборство двух группировок. Огромное влияние на решение императрицей государственных вопросов оказывали ее фавориты, сначала А. Г. Разумовский, а затем И. И. Шувалов.

Преемником Елизаветы Петровны стал ее племянник, Карл-Петр-Ульрих, герцог Голштинский. Он был сыном старшей сестры Елизаветы Петровны, Анны, и, следовательно, внуком Петра I. По линии отца он являлся наследником шведского престола, как внук сестры Карла XII. Ничтожнейший человек волей судьбы оказался наследником престолов двух великих держав XVIII века. Сначала принца Голштинского готовили к вступлению на шведский престол, но Елизавета Петровна, став императрицей, забрала племянника к себе и объявила своим наследником. При крещении он получил имя Петра Федоровича.

Петр Федорович рано осиротел и не получил в Голштинии ни достойного его положения воспитания, ни образования. Шестнадцати лет Петра Федоровича женили на принцессе Ангальт-Цербстской Софье-Августе-Фредерике, получившей в России имя Екатерины Алексеевны.

Наследник российского престола не любил ни Россию, ни русских, жил в окружении голштинцев, подчеркнуто высказывал пренебрежение к культуре и религии своих будущих подданных. Став императором, Петр Федорович завел особую гвардию из голштинцев, на руководящие посты опять стали назначать иностранцев. Появилась опасность новой «бионовщины». Этого ни гвардия, ни русская аристократия и высшие бюрократические круги не могли допустить. В гвардии созрел новый заговор с целью свержения Петра III. Возглавили его братья Орловы, в подготовке дворцового переворота приняли участие также представители высшей бюрократии. В результате пятого и последнего в XVIII веке дворцового переворота, осуществленного 28 июня 1762 года, на русский престол была возведена жена Петра III, ставшая императрицей Екатериной II.

Екатерина была энергична, умна. Приехав в Россию, она всячески старалась завоевать симпатии окружающих, что ей неплохо удавалось. Она быстро выучила русский язык, демонстрируя свое уважение к русским обычаям, строго соблюдала обряды православной церкви, чем выгодно отличалась от своего недалекого супруга. Ведя затворническую жизнь при дворе Елизаветы Петровны, она много занималась самообразованием, познакомилась с трудами французских философов, с некоторыми из них даже завязала переписку. Ею были усвоены отдельные доктрины из учения Монтескье о государстве. Впервые после смерти Петра I на российском престоле оказался монарх образованный, твердо знавший, чего хочет добиться. Екатерина II, подобно Петру I, сама выпкала во все государственные дела. Ловко лавируя между различными дворянскими группировками, она использовала имевшиеся между ними противоречия для укрепления собственной власти, исключив таким образом возможность новых дворцовых переворотов. Время ее правления явилось новым шагом в развитии абсолютизма, «золотым веком» дворянства, сословные права и привилегии которого настолько расширились, что оно превратилось в паразитирующее сословие, жившее за счет всех остальных и не несшее никаких обязанностей в отношении общества. Правление Екатерины II было временем дальнейшего укрепления крепостного права, доведенного до такой степени, что положение крестьян на практике «ничем не отличалось от рабского»*.

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 70.

В таких сложных политических условиях происходило социально-экономическое и культурное развитие страны в 30—50-е годы XVIII века. Борьба за власть в правящих кругах и сопровождавшие ее дворцовые перевороты не остановили исторического прогресса, но значительно его осложнили и затормозили. Темп социально-экономического развития страны по сравнению с первой четвертью XVIII века значительно замедлился. Экономика развивалась за счет усиления крепостнической эксплуатации всего податного населения страны. Развитие страны, как и в предшествующее время, осуществлялось на феодально-крепостнической основе.

Крепостнические отношения в XVIII веке охватывали все сферы общественной жизни.

Основой экономики России в 30—50-е годы XVIII века являлось сельское хозяйство. Свыше 90 процентов населения страны составляло крестьянство, находившееся в разных формах и степени зависимости от частных владельцев (помещиков, монастырей и церковных властей, дворца) или от государства. Около 1 процента приходилось на дворянство, остальную часть населения представляли горожане, купцы, военнотруженические сословия, разночинцы.

Помещики и дворянское государство нещадно эксплуатировали все податное население страны, но особенно тяжелым было положение крестьян. Введенная Петром I в 1718 году подушная подать значительно увеличила налоговое обложение, так как теперь государственные налоги платили не со двора, как это было прежде, а с души мужского пола, вне зависимости от возраста. Уже в правление Екатерины I стала ясна непомерная тяжесть подушной подати: «...Платежем подушных денег, — отмечалось в официальных документах... — так крестьян понуждают, что не токмо скот и пожитки продавать принуждены, но и многие и в земле посаженный хлеб за бесценнок продают и бегут за чужую границу». Тяжелой крестьянской повинностью стали рекрутские наборы, вырывавшие из среды крестьян наиболее трудоспособную часть мужского населения.

Во второй четверти и в середине XVIII века положение податного населения страны ухудшилось также в связи с возросшими потребностями господствующего класса. Непомерная роскошь императорского двора, увеличившийся бюрократический аппарат, содержание армии и флота требовали огромных средств, которые можно было получить, только увеличив налоги. Особенно ухудшилось положение народных масс во время «бироповщины», когда выколачиванием недоимок занимался не только мест-

ный административный аппарат, но и специально созданные для этого конторы.

Частновладельческие крестьяне, помимо государственных повинностей, выполняли и феодальную ренту. 30—50-е годы века ознаменовались стремительным ростом барщины и оброка. Оброк, по подсчетам специалистов, вырос с 1713 по 1753 год с 30 рублей до 200, а барщина порой достигала 4—6 дней в неделю. Тяга благородного сословия к роскошной жизни привела к усилению эксплуатации крестьян, подрыву экономики крестьянского хозяйства, к обнищанию крестьян.

Тяжесть положения крестьян усугублялась расширением власти помещика над их личностью и имуществом. Помещик мог отобрать у крестьянина его имущество, так как по закону оно принадлежало вместе с крестьянином помещику. В XVIII веке получила развитие практика продажи крестьян без земли. Крестьян продавали оптом и в розницу, целыми семьями или поодиночке, отрывая детей от родителей, жен от мужей, разлучая братьев и сестер. Помещик мог беспрепятственно отдать крестьянина в рекруты, безнаказанно бить батогами, плетью, палками, заковывать в колодки, ошейники и т. п. На ухудшение своего положения крестьяне ответили принесением жалоб правительству, которые, как правило, оставались безответными; побегам, открытыми выступлениями. Бегство крестьян в 30—50-е годы приняло необычайно широкие размеры. Крестьяне бежали в одиночку, целыми семьями, иногда целыми деревнями. Бежали в города, а больше за границы Русского государства, а также туда, где еще не было помещичьего землевладения и царских чиновников: обживали новые места на Дону, Яике, в Азовской губернии, в Поволжье, на Урале, в Сибири. Бегство крестьян стало государственной проблемой. Пустели помещичьи имения, ухудшалось положение оставшихся крестьян, так как те были должны теперь выплачивать подати и за беглых. В 1742 году в Сенате с тревогой отмечалось, что много имений совершенно запустели. Так, в Переяславль-Залесском уезде оказалось 68 пустых помещичьих деревень, и это не было исключением. Особую опасность для помещиков и местных властей представляла такая форма антифеодального протеста, как разбой, получившая особенно широкое распространение в 30-е годы. Голодные и бездомные беглые крестьяне, солдаты, работные люди собирались в разбойные отряды и громили помещичьи усадьбы, монастыри, грабили на дорогах. Эти же «разбойники» освобождали колодников из тюрем, помогали восставшим крестьянам. Против вооруженных отрядов «разбойников» правительство посылало регулярные войска. Высшей формой антифеодального протеста народных масс в это время были восстания крестьян и рабочих людей мануфактур. Кре-

стьяне отказывались подчиняться своим владельцам и местным властям, платить оброк и выполнять барщину, часто оказывали вооруженное сопротивление войскам. С конца 1730-х годов крестьянские волнения фактически не прекращаются, охватывая большие районы. В некоторых восстаниях проявлялась определенная форма организации при общем стихийном характере этих движений. В конце 1750-х годов особенно обострилась борьба монастырских крестьян, доведенных до отчаяния усилением крепостного гнета со стороны церковных властей. К 1765 году более 100 тысяч крестьян духовного ведомства были охвачены волнениями.

На подавление крестьянских выступлений правительство направляло регулярные войска и артиллерию. Крестьян расстреливали, пороли, сжигали их дома, но крестьяне вновь и вновь восставали. По мере нарастания антифеодальной борьбы в стране в требованиях крестьян все чаще проявлялось стремление освободиться навсегда от ненавистного крепостного права.

XVIII век был веком, когда в недрах феодального строя начали складываться капиталистические отношения. Это находило выражение в росте промышленности, торговли, росте численности городского населения. Быстрыми темпами развивалась в XVIII веке крупная промышленность — мануфактура. Динамика ее развития выглядит следующим образом. В начале века в стране было всего несколько казенных мануфактур, в 1725 году уже насчитывалось 130—140 казенных и частных мануфактур, в 1760 году — около 500, а к концу века — свыше 1000. Создание крупной промышленности в первой четверти XVIII века было облегчено протекционистской политикой правительства Петра I, но во второй четверти века темп промышленного развития замедлился, особенно в годы «бионовщины», поскольку обступившие трон иностранцы не были особенно заинтересованы в развитии русской промышленности, к тому же и управление ею оказалось в руках дельцов-иностранцев, заботившихся лишь о собственном обогащении. Так, ставленник Бирона, Шемберг, назначенный генерал-берг-директором, то есть получивший в свои руки управление тяжелой промышленностью России, вместе с Бироном присвоил за два года своего управления 400 тысяч рублей.

Хищническому хозяйничанию иностранцев в промышленности в 30-е годы противостояли русские специалисты и заводчики. Очень много для развития Уральского промышленного района сделал известный русский историк, географ, администратор В. Н. Татищев. В 30—50-е годы продолжалось промышленное освоение Урала, Сибири и Алтая. Особое значение в это время приобретает Урал. Во второй четверти XVIII века на Урале действовали 18 казенных и 11 частных железоделательных заводов. Бла-

Петербургская Академия наук создавалась по проекту, подготовленному при жизни Петра I и при его участии, но открыта была уже после смерти Петра в 1725 году. Перед Академией сразу же были поставлены как научные, так и учебные задачи. Она состояла из собственно Академии, то есть научно-исследовательского учреждения, университета и гимназии. Гимназия должна была готовить к университету, а университет готовил кадры отечественных ученых.

Своих ученых Россия еще не имела, поэтому пригласили иностранцев. По замыслу Петра I, приглашать следовало самых лучших ученых из Европы, предоставляя им хорошие условия. Среди первых, прибывших в Россию, были знаменитые математики XVIII века Леонард Эйлер и Даниил Бернулли. Эйлер надолго связал свою жизнь с Россией. Его учениками были С. К. Котельников, С. Я. Румовский, М. Е. Головин и др.

Однако в 30-е годы в Академию потянулись ради легкого заработка различного рода авантюристы и дельцы от науки, нанесшие русской науке большой вред. Особенно в этом отношении отличился карьерист и делец И. Д. Шумахер. Петербургская Академия была основана как государственное учреждение, а следовательно, находилась на государственном содержании, и потому ученые оказались в большой зависимости от академической канцелярии. В ней 35 лет распоряжались Шумахер, а затем его зять И.-К. Тауберт, которые делали все, чтобы усложнить жизнь русских ученых. М. В. Ломоносову и другим русским ученым пришлось вести с Шумахером и Таубертом тяжелую, изнурительную борьбу, отстаивая интересы отечественной науки.

Бюрократический произвол, гонения на передовых представителей науки, пренебрежительное отношение к подготовке русских ученых, оторванность части научных исследований от насущных нужд России — вот основные пороки шумахеровского управления Академией. Шумахер действовал безнаказанно, при попустительстве верхов России, и при Бироне, и при Елизавете Петровне.

И тем не менее, хотя и медленно, но русские кадры ученых завоевывали место в Академии. В 1741 — 1751 годах в академии их было семь человек, но один из них, М. В. Ломоносов, стоил всей Академии. Величайший ученый-энциклопедист, гений русской науки, Ломоносов не только стоял на передовых позициях современной ему науки, но во многом опережал ее.

Во второй половине XVIII века центром подготовки научных кадров в стране стал Московский университет, основанный по инициативе и по проекту Ломоносова.

Научные исследования в Академии наук в 30 — 50-е годы велись по трем направлениям: математическому, физическому и гу-

манитарному. Блестящую страницу в истории науки этого времени составили географические и этнографические экспедиции 20 — 50-х годов, исследовавшие различные регионы России (район Каспия, Сибирь, Дальний Восток, Камчатку). Экспедициями был собран богатый материал, который впоследствии использовали для изучения производительных сил и для составления географических карт страны. В 1734 году впервые издается «Атлас Российский», подготовленный известным русским астрономом и картографом И. К. Кириловым. Академическими экспедициями исследовались побережье Северного Ледовитого океана от Архангельска до Чукотки (экспедиции В. Беринга), Камчатка (С. П. Крашенинников), Сибирь (экспедиция академика Г. Ф. Миллера) и др. Результаты экспедиций публиковались Академией.

В настоящее издание включен один из отчетов В. Беринга, а также одна из работ С. П. Крашенинникова, выполненная им на Камчатке.

Развитие культуры, искусства и быта 30—50-х годов XVIII века характеризуется дальнейшим их «обмирщением»: церковь все больше теряла влияние во всех сферах духовной жизни общества. Искусство и культура окончательно приобретают светский характер. Их развитие в рассматриваемое время определялось тем влиянием, которое оказывали государственная власть и господствующий класс России.

Императорский двор и высшие слои дворянства навязывали художникам свои вкусы, стремились поставить себе на службу все виды искусства. Архитекторы строили для дворян дворцы и загородные резиденции, художники и скульпторы украшали их статуями, расписывали потолки и стены, изготовляли шпалеры и т. п., поэты восхваляли в своих одах. Даже Ломоносов вынужден был писать не только торжественные оды, но и надписи для фейерверков на дворцовых празднествах. При господстве сословного неравенства художникам трудно было сохранить чувство собственного достоинства, отстоять право на самостоятельность. Поэтому судьба многих из них трагична.

XVIII век — это особый этап в истории русской литературы, он связан с вовлечением русской литературы в общеевропейский литературный процесс, с утверждением классицизма как литературного направления, появлением новых жанров, разработкой русского литературного языка. В 30 — 50-е годы наибольшую роль в развитии русской литературы сыграли А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов и А. П. Сумароков.

Русская литература 30 — 50-х годов, при всей ее ориентации на вкусы и потребности дворянства и двора, все же была менее зависима от них. Влияние заказчика сильнее сказывалось в архи-

годаря огромным по тому времени масштабам уральского производства в середине XVIII века в России стали выплавлять 2 миллиона пудов чугуна, в полтора раза больше, чем выплавляла Англия, передовая капиталистическая страна Европы.

В начале века Россия ввозила железо из-за границы, а в середине века русская промышленность не только удовлетворяла потребности страны в чугуне, но и экспортировала его.

Значительного развития достигла и легкая промышленность. Важнейшими центрами ее были Москва и Петербург. Полотняные, парусные, суконные, кожевенные мануфактуры возникли в центральных районах России. Некоторые мануфактуры насчитывали сотни и даже тысячи рабочих. Появилось много вотчинных мануфактур. Дворяне, испытывая потребности в деньгах, стали заводить мануфактуры, занимались винокурением. На вотчинных мануфактурах использовался труд крепостных крестьян.

В условиях господства крепостного права обеспечение рабочими руками крупных предприятий, принадлежавших казне и промышленникам, осуществлялось путем покупки и приписки крестьян. Каторжники, нищие, бродяги, наемные лица закреплялись за мануфактурами, заводами. Постепенно сформировался слой квалифицированных мастеровых и работных людей, которые жили и работали на заводе, получая заработную плату. Условия работы на мануфактурах были необычайно тяжелыми. Работали от зари до зари в холодных, сырых и темных помещениях. Заработной платы едва хватало на полуголодное существование. Жалобы на нищету и недоедание постоянно звучат в челобитных работных людей. Тяжелое положение рабочих мануфактур признавали даже власти. Как отмечалось в официальных документах, в Москве «большое число мастеровых и работных людей так ободрано и плохо одеты находятся, что некоторые из них насилу и целую рубаху на плечах имеют». Не лучше было и положение приписных крестьян. Оставаясь государственными крестьянами и продолжая заниматься сельским хозяйством, они определенное число дней в году отработывали на заводах, к которым были приписаны, получая за это мизерную плату. На заводах они, как правило, выполняли малоквалифицированную работу: заготавливали руду, уголь, дрова и т. п. К тяжелому труду на мануфактуре следует прибавить длительные переходы приписных крестьян от своих деревень, находившихся порой не в одной сотне верст от завода. Переходы эти приходились по большей части на суровое зимнее время.

Низкая плата за тяжелый труд, невыносимые условия труда, высокие нормы выработки, произвол заводчиков, сами крепостнические формы эксплуатации не могли не вызвать протеста со стороны приписных и работных людей мануфактур. Формы

протеста были такими же, как у крестьян: подача жалоб, побег, восстания. 50 — 60-е годы XVIII века отмечены особенно сильными и повсеместными волнениями приписных крестьян и рабочих людей мануфактур и заводов Урала.

Экономические, политические и культурные потребности страны во второй четверти и середине XVIII века определяли развитие всех отраслей экономики, просвещения, науки и культуры. Основа для этого была создана в результате преобразований первой четверти XVIII века. В последующие десятилетия, несмотря на неблагоприятную общественно-политическую обстановку, во многих областях науки и культуры Россия добилась значительных успехов, но все они достигались самоотверженным и тяжелым трудом передовых русских людей, вынужденных преодолевать сословные и бюрократические препятствия, терпеть нужду, гонения и издевательства власть имущих, среди которых в эти годы было много иностранных авантюристов.

3

В первой половине XVIII века страна испытывала большую потребность в квалифицированных специалистах и просто грамотных людях. Эту задачу в некоторой степени удалось решить посредством созданных при Петре I светских школ: цифирных (дававших начальное образование) и специальных (артиллерийских, навигацких, инженерных, медицинских, горных, ремесленных). Последние давали узкую профессиональную подготовку, но тем не менее способствовали созданию слоя образованных людей в стране.

Сословный характер политики самодержавия в области просвещения затруднял получение высшего образования выходцам из податных сословий. При Петре I, когда нужда в грамотных людях ощущалась особенно остро, в специальные школы допускались и дети разночинцев. При его преемниках на развитие профессиональных школ стали обращать меньше внимания, правительство больше было озабочено качеством образования дворянских недорослей. Одной из привилегий, которую дворянство получило после вступления на престол Анны Ивановны, явилось заведение сословных школ для дворянских детей — в 1731 году в Петербурге был открыт Кадетский корпус (с 1752 года он стал именоваться Сухопутным шляхетным кадетским корпусом). В 50-х годах основали Морской корпус, артиллерийскую и инженерную школы для дворян.

Большую роль в развитии высшего образования в России сыграли Университет при Академии наук в Петербурге и Московский университет.

текстуре и изобразительном искусстве. Тяга дворян к роскоши, комфорту, которая особенно проявилась в 30—50-е годы, в сравнении со скромным бытом петровской поры, выразилась в строительстве пышных городских дворцов и загородных резиденций. На эти годы падает расцвет стиля барокко в русской архитектуре и изобразительном искусстве. Его пышные декоративные формы отвечали вкусам дворянской верхушки и императорского двора. Мастера барокко строили в основном дворцы, триумфальные арки, театральные здания. В этом стиле работали выдающиеся русские зодчие М. Г. Земцов, П. М. Ерошкин, С. И. Чевакинский, Д. В. Ухтомский, Ф.-Б. Растрелли и другие.

В эти десятилетия были созданы великолепные произведения искусства, которые вошли в золотой фонд русской культуры. Успехи ее в XVIII веке оказались необычно велики, быстрый темп развития русской культуры остро ощущался современниками, вызывал чувство гордости за свою страну у лучших людей России. С полным основанием один из образованнейших людей XVIII века Николай Михайлович Карамзин с гордостью мог написать: «Мы зреем не веками, а десятилетиями».

Л. КИСЛЯГИНА

Станислав Десятков

ВЕРХОВНИКИ

роман





E.P.87



Моей дорогой матери,
Вере Сергеевне Головановой,
п о с в я щ а ю

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Еще ночь не ушла, первые петухи не допели, как обалдевший от тяжелого зимнего сна пономарь иль просто любитель замоскворецкий ударил в морозный колокол. Переплясами зазвенело за Москвой-рекой, аукнулось на Покровке, отозвалось на Никольской, на Арбате, в Земляном городе. И вот — осыпался снег с иных крыш — заухали большие кремлевские колокола, ахнули все сорок сороков московских. Тысячное воронье взвилось над игольчатыми заиндедевскими садами, но крик его точно замерз в воздухе: все заглушила ледяная музыка декабрьского перезвона. Рождество...

Задымили трубы, и вся Москва, как некое диво, повисла в утренней призрачной дымке.

Но на кривых улочках и в закоулках обычно, по-деревенски, пахло навозом, сеном, обжитым домашним теплом. Колючий январский воздух перехватывал дыхание. Вozy с сеном проплывали в колыхавшейся серой пене морозного тумана новогодними привидениями.

«...К-куда! К-куда прешь!» — тростью огрел морду жалкой тощей кобылки рослый преображенный сержант. У Михайлы забытья как не бывало. Хорошо еще, что сержант не мог дотянуться до него тростью и только яростно погрозился снизу: «Балуи, деревня! Как смел заградить путь царскому поезду!»

«Знай нас, плешивых, объезжай шелудивых!» — звонко крикнул юркий московский малец из тотчас набежавшей на крики и потеху толпы. Вокруг захохотали, заухали: «Железные носы! Железные носы!» — не очень-то любили на Москве заносчивых гвардейцев. Замерзшие усы у сержанта встали грозными пиками, но лаяться бы-

ло недосуг. Повернулся к толпе широкой спиной, и во время.

Из тумана по трое в ряд вылетели всадники в черных кирасах на могучих вороных брандербуржцах. Разноцветными факелами вспыхнули пучки диковинных страусовых перьев на заиндеветых металлических шлемах. Пронеслись, а земля все еще, казалось, дрожала от тяжелого гула, пока тонко и весело не запели полозья легких карет. В резных окошечках замелькали нарумяненные девичьи лица. Остервенело щелкали кнутами мордастые кучера, подпоясанные красными кушаками.

На запятках, как заводные куклы, покачивались здоровенные арапы с серыми от мороза ресницами. Гарцевали румяные сытые офицеры. Неслась вниз, к Москвереке, пестрая цветная карусель. Дверца последней кареты на ходу распахнулась: по пояс высунулась из мехов дивная красавица — казалось, вот-вот выпрыгнет из парчового зашнурованного платья и собольей шубы и — поминай как звали — полетит по сугробам. У Михайлы от такой красоты сердце зашло.

К красавице подъехал важный старик: сухонький, весь в лентах и орденах, на ходу растирал ухо теплой перчаткой. В толпе зашумели: «Верховный!» — «А какой?» — «Да князь Дмитрий Михайлович!» — «Голицын?» — «Он, он батюшка! Не из новых заморских самозванцев, природный русак!»

Красавица говорила быстро, должно быть, сердилась, по старик только развел руками, сказал что-то смешное — красавица рассмеялась.

«А наша-то, наша, веселая царевна... Елисавет...» — зашелестело в толпе. Но Михайло не слышал. Как замороженный смотрел он на красавицу. То ли от мороза, то ли от этого взгляда красавица вздрогнула, перед тем как захлопнуть дверцу кареты, глянула вверх и прыснула. В легком на таком морозе длинном испанском плаще и голландских штанах, оставшихся еще от морской службы, Михайло представлялся заправдашним скоморохом. Впрочем, он был актером, а актер и скоморох в глазах публики были понятиями равнозначными.

Щелкнули дверцы, в облаке снежной пыли скрылась карета с красавицей, а Михайло все еще слышал обидный женский смех.

Между тем мужики вокруг сдернули шапки, повалились на колени. Рывкнул команду преображенский сержант, щегольски взлетели на караул мушкеты гвардей-

цев, замерла шумная московская улица, и Михайло понял: царь!

Стояла такая необычная тишина, что слышно было, как тихонько позвякивают шпоры на ботфортах сержанта, незаметно переминающегося с ноги на ногу.

Из густого тумана нарастал натужный солдатский крик «Ура-а-а!», и вдруг, внезапно, как бы опережая на какие-то мгновения этот крик, вынырнули из тумана, как из облака, запряженные цугом лошади, мелькнули крытые медвежьими шкурами лебединые сани и исчезли на спуске к реке. Оглушительным вихрем пролетел вслед за ними рев солдатских глоток.

Только и увидел Михайло, что толстую спину кучера, серебряный убор сидевшей в санях девушки, царской невесты княжны Екатерины Долгорукой, да стоявшего на запятках долговязого молоденького офицера в простом зеленом мундире. И по тому, как все кланялись вслед этой узкой, вздрагивающей от мороза мальчишеской спине, догадался: это и есть царь — Петр II, самодержец. Меж тем цветная кавалькада царского поезда исчезла, как видение, снова растворилась в сине-сером морозном облаке.

«Трогай! Чаво стоишь, Михайло?! Трогай!» — закричали мужики — возчики из обоза, к которому ради экономии дорожных расходов Михайло пристроился еще в Твери. Зашумела, забурлила, понеслась по своим обычным делам московская улица, и деревенский обоз, приотстав немного, тоже заскрипел полозьями. Запахло навозом, сеном, кислой овчиной и теплыми домашними хлебами, а запахи амбры, мускуса, терпких версальских духов, заморских пряностей бесследно растворились в колючем январском воздухе.

ГЛАВА 2

На новый 1730 год в царском дворце в Лефортово устроен был маскарад. По хрустящему снегу, мимо иллюминированных высоких елок одна за другой подкатывали к парадному крыльцу венские кареты на санках; старомодные рыдваны с огромными фонарями, свисающими цветными гирляндами по углам; открытые сани, затянутые медвежьей полостью, — на последних приезжали холостяцкие компании гвардейских офицеров, изрядно уже подвыпивших и потому с излишней бодростью стучавших ботфортами на высоком крыльце. Только гвардейцам и

разрешалось быть в мундирах, придворные и дипломаты все были в машкерадах. По гостиним переливался разноцветный поток версальских петиметров*, греческих нимф, испанских грандов, выраженных по замоскворецким представлениям о Гишпании, голландских крестьянок и важных турецких пашей и беев (под турок охотно переодевались воеводы российских провинций и пенсионные генералы). Всех поразила компания барона Строганова: скинув собольи шубы, озорники предстали краснокожими индейцами в одних повязках из маленьких банных веников. Дамы ахнули, мужчины засмеялись, произошло некоторое общее замешательство, но барон держался столь натурально, что даже придворные старушки, на радостях, по случаю машкерада, надевшие девичьи свои шушуны и салопы времен Натальи Кирилловны, махнули рукой на шалунов: что с них взять, с индейцев, да и цена одних страусовых перьев, стянутых бриллиантовой диадемой на башке у легкомысленного барона, на несколько тысяч потянет.

Распахнулись высокие двери, и во всем великолепии открылся огромный танцевальный зал. Тысячи свечей отражались в навощенном паркете, и эти отражения перекликались с веселой иллюминацией за окном и далекими огнями Москвы. Нежно и остро пахло хвоей и воском.

При нынешнем дворе, не то что при экономном Петре Алексеевиче, жгли отборные свечи из белого воска. Молодой государь Петр II не желал экономить на свечах, сэкономил на армии и флоте. Танцевальное искусство и охотничья наука достигли зато неслыханных во времена Петра I вершин, а сами петровские ассамблеи с участием голландских шкиперских дочек и корабельных мастеров стали далеким воспоминанием. Екатерина I запретила являться во дворец лицам в чине ниже генерал-майорского. Исключение делалось только для гвардейцев.

Сладкую и тягучую музыку заиграл оркестр. Первую кадрили повела царская невеста Екатерина Долгорукая. Высокая, надменная, укутанная в голубые кружева и муслин, красавица уверенно плыла впереди своей кадрили, раскланивалась с приседавшими в реверансе придворными дамами: один поклон дамам, знатным по рождению, полупоклон женам случайных людишек, особый поклон дамам рюриковских кровей, уронивших себя низ-

* Петиметр — букв.: маленький господин (*франц.*). С эпохи регентства во Франции (1715—1723 гг.) так называли придворных щеголей (*здесь и далее примечания автора.*).

ким замужеством. Вспыхивали бриллианты в голубом цвете кадрили. Голубой цвет по всем гадательным книгам почитался цветом верности.

Быстрее заиграл оркестр, и во главе второй кадрили в неслыханном малиновом кафтане «а ля фазан» стал обер-штальмейстер, бывший обер-прокурор Павел Иванович Ягужинский. Павел Иванович кадрили начал с медленного, полного прыжков англеза, потом перешел в польский с прыжками уже дикими, затем в штирийский*, где делал разные забавные фигуры, и завершил все танцем арлекинским.

Кружилась в неистовом танце красно-малиновая кадрили, метались рогатые тени от париков на тяжелых портьерах, мелькали свечи в венецианских зеркалах, сверкали глаза под черными масками — все, казалось, было позволено в кадрили Павла Ивановича Ягужинского. Красный цвет по верным приметам был цветом страсти.

Умчалась сумасшедшая кадрили, и точно зеленый деревенский луг расцвел на дорогом наборном паркете. Цесаревна Елизавета Петровна, одетая в простенький сарафан, повела кадрили, как старинный девичий хоровод.

Иные дамы в толпе прикрыли веером щеки, что на языке веера означало гнев и неудовольствие. Но молоденькие гвардейские сержанты, помнящие деревенские проказы, бешено захолопали в ладоши. Почтенные старички защелкали языками: и впрямь хороша красавица из Покровского, любимое чадо великого Петра. Елизавета Петровна плыла плавно, степенно. «Высокая, стройная, с лебедиными плечами — за такую красавицу полжизни отдать не жалко!» — вздыхали молоденькие гвардейцы. Помнили, что Елизавета со времен своего последнего амантёра, гвардии сержанта Шубина, равнодушна к гвардейскому мундиру. А цесаревна плыла по кругу, покачивая тугими бедрами и стараясь лицо показать в фас, а не в профиль (носик у цесаревны был батюшкин, пуговкой). Покачивалась в тихом хороводе степенная деревенская кадрили. Но что это? Переменились, вспыхнули темно-голубые глаза Елизаветы, завела она руку с платочком над головой и пошла отбивать чечетку деревенского перепляса.

«Эх, черный глаз! Поцелуй хоть раз!» — грянул хор

* Штирия — австрийская провинция; отсюда — штирийский танец.

молодых голосов, и бешено понеслась, закружилась кадрили.

Так степенная русская река весной вдруг переменяет свой нор, и ничто тогда не может задержать и смирить ее.

«Эх жги, жги, жги!» — лихо выводил хор под бешеный перестук каблучков и переплясы старинной музыки ложечников. Застыли в скорбном недоумении иностранные послы, мимо которых проносилась необузданная пляска.

— Это варвары, номады, и если бы не мы, немцы, господин посол, из всех их преобразований вышла бы одна скифская безобразная пляска! — Высокий рыжий немчик пытался привлечь внимание испанского посла, молодого герцога де Лириа. Но де Лириа точно не слышал, в восхищении глядя на цесаревну. Немец перехватил его взгляд, криво усмехнулся: — Говорят, цесаревна в своем имении в Покровском точно так же танцует с простыми мужиками и мужичками. Что за оргии!

Откровенный молодой восторг исчез с лица испанского посла. Перед немчиком стоял холодный аристократ, потомок английских Стюартов на испанской службе, герцог Бервик де Лириа, гранд, имевший право не снимать шляпы перед королями. Немец оробел. Говорят, у этого дюка за плечами не одна кровавая дуэль.

— Ведь вы, кажется, состоите на русской службе, барон? И к тому же носите прусский орден Великодушия... Не забывайте, Рейнгольд Левенвольде!

— О чем это вы спорите? — Рейнгольд Левенвольде согнул спину в глубоком поклоне, а за ним де Лириа увидел согнутые спины других придворных и понял: царь! Стройный, загорелый, не по годам вытянувшийся мальчик с любопытством смотрел на поссорившихся иностранцев.

— Мы спорили об охоте, ваше величество, — опередил Левенвольде герцога. Герцог презрительно пожал плечами.

— С каких это пор вы заделались охотником, посол? — Голос у Петра II был высокий, ломающийся, мальчишеский голос. Впрочем, ему не было еще шестнадцати лет, и в разговоре он перепрыгивал без всякой последовательности с одного предмета на другой. — Нет, вы только подумайте, Бервик, ведь вы разрешите мне так вас называть, нет, вы только подумайте, — громко, на весь зал рассмеялся молодой император, — меня уку-

силы сегодня за ухо! Видите, красное... — И с видимым оживлением стал рассказывать о том, что Андрей Иванович Остерман принес ему сегодня на подпись указ о казни знаменитого разбойного атамана по прозвищу Камчатка, и он совсем уже было подписал указ, да вот князь Иван, он показал на подходившего кареглазого красивого молодого человека, небрежно расталкивающего придворных, — укусил меня за ухо. Когда я спросил его, Бервик, зачем он это сделал и что это очень больно, ведь меня впервые кусают за ухо, князь Иван, нет, он, право, замечательный человек, хотя все мне про него сплетничают бог знает что, но вы-то, я точно знаю, его друг и не станете сплетничать, — так вот он сказал мне, что ежели мне больно из-за укушенного уха, каково будет тому несчастному, которого задушат веревкой. Ведь это действительно ужасно больно, веревкой... И вы знаете, я его простил, того разбойника. Андрей Иванович, конечно, был недоволен, но я совсем простил и, знаете, как-то легко стало. Так слушайте, раз вы стали охотником, едемте со мной, едемте, я знаю, Алексей Григорьевич Долгорукий чудесную охоту готовит. Вот после крещения и едем. А может, и до крещения, а, Иван? — И столько охотничьего молодого азарта было в голосе Петра, что герцог де Лирна невольно улыбнулся.

— А что, может, и в самом деле пойдём на лося? — спросил Иван Долгорукий, на английский манер пожимая руку Бервику. Он был румян, весел и красив той красотой, которой красивы все молодые и здоровые лица, закаленные частым пребыванием на свежем воздухе.

Озабоченно раздвигая придворных, к Петру II протиснулись двое вельмож. Андрей Иванович Остерман, выряженный турком, с восторженным испугом на круглой бюргерской физиономии отвесил почтительный поклон царской особе и с должным респектом напомнил его величеству, что он обещал быть в Верховном тайном совете на обсуждении последних депеш нашего стамбульского посланника...

Все знали, что в Персии, где столкнулись русские и турецкие интересы, шла необъявленная война, в любой момент она могла стать открытой войной со всей Османской империей.

Но его величество желал охотиться, а дела — дела пусть решает Верховный тайный совет. Остерман, не прекословя, склонился перед монархом.

Петр II взял под руку Ивана Долгорукого и герцога,

по дороге ему преградил другой вельможа. Весь маскарад этого сухонького, решительного старика, с горбоносным породистым лицом и твердой линией подбородка, заключался в том, что был он не в придворном платье, а в старом армейском кафтане, из тех, что носили еще до Полтавской баталии.

Петр II, точно налетев на неожиданное препятствие, остановился, встретившись с твердым взглядом серо-зеленых, все еще по-молодому блестящих глаз. Императору редко кто вот так смотрел прямо в глаза, но князь Дмитрий Голицын мог себе позволить то, на что не решались придворные. Его гордый строптивый характер ведом был еще Петру Великому, который в знак особого уважения не подкатывал прямо к крыльцу старого вельможи, а шел пешком через двор, соблюдал старинную учтивость.

Вот и сейчас князь Дмитрий осмелился загородить путь молодому императору. Придворные ахнули. Дежурный церемониймейстер подскочил уже было к дерзкому, но Петр II покраснел и остановил его.

— Государь, и у царей есть обязательства... — Голос Голицына был почтителен, но чувствовалась в нем какая-то сила, основанная на собственном глубоком убеждении в верности своего поступка. Петр II стал слушать.

— Не было еще николи, чтобы цари наши на водосвятие охотой занимались, а не шли во главе крещенского хода. Ведь в крещенье, государь, вы освящаете знамена российской армии!

Петр II смешался. Ему стало как-то неловко и перед старым Голицыным, и перед Бервиком, и перед своим другом Иваном Долгоруким.

— Вот так всегда, Бервик, у государей нет своей жизни, нет желаний, вечно эти господа что-то придумают, — начал было он жаловаться, но, снова встретившись взглядом с Голицыным, махнул рукой: — Ну хорошо, Дмитрий Михайлович, убедил, остаюсь, остаюсь! — И, повернувшись к залу, звонко, по-мальчишески, крикнул, как бы срывая свою досаду: — Ну что же вы стоите, господа?! Эй, музыка! — И снова заплясал, закружился придворный новогодний машкерат 1730 года.

ГЛАВА 3

На Новый год Михайло остался один. Человек он был в Москве новый, знакомцев не имел. Михайло лежал и читал книгу, но не понимал, что читал, потому что ду-

мал совсем о другом. Перед ним, как рваные клочья облаков, пролетали воспоминания. Он видел себя то матросом на высоких неверных, раскачивающихся реях и знал, что, если посмотришь вниз, закружится голова от высоты и позовут к себе пляшущие в белой пене волны; то пленным на шведской галере; то плотником на верфях Ост-Индской компании в далеком Лондоне, куда ему удалось сбежать из шведской неволи. А затем пришли воспоминания ближние, нынешние. Ласковая фройлен Фиршт и ее разгневанный отец — антрепренер из прославленной труппы. Михайлу изгнали тогда из театра, что у Синего моста в туманном Санкт-Петербурге, даже не заплатив положенного жалованья. И вот он с крестьянским обозом перебирается в Москву, находит комнату на этом уединенном постоялом дворе в Зарядье.

За окном густели морозные сумерки, читать без свечи было уже совсем неподручно. Из объемистого мешка, хранившего все его нехитрые принадлежности, Михайло извлек свечку. Комната осветилась. Собственно, то была вовсе и не комната, а чердачная комора. Стол и деревянная кровать-развалюха составляли всю ее меблировку, но Михайло мог считать, что ему повезло: по случаю предстоящей свадьбы Петра II с Екатериной Долгорукой все постоялые дворы были забиты. Казалось, все дворянство России съехалось в Москву, зная, что где царская свадьба, там и царские милости.

Кто-то постучал в дверь — робко, словно заячьей лапкой. Из сеней пахнуло чердачным холодом, долетел неясный крик рогаточного караульного: «Славен город Москва! Славен город Суздаль! Славен город Владимир!»

Вошедший выскользнул из великанского, не по росту тулупа, и оказался маленьким господинчиком в засаленном градетуровом кафтане и длинном старомодном парике. Поклон господинчика был столь стеснителен, что Михайло невольно усмехнулся с беспощадностью молодости: под огромным накладным париком угадывалась лысина. Но глаза вошедшего, маленькие веселые светляки, обшарили Михайлу без всякого стеснения и тотчас отметили скудность пожитков постояльца.

— Мыслимо ли?! Михайло Петров, преславный актер Санкт-Петербурга, в этакой конуре! Моя госпожа, герцогиня Мекленбургская, и я, Максим Шмага, лучший медеатор Москвы, не потерпим такого бесчестия. Моя карета ждет. Едемте во дворец герцогини!

И, пока ошеломленный Михайло поспешно собирался, неожиданный посетитель успел выложить московской скороговоркой всю столичную театральную хронику. По его словам выходило, что театр герцогини лучший в Москве, потому как распоряжается в нем он, Шмага, что к водосвятию герцогиня и он собирались поставить «Дон-Жуана» и все уже было совсем готово, но комедиант Спиридон Теленков внезапно умер, и замены ему нет. О приезде же Михайлы ему донесли люди из московской труппы столь известного Михайле господина Фиршта.

— Не отказывайтесь, батюшка, не отказывайтесь! Я и сам роли еще не знаю, ну да за неделю любую выучу, а вы молодец такой, красавец, любая московская купчиха, а не то что Фирштова немочка, на вас обернется, вы и подавно роль за неделю вы зубрите. Да и на помощь мою крепко рассчитывайте. Что читать изволили? «Постоянный Папиньянус» — славная пьеса! «Амфитрион», Мольеруса?! Еще у господина Куншта играл. Пуфендорфий! Тоже читаете? И со мной, батюшка, бывало. Одно время от чтения совсем разум зашелся. — Максим Шмага не присел ни на минуту, не замолчал ни на минуту, не дал опомниться Михайле ни на минуту, и все, что он делал и говорил, казалось, доставляло ему такое удовольствие, что глаза его смеялись все ярче, а от первой стеснительности осталась только некоторая бестолковость в обращении с тулупом, который, впрочем, Шмага импеловал не иначе как шубой. Но вот и тулуп уже накинут на плечи, и, скрипя по свежему снегу, Михайло — модными петербургскими башмаками, Шмага — московскими валенками, комедианты забрались в «карету» московского режиссера или, как тогда говорили, медеатора, оказавшуюся на поверку обыкновенными розвальнями.

* * *

Герцогиня Мекленбургская Екатерина Иоанновна была в великом душевном расстройстве. У Брюса на дому немцы дают «Орфея в аду», в медицинской школе у лекаря Бидлоо ученики ставят «Прекрасного Иосифа», а в ее домашнем театре скончался несравненный Спиридон, знавший на зубок три десятка ролей. И надобно было дураку напиток и замерзнуть на улице. Подумаешь, обиделся: высекли его после спектакля. «Так не шути, подавай репризы вовремя, — все еще вела герцогиня мысленный спор со своим Спиридоном и, только спохватив-



шись, что Спиридон и точно помер, морщилась от неудовольствия, как от зубной боли. — Ведь как подвел подлец, знал ведь, что весь двор приглашен, что, может, сам царь будет! — и напился, и замерз, и ничего с ним не поделаешь!» От бессилия Екатерина Иоанновна даже любимые щи хлебала без всякого удовольствия.

— Не-до-сол! — Глаза Екатерины Иоанновны сделались пустые, водянистые. — Не-до-сол! — весомо, с расстановкой подвела она общий итог своих переживаний. И тотчас в полутемной горнице, на старинный манер уставленной множеством ларчиков, ящичков, коробочек и скамеечек, начался великий переполох. Лакеи, старухи-богомолки, отталкивая друг друга локтями, спешили в поварню — за кухаркой. Только толстый и полуголый мужик-сказочник, превший на перине на жарко натопленной печи, от врожденной лени шевельнул было ногою, но тотчас передумал и стих, преданно уставясь в пустые глаза повелительницы.

Екатерина Иоанновна сидела нечесаная, неприбранная, в одной сорочке, поверх которой накинута была лисья шуба, и не ела — ждала.

Дюжие холопы втокнули в горницу кухарку. Кухарка, робко переминаясь босыми ногами, уставилась на свои узловатые красные руки, боясь встретиться с пустым страшным взглядом барыни.

Екатерина Иоанновна махнула рукой: всыпать ей! — и изволила пошутить — для сладости! Герцогиня Мекленбургская славилась отменными шутками. Двое холопей навалились на робко вскрикнувшую кухарку, заголили. Засвистели розги, Екатерина Иоанновна истово перекрестилась и не без задумчивости принялась за щи. Глаза у нее повлажнели, поголубели. Дворян крестилась украдкой: отошла!

По полутемным переходам, в которых шмыгали то ли мыши, то ли странницы-богомолки, герцогиня прошептывала в свой театр.

Театральная страсть зародилась на Руси еще во времена Алексея Михайловича Тишайшего. Екатерина Иоанновна отдавалась своему увлечению со всей силой томящейся от скуки души. Она была герцогиней без герцогства, потому как муж ее, герцог Мекленбургский, вздорный сутяга и пьяница, изгнан был своими же подданными. Сопровождать герцога в его скитаниях по европейским дворам Екатерина Иоанновна наотрез отказалась

и вернулась в Москву на широкое салтыковское подворье своей покойной матушки царицы Прасковьи Салтыковой, жены брата Петра I Иоанна. Театр стал для Екатерины Иоанновны ее настоящим герцогством. Не только крепостных, но и тех немногих вольных актеров, что играли на ее сцене, герцогиня почитала своими подданными. За кулисами чадили сальные свечи (восковые берегли для спектакля), была та суета и тревога, которая всегда бывает на больших репетициях.

— Шмага, где Шмага? Парашка стихи забыла! — совсем замотался младший медеатор Семен Титыч.

— Парашка, я тебе! — герцогиня, забыв свою важность, метнулась на сцену. Парашка, толстая рябая девка, выряженная маркизом, в штанах и камзоле, тупо мигала карими большими глазами. Такую вот ничем не проймешь! Да и то ведь, грамоты девки не знают, вирши учат с голосу!

Герцогиня ткнула было сгоряча девку в бок, но та совсем оробела. Пришлось все заучивать заново. «Шмага! Где Шмага?» Екатерина Иоанновна вслед за Семеном Титычем заметалась по сцене. Наступила та минута, когда все, казалось, рушилось и пастораль рассыпалась. «Шмага, где Шмага?» — кричала Екатерина Иоанновна, проклиная своего медеатора и совсем забыв, что сама же послала его искать замену несравненному, но в бозе почившему Спиридону.

Шмага пришел, как он всегда умел, в самую решительную минуту. Вслед за ним вошел статный молодец в диковинном испанском плаще. Когда он скинул плащ и замер в почтительной позитуре галантного кавалера, Екатерина Иоанновна не без удовольствия хмыкнула: «Ай да Шмага! Ловок бес, такого молодца откопал. Нуда посмотрим, каков голос! Ему не токмо играть, ему и петь надобно».

Шмага взмахнул смычком, и в ту же минуту заиграл сладкую пастушечью пастораль оркестр, и выплыла Дуняша: стройная и румяная, волосы украшены цветами, голубой камзол переливается серебром и золотом, в руках пастуший посох с алыми и голубыми лентами. И надо же — дочь простого садовника, а почитай, первая танцорка на всю Москву. И этот молодец славную с ней пару составит в новогоднем спектакле. Ни на одной московской сцене такого дуэта не будет! Герцогиня была очень довольна своим новым приобретением.

ГЛАВА 4

Новый год даже у самых несчастных вызывает надежду, самым счастливым дает веру в свою судьбу. И как хотелось одинокому человеку, случаем заброшенному в Москву, чтобы приветливо открылись и для него чьи-то двери. Ни в одном городе не хочется так расстаться со своим одиночеством, как в новогодней снежной Москве, а ведь Михайле пришлось побывать за свою странную и неустроенную жизнь и в Стокгольме, и Лондоне, и Амстердаме, и Санкт-Петербурге. И так хотелось в свои тридцать лет иметь и покой, и счастье, и семью. Неужто актерам отказано в этом счастливом отдохновении, как отказано скорбившемуся, сразу постаревшему, стоило им выйти из театра, Максиму Шмаге. Они шли на постоянный двор в жалкую комору Михайлы, потому как у Шмаги не было даже и такой отдельной коморы. Преславный медеатор ютился у герцогини Мекленбургской вместе с другими актерами в общем флигеле для дворни.

Актеры шли усталые, потому что никогда так не устают господа — комедианты, как на праздники, когда и начинается для них самый тяжелый и утомительный труд. Герцогиня Мекленбургская уже переделалась и умчалась во дворец, на новогодний машкерад; дворня в ее отсутствие сидела за присланным с барского стола пивом и гданьскою водкой, весь дворец герцогини был полон новогодней праздничной суеты, и только в театре шли репетиции. Даже и сейчас, шагая вслед за Михайлой, Шмага весь еще был погружен в театральные заботы, и мысли его как-то перескакивали от неисправной малой люстры до далекой Испании, где бродил по благоуханным апельсиновым рощам Дон-Жуан, сопровождаемый слугой своим Филиппином.

Михайло и Шмага из тихих переулков свернули к Моисеевскому женскому монастырю и угодили вдруг в шествие славильщиков. И понесло их оно с собой, завертело, закружило. Оленьи морды, святошные хари, толстобрюхие турки, пьяные монахи и бравые солдаты — вся честная развеселая ряженная компания кричала, визжала, ухала и распевала коляду.

Коляда, коляда,
Посконная борода! —

кричали мальчишки, которые, как вестники праздничного шествия, летели впереди ватаги.

Отпирай ворота,
Выноси пирога!
Кто даст лепешки,
Золоты окошки! —

выводил красивым высоким женским голосом бравый солдатик, закутанный в длинный кавалерийский плащ.

Кто даст каши,
Золотые чаши! —

подхватил Шмага. Дон-Жуан и Филиппин легко вошли в общий хоровод, круживший по московским улицам. Из одних домов выносили пироги и пиво, вино и жареных гусей, из других — яйца и творог, в третьих приглашали за стол!

Уродилась коляда
Накануне рождества
За рекою за быстрою!

Михайло очнулся только в большом трактирном зале постоялого двора. Бас его гремел, покрывая музыку мужиков-ложечников, отбивавших «Комаринского».

— Твой голос, Мишенька, — чистый звон! — говорил Шмага. — Герцогиня, она хоть и зверь, а в голосе смыслит. Веришь ли, когда ты рявкнул мне: «Фи-ли-пине!» — она аж икнула, а это, всем ведомо, у нее первый знак удовольствия.

Перед глазами плыл деревянный трактир с домашним теплом и домашними запахами: кислых щей, наливки, моченых яблок, сушеных грибов. По витой деревянной лестнице загремели пьяные — спускали здесь тоже по-домашнему, в шею по лестнице.

Шмага полез целоваться с голосистым солдатиком, сорвал с него треуголку. По плечам солдатика рассыпались золотистые волосы. Солдатик сорвал маску.

— Батюшки, да это же Дуняша, — протрезвел Шмага.

За общим столом ахнули: ай да баба! Дуняша вскочила, бросилась на улицу. Михайло с трудом нагнал девушку.

— А что? — спросила она сердито. — Может, я в последний раз гуляю? — В голосе ее были нежданые слезы. Сказала уже тихо, без вызова: — Продать меня хочет барыня. Немцу одному, Левенвольде. — И вся притихла, съезжилась под горячей рукой Михайлы.

У Моисеевского женского монастыря чадили два выносных очага. Монахини бойко торговали блинами. Коляду монахини не подавали. Известное дело — коляда не христианский — языческий обычай.

* * *

На Неглинном, расчищенном от снега пруду в эти новогодние дни усатый, очень серьезного вида русский немец или голландец какой предлагал желающим новое и неслыханное развлечение. Возле его палатки толпились мальчишки, знатные бары и барышни, простой народ разного звания. Всем было любопытно и всем было страшно первыми выйти на лед на голландских железках. Рядом, с соседних гор лихо мчались салазки — старая и надежная забава. А здесь...

Наконец один господин, — румянощекий, полный, затянувший живот в короткие бархатные штаны, — сбросил подскочившему лакею шубу, переобулся в голландские башмаки с железками, оттолкнулся и покатил по гладкому льду, оставляя за собой две ровные серебряные полоски, протянувшиеся через весь пруд к мельнице-ветряку. В толпе ахнули.

— Василий Никитыч, не упади! За тобой еще недописанная российская гиштория! — крикнул ему вслед молоденький кареглазый офицерик. Две хорошенькие девушки, которых сопровождали офицер и Василий Никитыч, прыгнули в рукав, глядя, как заколебался отважный конькобежец на повороте. Но Василий Никитыч Татищев недаром несколько лет прожил в Швеции, где и выучился искусной забаве. Он сделал изящный пируэт, выпрямился и стремительно понесся по кругу. Барышни забили в ладоши. Дуняша не выдержала, тоже захлопала. Девушки и офицерик оглянулись с любопытством.

— Прокатимся? Аль боязно? Я ведь тоже обучен этой забаве, — предложил Михайло. Дуняша задорно тряхнула головой.

— Нисколечко не боюсь!

Михайло с ревностью перехватил горячий взгляд офицера.

Когда Дуняша, в шубке, наброшенной на плечи, и полосатой широкой юбке, выкатилась, боясь упасть, на лед, офицерик рассмеялся: «Браво, Коломбина! — и, обратившись к барышням, разъяснил:

— Да ведь это актерка толстой герцогини.

Девушки — княжна Варвара Черкасская с подругой, Натальей Шереметевой, — вздернули плечиками: «И мы не боимся! Дорогой Антиох, будьте нашим учителем!» И Антиох Кантемир, проклиная в душе своенравных красавиц, выкатился на лед.

Даже сбитенщики, продававшие горячий имбирный сбитень, бросили свои самовары, чтобы посмотреть на новую смешную забаву. Антиох Кантемир и его дамы, в мехах и высоких прическах, напоминали диковинные фрегаты, колеблемые штормом. Но и кавалер и дамы держались стойко и смеялись даже падая. И вслед им сначала бесстрашные мальчишки, а за ними и ухари молодецкие заскользили, полетели по льду.

ГЛАВА 5

Василий Никитыч Татищев, еще возбужденный утренним гуляньем и коньками, не без удовольствия переодевался к вечеру. Еще бы, наконец он добился своего и упрямый и гордый старик, первенствующий член Верховного тайного совета князь Дмитрий Голицын согласился принять его и показать древние рукописи, столь нужные для составления гистории российской. Друзья Василия Никитыча по ученой дружине: преосвященный Феофан Прокопович и князь Кантемир — недолюбливали старого Голицына, не столько за его старобоярскую спесь и гордость, сколько за неуважение и открытую насмешку над иными делами великого покойного монарха Петра I. Василий Никитыч мнение друзей своих о старом князе разделял, но с оговоркой, зная, что друзья его в сем случае имеют и личное неудовольствие против Голицына. Преосвященный Феофан встревожен был открытой дружбою между первенствующим членом Верховного тайного совета и Феофилактом Лопатинским, тверским архиепископом и его, Феофана Прокоповича, открытым недоброжелателем; Антиох Кантемир же переносил на этого верховника всю ненависть к старшему своему брату Константину Кантемиру, женатому на дочке Голицына и получившему, благодаря закону о майорате, почти все состояние покойного батюшки, господаря Молдавии Дмитрия Кантемира.

Потому поездку свою в Архангельское Василий Никитыч решил хранить в тайне. К тому же встреча носила

и другой, не научный, а политический характер. В конечном счете даже Феофан и Антиох соглашались, что старый Голицын — единственная фортеция против безудержного разгула временщиков, князей Долгоруких.

Всем было ведомо, что только гордый Голицын осмеливался еще явно оспаривать в Верховном тайном совете голоса временщиков — скорых родственников Петра II.

Потому Василий Никитыч, хотя и порешил скрыть поездку от своих друзей, ехал в Архангельское с чистой совестью. Настроение его было превосходное, и, по-молодому перепрыгивая через ступеньки, он сбежал с крыльца строгановского подворья, где проживал на правах друга и родственника барона Сергея Строганова. Вскоре парадный выезд (Василию Никитычу как статскому советнику и хранителю Монетной конторы надлежала по регламенту четверня дугом) мчался уже по праздничным новогодним московским улицам.

У харчевен и лавок возле Василия Блаженного была теснота от новоманирных карет, старинных рыдванов, извозничьих роспусков. Василию Никитычу беспрестанно кланялись, и он кланялся, все покупали, и он (слаб человек!) не удержался, остановился у выносных очагов, что возле старой Комедиантской храмины, и купил жареной рыбы. Ел, уютно устроившись на атласном сиденье, и сам себя оправдывал: старый-то князь, по слухам, скупехонек, так что на ужин в Архангельском рассчитывать нечего.

Карета с трудом пробиралась через Китай-город. Гомонили, кричали торговые ряды: иконный, седельный, котельный, красильный, шапочный, суконный смоленский, суконный московский. Проезжали ряды рыбный, селедный, луковый, чесноковый, калашный. Валил народ из кабаков и погребов питейных, плясали мужики возле выносных кружал. Глаз радовало яркое цветное платье купчих и приказчиков, катилось вдоль Большой Ильинской разноцветное шествие приезжего люда, алыми, лазоревыми, вишневыми буквами и картинками поражали пестрые вывески. Сие была Москва! И Василий Никитыч, как истый москвич, не мог не порадоваться на эту праздничную суету и суетоку.

«А еще говорят, скудно живем! Товару, словно Волга разлилась». Статский советник Татищев состоянием дел российской коммерции был отменно доволен. А ведь и тут

не обошлось без старика Голицына. Увольнение коммерции от строгого регламента — его рук дело!

Василий Никитыч задумался: «Удивительный человек князь Дмитрий! Для близорукого взгляда — боярин; на словах полный ревнитель старины, враг иноземцев и иноземных обычаев; для государственного взгляда (а Василий Никитыч уже по роду своей службы в Монетном дворе — чеканном сердце государства Российского — был человеком государственным или, как тогда отмечали, дельцом) старый Голицын на деле и есть подлинный продолжатель петровских преобразований. Прочие члены Верховного тайного совета являлись в него нерегулярно, фортуна их была переменчива, и многие, как Толстой или Меншиков, с вершин власти были сброшены в Соловки аль Березов, и только этот старый князь осуществлял какой год подряд ту преемственность в делах, без которой немисливо правильное действие государственного механизма.

Карета меж тем выкатилась к праздничным балаганам на Москве-реке. Судя по пестрым вывескам, в балаганах показывали: птицу страус, что чрезвычайно скоро бегаёт, имеет особенную силу в когтях и ест сталь, горящие уголья и разного рода деньги; бородатую женщину; великана гермафродита; дочь некоего Репки, что, будучи всего трех лет от роду, играет на гусях двенадцать пьес. Празднично зазывали волынки, трубили рога, гудели гудки и сопелки, гремели бубны, заглушая звонкие крики мальчишек-разносчиков:

Здесь пироги горячи
Едят голодные подьячи!
Вот у меня с лучком, с перцем.
С свежим горячим сердцем!

Василий Никитыч опять не удержался (бес любопытства двигал многими его поступками), остановил карету у высокого, только что отстроенного балагана.

Толстый мужик-зазывала, в матросских штанах, обращался с помоста к собравшейся толпе, перекрикивая в медный рожок гомонящую публику.

Василий Никитыч опустил окошко кареты, и вместе с колючим январским воздухом ворвался пронзительный голос зазывалы, сообщавшего, что сейчас выступит «отменная английская мастерица». Из балагана и впрямь выскочила тоненькая вертлявая девица, бойко сделала книксен почтенной публике,

— Оная девица, — гремел медный рог зазывалы, — обе ноги вокруг своей шеи обвивает подобно галстуку...

Кто-то невидимый в балагане ударил в громовые тарелки. Девица опять сделала книксен.

— ...Закладывает свою левую ногу на правое плечо...

Девица задорно и без стеснения улыбалась прямо в лицо Василию Никитычу.

— ...Всем туловищем на руках стоит, а голову подведет под самую поясницу... — Снова прогремели тарелки, а лукавая девица, делая книксен, выставила хорошенькую ножку в белом чулке. Василий Никитыч крикнул, схватился было за ус, да вовремя вспомнил — сбрил!

— ...Правую ногу оная девица подымает и, обратясь кругом, подпрячет под плечо, а на другой ноге стоит неворошима! — ревел мужик басом. Лучезарно улыбалась молоденькая Венера, и все поплыло перед глазами Василия Никитыча. «Бесовка! Настоящая бесовка!» Такая же вот, в бытность его в Швеции, довела Василия Никитыча (сие он держал в глубокой тайне не токмо от домашних, но и от друзей) до дуэли с неким французским жантиль-омом. Хорошо, Василий Никитыч старый солдат, под Полтавой еще стоял в первой линии, отбилсЯ от француза, а иначе...

«Ах, амуры, амуры!» — Татищев был влюбчив и знал за собой эту слабость.

— Младенец двух лет показывает разные экзерциции, — ревел в медный рожок мужик-зазывала.

Но что за экзерциции, Василий Никитыч так и не успел узнать. Как вихрь налетели конные — в богатых, опушенных мехом плащах, в шляпах со страусовыми перьями. Толпа только ахнула — девицу стащили с помоста, перебросили поперек лошади. Василий Никитыч высунул было голову: «Кто такие? Как смели! Я статский советник!» Один из конных крикнул презрительно: «А хотя бы и сенатор!» Другой нагайкой сбил треуголку с головы Василия Никитыча. В толпе узнали конных, ахнули: «Царский любимец!» Тут и Василий Никитыч опознал Ивана Долгорукого. Сгоряча было выскочил из кареты, да куда там: конных и след простыл. Надобно было бы лететь жаловаться — а куда жаловаться, если император все жалобы на Ваньку Долгорукого передавал его отцу Алексею Долгорукому. Василий Никитыч махнул рукой, буркнул кучеру: в Архангельское! Старый Го-

лицын законы блюдет! Не даст спуску своевольному временщику.

Всю остальную дорогу Василий Никитыч в окошко не высовывался.

ГЛАВА 6

В полусумраке кабинета князя Дмитрия Голицына поблескивали золоченые корешки книг, матовым желтым цветом отливали переплеты из телячьей кожи лейпцигских и голландских изданий. Книжки с трех сторон окружали старого князя. С четвертой стороны, за высоким окном — Россия.

Василий Никитыч, не без любопытства наблюдавший старого Голицына, невольно усмехнулся своим мыслям: из нынешнего разговора с князем выходило, что буйную, страшную, горячую, бредовую жизнь послепетровской России, где все было невыверено, все не устоялось, не проверялось на прочность десятилетиями и веками, князь Дмитрий мечтает втиснуть в телячью кожу строгих законов парламентарной юрисдикции. Дико было слушать о том после недавнего происшествия у балагана. «Раз! — удар нагайкой, и треуголка статского советника Татищева валяется на снегу, а сам он с обнаженной головой, под насмешки и улюлюканье черни бессилен супротив двадцатилетнего буяна и кутилы, царского фаворита Ваньки Долгорукого. Вот она, наша российская жизнь! — с горечью думал Василий Никитыч, — а ваше высокопревосходительство, оказывается, сравнивает английскую и шведскую конституции — какая вернее и полезнее для России».

О старом Голицыне, мало с кем допускавшем дружескую близость, можно было судить только по его делам, но и тогда складывалось странное и противоречивое мнение.

Известно было, что именно по совету Голицына две трети русских офицеров-дворян распустили по их имениям на отдых и восстановление хозяйства, по его же совету снова перенесли столицу из Санкт-Петербурга в Москву и урезали кредиты для расширения войны в далекой Персии.

Все это шло вразрез с предначертаниями и узаконениями великого Петра.

Но в годы фактического правления того же Голицына сняты были отяготительные поборы, установленные в

годы Северной войны, списаны миллионные мужицкие недоимки, отменена строгая регламентация торговли, закрыта Тайная канцелярия, а в 1729 году и страшный Преображенский приказ.

Произведенное общее облегчение отодвинуло на десятки лет новый мужицкий бунт, пострашнее булавинского! Без петровского кнута и дыбы развивались новые ремесла и торговля, росли мануфактуры, прокладывали новые дороги и каналы.

Все это россияне видели и понимали, а чувства их вылились в одно слово: увольнение! Увольнение от жестокой и обязательной петровской службы, увольнение от постоянных войн, увольнение от регламентации коммерции, увольнение от страха перед Тайной канцелярией, застенками в Преображенском — все это было дано россиянам вот из этих сухих старческих белых боярских рук. Татищева всегда поражала особая нервность и взволнованность этих пальцев.

И какую великую мелодию могут исторгнуть эти пальцы из бесчувственного инструмента! Но ведь Россия — не оргán. Живое тело. Потому вряд ли вашему превосходительству удастся произвести еще одно увольнение — увольнение от самодержавия. Опасное увольнение!

Татищев прикрыл глаза, точно его беспокоил мягкий рассеянный свет свеч в бронзовом канделябре. Прошептал про себя: очень опасное увольнение. Ведь за увольнение царя-батюшки и мужички могут потребовать себе того... увольнения; коль разрушится вершина пирамиды, могут не устоять и низы. Перед сей страшной мыслью даже недавнее происшествие с Ванькой Долгоруким у балаганов показалось нечаянным и пустячным... «балаганным» недоразумением.

«А вы, оказывается, опасный человек, ваше высокопревосходительство!»

Мужчина в цвете сил — высокий, полнощекый, румяный, — Василий Никитыч посматривал на сухонького, быстрого старичка не без робости. А ведь почитал себя политическим смельчаком, с самим великим Петром осмеливался спорить, требуя веротерпимости.

Но чтобы вот так — Ванька Долгорукий тебе по шапке, а ты в ответ: ограничить самодержавие! — на это Василий Никитыч, самый просвещенный в политических делах ученой дружины, пойти не мог.

«А все потому, ваше высокопревосходительство, что вы мечтатель, а за окном-то не Англия или Швеция, за

окном Россия-матушка!» — хотелось крикнуть Василию Никитычу. Но ведь князь Дмитрий был не только мечтателем, но и первенствующим членом правительства — Верховного тайного совета Российской империи. И Василий Никитыч промолчал. И только когда Голицын закончил сравнивать образцы английской и шведской конституции, дипломатично развел руками и сказал с сожалением: «Все это так, ваше высокопревосходительство, но ведь у нас самодержавный монарх государь Петр II». Голицын сразу примолк и, повернувшись спиной к окну, бросил сухо: «И то верно. Все это так: пустые мечтания! — Точно преодолев в себе что-то, добавил уже учтиво: — Перейдемте-ка в рай библиотеки...»

Каких только книг не было в Архангельском! Вот сочинения Пуффендорфия «Об историях славных царств и станов, которые обретаются в Европе»; диковинная книга «Описания войн, или же как к погибели и разорению всякие царства приходят» на 140 листах.

Далее книги политичные: «Государь» преславного итальянца Маккиавелли; «Дискурсы политичные» Иоанна Христофора Эберта; «Камень опыта политичного»; «Министерство или правительство кардинала Ришелье и Мазарика, с политическим рассмотрением»; «История о державе французской» Иоанна Дебуссера на 1404 листах; «Новоумноженный политичного счастья ковач»... Книжки, книжки, тысячи книг!

Как мало было еще библиотек в России! И с такой, как голицынская, соперничали только библиотеки Брюса, Прокоповича да Еропкина. Но нигде не было столько древностей, сколько в прославленной библиотеке Архангельского.

Любовно перебирал Василий Никитыч старинные летописи, хронографы, статейные списки, государевы грамоты и указы, польские и латинские хроники. С тех пор как в 1719 году Брюс убедил его заняться составлением российской истории, не раз приходилось держать ему в руках старинные летописи и документы. И все же никогда не приходилось видеть столь драгоценного собрания. Во всем угадывались рука и вкус хозяина. Как много рассказал Татищеву подбор книг о думах и замыслах старого князя. Взять, например, сей изограф. Василий Никитыч даже вскрикнул, восхищенный, когда князь Дмитрий, с обычной для него молчаливостью, протянул редчайшую грамоту времен Смутного времени и «семибоярщины»: условия избрания на русский престол коро-

левича Владислава. Бояре требовали, чтобы были расширены их права, чтоб от них зависела перемена законов, чтобы не было казней без приговора боярского и думных людей, что для науки вольно каждому из народа московского ездить в другие государства и государь у них за то вотчины, имения и дворы отнимать не будет. И вот самое главное: король не может требовать никакой подати без согласия думных людей; чтоб во всех случаях государь говорил и уряжал по обычаю Московского государства с патриархом и освященным собором, со всеми боярами и всею землею.

Что и говорить — грамота редчайшая! То, что Романовы сожгли все подобные грамоты и в том числе запись, данную Михайлом Романовым при венчании на царство в 1613 году, Василий Никитыч знал наверное. Как же эта попала к старому князю? Ну конечно же, из сундуков Василия Голицына, деятеля Смутного времени.

— *Habent sua fata libelli* *. — Князь Дмитрий спрятал древнюю грамоту в потаенный ларец.

Да, зело любопытный министр и человек открылся в тот вечер перед добродушным Василием Никитычем. Такие вот потаенные властолюбцы готовы на новую Великую смуту, для них общество не регулируемый механизм, а океан, где бывают постоянные приливы, отливы и перемежающиеся бури. Эта и другие несвязные мысли приходили к Василию Никитычу, когда он возвращался из Архангельского. «Ну да все это и впрямь пустые мечтания, хотя мечтатель и столь видный министр», — твердо решил Василий Никитыч. Замелькали огни на горизонте, подъезжали к Москве.

ГЛАВА 7

В жизни каждого бывают месяцы и годы тягучие и однообразные, когда ничто по видимости не меняется. Но эти годы не проходят даром, они готовят те дни и часы, когда жизнь несется на бешеной тройке и все старые расчеты отлетают вместе со снежной пылью, а навстречу открываются новые дали: или ясные, или покрытые свинцовыми тучами.

Так случилось и с Михайлой, когда закружила его лихая новогодняя метель. И то сказать: в паре в нем была первая московская танцорка! Неделя минутой показа-

* Книги имеют свою судьбу (лат.).

лась — наступил крещенский праздник, а с ним и время спектакля.

В тот день Михайло запаздывал в театр: спешно доучивал роль, более надеясь на фортуна, свой голос и суфлера-подсказчика, чем на свою память. Памяти было не до спектакля. Память возвращала лицо Дуняши, ее улыбку. Кровать в его низенькой каморке все еще сохраняла тепло ее тела, и оттого сама камора напоминала Михайле благоуханную апельсиновую рощу Андалузии из спектакля о Дон-Жуане. Дуняша уходила всегда на рассвете, спешила: девушек-актерок поутру пересчитывали преданные Екатерине Иоанновне юродивые богомолки, занимавшие крыло дворца, противоположное театральному.

День был ясный, морозный, от ветра и высоких звуков крещенского перезвона осыпался иней с деревьев, таял на лицах, но не мог смыть морозный румянец. Ноги сами летели по такому морозцу. Михайло вышел к Москве-реке и ахнул от людского половодья. Толпа москвичей черными галками по белому снегу покрыла набережные. Вдоль реки в три шеренги, вдаль, насколько хватало глаз, стояли полки, застывшие в торжественном церемониале. Ветер здесь, на реке, был злой, колючий: звонко хлопала по ветру полковые знамена, развевались белые и красные плюмажи офицеров, яркой медью сверкали знаки на кожаных касках гренадер, мрачно уставились жерла многопудовых мортир. Войска стояли неподвижно, и только по спинам солдат время от времени пробегала дрожь: то ли от крещенского мороза, то ли от значительности момента. Михайло перебежал было к повороту реки, но и за поворотом, уходя зеленой цепочкой в заиндевевшую даль, стояли войска. Побежал назад к Кремлю и чуть не споткнулся: рявкнули чугунные пушки, войска произвели троекратный ружейный огонь. Привстав на цыпочки, из-за тысяч голов увидел раззолоченный крестный ход, спускавшийся к проруби. И опять несколько впереди всех шел тоненький высокий мальчонка в открытом мундире — царь!

Лишь когда был отслужен молебен и войска, развернув знамена, церемониальным маршем прошли перед императором, тысячная толпа из Замоскворечья хлынула на лед. Отчаянные мальчишки, первыми сбросив с себя немудрящую одежонку, стали прыгать в ледяную воду проруби. Но Михайле было не до забав — он запаздывал.

Первым, кого он встретил в театре, был Шмага. К его

удивлению, медеатор не накинулся на него с упреками за опоздание, а лишь строго вздернул плечом и прошел мимо. Пасторальные девицы, которые, завидев его, всегда таинственно шептались и глупо смеялись, тоже как-то странно и неестественно потупили покрасневшие глаза. И только Екатерина Иоанновна была в полном восторге!

— Пришел, голубчик! Я же говорила — придет! — торжествующе крикнула она Шмаге. — Ну, переодеться, переобуться, спектаклю начинаться! — И, довольная своей шуткой, шурша новой юбкой, умчалась на сцену.

— Разве поначалу не пастораль пойдет?

— Нет, спектакль, — Шмага отвечал как бы через силу.

«Да что с ним?» — удивился Михайло, но расспрашивать было уже некогда. Налетел младший медеатор — пора было на сцену.

По обычаю, Михайло заглянул сквозь щелочку занавеса в зал.

Закоптелая позолота, грязные драпри у лож, семь печей, выходящих прямо в залу, ветхие декорации — все это для Михайла исчезло, отодвинулось куда-то перед волшебством театральных звуков: гудением праздничной толпы, разноголосицей настраиваемых музыкальных инструментов, затаенной суетой кулис. И завораживала пустая сцена, куда надо было сейчас выйти, и жить чужой жизнью, и заставить других поверить в эту жизнь.

Оркестр настроился, музыка божественного Люлли, словно звуки иных звездных сфер, поплыла в залу: слуги разом потушили свечи в боковых канделябрах, и зала погрузилась в полутьму и стала еще более таинственной и незнакомой. И только высоко у потолка малая люстра освещала голубой плафон с богом Аполлоном, летящим вскачь на эллинской колеснице навстречу богине Авроре. Впрочем, лицо у Аполлона было округлое, со здоровым московским румянцем, и чем-то неуловимым бог искусства напоминал Мину Колокольникова — известного живописца.

За кулисами меж тем суета и волнение достигли наивысшего предела. «Пер-нобль, пер-нобль где?» — голосил взъерошенный, со сбившимся в сторону париком Шмага, сам бывший в спектакле на ролях первого комика.

— Ну, с богом, — с неожиданной горячностью пожал

он руку Михайлы. — Иди и не забудь: держаться надобно каданса в речитативе!

Взвился занавес, и театральная Москва узрела Гишпанию.

Гишпания для Екатерины Иоанновны и выполнявшего ее предназначения Мины Колокольниковой была страной очень далекой и уже оттого разбойной, и потому декорации изображали мрачный и суровый вид. Герцог де Лириа, сидевший в почетной ложе, прикрыл рот платочком, чтобы скрыть смех и изумление. Екатерина Иоанновна, влетевшая в ложу из-за кулис, красная, распаренная, с масляным пятном на парадном роброне, — только что собственноручно проверяла подъемные механизмы, — взглянула на тощего испанского гранда не без самодовольства. «Французы говорят, что управлять труппой актеров сложнее, чем командовать армией», — учтиво заметил ей де Лириа. У него болела голова после вчерашнего кутежа с Иваном Долгоруким, а тут надобно было ехать к этой толстой и глупой герцогине, поскольку на спектакль ожидался император. Но его величество не приехал, а уйти из ложи значило навеки поссориться с влиятельной душой. Надобно было терпеть и льстить! Впрочем, этот русский Дон-Жуан подлинный красавец и голос чудесный. «За такой голос римский папа или кардинал Флери заплатили бы не одну тысячу дукатов, а тут пропадает в неизвестности!» На сцене между тем Дон-Жуан собирался посетить могилу командора. Шмага, игравший слугу, упрявился, простодушно, на старомосковский лад, ломая скоморошью фарсу о барине и слуге:

— «Фи-лип-пи-не, по-треб-но то-го ры-ца-ря на-вестить...» — гремел Михайло.

— «Боюсь, мой господине!» — лукавой скороговоркой выводил Шмага.

— «Фи-лип-пи-не!» — разгневанный голос Дон-Жуана прогремел, как пушечный выстрел. Тонко зазвенела люстра.

— Наградил господь глоткой непутевого, наградил! — рассмеялась добродушная тамбовская старушка-помещица, прикатившая посмотреть Москву и полюбоваться скорою царскою свадьбою. — У меня, батюшка, — без стеснения, во весь голос обращалась она к соседу, — кучер есть, так вот так же как раз заорет на лесной дороге. Веришь ли, разбойники от его крика попадали!!

Сосед помещицы на задних скамейках, что за партером, именуемых, в насмешку, должно быть, парадизом,

пожилой уже бригадир, помнивший еще первые петровские ассамблеи, презрительно пожал плечами:

— Да разве малый орет! Вот при государе Петре Алексеевиче сержанты водились, те точно орали, что твоя шведская пушка! — При сем приятном воспоминании бригадир не выдержал и закурил трубочку.

— Тьфу, батюшка, начал! — замахала руками помещица.

— А вы попробуйте-ка сами. Не из трубочки, так в нос запустите. Первейшее зелье, с нежинских огородов... дерет!

— Ну разве что супротив мороза...

— Нюхайте! Нюхайте, матушка. Ишь, его, сердечного, в деревню занесло.

— «Филиппине, не чаял я, что деревенские девки столь приятны и прохладны!» — признавался на сцене Дон-Жуан.

Зал похохатывал. Деревенские амуры ведомы были многим.

В воздух поднимались синие столбы табачного дыма. Старые питомцы петровских ассамблей дымили, точно при спуске стопушечного линейного корабля. Бог Аполлон на плафоне скрылся в синем тумане. Только иногда, как бы предвещая новые времена, пробивались нежные ароматы померанцевых деревьев и тонких французских духов.

— А не продадите ли вы мне, сударыня, своего кучера? Я, признаться, люблю, ежели кучер с голосом!

— Да дорого, батюшка, возьму-то, звонкий голос, он ведь больших денег стоит, — сплевывала на пол скорлупу кедровых орешков помещица.

Сама Екатерина Иоанновна, прижавшись полным плечиком к испанскому дюку и бойко нюхая табак из пришитого к платью кисета, давала разъяснения по ходу действия. Ее круглое, густо нарумяненное лицо в полусумраке и табачном дыму расплывалось в глазах де Лириа, у которого ломило в висках, в оранжевые круги.

На сцене перед Дон-Жуаном танцевали аллегорические девицы.

Рябая Паранька в белой юбке и лавровом венчике старательно выводила толстыми ногами замысловатые каприолы. Паранька изображала Чистоту, на что указывали и лилии в ее руках. Вслед за Паранькой проплыли Благолепие, Злость и Зависть со знаком Медузы Горгоны на груди. И только ожидаемая в сем известном танце

Нежность так и не появилась. Но тут занавес, к облегчению герцога де Лириа, опустился.

Под торжествующие звуки марша в полутемный и на мгновение примолкший зал вплыли лакеи в голубых ливреях с мигающими канделябрами в руках. И только завершился этот марш голубых слуг, как накатился вал антрактного шума.

— Митька, квасу! — надрывалась побагровевшая помещица, и Митька должен был отличить в этом многоголосии барский голос, поспешил в соседнюю лавку за квасом, и с бережением доставить его барыне, ежели не хотел в горячке быть высеченным прямо в храме Аполлона — случалось и такое в тогдашней Москве.

— Куда же вы? — полная рука Екатерины Иоанновны легла на унизанные бриллиантами холодные пальцы де Лириа. — Сейчас нам покажут интерлюдии — таких, ручаюсь, вы ни в Париже, ни в Мадриде не видели.

Де Лириа не имел сил сопротивляться.

— Где же Дуняша? — Михайло ценко ухватил Шмага за плечи. — Почему она Нежность не танцевала?

Шмага на бешеный взгляд Михайла горько усмехнулся.

— Сейчас будет, будет танцевать твоя Дуняша, смотри! — Он приоткрыл занавес на переднюю сцену, где обычно разыгрывались интерлюдии.

— Медведица?

— А ты думал, Нежность! Плохо же ты знаешь нашу герцогиню, коли думал, что не станет ей ведомо о ваших амурах. Донесли, голубок, донесли. Герцогиня поутру же прокаркала — не танцевать больше Дуняше благородные танцы, перевести в скomorошьи! Вот и пляшет медведицей из-за твоей беспечности. Смешит почтенную публику, а у самой слезы на глазах. Первая танцорка Москвы, и такое прощание с театром.

— Почему прощание? — голос Михайла отчего-то сорвался на шепот.

— Ты вольный сокол, куда захотел, туда и пошел. А тут, почитай, все актеры подневольные, господские.

Михайло оторопел. Поразительно было это возвращение из далекой театральной Гипшпании к московскому крепостничеству.

— Да что смотришь-то? Раньше надо было смотреть. А теперь поздно — продала барыня Дуняшу!

— Левенвольде?

— Ему самому, вон он, рыжий, в креслах сидит, животик со смеху надрыгает.

Михайло дико оглянулся в залу, в которой все, казалось, корчились от смеха.

Над интерлюдией «Поводырь с медведем» всегда смеялись, и не раз Михайло видел эту сцену, но тут ведь смеялись над его Дуняшей. Вспомнился утренний ее горячий голос: «Не пойду к Левенвольду, убегу, зарежусь, а не пойду к слизвяку».

Михайло очнулся от женского крика. Огромная датская собака, спущенная лакеями, набросилась на мнимую медведицу. И эту интерлюдию не раз видел Михайло в различных театрах и балаганах, только на роль медведя всегда выбирался дюжий мужик, способный справиться с любой собакой. Дуняшу же датский дог сбил сразу. Испуганный поводырь убежал. В партере послышались тревожные возгласы.

Одним прыжком Михайло оказался на сцене с обнаженной заржавленной театральной шпагой.

Дог отпустил свою жертву и бросился на нового противника, но отлетел, отброшенный страшным ударом, в партер. В зале начался переполох, металась обезумевшая от криков и множества людей собака. Барон Левенвольде в испуге полез в ложу, где сидели Варвара Черкасская и Наталья Шереметева. Сопровождавший их Кантемир с отменной любезностью, но не без насмешки, принял перепуганного барона на руки. Девушки беспечно смеялись над конфузом первого придворного щеголя.

И, перекрывая весь этот шум, раздался громовой голос Екатерины Иоанновны:

— Продолжайте спектакль, дураки! Собаку повесить, а между тем мы досмотрим, чем кончится трагедия.

Но занавес не поднялся. На опустевшей передней сцене одиноко лежала пустая медвежья шкура. На цыпочках вошедший в ложу герцогини Семен Титыч почтительно доложил, что герой-любовник и первая танцовка исчезли. «Шмага, где Шмага?» — грозно зарычала герцогиня, но оказалось, что и Шмага исчез. «Какой позор перед иностранным герцогом!» — Екатерина Иоанновна закрыла глаза, и совершенно напрасно. Воспользовавшись общей суматохой и замешательством, герцог де Лириа ускользнул из домашнего театра. На том спектакль и закончился.

Ночью она встала: пожелала пить после той тяжелой мясной, густо наперченной пищи, что была на столах в Лефортовском и до которой она была великой охотницей. Хотела крикнуть девок, но опомнилась: теперь у нее не девки — фрейлины из лучших домов России. Как-никак, царская невеста. Она усмехнулась своему отражению в ночном зеркале: высокая, стройная, с тяжелой короной темно-русых волос, продолговатыми кошачьими глазами на узком надменном лице. Княжна Долгорукая! Новая Екатерина! Да не какая-то солдатская девка, как Катя-ка первая! Рюриковых чистых кровей... Повыше самих Романовых. Тоненькая свечка перед высоким темным зеркалом задрожала, точно в тревожном предчувствии, а скорее от обычного сквозняка. Дрогнуло, поплыло зеркальное отражение, и ее лицо там, в зеркальной глубине, раздвоилось, словно было и не ее лицо, а кривляющаяся маскарадная маска. Но рождественские машкерады кончились, кончились, кончились... Дзень! Тяжелое венецианское стекло с грохотом рухнуло. Разбилась и черепаховая пудреница. «Так тебе и надо, дура, — будешь знать, как бросаться любимыми подарками в зеркала», — озлилась княжна на свою неосторожность.

На шум в дверь осторожно просунулась заспанная голова. Мусина-Пушкина — дежурная фрейлина. Толсто-рожая наседка сразу, конечно, заахала, запричитала. Разбить зеркало в крещенскую ночь — что могло быть хуже, по ее дурацким понятиям! Баба! Прогнала ее за квасом.

Квас пила в постели, холодный, пахучий, мятный. Жарко дышала огромная голландская печка, расписанная галантными жантильомами.

Болтала босыми ногами, разглядывала искусно нарисованные мужские фигурки, вздыхала: вспоминались рассказы испанского посла о мадридских красавицах. А ее любезник так перепугался, как она стала царской невестой, что и носу во дворец не кажет. Будто у царской невесты и сердца нет. Сладко вздрогнула: показалось на миг, что колыхнулась тяжелая штора. Вот сейчас обнимет, защекочет черными усиками под ушком...

Мерно похрапывала за дверью Мусина-Пушкина. Стало смешно. Да, господин дюк, здесь не Испания. Трещал мороз за окном, резко скрипели на снегу ботфорты часового перед окнами Головинского дворца, где-то вдали скулила собака. Долгорукая поежилась от озноба, нырну-

ла под тяжелое одеяло, сжалась калачиком. Вспомнила отчего-то серенький, подслеповатый осенний вечер — у них, в Горенках. Пьяное лицо, батин шепот: ты ему, Катя, не преяствуй, понимать должна — самодержец! Сам и вытолкнул ее в столовую, где на диване устало позевывал после охотничьего ужина Петр II.

Наверху заскрипел рассохшийся наборный паркет. «Батя не спит!» И сразу пришел гнев и на Алексея Григорьевича, и на братца Ивана. Зачем отложили свадьбу? Вспомнила, как во время обручения корона, прикрепленная к крыше ее кареты, задела за перекладину ворот и упала.

В толпе дураки и аллилуйщики заликовали: свадьбе не быть! А сейчас новая тревожная примета — зеркало!

Чтобы успокоиться, взялась за поздравительные письма. Поздравления с царской помолвкой, поздравления с неслыханным счастьем! От австрийского цесаря, прусского короля, тосканского герцога. Поздравляли принцы, принцессы, послы и посланники, свои и иноземные фельдмаршалы и генералы. Казалось, вся Европа, все дворы спешили поздравить будущую императрицу России. И тем досаднее было читать письмо дядюшки Василия Лукича. Этот писал, как всегда, лукаво: «Вчера Вы были мне племянница, а сегодня моя Монархиня. Вы из сего видите, что судьба человеческая от утра до вечера перемениться может...» За дверью раздался шум, тревожные голоса — все ближе, ближе... Стало вдруг по-настоящему страшно. Так иногда долгие опасения и предчувствия прорывают наконец заградительную плотину, и страх настолько подавляет человека, что он уже и не стыдится его.

Она набралась сил, приоткрыла двери, как бы в последнем усилии стремясь опередить опасность. Толстая, растрепанная Мусина-Пушкина, занявшая своими фижмами и оборками половину приемного покоя, разговаривала с румяным, по всему видать — только что с мороза, гвардейским офицером.

Говорил он громко, простуженным баском, округляя каждое слово: император Петр II изволил вчера на водосвятии простудиться и тяжело заболел.

ГЛАВА 9

В империи Российской имелся Тайный совет, Тайная канцелярия, тайные советники. Власть в России окружала себя Тайной, и оттого подданным было покойнее. Они

могли воображать, что власть, хотя и есть, но отсутствует, подобно древним египетским богам, которые прятались в овощи.

Император Петр II был, конечно, явной властью — ему присягали, и его все знали, но знали и то, что он не управлял — по малолетству и своим природным склонностям к псовой охоте. Ведомо было, что все дела решались в Верховном тайном совете, но кто именно решал там дела, ведомо было немногим.

Секретарь Верховного тайного совета Степанов был среди немногих. В то раннее январское утро он явился в Кремлевский дворец точно в семь часов, так как знал пунктуальность старого Голицына. Для секретаря из шести членов Совета власть воплощали два первых дельца: князь Дмитрий Голицын и немец Остерман. Только они являлись в Совет постоянно, и только они любили власть подлинную, а не показную.

Канцлер Головкин, который для всей России виделся канцлером и главой Совета, для Степанова был человеком, никогда не имеющим своего мнения и ведомым на умственной привязи. Василий Лукич, Михаил и Алексей Григорьевичи Долгорукие, занятые придворными обязанностями, тоже были в Совете залетными птахами.

Получалось, что для того, чтобы располагать в Совете решающим голосом, надобно было являться в него регулярно. Правило верное, впрочем, для всех коллегий империи.

Вот почему секретарь Степанов с привычной скукой притащился в Совет в семь утра и в ожидании неперемennого прихода Голицына и Остермана занимался чисткой перьев. Но скоро необычность этого серенького январского утра обозначилась для секретаря с потрясающей явью. Во-первых, прискакал слуга Остермана с донесением, что у его господина открылся приступ подагры, да и в глазах судороги. Болезни хитрого немца всегда были связаны со знатными переменаами. Последняя дипломатическая болезнь, как вспомнил секретарь, случилась во времена падения светлейшего князя Меншикова. Так что известие, принесенное слугой Остермана, являло первый знак.

Во-вторых, вместо старого Голицына первым пожаловал в Совет Василий Лукич Долгорукий. И это был другой знак.

Василий Лукич Долгорукий почти всю жизнь провел в Париже, где учился, служил и дослужился до посольского

звания. Так что привычки у этого бессменного русского посла были вполне парижские.

Просыпался он в полдень, мазал лицо антильскими снадобьями, расправлял предательские морщины, после чего опрыскивал лицо и голову парижскими духами. В два часа надевал парик, садился в известную всей Москве маленькую манирную карету, захлопывал дверцу с голыми купидошками и мчался по кривым московским улицам из дому в дом с визитами. Попадал на какие-то балы, обеды, куртаги, виделся со множеством нужных и непужных людей, и лишь когда вся Москва спала глубоким сном, возвращался домой. Словом, это был настоящий гербовой вельможа, и явление его в столь ранний час было другим несомненным знаком. Степанов знал, что Василия Лукича приглашают в Совет лишь по особенно тонким и деликатным дипломатическим делам, и тогда все секретари Совета командируются на изловление неутомимого холостяка, которого с одинаковым успехом можно найти и в гостиной знатнейшего вельможи, и в веселом доме разбитной солдатки Аксютки на Балчуге.

Правда, тот, кто отыскивал веселого петиметра, мог почитать себя счастливецом. Василий Лукич был щедр до расточительности.

Сбросив бархатную шубу с золотыми кистями на руки лакею, Василий Лукич ловко оправил накладные волосы, выставил вперед ногу, обтянутую шелковым чулком со стрелкой, извлек лорнет в черепаховой оправе и вперил взгляд в Степанова.

— Тебя, братец, не Максимом ли звать? — осведомился Василий Лукич без стеснения. Степанов не обиделся, потому как рассеянность дипломата была введена всей Европе. Учтиво поправил:

— Василием, ваше сиятельство.

— Да ты что, мой тезка? — снова взлетел черепаховый лорнет. Василий Лукич был явно поражен, что у него, князя Долгорукого, может явиться тезка из простых канцеляристов. Неловкое молчание прервалось каким-то визгом, и в чиновную контору вкатилось взъерошенное, возбужденное, скулящее, лохматое существо в лакейской ливрее. Степанов выпучил глаза.

— Ах, Бетси, Бетси! — Василий Лукич плюхнулся в кресло. — Ну я же просил тебя подождать в карете. Видишь, ты его напугала. Да не бойся, Максим, Бетси ручная.

Маленькая обезьянка, выряженная лакеем, и впрямь

ловко вскарабкалась на колени к Василию Лукичу, за-
тихла.

И тут Степанов услышал знакомые четкие шаги. Князь Дмитрий вошел в кабинет Верховного тайного совета так, как он входил в свой собственный. И если бы что-то помешало ему, то лицо его — сухое, морщинистое, с узким высоким лбом, думается, сохранило бы то же выражение уверенности в себе и спокойствия, которое дают долгие прожитые годы и выработанная, почти автоматическая привычка управлять людьми и обстоятельствами. И даже Василий Лукич, как не без ехидства отметил секретарь, развалившийся в кресле Совета, как в дамском будуаре, как-то поджал вытянутые ноги, деликатно побеспокоил обезьянку и приветствовал старого князя стоя. В ответ на версальский поклон Василия Лукича князь Дмитрий по старомосковскому обычаю притянул вдруг к себе щуплую фигурку дипломата и звонко троекратно облобызал его. За старым князем водилась эта привычка ошеломлять московских версальцев древними обычаями, но, кроме привычки, здесь крылся и особый расчет. Ведь не расцеловался же он, скажем, со Степановым (сухой поклон не в счет), а Василию Лукичу показал, что видит в нем равного и близкого человека, и Василий Лукич, хотя и не одобрял лобызаний и душистым платочком вытер щеки, как человек умный и политичный, это отметил.

Они сидели в полутьме комнаты, наблюдая, как занимается синеватый январский рассвет над кремлевскими башнями, и мысли их были примерно об одном, но никто не хотел раскрыть их раньше другого.

И открыли они свой Совет, так никого больше и не дождавшись, не с того, что их волновало (а волновала их нечаянная болезнь, случившаяся с императором Петром II, о которой они оба получили известие еще ночью), а с дел далеких и мелких.

Обсудили и составили указ об отпуске вице-губернатору Бибикову в Иркутск по двести ведер простого вина безденежно, командировали в далекую Гилянью в Северной Персии искусного инженера и двух кондукторов для составления ландкарты и описания новоприобретенных земель, произвели розыск о грабежах в симбирских деревнях цесаревны Елизаветы и только потом среди тех январских дел, решенных в Верховном тайном совете, мелькнуло: «О дозволении генерал-фельдмаршалу князю Михаилу Голицыну прибыть в Москву».

Под привычную диктовку князя Дмитрия Василий

Степанов выводил скорописью: «1730 г. генваря в седьмой день Его Императорское Величество указал: к генералу-фельдмаршалу князю Михаилу Михайловичу послать указ, ежели он пожелает на некоторое время быть в Москве...» — на сем месте Василий Лукич усмехнулся, вскинул ногу на ногу. Степанов, точно ослепленный, прикрыл глаза — сверкнули бриллиантовые пряжки на башмаках дипломата.

Василий Лукич прекрасно понимал, что фельдмаршал Голицын непременно пожелает прибыть в Москву. Сей герой России, у которого на Украине шестьдесят тысяч солдат, предназначенных против Турции, тотчас явится по зову старшего брата. И могущество Голицыных возрастет, а могущество Долгоруких пошатнулось уже из-за одной болезни императора. А ежели Петр II скончается? Что тогда? Сомнут, растопчут фамилию. Как предупредить падение рода?

Алешка Долгорукий — дурак, готов лезть на рожон, венчать свою дочь хоть с умирающим, только бы не делиться властью. Но Василий Лукич дипломат, он понимает, что Долгоруким придется делиться властью со многими. Но чем со многими, так не лучше ли поделиться с тем, кто и так ею обладает. И что, как не предложение союза, заключает утренний поцелуй первенствующего члена Совета?

И Василий Лукич ставит свою подпись под царским указом о вызове в Москву фельдмаршала Михаила Голицына. С ответной учтивостью князь Дмитрий соглашается ввести в Верховный тайный совет фельдмаршала Василия Владимировича Долгорукого. Указы царские, но в том-то и дело, что царь больше не может указывать. Отныне открыто указывают две фамилии. Верховный тайный совет становится явной властью.

А секретарь Василий Степанов послушно ставит гербовую печать империи.

ГЛАВА 10

Если разобраться, все мы на кого-то похожи. Еще в те времена, когда Феофан Прокопович был не Феофаном, а студентом коллегіума св. Афанасия в Риме Самуилом, иезуиты льстиво шептали ему, что он похож на покойного римского папу Урбана VIII и что быть ему русским папой. Но тщетны были надежды, которые связывал с ним орден Лойолы, — вернувшись в родной Киев, он снова

принял православие и получил четвертое по счету имя: Феофан. Так закончилось путешествие, начатое Елеазаром Прокоповичем, сыном мелкого киевского купца, из врожденного любопытства и жажды знаний.

Позади остались школы иезуитов в Остроге и Львове, где принял он монашество и получил свое первое новореченное имя Елисей, промелькнули школы в Кракове, Вене, Павии, Пизе, Ферраре, университет в Болонье и, наконец, коллегиум в Риме, где он был новокрещен и стал Самуилом.

Пожалуй, именно здесь, в высшем коллегиуме иезуитов, предназначенном для подготовки «христовых воинов» католицизма среди славянских народов, родилась у Феофана мысль об общей судьбе славянства и родилась мечта об объединении всех славян под скипетром единственной могучей славянской державы России. Не за страх, а за совесть служил, вернувшись в Киев, Феофан Прокопович делу Петра в тяжелую годину Северной войны. И был вознесен. Сперва стал ректором Киевской духовной академии, затем архиепископом Псковским и Новгородским, и, наконец, сбилось на свой манер предсказание иезуитов — назначен был вице-президентом Синода.

Достигнув столь великих чинов и званий, Феофан по-прежнему был прост в обращении и по-прежнему жаждал знаний. Кабинет главы Синода похож был более на кабинет ученого, нежели на обитель монаха: с книжными шкапами, с гравюрами Ганса Гольбейна, изображавшими «Пляску смерти», и морскими пейзажами славного голландского мариниста Сило. Вкусы Феофана в последнем случае сходились со вкусами покойного государя, портрет которого висел тут же с краткой энергичной латинской подписью P. R. I. (Петр I — император). Из окон было только изображение св. Софии, воплощавшей, как ведомо, премудрость божью и человеческую.

Даже в опочивальне преосвященного, вводя в искушение молодых монахов, прислуживающих архиепископу, висела вместо икон картина с изображением нагой Данаи.

Бабки-богомолки верили монашеским наветам, что преосвященный — колдун, к которому каждую ночь приходит ужинать черт, и что глава Синода не может даже говорить с монахом о праведной жизни без того, чтобы у него изо рта не шло синее пламя. По рукам в Москве гулял памфлет «Житие новгородского архиепископа, еретика Феофана Прокоповича». Рыли под него ямы в

Синоде супротивники Дашков и Лопатинский. Многим отцам православной церкви он стал негоден своей независимостью и яростной защитой не только памяти, но и дела Петра.

Зато были у него и верные друзья, сплоченные в единый кружок, любовно окрещенный самим Феофаном «учево́й дружиной». Пиита и сатирик Антиох Кантемир, историк Василий Никитыч Татищев, ученый-математик Брюс — все они боролись за российское просвещение, не хотели дать погаснуть светильнику, зажженному Петром. Никто не жалел так о кончине Петра Великого, как эти люди, и никто, как они, не желал так сильно, чтобы Петр II стал вторым Петром Великим. К несчастью, Петр II всецело находился под влиянием партии Долгоруких, и оставалось положиться токмо на время.

В тот серенький январский вечер преосвященный засиделся за полночь. Читал «Историю о разорении последнем Святого Града Иерусалима от римского цезаря Тита сына Веспасионова», написанную Иосифом Флавием. Мысли шли тягостные: о скорой царской свадьбе, которую он не одобрял, о крушении планов, связанных с войной против турок за освобождение славянства. Мысли шли и суетные: о кознях Дашкова, о своей судьбе, чем-то напоминавшей судьбу Иосифа Флавия. Ах да, он ведь тоже перекрещенец. От тягостных мыслей было одно спасение — действие, и такое действие представилось.

Феофан Прокопович не удивился, когда к нему ввели Шмагу и товарищей. К нему часто приходили с горестями и бедами, и в том была его сила, а вместе с тем и сила церкви. Да и Максим Шмага был его старым знакомым еще по Киеву, когда и сам он был еще молод и дерзок, писал трагикомедию «Владимир», в которой князь Владимир боролся с самим Дьяволом, а языческий жрец Жеривол поднимал на него все силы ада.

Феофан поднялся. Он был грузен, но высокий рост скрадывал полноту и придавал величие. Прогудел насмешливо, басом, в густую бороду:

Подвигну мертвых, адских, воздушных и водных.
Соберу духов, к тому ж зверей иногородних...

Шмага тотчас сообразил: не кланяться надо, не на колени падать — подпел тонким резким дискантом:

Совлеку солнце с неба, помрачу светла...
Депь в ночь претворю, будет явственна моя сила.

Преосвященный улыбнулся:

— Вижу, помнишь плод незрелых трудов моих. Рад тебя видеть. Зачем пожаловал?

И пока Шмага жалился на зверский поступок герцогини, перед Феофаном проходили картины молодости: цветущие сады в Киеве, смуглый загорелый бурсак Шмага, которому доверил он роль жреца Жеривола, первое представление «Владимира» и чувство стыда и захватывающей радости при этом представлении. И хотя он говорил Шмаге о своей трагикомедии не без понятной насмешки, говорил со снисхождением, с высоты всей своей дальнейшей счастливой жизни, в глубине души он так хотел вернуть те далекие дни киевской весны и молодости.

— Христос меня пронес, и пречистая богородица провела — выскочил, — заключил Шмага свой рассказ и бухнулся Феофану в ноги. Встали на колени и Михайло и Дуняша. Феофан некоторое мгновение помедлил. Ему пришла мысль о том, что эти новые люди — актеры и медеаторы, архитекторы и корабельные мастера, живописцы и гидротехники — не относятся ни к одному сословию империи, не чувствуют, должно быть, никакой твердой почвы под ногами и носимы ветром по России, как перекати-поле.

Впрочем, к Шмаге у преосвященного чувства были на свой манер даже родственные. С его легкой руки сей бурсак сменил рясу на скомороший колпак, так что Феофан чувствовал себя кем-то вроде крестного отца.

— Встаньте, и да говорит еще книга Левитская: «Брат от брата помогаемый, яко град тверд». — И, не дав снова пасть на колени, подмигнул Шмаге.

И Шмага, ах этот весельчак Шмага, прошелся по заставленному книгами кабинету архиепископа щепотной скоморошьей походкой.

Танцевала рыба с раком,
А петрушка с пастернаком,
А цибуля с чесноком!

Михайло только диву давался, до чего осмелел покорный медеатор толстой герцогини. А Шмага, точно почувствовав сомнения товарища, зашептал ему на ухо, когда преосвященный вышел распорядиться их судьбою: «С умным человеком самое страшное — скучным показаться!»

— Э-э, — недоверчиво протянул Михайло, — знаешь пословицу: поп всегда запеваётся.

— Ну, этот поп особенный, да и не поп он вовсе — колдун!

И точно, как в колдовской сказке, разрешилась судьба беглецов. Дуняшу преосвященный определил в Новодевичий монастырь в школу кружевниц, а актеров направил к доктору Бидлоо, который держал свой театр. Переговорить же с герцогиней о выкупе Дуняши Прокопович вызвался сам. Воистину то был особенный поп — колдун.

ГЛАВА 11

Как многие слабые натуры, князь Иван Долгорукий на возникшие в связи с болезнью императора опасности ответил по-своему — запоем.

Лишь я скок на ледок,
Окаянный башмачок,
Окаянный башмачок,
Подскользнулся каблучок! —

очнулся Долгорукий от пения девок в Серебрянских банях. Он лежал на верхнем полке, бездумно смотрел на деревянный потолок. Сладко пахло веником, квасом.

— Ну вот, ваше сиятельство, смыли художества, намыли хорошества. — Смоляная купеческая борода свесилась над лицом князя.

«Должно быть, хозяин!» — тупо как-то подумалось Долгорукому, а за этой первой сознательной мыслью пришли те, другие мысли из прошлой жизни, которую он, казалось, уже оставил и которые вдруг нагнали его здесь, на верхнем полке, как нагоняло Адама воспоминание о первом грехе.

«И впрямь Адам!» — Князь Иван застонал и перевернулся на живот, свесил вниз голову с мокрыми кудрями.

Не слыхала, как упала,
Погляжу, млада, лежу
Я на правом на боку,
Помираю со смеху! —

скрытые паром, плясали розовые жаркие девки. Ржали какие-то бесстыжие молодцы — должно быть, очередные его знакомцы, подобранные в московских вертепах. «Знай наших, Долгорукий гулять!» — гаркнул знакомый голос с немецким акцентом. Со звоном покатались золотые монеты. Девки взвизгнули, бросились подбирать золото.

«Никак капитан Альбрехт командует, давешний собутыльник!»

«My darling!» — теплые женские руки закрывают глаза. Обернулся — длинноногая рыжеволосая красавица. Глаза дикие, не то пьяные, не то сумасшедшие.

Этого еще не хватало. «Кто такая? Откуда?» Девушка хоть и не говорила по-русски, должно, поняла. Как лежала, длинные ноги к голове подтянула, выгнулась змеей: «Змея! Женщина-змея!» И, точно холодный морозный воздух, ворвалось воспоминание: Москва-река, балаган голландский, девушка на помосте, толстая рожа Васьки Татищева, а он его, статского советника, нагайкой по башке — бац! — девушку в седло, и поминай как звали.

— Недельку как гулять изволите! — гудит хозяин.

«Ну что ж, он может, он царский любимец, он волен что хочет делать. Только царь-то, Петруша-то, болел Петруша! Оттого и запой, что со страху. А он статского советника нагайкой! Сейчас самое время осторожным быть, а он нагайкой. Стыд, стыд». Но это был страх, животный страх перед неизвестностью. И как единственная надежда, выплывало круглое детское личико невесты. «Наташа! Наташенька, прости меня, дурака. Она простит, она добрая, она простит, она одна простит!» — одевался он как в лихорадке. Капитан Альбрехт увидел его одетого, вытянулся в струнку, доложил радостно:

— От вашего батюшки, Алексея Григорьевича, гонец прискакал. Велено доложить: государь выздоравливает!

И все сразу исчезло — и страхи, и эта баня, и похищенная акробатка. Осталось только чувство огромной радости, и в ушах, как в Успенском, прозвучало: аллилуйя! Аллилуйя! Спасен! И лишь когда схлынула эта волна, выплыло, как из тумана, улыбающееся, костлявое лицо капитана Альбрехта. Не было, казалось, никого дороже Ивану Долгорукому в эту минуту, чем капитан Альбрехт.

— Едем к Бидлоо, капитан, едем к царскому доктору.

Хотя пруссак твердил что-то о том, что батюшка Алексей Григорьевич ждет его в Головинском, он только отмахнулся и, вскочив в карету, которая неделю как носила его по Москве, приказал: «К Бидлоо!» Иван Долгорукий хотел самолично услышать от доктора о выздоровлении своего венценосного друга.

Капитан Альбрехт, напяливая мундир, только поражался такой быстроте и спешке. «А кто же мне заплатит?» — подступил было к капитану банщик, но, понюхав выразительный офицерский кулак, отвесил почти-

тельный поклон. Долгорукие не платили, их посещение было накладной честью.

И еще плакала акробатка-англичанка. Она так ничего и не поняла толком. Не знала даже имени своего похитителя. Но это было прекрасно. Первый раз в жизни ее похитили. А бросали ее не однажды и в разных странах. Но только в России ее похитили и дали неделю счастья.

Акробатка плакала и от счастья, и от горя.

Капитан Альбрехт счел нужным выдать ей десять рублей на слезы из княжеского кошелька. Остальные наличные (от двух до трех тысяч) остались в карманах немца.

После пережитых страхов тем краше показался Ивану Долгорукому гостеприимно освещенный дом доктора Бидлоо с высокой двускатной черепичной крышей, красневшей, как грудь снегиря, среди высоких заиндевевших деревьев аптекарского сада. Над входною дверью яркий фонарь освещал затейливую вывеску с изображением серебряной змейки, обвинявшей дымящуюся чашу. Свет из окон длинными теплыми полосами падал на аккуратно сметенные сугробы вдоль темных аллей. Все здесь дышало миром и уютом.

И когда князь Иван вслед за хозяином, маленьким круглым человечком, вошел в теплые сени, пропахшие душистыми ароматами летних трав, осенних цветов и пряных корней, и за ними с мелодичным звоном захлопнулась тяжелая массивная дверь, первое впечатление, которое охватило его, было столь редкое в тогдашней Москве, — чувство полной безопасности. Хозяин толкнул маленькую потаенную дверцу, и они, как в сказке, прямо из аптеки перенеслись в театр с его позолотой и шумом толпы, разноголосицей настраиваемых музыкальных инструментов.

Доктор Бидлоо был истым сыном доброй старой веселой Англии времен Стюартов: ненавидел постные пуританские лица. Широкий завитой парик с буклями делал его круглое лицо еще добрее, во рту точно бился в припадке неудержимого смеха серебряный колокольчик — доктор был известный московский старожил и забавник. В Медицинской школе, директором которой числился доктор, нередко анатомический театр превращался в театр действительный. Доктор слишком почитал Конгрива, чтобы отказаться от театральных удовольствий.

Вот и сегодня сборная труппа, состоявшая частью из русских, частью из приглашенных немецких актеров

труппы Фиршта, ставила живые картины в домашнем театре доктора.

Когда доктор Бидлоо и Иван Долгорукий вошли в боковую директорскую ложу, оркестр грянул увертюру из «Свадьбы Юпитера» Метастазиио. И это тоже было приятно Ивану, как напоминание о скорой двойной свадьбе: Петра II и Екатерины Долгорукой и его, Ивана, и Натальи Шереметевой. Ему кланялись, и уже по этим льстивым поклонам видно было, что все снова переменялось, опасность миновала, и доктор Бидлоо говорит правду, болезнь отпустила Петра II. Все снова стало на свои места, и вот искательно улыбается Остерман; забежал в ложу и со слезами просит вернуть прежнюю дружбу Пашка Ягужинский (то-то, не будешь раньше времени болтать о наследниках); с видимым восхищением глядят на царского фаворита придворные дамы. И так приятно слушать скороговорку доктора Бидлоо. У государя оказалась обычная простуда, а этот болван Блюментрост вообразил, что у больного худосочие и истощение и давал прохладительные напитки. «Это при простуде-то! — доктор Бидлоо всплеснул белыми ручками. — Да слава богу, на третий день наконец догадались вызвать к государю его, доктора Бидлоо. Не волнуйтесь, князь, — обычная простуда! А этот Блюментрост загубил уже Петра Великого! Великий человек умер оттого, что ему не дали лекарства, которое стоит пять копеек».

Звзвился занавес над маленькой сценою. А князю Ивану все еще чудилось, что невидимый хор поет сладкую песнь. Простуда! Обычная простуда!

На сцену меж тем выплыли актеры из труппы Фиршта. Дама с компасом и картой в руке представляла Мореплавание. Девица с двумя полными рогами в руках означала Изобилие. Декорльте у девицы — чуть не до пупка.

Иоганн Фиршт — директор и антрепренер немецкого театра — выглядывал из-за кулис не без волнения: у богини Помоны чуть было не упала с полных бедер повязка. Но волнение было напрасное, публика терпеливо аплодировала. Особливыми аплодисментами все встречали богиню Правосудия: высокую пышную немку. В руках богиня Правосудия держала римские атрибуты — меч и весы. Иоганн Фиршт почитал себя классицистом, и столь явное одобрение его замысла публикой вызвало у него улыбку. Улыбка у Иоганна Фиршта была странной:

казалось, что улыбались две половины голландского круглого сыра.

Особенно учтиво аплодировал богине Правосудия генерал с апоплексически красным лицом.

Иоганн Фиршт взгляделся и крикнул: эге, наша Лизхен понравилась первому полицейскому на Москве Андрею Ивановичу Ушакову!

Последней из красавиц Иоганна Фиршта выступила девица Поганкова, как она значилась в русской афише, или девица Паггенкампф, как писалась она в немецкой. В любом случае девица Поганкова была обычной дюжей немецкой девицей.

У себя в родной Швабии девица служила судомойкой в трактире, но в России получала жалованье как первая танцовщица. Танцевала обычно девица Поганкова фолдишпан с лестницей на голове, и танец этот почитался особенно трудным и шел в заключение. Толстая шея и полное хладнокровие девицы приносили ей всегдашний успех, успех колоссаль.

Но на сей раз то ли заемный оркестр князя Оболенского (предприимчивый князь сдавал этот оркестр с одинаковым успехом на свадьбы, спектакли и похороны) сыграл не в такт, то ли девицу Поганкову качнуло от ее обычных двух утренних кружек пива, но лестница упала, и получился конфуз. Доктор Бидлоо, конечно, рассмеялся первым, а за ним грохнул и весь зал, и Иоганну Фиршту смех тот показался обидным.

«Посмотрим, доктор Бидлоо, кто из ваших актеров выйдет на сцену? Какие-нибудь канатные плясуны-скоморохи!» — заранее злорадствовал Фиршт. Кому-кому, а ему-то было известно, что на доктора поступила жалоба, что доктор-еретик сманивает семинаристов в Медицинскую школу, где обучает не столько медицине, сколько богомерзостному скоморошеству. И Бидлоо запретили употреблять учеников Медицинской школы для домашних спектаклей.

В коротком антракте слуги доктора обносили зрителей имбирным квасом, мочеными яблоками и душистым медом. Разговор был общий — о выздоровлении императора Петра II. Знатные вельможи, иностранные министры, генералы — все стремились увидеть молодого Долгорукого, перехватить его взгляд, улыбку. Князь Иван, бледный, с лихорадочно блестящими глазами отвечал рассеянно и как-то насмешливо. Взгляд его бродил поверх голов собравшихся, точно разыскивая кого-то. Но вот

мелькнули два белых платья, и князь, неучтиво расталкивая толпу (генерала Барятинского ударил локтем в грудь, прусского посла толкнул в плечо, старого фельдмаршала Трубецкого чуть совсем не сшиб), бросился к своей нареченной. Наталья и ее подруга Варенька Черкасская в ответ на его учтивый поклон насмешливо присели. Варенька, та даже фыркнула: «Вы что-то бледны, князь Иван?» Наталья покраснела. Напоминание о шумных пьяных подвигах жениха было ей неприятно. Долго-рукий, однако, словно и не слышал вопроса. Он видел только свою Наташу, ее смущение, румянец, улыбку, и оттого все остальное: власть, женщины, слава — вдруг куда-то отодвинулось и стало казаться таким мелким и ничтожным, что он не ощущал уже настоячивых, пытливых, враждебных и восхищенных, сумеречных и покорных взглядов придворных. Это чувство делало его не то чтобы сильнее, оно поднимало его на такую высоту, на какую не мог его поднять сам царь. И никогда, быть может, он не чувствовал с такой силой счастье своей и ее молодости и никогда, ни до, ни после, не был так счастлив, как в эту минуту, в этом теплом зале, где горьковато пахло навощенным паркетом, новогодней елкой и ее нежными тонкими духами. «Пойдемте, уже начали», — говорила она, но тоже никуда не хотела уходить, и до боли приятно было ощущать тепло его сильных мужских рук, привыкших держать мужские и оттого важные предметы: шпагу, пистолет, узду норовистой лошади. Упорхнула насмешница Варенька Черкасская, ушла в зал публика, и они остались в кажущемся одиночестве. Когда князь Иван раздвинул тяжелые штофные портьеры, первое, что они увидели: темное небо с дрожащими свечами звезд. Самый большой театральный занавес, созданный природой, опускался над землей, и только влюбленные проникали за него, и только им в такие вот минуты смутно понятными виделись и жизнь, и смерть, и человеческое предназначение.

А за театральной дверью, украшенной пышными нимфами, разыгрывался малый спектакль, которым управляли людские страсти: Слава, Зависть, Корысть, Преданность и Предательство.

Распахнулся театральный занавес, и оказалось, что Фиршт не ошибся — доктор Бидлоо и впрямь пригласил канатных плясунов.

Объявлены были «Переодевки Арлекиновы на российский манер», — и когда вынесли канделябры, и подняли

люстру, и ярко освещенной осталась лишь сцена и рампа над темным провалом оркестровой ямы, оттуда, как в уличном балагане, раздался задорный рев трубы, и на сцену выскочил русский Арлекин — Родомант и русский Панталон — Петруха Фарнос.

Не дивитесь на мою рожу,
Что имею не очень пригожу, —

тонким гнусавым голоском проблеял русский Панталон, старичок, выряженный молодым щеголем.

Его большой приклеенный нос и впрямь походил на перевернутую зрительную трубу.

Три дня надувался,
В ганцбашмаки обувался,
А как в танцевальное платье оболосся,
К девушкам я приволокся!

«Этот уличный гаер, — отметил Фиршт, — был, надо сознаться, превосходным мимом». Вот он надувает живот, корчит уморительные рожи, напяливая тесные французские башмаки. Надевает на ходу пестрый жилет с отворотами, вышитыми золотыми фазанами, выливает на голову целую склянку французских духов и летит, раскачиваясь на особый галантный манер, к хорошенькой девушке, вынырнувшей из-за кулис.

Зал гремел от смеха, потому как каждый узнавал в Петрухе Фарносе своих знакомцев. «Переодевки Арлекиновы» имели полный успех. Всем была близка обычная человеческая история о двух молодых влюбленных и обманутом муже-старике.

Нравилась и хорошенькая Коломбина, порхающая от Пантолоне к Арлекину, нравился ее приятный голосок и умение ловко выставлять хорошенькую ножку из-под полосатой юбки (Андрей Иванович Ушаков в сем месте бешено забил в ладоши, точно и не шел ему пятый десяток). Придворные дамы жеманно щурились, поглядывая на красавца Арлекина: великолепный молодец, белозубый, с широкой грудью, со стройным станом, настоящий гвардеец, и откуда этот доктор Бидлоо его откопал?

Но особенно вся эта российская верхняя публика — в париках и буклях, французских кафтанах и жилетах, лондонских башмаках и венских туфельках — растрогалась, когда сей Арлекин, выряженный на французский

манер, загрустил, когда его покинула прельщенная деньгами Коломбина, и затанул природную:

Не травушка, не ковылушка в поле шаталася,
Как шатался, волочился удал добрый молодец
В одной тоненькой и полотняной рубашечке,
Что в той же кармазинной черкесочке.

От песни пахнуло степью, кострами дальних походов. И исчез вдруг куда-то задорный Арлекин, и явился добрый молодец. И как бы в довершение сходства Михайло сорвал парик и тряхнул буйным чубом. И впрямь переодевки Арлекиновы! А голос его, полновзвучный, красивый голос гремел в этом маленьком театральном зале, как голос той страны-матери, что жила своей особой жизнью за стенами театра.

Ах, ты чадо мое, чадушко милое!
Ты зачем, мое чадушко, напиваешься?
До сырой-то земли все приклонаешься?
И за травушку, за ковылушку все хватаешься? —

спрашивала доброго молодца матушка, и Михайло, казалось, про себя вел душевный разговор с ней, отвечая:

Я не сам так добрый молодец напиваюсь.
Напоил-то меня турецкий царь тремя поймами,
Что тремя-то было, тремя разными,
Как и первое-то его пойло — сабля острая,
А другое его пойло — копьё меткое,
Его третье-то пойло — пуля свинчатая.

Фиршт вздрогнул: так закричали, захлопали эти вельможи в париках и важные генералы, пудренные дамы и девушки в робронах. Громче всех выражала свой восторг цесаревна Елизавета. Она продолжала хлопать, несмотря на то, что все уже смолкли, и только когда приятельница и компаньонка цесаревны Мавра Шепелева потянула ее за платье, Елизавета села, простодушно объявив на всю залу: «А все-таки свое, природное, всегда больше нравится!»

«Дикари в париках! Мужички в фижмах! Природного им подавай! Ну я покажу природного». Во втором антракте побагровевший от гнева Фиршт на цыпочках приблизился к генералу Андрею Ивановичу Ушакову и отвесил нижайший поклон. «Ну говори, только скоро!» Генерал открыл табакерку и с важностью запустил по-

нюшку в ноздри. Фиршт скороговоркой сообщил, что актеры, только что ломавшие комедию перед глазами его превосходительства, — беглые людишки герцогини Мекленбургской — Максимка Шмага с приятелями. Генерал чихнул, то ли от крепости табака, то ли от изумления. Потом осведомился: «А девка чья? Тоже холопка? Хороша!» И по масленым глазкам генерала Фиршт понял, что ждет русских актеров. Однако сразу тащить их в Сыскной приказ генерал отказался: сначала посмотрим их, голубчиков, в третьем действии. Публика спешила уже в зал, заранее предвкушая удовольствие от новой комедии. Но комедия не состоялась. Когда пышный занавес с изображением греческих богов и богинь в париках взметнулся к потолку, на сцену твердым шагом вышел гвардейский сержант, подошел к суфлерской будке и отчеканил: «Господа, двор! Государю опять плохо! Потому все частные спектакли в Российской империи отменяются!»

Если бы на сцену выкатили шведскую пушку и выстрелили картечью, переполох не был бы столь сильным. Разряженные дамы, вельможи в орденских лентах, иностранные послы столь поспешно устремились к выходу, что, казалось, бегут с тонущего корабля. «Комедия кончилась, трагедия начинается», — было написано на всех этих взволнованных или испуганных лицах.

В сем переполохе актеры малой сцены скрылись. Генералу Ушакову было недосуг. Начинался большой политический спектакль.

ГЛАВА 12

По Москве насчет Долгоруких гуляли разные слухи.

В богатых дворянских особняках на Тверской и Никольской со значительными усмешками шептали, что в царской семье невестой недовольны, что в самом Верховном тайном совете раздоры, что среди генералитета и в Сенате имеется партия против Долгоруких и что дай срок! — но что крылось за этим «дай срок», оставалось невыясненным. Шептуны только разводили руками и заключали совершенно неожиданно, что на все есть особая воля государя императора, который, конечно же, непременно выздоровеет.

Среди купцов с опаской поговаривали, что Долгорукие известные моты и транжиры, что они снизят, наверное, пошлины ввозные на лионский шелк, испанский

бархат, брабантские кружева, парижские духи и прочую господскую галантерею, но, впрочем, господь может и не допустить, да и в Верховном тайном совете есть и такая персона, как князь Дмитрий Михайлович Голицын, а этот, еще с петровских времен известно, любит счет отечественной копейке, оберегает российскую коммерцию.

В простом народе ведали про Долгоруких эдно: знатные баре и крови мужицкой проливать не боятся. Старикам помнился еще князь Юрий Долгорукий, тот, что с отборными отрядами стрельцов, прозванных в народе мясниками, задавил восстание бесстрашного казацкого атамана Стеньки Разина. А в недавние времена булавинский донской бунт Петр I тоже доверил усмирять Долгоруким. И те постарались, загнали остатки булавицев к турецкому султану, разгромили станицы, и долго еще вниз по Дону плыли плоты с виселицами. Так что в народе Долгоруких помнили целые поколения.

Но народ не решал ничего. За Долгорукими стояло большинство в Верховном тайном совете, у них был свой фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий в армии, немало Долгоруких ходило в подполковниках и майорах гвардии, у них была, наконец, своя царская невеста, Екатерина Долгорукая, и милости почти своего императора Петра II. Все казалось таким прочным, устроенным на долгие годы, и вдруг из-за болезни Петра II все зашаталось.

«Хотя с властью всегда так, в тот самый миг, когда она кажется вам особенно прочной, она готова на вас обрушиться!» — прицелкнул пальцами Василий Лукич Долгорукий, расхаживая по малой кофейной зале Головинского дворца. Красные каблуки его позолоченных туфель звонко стучали по паркету, правая рука с табакеркой то и дело летала к носу, старческая голова беспокойно вертелась на жилистой красной шее, скрытой высоким жабо, и весь он был какой-то верткий, хлесткий, скользкий и ненадежный.

«Ох, продаст! Ох, продаст, француз!» — с прямолинейностью человека, всю жизнь проведенного на конюшне и псарне, подумал о своем двоюродном братце обер-егермейстер (по-старому, по-природному, — конюшенный и сокольничий) Алексей Григорьевич Долгорукий.

«Французом» Василия Лукича прозвали в семье не случайно. С семнадцати лет он жил более во Франции и

в иных заморских краях, нежели в дедовских усадьбах. Еще Петр Алексеевич не уселся прочно на престоле, как этот московский барчук, числясь в посольстве своего дяди Якова, уже обегал парижские гостиные. С тех пор счастье постоянно улыбалось любимцу фортуны. «Ишь, франтит!» — с раздражением отметил Алексей Григорьевич версальскую позу родственника.

Но получалось так, что без этого парижского пети-метра Долгорукие никак обойтись не могли. Издавна в старом боярском семействе учредилось негласное распределение ролей. Иван Долгорукий взял на себя придворную борьбу и интриги, фельдмаршал Василий Владимирович завоевывал фамилии воинскую славу, Алексей Григорьевич надувался за всех Долгоруких спесью, Василий же Лукич находился на положении семейного мудреца и оракула. Обойтись без советов своего семейного дипломата в тот самый миг, когда благодетель (красные кроличьи глазки Алексея Григорьевича увлажнились от преданности) при смерти, никак было нельзя.

За голубым от инея венецианским окном Головинского дворца смутно чернели бесчисленные деревянные избы Земляного города, покрытые пушистыми шапками январского снега. Мирно тянулись к небу вечерние дымки. Ах, какая тихая, спокойная жизнь текла за дворцовыми окнами! Алексею Григорьевичу с несказанной силой взмечталось вдруг забиться в какую-нибудь дальнюю свою деревеньку, отведать домашних рыжичков, запить кваском да забраться на широкую жаркую печку, с головой накрыться домашним тулупом и спать, спать — не мудрствуя, не упуская сладкие минуты. Ну а дочь? Екатерина? Неужели ходить ей в порупенных невестах? А к власти вместо старого боярского рода Долгоруких придут всякие новики!

Никогда! Черт с ней, с печкой! Долгорукие никому не уступят власть. Привыкли к ней за века-то. То же и Василий Лукич вот говорит. Француз французом, а все наших, семейных кровей.

Василий Лукич мотыльком кружил по малой гостиной вокруг кофейного столика. Сидевшие за столиком родичи тугодумно морщили лбы, с трудом успевали следить за его легкой рассыпчатой фразой. Василий Лукич повествовал о недавнем своем свидании с датским посланником Вестфаленом. Рассказ был доверительный и, чтобы не вызывать слуг, Иван Долгорукий, как младший на сем совете, сам зажег свечи. Заискрилось золото и се-

ребро за стеклом палисандрового шкафа, в блеске паркета поплыли смутные молочные отражения греческих богов и богинь, застывших по углам гостиной.

— Прощаясь, посланник прямо заметил мне, что смерть императора не освобождает нашу фамилию от государственных обязательств и что примеры того недавно имелись. — Василий Лукич строго обвел лица родственников: фельдмаршал и молодой князь Иван смотрят с явным недоверием. Алексей Григорьевич еще ничего не понял, остальные казались испуганными. Ясен был смысл посольских замечаний о государственных обязательствах семьи Долгоруких. Всем памятен был недавний пример возведения на престол Екатерины I. Ежели Екатерине, безродной чухонке, взятой Петром I из грязи солдатского лагеря, удалось с помощью Меншикова и Толстого сесть на престол после смерти своего благодетеля, то отчего же не повторить сие княжне Екатерине Долгорукой, опираясь на силу старого боярского рода? Намек датского посланника был удачным и зажигательным. Даже Алексей Григорьевич наконец догадался и ударил себя в восхищении по жирным ляжкам: «Удержим Катюшу на престоле, ей-богу, удержим!»

— Ерунду изволите говорить, сударь мой! — прервал расходившегося егермейстера фельдмаршал Василий Владимирович. Старый солдат, он известен был прямою и резкостью своего характера, за что много страдал. Ведь фельдмаршал был одним из тех немногих военных, что отказались дать свою подпись на смертном приговоре царевичу Алексею. При Екатерине I его снова призвали на службу, но назначение в Персию более походило на почетную ссылку. Когда наконец Петр II и Долгорукие свалили Меншикова, фельдмаршала отозвали в Москву. Но и здесь он тотчас разошелся со всем семейством и сделался ярим партизаном постриженной в монахини царицы Евдокии, первой жены Петра Великого, только что освобожденной внуком из заточения.

«К чему удивляться, что оный упрямец не принимает моих прожектов», — в иронической усмешке скривил губы Василий Лукич. И, щелкнув длинными белыми пальцами, принялся разбивать прямодушные домыслы фельдмаршала:

— Само собой, Катрин еще только царская невеста, по зато она княжна Долгорукая, а не чухонская портомойка. В ней есть порода, и у нее есть права. Чего же больше? И потом, церковь не запрещает венчаться с

больным. Напротив, всегда можно сказать, что такова последняя воля его величества! — Василий Лукич с прискорбием склонил набок голову.

Среди Долгоруких его слова вызвали своего рода радостное смятение. Власть, которая минуту назад уплыла из их рук, казалась им уже возвращенной.

— Но потребно еще царское завещание, — силился перекричать расходившуюся родню старый фельдмаршал.

— К чертям! — закричал Алексей Григорьевич. — Ты разве не фельдмаршал над армией? А в гвардии Иван приведет преображенцев, и Миша батальон семеновцев.

— Но для сего афронта потребны деньги!

Снова заметались по стенам высокие тени, тревожно зазвенел хрупкий саксонский фарфор, и только где-то на женской половине беспечально играли на клавесинах.

Василий Лукич, отойдя в уголок, не без насмешки наблюдал за своим семейством: широким беспечным старобоярским родом Долгоруких. Вековая привычка к власти и вечное безденежье, вечная гордость и вечное неумение сочетать оную с обстоятельствами, внутренние раздоры, накопившиеся чуть ли не со времен Василия Темного, и способность выставить в крайнюю минуту единую стенку — все это было завязано в тугую, прочный узелок, развязать который не смогли бесчисленные российские самодержцы.

Денег ни у кого, само собой, не нашлось, и все зашумели, принялись упрекать друг друга в мотовстве и транжирстве. Василий Лукич успокаивающе поднял руку, самому себе напоминая Зевса, удерживающего бег разъяренной волны. И стало понятно, что нужная субсидия найдется. И почти все догадались, откуда могут быть деньги у дипломата. Только от дружественной державы. Такой дружественной державой для фамилии Долгоруких была Дания, более всех других опасавшаяся голштинской ветви Романовых, претендующих на датский Шлезвиг и Люнебург.

Один только упрямый фельдмаршал все еще что-то бубнил о духовной. Напрасно Василий Лукич с усталой улыбкой объяснял правдолюбцу, что государи редко сами пишут свои завещания. Тот не понимал: «Ну а подпись? Иль подпись государеву может поставить некто другой?»

В тишине голос Ивана прозвучал оглушительно, как пистолетный выстрел:

— Да, бывает, что и подпись... за царя ставят.

Иван с насмешливым прищуром осмотрел своих притихших сородичей:

— Я! Я умею под руку государеву подписываться и бывало, — что-то почти безумное блеснуло в его глазах, точно он провидел свою собственную казнь, — бывало, уже подписывал, так что могу ту духовную подписать.

Последние слова он произнес на полупшепоте, и каждый вдруг ясно понял, что он присутствует не на обычном фамильном совете, а участвует в государственном заговоре. В мертвом молчании Василий Лукич подступил к князю Ивану, дружески взял его за руки: «Кто боится искушения, для того все покушение! С богом, племянник!» Все промолчали. Тогда Василий Лукич прибавил уже безжалостно:

— Завтра нам или царствовать, или в Березов!

На что один лишь прямодушный фельдмаршал ответил:

— Бог да простит и помилует всех вас и подобных вам дураков!

Семейный совет на том и закончился.

ГЛАВА 13

В Лефортовском голландские печи нещадно натоплены. В полутемных залах необычная тишина и оттого особая гулкость. Точно при торжестве. Может, потому, что смерть всегда торжественна. А смерть властителя торжественна вдвойне. Умирает не только человек: с ним умирает и его власть. Впрочем, власть умирает первой. Император еще жил, но лишился уже власти в своем дворце. Петр II не мог более указывать, кого пускать в свои покои и кого оставить за дверью. Верховный тайный совет отныне открыто выступил из тени императорской мантии, накинутой на плечи пятнадцатилетнего мальчонки. Совет начал распорядиться от своего имени. И во дворец впускали немногих. Разлетевшихся было к подъезду генералов и сенаторов так у подъезда и оставляли. В Лефортовском дворце было тихо, величественно, угарно.

В царской опочивальне, где толпились одни Долгорукие, душно, жарко. Здесь не до этикета: парики сняты, камзолы расстегнуты. В углу под иконами сжалась невеста в подвенечном платье: злая, бледная, с прикушенными до крови губами. Алексей Григорьевич, напротив,

весь разомлел, перекатывался по опочивальне, как квашня с взошедшим пышным тестом, — казалось, еще минута, и его хватит удар и тесто опадет.

Примчался наконец и Василий Лукич с домашним священником Долгоруких. Караульные офицеры отдали ему воинские почести. Василий Лукич Долгорукий замазал руками: некогда, некогда! — скрылся за дверь. Вскоре оттуда послышалось басовитое поповское гудение. Караульные офицеры переглянулись: никак венчание! Обратились к Дмитрию Михайловичу Голицыну. Тот сидел в покойном кресле прямой, строгий, со скукой поглядывал на заснеженную улицу. На вопросы не отвечал, только пожимал плечами, мало ли что мудрят Долгорукие! Но по его молчанию было видно, старик не одобряет всей этой возни. Еще меньше знал о венчании канцлер Головкин. После того как Долгорукие не допустили его царским именем в опочивальню, он прислонился к печке-голландке, грел зябкие руки. Других верховных во дворце пока не было. Офицеры пошептались, вернулись на караулы у царской опочивальни.

Потянулось медлительное ожидание. Мерно, равнодушно отсчитывали бег времени длинные настенные часы, украшенные скульптурой бога Сатурна: жестокого бога времени, пожирающего своих детей. В наставшей тишине князь Дмитрий почувствовал себя на какой-то миг не политическим деятелем, не вождем природной российской аристократии, а обыкновенным стариком, которому такие же вот часы отсчитают скоро его смертную минуту, как отсчитывают они ее нескладному мальчишке, что мечется сейчас за увенчанными царскими знаками — короной и скипетром — дверьми. И такими мелкими, смешными и незначительными показались все волнения сегодняшнего часа, так захотелось сесть в сани и лететь по свежему пушистому снегу, от запаха которого кружится голова, лететь в темноте звездной необъятной ночи домой, к своим любимым книгам и любимым внукам, в любимое Архангельское. Но князь не был чувствительным человеком, и вслед за сими покойными тихими мыслями вернулись мысли деловые, неотложные: близился великий час, коего он ждал всю жизнь!

И пришло одно решительное и твердое соображение: пора менять караул! Князь встал, распорядился. Новые караульные, надежные, заранее отобранные братом офицеры-семеновцы из любимого полка фельдмаршала Михаила Голицына, заняли по указанию князя Дмитрия



все выходы из царских покоев. Голицын подошел к дверям, прислушался. «Запрягайте, хочу ехать к сестре! Запрягайте!» От страшного предсмертного крика императора гвардейский часовой, стоявший внутри опочивальни, выронил ружье. Князь Дмитрий перекрестился: единственная сестра Петра II царица Наталья год уже как умерла. «Хочу к сестре!» — в последний раз долетело до Голицына, и почти тотчас двери распахнулись. Раскачиваясь, точно пьяный, не замечая Голицына, князь Иван выбежал на середину зала, выхватив кавалерийский палаш, словно безумный обвел лица семеновских караульных, выдохнул: «Господа! Император Петр Второй умер. Да здравствует императрица Екатерина!»

Семеновцы угрюмо молчали — своим начальником они почитали фельдмаршала Голицына, а не какую-то там Катюшку Долгорукую.

Округлыми, навывкате, бешеными глазами князь Иван обвел бесстрастные холодные лица офицеров, опознал наконец семеновские мундиры, голубевшие у черных выходов вместо зеленых преображенских, и вадрогнул: караул подменили! Отмахиваясь палашом от этих голубых кафтанов, как от бредового видения, попятился к опочивальне. Чья-то рука взяла его под локоть. Князь Иван обернулся, узнал Дмитрия Голицына и даже не удивился. Послушно спрятал в ножны палаш, вернулся в опочивальню. В дверях столкнулся с доктором Бидлоо и даже уступил ему дорогу. Вытирая обильную испарину с побледневшего высокого лба, доктор подошел к Голицыну, беспомощно развел руками. Тот посмотрел на серое, состарившееся от бессонных ночей лицо доктора и тоже развел руками. Так они постояли друг против друга, как бы удивляясь нелепости этой смерти, но удивляться долго не давали дела и новые заботы.

В полной растерянности подскочил Головкин. Князь Дмитрий, отпустив доктора, сказал канцлеру твердо: «В данных консидерациях потребно созвать Верховный тайный совет». Гаврило Иванович Головкин не мог, однако, сразу решиться. Вся свою жизнь Головкин был подставной фигурой на шахматной доске, где играли такие персоны, как Головин, Меншиков, Долгорукие. Но за этими персонами всегда стояла особа монарха. Власть же князя Дмитрия Голицына сей милостью не санкционировалась уже оттого, что монарха более не было. И было непонятно: следовало ли подчиняться Голицыну?

Князь Дмитрий в упор смотрел в выцветшие, мут-

ные глаза Головкина. «Почти одних со мной лет, а глаза совсем старые», — отчего-то подумалось Голицыну. У него глаза были зеленые, кошачьи, совсем молодые глаза. Головкин крутил головой, точно поджидал кого-то. Куда пропали Долгорукие, Остерман? Даже зять, Ягужинский, и тот исчез. А как нужен, как нужен для совета. Во всем зале они были двое, и им двоим предстояло решать, кто же будет избирать императора: сенат, генералитет или только они... одни... верховные. Последнее было страшно.

— Решай, Гаврила Иванович, решай! — настойчиво наседали Голицын.

Головкин с ненавистью посмотрел на его чисто выбритое холодное лицо. Такой вот не побойтса решать, да у него уже все решено, без меня решено, поежился канцлер, тщетно пытаясь перехватить взгляд Дмитрия Голицына.

И в этот момент он услышал шаги. Шаги нарастали, гулко звеня под лепными потолками высоких залов, терялись на секунду в глуховатых переходах и спешили, спешили...

По тому, как уверенно и быстро шел человек, по тому, как звенели ружья приветствовавших его часовых, выставленных в каждом зале, по тому, как безошибочно, не теряясь в переходах, он спешил сюда, где сейчас все решалось, Головкин уже проникался почтением и уважением к этому человеку, брюхом чувствуя, что с ним идет сейчас подлинная власть. И так как он всегда полагался на это свое особое чутье (оно-то и вознесло его на пост канцлера), то он даже вытянулся, точно заранее приветствуя незнакомца. И когда распахнулись двери и офицеры-семеновцы дружно взяли на караул, Головкин, даже не всматриваясь — кто? — склонился в галантном поклоне. Первое, что он увидел, подняв голову, было насмешливое лицо Дмитрия Голицына. А рядом с ним скалил в улыбке белые зубы черноусый, румяный с морозца полковник семеновцев Михайло Голицын, второй после Долгорукого фельдмаршал Российской империи.

Успел-таки, прискакал с Украины, вызванный братцем. А ведь у него на Украине отборная армия, да и в гвардии он первый любимец, особливо у семеновцев, полковником которых он состоит уже двадцать пять лет.

И Гаврила Иванович Головкин смирился, дал согласие на созыв Верховного тайного совета.

Для огромного большинства власть — вещь таинственная. Те, кто стоят к ней ближе и выполняют ее прямые приказы, находят ее глупым канцелярским механизмом. И только те, кто владеют ею, находят в ней поэзию и, следовательно, ее человеческую сторону. Историками также замечено, что власть не любит принимать решений в пышных дворцовых залах. Власть любит уединение. Может, оттого верховники не остались в Лефортовском дворце, где лежал покойный император, а перенеслись в свои покои в Кремле. Секретарь Степанов с постным и унылым видом зажег свечи, и неяркий дрожащий свет осветил грязноватую канцелярию с длинным, залитым чернилами столом, занимавшим почти все ее помещение. Вокруг этого огромного пустого стола по заведенному порядку рассаживались верховные персоны.

Даже в этот час они не сгрудились, не сбились на один конец стола, и оттого канцелярия по-прежнему казалась безлюдной с одинокими фигурами за массивным огромным столом.

Только двое из собравшихся держались спокойно и уверенно: Дмитрий Голицын да Василий Лукич. Первый оттого, что он все уже заранее продумал и решил, другой же по своему врожденному легкомыслию.

Остальным было тревожно и беспокоино. Алексей Григорьевич Долгорукий и Головкин совершенно потерялись из-за бессонных ночей, краха семейных интересов и нежданно свалившейся на них ответственности, оба фельдмаршала, Михайло Голицын и Василий Долгорукий, были растеряны, как бывают растеряны военные люди, оказавшиеся в кругу, лишенном привычной субординации. Император был для них прямой начальник, главнокомандующий, и теперь начальник умер. Было неясно, кого слушать и кому подчиняться в Верховном тайном совете, где все были равны.

Князь Дмитрий насмешливо оглядывал лица верховных. Давно ли здесь, в Совете, витийствовал Петр Толстой, высокомерничал Меншиков, гордо восседал герцог Голштинский... Где они? Одного за другим время свалило с их Голиафов, и вот сейчас время смирило и Долгоруких. Теперь они пойдут за ним — куда ей деваться, всей этой горластой, шумной семейке. Предобрый российских князей род! — усмешка с усилием подняла уголки жесткого старческого рта. Да, они пойдут отны-

не за ним. Но он поведет их не за фамильные интересы, хотя и их забывать не стоит, отнюдь не стоит. В политике ничего нельзя забывать.

И все же его мысль шире семейных, корыстных интересов. Его мысль — государственная. Частые идейки противопоставляют их друг другу, его же мысль — объединяющая. Он заставит их быть вместе! И тогда власть навсегда будет в их руках, — а значит, в его, князя Дмитрия, руках.

Старый Голицын даже глаза прикрыл от волнения. Вспоминались все унижения, через которые он прошел, выполняя чуждые приказы, беспомощно созерцая, как уносит Россию, его Россию, могучий, но мутный поток скороспешных преобразований, как выскакивают на первые места наглые, неизвестно откуда взявшиеся людишки, как ломают они на дыбе российскую историю. «Но не сломали! На-ко, батюшка, выкуси — не сломали!» — беззвучно рассмеялся князь Дмитрий, вслушиваясь в бессвязное жужжание голосов. Голоса были бессвязны оттого, что не прозвучал еще его голос. Он молчал, а они, казалось, уже заранее подчинялись ему.

Обсуждали вопрос о престолонаследии. Головкин предлагал в соответствии с завещанием* отдать престол внуку Петра I и Екатерины I, сыну их старшей дочери Анны Петровны от ее брака с герцогом Голштинским. Кильский ребенок, как называли мальчонку, будущий император Петр III, остался отныне единственным мужчиной в роде Романовых. Да и то боковой, сомнительной ветви. Тем не менее спорили до хрипоты.

Князь Дмитрий вслушивался в эти споры с затаенной злобой. Вспоминались самые тяжелые минуты в его жизни, когда его, Гедиминовича, за нелестный отзыв о солдатской женке Петра I бросили в застенок Тайной канцелярии, заставили покаяться и нести шлейф солдатки во время ее коронации. И он согласился. Не то чтобы испугался пыток или казни — не побоялся же его предок дыбы Ивана Грозного, не побоялся бы и он, но испугался, что все задуманное, все давно выношенное и обдуманное никогда не удастся осуществить. И ради того согласился.

Михайло Голицын, хорошо знавший вспыльчивый нрав брата, первым уловил его настроение и замолчал. Замолкли и другие. Даже Головкин и тот поглядывал

* Т е с т а м е н т — завещание.

выжидательно. В наставшей тишине князь Дмитрий как ножом отрезал:

— Катькиному завещанию всегдашняя цена: копейка за поцелуй! Та же цена и ее потомству — что кильскому мальцу, что Лизке-цесаревне.

Василий Лукич дипломатично хмыкнул: «Да, это не Версаль!»

Далее порешили быстро. После отстранения от наследства потомства Петра и Екатерины оставалось три дочери царя Иоанна — незадачливого брата Петра Великого. Младшую, Прасковью Иоанновну отвергли — слаба умом и престиж державы Российской поддержать не в силах. К тому же у нее был морганатический супруг, Дмитрий Мамонов, а плодить новых фаворитов Верховный тайный совет не собирался.

В том были согласны все. Потому сразу отвергли и старшую сестру Екатерину, муж которой, герцог Мекленбургский, всегда мог нагряться в Москву к своей жене-беглянке.

Оставалась Анна.

Фельдмаршал Долгорукий заикнулся, правда, о царице Евдокии Лопухиной, первой жене Петра Великого. Царица жила сейчас в Новодевичьем монастыре тихо, смиренно. Долгорукие задумались было на мгновение, точно пахнуло чем-то родным, старозаветным. Но князь Дмитрий отнюдь не собирался вернуться к византийской тишине и старомосковскому благолепию. Проект свой он строил не столько из прошлого, сколько из будущего.

Вот отчего в ответ на старолюбезные слова престарелого фельдмаршала он охотно разъяснил Совету, что с царицей Евдокией вместо фаворитов в мундирах явятся фавориты в рясах.

Эффект был чрезвычайный. Кто-кто, а Дмитрий Голицын знал наверное, в чем едины и старые боярские роды, и новая петровская знать: все они с завистью смотрели на огромные владения церкви. Со времен нестяжателей церковные богатства манили русскую знать не менее, нежели земли Крыма. После замечания Голицына царица Евдокия единогласным решением совета была оставлена доживать свой век в монастыре.

И тогда вернулись к Анне Иоанновне. Муж ее, герцог Курляндский, давно умер, но Анна по-прежнему оставалась в нищем Митавском замке, блюла высокие интересы Российской империи. Каждый год она обращалась в Верховный тайный совет с просьбой увеличить



E.P. 81

ее вдовый пенсион, и каждый год князь Дмитрий ей в сей просьбе отказывал. Нищая курляндская герцогиня была послушна Российской коллегии иностранных дел более, чем иная комнатная собачонка. Да и связей больших, опоры на Москве у нее не было.

«Так же будет она послушна и став императрицей — надобно только посадить ее на твердый пенсион», — полагал старый Голицын. Не случайно князь Дмитрий с таким прилежанием изучал английскую историю. Власть монархов всегда начинали ограничивать с того, что набрасывали на самодержавие крепкую денежную узду.

— Значит, Анна... — Голицын обернулся к секретарю, — пиши манифест.

Все облегченно вздохнули: «Ну вот, дело и сделано! Анна так Анна!»

Стали подниматься, зашумели, заговорили, полагая, что более решать нечего.

Голицын с горечью подумал, что ни один из присутствующих даже и не мечтает об иной форме правления для России, кроме самодержавия. Никто из них не видел перспектив, никто не мог представить Россию, яко корабль, плывущий в будущее. Все они исходили из потребностей одной, настоящей минуты, забывая и само прошлое, родившее эту потребность, и не стремясь догадаться о превращениях, что произойдет с этой потребностью в дальнейшем движении. Если что и менялось в России для них, так цифры: населения, бюджета, армии. Что касается политических учреждений, то они им представлялись вечными.

«Вечными!» Старый Голицын задумчиво посмотрел на серую моль, неведомо как залетевшую в комнату. Секретарь Степанов, уловив этот взгляд, махнул рукой. Моль заметалась, пролетела над свечою и опала, рассыпавшись. «Вечные учреждения! Эх, господа Верховный тайный совет!» Еще он, князь Дмитрий, помнит, как Юрий Долгорукий жег местнические книги Боярской думы. Давно ли сие случилось! Пятидесяти годков не прошло, а меж тем исчезло не только местничество, но и сама Боярская дума. «А вы мечтаете: вечные политические учреждения! Напрасно мечтаете. Река истории сносит самые прочные постройки».

Князь Дмитрий задумчиво забарабанил о канцелярский стол костяшками пальцев. И все стихли, точно придавленные молчаливым и загадочным видом Голицына.

Они все как-то почувствовали, что он ведаёт нечто, известное ему одному, но важное и нужное для всех.

— Так, значит, порешили... Анна? — решился переспросить скороспешный Алексей Григорьевич, обращаясь как бы ко всем. Дмитрий Голицын посмотрел на него своим всегдашним, уже насмешливым, а не отрешенным взглядом, пожал плечами:

— Воля ваша: Анна так Анна. — И затем, оглядывая помятые бессонной ночью лица верховных, добавил как бы вскользь: — Только надобно и себе полегчить, ась?

Верховные оторопели. Один Михайло, знакомый с тайными замыслами старшего брата, улыбнулся тонко, встал, позевывая, отошел к окну. Начавшаяся оттепель принесла с собой снегопад. В оттаявшее высокое окно видно было, как снег падал на голубые треуголки драгун. Фельдмаршал довольно рассмеялся. Драгуны взяли дворец в двойное кольцо.

— Как так... себе полегчить? — забормотал Головкин.

Князь Дмитрий не дал ему увильнуть:

— А так полегчить, чтобы себе воли прибавить! Понятно? — сказал он с напором.

Оторопь верховных, казалось, перешла в столбняк. Слово-то какое запретное — воля!

Но люди эти были все, в общем, тертые, политичные люди. И сразу же начали прикидывать и находить в словах князя Дмитрия то, о чем все когда-то думали наедине с собой. Ведь воля-то будет особая — их воля! И ох, как хотелось им этой воли сейчас, когда сядет на престол курляндская герцогиня со всеми своими митавскими любимчиками и салтыковской родней. И задумывались, а что, ежели и в самом деле рискнуть? И как бы выражая эту общую, но еще сомнительную мысль, фельдмаршал Долгорукий протянул задумчиво: «Начнем-то начнем, а удержим ли?»

Князь Дмитрий подошел к брату, посмотрел в окно на драгун, повеселел. Сказал звонко, точно с морозца, от которого по телу прошла радостная необъяснимая дрожь:

— Право, удержим! Только надобно в Митаву пункты отписать! — И, оглядев всех, добавил не без торжественности: — И по тем пунктам самодержавству в России поставить предел.

На засаленный канцелярский стол легла давно заготовленная бумага, исписанная строгим голицынским почерком,

И знаменитые пункты, сиречь, «кондиции», были единоголосно одобрены Верховным тайным советом. Отвезти «кондиции» в Митаву Совет поручил Василию Лукичу Долгорукому как человеку дипломатическому и отменно ловкому в обращении с царственным женским полом.

ГЛАВА 15

Мерцают пушистые сугробы в ночных закоулках. Безлюдно. Изредка проскрипит по снегу запоздалый прохожий да, постукивая в колотушку, пройдет ночной страж в тулупе с поднятым воротником. И опять ночь, мириады звезд и лунный дрожащий снег.

Наталья отошла от окна, зябко закуталась в пуховый платок, сняла нагар со свеч, мигавших на красном дереве клавесина. Осветилась фарфоровая посуда в шкафу, еще звонче затрещал за печкой сверчок. По-домашнему, совсем не страшно улыбался Вельзевул на старинной картине, привезенной батюшкой из далеких походов. Мысли были грешные и тревожные: все о нем, об Иване. Нежно запел клавесин под ее пальцами, а перед глазами стояла минувшая весна, пасха.

Раскачивались под апрельским ветерком зеленеющие первой робкой зеленью тополя в палисаднике Никольской церкви, резкими весенними звуками кричала пасхальная улица, поднимался пар от сырой, только оттаявшей земли. В купеческих лавках пылали яркие бухарские ковры, застенчивые, как анютины глазки, синели смоленские льняные холсты.

По уличным мосткам проплывали квашни-купчихи, шлялись из трактира в трактир, обнявшись за плечи, гвардейские солдаты, брэнчали на балалайках дворовые парни, визжали санные девушки, жалостливо просили подавание юродивые на паперти. Летела в тающие лужи шелуха семечек, орехов. Перед высоким резным крыльцом их дома — боярского дома Шереметевых — стоял подвыпивший мужичок с крашеным яйцом в руке, шурился на весеннее солнце и многозначительно, с московским распевцем, удивлялся: благодать! ей же благодать! А над всем этим людским половодьем, высоко-высоко над вершинами белоствольных тополей кричали грачи.

И вдруг послышались крики: едет! Царский любимец едет! Улица точно вымерла!

Они промчались гурьбой, нарядные, беспечные, на тысячных лошадях, разбрызгивая в стороны всех, кто

не сошел с дороги. И впереди всех скакал он. В золоченом мундире, забрызганном грязью, в небрежно сдвинутой треуголке.

Она высунулась из окошка, что было даже совсем неприлично молодой девушке, обученной политесу и европейским приличным манерам. Но небо было таким высоким, апрельским, и так хорош был наездник! До политеса ли тут! Она чуть не крикнула (а, может, и крикнула) — лишь бы обернулся. Он и в самом деле обернулся. Под треуголкой она увидела его молодое раскрасневшееся лицо с тонкой полоской усиков. Уже нянька, гувернантка и братец силой тянули ее от окна, а перед глазами все еще стояло высокое голубое небо, раскачивающиеся вершины тополей, небрежно застегнутый, забрызганный грязью мундир и родная, ей одной, казалось, понятная смущенная улыбка.

Вот и сейчас эта улыбка чудилась ей в смутно блестящих перламутровых клавишах клавесина, в музыке, в дальнем скрипе дверей в заснувшем доме.

Она всегда удивлялась, почему полюбила его. Это был такой опасный человек! О его похождениях шушукались все московские кумушки. И даже то, что он был царским фаворитом, было опасно. Ведь счастье фаворитов переменчиво. Но и почетно! Вот этот самый двор осенью был освещен горящими смоляными бочками. Рваные отсветы пламени освещали амбары, улицу, колыхание бессчетной толпы, собравшейся поглазеть на обручение Натальи Шереметевой с Иваном Долгоруким. Их обручение!

Она подошла к окну, схватилась за раму, напряженно вглядываясь в черноту ночи. И показалось, что снова услышала рев толпы, пушечные выстрелы под тосты высоких персон. Сам император поднимал бокал за их счастье. Их счастье! Она чуть не расплакалась. Счастье фаворитов переменчиво. Правду говорил братец. И все же сердце дрогнуло в надежде, когда услышала такие знакомые, милые шаги. Может, Иванушка привез добрые вести!

Двери распахнулись, и по тому, как неуверенно шагнул он в ее комнату, поняла, что надежды нет. «Только что от государя». Голос у Ивана хриплый, горький, незнакомый доселе голос. Он не смог говорить: схватился за косяк двери, заплакал. Еще никогда она не видела его таким беспомощным. И родилось ожесточение и ненависть ко всем, кто его заставил так страдать. И это

ожесточение сделало ее сильнее его. Обняла за плечи, отвела, усадила на маленький диванчик. Долго сидели в темноте, покинутые, одинокие. Но от того, что вместе — уже сильнее. Он рассказывал про смерть Петра, путался, сбивался, и потому, что было с кем поделиться, успокаивался, в нем даже просыпалась надежда. А в ней, чем больше он рассказывал, тем больше что-то кричало, рвалось: «Ах, пропали! Пропали! Пропали!» Ведь ей было всего семнадцать лет. Но при нем нельзя было плакать, и она не плакала, а только твердила злобно: «И что у нас за порядки, хуже, чем у турков: когда б прислали петлю, должны бы удавиться!» Он в ответ стал говорить о Голицыне, о великих замыслах, о «кондициях». Она верила и не верила, а тот тайный голос твердил по-прежнему: «Ах, пропали! Пропали!» За окном черная ночь обступила дом. Тоскливо бил в колотушку сторож. И только сверчок по-прежнему тепло, по-домашнему трещал за печкой. Иван замолчал. Она почувствовала, что ему снова страшно, и сделала то последнее, что могла сделать: сняла маленький крестик — подарок покойной матери, и они поклялись друг другу никогда не разлучаться. И долго еще в эту ночь плакал клавесин в доме Шереметевых.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

В Покровском любили фарфор. Разноцветные горки с фарфоровой посудой отражались в блестящем паркете. Распустили пышные хвосты искусно нарисованные фазаны на кафельных плитках теплых голландских печек. Утренний солнечный свет расцветил заиндевшие стекла, пускал зайчики на шелковых гобеленах с веселыми пастушками. Казалось, вся жизнь в этом доме нарисована улыбчивым изящным живописцем в кудрявом французском парике.

Хозяйка Покровского Елизавета Петровна любила богатые ткани, золото и фарфор. Особенно фарфор, потому что ее судьба — судьба вечно незадачливой невесты — была хрупкой до невероятности, а любовные дуэты кратковременны, как перезвоны фарфоровых чашек на утреннем чаепитии.

Иные затягивались на месяц, на два, но неминуемо прерывались, даже самые счастливые. Милых сотрапезников выдворяли из Покровского. Так исчез с утренних приемов Шубин.

Не более месяца прошло, как удалили на Кавказ Бутурлина. Ах, эта бесконечная персидская кампания! Там погибли лучшие гвардейские офицеры. И к чему это далекое и ненужное России смертоубийство. Нет, хозяйка Покровского предпочитала мир — не случайно она любила спать до полудня. Давно примечено, что чем дольше человек любит спать, тем миролюбивее его сердце и нрав.

Елизавета перевернулась на бок и вновь провалилась в сладкий, дурманящий сон. Ей снился летний незнаемый остров, полный птиц и цветов. Играли контрданс, нежную и сладкую мелодию, катились к ногам белые барашки синей волны. И она понимала, что сей остров и есть остров любви, но почему-то на нем не было ни одного гвардейского офицера. А разве может быть остров любви без гвардейского офицера? И вот она лежала в теплой пахучей траве, слушала пение птиц и ждала, ждала...

И тут посторонний шум прервал сладкое мечтание. Блекло-зеленые двери приоткрылись, и она услышала надоедливые и знакомые голоса. Столь знакомые, что еще сквозь дрему узнала: лейб-медик француз Лесток спорит с ее фрейлиной, Маврой Шепелевой. Лесток все-таки переспорил. «Ах Мавра! Мавра! Николи не устоит перед красавцем. Недаром болтают злые языки, что у нее один муж снаружи, а пятеро в сундуке», — рассмеялась Елизавета, наблюдая скользящую по паркету пару: изящного, похожего на фарфоровую статуэтку красавца лейб-медика и курносую голубоглазенькую Мавру. Ревнивым женским взглядом Елизавета оценила куафер Мавры: пышные волосы убраны под линейный корабль с мачтами, вокруг тонкой открытой шейки голубенькая повязка, низкое декольте украшает срезанная в теплице свежая роза: вот и вся она, вертушка и хохотушка, лучшая подруженька и хлопотунья, Мавра Шепелева. На нее Елизавета никогда не могла всерьез рассердиться, да ее обиды и не были долгими. Была отходчива, в батюшку. Лиза посмотрела на огромный портрет Петра I, натуаровской работы, висящий в светлом углу, и вздохнула невольно. Батюшка на портрете грозно топорщил усы. Такой бы не дал в обиду! На миг ее посетила печаль, и

она почувствовала себя не двадцатилетней российской принцессой, а Лизой-Лизанькой. Жалеть себя благо можно: она и впрямь круглая сирота.

«Но что там французик плетет о преемстве Петра II? И какой он смешной!» И точно, на своих тоненьких ножках Лесток был похож на кузнечика. Елизавета прыснула от неожиданного сравнения.

Ошеломленный Лесток сердито смотрел, как вздрагивают от смеха ее пышные белые плечи. Плечи чудные, но выходило, что она совсем не слушала его наставлений. Глядя на смеющуюся подружку, засмеялась и Мавра. Этой все равно над чем, лишь бы смеяться. «Стрекозы, милые стрекозы!» Лесток шаркнул ножкой. Елизавета Петровна изволила подняться с постели.

Высокая, пышная, царственная, в длинной рубашке до пят, точно погруженная в облако пены из белых кружев, эта голубоглазая красавица любого могла свести с ума. «Поистине, новый триумф Венеры!» — французик беспомощно развел руками. Елизавета Петровна не стеснялась своего лейб-медика — она вообще не очень-то стеснялась мужчин: была смелой красавицей, знающей свою чудесную силу. Перед крохотным туалетным столиком Елизавета на минуту задумалась, рассеянно перебирая драгоценные камни в шкатулке. Какой камень выбрать на сегодня? По травнику ведомо было, что алмаз имеет силу против отравы и бешенства, гранат же веселит сердце и прогоняет печаль. Она выбрала гранат. Подмигнула сама себе в зеркале, затем сделала строгое государственное лицо и обратилась с важностью:

— Я вас слушаю, господин Лесток!

Подскочивший французик на полусшепоте стал уговаривать ее собрать гвардию, показаться народу, ехать в сенат, предъявить Верховному тайному совету свои права, как дочери Петра Великого, на корону империи.

Дочь Петра Великого! Елизавета усмехнулась, вспомнив свое утреннее томление. Дочь Петра Великого хочет пока жить сердцем. А француз все нашептывал, нашептывал, и от его слов становилось холодно, точно сама старость стучала в двери вместе с его словами. Елизавета сердито прикрыла лицо веером.

В двадцать лет она желала танцевать, а не царствовать. И только прощаясь со своим огорченным другом, рассмеялась и сказала двусмысленно:

— Не расстраивайтесь попусту, мсье Лесток: были бы кони, а ездоки всегда найдутся.

Лесток раздраженно поклонился. Что он еще мог сделать, ежели даже поговорки в этой стране были загадочны.

ГЛАВА 2

Андрей Иванович Остерман полагал, что на жизненном пути есть минуты, с коих дорога разветвляется. Уловить такую минуту означало попасть в счастливый случай, выбрать из всех возможных направлений единственно безопасное. «Лови минуту» — девиз сей означал для вице-канцлера не наслаждения и плезир, а беспрестанную тревогу. Андрей Иванович с дрожью чуял опасности грядущих переворотов. Говорили, что болезни его суть мнимые, притворные, но он принадлежал к тем немногим счастливцам, которым стоит в нужный час убедить себя в какой-либо болезни, и признаки оной явственно проступают наружу. Посему, когда вице-канцлер говорил, что чувствует судороги в глазах, на другой день он ощущал эти судороги и поражал своих посетителей их правдоподобием, совершенно не прибегая к выдумке, отчего, наверное, и прослыл притворщиком и лицедеем. Да, люди всегда верят наружным признакам... И уметь вызвать их вовремя — чудесное свойство, настоящий клад для важных политических персон!

Вот и ныне он был решительно болен или почитал себя больным, запершись в своем невзрачном домишке, про который никак нельзя было сказать, что он принадлежал вице-канцлеру Российской империи.

Впрочем, всем было ведомо, что вице-канцлер скуп. Единственная роскошь, которую себе позволял сей новоявленный Гарпагон, была музыка. Ведь ничто так не лечит нервные судороги в глазах, как сладкое пение скрипок и фаготов, и разве не веселит душу бывшего военного полковой барабан? Так что надобно ли удивляться, что у Андрея Ивановича собралась небольшая компания истинных друзей и любителей музицировать. Само собой, скромным концертантам-любителям было далеко до виртуозов дюка де Лириа, но Андрей Иванович слушал музыку с немалым удовольствием. Он покойно устроился возле теплой голландки, прикрыв длинной жилистой рукой больные глаза, меж тем как музыканты, расположившись полукругом на пышном персидском

ковре (трофеей каспийской кампании россиян), с усердием возмещали недостаток мастерства старательностью пассажей.

Обер-шталмейстер барон Рейнгольд Левенвольде превосходно играл на гобое; преданный друг, высоченный пруссак капитан Альбрехт чувствительно пиликал на скрипке.

Но истинное наслаждение Андрею Ивановичу доставляла нежная игра Павла Ивановича Ягужинского на клавесине. Мягкое пение клавесина успокаивало, внушало надежду. А она так была нужна сейчас — надежда! Особенно после утреннего посещения. Андрей Иванович даже вздрогнул — вспомнил, как, подойдя к окну после утреннего кофе, увидел на сером снегу зеленые мундиры драгун и неспешно, со старобоярской важностью вылезавшего из зимних санок старшего Голицына. Сердце так и екнуло: в Сибирь! Разве не случилось самому Андрею Ивановичу вылезать с той же государственной важностью из саней, усмешливо поглядывая на мирный покойный дом, куда он внесет сейчас страх и смятение. Но все обошлось: Дмитрий Михайлович Голицын был почти любезен. Единственно, чего потребовал с твердостью: подписи под «кондициями».

Признаться, не хотелось, ох не хотелось впутываться в эти затейки верховных. Да и к чему ему ограничение самодержавия — спасительного и охранительного строя для таких вот, как он сам, безродных иноземных выходцев. Какой карьер ожидал его, сына скромного вестфальского пастора, у себя на родине? Самое лучшее — место пастора где-нибудь в люнебургской глуши. Но провидение печется о своих любимцах, и вышла та дуэль в Иенском университете. Теперь можно честно признаться: не обошлось без маленькой хитрости друзей-секундантов, но он-то не виноват, что убил того человека! Все-таки пришлось бежать из старого доброго фатерланда в эту дикую варварскую страну. Успех его здесь был поначалу сомнителен. Он не был ни военным, ни инженером, ни архитектором, ни живописцем, а царю Петру как раз требовались эти люди. В лучшем случае он мог пойти в лакеи или в домашние учителя, он — студент-недоучка богословского факультета. Но провидение свело его с вице-адмиралом Крюсом.

Храбрый адмирал умел вести и выигрывать морские баталии, но на паркете и в бумагах был отменно слаб. Ему требовался секретарь, знавший искусство диплома-

тии и канцелярской премудрости. Он взял на службу Генриха Остермана и уже через год попал под суд за подлоги. Но при чем тут, скажите, его секретарь? Он-то не подписывал адмиральские отчеты в казну, он только составлял их. К тому же он стал уже истинно русским человеком: принял православие и превратился из Генриха в Андрея.

Петербургский сквозной ветер бешено надувал паруса его фортуны. После Крюйса он перешел к вице-канцлеру Шафирову и подстроил так, что отправился вместо своего начальника подписывать Ништадтский мир со шведами. Когда же Шафиров отдал под суд за воровство, разве была в том вина его, Андрея Ивановича? Воровал-то и в самом деле не он. И уже за то стал вице-канцлером империи. Все-таки честный человек! Господином и покровителем его был уже не какой-то там Крюйс или Шафиров, а могущественный российский вельможа, граф Священной Римской империи, сам Александр Данилович Меншиков. Тут бы, казалось, и почить под крылом этого орла. Но Андрей Иванович сам уже метил в орлы. Любой чиновник, пока он чиновник, полагал Андрей Иванович, не должен успокаиваться, пока не взберется на самый верх Табели о рангах. Для того она, между прочим, и была выдумана. Это инстинктивное чиновничье стремление Александр Данилович Меншиков не угадал в своем верном рабе и подчиненном и за то жестоко заплатился. Судили его по наветам Андрея Ивановича.

Да, Андрей Иванович шел вверх легко. И все потому, что самым сильным покровителем и Остермана, и тысяч маленьких остерманчиков всегда была персона, стоявшая вне общей табели: монарх-самодержец. Самодержавию необходим был не столько совет, сколько безгласное подчинение и бездумное исполнение. И разве сравнить в том старого родовитого боярина Голицына и его, Андрея Ивановича Остермана. У Голицына род, вотчины, семейные связи, у него свое, отличное от царя мнение, что служба дает токмо чины, а не отечество, служба еще не делает человека человеком, поскольку в оном есть и такие независимые от службы понятия, как честь, достоинство, семейные привязанности и предания. Меж тем для Андрея Ивановича без службы нет человека, служба и чин есть для него все, потому что ничего более у него не было и нет.

И самодержцы — и Петр Великий и Екатерина — понимали эту разницу и его, Андрея Ивановича, преиму-

щества перед Голицыным. Пусть мелькают фавориты, меняются монархи, но пока цари остаются самодержцами, у них всегда будет нужда в Андреех Ивановичах, а не в независимых и гордых Голицыных.

Вот отчего Андрей Иванович искренне ужаснулся, перечитав кондиции. Кондиции — явный шаг к ограничению самодержавства, к иной форме правления, и в беспоконном уме Голицына, наверное, уже зреют проекты палат, на манер шведских или английских. Это было опасно уже не одному ему, Остерману.

Отказ от самодержавства грозил нарушить весь стройный баланс государственной идеи, основанной на приказе и его неуклонном исполнении. Вестминстер вместо Преображенского приказа — да это же революция! Андрей Иванович почувствовал действительные судороги в глазах. Протер их: уж не померещилось ли? Но Дмитрий Голицын сидел неподвижно, как истукан, только в глазах застыла несносная насмешка. И в неподвижности этой таилась угроза. Андрею Ивановичу вспомнилась вся сила и жестокое упрямство этого человека. Даже великий Петр и тот, случалось, смирялся перед упрямым боярином. Оттого, наверное, и не любил, почти всю Северную войну держал на отшибе, в Киеве. А когда спрашивали почему, отвечал: там нужна твердая рука. Вот и сидеть бы ему вечно киевским генерал-губернатором, пугать татар да турецкого султана, прикрикивать на панов в Варшаве. Так нет, вызвали на свою голову в столицы, вот он и взлетел: умник!

Андрей Иванович еще долго вертел «кондиции» и так и сяк, расспрашивал, как толковать тот или иной пункт, предлагал даже свои новые пункты, словом, вел себя, как верткий чиновник, который обо всем участливо расспросит и допытает, а потом откажется подписать. Голицын смотрел с холодным презрением, и оттого глаза Андрея Ивановича бегали, сталкиваясь с этим насмешливым взглядом. Ломило в висках, и тонкость слуха появилась такая, что через две оконные рамы слышал, как позванивают шпоры спешившихся драгун. А все потому, что у него-то, Андрея Ивановича, драгун не было! И он подписал. Не рискнув даже сослаться на болезнь глаз. Подписал кондиции твердым красивым канцелярским почерком.

И как утешительно слушать сейчас сладкую музыку. Музыка заставляет забыть о минутах собственной слабости, потому что трогает, внушает жалость к самому се-

бе перед чем-то огромным и вечным. И вслед за жалостью приходит прощение.

Музыканты прекратили играть, а сладкие звуки, взлетев к обманчивому небу плафона, казалось, спускались обратно, и мелодия все еще пела в ушах. Гармония! Что может быть выше гармонии? Она должна быть во всем, а особенно в государстве. Всю свою жизнь в новоявленной Российской империи Андрей Иванович посвятил служению оной гармонии. И вот теперь выживший из ума боярский последыш пытается разрушить священные основы самодержавной гармонии. Но звуки ее возвратятся. Так-то, Дмитрий Михайлович! Пунктиками вы нас не одолеете!

— Был у меня поутру наш новый Виллем Оранский... — Оторвавшись от занимавших его мыслей, Андрей Иванович пристально разглядывал дружеские лица. Особого изумления его слова ни у кого не вызвали. Значит, о голицынском визите знает уже вся Москва. Потому и приехали к нему эти... музыканты. — Да, Дмитрий Михайлович Голицын... — Остерман кисло улыбнулся. Не то чтобы он не любил старого князя — лично он ко всем русским относился с одинаковым безразличием, — но Голицын выходил за пределы личного к нему отношения, посягнув на государственную целесообразность. Впрочем, у Андрея Ивановича выработалась очень помогавшая ему в жизни привычка подводить даже под самые частные свои неудовольствия государственные соображения. С годами, от постоянных занятий дипломатической службой, встреч с послами и посланниками, перепиской с самыми высокими персонами Андрей Иванович окончательно уверовал в физическую связь между его скромной особой и престижем Российской империи. Потому все слова его имели не личный, а государственный интерес и отличались соответствующей этому интересу важностью и значительностью.

— Да, Дмитрий Михайлович... — со столь веской многозначительностью произнес Остерман, что нельзя было понять, то ли он восхищается Дмитрием Михайловичем, то ли осуждает его.

— Так что же он сказал вам, Дмитрий Михайлович? — с армейской прямоотой прервал затянувшуюся паузу капитан Альбрехт. — И что, наконец, такое эти «кондиции»? Вся столица только и твердит сегодня: «кондиции», «кондиции»! О смерти Петра II ни слова, точно он был призраком. О митавской принцессе — поч-

ти ничего. Все только и говорят что о кондициях. А какковы их подлинные диспозиции — ни одна самая болтливая кумушка ничего толком не знает.

— Извольте, я буду вашей кумушкой, капитан Альбрехт, — Остерман отвел руку от глаз. Взгляд его никто не мог вынести: глаза были красные, воспаленные, почти безумные глаза, так не соответствующие его канцелярской фигурке, монотонному, усыпляющему голосу. С мнимым равнодушием вице-канцлер перебирал пункты кондиций.

— По новому тестаменту, сиречь кондициям, принцессу Анну допускают на российский престол лишь при условии: «Без воли Верховного тайного совета, — Остерман щелкнул сухими длинными пальцами, — войны не начинать, второе — мира не заключать, третье — подданных новыми податями не отягощать!»

Даже на лице Левенвольде выразилось изрядное изумление. Остерман улыбнулся дипломатично, уголками губ, но тотчас погасил улыбку, защелкал, как на бухгалтерских счетах. По кондициям выходило, что императрица не имела права производить в чины выше полковничьего; отнимать без суда жизнь, честь и имение у своих преданных подданных; жаловать своим любимцам вотчины и деревеньки; возносить некие придворные особы и... — Остерман на манер возмущенного лютеранского пастора воздел руки, — кондиции обязывали императрицу без воли Верховного тайного совета государственные доходы в расход не употреблять, а жить на выделенный ей Советом пансион! В самом же Верховном тайном совете императрице принадлежало лишь два голоса.

По всем статьям получалось, что щедрые монаршьи милости, золотым потоком лившиеся на Немецкую слободу и в карман заморских проходимцев и выскочек, уплывали ныне в туманное нечто, как звуки былой сладкой музыки.

— Управлять же страной, по милости князя Дмитрия, будет Верховный тайный совет и две палаты: верхняя — дворянская и низшая — городская!

— Бородачи в палате — это слишком! — рассмеялся Левенвольде, беззаботно вытягивая ноги в черных чулках. — А впрочем?! — У него одного кондиции не вызывали серьезных опасений. Обер-шталмейстер срывал свой знатный куш за карточным столом, а о картах пункты ничего не говорили. Небрежно лорнируя обеспокоенных друзей, Левенвольде заботливо размышлял, у

кого ему нынче пообедать. У Ягужинского он обедал вчера, Остерман скуп. Ничего не оставалось, как ехать в лагерь противной партии, к Долгоруким — эти, по крайней мере, умеют пожить. Он первым откланялся. При прощании из кармана у него выпал муслиновый платок с вышитой монограммой. Нежно и тонко запахло духами. «По-моему, такие же духи у Катеньки», — с привычной, надоедливой ревностью мелькнуло у Ягужинского, но ревность погасла, отвлеченная запутанными политическими соображениями.

Положение его, Павла Ивановича Ягужинского, всю жизнь было самое двойственное. Сын лютеранского органиста, рожденный на московском Кукуе, он с самых ранних лет являл себя среди русских русским, а среди немцев немцем. Генерал-прокурор при Петре I — нещадно истреблял взятки, но при случае никогда не забывал взять сам. Мечтал стать канцлером, но стал лишь зятем канцлера Головкина. Просил старика Голицына прибавить всем воли и решал сейчас вопрос, как, опираясь на тестя и великого интригана Остермана, восстановить блеск самодержавия и тем войти в великую милость у Анны Иоанновны. И так всю жизнь он действовал наподобие двуликого римского бога Януса и ловил случай. Но при всей своей изворотливости, в трудную минуту Ягужинский с неслыханной и невозможной для Остермана дерзостью был способен идти и напролом. За подобную дерзость, основанную на быстром и строгом расчете, Ягужинского ценил и сам Петр Великий, поднявший Павла Ивановича, по его словам, из грязи в князи. Знал эту сильную сторону в бывшем генерал-прокуроре и Остерман, замыслам и интригам которого так часто не хватало именно смелости. Он догадывался, что нынешнее посещение Ягужинского не обычный дружеский визит к больному. За ним наверняка крылись какие-то деловые конъюнктуры, стоял деловой интерес. А на деловые интересы у Андрея Ивановича, как и у Павла Ивановича, да и у всех дельцов петровского времени был великий нюх.

Вот почему, выпроводив, вслед за Левенвольде, бравого капитана Альбрехта, Андрей Иванович попридержал Ягужинского.

Пили неспешно зеленый китайский чай, толковали о погоде и политике испанского короля. Дело меж тем вырисовывалось тонкое, деликатное, поначалу неуловимое. Собеседник должен был вытянуть нитку-паутинку, дабы

распутать весь клубок. Розовели в предвечерних лучах, пробивавшихся через заиндевшее окошко, краски на старинной иконе, терпко пахли воском навощенные узорчатые паркеты.

За третьей чашкой Андрей Иванович сам ухватился за нитку-паутинку. Клубок распутался, и на том конце вышло: гонец. Все было так просто — послать к Анне Иоанновне в Митаву гонца, опередив депутацию верховников, и предупредить будущую императрицу, что в Москве есть сильная самодержавная партия.

И под письмом будут стоять две подписи: Ягужинского и Остермана.

— А там, когда матушка станет полной самодержидей, она, знать, не забудет сынов отечества! — восторженно заключил за Остермана бывший генерал-прокурор.

Верные сыны отечества мечтательно помолчали. Но у вице-канцлера в сей миг возникли сомнения, связанные с разностью и нынешнего табельного положения. «Ведь Павел Иванович, хоть и большого ума человек, а бывший генерал-прокурор. Бывший! А я действительный вице-канцлер. Действительный! Нет, пусть, Ягужинский и его русские сотоварищи первыми лезут в петлю, восстанавливают самодержавие, а мы... мы, немцы, его используем». И в подписи Остермана под письмом бывшему генерал-прокурору было отказано. Но на словах гонец мог передать Анне Иоанновне, что он, Андрей Иванович, всей душой разделяет великий замысел. Подписи же он пока поставить не может, испытывая такую резкую боль в глазах, что не токмо писать и читать, даже ходить в срамное место без поводыря затрудняется.

Прощаясь, Ягужинский с нескрываемой насмешкой взглянул на хитроумного вице-канцлера. Но тот уже погрузился в старое обтрепанное кресло у камина, прикрыв глаза рукою и, казалось, впал в свою обычную болезненную меланхолию. И только когда бывший генерал-прокурор был уже на пороге, мнимый больной, как бы между прочим, осведомился об имени посыльного гонца.

— Имя его неважно. Главное — это надежный и преданный человек, — взбешенный и одновременно почти восхищенный искусством лицедея, ответил Ягужинский.

Он не сразу закрыл дверь, а еще раз обернулся. Ему казалось, что он почувствовал на спине колючий язвительный взгляд воспаленных глаз. Но показалось. Остерман по-прежнему сидел в той же скорбной и приличной

больному расслабленной позе. Смеялись только голубые бесы. Там, на иконе. Последний луч солнца зажег на миг их красные горящие глаза. Вот они и смеялись... Бесы.

ГЛАВА 3

Осыпанные инеем башни и купола Новодевичьего в морозных сумерках, как сказочное диво, выселись над бревенчатыми окрестными избушками. «Поздно явились молодцы, почивать ложатся послушницы... — заворчала было карга-сторожиха, но гривенник оказал свое волшебное действие, и скоро из монастырской калитки выскользнула Дуняша с подружкой и горячо поцеловала Михайлу. — Фу, бесстыжие!» — захлопнула калитку сторожиха, но ответом был молодой беспричинный смех.

— Знакомься, Максим Федорович, и ты, Михайлушка, — подружка моя новая, Галька! — И Дуняша вытолкнула вперед веселую румяную девушку. — Первая кружевница и певунья в нашей казарме. А песни нам здесь — единая отрада. В монастыре порядки-то воинские, только что не в барабан бьют, а в колокола трезвонят. Чуть свет, — подъем и на молитву!

— А там постных щей похлебаем и за работу. Монашки даром не кормят, — подхватила Галька.

— А почто такая красавица послушницей стала? — удивился Шмага. Галька и впрямь была красавицей: чернобровая, ладная, только сутулилась немного, как все кружевницы.

— Мачехе не угодила, — ответила Дуняша за Гальку.

— А сама-то откуда? — участливо спросил Шмага.

— С Украины мы, козацкого роду-племени... — певуче пропела Галька.

— Козацкая кровь, она всегда свое возьмет! А послух не схима, недолго и скинуть! — обнадежил Михайло девушку.

— А пусть она за меня замуж выходит, — не то в шутку, не то всерьез предложил Шмага. — Скоморохи люди честливые, скоморохи люди вежливые! Да и сам я, Галька, козацкого роду-племени. У моего дядьки в Киеве хата, в огороде бузина, а я у дядьки единый наследник. Ей-ей не вру... — Когда Шмага смеялся, он точно сбрасывал с плеч десяток лет.

«Да ему и впрямь не более сорока годков...» — впер-

вые подумала Дуняша о своем театральном наставнике как о вполне пригодном женихе.

— А что, красавица, коль в монастыре пост — уноси ноги на погост? — насмешничал меж тем Шмага.

— Нет, батько, в Новодевичьем кто постится, а кто и веселится! — лукаво подпела ему Галька. — У матери-игуменьи почитай каждый вечер галанты порхают, да и мать-ключница не без греха, водит к себе сивого попа!

— Это они за вас, птичек бедных, грехи замаливают... — рассмеялся Шмага и предложил: — А не зайти ли нам в трактир богатый, устроить гостьбу толстотрапезную? Своего угла несть, так хоть за трактирный столик сесть!

Своего угла у друзей и впрямь не было. От Бидлоо пришлось уйти, как только Михайло и Шмага спроведали, что поутру после спектакля наведался к доктору полицейский ярыжка, спрашивал про Дуняшу.

— Я сказал, что ничего не знаю о девушке, но он ответил, что генерал Ушаков все знает про вас! — Доктор Бидлоо честно округлил глаза. И друзья поняли, что надобно прощаться с доктором. Хорошо еще, что у Шмаги всюду знакомства, и в тот же вечер актеры перебрались в заведение куафера Жанно, что на Кузнецком мосту.

Дело было знакомое. Ведь в маленьких театрах актеры сами себе парикмахеры, делали прически, накладывали грим и румяна. Теперь это умение помогло. Шмага и Михайло сразу стали первыми дамскими мастерами.

— Знатные дамы, коль им угодишь и из чертополоха на голове искусную розу завьешь — золотой за одну улыбку дают! — соловьем разливался Шмага. — Ну а скоморохи на ласковое слово не скупятся — улыбочкой привечают, улыбочкой провожают!

— И ты, Михайло, тем барыням улыбаешься? — Столь явная ревность прозвучала в голосе Дуняши, что вопрос покрыл дружный смех.

— Скучает он по тебе Дуняша, скучает, соколик! Барыня ему улыбку, а он ей, кап-кап, на прическу! — сквозь смех сказал Шмага, но точно спохватился: — А вообще, други мои, бежать нам отсюда надобно. У этого прода Ушакова на Москве ой какие длинные руки!

— Куда бежать-то? — безнадежно махнул рукой Михайло. — Ныне все российские театры в Москве собраны, играть нам боле негде!

— А мы сами разве не театр? — Шмага весело огля-

дел компанию. — И поем, и играем, и пляшем! Дай срок, в Петербурге такой театр заведем, что наша дикая герцогиня локти кусать будет.

— Да кто нам поможет-то? — рассердился Михайло. — Горазд ты, погляжу, на выдумки, а не на дела!

— А вот и помогут! Есть еще в Москве служители Аполлона, они и помогут... — загадочно ответил Шмага.

— А ну получай за барынек! — Дуняша снежком сбила с Михайлы треугольную шляпу.

Так, перекидываясь снежками, и не заметили, как вышли к богатому трактиру, нижний зал которого хозяин держал для ямщиков, а верхний — для чистой публики. Оба актера были в отменных париках, и толстомордый вышибала, что стоял у лестницы, ведущей в верхнюю залу, пропустил честную компанию без лишних слов. Парики по тем временам были привилегией русского дворянства — прочие сословия их не носили, и даже солдаты пока не пудрили свои волосы. Времена Миниха в армии еще не настали. Имелось еще одно отличие между верхней и нижней залой. В те первые послепетровские годы простой люд по-прежнему почитал табак бесовским зельем, и курящих в нижнем зале было самое малое число — разве что отставные солдаты и матросы. Напротив, наверху, где вокруг новомодной игрушки — английского биллиарда — толпились гвардейские офицеры, висело такое табачное облако, что Дуняша и Галька закашлялись уже на пороге.

— Какие красавицы, граф... — капитан Альбрехт осклабился в лошадиной улыбке, обращаясь к своему собутыльнику — сухопарому генералу со столь бледным лицом, что из него, казалось, была выпита вся кровь.

— Изрядные девки! Особливо светленькая! — небрежно, как и подобает при его высоком положении, процедил граф Фриц-Фердинанд фон Дуглас. В Северной войне граф служил в армии шведского короля Карла XII и прослыл «фуражным умельцем» за жестокую способность добывать фураж, поджаривая пятки белорусским и украинским мужикам. Король, который корм для лошадей ценил боле, чем пищу для солдат, всегда отличал графа Дугласа. Но коль Эстляндия и Лифляндия, где находились поместья Дугласа, отошли к России, граф легко переменил родину и перешел на русскую службу. При Екатерине I, пользуясь покровительством герцога Голштинского, он был назначен на пост генерал-губернатора Эстляндии, хотя открыто ненавидел все русское.

— А по мне так хороша черненькая! — Капитан Альбрехт впился глазами в Гальку.

— Э... когда я был драбантом* у моего короля Карла, мы на Украине задирали юбки таким чернобровым селянкам в каждом хуторе... — небрежно отмахнулся граф.

— Вот вы и дошли до Полтавы! — вспыхнул Михайло, после службы в театре Фиршта свободно понимавший немецкую речь.

— Этот щенок за соседним столиком, кажется, хочет, чтобы я ему отрезал уши? — надменно выпятил подбородок граф Дуглас.

Но в это время капитан Альбрехт, переведя глаза на Дуняшу, крикнул вдруг на всю залу по-русски: «Да это же беглая танцовка герцогини Мекленбургской! За ее поимку порядочная награда определена!» — И он спешно поднялся, дабы никто другой не опередил его с этой наградой.

— Что, птичка? За ушко и на солнышко? — мясистая лапа бравого ландскнехта легла на тонкую шейку.

— А ну прочь руки, немчура проклятая! — Михайло встал между Дуняшей и капитаном.

— Славна брань дракою! — насмешливо загудели у бильярда. Но никто не вмешался. Дело было ясное — ловили беглую холопку. И хотя многие офицеры не раз бешено аплодировали Дуне в театре, вступаться за нее всем было не с руки.

Капитан Альбрехт тем временем небрежно скинул форменный кафтан, засучил рукава.

— Я о скомороха шпагу дворянскую марать не буду! — громогласно заявил немец. — Я его проучу, как в доброй немецкой пивной! А ну, любимец муз, получай добрый немецкий кулак! — Дуняша вскрикнула, но напрасно: добрый немецкий кулак даже не задел ловко уклонившегося Михайлу. Конечно, если бы капитан Альбрехт знал, что бывший матрос российского флота Михайло Петров, убежав в двадцать лет из шведского полона на английском торговом судне, три года таскал потом мешки и бревна в лондонских доках, он поостерегся бы расставаться со своей шпажкой. Не ведал немец и о том, что Михайло слыл одним из первых бойцов на славных ристалищах в верфях Ост-Индской компании, где зарождалось искусство английского бокса. И вот сей-

* Д р а б а н т — телохранитель, вожатый.

час Михайло Петров, к изумлению московской трактирной публики, приветствовал немца двойным хуком, справа и слева, показал всем, что такое знаменитый апшеркот, и завершил бой прямым в голову, после чего капитан Альбрехт зашатался и рухнул, как крепкий тевтонский дуб. Тем временем Шмага с девушками ретировался по винтовой лестнице. Прикрывая их отход, Михайло вытащил театральную шпагу и отбивался ею от графа Дугласа, поспешившего на выручку. Клинок графа Дугласа был отточен и остер, да слабой оказалась графская рука. Старая верная зазубренная шпага Михайлы (приходилось ею и дрова колоть, и хлеб резать), выбила из графской руки острый клинок; описав дугу, он впился в зеленое сукно биллиарда. Схватив плащ, Михайло поспешил вслед за Шмагой и девушками на улицу. Да не тут-то было: навалились на него лакеи Дугласа, подждавшие своего господина в нижнем зале, повалили, стукнули по голове тяжелой пивной кружкой. Перед глазами Михайлы поплыли радужные круги.

ГЛАВА 4

Русская тоска была грустна и тиха, как церкви на погостах. Не водилось на Руси европейской скуки, а прижилась за годы монгольского ига смертельная азиатская тоска. В таком состоянии русский человек был способен и на великие подвиги, и на немалые прегрешения.

К знаменитому российскому живописцу Ивану Никитину тоска в те годы пришла исподволь. Когда молодой, беспечный, полный сил, он вернулся в Петербург из Италии с дипломом персонных дел мастера и надеждой выйти в российские Тицианы, горизонт был чист и ветер фортуны весело надувал паруса.

Его портреты понравились самому господину капитан-бомбардиру, и Петр I горячо рекомендовал всем своего знатного портретиста. Ему много и охотно заказывали, а он в те петербургские годы много и охотно писал. Портреты давались легко, как бы без видимых усилий, наверное оттого, что он так хорошо знал и понимал сподвижников великого преобразователя. В тех портретах ощущалась сама жизнь — горячая, широкая, петровская. Но умер Петр I. Полезли к трону новые люди — точнее людишки. После великого государя с его высокими и смелыми замыслами они казались маленькими и ничтожными, своекорыстными и случайными. Пошел по-

вый заказчик — светская знать, — и заказчику тому надобно было угодить. Дабы не терять заказы, российский Тициан начал припудривать и прихорашивать новоманирных господ на картинах. Мода пошла на рококо, на мотыльки и зефиры, и он одно время пошел следом за модой. Да и супруга, прекрасная Лиза Маменс, немало в том поспособствовала. При Екатерине I красавица рижанка стала фрейлиной, и понадобились новые наряды и украшения. Но денег от заказов все одно не хватало на придворную жизнь Лизы Маменс. И тогда она нашла свой способ доходов. Проведав об амурах своей женки, Иван проучил ее крепко, по-дедовски, запер свою мастерскую в Санкт-Петербурге и перебрался в Москву, к брату Роману. Но двор словно не хотел с ним расставаться: при Петре II переехал из Петербурга в Москву. Примчалась и Лиза Маменс. Валялась в ногах, вымаливала прощение. И он, дурак, простил, и снова Лиза Маменс закружилась по балам и куртагам. Теперь уже вся Москва заговорила о ее амурах. Он хотел развестись, но Лизка в суд не явилась, пряталась у своего нового амантера, графа Дугласа. От всех этих невзгод Иван Никитин крепко заперся в дедовском доме на Тверской, перестал ездить ко двору и брать заказы.

В эти бессонные вьюжные ночи, когда тоска подступала к сердцу, сладкими детскими снами злилась ему благолепная старина. И хотя старина та была ни тихой, ни благолепной, но она была его детством, а детство всегда вспоминаешь с внутренней отрадой, особенно когда столь черна твоя нынешняя жизнь.

И он, первый светский живописец России, снова попытался вернуться к тому, с чего давным-давно начинал, — к иконам. Из бальной залы уходил в храм. Но не находил в себе прежней веры, а без веры и иконы походили на чертежи. Да и не мог он писать по прежним церковным уставам — отучен был всем петровским временем.

Впрочем, покупатели всегда находились — ведь он по-прежнему числился первым придворным живописцем, что в Табели о рангах было приравнено к чину полковника. Только вот правда искусства, которая когда-то обожгла его горячим дыханием красоты, временами словно умирала в нем.

А вокруг все суетились, спешили, гонялись за личным интересом. Но после горячки петровских дел он был равнодушен к наступавшему безвременью. И огромная гиш-

торическая баталия о Куликовском побоище — заказ князя Дмитрия Голицына, прославляющий старые знатные роды в пику немцам и безродным новикам, — пылилась неоконченная рядом с недописанным портретом Павла Ивановича Ягужинского, новомодным мотыльком, скользящим по бальному паркету. И ту и другую картины, наверное, засидели бы мухи, если бы не старательный ученик Мина Колокольников. Вот и сейчас Мина прилежно дописывал работы своего знаменитого учителя, а сам Никитин, укрывшись овчинным тулупом, дремал на лежанке.

Проснулся от странных и щемящих сердце звуков — такие он слышал когда-то во Флоренции. Там тогда стучали каблучки Мари Голицыной, когда она поднималась в его мансарду позировать для той славной и столь дорогой ему парсуны, что и сейчас висит в Архангельском, у старика Голицына. Он прислушался, пораженный, но сомнений быть не могло: по лестнице стучали женские каблучки, затем возле дверей зашуршали юбки, и, наконец, раздался робкий и несмелый стук.

«Мина!» — сердито позвал Никитин и неохотно спустил ноги с теплой лежанки. Так сонным медведем — нечесаный, в валенках — он и предстал перед Дуняшей и Галькой, когда девушки вслед за Шмагой с робким любопытством переступили порог мастерской. А любопытствовать было чему, поскольку на всю Москву не было такой мастерской, как у Ивана Никитина. Она занимала целый этаж двухэтажного особняка. В светлом углу мастерской, у широкого окна, поставлена была большая неоконченная картина. В колеблющемся свете свеч, зажженных услужливым Миной, блестела краска старинных шеломов и щитов, сходились в сражении две многочисленные рати. То был заказ старого Голицына — Куликовская битва.

— Странно и удивительно, что зрю у вас Куликовскую битву, и не славную Полтавскую баталию, в коей вы сами, говорят, были участником! — издалека завел разговор Шмага. Никитина он знал еще по тем временам, когда заказывал ему декорации для театра герцогини. Как истый ловец человеческих душ — а каждый хороший режиссер знает за собой это свойство, — Шмага тогда еще разглядел за внешней угрюмостью знаменитого русского живописца его истинную натуру: прямую и честную. И потому безбоязненно привел девушек в мастерскую Никитина, справедливо полагая, что русский Ти-

циан не откажет в помощи служителям Терпсихоры, оказавшимся в столь бедственном положении.

Там, у трактира, ему потребовалось немало труда уговорить Дуняшу не лететь вслед за графскими санями, увозившими суженого. И только когда Шмага привел ей такие резоны, что Михайле все одно до утра не помочь и что управу на генерала Дугласа (от трактирных лакеев он сведал уже имя и звание супротивника) можно найти только у самого высокого заступника и покровителя, Галька сумела увести подругу. И вот теперь девушки робко сидели на венских стульцах, предложенных им услужливым Миной. Краем уха они вслушивались в ученый спор, который как всегда затеял Шмага, а более оглядывали стены обширной залы, увешанной полутемными картинами и портретами. Воображение Гальки особо поразила картина, на коей прекрасная девица оседлала могучего быка черной масти и тот послушно вез ее через бурное море. «Картина сия — суть аллегория, копия с картины славного фламандца Рубенса, — важно пояснил Мина. — И девица та — богиня Европа, в честь которой и наш материк именуется. А бык Йовишь — греческий бог Зевес, обернувшийся быком, дабы похитить красавицу».

— А по мне, так не Зевес девицу похитил, а она сама его оседлала, как казак коня-степняка! — задорно прервала молодого художника Галька. Мина покраснел.

— Так, так! — рассмеялся подошедший к ним Никитин. — И впрямь богиня Европа — лихая девица, любого быка оседлать может! Что скажешь, Шмага? — обратился он к медеатору с явным намеком. Тот комично развел руками:

— Куда же нам теперь без европейского политесу? Зрю, Европа и нас, как того Зевеса, ныне в полон взяла.

— А вот князь, Дмитрий Михайлович, полагает, что мы можем прожить и без европейского политесу, беря уроки из отечественной истории. Потому и заказал Куликовскую битву! — Никитин показал на эскиз большой картины.

— Много о нем наслышан... — поддакнул Шмага. — Говорят, сей мудрый муж к вам в мастерскую самолично навещается?

— Заходит! — скупно бросил художник.

— Как бы я хотел видеть князя и передать ему нашу

челобитную на графа Дугласа! — открыто попросил Шмага.

— Ох и шельмец! — рассмеялся Никитин. — Знаешь, как первый верховник немцев не любит!

— При чем тут немцы? — сделал Шмага удивленное лицо. — Тут сам закон нарушен. Хватать вольного слугителя Аполлона, заковывать его в кандалы и железа частным лицам пока на Москве не дано.

— И впрямь бесчинство! — заключил Никитин, внимательно выслушав рассказ медеатора. — Ладно, Шмага! Помогу твоим людям! Соблюдаю законы товарищества! А пока мой дом — всем вам приют!

Ночью Мине Колокольникову снился зеленый луг, на котором он, Мина, бродит в личине могучего быка. А из ручья светлого выбегает Галька и прыгает ему на спину. И весело играет в нем кровь богатырская...

А Дуняша всю ночь плакала, вспоминая, как били люди Дугласа ее Мишеньку. Чтобы не разбудить никого в чужом доме, плакала молча, в подушку.

И странное дело — впервые за долгие месяцы спокойным сном заснул среди своих картин хозяин. Незнамо отчего отлетела тоска-кручина. Возможно, добрые дела — лучшее лекарство против той болезни.

ГЛАВА 5

В темном подвале палат графа Дугласа, над обледевшем топчаном низко нависали покрытые инеем каменные своды. Через зарешеченное полуподвальное окошко пробивался скупой луч лунного света. Впрочем, лунный свет Михайло увидел лишь на мгновение — от боли в висках снова закрыл глаза. Перед глазами снова поплыли красные круги, а в голове и в ушах, точно в сильную качку, зашумели волны. И по тем волнам надвигался черный корабль... Михайло застонал, но затем стиснул зубы, сел, обхватил руками голову. «Вот сволочи, сзади били!» Потрогал спекшуюся рану на затылке. И тотчас пронзила боль и снова поплыли круги перед глазами. Он опять впал в забытие. И снова мерещилось, будто каменные своды потолка опускаются на топчан. Потолок опускался все ниже и ниже, и Михайло слышал, как гудят ржавые цепи, на которых был подвешен оный потолок. Ему не хватало воздуха, и он задыхался, и вдруг явственно услышал, как со скрипом оборвалась одна же-

лезная цепь, и потолок рушится вниз, на него! Михайло вскрикнул — в подвал хлынул свет из распахнутой со скрипом двери, и вслед за двумя дюжими лакеями со смоляными факелами явились граф Дуглас и капитан Альбрехт. «Коль сей молодец и во сне кричит, почитай, и наяву очухался!» — сказал один из графских лакеев, а затем над Михайлой склонились холодное лицо Дугласа и багровая физиономия бравого капитана. Разбитую челюсть капитана поддерживала аккуратная повязка. «А славный апперкот вышел!» — подумал Михайло, но капитан Альбрехт точно уловил мысль Михайлы и размахнулся: «Я тебе сейчас покажу, как бить немецкого офицера!» Но тяжелую руку удержал граф Дуглас. «Зачем бить лежачего, мой капитан? Ведь ему так холодно в ледяном погребе. Ты озяб, мой малшик? Ты озяб?» Ледяным блеском поблескивали при свете факела голубые глаза графа Дугласа. Холодные графские пальцы брезгливо взяли Михайлу за нос: «Надо погреть малшика!» И тут вдруг граф взвизгнул. «Гундс фат!» Он отшатнулся, схватившись за укушенные пальцы. Лакеи тут же бросились на Михайлу, заголили спину. «А, русская собака...» Капитан Альбрехт, выхватив у лакея горящий факел, прижег Михайлу. Тот даже не застонал — ярость и ненависть возродили в нем упрямую силу. «Да не так! Не так, капитан! — сердился Дуглас. — А ну подсыпьте ему порох на спину, я сам буду пускать фейерверки!» Даже капитан Альбрехт вздрогнул при сем распоряжении: «Но, ваша светлость, в трактире у бильярда были русские офицеры. Они видели, как мы увезли актеришку. И если он умрет, как бы не быть нам в ответе. Человек-то он вольный! А князь Голицын законы блюдет!» — «Ерунда! Русские законы не для нас, немцев, писаны! Русским зольдатам в Эстляндии я всегда даю триста палок! Немцу можно дать только сто палок, но русская спина выдержит и триста палок. А когда малый очухается, мы сдадим его генералу Ушакову, в острог. Не забывайте, этот парень увел крепостную рабу герцогини, сестры новой императрицы, Анны! Тут ему никакой Голицын не поможет!» И граф Дуглас самолично посыпал спину Михайлы порохом и поднес факел. И когда вспыхнуло голубое пламя, граф Дуглас затрясся, словно хищный вурдалак при виде своей жертвы. «Не случайно в Эстляндии его зовут душегубом...» — вздрогнул капитан Альбрехт, глядя на синюшное лицо своего друга. «Сейчас малшик запоет иные песни...» — возбужденно зашеп-

тал Дуглас на ухо капитану, словно приглашал его на концерт. Но Михайло не предоставил радости графу Дугласу, — крепче стиснул зубы и точно провалился в темную ночь.

* * *

Очнулся Михайло в остроге. Он не сразу сообразил, где он и что за люди вокруг. Гудело в голове и точно отнялась обожженная дугласовскими фейерверками спина. Длинный дровяной амбар, в котором помещался острог, не отапливался. В полумраке метались по стенам огромные тени. Хрипы и стоны прерывались пьяными криками и песней: там в углу играли в зернь, кости. Как-кая-то сизая баба с провалившимся носом присела на нижние нары, на которых лежал Михайло, загундосила: «А что, молодцы, надобно бы влазные деньги с новичка получить?»

«Да на нем одна исподняя рубаха и та рвань!» — ответил ей чей-то голос.

— А ты помолчи, стрелец-молодец, пусть парень ныне послужит обществу, как я свое отслужила! — сердито закричала баба.

— А ну покажь, как ты отслужила-то! — отозвался насмешник. Амбар грохнул от хохота. Баба сплюнула, отошла.

«Лежи, лежи, сынок! — наклонился над Михайлой маленький, чистенький старичок. — Виданое ли дело, с пытаного влазные брать? Совсем глупая баба», — продолжал старичок рассудительным голосом. Старичок тот сразу запомнился и не раз еще являлся Михайле в его полубредовых видениях. Особо запомнилась его улыбка: добрая, участливая, совсем домашняя, а не острожная. Старичок сидел на полатах острога так же просто и спокойно, как сидел где-нибудь на завалинке деревенской избы и занимался самым древним и философским ремеслом: портняжеством. Он заботливо поправил на Михайле свой тяжелый деревенский тулуп и утешил, окая по-волжски: «Розукрасили-то! О звери, чистые звери!» И сердито начал тыкать иголкой в толстую рогожу. Перехватив недоуменный взгляд Михайлы, рассмеялся: «А ведь я это тебе, паря, портки шью. Когда тебя из Сысского приволокли, кроме исподней рубахи, на тебе только и было, что нательный крест!» — Михайло на слова старика застонал так тихо, что пожалел сам себя. Дед засуетился, поспешно перевернул его и, растирая

какими-то снадобьями, забормотал совсем как маманя в детстве: «А мы спинку маслицем, маслицем! Оно и затянет!» И опять все для Михайлы уплыло в ночь, и только токовал где-то далеко-далеко добрый голос: «А мы маслицем, маслицем!»

Вторично Михайло очнулся с той приятной слабостью, которая есть слабость накануне выздоровления. Он вытянулся под тулупом, тихо замер на нарах, и все говорило в нем: выздоравливаю, поднимаюсь, и оттого даже холодный смрадный острог, тусклый свет в который с трудом проникал через зарешеченное мутное окошко, показался светлее и чище. Солдаты увели колодников на связке выпрашивать милостыню, и из острожников остались только больные вроде Михайлы или особенно грозные преступники, коих выводить на улицу в цепях и то страшно. Среди последних был и стрелец-молодец, который высмеял зловредную бабу. То оказался знаменитый атаман Ванька Камчатка, для которого острог, что дом родной — настолько он знал все здешние порядки и обычаи. Камчатка и разъяснил Михайле, что с вновь прибывших острожные требуют влазные деньги, а ежели их нет — не пускают на нары. А на ледяном полу ночь провести — верная смерть. «Да ты, паря, не бойся. Ты питанный, а с питаных другой спрос!» — успокоил Камчатка Михайлу. Так Дугласова пытка обернулась внезапной острожной привилегией.

К удивлению Михайлы, среди оставшихся острожников оказался и старичок-лекарь. Звали его в остроге все ласково: Климушкой. Вот этим двоим, Камчатке да Климушке, Михайло и поведал свои московские злключения. И оба рассказу поверили — достаточно было посмотреть на спину Михайлы, чтобы поверить. «У них это всегдашнее обыкновение, у немецких баронов — сначала выпороть нашего брата, а потом и в острог определить, — рассмеялся Камчатка. — Русские баре, те отходчивее — иль домашние плети, иль казенный острог!»

«И среди русских бар есть звери почище немцев, — не согласился Климушка. — Взять хоть бы моего адмирала». В отличие от иных острожников Климушка рассказывал свою историю без утайки и без вымысла.

Служил он сторожем у отставного адмирала Головина. Сей адмирал, поселившись в деревне, и там учинил чисто воинские порядки и за малейшую провинность беспощадно сек дворню матросскими кошками. Климушку поначалу высекли за то, что господский сон потревожили ноч-

ные птицы, вторично за кваканье лягушек и, наконец, за сову. «Ну и накипело во мне. — Климущка рассказывал обстоятельно, с подробностями. — Стою я, значит, перед господином адмиралом, приношу утренний репорт, что так, мол и так, неусыпно всю ночь, с колотушкой вокруг барских хором ходил, лягушек и злых людей пугал и ничего не заметил, разве что сова громко кричала... Господин адмирал, дело известное, с утра дуют романею, слушают мою репорту до полного окончания, а потом как заорут: всыпать, мол, старому мерину за то, что не предупредил совиного крика, двадцать кошек. Известное дело, и раньше меня пороли — только в стороне, в амбаре, а тут при всем народе, при моих же внучатах, штаны спустили и всыпали. Срам-то какой. Встал — детишкам стыдно в глаза смотреть. Вот я и задумался!»

— Ведомо, чем твои думы кончились!пустил красного петуха в адмиральские хоромы, а двери бревном припер, — хохотнул Камчатка, прерывая знакомый уже ему рассказ деда.

С верхних нар свесился кудластый головой здоровенный мужик, прохрипел страшно: «А что их жалеть, барто! Всех вывести надобно, под самый злой корень подрубить! — Мужик спрыгнул с нар и злобно подступил к Михайле. — Жечь вас, барчуков, надобно, всех жечь! Дай срок, подыдем и мы вас на дыбе!»

— Да что ты, Максимка, опомнись. Чать мы не из Сысского приказа, чтоб болезных на дыбе подымать! — бросился к великану старик. И странное дело, великан, которого ничто, казалось, не могло остановить, при словах Климущки успокоился, как бы признавая за ним какую-то особую нравственную силу. — Дикий ты человек, Максимка! — ворчал меж тем дед, доставая из котомки хлеб, вяленое мясо, головку лука и раскладывая на чистой, еще не осторожной, домашней бабкиной тряпице угощение. Только потом, увидев, как пухнут от голода в остроге самые что ни есть крепкие люди, оценил Михайло тогдашнюю щедрость Климущки.

— Сказывают, среди господ нынче великий шум идет, — разрывая мясо волчьими зубами, переменял разговор Камчатка, — каждый на свой манер порядки поровит учинить...

— Известное дело, концы спят — середка бунтует! — мрачно отозвался великан. — Только нам от барской воли слаще не будет!

— Э... не говори, Максимка, не говори, — заспешил

вдруг дед, — коль на верхах шатание выйдет, и концы легче поджечь!

— Чего там легче, — все так же мрачно бубнил Максимка. — Правду на Украине говорят: паны дерутся, у хлопов чубы трясутся!

Михайло так и не дослушал, чем кончился острожный спор: вошедший сержант повел его в Сыскной приказ на допрос.

* * *

На допрос к Андрею Ивановичу Ушакову Михайло попал по письму генерал-губернатора Эстляндии графа Дугласа. Тот факт, что актеришко укрывал беглую танцовку герцогини, подтвердил и гвардейский капитан Альбрехт. Андрей Иванович вел дела тонкие, деликатные. И комнатка, в которую привели Михайлу, тоже была светлой и почти веселой комнаткой после тех унылых, однообразных, засиженных клопами помещений, в которых такие же унылые однообразные чиновники брали с Михайлы первые опросные листы.

У Андрея Ивановича взгляд был светлый, понимающий, даже веселый взгляд. Михайло неловко мялся перед ним, подтягивал рогожные портки.

— Ай да скоморох, ай да молодец-удалец! — усмехнулся генерал на рогожное рублище. — Давно ли в атласе и бархате на сцене красовался, дам прельщал, а ныне фортуна переменилась? Отчего так? — И пока Михайло жаловался на графа Дугласа и его людей, Андрей Иванович решал его судьбу.

Еще недавно проще всего было взять и угодить графу Дугласу, надолго упечь этого молодца в рогожке на каторгу за покушение на персону герцогини Мекленбургской. «Опять же и танцовка хороша». Андрей Иванович машинально отстучал пальцами о стол мотив песни, под которую танцевала Дуниша в спектакле у Бидлоо. Еще раз пожалел, что не взял танцовку в тот вечер, спешил тогда во дворец. Словом, по недавним временам прегрешений скомороха было более чем достаточно. Шутка ли, немцы задеты! Но времена-то сейчас другие! Закрыта Тайная канцелярия, закрыт Преображенский приказ, некому крикнуть «слово и дело»! На верхах Митька Голицын законы блюдет. А по законам одно частное лицо не может своей волей схватить и пытаться другое частное и важное лицо. К тому же Андрею Ивановичу было ведомо,

что по указу Верховного тайного совета граф Дуглас за многие его вины и прегрешения в Эстляндии в Москве не как почетный гость сидит, а под голицынским судом ходит. А ну как дойдет до Голицына челобитная рогожного молодца! Он этому дурному немцу сразу еще одно дело предъявит — на сей раз московское! Вот тут и думай, как поступить! Андрей Иванович недовольно крикнул и насупился. Время сейчас стоит смутное, беспокойное для полицейского генерала время. Вон Васька Татищев на днях у Черкасского всенародно требовал, дабы при арестах непременно присутствовали два депутата из выбранных и сенатор. «Да ведь то прямой надзор над государственной властью». Андрей Иванович глубокомысленно покачал головой, вспомнил те тихие времена, когда сам первенствовал в Тайной канцелярии, решал судьбы великих персон, а не каких-то рогожных скоморохов. «Конституций им захотелось! Погодите, прибудет императрица Анна Иоанновна, она вам пропишет конституцию! И Тайную канцелярию восстановит! Непременно восстановит! Россия без заплечных дел мастера все равно что невеста без жениха. Нельзя России без застенка и розыска, никак нельзя! А с этим рогожным скоморохом все же повременить надобно. Ишь чего городит! Граф Дуглас и капитан Альбрехт хаяли, мол, русских и подвергли его незаконной пытке. Все ныне законниками заделались! Пускай-ка посидит в остроге, законник... до скорой счастливой перемены».

Андрей Иванович поманил Михайлу. Тот невольно рассматривал комнату, украшенную огромным гобеленом «Покорение Иудеи» (Андрей Иванович любил все римское). В комнате после холода и смрада острога ему даже понравилось. Смущал только запах — кислый, тревожный запах — запах человеческой крови.

— Так ты вольный человек, значит? — Андрей Иванович взирал на Михайлу строго, по-начальственному. — А чин? Почему тебе никакого чина не вышло? И что ты за человек, ежели без чина? В России только тот человек, кто чин имеет. Без чина ты вошь, а не человек! Драл тебя граф Дуглас, и за дело драл — будешь знать, как уводить крепостных танцорок! Да я тебя сразу раздавить должен! Но я нынче добрый, подожду. Ступай, посиди в остроге — может, и вспомнишь, где прячется беглая раба ее светлости герцогини Мекленбургской. И пока память о ней не воротишь, из острога не выйдешь, — Андрей Иванович запустил пальцы в табакер-

ку, чихнул. — Ну а что немцы нас, русских, не любят, так нам то и без тебя ведомо. Нам и не потребно, чтобы нас любили. Главное — немцы государям служат верно. Не то что вы, вольные российские воры и самозванцы!

Андрей Иванович с видимым раздражением захлопнул золоченую табакерку. Тотчас из-за дверей выскочили два здоровенных сержанта-преображенца и поволокли Михайлу по длинному коридору обратно в острог. Ушаков смотрел вслед не без задумчивости. «И в самом деле, что будет с Россией, коль объявились в ней люди без всяких чинов и званий: пииты, скоморохи, танцорки площадные. Записать бы их по какому-нибудь ведомству. Мундиры выдать, оклады положить, реестрик составить!» Андрей Иванович улыбнулся со значением. Мысль-то была государственная, нужная. И неожиданно для себя он сел за стол и стал сочинять свой проект. Так уж повелось в Москве в ту тревожную зиму. Все сочиняли проекты...

* * *

В тот самый вечер, когда Михайлу втокнули обратно в смрад острога, солдаты увели на розыск Климушку. Обратно приволокли деда под руки. Был он без нательной рубашки, с черной от ожогов, точно дымящейся спиной, бредил и впадал в беспамятство. «Не иначе, как горячим утюгом гладили...» — с уверенностью заключил Камчатка и озабоченно стал смазывать раны дедкиным маслом. «Звери! Чистые звери!» Огромная тень Максимки заметалась по острожной стене. Мигала догорающая свеча.

Чудодейственные травы и деревенское маслице силы ва сей раз не возымели. Очнулся дед утром лишь на мгновенье, молча, с великой тоской оглядел стеснившихся кругом острожников. Серенький из-за решетки свет скупно освещал обросшие исхудалые лица. Никто не плакал, не кричал — все молчали. И в этом тяжелом молчании чудилась грозная сила, может, оттого, что все они были не врозь, а один к одному.

Но ничего особого не случилось ни в этот, ни в следующие за ним дни. Климушка скончался, а на другое утро те самые острожники, что провожали его в последний путь, передрались между собою из-за тулуша и серенькой крестьянской котомки покойного, где и всего-то добра, что положенная заботливой бабкой чистая латаная

рубаха, мыльце да чудодейственные корешки и лампадка с маслицем.

— И куда господь смотрит? — вырвалось у Михайлы.

— Ишь ты, господь?! Так и подаст он тебе рапорт! — рассмеялся Камчатка, перебравшись на место Климущки и как бы по наследству взявший под свою опеку новичка.

Камчаткой знаменитого атамана прозвали за то, что в своих странствиях примкнул он в Сибири к вольной казацкой ватаге и дошел с ней, как он сам говорит, на самый край света, и прозывался тот край Камчаткою. «В краю том иной час из гор пламя исходит, и земля тогда дрожит и ходит под ногами, что твой корабль в бурю... — увлеченно рассказывал Камчатка. — И с горы идет вал огненный, и все жжет и рушит. А под горой той в разгар зимы бьют ключи столь горячие, что в самый жестокий мороз купаться можно...» На этом месте старые острожники дружно прерывали рассказчика: «Буде врать-то, Камчатка! Не мешай спать!»

А на другое утро Михайлу вместе с другими колодниками погнали на великий торг. Бесчисленные остроги, черневшие на заснеженных просторах России (острогов было не менее церквей), стояли правительству на удивление дешево, поскольку содержание их было самое простое и экономное. Тюремщиков заменяли регулярные солдаты. Пропитание же острожников было в руках самих узников. Еще со времен Ивана Калиты власти открыли, что народ российский сердоболен и участлив к юродивым, калекам, погорельцам и, само собой, к острожникам. Мужики охотно давали им копеечку уже оттого, что на Руси острог да сума — общая беда; бабы-богомолки почитали несчастных, забнувших на морозе, за божьих людей, а как не подать божьему человеку?

И вот шумит, буйствует московский базар. «Огурчики из Нежина! Хрустят на зубах нежные!» — заливаётся соловьем голосистый курянин. «Фрукт заморский! Картошка в тулупах!» — надрывается рядышком ловкий петербуржец, пригнавший из Кенигсберга возы с этой все еще диковинной для москвичей земляной ягодой. В соседнем ряду степенно поглаживают крашенные ядовито-красной охрой бороды купцы-персияне. Поблескивают на морозном солнце дамасские клинки, кавказкие кинжалы-бебуты, переливаются персидские шелка. Шумит базар!

Сурового вида помор не без презрительности отвеча-

ет суетливому немчику, торгующему шкуру белого медведя. Глаза у немчика блестят: он уже видит, как будут удивляться медвежьей шкуре в Бамберге. В глазах у помора застыла тоска от всей этой пестроты и человеческого гомона, ему, должно, все еще мерещатся бесконечные снежные дали Ледовитого океана. И шкуру он продает себе в убыток — торопится!

Зато бойкая румяная московская купчиха своего не уступит: ловко отбирает льющиеся под ее пухлой ручкой ширазские шелка. Застывший на морозе купец-ширазец так и вспыхнул при виде вальяжной щеголихи — томно закатывает восточные глаза и словно слышит уже, как плещется эта большая белая красавица в бассейне его гарема — до торговли ли тут! Не торгуясь уступает шелк московской красавице. И вдруг все на минуту стихает. Слышен только мерный тоскливый звон кандалов, заглушающий дальние перезвоны церкви. Зябкие, кутающиеся в тонкие плащи, караульные солдаты гонят синих от мороза острожников. Те в жалких отрешьях, рубищах. Чем жалче вид, тем больше копеечка.

«Ну как не помочь сердешному! У самой Ванюша по барскому указу угнан в Сибирь за последний мужицкий бунт». Деревенская бабка, у которой и всего-то товара три пучка лука, узловатыми крестьянскими руками оделяет страдальцев. Купчиха-щеголиха согнулась в три погибели, ищет кошель. Отсчитывает скупно — на бога передашь, много ли себе-то останется? Бросает медяк. Благодарственно звенят кандалы. Проходят колодники.

И кончилась тишина. Загомонил, зашумел базар. Лихой озорник яко вижрь налетел на согнувшуюся купчиху, припрятывавшую кошель. Поскользнулась, упала купчиха, а когда встала, озорника и след простыл. «Караул! Кошелек! Караул!» — запричитала купчиха, но вокруг смех, тысячи лиц. Пойди найди!

Когда в полотняном ряду хорошенькая кружевница бойко взяла его за руку, Михайло сразу и не узнал Гальку — разбитная, ловкая, настоящая московка. Пока острожники кружили по базару, Галька успела шепнуть, что Дуняша укрыта в надежном доме, а ему Шмага обещал скорую помощь — будет бить челом большому боярину.

— Ох, не верю я в боярскую милость! — пожал плечами Михайло. — По мне куда важней через острожный тын перепрыгнуть.

— Лихо, хлопец! Возьми и перепрыгни! = решитель-

но сказала Галька. — Боярскую милость, ее долго ждать, а Дуня твоя совсем извелась. Ходить-то ей по Москве нельзя. Ищут! Вот и сидит затворницей, по тебе слезы льет! — На прощанье Галька сунула в карман Михайле гривен шесть — целое состояние для острожника.

— Э, да ты сегодня, соседушка, удачлив! — Камчатка на звон определил заветные гривенники в карманах Михайлы. — Слушай! — горячо зашептал он ночью. — Отдай мне гроши, и слово даю — завтра же будем на воле! — Столько было силы в шепоте атамана, что Михайло поверил.

На другой день в остроге вместе с Михайлой, сказавшимся больным, остались только Камчатка и Максимуха.

— Спасибо царю-батюшке да князю Ивану Долго-рукому — с виселицы, голуби мои, сняли меня, грешного! — посмеивался Камчатка. Да только снять-то сняли, а пожаловали не печатными пряниками, а каленым железом! — Хотя Камчатка и шутил, но знал, что по новому цареву суду он приговорен, как и Максимка, к жестокому наказанию каторжников: битью кнутом и вырыванию ноздрей. А на лбу выбивают крепкую отметку: ВОР. Впрочем, коль золотой случай спас от веревки, то из острога я и до пытки уйду, твердо решил атаман. И искал только счастливого случая. Деньги Михайлы и дали ему тот случай в руки.

Усатый сержант, командир караульной команды, был старым знакомцем Камчатки. Весело позвякивая гривенниками, атаман доверительно о чем-то пошептался с ним, сержант дал команду, и через час острог напоминал тайную корчму. Караульные солдаты на полученные деньги доставили из царева кабака штофы с водкой, соленые огурцы, холодного зайца под сладкими взварами. Разыгралось острое гульбище, и караульные не выдержали, уважили, сели за стол. Михайло и глазом не успел моргнуть, как Камчатка подменил перед ним и Максимкой штоф с водкой на штоф с водой. «Идя на пир, помяни ангела Пантафана, и с тобой развеселятся все!» — гудел Максимка. Михайло подтягивал, пил воду. Но ловчее всех притворялся Камчатка: горланил песни со старым сержантом, обнимался с молодыми безусыми солдатами, кричал страшно и невразумительно, так что Михайле померещилось: напился. Но, перехватив вдруг его жесткий холодный взгляд, поежился — трезв Камчатка!

Сержант пил уже не из чарки — из широкого му-

ромского ковшика. Смотрел затуманенным влажным взглядом в подслеповатое окошечко, через которое открывался вид на грязный внутренний двор острога, вспоминал теплые южные моря, за которые воевал с господином капитан-бомбардиром Петром Алексеевичем. «Вот царь был, так царь — не брезговал нашей солдатской кашницей. А сейчас пошли все бабы...» Сержант раздражительно сплюнул. Камчатка понимающе заглядывал в глаза, подливал. За окошком разыгралась метель. Сержант уронил на стол пьяную голову, заснул. Один из солдат давно уже сполз под стол, другой пил мало, тревожно поглядывал на загулявших товарищей.

Камчатка меж тем дал знак: затаил лихую разбойничью.

И тогда выпрямился во весь рост огромный Максимушка. Чернобородый, лохматый, пудовым кулаком спиш караульного, тот и не вскрикнул. Максимушка сбил и наружного часового — дурашливого молодого солдата, который, увидев Камчатку в плаще и кафтане сержанта, надумал приветственно взять ружье на караул. Оглушенный кулаком Максимушки, он остался лежать у ворот острога, меж тем как Камчатка и два его товарища, переодетые солдатами, скрылись в завесе хмельной, размашистой метели.

ГЛАВА 6

Дмитрий Михайлович Голицын ясным морозным утром сам пожаловал в мастерскую Никитина. Сбросив шубу на руки подскочившего Мины, князь Дмитрий не спеша поднялся по лестнице, опираясь на дорожную трость красного дерева — подарок польского короля Августа. Свежевыбритый, в зеленом градетуровом кафтане и парчовом камзоле, он казался моложе своих 65 лет. Князь знал и любил живопись, и к Никитину приезжал отвлечься, снять тревогу души. А тревога в те дни не покидала Голицына. Из Митавы, от Василия Лукича Долгорукого все еще не было никаких известий, и князь Дмитрий мучился по ночам бессонницей, гадал — подпишет Анна «кондиции» или нет? В Совете порешили держаться твердо, и без «кондиций» не бывать Анне в Москве. Но тогда вставал великий вопрос: кого же сажать на престол? Дело было столь важное, что сон отлетал. И лишь когда светало, возвращалась уверенность: подпишет, куда ей деться.

Даже у художника князь Дмитрий не сразу расста-



E. P. 87

вался с государственными думами и заботами. Но постепенно, как бы заново князь Дмитрий открывал для себя тонкий мир красок, забывал о мире большой политики и возвращал себе себя. В нем всегда уживался рядом с дельцом мечтатель, рядом с политиком художник.

И этот другой человек беседовал на равных с первым светским живописцем России. Многие придворные удивились бы, как этот боярин старого закала, Гедиминович в четырнадцатом колене, столь дельно сравнивает иконы рублевского и ушаковского письма, толкует о венецианской и римской школах живописи. А меж тем у него и Никитина были одни из лучших в Москве собраний икон, оба они, хотя и в разные годы, учились в Италии. Неспешная беседа шла о Феофане Греке и Рублеве, славных итальянцах Тициане и Веронезе, Рафаэле и Джорджоне, картины которых они видели в галереях Венеции, Флоренции, Рима.

Князь Дмитрий покойно сидел в английском кресле, подвинутом услужливым Миной, и изучал эскиз картины «Куликовская битва», над которой снова начал работать Никитин.

— Поверни-ка ее к окну... — приказал он Мине и добавил, обращаясь к мастеру: — Нарочно к тебе поутру заехал. Утренний свет краски нежит! — И впрямь заблистали на солнце голубые холодные отливы шеломов и доспехов воинов на холсте.

— Великие российские роды и великий русский дух творили историю на Куликовском поле... — вслух размышлял князь Дмитрий. — Здесь мы освободились от одного иноземного ига, а ныне грядет другое.

— На русскую шею да немецкий хомут! — вырвалось у Никитина.

— Угадал! — с горьким ожесточением продолжал верховник. — Боюсь, коль не удастся мой замысел, заполонят немцы царев дворец. Привезет сия персона, — Голицын непочтительно ткнул в сторону портрета Анны Иоанновны, висевшего в углу мастерской, — своего фаворита Бирона и целый сонм курляндских баронов. Да заодно и банкира Липмана прихватит.

Старый князь встал и поближе подошел к портрету Анны, оперся на трость. Так и стояли, как бы вглядываясь друг в друга — верховник и его новая императрица с неоконченного портрета (у нищей курляндской герцогини вечно не было денег, и Никитин не спешил с выполнением заказа).

— Преотвратного, но сильного взору... — вздрогнул князь Дмитрий. — И с любой точки словно следит за тобой! Как ты того добился?

— Я следовал здесь Рафаэлю, его мадонне *gella Se-dia*, — пояснил художник, показывая на копию с известной картины славного итальянца. Копия та была сделана Никитиным еще во Флоренции, когда он учился у Томмазо Реди, заставлявшего своих учеников копировать прославленных художников чинквеченто.

— Там красота, а здесь власть и мощь... — пробормотал Голицын, которого, как и Василия Лукича в Митаве, тревожила в последнее время мысль: а не ошиблись ли они в выборе?

Старый князь обернулся и пошел к окну, спиной ощущая страшный, уловленный художником взор.

У эскиза «Куликовской битвы» князь Дмитрий остановился и властно приказал Мине:

— Напиши на обороте холста, молодец! — и, горделиво опираясь на трость, продиктовал: — «Приснославное побоище 1380 года между Доном и Мечей на поле Куликовом, на речке Непрядве. Тут положили богатырские головы свои двадцать князей белозерских... множество бояр и воевод, князь Роман Прозоровский, Михаил Андреевич Воронцов и славный витязь Пересвет». — Старый князь повернулся к портрету Анны Иоанновны и сказал с вызовом: — Ежели мы, русские, будем друг за друга держаться, плечом к плечу стоять, как стояли наши предки на Куликовом поле, так, почитай, нет такой силы на земле, которая бы с нашим народом совладала!

Видя такую горячность Голицына, Никитин ловко поведал ему о зловключениях Михайлы и его друзей.

— Так и сказал немец, черная душа: по русской спине удобно фейерверки пускать? — Голицын строго посмотрел в глаза художника.

— Так и сказал! Шмага разговаривал на другой день с Дугласовой дворней. И на те слова и на ту попытку есть очевидцы!

— Значит, без всякого указа схватил вольного человека среди улицы, заковал в железа, пытал в подвале, а потом в острог устроил? Ай да граф Дуглас, ай да душегуб! На московских улицах, как в темном лесу, разбойничает! — Голицын сжал кулак так, что побелели костяшки пальцев. — Ну спасибо, что не скрыл от меня эту историю. Ведь он, Дуглас, сам вызван в Москву на суд и расправу за многие взятки и притеснения, учиненные им в

Эстляндии. И о фейерверках его мне уже отписали из Ревеля. Так нет же, все ему мало. Пожег спины эстам, принялся за русских?! Добро! Зови Шмагу...

Князь Дмитрий сел в кресло, улыбнулся. При имени Шмаги вспомнил Киев, просторный губернаторский дом, окруженный садом, и устроенный в том саду летний театр, где ставил пьесы и устраивал потешные представления этот затейщик Шмага.

«Хорошее было время!» — думал князь Дмитрий, слушая и не слыша Шмагу. Перед ним проходила вся его киевская жизнь, и наособицу тот тревожный полтавский год, когда он, Голицын, крепко, крепко помог царю Петру и против заявившихся на Украину шведов, и против предателя Мазепы и польского короля Станислава Лещинского.

«Всех недругов в тот год сокрушили. А ведь какие орлы были, не чета нынешней мелкоте. А сейчас портрета, написанного со вздорной бабы, убоился! Стыдно, сударь мой, стыдно!» Князь Дмитрий важно встал, решил Шмаге подняться с колен, взял челобитную на графа Дугласа, распорядился с боярской неспешностью:

— Дело твое почитаю, Шмага, верным и делу дам ход. А пока отправляйся в Петербург на пару с секретарем моим Семеновым к вице-президенту Коммерц-коллегии Фикю. Чаю, тот немец поможет тебе с устройством русского театра на Неве. Ведь Фик, — Голицын загадочно усмехнулся, — мой немец! Да и танцорку с собой захвати. А там, — старый князь хитро сощурился, — выйдет замуж за своего ясного сокола, так на что она герцогине брюхатая? Чаю, уступит мужу. И я в том помогу!

* * *

Через день Андрей Иванович Ушаков получил предписание из Верховного тайного совета: вольного человека Михайлу Петрова из острога немедля освободить и взять ему с графа Дугласа немалые деньги за пытки, побои и несправедливый суд. Испуганный крутым голицынским посланием, Андрей Иванович сам явился освободить Михайлу, благословляя тот час, когда он не сослал актеришку в Соловки или Березов.

И здесь узнал, что соколик из острога-то улетел.

«От своего же счастья бежал, дурак!» — рассмеялся про себя Андрей Иванович, вполуха слушая объяснения караульного испуганного офицера. И на клятву острож-

ного начальства: поймаем, непременно поймаем, важно разъяснил: ловить ту птаху не нужно.

— Там... — Андрей Иванович указал пальцем наверх, — порешили — пусть летает!

ГЛАВА 7

Подмосковное сельцо Софрино не столь давно именовалось Софьино и принадлежало царевне Софье. Петр Великий, отправив правительницу в монастырь, подарил вымороченное сельцо канцлеру Головкину, а тот отдал в приданое своей дочери, когда она вышла замуж за Павла Ивановича Ягужинского. Для Павла Ивановича то был второй брак. С первой своей женой сей новый вельможа развелся, поелику она была крайне грустна, а сам Павел Иванович, напротив, был нрава очень веселого. Сельцо Софрино Павлу Ивановичу нравилось именно за его веселость.

Окруженное многими садами, расположенное на возвышенной и сухой местности, откуда открывался прекрасный вид на окрестные поля и луга, Софрино было одним из лучших подмосковных имений.

Вдоль широкого пруда все еще росли старые вязы с инициалами фаворита царевны Софьи князя Василия Голицына. Все здесь напоминало старинные допетровские времена: и старенькая деревянная резная церквушка, и столетние дубы, и высокий терем.

Но стоило попасть в кабинет Павла Ивановича Ягужинского, как объявлялось, что здесь расположился человек новых времен. Кабинет Павла Ивановича похож был на капитанскую каюту голландского фрегата: с низким потолком, со стенами, обитыми дубом, с математическими и навигационными приборами на столе, большой астролябией возле кожаного дивана. Даже старинным слюдяным окошечкам Павел Иванович распорядился придать вид корабельных иллюминаторов, уничтожив для того все наличники с резными петухами и единорогами. Моряком Павел Иванович, хотя и не был, но довелось ему быть при Гангуте, с той поры он, как подлинный ученик великого Петра, почитал море и все с ним связанное. Одна только вещичка выпадала из капитанской обстановки кабинета нового вельможи. То был клавесин. Сын органиста не забыл уроки отца, и часто бывшего генерал-прокурора можно было видеть распеваящим модные французские песенки.

Вот и сегодня Павел Иванович превосходно, баритон-ном напевал, аккомпанируя себе, французский романс, который он и переложил на русский язык. Жена его Катись, которую при дворе прозвали за ее едкие насмешки «петербургской осой», слушала его в соседней комнате с видимым умилением — к занятиям мужа она относилась с редкой для нее серьезностью и в глубине души почитала его гением, что не мешало ей, впрочем, веселиться с другими.

Позабудем огорченья,
Днесь настали дни утех,
Нам любовь дала мученья,
Но милей стала для всех, —

сочно и грустно выводил Павел Иванович. За круглым, заиндеветым наполовину окошечком открывался сад с посеребренными инеем вершинами дерев. Зажглись первые огоньки в нижней деревне, дым из печных труб неподвижно повисал в морозном воздухе. Катись с увлечением слушала пение своего супруга-чаровника. И потому с видимой досадой встретила явившегося офицера. Но делать было нечего, надобно было прервать тихий досуг: Павел Иванович, как всякий петровский питомец, на первое место ставил дело, а не заботу о душевном спокойствии.

— Да и что такое душа? — иногда рассуждал Павел Иванович. — У делового человека порывы души должны быть подчинены рассудку, а рассудок всю жизнь ищет выгоду, и потому находит счастливый случай!

Сейчас, в пору шатаний, Павел Иванович нюхом чуял — подвертывается в его карьере именно такой счастливый случай, и нельзя его упустить, даже рискуя потерять все свои прежние чины и звания.

В отличие от Остермана, тактика Павла Ивановича всегда была тактикой наступательной, а не оборонительной.

Сероглазый, высокий, с двойным подбородком, Павел Иванович в роскошном персидском халате предстал перед офицериком блистательным, уверенным в себе вельможей, вновь поймавшим свою фортуна, как жар-птицу за хвост.

Офицер был старый знакомец, Петр Спиридонович Сумароков. При Петре I двадцатилетний гвардейский сержант Сумароков, посланный в Белгород заковать тамошнего воеводу в железо за взятку, то ли от бедности, то ли от слабости характера сам не устоял и взял взятку у воеводы, отослав в Петербург взамен заключенного свое соб-

ственное заключение о его невинности. Дело было столь ясное, что Сумарокову грозило прямое бесчестье: лишение дворянского звания, битье кнутом и ссылка в Сибирь. Но Павел Иванович пожалел юношу: документик попридержал, спрятал в особую шкатулочку, и документик в той шкатулочке сохранял свою силу. Петр Спиридонович Сумароков и по сей день был надежным человеком Ягужинского.

Павел Иванович, однако же, принял его сегодня с отменной любезностью, пригласил сесть в кресло, быстрым взглядом отметив при том простой суконный мундир офицера, круглый парик без пудры, рубашку без манжет. По всему было видно, что господин Сумароков, хотя и дослужился до чина поручика, беден как церковная крыса. Такие вот гвардейские псы любому горло перегрызут, если пообещать им деньги и продвижение в чинах.

Глаза Сумарокова и впрямь вспыхнули. «Шутка ли, чин гвардейского капитана и тысяча червонцев за такой пустяк, как пройти через караулы и доставить письмо в Митаву. Да к тому же милость новой императрицы — это ли не настоящий случай!»

«Человек, ищущий случай, всегда поймет человека случая», — с удовольствием отметил Павел Иванович. Поручик Сумароков объявил, что готов выехать той же ночью. Павел Иванович вручил ему письмо, пятьсот золотых червонцев на дорогу, распорядился дать добрую лошадь, вырядить ямщиком. Когда Катись вошла в кабинет мужа, Павел Иванович с чувством исполнял на клавесине лютеранский хорал:

И если б свет был полон чертей
И они вздумали пожрать нас,
Мы все-таки не боимся,
Наше дело в конце концов удастся!

Ночью ударил жестокий мороз. Караульные солдаты, выставленные распоряжением Верховного тайного совета на всех заставах, дабы не выпускать никого из Москвы, разложили на снегу костры, грелись. Чем сильнее забирал мороз, тем выше поднималось дрожащее пламя и, казалось, перемигивались волчьи глаза вокруг темной заснувшей тяжелой январским сном столицы. Жутко было, когда из темноты улиц напал загадочный, точно подземный гул, огромного города. Солдаты хватались за ружья.

Затем все стихало, лишь где-то вдали пронзительно и жалобно раздавался человеческий крик — караул!

Само собой — раздевают! Но у солдат свое государево дело — следить за дорогами.

— От такого мороза даже лошади и те задыхаются, а тут держи караул! — ворчали солдаты, теснясь к жаркому пламени костра.

За морозным паром не сразу даже увидели всадника. Нежданно вылетела на костер всхрапывающая лошадь, конник, по виду ямщик, а по прыти чистый разбойник, с ходу перемахнул через костер и пропал в темноте. Всплеснулось вслед пламя выстрела, но в глаза солдатам ударила лишь снежная пыль, поднятая лошадью.

Выскочил на выстрел караульный офицер, в теплой избе отсыпавший царскую службу. Сердито махнул рукой: «Вы ничего не видели, я ничего не слышал!» Ежась от мороза, убежал обратно в избу.

— Баба там у его, смотрителя почтового дочь: сладкая... — размечтался молоденький солдатик. Остальные зашлись смехом: теплее стало.

А по ночной заснеженной дороге, мимо утонувших в сугробах редких деревушек, по глухим лесным просекам мчался в Митаву гвардейский поручик Сумароков.

В ушах лихого поручика все еще стоял свист пуль, а перед глазами мелькали уже не леса и сугробы, а блестящие залы Митавского замка, завистливый шепот придворных и пухлые белые руки императрицы, в которые он отдает потаенное письмо. И кто знает?! От честолюбивых мечтаний замирало сердце гвардейца.

ГЛАВА 8

Анна Иоанновна ночью металась на широкой кровати, задыхалась под пуховиками, кричала басом: тревожила луна, и не было потребной мужской ласки. Встала помятая, с черными мешками под глазами. Недовольно смотрелась в зеркало. Все у нее как-то выпирало: пышная грудь, тройной подбородок, толстые мясистые губы. «В матушку пошла», — подумалось с привычным огорчением. Переваливаясь, подошла к окну; босая, нечесаная, неумытая, ела конфеты из расписного лакомника, смотрела на пустынную митавскую площадь перед замком. Денек наступал обычный, муторный, серый, с мутным дождем или с мокрым снегом. В огромном Митавском замке холодно, от сырости отваливается штукатурка и краска на цветных плафонах.

Вокруг замка ров, заваленный нечистотами, обвалившиеся бастионы, за ними унылый городишко, затерявшийся среди белесой дождливой равнины. На пустынных улицах изредка мелькают высокие лифы курляндок да на рынке толкутся краснорожие крепкие мужики. Вот и вся она — Митава. Изредка прогремит по грязному булыжнику карета с каким-нибудь спесивым бароном и, конечно же, мимо. Курляндская знать посещала свою герцогиню лишь по большим праздникам. Да и зачем она вообще сидит в Митаве? Все одно вся гражданская власть в руках высокой комиссии, определенной панями в Варшаве, а военная в руках очередного русского генерала из военной коллегии в Санкт-Петербурге. Призрачное герцогство, призрачная герцогиня.

Анна с ненавистью уставилась на узкий, во весь рост, портрет супруга, давно перевешенный в темный угол. Всю жизнь она и живет за этим... портретом. Его высочество герцог так упился на собственной свадьбе, сыгранной на щедрости ее дядюшки, Петра Великого, что, не отъехав и нескольких миль от Петербурга, в одночасье скончался. Вернуться бы ей тогда же в Москву, на широкое салтыковское подворье матушки — так нет, дядюшка был строг и определил жестоко: коль ты герцогиня, так и живи в своем герцогстве. И жила, скучала в малолюдной Митаве ради высоких интересов российской политики. Изредка вырывалась в Москву или Петербург — веселилась напропалую, но деньги кончались, и снова надобно было возвращаться в ненавистную Митава. Дабы не лишиться пансиона, выплачиваемого Верховным тайным советом. И возвращалась... служить. А ведь и четвертый десяток давненько пошел, и волос уже седой, и круги под глазами.

И все невестится. Вечная невеста нищих принцев. Женихи эти, впрочем, были чем-то далеким, эфемерным. Наличествовали они только на бумагах, в прожектах Российской коллегии иностранных дел. Из роя проектируемых женихов только один и осмелился предстать перед очами, примчаться в Митава, невзирая на запрет и угрозы. Зато и хорош был: писанный красавец, принц Мориц Саксонский. Анна закрыла глаза, тяжело задышала, покачнулась, точно ветер-сквозняк принес снова с собой горячие слова отважного принца. Что и говорить: уж так нравился, так нравился! — нет, прислали два полка солдат и выгнали храброго жениха. Не угодил, видишь ли, Верховному тайному совету! А ее спрашивали? Ее не

спрашивали, ее никогда и никто не спрашивал: ни матушка, царица Прасковья, у которой она ходила в нелюбимых дочках, ни дядюшка, великий государь, когда выдавал ее за герцога-пьяницу, ни Верховный тайный совет, изгнавший любезного принца и определивший жить ей и далее одинокой вдовой в Курляндии.

Анна сердито засопела, растравив себя жестокими воспоминаниями, но не заплакала, столь имела ожесточенное сердце.

Защелкала ученая канарейка. «Да что это я раскисла-то? — спохватилась Анна. — Не все же у меня горести, когда отменная радость рядом — друг бесценный, Бирончик». Повеселела, крикнула девок. На зов примчались арапка Анютка да персиянка Парашка, принялись суетиться вокруг барыни.

За горничными проскользнула дежурная камер-фрау: тощая зализанная немочка с картофельным личиком, таким бледным, что, казалось, сосут ее пиявки.

Анна дежурной камер-фрау обрадовалась: то была ее любимица, Бенингна, жена Бирона. Анна и не думала ревновать ее к мужу: жили тихо, мирно, втроем.

За туалетом Анна и Бенингна долго решали, как ее высочеству одеться получше, порадовать дружка. Наконец из китайского шкафа под черным лаком, расписанного золочеными узорами и травками, была извлечена широченная роба. Анютка и Парашка (обе арапки фальшивые, крашенные — на африканских-то денег не хватило) с вологодскими тайными ухмылочками затягивали на барыне корсет. Закончили и, не отдышавшись, запели: «А какая нонче матушка красавица!...»

— Цыц, сороки! — Анна шумно присела на стульчик, передохнуть перед погружением в робу. Собачонка Цетринька, вертевшаяся вокруг женщин, вдруг заверещала от преданной собачьей радости.

Распахнулись под властным ударом ботфорт лакированные створки дверей будуара, и на пороге — он. В неслыханном ярком кафтане, расшитом перьями фазана, горбоносый, с ямочкой на крутом подбородке, красавец Эрнст Иоганн Бирон не соизволил даже раскланяться с дамами — сегодня были только свои.

И Анна, встретив этот знакомый жестокий наглый взгляд, которым Бирон привык осаживать кобылиц в своих конюшнях, не выдержала и сказала со смущением и лаской:

— Здравствуй, сударь мой, как почивал?

А глаза ее жалобно говорили другое: почему не пришел этой ночью?

Бирон с ленивым равнодушием отвесил поклон, так что она близко могла видеть жирные щеки, отвисающие, как у породистого бульдога, кустистые брови, точно в изумлении ползущие на низкий, заросший волосами лоб, глуповатые красивые глаза навывкате.

За спиной у Бирона неслышно выскользнули из покоев девки-горничные, мелькнула и скрылась с подобострастием Бенингна, но Анна ничего этого не видела, а чувствовала что-то, властно захватившее все ее бабье одинокое существо...

* * *

После второго завтрака Анна по заведенной привычке ездил в манеж, стреляла там из лука с шелковой тетивой, пробовала новый штуцер с золоченой насечкой, любовалась, как гарцует на смирном бранденбургском мерине ее лапушка. Штуцер был превосходной льежской работы, лапушка мил и разговорчив — в манеже Бирон отходил душою, страсть его к лошадям всем была ведома. Анна любила эти часы: все тихо, покойно, он рядом с ней, и не в гневе.

Обер-берейтор вывел превосходного испанского жеребца: с точеными бабками, лебединой шеей, жеребец бешено косил злыми глазами. Жеребец принадлежал графу Сапеге, верховному комиссару Речи Посполитой в Курляндии. Анна знала, что цена будет поистине графская, но купила не торгуясь.

Бирон тотчас смягчился и даже пытался припомнить Овидиевы любовные вирши на латыни. Анна слушала с видимым умилением: сколь учен лапушка! Не случайно же целый год учился в Кенигсбергском университете.

Сама Анна, сколь ни бился с нею приставленный дядюшкой учитель французик Рамбур, в латыни не преуспела, почему ученость Бирона вызывала в ней всегдашний восторг. Учености же в других придворных чинах она не терпела и называла ее пустою забавою.

Жеребца нарекли Фаворитом. Черный как смоль, с широкой грудью, могучими стройными ногами, Фаворит казался диким и необъезженным, но сахар, протянутый Анной, охотно слизнул с ладони.

В замок возвращались довольные — утерли нос зазнайке Сапеге. «Сволочная аристократия! Во дворец по-

са не кажут и тянут за собой всех курляндских баронов».

Бирон горько переживал, что курляндская знать отказывалась водить с ним знакомство. Но оттого он не только не возненавидел эту знать, но в глубине души сам мечтал затесаться в ее ряды. Постоянно занятый этой целью, он, став впоследствии фактически правителем одной шестой части света, по-прежнему взирал на мир с невысокой курляндской колокольни, и ежели чего боялся, так это — как о нем подумает барон такой-то или как к этому отнесется баронесса такая-то — там, в далекой Митаве.

Покупка Фаворита, по мысли Бирона, была маленькой победой над упрямыми курляндскими баронами. Ни у одного из них не нашлось денег на покупку испанского жеребца из конюшен самого графа Сапеги. А вот у него, Эрнста Иоганна Бирона, сына конюха, деньги нашлись.

Бирон замурлыкал: «Ach, mein lieber Augustin...»

У него не было ни голоса, ни слуха, да и немецкий язык его представлял чудовищную смесь немецких, латышских и польских слов, но Бирон почитал себя по силе выражений едва ли не вторым Лютером. Это была в нем, пожалуй, основная черта, которая так облегчала жизнь: он был всегда доволен собой.

Анна, развалясь в полуберлине рядом с лапушкой, меж тем все мрачнела. Коляска прыгала по грязной булыжной мостовой, мимо маленьких унылых домишек за чахлыми палисадниками; мчалась вдоль узкой, все еще незамерзающей речушки, а в голове у Анны вертелась одна мысль: где достать денег на эту неожиданную покупку? И оттого, что ей, Романовой по батюшке, Салтыковой по матушке, приходилось думать о каких-то несчастных тысячах, а не о миллионах, приходил гнев.

Но гневалась Анна не на Бирона, а на далекую Москву, на скряг из Верховного тайного совета и на первейшего скрягу Российской империи — старого Голицына, пекущегося о государственной казне, точно о собственной.

Сколько раз просила она увеличить свой герцогский пансион, и всякий раз получала вежливый и скрытно-насмешливый отказ, за коим видела усмешечку Голицына. Последний отказ был особенно уничтожителен и коварен. Верховный тайный совет обещал, что в деньгах отказу не будет, ежели — Анна обернулась к своему Эрнсту Иоганну, — ежели она удалит Бирона.

Бирон перехватил ее взгляд, самодовольно улыбнулся. Он был похож на скверного, гадкого, милого, любимого, толстого мальчишку.

«Не отдам, ни за какие деньги! — твердо решила Анна. — А талеры на Фаворита можно занять и у банкира Липмана — старый и знакомый выход».

Анна вздохнула: все ее герцогские владения давным-давно заложены и перезаложены.

Деньги, деньги! Всю жизнь мучается она из-за этих грошей. Натурально, порода у нее широкая, роскошная! А тут...

В замке ее поджидало новое унижение. Вошедший без доклада кухеншнейбер — розовый толстый немец — доложил со лживой почтительностью, что запасы на герцогской кухне кончились, а новых купчишки в кредит более не отпускают. Кухеншнейбер нагло помаргивал, зыркал по стенам, где ржавели рыцарские доспехи рода Кетлеров, казалось, приценивался.

Мясистое, напудренное лицо Анны покрылось красными пятнами, глаза сделались злыми, дикими, точно проснулась в ней горячая бабкина кровь, кровь Милославских.

Кухеншнейбер обмер, встретившись с ее взглядом: кто знает этих москвитов, когда наградят, а когда зарежут? Беззаконники. Спина сама согнулась в поклоне.

Анна приказала немедля ехать к Липману.

— Да Липман не даст этому болвану и пфеннига, — равнодушно заметил Бирон, развалившийся в кресле и важно дымивший из длинной глиняной трубки. — Придется отправиться самому.

Анна снова залилась краской: на сей раз от благодарности к лапушке. Она замерла у окна, не могла насмотреться, как ловко он вскочил на коня, небрежно засунул за голенище глиняную трубку и ускакал, фонтанами разбрызгивая грязь.

За окном пошел мокрый снег, к вечеру, должно, похолодает. Анна жалостливо, по-бабьи, подперлась рукою, засмотрелась на длинную пустынную улицу, по которой должен был вернуться лапушка, и нежданно для себя тихонько запела старую, еще в Измайловском слышанную песню:

Дотоле зелен сад зелен стоял,
А нонче зелен сад присох-приблек,
Присох-приблек, к земле прилег...

За окном тянулись густые влажные балтийские сумерки. Одиноким часовой равнодушно и мерно, по артикулу, вышагивал вокруг тумбы с цепями перед дворцом. Было так тихо, что на миг померещилось: вымер и город, и дворец, и вся-вся земля вымерла.

Приуныли в садочке вольные пташечки,
Все горькие кукушечки.

И вдруг, точно от зубной боли, заскрипели давно закрытые парадные двери. Анна вздрогнула от испуга, обернулась. На нее летело сияющее, шуршащее розовое облако из шелка, бархата и кружев, все в лентах и орденах. Анна судорожно схватилась за юбки, но здесь облако остановилось и опало, и из кружев, шелка и парика выглянуло маленькое, сморщенное в радостной улыбке личико знатнейшего курляндского вельможи — барона Корфа.

«Этому-то что понадобилось? Месяцами носа во дворец не кажет?»

Анна уставилась на барона, но тот не мог, казалось, говорить от волнения: только махал маленькими ручками. Из дверей ввалилось какое-то снежное привидение в кучерском наряде. За ним показались радостные улыбающиеся лица придворных.

Анна хотела было рассердиться на комедиантские шутки барона — известного затейника, но мужик-снеговик сбросил ямщицкий тулуп и предстал гвардейским поручиком Сумароковым. Гвардеец откозырял и передал в руки Анны запечатанный конверт.

Когда, раздраженный холодным приемом у Липмана, недоумевающий и хмурый Бирон, властно расталкивая придворных, пробился наконец к Анне, тесно окруженной первойшей курляндской знатью, она не сразу узнала его: смотрела вдаль пустыми незнакомыми глазами. Бирон тронул ее за руку, в которой она держала письмо, и только тогда она точно опомнилась. Наклонив к Бирону бледное широкое, с осыпающейся пудрой лицо, не сказала — выдавила как бы через силу, хриплым голосом:

— Иоганн, я императрица!

ГЛАВА 9

Василий Лукич Долгорукий в Митаву добирался не спеша. Следуя в жизни правилам любимого философа своего Эпикура, на первое место он ставил удобства. По-

тому захватил с собой целый обоз со своими поварами, французом-цирульником, английскими скороходами и двумя великолепными арапами, весь путь стойчески проточавшими на запятках легкой барской кареты. Внутри каретка напоминала будуары парижских метресок: ярко-красный бархат, зеркала, несессеры со всевозможными пилочками и помадами. Василий Лукич насвистывал песенки из лукавых пасторалей, подпиливал ногти, лепил черные мушки на нарумяненных щеках, равнодушно заглядывал в окошко: леса! леса! В карете было тепло, уютно, а за узорчатым от мороза оконцем тянулась бесконечная, безлюдная сторона, вконец разоренная недавно отгремевшей Северной войной.

«Истину говорил старый Голицын, — Василий Лукич напускал на себя озабоченный государственный вид, — стране нужен покой и умиротворение после десятилетий поборов и крови». Разворачивал холодную курицу, обсыпал косточки, вздыхал: «Леса! Леса! Снежные, безмолвные... Впрочем, леса — наши естественные крепости...» Василий Лукич успокаивался и принимался насвистывать «Мальбрука» — веселую песенку еще тех лет, когда сам Василий Лукич представлял интересы Российской империи на берегах Сены.

Так ехали. Не спешили. Генерал Леонтьев, другой член депутации Верховного тайного совета, скрежетал зубами, негодуя, как истый ученик Петра Великого, на медлительность дипломатического передвижения. Что с него взять — военный, все равно ему не постигнуть искусства походов дипломатических.

Ругались обычно по вечерам, на постое. Василий Лукич плескался в серебряном чане за ширмой, генерал мерил избу сердитыми генеральскими шагами. На расписной ширме шаловливый французский Амур подкрадывался к томной Психее. Генерал матерился. Василий Лукич стонал за ширмой — здоровенные арапы старались, растирали барскую спину. Шелковая Психея соблазнительно колебалась — дипломата одевали. Василий Лукич выкатывался из-за ширмы в новеньком бархатном французском камзоле, завитом парике, благоухая духами: чистый, свежий. Не верилось, что ему шел шестой десяток. Брал генерала под руку и, удивительно, успокаивал.

— Не торопите фортуны, генерал. Всем ведомо, что фортуна — женщина, — Василий Лукич подмигнул генералу, — а женщина не любит спешки. Не так ли?

И снова беспешно катился богатый нарядный поезд

по лесным дорогам, и здоровенные арапы на запятках пугали деревянных ребятишек и баб: мужиков в этих краях было мало — повышибала прошлая война.

В Митаве Василий Лукич, к немалому изумлению мрачного генерала, и не подумал сразу направиться в замок. Он занял лучшие покои гостиницы со странным названием «Деревянная шпага» и тут же разместил всю депутацию. В гостинице Василий Лукич первым делом залез в серебряный чан с теплой водой, плескался, мурлыкал. На глазах Леонтьева перед ширмой, скрывшей Василия Лукича, продефилировала едва ли не половина Митавы: курляндские бароны, заезжие прусские генералы, польские шляхтичи. И все, казалось, не удивлялись, что Василий Лукич сидит в чане. Только ради графа Сапеги Долгорукий облачился в роскошный турецкий халат, и граф был очень доволен, потому как сам и подарил халат Василию Лукичу в те времена, когда они вдвоем фактически правили Курляндией: один от имени России, другой от имени Польши — и ничего, получалось. Но еще более, чем графу Сапеге, Василий Лукич обрадовался обыкновенному немчику, который, как ясно стало из их разговора, был кухенштейбером в герцогском замке. Василий Лукич долго с ним шушукался, говорил на какой-то тарабарщине, отвел за ширму и только что не усадил с собою в серебряную лохань.

Оттого, что разговор был потайным, генерал еще более рассвирепел. Ранее он был одним из правителей Тайной канцелярии, и потайные разговоры ему никогда не нравились. Василий Лукич как бы мимоходом протянул ему дорожную книжку в дорогом сафьяновом переплете:

— Очень любопытная книжица, мой генерал. И тоже об одной поездке. «Поездка на остров любви» аббата Тальмана. Ах, да, вы не читаете по-французски. Могу вас порадовать — скоро у нас явится российский перевод нашего доморощенного пииты Тредиаковского...

Выходила еще одна явная насмешка. Генерал побагровел. Не затем же они ехали в Митаву, дабы прохлаждаться в никчемных книжных беседах.

— Я полагаю, ваше сиятельство, нам следует незамедлительно отправиться в замок и представиться нашей вообъявленной монархине...

Василий Лукич повелительным движением прервал генерала. Легкомысленно завертелся перед зеркалом, зашвыстел:

Мальбрук в поход собрался,
Мальбрук в поход собрался,
Мальбрук и сам не знает,
Когда вернется он...

Что за глупая песенка: кто-кто, а герцог Мальборо всегда имел точные планы. Уж это Василий Лукич знал наверное: не случайно он и граф Матвеев вели такие длинные и сложные переговоры с этим самым Мальбруком в 1707 году, когда шведы повернули из Саксонии в Россию. А генерал Леонтьев смешон и глуп. Но умеет наводить страх. Василий Лукич сам попросил назначить именно этого генерала, чей огромный рост и звериный вид должны подкрепить дипломатические разговоры.

Потрескивали поленья в камине, потрескивал морозец за окном. Василий Лукич грел над камином зябкие руки, отбивал:

Поплакав о Мальбруке,
Одни легли на ложе.
С супругами своими,
Другие без супруг.

Такова судьба всех великих воинов. Впрочем, если подумать, все мы честолюбцы — все жалкие Мальбруки.

«Совсем спятил петиметр французский», — перепугался генерал.

По лестнице застучали чьи-то каблуки. Василий Лукич словно и впрямь сошел с ума — подскочил к генералу, шепнул:

— Итак, Магомет пришел к горе, а не гора к Магомету.

В двери вкатился барон Корф. Василий Лукич поспешил навстречу. Оба любезника заулыбались: Василий Лукич сделал поклон вправо, барон — влево, Василий Лукич влево, барон — вправо. Наконец барон взял Василия Лукича за руку и пропел:

— Моя повелительница Анна просит вас посетить ее в скромном Митавском замке.

«Титулы государыни пропущены, — подумал Леонтьев, — наверное, не ведают».

— Передайте ее величеству, — Василий Лукич налег на титул, — сейчас будем!

Не прошло и пяти минут, как Василий Лукич, которому прежде на туалет и трех часов было мало, был облачен, к великому удивлению генерала, в золоченый придворный кафтан, погружен в золоченые штаны, покрыт

пудренным париком и закутан в роскошный сенаторский плащ.

Полетели в замок.

ГЛАВА 10

Когда письмо, доставленное поручиком Сумароковым, прочитано было уже не наспех, а с немецкой основательностью, и Анне разъяснили условия, на которых ей предоставляют престол, и призыв Ягужинского не соглашаться на эти условия, Анна была огорчена, как девочка, которой подарили и вдруг отобрали назад красивую дорогую игрушку. Она надулась. Как, неужели несколько вышедших из ума стариков могут отменить самодержавную власть, отныне — ее власть! Нет, она не только не примет кондиции, разорвет эти мерзкие бумажки, бросит их в лицо этой французской обезьяне, Васье Долгорукому, а сама тотчас отправится в Москву и станет во главе верной партии сынов отечества. Ягужинскому можно верить — он ловкий и расторопный человек, не случайно дядюшка назначил его генерал-прокурором. И Остерман на ее стороне, и старый Головкин, и, главное, гвардия. Они на все пойдут — эти поручики.

Мимоходом Анна обласкала Сумарокова, приказала накормить гонца, отвести ему хорошую спальню, выдать придворное платье.

У поручика от этих личных приказаний императрицы закружилась голова, и он дерзнул перехватить на лету влажную белую руку, припасть к ней горячими сухими губами. Ему померещились уже царские милости, о которых напел ему в Москве Ягужинский. Анна не только не рассердилась, но даже умилилась столь простодушной преданности.

Бирон подтолкнул к Сумарокову двух хорошеньких камер-фрау, и те, подхватив под руки бесстрашного вестника, повели его в отведенные покои.

Поручик был в нескрываемом восхищении.

После его ухода барон Корф плотненько затворил двери и, насмешливо оглядев собравшихся, отчеканил:

— Этот гонец лишь одна новость, но у меня есть и другая: Василий Лукич в Митаве!

Впечатление было такое, точно в комнату внесли гроб.

— И где же он остановился? — первым опомнился Бирон. — У вас, барон?

Корф отрицательно покачал головой и не без задумчивости протянул нараспев:

— Важно не то, господин Бирон, что Долгорукий оставился в отеле, важно то, что с ним находится весьма известная на Москве персона: генерал Леонтьев.

Все замерли. Уже то, что Долгорукий миновал замок, — странная и недобрая весть, а генерал Леонтьев в его свите — да ведь это Сибирь! Даже Бирон, мало интересовавшийся Москвой, и тот знал, что этот страшный генерал служил в Тайной канцелярии. А в городе сейчас достаточно русских солдат, чтобы выполнить любой приказ генерала. Само письмо Ягужинского стало теперь казаться двусмысленным и путаным. Ведь в конце концов, кто такой Ягужинский? Отставной прокурор.

Решено было выждать.

Пока Василий Лукич барахтался в своем серебряном чане, беседовал и наслаждался романом «Поездка на остров любви», обитатели мрачного Митавского замка проводили медленные и тягучие часы в бесконечных предположениях и бесплодных прожектах.

Постепенно отпадал один прожект за другим, и выяснилась еще одна досадная истина: не было денег. Денег не хватало даже на поездку в Москву, а там ведь надобно было подкупить гвардию, московских вельмож, духовенство!

— Заметьте, что ни Ягужинский, ни этот скупец Остерман не дадут нам ни пфеннига, — подзуживал Корф. — Деньги даст только Верховный тайный совет. Так подпишите сперва кондиции, а там всегда можно улучшить счастливый час и восстановить самодержавную власть монарха во всем ее блеске.

Бирон уже соглашался с Корфом, и было ясно, что и Анна в глубине души тоже согласна, но подписывать пока было нечего — Василий Лукич блистательно отсутствовал. Даже сами кондиции стали казаться Анне чем-то несущественным. Важно было сначала удостовериться в другом, что ей привезли корону и деньги, деньги, деньги...

Наконец Корф первый решил высказать общую мысль:

— Ежели гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе.

— Вот вы и будете нашим Магометом, барон, — Анна обвела взглядом своих придворных. В поношенных, перелицованных платьях и кафтанах, с блестящими голодными глазами... «Для них всех это последний случай, да и

для меня», — и махнула рукой на гордость. В конце концов, одним унижением больше, одним меньше, она привыкла к уколам фортуны.

Барон отбыл.

Наступило последнее, самое томительное ожидание. Анна и Бирон рядышком стояли у высокого окна, ежились от сквозняка. За окном плыла влажная, ветреная балтийская ночь. Но вот, точно светляки, замелькали огоньки: все ближе, ближе. Должно быть, раскачивались фонари мчащихся в гору карет. Повернули за угол замка. Внизу звонко хлопнули двери, раздались громкие голоса.

— Соглашайся на все, — Бирон на цыпочках скользнул за голубенькую ширму.

Анна выпрямилась во весь свой гренадерский рост, заслонила ширму широченными юбками. Двери, украшенные скрещенными рыцарскими мечами, взвизгнули, и нарумяненный, веселый старичок еще с порога по строгому версальскому этикету отвесил ловкий общий поклон. Подлетел к Анне и отвесил поклон еще глубже, поднял голову. Анна всей своей тушей надвинулась на старичка. Но старичок стоял твердо, и гневный взгляд Анны столкнулся с лукавой прозрачностью насмешливых глаз. Анна не выдержала взгляда: заморгала часто, по-бабьи. Василий Лукич отвесил еще один поклон, протянул свиток:

— Ваше высочество, подпишите — и вы наша монархиня!

Перед глазами у Анны все плыло: насмешливый взгляд Василия Лукича, зверское, хмурое лицо огромного генерала Леонтьева, натянутые улыбочки придворных. Попыталась прочесть пункты и не могла ничего понять — впрочем, все было известно.

Опустилась на золоченый стул перед карточным столом. Василий Лукич тотчас хлопнул в ладоши.

Выскочивший из-за спины важных персон секретарь поставил чернила, протянул отточенное перо. «Все подготовил, шельма». Анна еще раз посмотрела в прозрачную бесцветность дипломатического взгляда и поняла — выбора нет.

Машинально прочитала последние строки «кондиций»: «А буде чего по сему обещанию не исполню и не выдержу, то лишена буду короны Российской». Вспомнила к чему-то, что вчера за этим столом проиграла тридцать талеров, и твердым мужским почерком вывела: «По сему обещаю все без изъятия содержать. Анна».

Генерал Леонтьев бережно взял «кондиции». Все во-

круг облегченно зашумели. Но Василий Лукич вдруг хлопнул себя по лбу, точно в забывчивости, шаркнул ножкой и с врожденной наглостью объявил, что Верховный тайный совет просил передать, что некая известная всем особа в Москву пропущена не будет.

Бирон хрюкнул за ширмой от огорчения. А Василий Лукич, лукаво улыбаясь уголками рта, осведомился, называть ли ему имя известной особы?

Анна налилась кровью так, что казалось, ее хватит удар. Хорошо еще, барон Корф догадался, перебил Василия Лукича и завел речь о подъемных суммах.

— Что ж, это можно. Верховный тайный совет выделил ее величеству сто тысяч рублей в год. Само собой... под расписку.

Все ахнули: и Корф, и придворные, и Бирон за ширмой. Невиданное даже в маленькой Курляндии дело: определять твердый бюджет монархини, да еще требовать с нее, как с какой-то приватной купчихи, расписку.

Только широкоскулое лицо Анны не отразило никакого смятения. Огромная, неподвижная, она напоминала скифское изваяние, решившее пережить век.

Василий Лукич через полуопущенные веки отметил: сильна! — и встревожился: а не ошиблись ли в выборе? Но мысли у парижского петиметра летели легкие, скачущие, и потом — на руках-то были подписанные кондиции. Как дипломат, привыкший всю жизнь иметь дело с важными секретными бумагами: договорами, нотами держав, письмами монархов и министров — Василий Лукич почитал за этими бумагами иногда большую силу, чем ту, какую они в самом деле имели.

И с чувством искреннего удовлетворения Василий Лукич отвесил поклон новообъявленной императрице, затем с галантностью раскланялся с придворными дамами. Те так и впились в бриллиантовый крест святого Людовика, переливающийся на его камзоле: «Да за эти бриллианты все герцогство Курляндское можно уложить в карман. Ах, эти русские богачи! Но они своего дождутся!» Кому-кому, а придворным дамам был известен нрав государыни.

Анна, сама любезность, провожала Василия Лукича до самой лестницы — ведь золотые кругляши звенели пока в его сундуках.

Уже спускаясь по лестнице, Василий Лукич обернулся и объявил как бы мимоходом:

— Прошу извинить, ваше величество! Но в ваш замок

проник один офицер из Москвы, так вы уж не сердчайте, что генерал Леонтьев взял его под караул в ваших по-
коях.

Бравый генерал за спиной Анны оглушительно щелкнул шпорами. Анна вздрогнула, ухватилась за перила, согласно наклонила голову. То был последний удар парижского лукавца.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Время, которое после Петра I в России тянулось с покорной медлительностью долгой зимы, ныне мчалось, подгоняемое стремительными прожекторами, диковинными слухами, небывалыми разговорами.

Его неспешная обыкновенность была нарушена, и если ранее послу достаточно было побывать при дворе, чтобы узнать самые последние новости, теперь, когда дворца, в сущности, не было, а были лишь огромные дворцовые помещения, охраняемые безучастными лакеями, анфилады пустующих блестящих залов, по которым громко стучали красными каблучками встревоженные камергеры с как бы изумленными лицами и жестами сумасшедших стариков из комических итальянских опер, — герцогу де Лириа приходилось бывать на самых неожиданных собраниях, точнее, сборищах политических заговорщиков, где знатные вельможи сидели вперемежку с самой захудалой шляхтой, выбившейся из подлого сословия только через собственную смелость и достоинства.

Москва, казалось, разучилась спать в эти долгие январские и февральские ночи 1730 года. Де Лириа невольно вспоминались рассказы отца про взбудораженный Лондон накануне славного переворота 1688 года, который принудил его деда, короля Иакова, бежать во Францию. Но в своих письмах в Мадрид герцог соблюдал дипломатическую сдержанность. Он выступал в них лишь холодным, безучастным зрителем политического спектакля, разыгрываемого в Москве.

Де Лириа задумался над депешей. Голицын! Старик раздражал многих. Виной тому его гордость. Да-да, именно гордость и несносное тщеславие. И в то же время ум. Отточенный, сухой, скорее французский, нежели русский ум. Де Лириа встал, насвистывая, подошел к окну: ночь,

ночь, глухая вьюжная ночь! Где-то совсем рядом ледяной океан: миллионы ледяных миль и никакой жизни. Но что это — мелькают фонари, слышно, как скрипят полозья карет. Одна, другая. Опять где-то политичный съезд. Не странно ли, что один человек, опередивший своих соотечественников на десятки лет, может вызвать такое замешательство в необъятном государстве? Само собой, сттого, что у него власть.

Да, старый Голицын долго ждал своей счастливой минуты. Вспомнилось его сияющее, помолодевшее лицо на сегодняшнем собрании первых вельмож империи в Кремле. Верховный тайный совет созвал Сенат, генералитет, первенствующих духовных и гражданских особ. Герцог, получивший приглашение через Ивана Долгорукого, с любопытством всматривался в эти бритые важные лица. И на всех читал страх и сомнение.

Все тревожно перешептывались, с опаской поглядывали в темные коридоры, в которых Михайло Голицын расставил драгунские караулы. Сопещание не дворцовое, а государственное, посему и караулы стоят не гвардейские, а армейские, с усмешкой разъясняли караульные офицеры. Вельможи понимающе перемигивались, вздыхали: с гвардией было бы оно спокойнее — там их сыновья, родная кровь.

Из потаенной двери один за другим вошли в залу верховники. Сели в ряд за длинный зеленый стол. Лица у верховников помятые, усталые. Один Дмитрий Голицын так и светился.

«А Остерман? Остермана-то нет, — прокатилось по залу. — Болен?»

— Болезни Андрея Ивановича — верный знак перемен. — Священник, сидевший рядом с де Лириа, рассмеялся.

Де Лириа немного знал, а более слышал о нем: преосвященный Феофан Прокопович.

Феофан также узнал герцога, нагнулся к нему, прошептал:

— Государыня поспешает в Москву!

Де Лириа усмехнулся, вспомнив эту неожиданную откровенность первосвященника. Впрочем, такое доверие со стороны горячего прозелита* самодержавной фракции вполне понятно — почти все послы в Москве, за исключением датского, стояли за сохранение самодержавства

* Прозелит — новообращенный в какую-либо веру, новокрещенный.

в Российских Европиях. Откуда Прокоповичу было знать подлинные помыслы и ночные размышления испанского гранда. Де Лириа тогда еще раз обвел лица верховников: вялые, сонные, усталые. Говорили, что они днями не выходили из своей коморы, все заседают. Только оба фельд-маршала сохраняли привычное решительное выражение.

Секретарь Верховного тайного совета Степанов тусклым канцелярским голосом сообщил собранию, что государыня Анна Иоанновна принимает власть на известных условиях. После чего тем же унылым и однообразным голосом зачитал письмо Анны и текст «кондиций».

Собравшиеся молчали. Де Лириа казалось, что все были поражены не столько самими пунктами (последние были давно всем известны), а тем тоном, в каком были составлены кондиции.

«А буде чего по сему обещанию не исполню и не выдержу, то лишена буду короны Российской».

Даже Степанов, казалось, осознал всю дерзость подобного обращения с императрицей и прочитал эту фразу не без дрожи в голосе. «По сему обещаю все без всякого изъятия содержать. Анна», — закончил он чтение и с видимым испугом оглядел собравшихся, точно только сейчас до него дошла вся необычайность прочитанных бумаг, еще вчера аккуратно проштемпелеванных и записанных им в конторскую книгу Верховного тайного совета. Общее молчание собрания, казалось, придавило верховников. Де Лириа видел, как побледнели они, точно только сейчас поняли, что, заботясь о собственных интересах, неожиданно совершили нечто большое и великое — замахнулись на самодержавие в Российской империи.

Как ни раздражал де Лириа князь Дмитрий, его поведение на сем политическом совете вызывало невольное восхищение. Старый Голицын, единственный среди всех этих знатных особ, имел твердую цель, касающуюся всего государства, и уже это ставило его выше всех этих корыстных людшек, с ужасом внимающих вести о неведомых им политических свободах.

Презрительно оттопырив нижнюю губу, Голицын оглядел собрание и не без насмешки проговорил:

— Видите, господа, как милостива государыня! — Старик выпрямился во весь рост, и в этот момент не только де Лириа, но и всему собранию показался необычайно помолодевшим. — И каковое мы от нее надеялись, — произнес он скрипучим язвительным голосом, — таковое она и оказала отечеству благодеяние. Отныне, — голос Голи-

цына стал высок и резок, — отныне свободная и цветущая Россия будет. — Он обводил глазами собрание, и те, кто встречался с его взглядом, не выдерживали лихорадочного блеска серо-зеленых, таких еще молодых глаз.

— Пускай наговорится до сытости, — наклонился к де Лириа Прокопович. — Вот увидите, ваша светлость, все равно никто не молвит ни единого слова.

Действительно, собрание угрюмо молчало. Особы первых четырех классов внимательно изучали пухлых амуров, трубящих во славу богини Венус на расписном потолке.

Наконец чей-то старческий робкий голос выдавил:

— Не ведаю и тщусь, для чего государыне пришло на ум писать те пункты? — Некий заштатный советник, недавно приехавший в Москву, тряс буклями огромного парика. Соседи ухватили его за длинные полы камзола, усадили, зашептали на ухо, кто и когда писал славные пункты.

На холодном и бесстрастном лице Голицына досадный сей случай вызвал только рассеянную улыбку. Да и все верховные зашептались, заулыбались. Зашептались и в зале. Были и там улыбки, только двусмысленные, скользкие улыбки.

Голицыну надоело затянувшееся молчание и шепот. Он выбрал из сотен лиц одно лицо, заранее уже отмеченное им, и строгим голосом потребовал:

— Для чего же никто ни одного слова не молвит? Извольте сказать, кто что думает?

Алексей Михайлович съежился под этим суровым взглядом, обращенным, как бы он ни вертел головой, именно к нему, князю Черкасскому, и догадался: все ведает старик, о всех наших сходках ведает, не иначе как кто-то донес, но кто? В любом случае ответ держать пришлось именно ему. И Черкасский неохотно поднялся с места.

— Каким образом, — он едва перевел дух, и де Лириа с насмешкой подумал: «Бедный Черкасский!» — каким образом впредь то правление будет? — решился наконец Алексей Михайлович.

Голицын милостиво улыбнулся:

— Пишите свои проекты, Алексей Михайлович, и вы все, господа, только пишите, а мы уж рассмотрим!

Верховники встали. Собрание начало расходиться.

Вдруг в коридоре, где стояли караулы, раздались неожиданные крики. Де Лириа протиснулся сквозь пятящиеся

золоченые кафтаны и увидел Павла Ягужинского. Трое драгун связали ему руки, а стоящий тут же сурового вида генерал, тот самый страхолюдный Леонтьев, что доставил из Митавы «кондиции», кричал на него:

— Я тебя ошельмую, мать-перетак! Будешь знать, как посылать людишек в Митаву!

— Ваше превосходительство, помилуйте! — Ягужинский вырвался от драгун и бросился к быстро проходящему по коридору Голицыну. Старик задержался на секунду, взял Ягужинского за плечо твердой рукой, посмотрел в упор. Тот невольно потупил взор.

— Сей честолюбец еще вчера просил воли, а сегодня кует для нее оковы! Да таких переметчиков, как ты, надобно жечь каленым железом! — Голицын смотрел в даль гулкого, скорее тюремного, чем дворцового коридора. Казалось, он обращается не к этим, в страхе жмущимся к стенам вельможам, а к кому-то другому, еще неизвестному ему самому, и потому в словах его была горечь. — Искатели карьеры! Интриганы! Они поражают ныне Россию, как антонов огонь тело. Таков и этот! — Оттолкнув Ягужинского, старик дробно застучал каблуками.

«Да, горд, слишком горд старый Голицын!» — подумал де Лириа. И быстрые твердые строки легли в дипломатическое послание: «Князь Дмитрий Голицын имеет необыкновенные природные способности, которые изощрены наукой и опытом: одарен умом и глубокой проницательностью, важен и угрюм; никто лучше его не знает русских законов; он красноречив, смел, предприимчив, исполнен честолюбия и хитрости, замечательно воздержан, но надменен, жесток, и неумолим.

Простой народ питает к нему величайшее уважение, но низшее дворянство скорее его боится, чем любит. Словом, нет человека более способного и более готового стать во главе партии, чтобы совершить переворот в Русском государстве.

Но партия переворота пока что раздроблена, незначительна и сама зачастую не ведает, чего хочет. К примеру, не далее как вчера один калмыцкий князь просил разъяснить конституцию Женевской республики. Когда я удовлетворил его просьбу, калмык категорически заявил, что доселе он не знал, что такое республика, и потому хотел ее, но теперь, когда он знает, он всегда будет против ее введения. Отсюда можете судить, сколь велико невежество среди дворянского общенародия. Политическое невежество — сильнейший оплот самодержавной

партии, которая усиливается день ото дня. Во главе этой партии явно стоит знатный генерал князь Барятинский. Тайно же главой самодержавной партии является наш старый знакомый, вице-канцлер империи Остерман. Ожидается, что приезд императрицы приведет обе партии к решительному столкновению.

Есть еще третья партия — партия дворян, не желающих ни власти верховных, ни возврата самодержавия.

На что способна эта дворянская партия — покажет будущее».

ГЛАВА 2

Князь Алексей Михайлович Черкасский — человек молчаливый, тихий, коего разум никогда в великих чинах не блистал, всюду являл осторожность. И все-таки не уберется, неожиданно для самого себя оказался в те январские дни во главе самой шумной и крикливой дворянской фракции. Алексей Михайлович сам не мог понять, как это случилось. Он был очень богатый московский барин, имел сорок тысяч душ крепостных, соляные варницы, рыбные промыслы на Каспии, так что мог жить и жил в свое удовольствие. Его большой красивый особняк на Тверской, построенный еще в те времена, когда Алексей Михайлович был генерал-губернатором Сибири, известен был всей дворянской Москве. У Алексея Михайловича была единственная дочь Варенька, одна из самых богатых невест в России, и в доме Алексея Михайловича вечно жужжал рой женихов, гремела музыка, был накрыт стол на сто персон и никогда не переводились гости. Большею частью это была дворянская молодежь высшего круга, офицеры-гвардейцы и отменные говоруны и умники Москвы.

Вокруг самого Алексея Михайловича собирался обычно кружок людей более солидных: генералы не самых высоких чинов, сановники, метящие в президенты коллегий, но согласные и на пост вице-президента, дипломаты, посылаемые в разные Мекленбурги и Вюртембурги, мечтающие о Париже, Вене и Лондоне. Перекидывались в карты, обменивались сплетнями, ободряюще посматривали на веселящуюся молодежь. Хозяин по обыкновению своему молчал.

Это молчание в январские смутные дни, когда все говорили, превратилось незаметно в силу. Самые яростные говоруны привыкли в крайнем случае ссылаться на мол-

чаливого Алексея Михайловича как на авторитет: «Молчит, значит, скрывает нечто такое, что никто не знает. Подождите, он еще скажет свое слово, и то слово будет последним». Так Алексей Михайлович, незаметно для себя, за эти тревожные недели вырос в персону, которая, даст бог, все разрешит и уладит.

Сотрапезники Алексея Михайловича в основном принадлежали к той крикливой человеческой породе, которая все знает, на все имеет свое суждение, которая по своему уму и знаниям справедливо, казалось, претендует на высшую власть и все-таки никогда ее не добивается, потому как болтает, а не действует. Этих январских говорунов 1730 года некоторые историки запишут в конституционалисты и отнесут к либералистам.

И они, действительно, желали конституции и свободы для дворянского сословия. Они не хотели возврата неограниченного самодержавства и расходились в том со сторонниками самодержавной фракции. Но, как всегда бывает с такими людьми, они в первую очередь не желали той власти, которая стояла сейчас, сию минуту, в сущности, на их стороне, и выступали против верховников, и в этом коренном пункте сходились с теми самыми горячими прозелитами Анны, с которыми на первый взгляд у них не было ничего общего.

На другой день после известного собрания вельмож в Кремле в доме Черкасского состоялся великий съезд.

В густом табачном дыму пестрели зеленые, голубые, васильковые мундиры, выступали твердые, решительные и несколько однообразные в своей решительности лица офицеров гвардии, тонко и загадочно улыбались молодые дипломаты, сурово витийствовали отставные генералы перед пухлыми провинциальными помещиками, приехавшими в Москву на царскую свадьбу, а угодившими на разработку проекта конституции.

Однако отставных генералов только провинциальные помещики и слушали. В ход пошли ныне люди, отличные не столько чином и мундиром, сколько умом и красной речью.

Внимание всех привлекал Василий Никитыч Татищев. Раскрасневшийся, с блестящими глазами, Василий Никитыч не говорил — жег глаголом, подкреплял звонкую речь ссылкой на российскую историю и примеры из жизни европейских держав. А так как большая часть гостей Черкасского плохо или совсем не знала отечественной истории, не говоря уже об истории европейской, речь Ва-

силія Никитыча приобрела особую убедительность и даже известную поэзию.

— Всем успехам, — раскатисто вещал Василий Никитыч, — Россия была обязана монархии. При Михаиле Федоровиче Романове все были рады покою. Более самовластный Алексей возвратил Смоленск и Украйну. И недавний пример: Великий Петр самовластие усугубил и тем государству еще большую честь, славу и пользу принес, что весь свет засвидетельствовать может. Итак, самовластное правление доньше было у нас всех прочих полезнее! — твердо заключил Василий Никитыч. Гости зашумели. По мере того как говорил Василий Никитыч, все новые и новые лица присоединялись к его кружку.

Алексей Михайлович в придворном мундире, склонив головку на левое плечико, плавал среди своих гостей, как некий изумленный карась: рот непроизвольно открывался от горячих и ветреных речей молодых остроумцев, большей частью женихов Вареньки. Особливо отличался сынок покойного господаря Молдавии. Антиох Кантемир за последние дни как-то вытянулся, похудел лицом, потерял всегдашний румянец. И все говорит, говорит. Экой говорун, а за душой всего-то состояния медный грош!

Меж тем шум, вызванный речью Татищева, не стихал. Большинство гостей Алексея Михайловича простого возврата самодержавия явно не желали. Нашлись и новые, ранее никому не ведомые, говоруны. Бригадир Алексей Козлов, в простом драгунском кафтане, в тупоносых башмаках (потом только Черкасский узнал, что привез одного бригадира из украинской армии фельдмаршал Голицын), хриплым, простуженным в походах голосом рявкнул, что, во-первых, дать великую власть одному человеку небезопасно для общества, во-вторых, самовластие всегда влечет за собой временщиков, что из зависти честных людей губят, в-третьих, Тайная канцелярия всегда была в стыд и поношение российскому народу перед иными государствами, а Отечеству дала только одно разорение. Василий Никитыч отвечал с не меньшей горячностью, что царь есть домовладыка, и что, кроме временщиков неистовых, есть временщики и благоразумные, и что ежели Тайную канцелярию человеку благочестивому поручить, то и она мало вредна.

Тут поднялся такой шум и крик, что потухли свечи в иных канделябрах. Тайную канцелярию, недавно закрытую Дмитрием Голицыным, московские конституционалисты, пожалуй, ненавидели более люто, нежели само

самодержавие. Потому речь Василия Никитыча вышла бы ему боком, да спасибо, выручил Кантемир, сотоварищ по ученой дружине.

— Что нам все эти гиштории?! Нам должно свои естественные права требовать, а не отдавать их в руки верховных! — К Антиоху повернулись даже самые азартные спорщики: все дружно желали новых привилегий и прав дворянству. Лицо Кантемира светилось вдохновенностью и решительностью. Вареньке Черкасской, наблюдавшей с хоров залы это мужское собрание, лицо поэта показалось самым прекрасным лицом в мире. «Ни за что не пойду за толстого Петрушу Шереметева, что это за батюшкины причуды, когда есть Антиох!»

— Самозбрание верховными императрицы есть незаконно и непорядочно! — звонко убеждал Кантемир. — По закону естественному избрание императрицы должно быть согласиём всех подданных, а не четырех или пяти человек, как ныне учинено! — Антиоху хлопали в ладоши, как в театре. Горячие южные глаза Кантемира, казалось, проникали в душу каждого. Московские конституционалисты уже потому ненавидели верховных, что боялись их.

— Да и я ведь о том же говорю, — поддержал Кантемира Василий Никитыч. — Всем ясно, что верховные, дерзнув отставить самодержавство, тем самым похитили власть у шляхетства. И, отставив прошедшее и перейдя к настоящему, и я согласен с вами, что государыня как персона женская ко многим трудам неудобна, паче её знания законов недостает, и потому потребно для помощи ее величеству нечто вновь учредить.

Настроение собравшихся явно переменилось. Большинство сходилось на ненависти к верховным и на необходимости составить такой прожект, который бы заменил Верховный тайный совет многолюдным сенатом.

Писать прожект поручено было Алексею Михайловичу и Татищеву. Но Алексей Михайлович писать умел только деловые письма к своим управляющим, требуя от них исправного оброка.

Василий Никитыч же предложил Верховный тайный совет уничтожить, а самих верховных включить в Сенат, где они и потонут в многолюдстве; составить, кроме Сената, дворянскую палату из ста человек и поручить той палате выбирать сенаторов, президентов коллегий и губернаторов; обсуждать все законы только в Сенате и дворянской палате; ввести бесплатные училища для дворянских де-

тей; Тайную канцелярию восстановить, но обязать, дабы вместе с правителем в одной непременно заседали два сенатора, а при аресте полиция всегда должна брать с собой свидетелей, чтобы пожитки не растащили. При обсуждении этих пунктов еще долго кричали и спорили до хрипоты, добавили пункт о том, чтобы в Сенате не было двух человек из одной фамилии и упомянули, что и купечество, пожалуй, надо от солдатских постоев освободить.

Прочие российские сословия не упоминались вообще. Дворянский прожект Василия Никитыча Татищева подписало более двухсот человек, после чего он поступил в Верховный тайный совет на рассмотрение к князю Дмитрию Голицыну.

* * *

Князь Дмитрий узнал о шумном собрании у Черкасского на другое же утро. Знал он и о прожекте Татищева. Потому, когда секретарь положил перед ним на стол сей прожект, Голицын лишь бегло пробежал его и только в конце усмехнулся: ишь сколько генералов, и штатских и военных, дали свою подпись. «Генеральский прожект!» С этими словами он передал бумагу Алексею Григорьевичу Долгорукому. Обер-егермейстер читал медленно, вникая в каждую букву, и все-таки не сразу сообразил, что здесь главное.

«А собака-то зарыта в первом же пункте... — желчно усмехнулся князь Дмитрий, наблюдая, как от многотумия морщины покрыли ясное чело обер-егермейстера. — В первом же пункте Верховный тайный совет заменялся Сенатом. Проект, обращенный к правительству, предлагал для начала отмену этого правительства». Голицын встал, подошел к окну. Отсюда открывался чудесный вид на Москву-реку, на покрытое морозными дымками Замоскворечье. Поднимался рассвет за Москвой-рекой, и солнечные морозные лучи весело играли на разноцветных стеклах. И князь Дмитрий снова ощутил веру в свой великий замысел. «Такою бодростью русского человека вселяет один вид Москвы. К ее почве припадаешь, яко эллин Антей к матери своей Гере...» И князь Дмитрий еще раз уверился, сколь верно поступил, когда убедил Петра II и Верховный тайный совет возвратить столицу на берега Москвы.

— Да ведь эти мерзавцы нас, своих прямых благоде-

телей, мечтают стереть в порошок и уничтожить! — взревел за спиной Алексей Григорьевич Долгорукий. Наконец-то и господин обер-егермейстер разглядел скрытое жало татищевских пропозиций. — Закройте Верховный тайный совет! — Алексей Долгорукий так хватил кулаком по столу, что письменный прибор перевернулся. — Закройте Верховный тайный совет! Каковы прожектеры! Я так полагаю, господа фельдмаршалы... — обратился Долгорукий к вошедшим военным, — надобно срочно послать драгун в дом Черкасского, всех этих смутьянов связать и в Сибирь, прямо в твою губернию, Михайло Владимирович... — последние слова Алексей Григорьевич предназначал своему младшему родственнику, сибирскому генерал-губернатору Долгорукому.

— Так-то оно попроще, по-родственному, по-семейному! — съязвил князь Дмитрий. — К чему великим персонам законы! Мы сами законы пишем!

Оба фельдмаршала — и Михайло Голицын, и Василий Долгорукий — взирали с порога на эту сцену в недоумении.

Видя, что военные его не слушают, обер-егермейстер насутился и спросил мрачно:

— Так что же нам с этим прожектом делать? Принять и самим по домам разойтись?

— Зачем же принять и разойтись? — лукаво улыбнулся князь Дмитрий. — Надобно пришить бумагу к делу и ждать иные прожекты. — И на общее недоумение верховных разъяснил: — Тут борьба мнений, и борьбу эту не штыками решать. Мало вам, что преосвященный Феофан о наших зверствах измышляет и по всей Москве Пашку Ягужинского как героя оплакивает?! Нет! Против супротивных мнений надобно бороться иными способами. Полагаю не хватать людшек, а разрешить не только генералам, но и всем дворянам в чинах и без чинов вольно составлять свои прожекты. А мы их рассмотрим... — И, обведя строгим взглядом недоумевающие лица верховных, сказал не без торжественности: — Сие и есть, господа Совет, свобода мнений!

С того дня распахнулись ворота самодержавного Кремля для вольнодумных прожектеров... На целую неделю в Москве воцарилось неслыханное вольномыслие.

Столь небывалый в российской истории способ бороться со своими политическими противниками предложил

князь Дмитрий, что не только непривычные к политическим дебатам москвичи, но и многие иноземные послы были немало озадачены московскими шатаниями.

Датский посол Вестфален озабоченно сообщал своему правительству: «Двери зала, где заседает верховный совет России, были открыты всю прошлую неделю для всех тех, кто пожелал бы заявить или предложить что-нибудь за или против задуманного изменения старой формы правления. Это право было дано из военных чинов генералам, бригадирам до полковников включительно; точно так же и все члены сената и других коллегий, все имеющие полковничий ранг, архиепископы, епископы и архимандриты были приглашены явиться не всею корпорацией, а по три епископа и по три архимандрита зараз. По этому поводу столько было наговорено хорошего и дурного, за и против реформы, с таким ожесточением ее критиковали и защищали, что в конце концов смятение достигло чрезвычайных размеров и можно было опасаться восстания...» И лишь в конце донесения посол обнадеживал, что есть еще на Москве армия, и «оба фельдмаршала не из таких людей, чтобы легко поддаваться страху».

Так непривычное московское свободомыслие зимой 1730 года смутило даже некоторые иностранные державы. Что же говорить о московском обывателе, живущем веками тихо-мирно за теплой печкой и царем-батюшкой? В те дни он дрожал от великих перемен и все свои надежды возлагал на скорый приезд царицы. Он брюхом чуял — сядет Анна на трон, и уймется шатание иных незрелых умов.

ГЛАВА 3

Крестовая комната была как бы вторым кабинетом старого князя. Князь Дмитрий не столько здесь молился, сколько размышлял о судьбах России, поскольку Россия была его другим богом, пожалуй, более близким, нежели гневно взиравший с иконы Вседержитель. И не случайно любимой иконой Голицына была святая София — воплощение премудрости и символ тайны мира.

Творческой премудрости как раз и не хватало многим российским политикам. «Столь огромная страна и столь мизерабельная, ничтожная политика! Особливо в делах внутренних, где вся она сводится к сохранению старого и нежеланию новых реформ». Казалось, после великих

реформ Петра гений политической мысли надолго отлетел от правителей России.

Князь Дмитрий пытался на свой лад продолжить дело. И что же?! Одни увидели в этом стремление к тирании и стали его врагами, другие — чуть ли не прямой возврат к временам семибоярщины и стали его вельможными союзниками. И только третьи, самое рутинное дворянство, не желали ничего, кроме самодержавства.

Старый Голицын опустил на колени, перекрестился... Святая София на огненном троне, с пылающими крыльями и огненным ликом, гневно хмурилась на старинной иконе.

И гнев ее как бы передавался душе старого князя.

Вошедший секретарь осмелился прервать раздумья Голицына, доложил, что Василий Никитыч Татищев прибыл.

Князь Дмитрий с неожиданным проворством поднялся. Лицо его, столь мрачное и горестно задумчивое, когда он молился, теперь решительно переменилось, точно сместились на нем все морщины, и твердо сложилась линия рта, и лицо его снова стало тем надменным, сухим и породистым голицынским лицом, которое знала вся Москва. Легкой и быстрой походкой старый князь прошел в кабинет.

Василий Никитыч Татищев отправился к Голицыну не без некоторого смущения и не без сопротивления своих друзей. Ему указывали на судьбу Ягужинского, советовали укрыться, надежно спрятаться в ответ на голицынский зов, поскольку верховникам, несомненно, ведомо было, что он, Татищев, главный оратор на тайных дворянских сходках. И уж ни в коем случае не предполагали, что он не только не скроется, но и примет приглашение старого Голицына. Однако Василий Никитыч часто делал в своей жизни то, что никто не предвидел, и обычно такие неожиданные ходы выходили ему же на пользу. Он не то чтобы привык играть с судьбой, но верил, что иногда самые рискованные поступки приносят удачу, в то время как самые продуманные и осторожные действия ведут к несчастью. Признался же однажды Василий Никитыч Петру Великому в том, в чем никто в Российской империи не осмелился бы признаться, опасаясь костра: в зарождающемся в нем неверии в бога.

И что же: когда Петр услышал, что он, Василий Никитыч, не верит ни в каких богов, а верит токмо в разум, великий государь столь был поражен его откровенностью,

что, хотя сделал ему словесный выговор, с тех пор почитал его интересным человеком и частенько вел с ним споры о боге. Во время этих споров; а точнее разговоров о боге и человеческом предопределении, Василию Никитычу часто начинало казаться, что Петр I не столько его, Татищева, сколько самого себя стремился убедить в существовании божественного промысла.

Так же и в другом случае, когда Василий Никитыч командирован был на Урал управлять тамошними государственными заводами... Не взял же он огромной взятки от Демидовых, а напротив, обличил их в неправых поступках. И что же, опять судьба отметила сей честный поступок. Когда стали искать, кому ведать Монетным двором Российской империи, понадобился, само собой, честный человек, и все вспомнили о честности Василия Никитыча, и он получил место управителя.

Потому, получив приглашение Голицына, которое многие рассматривали как ловушку, Василий Никитыч приглашение принял. Вспомнилось ему и новогоднее посещение старого князя, и откровенный разговор с ним.

«Союз его с Долгорукими, — союз вынужденный. И цель у них общая токмо по видимости. — В этом Василий Никитыч, в отличие от друзей, был убежден по всем поступкам князя Дмитрия. — Ведь в конечном счете только князь Дмитрий и его брат Михайло помешали взойти на престол Катьке Долгорукой...»

Василий Никитыч Татищев сидел в уже знакомом кабинете старого Голицына и, как нигде в Москве, чувствовал себя в покое и безопасности. Возможно, оттого, что он в те годы уже собирал материалы для истории России, мысли его носили общий, а не частный характер. И в старом Голицыне Василий Никитыч видел не столько всеильного министра, по одному приказу которого его могут заковать в кандалы и сослать в Сибирь, а одного из тех немногих на Руси людей, для которых общий интерес всегда стоял выше интереса частного. И разногласица у Татищева с князем Дмитрием, следовательно, выходила только из-за разного понимания, в чем он кроется, этот действительный государственный интерес будущих судеб России.

В тот тревожный февральский вечер разговор с Татищевым был для старого князя непростой. То была отчаянная попытка перетянуть на свою сторону ученую дружину, сторонников и прямых наследников Петра I.

— Ясно определите, сударь, границы ваших политиче-

ских чайний и вы увидите, что они создаются с тем пределом для самодержавия, который готовит Верховный тайный совет... — настаивал Голицын.

— Каковы же будут способы государственного правления? — с лукавым простодушием спросил Татищев.

— Извольте! Вот мои способы... — На столе появилась пачка голландской бумаги, исписанной твердым голицынским почерком. Голицын был дальновзорок и потому читал бумагу, отодвинув лист подальше от глаз, — получалось не без торжественности.

«Не персоны управляют законами, но законы управляют персонами!» — громко сказал он. «Что ж, это громогласное заявление прольет елей на раны всех пострадавших от временщиков и мздоимцев...» — подумал Василий Никитыч. Да и следующее разъяснение Голицына: «Верховный тайный совет существует ни для какой собственной того собрания власти, но только для лучшей государственной пользы», — многих, опасавшихся тирании Совета, успокоит. Василий Никитыч про себя примерял, как воспримут эти голицынские способы в особняке Черкасского.

Было ясно, что всех устроит и обещание Голицына впредь «все шляхетство содержать, как и в прочих европейских государствах, в надлежащем почтении», освободить дворян от службы в низших чинах, производить в офицеры через кадетские роты.

Василий Никитыч не без внутренней радости принял также уверение Голицына, что отныне повышение в чинах будет идти «только по заслугам и достоинству, а не по страстям и мздоимству». Для «птенцов гнезда Петрова», выбившихся наверх через свои многие труды, ратные подвиги и способности, эта уступка со стороны родовой знати имела немаловажное значение. Взял на примету Татищев и еще одну уступку со стороны Голицына: «не назначать в Верховный тайный совет более чем двух человек из одной знатной фамилии». Впрочем, как понял Василий Никитыч, пункт сей касался более Долгоруких, поскольку Голицыных в Совете было всего двое. И подумал, что в главном его прожект и прожект князя Дмитрия по-прежнему расходятся. Ведь ни отменять Верховный тайный совет, ни заменять его Сенатом Голицын не соглашался.

«Верховный тайный совет есть власть исполнительная, Сенат — власть судебная, создаваемые палаты — высшая и низшая — будут нести бремя власти законодательной.

Разделение властей — вот мой политический принцип!» — ясно и четко заключил Голицын. За этой ясностью стояли годы политических раздумий, которые начались для Дмитрия Михайловича в Киеве, где он был образцовым генерал-губернатором, продолжались в Петербурге, когда он вместе с Фиком по указу Петра I подготавливал административную реформу и для того сравнивал политические системы разных стран, и закончились в Москве, где он, будучи первенствующим членом Верховного тайного совета, мог на деле убедиться, сколько нужно в государственном механизме четкое разделение властей. К этой мысли Дмитрий Михайлович пришел не как политический прожектор (во Франции примерно в те годы к этому политическому принципу пришел знаменитый просветитель Монтескье), а как практик-администратор, но от этого нисколько не снижалась его заслуга перед отечественной историей. И Василий Никитыч, политические помыслы которого были весьма туманными и заключали постоянные колебания между самодержавием и ограниченной монархией, понял вдруг, что Голицына, как человека твердого принципа, ни ему, ни его единомышленникам ни в чем не переубедить. Ведь из принципа разделения властей вытекал и общий характер проекта Голицына: монархия, которая делит исполнительную власть с родовитым Верховным тайным советом.

Петровские дельцы, собиравшиеся в доме Черкасского, желали, наоборот, монархии, ограниченной чиновным Сенатом. На первом месте для них всегда стояла петровская Табель о рангах.

Сейчас, в беседе со старым князем, Василий Никитыч ясно уловил эту разность. И сколько бы ни уламывал его дале князь Дмитрий, Василий Никитыч упрямо уходил от прямой поддержки проекта Голицына.

— Да ведь наши проекты, сударь, — раздражался князь Дмитрий, — сходятся в главном, сходятся на ограничении самодержавства! Разве недостаточно того для общего уговора? — Старый князь перегнулся через маленький кофейный столик, разделявший собеседников, и взглянул прямо в глаза Татищева. Василий Никитыч взгляд выдержал. — Вот вы сами, сударь, побывали несколько лет тому назад в Швеции. Вспомните, как в этой несчастной стране, разоренной ее безумным королем Карлом XII, нашлись силы, понявшие, сколь опасно доверять всю полноту власти одной персоне, и учредили подле короля сословный риксдаг...

Василий Никитыч помнил, конечно, высокие черепичные крыши Стокгольма, укрытые снегом, скрип полозьев финских санок, мохнатые ели вдоль дорог. По поручению российской Берг-коллегии он объездил тогда десятки горных заводов, изучая на оных искусные и полезные машины, размещая там русских учеников и вербуя в Россию добрых маркшейдеров. По тайному же поручению Петра I он посетил тогда и многие замки и имения шведской знати, выясняя, есть ли какая возможность для зятя Петра, герцога голштинского Карла-Фридриха, занять шведский престол? Вот здесь Василий Никитыч и ознакомился на практике со шведской конституцией, которая недавно ограничивала самодержавную власть королей аристократическим риксдагом. И, раздавая царское золото, самолично убедился, насколько может быть продажна и равнодушна к злату самая родовитая знать Европы.

«Что же о наших верховных говорить? — пронеслось в голове Василия Никитыча. — На одного честного Голицына всегда найдется десяток мздоимцев! Да ежели рассудить, и не было у нас на Руси ни рыцарей, ни аристократии. Что дворяне, что бояре — все мы малые и большие холопы великого государя!» Василий Никитыч заерзал в кресле, как на раскаленных углях, но Голицын словно не замечал его нетерпение, приводил свои сильные резоны.

— Возьмем царствование солдатки Екатерины Алексеевны... Вам, как члену Монетной конторы, ведомо, что самый большой расход сей самодержицы, в семьсот тысяч рублей, произошел от покупки венгерских и шампанских вин, до которых покойница была великая охотница. И как можно было возводить пьяную бабу на престол! А поди ж, крикнула ее гвардия императрицей, и никто слово не молвил... — Князь Дмитрий даже с кресла поднялся, взволнованно прошелся по широким половицам кабинета.

— Мотовство государыни мне, конечно, известно, — молвил он осторожно. — За последний год ее правления потрачено было 6,5 миллиона рублей при общем доходе государства в шесть миллионов. Отсюда и порча серебряных монет, и выпуск легких медных денег произошли! — Татищев, как и Голицын, близко к сердцу брал государственный интерес.

— Да эта императрица всем нам показала, что где госпожа самодержица, там и господин дефицит! — едко рассмеялся князь Дмитрий. — Хорошо еще для россий-

ской казны, что матка-солдатка недолго царствовала, утонула в море разлитом. А то ведь подходил последний час, когда армии и флоту платить было уже нечем, а во дворце знай песни поют! — Бывшему президенту Камерколлегии Дмитрию Михайловичу памятен был тот день, когда казна оказалась совсем пустой и платить офицерам флота и армии и впрямь было нечем. — Выход нашли тогда, отпустив часть офицеров по домам, для исправления имений. Да и матушка-самодержица в последний час испугалась, сократила расход на венгерское. Правда, на другой же день заказала данцигские устрицы... — Голицын усмехнулся при сем воспоминании, снова прочно уселся в кресло напротив собеседника.

— Я согласен, что особа женского полу на троне вынуждает ввести некие ограничения на самодержавную власть... — поспешил заявить Василий Никитыч, — и мой прожект те ограничения включает.

— Но ваш прожект разрушает Верховный тайный совет, то есть власть исполнительную.

— Власть исполнительную я полагаю передать Сенату, снова вернув ему титул Правительствующий, — молвил Татищев, только сейчас осознав, по какому тонкому льду несутся его санки. Шутка ли — выходит, он предлагал действующему правительству прямую отставку. А с властью не шутят! Вишь как Голицын гордо вздернул голову, отрезал:

— Сенат — верховный суд империи и токмо! Разрушать Верховный тайный совет — нарушать принцип разделения властей! Мой принцип!

Да, с властью не шутят! А он, Василий Никитыч, псхоже, положил голову в пасть льву! Татищев беспокойно завертелся, затем спросил:

— Ежели высшая палата будет состоять из дворян, то из кого же составитя палата низшая?

— Из купечества и посадских людей.

— Как в Англии? — уточнил Василий Никитыч.

— Да, как в Англии и Швеции... — задумчиво ответил князь Дмитрий. — Мне кажется, — продолжал он с неожиданным для Татищева внутренним жаром, — из всех народов англичане самый счастливый и достойный зависти. Их жизнь не может быть жертвою порочных страстей другого, их имущество защищено от всякого насилия.

А Василий Никитыч за окном княжеского кабинета увидел вдруг огромную заснеженную страну: от Петер-

бурга до Камчатки. Управлять этой машиной так же, как маленькой Англией? Нелепица, нелепица!

— Англичанам нечего бояться ни немилости монарха, ни ненависти министров и куртизанов! — горячился князь Дмитрий. — Их превосходная конституция — грозная охрана от посягательств, гарант от неправды.

«А как вы крепостного мужика-то впишете в свою конституцию, ваше сиятельство? — усмехнулся про себя Татищев. — Мужика не конституция, мужика, дабы он не бунтовал, вера в царя-батюшку потребна! Нет, Россией всегда будут управлять не законы, а персоны, хотя персона женского полу на престоле и неудобна. Ох неудобна...» Василий Никитыч вспомнил ходившие уже по Москве слухи о Бироне и его влиянии на Анну. Он мысленно перекрестился на образ святого Филиппа в старинном киоте.

Ведь святой Филипп русской православной церкви — это в миру убиенный опричниками Ивана Грозного знатный боярин Федор Колычев. Бесстрашный и гордый человек, восставший против безмерных казней и мучительств.

«Да, у потомков бояр с самодержавством давние счеты...» — подумал Василий Никитыч, отводя глаза от пламенного взора святого Филиппа.

— Вот вы человек умный, способный, а в чинах ходите средних. Несправедливо! — Князь Дмитрий с едва прикрытой хитрецей взглянул на лобастого Татищева, положил ему руку на колено и продолжал доверительно: — А ведь вы, Василий Никитыч, — да, Татищев не ослышался, сей гордый верховник назвал его как равного, по имени-отчеству, — принадлежите к славному роду смоленских Рюриковичей, кой не уступает самым вельможным фамилиям нашего государства.

Василий Никитыч даже покраснел от удовольствия.

— Вы начали ныне, Василий Никитыч, работу над историей отечества и как никто другой знаете законы политики и народные начала. Так что же мешает вам принять мой прожект и взять назад свой собственный? Ведь в главном-то, в крепкой узде для самодержицы, мы с вами согласны?

«Согласен-то согласен, ваше сиятельство, но все дело в том, кто эту узду будет в руках держать! — подумал Татищев. — В нынешнем Верховном тайном совете четверо Долгоруких! А фамилия бывших временщиков многим — кость в горле! Да и мне самому памятно бесчес-

тие от Ваньки Долгорукого!» Но вслух Василий Никитыч эти соображения не высказал. Он любезно улыбнулся старому князю и дипломатично спросил, какое место тот отводит в своем прожекте немцам?

Князь Дмитрий вспыхнул:

— Речь идет о способах правления России, так при чем тут немцы? А впрочем, всем ведомо, что немцы рады бы оставить нас пребывать в прежнем рабском состоянии.

— Немец смеется там, где русский караул кричит, ваше сиятельство! — поддакнул Василий Никитыч.

— Точно так! Все нынешние беды России от соединения противного чиновного племени с остзейскими выходцами.

Татищеву показался вдруг ужасно одиноким этот чудаковатый старик, который один идет против твердо укоренившегося в России мнения: куда нам без немцев? Течение политической беседы прервала любимая десятилетняя внучка старого князя, Наталья, ворвавшаяся в ученый кабинет с громким криком:

— Дед, ты не забыл обещаешь?! Ночной лов, ночной лов, выходи, рыболов! — Лукаво кося на гостя, девочка закурилась на одной ножке.

И Василию Никитычу открылся еще один Голицын — нежный и заботливый дед. Смущенно разводя руками и посмеиваясь, князь Дмитрий пояснил Татищеву:

— Каюсь, каюсь! Обещал сегодня внукам вечернюю забаву — рыбу ловить из проруби! Придется исполнить! Не желаете ли составить компанию?

— Конечно, он желает! — весело решила за Татищева девочка, и скоро весь дом уже заходил ходуном.

Тогдашнее Архангельское мало походило на роскошный дворец, выстроенный впоследствии Юсуповым, но зато имело свою старомосковскую красоту. Воздвигали его те же мастера, что рубили дивные палаты для тишайшего Алексея Михайловича в Коломенском. Только в Коломенском все было построено с царским размахом, поражало величием замысла. В Архангельском, напротив, все было частным, небольшим по размерам: сказочная филигрань — искуснейшее изделие резчиков по дереву. Боярские хоромы с замысловатыми узорами наличников, с причудливыми балясинами, подпиравшими высокое крыльцо, девичьим теремом, украшенным резными петухами и диковинными зверушками, высеребрянные инеем, точно приплыли из старинной сказки,

Дедовский сад с рябинами и малинником, с березами и высокими тополями, с кружащимися над вершинами деревьев птицами, по весне и летом был простой и веселый, как цветистый сарафан молоденькой боярышни, а зимой перекликался через гладкое снежное поле с холодной синевой дальнего леса. Сама усадьба широко раскинулась по обеим сторонам деревенского проезда: по одну сторону высились боярские хоромы с высокой крышей кокошником и красной трубой, по другую чернели под снежными шапками овины, скирдник, конюшни и конопляник.

Через огромные старинные сени, уставленные ведрами, ухватами, пузатыми кадушками и бадьями, можно было попасть в парадные покои, обставленные английской мебелью из красного дерева. Гляделись в высокие венецианские зеркала портреты строгих напудренных вельмож — родственников старого Голицына. Клавикорды наигрывали контрдансы и менуэты, осторожно потрескивали расписные голландские печки.

Но ежели гость из сеней завернул не в парадные покои, а в низенькие двери, то рисковал заблудиться среди бесчисленных чуланчиков, закоулков, клетушек, маленьких низеньких горниц с широкими дубовыми лавками вдоль стен и непременно древним киотом с лампадками. Настоящим украшением этих комнатушек были огромные русские печи, расписанные всевозможными травами, единорогами, цветными невиданными птицами и прочими диковинными зверями, сведения о которых были почерпнуты из «Космографии» Косьмы Индикоплова. И никакой мороз не был страшен в домашних покоях, воздвигнутых еще отцом Дмитрия Михайловича, князем и боярином Михайло Голицыным, сидевшим во времена патриарха Никона и Ордина-Нащокина курским и белгородским великим воеводою.

По всем этим горницам, спальням и комнатушкам с превеликим раздольем носилось и шумело младшее поколение голицынского корня, внуки и внучки старого князя. Сыновья же несли царскую службу в заморских краях. Младший, Алексей, вел переговоры с чопорными грандами в знойном Мадриде, старший, Сергей, оберегал интересы России в мокром унылом Берлине. Но все их дети, жены и домочадцы жили вместе со старым князем.

Когда князь Дмитрий в накинутом на плечи полушубке и валенках, с острой в руках, сопровождаемый детворой, несказанно обрадованной вечернему развлечению,

вышел на крыльцо, он напомнил Василию Никитычу сказочного домового.

«Посмотрел бы кто из иноземцев в сей миг на нашего первого министра! — улыбнулся было Татищев, но тут же поймал себя на мысли: — А ведь, пожалуй, именно сейчас в сем гордом вельможе живет истинно народный дух!»

На прудах уже чернело множество людей — боярская дворня очищала от снежных заносов лед, пешнями долбили проруби. В зеркале прудов отражались яркие звезды.

По знаку старого князя дворня развела огромные костры возле прорубей на расчищенном пруду. Пробиваясь сквозь лед, огненный свет от костров радужным цветным колоколом спускался в ледяную воду. Сквозь прозрачный лед было видно, как растревоженные рыбы поднимались к пробитой проруби. Важно плыли лещи и окуни, стайками носилась плотва, и вдруг черной молнией пронеслась щука. И тут же княжеская острога ушла под воду, и через минуту полупудовая рыбина забилась на блестящем льду под восторженный шум детворы.

«А рука-то у старого Голицына твердая, крепкая еще рука!» — не без внутренней тревоги отметил Василий Никитыч.

Ловко били острогами и старшие внуки Голицына, и скоро золотистая рыба билась на черном ледяном подзеркальнике прудов.

Василий Никитыч был отпущен из Архангельского с миром, отдавав на ужин крепкой домашней ухи с гвоздикой.

И только прощаясь, старый князь молвил пророчески: — Попомни, Василий Никитыч! Будем едины — устоим! Не будем — всем нам, как тем рыбам бессловесным, на льду биться! В единстве сейчас залог счастливой фортуны!

На том и расстались.

ГЛАВА 4

Бригадир Алексей Козлов поспешал в Казань с важными известиями и поручениями от первенствующего члена Верховного тайного совета князя Дмитрия Михайловича Голицына к казанскому генерал-губернатору Артемию Петровичу Волинскому. Собственно, бригадир находился в прямом подчинении брата Дмитрия Михай-

ловича, фельдмаршала Голицына, вместе с которым и прибыл в Москву. Но водоворот последних московских событий так закружил этого петровского новика, что неожиданно для себя он оказался в одном лагере со старым боярином и тем более охотно выполнял поручения князя Дмитрия, что их выполнял и его прямой начальник фельдмаршал Голицын. Дело, по которому он поспешал в Казань, было важным и безотлагательным: надобно было срочно перетянуть на сторону верховников столь важную и известную в самых широких кругах дворянства персону, каким был казанский генерал-губернатор Артемий Волинский — восходящая звезда последних лет царствования Петра Великого. В персидском походе бригадир близко сошелся с Волинским. Козлов первым со шпагой в руках под жестоким огнем, почитай, в обнимку со смертью, взшел на дербентские укрепления и получил чин бригадира из рук самого Петра. Отличившийся в походе Волинский возлетел выше. Но Алексей Козлов не завидовал ему — в сорок лет он еще твердо верил в свою фортуна. Да и сделано немало. В девятнадцать лет еще безусым корнетом сражался в лейб-регimente светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова под Полтавой, а ныне — шаг до генеральского звания. Бригадир заворочался под бобровой боярской шубой (подарок князя Дмитрия): высунул голову из-под тяжелого тулупа, коим был укрыт поверх шубы денщиком Васькой, уселся удобнее в санях, переваливавшихся через сугробы заснеженной дороги, яко фрегат на волнах, и закурил трубочку. Думы были высокие, как эти ели под снежными шапками. Проезжали заповедный корабельный лес.

Как все петровские соратники, бригадир любил живое и общее дело, но все большие дела в России, казалось, прекратились после кончины великого государя. При Екатерине и Петре II Россией правили временщики — сначала Меншиков, затем Долгорукие, а для них важным было не общее дело, важным был собственный интерес. И новые люди остро ощущали этот отход от общего дела, направленного к счастью и приращению Российского государства. Ранее они служили этому делу и за свой ум, толковость, умелость, отвагу получали чины и звания, обходили высокорядных по службе. При временщиках все кончилось. Треть офицеров была распущена по домам за ненадобностью, армия сокращена, флот захирел, продолжающаяся дальняя и малая война с Персией не приносила ни лавров, ни славы. Все реформы бы-

ли вдруг приостановлены, и недавно бурлящая, полная силы и великих замыслов Россия словно села на мель. Самодержавная власть при Петре Великом опережала свое время, а при наследниках стала отставать от него. Вот отчего у многих петровских сподвижников, а их были еще тысячи, рождалась мысль, что самодержавную власть надобно ограничить, не допустить, дабы страной и впредь правили фавориты. Только если Голицын хотел ограничить самодержавие из аристократической гордости, Козлов и ему подобные хотели это сделать ради общего служения государству Российскому. Но на какой-то час их интерес сошелся, и когда Козлов спорил на собрании у Черкасского с Татищевым, он спорил от чистого сердца, а не потому, что был верным сторонником старого боярина Голицына.

Вспомнив тот спор и находя все новые доказательства своей правоты, которые он тогда не успел привести Татищеву, бригадир сердито потушил свою трубочку и снова нырнул под тяжелый ямщицкий тулуп и бобровую боярскую шубу. Стало тепло, покойно. Сани на заснеженной дороге плавно поднимались и опускались с сугроба на сугроб и под эту убаюкивающую качку бригадир и не заметил, как провалился в глубокий и сладкий сон.

Проснулся он от ругани ямщика и Васькиных причитаний. Сани стояли неподвижно, лошади брюхом сели на глубокий снег. Вечерело.

— Эвон снега навалило! Пока обоз чей-то дорогу не пробьет, в жисть не проехать! — причитал Васька.

— Что же, нам и ночевать среди дороги? — сердито спросил бригадир ямщика.

— Зачем же ночевать? Здесь ночевать, барин, негоже. — Ямщик прищурился, хитро глянул на офицера. — Тут в версте от дороги, барин, богатейшее имение вдовицы одной есть, княгини Засекиной. Только что проселок ихний проехали. Там людишки весь проезд уже расчистили. Путь верный.

— Черт с тобой, вези куда знаешь! — рассердился Козлов и снова нырнул под тулуп.

Но спать уже не мог. Вновь перед глазами стояла тревожная, полная слухов и открытых споров Москва, где решались сейчас судьбы Российского государства. И снова пришла мысль, что, может, зря он в сей решающий час согласился мчаться за сотни верст от столицы — как бы не упустить свой случай. Ну да и в псездке есть свой резон. Удержатся верховники у власти, князь Дмитрий сей

услуги, чай, не забудет. Кто-кто, а Голицыны умели ценить верных людей — это бригадир знал по своей службе у фельдмаршала.

Козлов сердито засопел, вынырнув из-под шуб и тулупа, крикнул: «Васька, трубку!» Васька, сидевший бок о бок с ямщиком, весело обернулся, подал трубочку. Морозец крепко пощипывал щеки, нос, уши, которые никак не закрывала форменная треуголка. С окрестных полей и пажитей поднимался морозный туман. Однако лошади весело бежали по твердому расчищенному зимнику и скоро ямщик как бы в радостном изумлении воскликнул: «Да вот и Засекино!», указывая кнутом на многие десятки черневших за замерзшей рекой изб. Село Засекино, судя по всему, было-таки изрядное. Но сани свернули не к селу, а налево, и выехали на березовую аллею, ведущую к стоявшим на холме барским хоромам.

— Княгинюшка-то здешняя любит гостей принимать да потчевать! Скучно ей одной, право! — Ямщик, повернувшись к бригадиру, весело оскалил сахарные зубы в беспечальной улыбке.

— Как ты смеешь так о барыне судачить! — поднял было бригадир офицерскую трость, но тут же опустил, потому как вдруг обожгла мысль: «А вдруг здесь твое семейное счастье?» В свои сорок лет бригадир все еще был холост — жениться мешали беспрестанные походы и царева служба.

На широком барском подворье незваного гостя встретили приветливо. Подбежавшие холопы быстро распрягли лошадей и увели ямщика в людскую избу, денщика в поварню, а степенный и важный старик, отрекомендовавшись здешним управляющим Степаном Федоровичем, пригласил господина офицера от имени княгини в боярские хоромы отужинать чем бог послал. Хоромы и впрямь были боярские, сложены еще при царе Алексее Михайловиче Тишайшем из могучих дубовых бревен, столь крепко пригнанных одно к одному, что никакой мороз дому сему был не страшен.

В знак особого уважения к гостю (бригадирский чин деревня почитала наравне с генеральским) сама княгиня, дородная и нарумяненная женщина, на вид лет сорока, в высоком русском кокошнике и широкой телогрее, лебедушкой выплыла на высокое крыльцо и встретила гостя по старинному обычаю — из своих рук поднесла ему пышный каравай домашнего, еще теплого хлеба и солонку с солью. Эта нежданная хлеб-соль тронула ка-

кие-то заветные струны в сердце Алеши Козлова — вспомнилась незнамо отчего покойная матушка, которая вот так же хлебом и солью потчевала дорогих гостей в их новгородской деревне. Растрогавшись, он забыл все европейские политесы и троекратно облобызал княгиню.

«Эге, а щеки-то наша княгинюшка никак свеклой натирает!» — через минуту рассмеялся бригадир про себя, входя вслед за хозяйкой в низкую, но просторную горницу и оглядываясь по сторонам с изумлением, точно он перенесся из восемнадцатого века во времена первых Романовых.

Не только Святой угол, но вся горница была уставлена иконами и лампадками, длинные прадедовские лавки вдоль стен застелены белой холстиною, а задник высокой русской печи, выходявший в горницу, расписан чудесным лазорем, и среди дивных лазоревых цветов мирно паслись голубые единороги. «Отпей, батюшка, с дороги медку домашнего, потешь сердце ретивое с моими соседями любезными, а я помолюсь у себя в молельне за твое здравие, да и к вечернему застолью всех вас позову!» Голос у княгини был глубокий, с горловыми перебивками, задушевный голос, и голос тот бригадиру понравился. Деревенские знакомцы княгини, Никодим Гаврилыч и Феофил Ипатыч, по старинному обычаю в пояс поклонились новому гостю, представились. Затем Феофил Ипатыч — низенький, тучный, румянощекий весельчак, предложил выпить медку, который у княгинюшки Авдотьи в этом году недурен, а Никодим Гаврилыч сел под образа и воззрился на бригадира с явной неприязнью.

«Эге, да ты никак, братец, жених!» — с насмешкой оглядел бригадир сухопарого и долговязого Никодима Гаврилыча, похожего на лысую цаплю.

Тем временем Феофил Ипатыч коlobком катался вокруг нового гостя, самолично наливал ему в кубок огненного меда, с видимой жадностью расспрашивал о Москве.

— Я ведь и сам, признаюсь, при государе Петре Алексеевиче десять лет прослужил в Москве по канцелярской части и даже удостоен офицерского чина по Табели о рангах.

— Тоже мне, офицерский чин — коллежский регистратор! Бумагомаратель ты, а не офицер! — бросил из своего угла презрительно Никодим Гаврилыч.

— А у вас и того нет! Отвертелись за своими мнимыми хворями от царевой службы, а теперь туда же — же-

ниться на Авдотье Петровне! Да она и смотреть-то на вас не хочет, лебедь наша белая! — ответил Феофил Ипатьч.

— Да уж не вы ли ее прельстили, с брюхом-то своим? — воинственно привстал со скамьи Никодим Гаврилыч.

— Полноте, все мы начинали с малого! — примирительно сказал бригадир и, дабы утихомирить враждующих женихов, принялся рассказывать о нынешнем московском смятении. То ли медок был крепок, то ли снова вспомнилась гудящая, как улей, Москва, но Алексей Козлов с такой горячностью стал выкладывать московские новости, что на другой день себе удивлялся: и чего распустил язык перед деревенщиной? Но тогда его словно понесло.

Он не знал, что из столовой комнаты внимала ему сама княгинюшка.

«Иоанн Златоуст! Чистый Иоанн Златоуст! — радовалась княгиня, вслушиваясь в речи бригадира и отдавая распоряжения управителю, что и как подавать на стол. Речь бригадира была, по правде сказать, для княгини совсем темной. — Говорит, словно бисером вышивает, — думала княгиня и усмехнулась в душе: — Да только перед кем бисер-то мечешь, перед женишками моими, голью мелкопоместной, Филькой и Никодимкой!»

Княгиня задумалась, прошла в свою спальню, и пока девки подавали новомодное платье, порешила: «А ежели сей бравый воин и впрямь холост, как его денщик Васька о том на кухне болтает, то возьмусь-ка я за дело как следует и разом оженю его на себе. Оженила же я князюшку Ваню Засекина, оженю и Алешу Козлова. Имя-то какое сладкое — Алеша! Да и мужчина он видный. — Княгиня сладко потянулась, сбрасывая исподнюю рубашку, подошла к большому венецианскому зеркалу, купленному управителем аж в самом Петербурге, оглянула свою крупную дородную фигуру и вдруг показала себе язык: — Баба в сорок пять — ягодка опять!»

Словно проснулась в ней отчаянная сенная девка Дуня, что пятнадцати годков от роду отравила любовным хмелем вдового и бездетного князюшку Ваню Засекина, и тот перед нарвским походом не токмо женился на ней, но и завещал все свое немалое имение. Видели в последний раз Ванюшку во время первой нарвской баталии, когда дворянская конница Шереметева ударилась в бегство и хлынула на мост через реку Нарову. Был на том

мосту и Ванюша — нещадно работая плетью, пробивался на другой берег, да не пробился: рухнул мост в ледяные воды, и принял Ванюша вечную купель.

Так и осталась она вдовою. Но девка она была сметливая, да и батюшка мельник был еще жив, помог советами. Отбилась в судах от Ванюшкиных родичей — завещаньице-то, слава богу, составил Ванюша в Москве, по строгому государеву закону. Отстояла Засекино, а в нем восемьсот душ, на хлеб-соль хватит.

Девки одели на Дуню кружевное французское белье, дружно запричитали: ах, какая у нас матушка красавица! Княгиня довольно покрасовалась перед зеркалом — знают французы толк в женских уборах, попробуй отгадай в сей кружевной пене, какой ее возраст. Спасибо государю Петру Алексеичу — доходят до нас теперь французские снадобья и притирания.

Авдотья Петровна достала коробочку с французскими румянами и вдруг покраснела так ярко, что и румяна были непотребны: вспомнила, что при встрече незваного гостя спешила и натерла щеки по старинке: свеклой. Поди, целуя-то, и угадал?

За тридцать лет вдовьей жизни княгиня стала стеснительной. Хотя и ходила молва о дюжих ямщиках, любивших заворачивать к вечеру с главного тракта к Засекину: греют, мол, по ночам боярыню-то, — замуж Авдотья Петровна так и не вышла. В Петербург и Москву ехать боялась — политесу не обучена да, по правде сказать, и писать-то научилась больше по судебным бумагам. Впрочем, не одна она боялась петровских ассамблей. Вон Собакины, природные дворянки, а в Москву и носа не казали, остались в девах. Да и тяжба с родичами Засекина была жестокой — шла без малого двадцать лет, так что жизнь Авдотья Петровна знала не столько с радостной, сколько с темной ее стороны.

И тем паче сейчас поразила неслыханная радость: какого молодца занесло во вдовью светелку! Ну да и она еще хороша. Княгиня погрузилась в широкую немецкую робу и приказала горничной властно: «Подавай парик!» Расчесав локоны парика, как свои природные волосы, Авдотья Петровна, шурша парчовою робою, величаво вплыла в горницу звать дорогих гостей к ужину.

Мебель в столовой, к удивлению бригадира, вся была новоманирная, немецкой или рижской работы, стены обиты французской тканью. В стоявших по углам канделябрах были зажжены восковые свечи, и в их свете были

видны на стенах две парсуны. В одной из них бригадир без труда разгадал Авдотью Петровну, а на другой был изображен черноусый мужчина в богатой собольей шубе.

«Муж мой покойный, князь Засекин Иван, — важно ответила княгиня на вопрос бригадира и неизвестно к чему добавила: — Шуба-то его соболья в рундуке до сих пор цела, я ее против моли табаком посыпаю!»

Пиршество началось с молитвы: «Достойно есть...» Засим из дверей, ведущих в поварню, показалось целое шествие холопов в домотканых кафтанах, и на столе явились копченый язык, рябчики в молочном соусе, тетерева со сливами, куриные пупки, гусиные шейки, холодная печенка, разные соленья и приправы и огромное блюдо со студнем.

Водка под закуски была подана домашняя, душистая анисовая. Хозяйка встала, поднесла бригадиру почетную чарку, скорее похожую на кубок Большого орла, который случалось Козлову пивать на петровских ассамблеях. Дабы не уронить свою мужскую честь, бригадир выпил залпом, затем склонился в поклоне, поцеловал на польский манер (в Речи Посполитой в Северную войну он провел многие годы) белую ручку хозяйюшки, с которой произошла столь внезапная перемена. На пороге встречала его русская боярыня, а в столовой предстала французская маркиза.

«Теперь у нас будет, мадам, прямое и порядочное правление государства, коего никогда прежде не бывало», — обращался бригадир уже только к хозяйке, чувствуя, что тонет в омуте ее прекрасных черных глаз.

Сидевший напротив бригадира Феофил в ответ на эти смутные речи даже рот приоткрыл от восхищения.

Никодим Гаврилыч, напротив, никаких новостей не любил и весь смысл жизни усматривал в том, чтобы все шло раз навсегда установленным порядком. А в Москве, судя по речам бригадира, верховные покушались на сердцевицу порядка — самодержавную царскую власть! Было отчего оторопеть. Впрочем, для Никодима Гаврилыча сей офицерик был заезжий щенок, а не преобразователь отечества, и он и слушать бы его не стал, ежели бы не Дуня (за десять лет своего неудачного сватовства он настолько свыкся с Авдотьей Петровной, что называл ее про себя Дуней), стрелявшая в бригадира черными глазками куда метче, чем сам Никодим Гаврилыч бил в зай-

цев. А ведь он по праву почитался первым охотником в Муромском уезде.

И потому надлежало этого мальчишку примерно наказать или, на крайний случай, выставить в смешном свете перед княгиней.

Никодим Гаврилыч сердито прервал расходившегося в речах гостя:

— А ежели государыня оные глупые кондиции в Москве разорвет, что тогда?

Бригадир ощупал зашитое в кафтане письмо Голицына, глянул холодно на эту лысую цаплю и не сказал, отрезал:

— Ежели императрица нарушит свое слово, не быть ей на троне, мы и без нее обойдемся!

— Да как же так, батюшка, без царя жить! — всплеснула красивыми руками хозяйка. — Нет, что ни говори, свет мой, а без царя нам нельзя. Все мы царские рабы, потому и своих рабов имеем. Царь в нас властен, от того и мы в своих рабах властны!

— А что же, можно и без царя! — решительно поддержал бригадира Феофил Ипатыч. — Объявим, как в Польше, бескорольеве и поживем всласть. Каждый шляхтич в огороде будет равен воеводе.

— Известное дело, есть у нас и такие — всю жизнь без царя в голове ходят! — съязвил Никодим Гаврилыч.

Феофил Ипатыч выпад сей принял и запустил в Никодима Гаврилыча блюдом с холодной телятиной. Никодим Гаврилыч бодро ответил миской с холодцом.

— Ах ты, батюшки мои, светы! Срам-то какой! — бросилась разнимать их Авдотья Петровна.

— Однако же какие здесь страсти бушуют! — рассмеялся бригадир, наблюдая, как дюжая княгиня подвела друг к другу незадачливых женихов (сенные девушки вытерли их лица и кафтаны чистыми рушниками) и заставила недругов троекратно поцеловаться. После чего поднесла всем гостям по чарке еневра. Бригадир выпил и с трудом перевел дыхание, насмешливо заметил женихам:

— А что, господа, правду говорят: крепок пир дракою?!

Меж тем по знаку хозяйки внесли первую горячую перемену блюд: жареного гуся с мочеными яблоками, подрумяненного поросенка, набитого гречневой кашей, бараний бок с салом, горячие домашние колбаски с новоманирным овощем — картофелем.

— Ты, чаю, свет мой, и не ведал, что в нашей глуши научились картошку растить? — спросила Авдотья Петровна. — У вас и в Москве, почитай, не на каждом столе овощ сей встретишь. Это все управитель мой Степан Федорович старается. Ездил в Ригу с целым обозом за мебелью да и привез картофель. Ешь, свет мой, кушай! Сил тебе, страннику, много надо... — Княгиня как-то странно посмотрела на бригадира.

Меж тем Феофил Ипатыч снова завел высокий и политичный разговор.

— Вот вы говорили, сударь, кондиции установят пределы самодержавной власти. Я мыслю, как в Польше?

— Никакой Польши на Руси не будет. Знаю я Речь Посполитую, в Великую Северную войну исходил ее с нашим воинством вдоль и поперек, и ничего там хорошего, кроме вечной смуты, не видел, — сказал бригадир.

— Так ведь и я о том же твержу — не быть на Руси польскому беспорядку! — обрадовался Никодим Гаврилыч внезапной поддержке. — Все блага на Русь, яко манна небесная, сыплются от власти самодержцев.

Однако бригадир токмо рассмеялся:

— Ни Польши у нас не будет, ни к старому самодержавству возврата нет. Полагаю, будет у нас, как в Англии иль в Швеции — Конституция!

— А что, батюшка, — прервала его хозяйка, — Конституция, она царского рода, аль из Долгоруких?

Здесь, к смятению Авдотьи Петровны, бригадир выскочил из-за стола и, схватившись за голову, стал бегать от печки-голландки к окну и обратно, бормоча нечто невразумительное. «Дикость! Невежество! Тьма! Толща!» — только и могли разобрать княгиня и ее женихи. Наконец, бригадир остановился, прижался широкой спиной к дышащей жаром печке и сказал решительно:

— Просвещения на вас нет, вот оно что!

Тут и Никодим Гаврилыч и Феофил Ипатыч согласно поднялись из-за стола: «Кто его знает, этого офицера, прикажет еще выпороть ради этого самого Просвещения. Вишь как в лице стал суров, одно слово: «Бригадир!»

— Да куда же вы, гости дорогие? — засуетилась княгиня. — У нас еще щи на третью перемену!

Но женихи столь дружно твердили о дальней дороге, надвигающейся метели, неотложных делах, что поневоле пришлось их отпустить с миром.

Щи, наваристые, густые, ели вдвоем.

Бригадир думал, что и не съест ему щец — лопнет

от сытости, да куда там! Сам не заметил, как умял миску, столь было вкусно. Хозяйюшка под ши трижды наливала чарку еневра, но и еневр уже не обжигал горло, только вот бригадир становился от него все сонливей и сонливей. Гудела вновь затопленная печь, гудела метель за окном, куковала кукушка в старинных часах. Морил сон.

— Васька! Постель! — приказал он после последней чарки еневру Авдотье Петровне, принимая ее за своего верного денщика, и Дуня отвела бригадира в опочивальню, раздела и сняла с него сапоги. Давно она, после Ванюши, ни с кого сапог не снимала, а тут вздрогнуло бабье сердце, когда она увидела его вот таким: мирным, покойно спящим, со светлой улыбкой на лице. Не удержалась, поцеловала, а потом сорвала с себя французский парик и немецкую робу и нырнула к нему под одеяло, прижалась холодным боком, погреться.

Утреннее пробуждение бригадира Козлова было ужасным: незнакомый дом, незнакомая комната, незнакомая кровать, незнакомая женщина.

— «Ба, так это я никак с хозяйкой любовные шашни затеял. Впрочем, любовь та по ее воле, и я ничего не упомяну!» — хладнокровно рассудил бригадир.

Через час он уже сидел за столом, пил китайский чай и ругался с ямщиком. По всему выходило, что дороге замело этой ночью надолго, даже по проселку и по тому не проехать.

— Вот пройдет обоз из Нижнего в Москву, тогда и проедем, а сейчас снег лошадям по брюхо, право слово! — лукавил ямщик, получивший от барыни немалый задаток.

Сама барыня выплыла из задних комнат как ни в чем не бывало: природные русые волосы уложены венчиком, на ногах пестрые казанские сапожки, на плечи накинута соболья шубка. Барыня собралась показать господину бригадиру свое хозяйство. Делать было все одно нечего, и, кляня родимые дороги, бригадир поплелся за Авдотьей Петровной.

А смотреть в имении было чего! В теплом коровнике стояло стадо на сотню коров, да и коровы-то голландки — чистые, гладкие.

— Прикупил, по моему приказу, Степан Федорович на Москве. Там в Измайлове скот племенной.

На утреннем морозе Авдотья Петровна разрумянчилась так, что и парижские румяна ни к чему. «Соболья шапочка и шубка сидят на ней ладно, с фасонцем, — от-

метил про себя бригадир, — а как засмеется да покажет ровненькие зубки, ей-ей, не дашь более тридцати годов!»

Меж тем Дуня тащила его уже в амбар, полный разными припасами. Переливалось в ее руках отборное зерно — сортовое, к посеву.

— Я, мил друг, на круг тыщи пудов с этим зерном беру.

В птичнике гоготали белоснежные гуси, квохтали куры, грозно шипели откормленные орехами индюки, и индюшки.

— Да тут у тебя целое воинство! — заметил бригадир, а про себя с грустью подумал, что у него в новгородской деревеньке и пяти дворов, поди, не осталось. Да и не был он там, почитай, двадцать лет, с тех пор, как схоронил сначала отца, а затем маменьку. Жил на царское жалованье и не хулил судьбу — покойный-то батя, что греха таить, чтобы с голоду не умереть и сына на ноги поставить, хоть и был дворянин старинного роду. а сам землю пахал. А вдовица меж тем завлекла его на мануфактуру. В одной избе пряли тонкую льняную пряжу, в другой ткали из нее льняное полотно, в третьей десяток девушек (да все прехорошенькие) вышивали узоры по тому полотну.

— Возьми, батюшка, мой презент! — важно сказала княгиня. — Льняные рубашечки на твое плечо!

— Да как же ты мой рост угадала?

— А пока ты, сокол мой ясный, спал, по указу моему Машка да Палашка, вишь головы потупили, тебя, батюшка, обмерили, ну тебе рубашечки и сшили проворно. Они у меня скорые, на все руки мастерицы. — Княгиня усмехнулась, поглядела лукаво.

«Да, крепко ведет хозяйство вдовица. Жениться на такой — себя потерять!» — усмехнулся в драгунские усы бригадир. Смеялся Алексей Козлов в душе боле над собой, потому как признался сам себе, что неплохо бы жениться на сей вдовице и зажить спокойно, большим барином в деревне, оставив все свои дерзкие замыслы. «Нет уж, увольте, примаком быть — мало чести добыть!» — тут же рассердился на себя бригадир, гусем вышагивая вслед за Авдотьей Петровной на конюшню.

Здесь он, как кавалерийский офицер, нашел многие упущения: и овес лошадям конюхи давали не так и не в те сроки, и стойла холодные — сквозняк морозный ло-

шадок насквозь продувает, и кони больные стоят рядом со здоровыми.

— Да я бы этого конюшего и на версту к коням не допускал! — сердито выговаривал бригадир княгине, поглядывая на конюшего Митьку — ловкого малого с воровато бегающими глазками.

— Не женское это дело, конюшня! — охотно сокрушалась княгиня. — Сама я ведаю, сокол ты мой, — здесь потребна мужская рука! — И нежданно приказала конюшему: — Митька! Покажи-ка барину того арабского скакуна, что ты осенью у персианина в Астрахани сторговал. — И пока Митька открывал заветное стойло, простодушно сказала: — Я ведь, свет мой ясный, каждую осень баржу с хлебом в Астрахань отправляю. Я им хлебушка, а они мне рыбку красную, арбузы, овощ разный. А этой осенью дурак Митька коня у персидского купца сторговал. Коник славный, да только ездовой, не упряженный. Заложили его в мою одноколку, а он возьми да и понеси — думала, смерть мне в этом черте арабском явилась, даже поводья отпустила. Ан нет! Спасибо коньку — свалил одноколку в сено, а там мягко!

— Как же вы, сударыня, такого красавца да в упряжь! Грех это! — Бригадир с видимым восхищением разглядывал арабского скакуна. Конь горячо вздрагивал, бешено косил глазом. — Какой красавец! — бригадир потрепал черную гриву. Под его сильной рукой конь задрожал, склонив голову.

— Ишь, враз признал нового хозяина! — как бы в радостном изумлении воскликнула Авдотья Петровна.

— Кто новый хозяин-то? — удивился бригадир.

— Да кто, кроме тебя, сокол мой ясный! Не Митьке же, увальню, на нем скакать, хотя, признаться, он и седло нарядное к коню прикупил. Митька, покажи барину седло!..

Когда скакуна вывели во двор, он при виде ярко блестящих под морозным солнцем сугробов нежданно взвился на дыбы, так что Митька, двое конюхов и прибежавший в конюшню Васька с трудом удержали коня, дружно повиснув на узде.

— Васька, сахару! — приказал бригадир, наверное зная, что в необъятных карманах Васьки всегда есть кусок сахара.

Конь взял сахар с руки бригадира горячим языком и, показалось, даже глаза прикрыл от невиданного удовольствия. А Козлов, скинув плащ и шпагу на руки Ваське,

взлетел в седло, вихрем пролетел по двору и помчался по заснеженной аллее. Скакун грудью пахал сугробы, взвивался на дыбы, пытаясь сбросить наездника, но в бригадире словно снова проснулся лихой драгун Алешка Козлов — сидел на коне как влитой.

— Алеша, убьешься, мой свет; убьешься! — причитала княгиня, глядя, как несется застоявшийся жеребец.

— Не боюсь, не убьется! Мой бригадир у самого светлейшего князя Меншикова в лейб-регimente служил, только в Полтавской баталии под ним трех лошадей убило, а здесь, эка невидаль, арабский скакун! Да у господина бригадира конь будет послушной собачкой... — лениво успокаивал перепуганную боярыню верный Васька. И впрямь, когда через час бригадир вернулся к конюшне, гордый конь послушно нес своего наездника.

— Что ж ты необъезженных коней покупаешь? — сердито бросил бригадир Митьке, лихо соскакивая с коня. — Не конь, а черт; княгинюшка! Спасибо за славный подарок!

«Каков молодец, так разругался от быстрой скачки, словно десяток годков сбросил», — залюбовалась княгиня. А Алексей Козлов распоряжался уже по-хозяйски: Ваське наказал насухо обтереть жеребца и накрыть попоной, конюшему — насыпать полные ясли отборного овса. И эта его распорядительность еще более нравилась Авдотье Петровне, столь приятно было услышать в хозяйстве зычный командирский мужской голос. И сказала вроде совсем некстати:

— К вечеру, батюшка, мы в мыльню ходим. Потрем спинку друг дружке. А то ведь я все одна, все одна...

И столь сильно было ее нетерпение, что за вторым утренним столом княгиня сама вдруг предложила своему избраннику руку и сердце. Бригадир про себя так и присвистнул. А опомнившись, сказал жестко:

— У тебя, душа моя, тысяча душ, а у меня в моей новгородской «вотчине» и десяти не будет. Так что, окроме чина и государева жалованья, я гол как сокол. Но горд — и в примак не пойду.

— Да что ты, Алеша, какой ты примак! И слово-то какое нерусское. Жених ты для меня светлый; сокол ясный!

— Спасибо, королева моя! — молвил бригадир, крутя черный ус. — Ежели по правде рассудить, никто меня столь не любил и любить не будет! Потому, как знать,

может, я и вернусь, когда на Москве новые порядки утвердим.

С крыльца смотрела Авдотья Петровна, как отъезжает на арабском скакуне ее сокол ясный.

Княгиня увидела, как обернулся лихой наездник и прощально помахал треуголкой.

Через двое суток бригадир Козлов прибыл в Казань и предстал перед генерал-губернатором Артемием Волынским. Тот не чинился, дружески обнял боевого товарища. Затем сел за стол; нахмурился, прочел письмо князя Дмитрия.

— Великие замыслы, великие замыслы у Дмитрия Михайловича! И дай ему бог удачи! А ты чего запоздал, друже?

И только потом узнал бригадир, сколь много крылось за тем вопросом. Ведь пока нежился Алеша Козлов у княгини, гонец от Остермана опередил его и доставил Волынскому известия, что, почитай, вся дворянская Москва недовольна правлением верховников. Вот отчего поспешать в Москву Волынский отказался за многими делами.

— Да и тебе, друже, не советую класть раньше времени голову на плаху! — мрачно сказал Волынский, словно видел тот эшафот, на котором через десяток лет по приказу Анны Иоанновны и Бирона казнят и его самого, и друзей-конфидентов. — Оставайся-ка лучше у меня, переждешь в Казани смутное время. Скоро, боюсь, будет всем не до конституций и вольных проектов!

Но бригадир уже знал, где остановиться. Проезжая через Муромский уезд, он свернул на знакомый проселок и пересел из саней на лихого арабского скакуна.

ГЛАВА 5

Не только заезжему человеку, но и коренному москвичу легко было заплутать в кривых улочках Замоскворечья. Время разменяло уже четвертое десятилетие с тех пор, как бунташное полководье стрелецких полков, шедших против царя Петра, было обращено вспять сухой математикой артиллерии петровского генерала Гордона; на Красной площади на плахе полегли буйные стрелецкие головы, отгрохотали барабаны преображенцев и семеновцев, возвещая новую Россию, а здесь, в Замоскворечье, все еще жили стариной. Правда, стрелецкие слободы после многих казней и высылки затаились, притихли,

замерли, да вот беда... подраставшие замоскворецкие мальцы все еще бредили не Полтавской и Гангутской батальями, а острыми стрелецкими ножиками, заткнутыми за голенища пестрых казанских сапог.

Новые людишки селились здесь неохотно, сторожко.

Первые купеческие хоромы заняли сперва набережную, огородились крепкими дубовыми заборами. С годами стали подвигаться в глубь разбойных стрелецких слобод, прикрываясь надежной охраной и старой верой. Ведомо было, что купцов-староверов стрелецкие последыши реже щипали. И все равно морозными темными ночами здесь было жутко. Замирало от дальних вскриков купеческое сердце. И, дабы успокоить тревогу, собирали пожертвования и воздвигали первые немецкие фонари по примеру Санкт-Петербурга.

Но по ночам фонари лопались, как перезрелые груши, то ли от случайного камешка, то ли от лихого молодецкого посвиста, пугавшего во время оно не одних купчишек, а и кремлевские дворцы, что высились на другом берегу Москвы-реки. Разбойные ватаги атаманов Сокола, Камчатки, Мельника сбивали немецкие замки простым тульским топориком, и стонали толстые купчихи, пока их бородатые Тит Титычи откупались большой казной от лихих незваных гостей.

По этим страшным для московского обывателя местам Камчатка вел осторожных беглецов, как по родному дому. Да ежели рассудить, Замоскворечье всегда было родственным приютом для лихого сына мятежного стрелецкого десятника, буйную головушку коего собственноручно отсек на плахе еще покойный великий государь Петр Алексеевич.

Камчатка ведал в Замоскворечье все лазы и перелазы и через час после побега, попетляв по переулкам и закоулкам, дабы запутать возможную погоню, вывел беглецов на зады пустой барской усадьбы.

«Барин здешний, князь Холмский, в персиянском походе седьмой год обретається, а дворовым людишкам не оставил на пропитание и медной полушки. Не с голоду же ребятам подыхать. Вот и занялись честным разбойничьим промыслом!» — сказал Камчатка, подводя своих осторожных сотоварищей к людской избе, что спряталась от высокого барского дома между конюшней и дворовыми амбарами.

Над избой курился в морозном воздухе дымок — остальная усадьба словно вымерла. Твердой уверенной ру-

кой Камчатка распахнул двери и остановился на пороге. В избе не продохнуть, казалось, от крепкого духа, зато тепло. На огромной русской печке сушились тулупы и валежки, а в углу под образами, четверо холопей кидали кости. Игроки до того увлеклись, что не сразу обернулись к распахнутой двери.

— Где караульный дозор, пентюхи деревенские? — властно и строго спросил Камчатка с порога.

— Никак Камчатка?! Объявилось ясное солнышко! Кто, кроме атамана, с порога лаяться будет-то?! — Игроки радостно приветствовали Камчатку.

— А караульный — вот я! — раздался сиплый голос, и меж черных валенок с печки выглянуло дуло мушкета. — Будь вы из воинской команды, здесь бы и полегли! — После сих слов из-за валенок высунулся сизый нос; такой огромный, что не уступал, казалось, дулу мушкетона. Вслед за тем и сам владелец сизого носа спустился с печи и оказался здоровенным детиной, в плечах пошире Максимушки.

— Здорово, Камчатка! — Сизый Нос как бы спрятал стрелецкого сына в своих объятиях, таких крепких, что затрещали стрелецкие косточки. Да только проворен был Камчатка и знал отменные борцовские свычки, и через минуту великан растянулся у ног Камчатки.

— Ай и ловок Камчатка, бес осторожный! Не сломали его, знать, харчи казенные... — рассмеялся в углу белоголовый парень, прозванный за свой голос и песенное мастерство Соловушкой.

— А мы, братцы, и впрямь не заметили, что караульный наш давно караулы на печи несет!

— Забыли, черти, мою науку?! — строго спросил Камчатка. — Хотите, чтобы повязали вас, как ватагу атамана Сокола, на которую навел солдат Ванька Каин? Иль, может, порешили вы уже Ваньку Каина? Что скажешь, Нос?

— Нет, не порешили, атаман. Намедни окаянный Ванька навел роту преображенцев на тайный притон Заики-мельника. Почитай, всех повязали!

— А коль так, неси караул по-честному и гляди в оба! — распорядился Камчатка. Затем обернулся к порогу и пропустил вперед Михайлу и Максимушку. — А вот и новые дружки наши! Налить всем по чарке и выпить за долгожданную встречу! — приказал Камчатка Соловушке, выполнявшему, судя по всему, в ватаге роль ви-

почерпия и денщика атаманова. Пока допивали штоф, Камчатка поведал ватаге о злключениях Михайлы.

— А не тот ли это немец, что на Поварской дом держит? — спросил похожий на хорька маленький мужичонка с хитро бегающими глазками. — Палаты богатые, а графа и впрямь Дугласом кличут. На палаты его еще атаман Сокол топор наострил, да взять-то и не успел. Подвел его Ванька Каин, крепко подвел!

— Ну, Ваньке Каину еще попомним его грехи, а немчуре, что порох честным людям на спине поджигает, самому красного петуха пустим! — твердо сказал Камчатка и, обернувшись к Михайле, озорно подмигнул: — Дай срок! Запылают графские хоромы.

На этом и порешили на совете ватаги — брать после розыска Дугласовы палаты.

ГЛАВА 6

Петербург был покинут двором, но не производил впечатления покинутого города. Дорожная карета то и дело обгоняла бесконечные обозы, груженные кирпичом, известкою, сеном, съестными припасами. Тянулись артели ярославских и костромских плотников, каменщиков из Пскова и Новгорода, диковатых татар, согласных на любую работу, окающих волгарей, звонко цокающих вологодцев, певучих орловцев, крикливых курян. Со всех сторон России тянулись сюда люди, и город стремительно возносился на берегах Невы. Город рос уже не по царскому указу, как при Петре I, рос потому, что нельзя было повернуть Россию вспять, поставить спиной к Европе; город рос, потому что слишком много крови и соленого мужицкого пота было за него пролито и, наконец, город разрастался просто потому, что был расположен на бойком торговом месте, где лицом к лицу сталкивались Россия и Европа. Дорожная карета мчалась мимо галерных верфей, с которых сходили легкие нарядные скампаеви, охранявшие Балтику, мимо канатных и полотняных фабрик, изделия которых столь высоко ценились на лондонских и амстердамских биржах, мимо купеческой пристани, над коей летом плескались сотни заморских вымпелов, мимо торговых складов, где громоздились бочки с воском и ворвань*, мешки с золотистым теплым зерном, штабеля отборного мачтового леса. Громыхали, па-

* Ворвань — жидкий жир (рыбий или других морских животных).

дая в трюмы кораблей, листы уральского железа и алтайской меди, визжали бесчисленные лесопилки, медленно кружились крылья огромной пороховой мельницы.

Да, здесь совсем не чувствовалось отсутствие императорского двора, здесь шла своя, другая, отдельная жизнь, с иными интересами и иным значением. Интересы эти определяли не распоряжения императрицы или указы временщиков, а колебания цен на зерно и лен, пеньку и железо на биржах Амстердама и Лондона, урожаем хлеба в Поволжье, колониальные войны за Молуккские и Вест-Индские сахарные и кофейные острова и новые золотые прииски, открытые в далеком Забайкалье. Это была не московская розничная торговля — здесь разворачивалась европейская коммерция!

Карета вылетела на широкую полузастроенную Невскую перспективу и, разбрызгивая грязь, понеслась к валам Адмиралтейства. Зима в этом году в Петербурге была мягкая — стоял уже февраль, а Нева так и не застыла. По тяжелой свинцовой воде снуют пестрые ялики, над Петропавловской крепостью за клубился дымок — сигнальная пушка ударила полдень! Карета понеслась по набережной. Ежели купеческий и мастеровой Петербург отъезд царского двора в Москву точно подтолкнул действовать еще более споро, то Петербург дворянский сразу затих. Давно ли во всех австериях Васильевского острова и Адмиралтейской части веселились гвардейские сержанты, забывая своим шумством отчаянных голландских и португальских шкиперов, давно ли ярко светились в морозные ночи окна бесчисленных дворцов на Английской набережной и плыли звуки модного менуэта над Невой; давно ли выезд матушки-полковницы Екатерины I и ее путешествие на убранной коврами галере из Летнего сада ко дворцу светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова, что высился на Васильевском острове, занимали внимание и любопытство петербуржцев? Все исчезло, точно по чьему-то сигналу закончился блистательный карнавал. Золотой поток, лившийся из императорского дворца и дворянских карманов, отхлынул в Москву. Ветшали выстроенные на скорую руку дворцы петровских вельмож, обваливалась сырая штукатурка с пузатых колонн, одиноко стояли на снегу забытые в Летнем саде греческие и римские боги и богини. Но иной золотой поток не только не прекратился, но и многократно возрос и усилился. Лился сей золотой дождь за труды петербургских мастеровых и рабочего люда в глубокие кошельки

российских промышленников и прижимистых иноземных дельцов, осевших в стремительно растущем городе.

Эти господа не бросали полученные деньги на карточный стол, не покупали своры борзых и гончих, не устраивали домашних спектаклей. И возникали новые мануфактуры в окрестностях северной столицы, дымили черные трубы, стучали топоры на корабельных верфях.

— Каковы перспективы! В сем граде каждый свое дело найдет! — вслух восторгался Шмага.

Голицынский курьер, он же княжеский секретарь Василий Семенов на эти восторги сухо пожал плечами. В свои тридцать лет человек он был осторожный, на доверенной княжеской службе привыкший не бросать слова на ветер. Всю дорогу от Москвы до Петербурга он молчал, благо его попутчик никому и рта не давал открыть — всех заговорил. Дуняша тоже помалкивала, а по ночам, вспоминая суженого, плакала. После побега Михайлы из острога, о чем сообщила верная Галька, от него не было ни одной весточки. Бежал и как в воду канул. А Дуняше надобно было меж тем ехать в Петербург, потому как в Москве ей было оставаться опасно. Галька сообщила, что в Новодевичий наведывались ушаковские ищейки, выведывали о Дуняше. Возвращаться в монастырь было нельзя, и выходил один ей путь — в Петербург вместе со Шмагой. Хорошо еще Галька оставалась пока в Новодевичьем, и через нее Михайло всегда мог найти путь к Дуняше. Так и ехали — двое молчали, один болтал. Но у Шмаги за пустой беседой рождались все новые планы и замыслы. В любом случае Шмага твердо решил изложить их, когда вместе с этим курьером-молчуном предстанет пред светлые очи вице-президента Коммерц-коллегии Российской империи.

* * *

У Фика голицынского курьера давно ждали. Как только до Петербурга дошли московские новости о кондициях, Генрих Фик почувствовал себя на коне. Он был единственной персоной в Петербурге, которая ясно представляла, о чем шла речь в голицынских кондициях. Сразу вспомнились бессонные ночи, проведенные им с князем Голицыным в долгих беседах и спорах о лучшем устройении государства. Хотя и случались споры, да не было ссоры. Так уж случилось, что по-плебейски веселый и нахрапистый гамбуржец Фик и старый гордый боярин Го-

лицын дружно сошлись на ограничении самодержавства. Правда, Фик полагал, что это ограничение приведет к начаткам демократии, а князь Дмитрий ожидал от этих изменений власти аристократии.

Генрих Фик, поступивший на русскую службу как магистр-законовед, искусный в юридических науках, был специально послан Петром I в Швецию для изучения тамошнего государственного устройства.

В те годы, по его же словам, Фик был более бюрократом, чем либералом. Он скрупулезно выполнил поручение государя и сделал точное описание шведского государственного устройства. Петр I, готовивший в конце своего поприща общий свод законов Российской империи, и в делах гражданских, яко и в военных, собирався проходить науку у шведов.

Но гражданская наука выходила куда более трудная, нежели военная, и царь Петр жаловался, что он имеет славных полководцев, равных знаменитому Тюренню, но не имеет своего Сюллия. Возможно, что на роль Сюллия, славного министра французского короля Генриха IV, Петр и готовил Дмитрия Голицына. Во всяком случае, сам царь свел князя Дмитрия с Генрихом Фиком и поручил им разработать гражданские законы империи. Но так уж случилось, что оба новоявленные законодателя, назначенные царем-самодержцем писать законы самодержавной империи, оказались супротивниками самодержавия. И русский боярин Дмитрий Михайлович Голицын, и гамбургский республиканец Генрих Фик мечтали о невиданной николи в России конституции. Но при самодержавном Петре Великом то были пустые мечтания. Надобно было ждать случая. И вот сейчас случай шел им навстречу. После смерти Петра II трон пуст, у власти стоит Верховный тайный совет, а в нем всем распоряжается князь Дмитрий. Поистине улыбка фортуны! Фик, который всю жизнь занимался политикой и историей различных держав, ясно понимал силу и роль случая. Его величество случай дал ныне власть Голицыну, и старый боярин получил редчайшую возможность превратить свои прожекты в законы империи. И он, Генрих Фик, единственный человек, который знает до конца великие замыслы своего единомышленника. Потому кондиции Фика не поразили и не удивили — обрадовали. Когда у командующего войсками в Петербурге генерала Миниха был созван совет высших чинов северной столицы, Генрих

Фик на свой манер растолковал генералам и адмиралам московские новости.

— Что ж тут неясного, господа? — ответил он командующему балтийской эскадрой адмиралу Сиверсу. — Ныне империя Российская стала прямая сестрица Швеции и Польши, а россияне стали настолько умны, что впредь не будут иметь над собой никаких фаворитов, от которых все зло в государстве происходило.

Собрание смятенно зашумукалось. Фаворитов, конечно, никто не любил, но как же так — жить без царя-самодержца. Самодержавная власть представлялась всем этим генералам, адмиралам и президентам коллегий тем самым ключом, который заводил огромный чиновный механизм Российской империи. Но сказать о том открыто ни немцы, ни русские не решились, поскольку власть там, в Москве, у Голицына, а в Петербурге сидит его недреманное око — Генрих Фик. Потому собрание первых вельмож Санкт-Петербурга разошлось молча, приняв к сведению голицынские кондиции.

Сразу после того собрания Генрих Фик собрался было в Москву, где готовились великие дела, но прискакал курьер от Голицына и привез приказ — ждать! Голицыну в Петербурге нужен был верный человек. Теперь явился новый курьер. Какие-то он привез известия? Генрих Фик, как был в домашнем халате, нетерпеливо сбежал по лестнице навстречу гостям. Рядом с княжеским секретарем Семеновым увидел хорошенькую девушку и незнакомца. Фик спохватился, запахнул полы халата на круглом брюхе. И тут вперед выскочил Шмага, затараторил что-то о храме искусств, русском театре в Петербурге.

— При чем тут театр, когда у нас с князем Дмитрием речь идет о высокой политике? — Фик с недоумением обернулся к княжескому курьеру. Тот развел руками, скупно пояснил, что по княжескому приказу доставил сих гонимых актеров на берега Невы и что князь Дмитрий просил Фика поспособствовать им в Петербурге.

— Ваше превосходительство... — Шмага поспешил поймать свой случай. — Я видел сейчас в городе корабельные верфи и пороховые мельницы, полотняные мануфактуры и богатые пристани, но не узрел ни одной театральной афиши. А не мне говорить столь ученому человеку, что еще древние римляне ведали: народ хочет не только хлеба, но и зрелищ!

Генрих Фик рассматривал Шмагу с явным любопытством, как человека новой породы. «И чем дале, тем

больше будет таких новых людей в России!» — подумал он не без удовольствия, поскольку и сам относил себя к этому новому сословию, которое именовал российской интеллигенцией.

— Но объясни, как ты хочешь завести театр, когда у тебя нет театральной сцены? — с немецкой обстоятельностью принялся расспрашивать Фик своего неожиданного просителя, думая уже, как истый петровский выученик, каким путем оказать помощь этому начинанию. В Петербурге любили новые начинания.

— В сем граде всяк свое дело поставит! — уверенно отвечивал Шмага. — Что за беда, нет сцены! Были бы актеры и зрители, а сцена всегда найдется, ваше превосходительство. Об этом прошу, чтобы большое начальство не препятствовало, выдало разрешение открыть театр!

— В сем граде всяк дело поставит! — шумно расхохотался Фик. Он любил, когда высоко отзывались о его второй родине, за которую почитал Санкт-Петербург. И потому дело Шмаги решил тут же, на месте.

— Хорошо, братец... — сказал он покровительственно. — Большое начальство я беру на себя. Сегодня же добуду тебе у генерал-губернатора Миниха разрешение. Денежное вспоможение на открытие театра даст Коммерц-коллегия. Ведь театр — тоже коммерция. Но актеров и сцену ищи, братец, сам! — С тем вице-президент Коммерц-коллегии и отпустил Шмагу и Дуняшу.

Расставшись с актерами, Фик поспешил провести голицынского гонца в свой кабинет, сразу распечатал секретный пакет. «Наконец-то! Князь Дмитрий срочно призывал своего единомышленника в Москву, где решалась судьба их совместного замысла. Театральные дела Генрих Фик отложил на завтрашний день, не зная еще, что этого завтрашнего дня не будет, потому как поджидают его при Анне и Бироне не театральные развлечения, а острог и ссылка.

ГЛАВА 7

Кричал, рвался в морозное темное небо, озаряя заснеженные московские улицы и переулки, разбойный красный петух. Горели палаты графа Дугласа. На подворье ватажка Камчатки действовала быстро и споро. Двери людской избы завалили бревнами. Дворня молчала: звать, у людей графа Дугласа не было охоты спасать сво-

его господина. Перепуганного, одуревшего ото сна лакея в нижних сенях кулаком свалил Максимушка. Мажордома, со старинной алебардой бросившегося навстречу незваным гостям, уложил из самопала Хорек. Выстрел встревожил верхние барские покои. Камчатка с разбойничьим свистом бросился к скрипучей деревянной лестнице, ведущей наверх. «Хас на мас, дульяс погас!» — разнеся его озорной клич в верхней зале. В ответ грянули встречные выстрелы. «Погиб!» Михайло, а за ним Нос, Максимушка, Хорек и Соловушка, тесня друг друга, взбежали в верховые покои. Вокруг стола, стоявшего посреди залы, бегали, размахивая саблями, Камчатка и офицер-немец — дежурный адъютант графа Дугласа. Метались человеческие тени по стенам. Возле дверей, запиравших парадные залы, валялся убитый лакей. На крики вбежавших офицер обернулся, и тут его настигла сабля Камчатки. Кровь брызнула на кавалерийский колет. «Рябатушки, за мной!» Камчатка с силой рванул на себя закрытые двери. Двери распахнулись, и, размахивая саблей, Камчатка помчался по гулким залам.

Михайло, подхватив оброненный мажордомом подсвечник, метнулся на другую половину. Перебежал какой-то коридорчик и сразу наткнулся на запертую дверь. Максимушка, спешивший следом, приналег на разукрашенные тритонами и наядами золоченые створки. В дверце что-то хрустнуло, и Максимушка ввалился в закрытый покой. Обожгло встречным выстрелом, пуля царапнула плечо. Но сгоряча Максимушка не заметил, бросился к огромной дубовой кровати с балдахином. Послышались возня, сопение. Михайло высоко поднял подсвечник: к его ногам холодной лягушкой шлепнулся граф Дуглас, генерал-губернатор Эстляндии, кавалер многих шведских и российских орденов, большой любитель запускать фейерверки на мужичьих спинах. Михайло перевернул его ногой. Граф поднял голову и еще больше побледнел, затрясся. «Э, да вы старые знакомцы, погляжу?!» — не без насмешки пробасил Максимушка. Он с любопытством оглядывал комнату. «Мать честная, голая баба! С нею он, чай, и прохладился! А ну, подойди, молодка, не бойся! — Максимушка придвинулся к обнаженной девке и отплюнулся. — Тьфу, черт, да это парсуна!»

Михайло даже не рассмеялся на эту незадачу. Он смотрел на полураздетого человечка, лежащего у его ног, и искал и не находил в себе того бешеного чувства неутоленной мести, которое мучило его в остроге. Ведь это

он подбил Камчатку взять особняк Дугласа. Но сейчас, когда этот человек был в его власти, он не испытывал ничего, кроме презрения и даже жалости.

Максимушка посмотрел на товарища: «Кончай его, паря! Будя тянуты! — И затем, точно уловил в лице Михайлы что-то жалостливое, закричал яростно: — Кончай немчуру! Мало он нашей кровушки попил!» И прежде чем Михайло что-то сказал, ударил по голове графа саблей, как топором. Дуглас дернулся и затих.

Внезапно из-за спадающей на пол портьеры вылетела графская девка-полюбовница с распущенными волосами, с обнаженной шпагой в руке. «А-а-а!» Михайло выстрелил ей в лицо прежде, чем шпага вошла между лопаток Максимушки. «Бежим!» Он бросился к выходу, точно спасаясь от вида человеческой крови. Максимушка помедлил, наклонился к убитой, в изумлении покачал головой: горяча, ах горяча! Должно, цыганская кровь!

Жарко пылали графские палаты, в их отсветах во дворе мельтешили черные тени. Ватага уходила садами с мешками, набитыми графским добром. С улицы не без опаски подступали к горевшему особняку караульные солдаты. «Чего медлишь, Михайло!» — крикнул Камчатка, перебегая от дерева к дереву, отстреливаясь. Михайло не ответил. «Да что с ним?» — удивился Камчатка. «Не иначе как первую чужую кровь пролил!» — рассудительно заметил Максимушка.

— Сняв голову, по волосам не плачут! — сердито крикнул атаман. Максимушка меж тем сердито засопел, сгрел Михайлу могучими ручищами: «Будя, паря, будя! Дело ждет!»

Дело ждет! Точно в горячке Михайло бежал через зимний сад между Максимушкой и Камчаткой.

С подворья доносились отдаленные голоса. Тревожно вспыхивали красные светляки далеких теперь выстрелов погони.

* * *

В первое же воскресенье после разгрома Дугласовых палат дуванили * добычу.

В Китай-городе по случаю базарного дня народу — яблоку упасть негде! У шалашей с горячими закусками, квасных кадей, кружал, выносных очагов, питейных погребков, пирожных — не протолкнуться. По-весеннему

* Д у в а н и т ь — делить добычу после набега.

озорной ветерок весело полощет флаги над кабаками-фортинами. Лица у прохожих от легкого морозца радостные, веселые.

Вольные казаки, как именовал своих сотоварищей Камчатка, шумной ватагой остановились у табачной лавки. К дверям лавки прибита доска-вывеска. На ней нарисован красавец офицер с длинной курительной трубкой. Камчатка и Нос подтолкнули заупрямившегося было, некурящего дотоле Максимушку, под руки ввели в лавку. Максимушка впервые отведал ядовитого заморского зелья, поперхнулся, закашлялся сердито, выскочил из лавки. Посмеялись. Ватажки были веселы по случаю удачного набега. Соловушка выводил высокие рулады, Хорек — немыслимые ругательства. Даже Сизый Нос развеселился, корчил рожи, изображал турка, слона персидского шаха, которого недавно водили по Москве. «Ох, не к добру сей смех и веселье», — мелькнула мысль у Михайлы. Сказал Камчатке, но тот только рукой махнул: «Один раз живем, парень!» И весело зазвенел золотыми в припрятанном кошельке: «Сейчас увидишь, как гуляет атаман!» Добыча у графа была взята богатая: золотая и серебряная посуда, графские драгоценности из потайного ларца, дорогое ожерелье, сорванное с дугласовской любовницы. У скупщиков краденого глаза разгорелись, как увидели эти вещи.

«Дуваним, парень!» Камчатка ногой распахнул дверь кабака. За ним в кружало ввалилась вся ватага. Камчатку, казалось, здесь все знали, сразу полезли обниматься какие-то неведомые дружки и случайные знакомые. В кабаке было шумно, смрадно, крепко пахло чесноком и дешевой водкой. У стойки толпились, толкались, отхаркивались, пили водку и романею мелкие посадские людишки, извозчики, кабацкие ярыги, отпускные солдаты, гуляющие бабы. В дальней чистой комнате сидели заезжие нижегородские купчины. Солнце едва пробивалось через грязные подслеповатые полуподвальные окна, серебрило железные крылья двуглавого орла, прибитого к стене за стойкой. Под орлом, недвижимый и мрачный, восседал на бочке сам целовальник по кличке Хребет. Волосатые кулаки тяжело лежали на стойке. Михайло вздрогнул, столкнувшись с его вопросительным взглядом: что, мол, за людишки пожаловали? Но Камчатка, тот и глазом не повел, растолкал пьяных у стойки, хищно уставился на целовальника: «Что, дубовый хребтина, старинных знакомцев не признаешь?» «Как не признать,

на тебе ведь еще должок висит, друг ситный! Целых пять целковых, и я те целковые ох как помню!» — недовольно пробурчал целовальник. «А коль признал, так ставь нам бочонок лучшей водки гданьского разлива да освободи чистый угол!» И Камчатка небрежно, без счета, высыпал на стойку горсть золотых. Звонко застучали золотые кругляши о стойку, и сразу просветлело хмурое лицо целовальника — он засуетился, забегал, задвинул стол купцов-нижегородцев за печку, выкатил бочонок с отборной водкой. «Знай наших! Камчатка гуляет! — Атаман выбил запечатанную пробку у бочонка, разлил водку в чарки. — Э... брат, первая всегда комом! — дружески похлопал Камчатка по спине Михайлу. — Зато другая со-колом!» И точно, после второй чарки Михайле стало весело и отранно.

Тут-то они дуван дуванили,
Золотую казну делили мерою,
А цветное платье делили ношою... —

затянул Соловушка любимую песню атамана, и Михайло еще раз поразился красоте его голоса. «Тебе бы в театр надобно, Соловушка! Радовал бы людей своим талантом...» — сказал он Соловушке, но тот в ответ только кудрями тряхнул: «Как выпороли в шестнадцать лет меня по барскому приказу на конюшне, тут и начались мои театры. Барину петуха, а сам в леса! А ты баешь, театр! У меня вся жизнь, парень, — театр!» При мысли о театре неведомо отчего Михайле стало грустно, словно заскучал он о чем-то самом родном и близком, а теперь далеко и невозможном. И сразу же вспомнилась Дуныша. Навалилась тоска. И чтоб прогнать ту тоску, Михайло одним духом осушил еще чарку. «Вот так, — пошла мелкими пташечками!» — рассмеялся где-то рядом Камчатка. А затем все понеслось, завертелось перед глазами: и кабак, и пьяные сотоварищи, и целовальник. Михайло попытался подняться и рухнул. Соловушка и Нос отливали его водой.

Пришел в себя он внезапно, будто вынырнул из темного омута. Озорно скалил над ним белые зубы Камчатка: «Первая кровь, должно, тебе в голову ударила. Выпей-ка романей, она мягчит!» Михайло выпил, и в самом деле стало тепло, уютно и все вокруг стали милыми, хорошими, даже мрачный целовальник за стойкой глядел родным дядей. Подбежали гулящие бабы. Одна из них уселась на колени Камчатке, другая — толстая, полно-

грудая — облачила Максимушку. Камчатка щедрой рукой швырнул на стол потаенный кошель: «Гуляй стрелецкий сын, буйная твоя головушка, всех угощаю!» Целовальник вздохнул жадно, выскочил из-за стойки, сгреб деньги. И снова на столе, как из-под земли, выросли штофы с водкой, бутылки с фряжским вином, позолоченные орехи и сладости для девок. Для прочей почтенной публики кабацкие молодцы выкатили две бочки водки. Весть о щедром угощении скоро разнеслась по десяткам питейных погребов Китай-городка. Через минуту в фортиве не пробиться было от кабацкой голи. А Камчатка все бросал и бросал на стол золотые: «Знай наших, гуляет стрелецкий сын! Моему батюшке голову не какой-нибудь палач, а сам великий государь Петр Алексеевич на Лобном месте срубил!» — хвастался захмелевший Камчатка облапившей его девке. Черные зубы девки цокалились с ослепительно белыми зубами Камчатки. Атаман вдруг оттолкнул девку, приказал властно: песню, други!

— Вы леса мои, леса, братцы-лесочки, леса темные... — высоким чистым голосом повел песню Соловушка. — Вы кусты ли мои, братцы-кусточки, кусты частые! — дружно подхватила ватага любимую песню атамана. — Как и все-та мои братцы-лесочки все порублены, Как и все-та мои братцы-кусточки все повыжжены, Как и все-та мои братцы-товарищи все половеены... — уронил на грудь свою буйную головушку Камчатка, стрелецкий сын. Но Соловушка высоко и красиво продолжал песню:

Как один из нас, братцы, товарищей

не пойманный,

Не пойман из нас, братцы,

товарищ наш,

Стенька Разин сын —

выпрямился Камчатка и подхватил:

Выходил же тут Стенька Разин на Дон-реку,

Закричал же тут Стенька Разин сын громким голосом!

Сидевшие за печкой нижегородские купцы не пожела-ли узнать, чем кончится песня. Потянулись к выходу. Купцов провожали обидным смехом, острыми взглядами. На последнем купчине у шубы были верхи бархатные, кораблики бобровые. Голь кабацкая взяла его в круг, стала толкать друг на дружку, стаскивать богатую шубу. У купца весь хмель разом вышел. Закричал, стал стбиваться. Выскочил из-за стойки целовальник, бросил-

ся спасти купца, заработал кулаками, как молотом. Купец с трудом сумел унести и шубу и голову.

Гульба продолжалась.

Кабакские ярыги обступили Камчатку, льстиво просят: «Атаман, ты все можешь! Выставь еще бочонок белой!» Камчатка поднял руку, крикнул пьяно: «Братцы, я сегодня все могу!» И бросил на стол последний кошель. По знаку целовальника почтенной публике выкатили еще два бочонка.

К Носу меж тем прицепился старичок: то ли юродивый, то ли ярыжка — весь трясется, спрашивает: «Откуда взялись, соколики?» Нос осторожно прищурился — кто знает, что за птица-человек? На первый вопрос презрительно промолчал. Но старичок не унимался, целовал в плечико, шептал: «Слышали, намедни Дугласовы палаты разбойнички сожгли? Да уж не вы ли там были?» — «Может, мы, а может, и твои сыны!» — недовольно ответил Нос. «А много ли взяли?» В эту минуту Хорек подошел к старичку сзади, прошептал доверительно на ухо: «Взяли мы, дед, денег без счета, посуды без весу и все отослали к лесу!» Ярыжка вздрогнул от неожиданного шепота, обернулся:

— Да это же Ванька Каин! — отшатнулся от старичка Хорек. — Я его, братцы, в лицо знаю! — И здесь в кабаке все завертелось и понеслось.

Имя ненавистного доносчика было ведомо всем. Но в лицо его знали немногие из уцелевших ватаг, схваченных по доносам Ваньки Каина. К ярыге бросились, но он с неожиданным для своих лет проворством юркнул под ноги, ужом проскользнул к выходу, и уже в дверях прокричал: «Караул! Убивают!»

— Бежим, малец, тут сейчас все кровью умоются! — Кто-то крепко взял Михайлу под руку. Обернулся — Максимушка. И трезвый, точно и не пил, табак не нюхал. — Слово я дал деду в остроге оберегать тебя, малый, и слово я то сдержу! — Максимушка подтолкнул Михайлу к выходу.

В дверях лицом к лицу столкнулись с целовальником. За тушей кабатчика мелькали уже треуголки преображенцев. Максимушка перехватил руку целовальника, ударил кулаком, как гирей. Бросился вперед. На улице солдаты повисли на нем, словно собаки на медведе. «Беги, Михайло! Беги!» — услышал Михайло голос товарища. К Михайле, однако, уже бросился усатый чернявый сержантик с ружьем наперевес. Совсем близко увидел

он блеснувшую сталь штыка и забыв, что вооружен пистолетами, бросился бежать с резвостью перепуганного зайца, перемахивая через высокие заборы, отбиваясь на ходу от огромных меделянских кобелей, петляя по садам и подворьям. Позади прозвучал выстрел, другой. Раз даже показалось, что пуля опарала щеку, но то полоснула ветка березы. Выстрелов более не было, погоня отстала, но Михайло продолжал бежать, спасаясь уже от своего страха, пока не налетел на балаганную палатку на Москве-реке. Над палаткою красовалась вывеска: «Комедиант, персиянин Иван Лазарев».

В кабаке тем временем солдаты вслед за Максимушкой связали и Соловушку, и Хорька, и Юса, и всех остальных сотоварищей Камчатки. Только атаман спрыгнул в погреб, отбиваясь отчаянно, пока не пристрелил буйного стрелецкого сына меткий солдат-преображенец.

ГЛАВА 8

Верховный тайный совет не расходился уже несколько часов. За окнами старого Кремлевского дворца в быстро надвигающихся зимних сумерках смутно виднелись заснеженные крыши Замоскворечья. Секретарь Степанов по знаку Голицына распахнул фортку — ворвался свежий морозный воздух, а с ним и заунывная переключка караульщиков. «Славен город Киев! Славен Великий Новгород! Славен город Суздаль! Славен город Москва!» С этой переключкой точно сама тысячелетняя история России заглянула в маленькое зальце, где за круглым столом сидели верховные персоны. «Осьмичленные затейщики» — так их величает ныне Феофан Прокопович, усмехнулся князь Дмитрий. Преосвященный отлично ведет, что затейщик в Совете он один. Разве что Василий Лукич в помощниках ходит. Долгорукий только что прискакал из Всесвятского, где в Путевом дворце остановилась Анна. Новости, которые он привез, были тревожные: при встрече с почетным караулом преображенцев и кавалергардов, присланным во Всесвятское для встречи императрицы, Анна самовластно, нарушая кондиции, провозгласила себя полковницей Преображенского полка и капитаном кавалергардов.

— Не иначе как салтыковская родня ее надоумила... Во Всесвятское все слетелись: и Екатерина Ивановна, и Прасковья Ивановна.

...— вслух размышлял Василий Владимирович Долго-

рукий. Для фельдмаршала Долгорукого события виделись на старомосковский обычай: не борьбой политических мнений, а борьбой фамилий.

— Не вижу, что плохого в том, что императрица Анна следует примеру своего великого дяди и берет чин полковника своего первого полка! — внезапно нарушил свое многодневное молчание Андрей Иванович Остерман.

Все так и замерли: то, что немец вдруг заговорил и как заговорил... было для верховных явным знаком грядущих перемен.

Один Дмитрий Михайлович встал, обошел вокруг стола и, нагнувшись к Остерману, сказал твердо:

— А то плохо, Андрей Иванович, что императрица в сем случае нарушила данное нам слово блюсти впредь кондиции нерушимо. Присвоение ею звания полковника преображенцев — прямое нарушение четвертого пункта кондиций. И вам то, господин Остерман, отлично ведомо.

В Совете словно тихий ангел пролетел, все смолкли. Не из-за того даже, что князь Дмитрий приструнил Остермана. Хитрого немчика и Голицыны и Долгорукие одинаково недолюбливали.

Притихли все из-за того, что случай сей прямо показал, на кого они замахнулись своими кондициями — на самодержавную власть замахнулись! И что напрасно верховные, после того как Анна в Митаве подписала кондиции, изображали эти пункты как некое благодеяние и умысел самой императрицы. Нет, то был их умысел, и им надлежало отвечать за него в случае восстановления самодержавства. Они в ту минуту как бы заглянули в глубокий темный колодец, и некоторые сразу же отшатнулись.

«А может, вернуть все на круги своя и самим возвратить императрице самодержавную власть? А самодержица за такое благодеяние нас и простит...» — такая мысляшка нет-нет да и мелькала в те дни у иных верховных: фельдмаршала Долгорукого, привыкшего к воинскому единоначалию, и у старозаветного Алексея Григорьевича. И только князь Дмитрий и Василий Лукич твердо стояли на своем.

Дмитрий Михайлович боролся как человек идеи. И поскольку защищал он не свой личный интерес, а интерес государственной идеи, он был не только выше корыстных частных интересов, но и выше личного страха.

Василий Лукич боролся до конца, потому что лучше всех верховных знал Анну, ее злопамятство и жесто-

кость и за время, проведенное с нею в Митаве, отлично разобрался, что ежели снять с императрицы узду ограничений, всех их ждет в лучшем случае жестокая царская опала, в худшем — плаха на эшафоте!

И поскольку эти два верховника вели за собой свои фамилии, Верховный тайный совет от кондиций не отказался, хотя разговоры в пользу прямого восстановления самодержавия заводили и фельдмаршал Долгорукий и Алексей Григорьевич. Если эти вельможи так и не провозгласили Анну самодержицей, то объяснялось это просто тем, что при прежнем монархе они принадлежали к фамилии временщика, а как новая царская власть может расправиться с бывшим временщиком и его родней, Долгорукие хорошо ведали на примере Меншикова, которого сами низвергли. Но, не отказавшись от кондиций, они в то же время боялись сделать следующий шаг и всенародно объявить новые способы государственного устройства, выдвинутые князем Дмитрием.

Спорили по каждому пункту, цепляясь за каждую букву, и постепенно замысел Голицына все более урезался.

— Ежели ты, Дмитрий Михайлович, посадских людишек хочешь в особую палату посадить, то отчего бы оных и в Верховный тайный совет не допустить? — Красный как рак от многочасовых прений, Алексей Григорьевич с шумом вскочил и захлопнул форточку. Князь Дмитрий побледнел. Боле, чем глупость Алешки Долгорукого, бесило несогласное молчание других членов Совета. Неужто им то непонятно, что палата ремесел и коммерции известный противовес дворянской палате? Однако все эти тонкие соображения до большинства верховных просто не доходили. Они и рядовое-то шляхетство ни во что не ставили, а здесь еще палата для посадского люда? Выдумки! Пустые мечтания!

— Оно можно и третью палату допустить, для лиц духовного звания... — с важностью высказался, к примеру, фельдмаршал Долгорукий. — А еще лучше торговых мужиков и посадских людишек в палату совсем не пускать, а посадить вместо них духовных особ.

И здесь то ли от бессонных ночей, то ли от тягостного предчувствия, что рушится весь великий замысел, князь Дмитрий сорвался и закричал запальчиво:

— Да наше духовенство — батальон в рясах! Оно давно всякую честь потеряло, короновав на троне солдатскую девку. Иль Катьку-солдатку забыли, господин

фельдмаршал? Да слышали бы вы, как преосвященный Прокопович всех нас поносит, вы бы для него особую палату не придумывали!

Кричать, конечно, было без надобности. Фельдмаршал, старый петух, само собой, обиделся, а за него вступилась и вся фамилия. Пункт о нижней палате Долгорукими, к которым присоединились Головкин и Остерман, был похоронен. И еще хуже — Верховный тайный совет решил повременить с публикацией «Способов государственного правления». Напрасно Дмитрий Михайлович убеждал всех разом и каждого в отдельности, что только объявив открыто свой замысел, они положат конец всем враждебным слухам о коварстве их планов. Большинство Совета стояло на своем — без подписи императрицы «Способы правления» не объявлять. Даже Василий Лукич и брат Михаил примкнули к большинству — столь привыкли, что законы шли в России только за царской подписью.

Князь Дмитрий в те минуты, когда терял власть над Советом, чувствовал то же, что чувствует смелый и опытный пловец, неожиданно увлеченный сильным подводным течением к острым скалам. Он видит, что разобьется, и яростно сопротивляется, плывет против течения и гибнет. Меж тем пловец неопытный вверяется течению, и течение шадит его и выбрасывает не на скалы, а на прибрежный песок. Вот на такой песок и мечтало попасть большинство верховных, сияющихся теперь представить даже кондиции неожиданным благодеянием самой императрицы. Ну а коль она сама даровала их, то сама вправе и нарушать!

И напрасно Дмитрий Михайлович снова спорил до хрипоты, доказывая, что дай Анне откусить палец — откусит и руку. Верховный тайный совет так и не решился взять у императрицы обратно присвоенные ею во Всесвятском воинские чины.

Единственное, что удержал князь Дмитрий, была новая присяга подданных. Все самодержавные титулы из присяги были выкинуты. Присягали впредь не самодержавице, присягали государыне и отечеству.

Верховные уже собирались разойтись, когда Василий Лукич сделал заговорщичье лицо и сказал, что генерал Леонтьев, который остался пока во Всесвятском, предлагает верный способ борьбы — немедленно арестовать супротивников.

— Вместо борьбы мнений — снова аресты и гоне-

ния, — нахмурился князь Дмитрий. — Разве не для того мы закрыли Тайную канцелярию и распустили Преображенский приказ, чтобы люди могли впредь свободно выражать свои мысли?

— Французы говорят: «На войне как на войне», Дмитрий Михайлович! — Василий Лукич дипломатично улыбнулся. — А генерал Леонтьев знает, что предлагает. Ему точно ведомо, что Барятинский со своими дружками готовы напасть на нас вооруженной рукой!

— Барятинский мой старый сослуживец! Отличился еще при Гренгаме. Да я за него головой ручаюсь! — вскипел Михайло Голицын.

Дмитрий Михайлович неожиданно улыбнулся. «В этой прямоте весь он, младший Голицын, — подумалось ему. — А князь-то Василий, наверное, прав. Не дозрели мы еще на Руси до свободы мнений, коль не можем без подписи Анны свой же прожект опубликовать». И, подойдя к брату, Дмитрий Михайлович взял его по давнишней привычке за пуговицу на камзоле, повертел и затем спросил:

— А не дождемся ли мы, Миша, как этот твой отличный офицер всех нас как кроликов переловит? Помню, кричали уже в гвардейских казармах в 1725 году, когда Катьку на престол сажали: дай срок, взойдет на престол матушка-императрица, разобьем головы старым боярам.

— Ну, это пустое, — самоуверенно ответил князь Михайло. — Пока я да Василий Владимирович фельдмаршалы, ни один волос с господ верховных не упадет. Ручаюсь.

— Ручаюсь, ручаюсь! — сердито выговаривал после Совета князь Дмитрий брату. Возвращались домой. — Ты как человек военный и представить себе не можешь, что могут делать войска, когда выходят из повиновения своим прямым начальникам. А я в 1725 году видел, как эти янычары, — он указал на греющихся возле костра караульных гвардейцев-преображенцев, — Аникиту Ивановича Репнина, тогдашнего президента военной коллегии, с лестницы взашей спустили!

— Ну, сейчас не 1725 год, а 1730-й. Да и не в Петербурге мы, а в Москве, — рассмеялся фельдмаршал. «Вечно ворчит старшой, не может уговориться. Как будто в мире нет более приятных вещей, нежели эта несносная политика». И князь Михайло весело подкрутил ус, радостно представляя, что его ждет не холодная казенная

квартира, а свой дом, хорошо сервированный стол, а за столом не унылый денщик, а хозяйюшка, Танюша-Танечка. И зачем заглядывать в смутное будущее? Князь Михайло так часто глядел в глаза смерти, что привык жить только сегодняшнем днем.

А Дмитрий Михайлович сидел рядом с братом и снова чувствовал себя пловцом, которого сильное подводное течение несет на скалы. Сегодня опять ни на что не решились — ни открыто объявить свои планы, ни дать генералу Леонтьеву списки самых ярых противников Совета. А ведь слухи о тех списках все равно поползут, вспомнилась ему вдруг змеиная улыбочка Остермана. И, обернувшись к брату, князь Дмитрий проворчал:

— За Остерманом, Миша, потребен глаз да глаз! Не то, чаю, ждет нас не родимый дом, дальний Березов!

Князь Михайло вздрогнул. В самом деле, только он вернулся в Москву, зажил по-людски, своим домом, как затянули его в хоровод вокруг кондиций, из которых неизвестно еще что выйдет: иль их воля, иль ссылка в Березов? Как человек военный Михайло Михайлович боялся непрочной власти, а власть у верховных сейчас шаталась, ох как шаталась! И князь Михайло видел, что старший брат чувствует эту шаткость, но упрямо ведет ладью на острые пороги. И фельдмаршалу, что греха таить, иногда хотелось выпрыгнуть из непрочной ладьи на твердый берег. Ранее в делах политических он всегда выполнял наказания старшего брата, как выполнял в армии приказы своего прямого начальника. Но сейчас, когда брат задумал нечто дерзновенное и неслыханное, фельдмаршал растерялся. Он не терялся под картечью неприятеля, но там сходились друг против друга в открытом бою. А здесь все перепуталось, и вчерашний друг оборачивался злобным врагом. А вдруг старший брат избрал роковой и неверный путь? Вдруг он падет, как падали до него Толстой, Меншиков? А с ним падет вся фамилия? Князь Михайло вздрогнул. Голицынский род был ему дорог не менее, чем брату. И Михайло Голицын впервые подумал, что их пути с братом Дмитрием в сей московской круговерти могут и разойтись.

* * *

14 февраля Верховный тайный совет представлялся Анне во Всесвятском. В малой зале Путевого дворца тянуло угарцем — во дворце давно никто не останавливался, и печи были сырые.

В покоях императрицы толпились курляндские бароны и фрейлины, слышалась крепкая немецкая речь. Барон Корф, принимавший верховных как обер-гофмаршал двора, с трудом прокладывал им путь в этой толпе. «Опять явное нарушение кондиций — притащила из Митавы с собой весь курляндский двор!» — нарастал гнев в сердце Дмитрия Михайловича. И первой мыслью при виде Анны было: а не ошибся ли, пригласив на трон именно эту, среднюю из трех сестер? Не проще ли было взять младшую Прасковью, известную на всю Москву слабоумную дурочку?

Но вот, поди же, выбрал Анну. У князя Дмитрия, по правде сказать, было о ней смутное представление, как о вечной просительнице, которая и в Петербурге, и в Москве всегда торчала в приемной, и он наперед знал, что кланчить она будет денег, денег и денег. В самой ее фигуре было тогда что-то жалкое, искательное. А теперь эвон каким гренадером стоит — на голову выше всех верховных. Власть точно распрямила Анну, и взгляд у нее не просительный, а грозный. «Грозного взору!» — отметили про себя с тревогой и другие верховные, пока Василий Лукич представлял их императрице.

После аудиенции верховные не разошлись по зале, а дружно столпились перед троном, окружили Анну и сразу оттерли ее от немцев. Князь Дмитрий важно выступил вперед и начал приносить Анне общее поздравление Верховного тайного совета с прибытием в первопрестольную.

Курляндские бароны и фрейлины, забившие приемную залцу, напряженно слушали речь этого большого русского вельможи. Мнения о Дмитрии Михайловиче при дворе Анны были самые противоречивые. Немцам было известно, что именно старший Голицын предложил отдать корону Анне, но ведомо было и то, что злополучные кондиции — тоже его затея.

И сама Анна, и ее ближайшие советники: барон Корф и банкир Липман — в глубине души надеялись, что при встрече с законной императрицей Верховный тайный совет заберет кондиции назад и восстановит самодержавную власть императрицы во всем ее блеске.

Эта надежда, что кондиции отменят сами же верховники, во Всесвятском, куда сразу нахлынула с приветствиями толпа вельмож, генералов, явилась с поздравлениями, почитай, вся салтыковская родня, превратилась почти в уверенность. Анне было известно теперь общее недовольство, вызванное затеей Верховного тайного сове-

та в дворянской Москве. У верховных ныне, представлялось ей и ее советникам, дабы сберечь свои головы, был один путь — самим разорвать кондиции.

Посему лестные поздравления Дмитрия Михайловича звучали в ушах Анны как сладкая музыка. Она благожелательно смотрела на князя Дмитрия, спокойно ожидая, когда этот важный вельможа, которому она в общем-то была наособицу благодарна за то, что он выбрал на царский трон именно ее, Анну, — предложит возвернуть исконную самодержавную власть. Неужто сей опытный министр не представляет себе, сколь велики будут к нему царские щедроты и милости, когда Анна получит из его рук не только корону, но и все исконные права российской государыни?

Но что это? Анна не верила своим ушам. Князь Дмитрий от поздравлений перешел к кондициям, которые «нашим именем предложили тебе наши депутаты». Этот наглец и не думал отменить свои пункты, а напротив, открыто требовал, чтобы Анна гласно подтвердила данную ею в Митаве подпись под кондициями. Императрица растерянно искала глазами своих советников, но барон Корф только беспомощно развел руками, а банкир Липман, тот даже в аудиенц-залу не был допущен. И здесь Анна окончательно растерялась: в руках у нее была бумажка, составленная Корфом, в которой она заранее благодарила верховников за их верность самодержавному трону, а теперь пришлось говорить совсем иное и говорить самой, без бумажки. И путаясь, как ученица, косноязычно и нескладно Анна выдавила из себя признательность Верховному тайному совету за данную ей корону и подтвердила свою верность кондициям.

Курляндский двор возмущенно зашумел: выходило, что императрица получала власть не от бога, а от Верховного тайного совета. Но генерал Леонтьев глянул волком, и бароны и фрейлины притихли — за окном-то заснеженная Россия, а не милая их сердцу благонравная Курляндия, да и в переходах дворца стояли военные караулы, подчиненные русским фельдмаршалам. Приходилось пока смириться.

ГЛАВА 9

Над городом повисли, цепляясь за кресты церквей и верхушки деревьев, красные ветреные облака. Ярko сияли пестрые шатры колоколен. Бурлила, переливалась,

мчалась в синюю ослепительную даль московская улица. Веселыми стайками мельтешили мальчишки, разноголо-со кричали уличные торговцы, лоснились красные лица квасников, мясников, сбитенщиков; елейно-благообразные скопцы-процентщики шурились от солнца. Даже глаза юродивых и нищих казались Наталье счастливыми, наверное, оттого, что во всех этих глазах она видела одно общее радостное и нетерпеливое ожидание. Все они там, за окном, поджидали свою повелительницу.

Наталья ухватила за оконную раму, припала разгоряченным лбом к холодному, слегка заиндевавшему стеклу. Перед глазами поплыл недавний, такой непохожий на нынешний день. Улица была пустой, вымершей, черно-белой. Однообразно и приглушенно били обтянутые черным сукном барабаны, резко, пронзительно, предсмертно плакала флейта. Одиноко раскачивалось траурное знамя. Мало кто пришел на похороны покойного императора. Да и то правда — после смерти прошел почти месяц, ожидался уже въезд новой императрицы. Но он-то пошел. Ее Иванушка. Его не видели среди тех, кто умчался во Всесвятское, навстречу Анне, навстречу новым милостям и щедротам.

Весь в черном, с обнаженной шпагой Иван Долгорукый шел за гробом Петра II. Мерно, монотонно били черные барабаны, издавая какой-то глухой и печальный звук. И ей вдруг послышалось, как стучаются о крышку гроба мерзлые комья. И она будто бы заглянула в последний раз в гроб и отшатнулась: там лежал Иванушка. «А-а-а!» — «Наталья, что с тобой?! Опомнись!» Она открыла глаза: за окном солнечный погожий день, рядом братец Петруша — в золоченом кафтане, ярком богатом плаще — собирается туда же, встречать императрицу. Братец что-то твердил о ее долге быть там со всеми, дабы удержать монаршьи милости славному роду Шереметевых.

— Да ты, я вижу, совсем обеспамятовала. Забыла даже распорядиться елку перед домом поставить! Елку! Ах, черти, да где же вы! Елку, скорее елку! — Путаюсь в плаще, братец полетел на подворье — распорядиться поставить елку в знак великой всеобщей радости. Наталья неожиданно для себя рассмеялась, видя такую смешную позу брата. В семнадцать лет смех — лучшее лекарство от горести. Наталья снова стала с любопытством смотреть в окно. Улица посыпана чистым песком, у каждого дома праздничная елка, та самая, о которой беспо-

коился братец. Идет смешной пьяный красавец мужик. Увидел барышню в окошке, снял шапку. Бьет челом, а глаза лукавые, хитрые — поправилась, должно, барышня. Задрал голову, поглаживает черную цыганскую бороду, хохочет. Наталья сделала строгое лицо, а самой смешно. И потому, что смешно, вспомнила вдруг недавнее радостное время, когда Иванушка устраивал для нее то бал, то охоту, то *parti de plaisir* за городом, с иллюминацией, бенгальскими огнями. Ах, сладкие, сладкие минуты. Нынче кажется, что и не с ней они были, а с совсем другой девушкой.

На улице тем временем еще более засуетились, загалдели, бросились к двойному фронту солдат, ограждавшему проезд. Ударили пушки у Воскресенских ворот. Промчался кавалерийский эскорт. Бежали какие-то арапы, скороходы. Наконец вылетела огромная карета с императорской короной. Впереди кареты князь Шаховской. Наталья узнала его: «Этот-то что здесь делает?» Всем было ведомо, что Шаховской, как шут, за целковый разрешал во дворце бить себя по лицу. Хмурый, не улыбочивый Михайло Голицын лениво трусил сбоку кареты.

И вдруг сердце Натальи безотчетно вздрогнуло: ее взгляд встретился с внимательным, зорким и злобным взором толстой, нарумяненной женщины, восседавшей в карете. Да, такой взгляд она видела однажды у мясника, когда тот на поварне рвал головы молодым петушкам.

Карета промчалась, но Анна неожиданно оглянулась в заднее окошко, точно вспоминая, где она видела это чистое девичье лицо. Встретились два взгляда. Гремели уже салюты на Красной площади и в Кремле, где были построены гвардейские полки, учинившие радостный трехкратный огонь, а Наталья все еще смотрела вдоль опустевшей улицы и шептала: «Престрашного взору, престрашного взору».

Ночью ей приснилось рыхлое лицо императрицы, Наталья кричала, задыхалась, звала Иванушку. Но никто не шел, и безучастно стучали деревянным молоточком старинные нюрнбергские часы, вывезенные еще батюшкой Борисом Петровичем Шереметевым из заморских краев.

* * *

Меркурий, как известно, исполнял на греческом Олимпе роль вестника. В те беспокойные январские дни 1730 года барон Серж Строганов был московским Мерку-

рием. Как всегда во время политических шатаний, находится множество людей, единственным интересом которых являются не цели партий и движений, а слухи об этих целях и движениях. И чем нелепее и чудовищнее был слух, с тем большим удовольствием он подхватывался Меркурием и, стократ преувеличенный, расходился, обрастал мифическими подробностями. Сержу Строганову тогдашняя политическая разногласица представлялась новой увлекательной игрой.

В сумерки с подворья Строгановых вылетела карета. Барон в черном бархатном венецианском костюме, в итальянской театральной маске, кутаясь в длинный, подбитый мехом черный же плащ, посматривал в разноцветное окошечко. За окошечком мелькали бесконечные московские заборы. Тревожно ухал филин, залетевший на заиндевевшую одинокую колокольню. Барон Серж представлялся себе ужасным заговорщиком. Его с одинаковым радушием принимали и у Черкасского, и в доме Барятинского, у Елизаветы Петровны и Феофана Прокоповича, он был желанным гостем и в домах верховных вельмож.

Все знали, что барон Строганов добрый малый, богат и умеет жить, и потому как барон всю жизнь ломал комедию, то никто особо не удивлялся, когда он превратил себя в ужасного заговорщика.

Вбежав в тот вечер к Прокоповичу, барон поразил всех собравшихся. Он был бледен как полотно.

— Вы слышали новость, господа? — барон оглянулся вокруг и, видя перед собой токмо хозяина, Татищева и Кантемира, вздохнул спокойней.

— Да, успокойтесь, вы откуда, барон? — Феофан Прокопович, большой, массивный, двинулся навстречу новому гостю и благословил его. В самой фигуре преосвященного было нечто успокоительное. Восковые свечи освещали веселую гостиную, увешанную картинами, и уставленный закусками столик.

— Я только что от Алексея Григорьевича, — заторопился барон.

— Долгорукого?

— Его, его...

— Для барона нет противоположных партий, для него есть токмо новости! — рассмеялся Василий Никитыч.

— Вот счастливец! — подхватил Антиох, предвидевший веселый розыгрыш.

И у Василия Никитыча Татищева, и у Антиоха Кантемира настроение духа было самое благоприятное, как

всегда, когда они сходились у главы ученой дружины. Сегодня Антиох читал свой перевод книги преславного Фонтенеля «О множественности миров». Вся тревога последних недель, казалось, отступила перед учеными занятиями. И вдруг вторжение известного всей Москве сплетника — как тут не поразмяться, не позабавиться.

Но новость, привезенная бароном, отбила всякую охоту к ученым забавам. В Москве, шепотом объявил барон, начались аресты. И сразу стало слышным гудение пронзительного колючего ветра за окном. Потому что все давно ждали этой новости, поверили и невероятному числу арестованных: сотни человек.

— Алексей Григорьевич Долгорукий объявил мне, что он не давал своего согласия, но вы же знаете старого Голицына — он метит в новые Вильгельмы Оранские. Приказ об арестах князь Дмитрий дал самолично. Я не удивлюсь, — последние слова барон произнес шепотом, — если и за мной уже явились. Ведь старый Голицын знает, наверное, что я главный ему в Москве неприятель. Не посоветуете ли, господа, в какое посольство мне скрыться?

— Только не в испанское. Герцог де Лириа друг Ивана Долгорукого, — напомнил Василий Никитыч и поймал себя на мысли, что это известие об арестах настолько всех уравнило, что он мог серьезно допустить, что старый Голицын арестует и этого шута горохового, барона Сержа, с его купеческой генеалогией от татарского князя Луки Строганова, что в 517 году от рождения Христова помре. Генеалогия эта, приобретенная бароном за большие деньги, была предметом постоянных шуток московских насмешников.

— Я всегда говорил, что верховные тщатся ввести не правление аристократии, а правление олигархии. Осьмеричные тираны! Нет, избави нас бог от свободы, купленной явным порабощением! — Огромная тень преосвященного заметалась по гостиной. Под тяжелыми мужицкими шагами Прокоповича закрипели половицы крашеного пола. Никогда еще ни барон Строганов, ни Антиох и Татищев не видели главу ученой дружины в таком гневе. — Нет, во сто крат раз лучше самодержавие! Царь, по крайней мере, законный домовладыка, а верховные присвоили себе царскую власть.

— Но конституция?! — заикнулся было Василий Никитыч.

— Что это за конституция, которая дает власть вось-

ми человекам и отстраняет тысячи дворянских фамилий, — вспыхнул Кантемир, — это не конституция, а явная насмешка. Ни к чему нам такая конституция. Правильно заметил преосвященный — нам не нужна их свобода, купленная нашей несвободой.

«Ну и дела! — крутил головою барон, усаживаясь в карету. — Самые просвещенные люди стоят за самодержавие, а самые знатные отстаивают конституцию. Нет, токмо в матушке России может все идти шиворот-навыворот. Поеду-ка я лучше в Покровское, к Елизавете Петровне. Там я найду надежное покровительство. Шутка ли, дочь Петра Великого. Ее-то не тронут ни верховные, ни их противники, иначе гвардия и тем и другим свернет головы». Барон Строганов недаром учился в Париже и дошел даже до философии. Он полагал, что за всеми переменами истории стоит женщина.

После отъезда барона Антиох Кантемир, как самый молодой и горячий, предложил внезапно напасть на верховных — он ручался за офицеров и солдат своей гвардейской роты. Да и Барятинский с товарищами их в том поддержит.

Но Феофан Прокопович снова отверг этот план, указав, что неведомо, как поведут себя другие роты, когда в казармы явится такой любимец гвардии, как Михайло Голицын.

— Нам потребно лицо, которому солдаты привыкли подчиняться уже по его званию. У нас нет своих фельдмаршалов, но у нас есть императрица. Надобно войти с ней в сношения и токмо тогда действовать.

— А пока ждать, чтобы нас арестовали? Слышали, сотни человек забрали? — Антиох горячился.

— В двадцать два года и я бы поверил барону Строганову на слово, — усмехнулся преосвященный. — Сейчас же одно скажу: не верь, друже, барону-попугаю, что поет со слов Алешки Долгорукого да почитает при том себя за известного заговорщика. Долгорукий пускает такой слух для страха. А страх — плохая политика. Им надо бы под корень рубить, а не пугать, да на то у них сил не хватит.

— А ежели хватит? — Татищев вспомнил сухой и твердый голос князя Дмитрия: «Для вашей же пользы скорей дайте согласие!» — и холодок пробежал по спине. — Такой, как Голицын, не станет медлить, не пощадит никого ради своего великого замысла,

И как бы в ответ на его мысли прозвучал ответ Прокоповича:

— Будь они все похожи на князя Дмитрия, я не стал бы ручаться. Но князь Дмитрий один. А мы в бездействии дожидаться не будем. Ты, Василий Никитыч, съезди к Барятинскому, а ты — ну, тебя-то, Антиох, всегда можно застать у Вареньки Черкасской. Когда придет пора, мы соединим против верховников обе партии. Я же полагаюсь на свое слово, — Феофан указал на разбросанные листки памфлета, направленного против верховных. — И ныне же в Успенском соборе обличу этих затейщиков Эзоповой речью. — Провожая друзей, он полуобнял их своими медвежьими лапами и пропел дьяконовским речитативом: «Тоди станется страшенна козацька сила, когда у вас, панове-молодцы, будет воля и душа едины».

ГЛАВА 10

А через день после въезда императрицы под завывание самодельных рожков, грохот тамбуринов и пронзительный свист глиняных мальчишеских свистулков в Москву вкатилась масленица. Московские купцы не пожалели денег на развлечения и молодецкие забавы. Шествие масленицы было на редкость пышное и удивительное. Не только простой народ и купечество, но и многие знатные дамы и господа, иноземные послы и гвардейские офицеры выехали смотреть праздничное шествие.

Наталья Шереметева сидела в санках вместе со своим женихом. Князь Иван был тих, невесел.

Наталью, напротив, все отвлекало от грустных мыслей: и пестрая толпа, катящая по Покровке, и ясный день с высоким, по-весеннему голубым небом, и веселое шествие масленицы.

Впереди выступали рослые мужики-сковородники, молодницы с ухватами, старуха с помелом, поднятым на длинный шест. Шли полки оладейные, яишные, шел пряжечный корпус, шел полк хворостовский, полк блиновский и твороговский, шел гарнизонный соляношный пьяный трехбатальонный полк. Холмогорские коровы влекли за собой широкие обшивни — в них на пивной бочке сидел толстый мужик, смешно надувался, представлял бога Бахуса.

Наталья жмурилась от солнечных весенних лучей. Иван слушал ее беспечный смех, а сам подмечал: Кантемир проскакал не поклонился. Левенвольде отвернулся

спесиво. Мамонов, друг сердечный, посмотрел невидящим взглядом. Только капитан Альбрехт отвесил соболезнующий поклон.

— Смотри, смотри, масленица! — Наталья до боли стиснула его руку.

Масленица была дородной бабищей на белом коне, в дорогом кафтане, в камзоле рыжего бархата, с намалеванными пробкой усиками.

— Да это же вылитая курляндка! — рассмеялась Наталья.

— Ты что, с ума сошла?! — не сказал — прошипел Иван.

— Сам говорил — ныне воля, кондиции. — Радостный смех все еще дрожал в ее серых глазах.

— Только такие девчонки, как ты, и верят кондициям!

Но Наталья не слушала, опять с любопытством вертела хорошенькой головкой.

У Красных ворот столпотворение! От земли на церковную колокольню протянут канат аж до большого колокола. «Персиане, персиане!» — раздалось в толпе. На помост балагана вышли двое: важный толстый комедиант в персидском платье Иван Лазарев и Михайло.

Персианин Лазарев вообще-то занимался гаданием, звездочетством, представление же на канате предложил Михайло.

«Канатный плясун! Вот это номер на масленицу!» Иван Лазарев пришел в явное восхищение.

И вот бьют литавры, пронзительно режут трубы, пугая ворон и галок с деревьев, и по черному канату скользит воздушный акробат в чалме, алой рубахе и турецких шальварах. Остроносые туфли с загнутыми носами осторожно ступают по скользкому канату — все выше и выше идет канатоходец к весеннему небу!

Снизу несется победный свист глиняных свистулук.

— А вот и прекрасная цесаревна, — кланяется Иван Долгорукий Елизавете Петровне, но Елизавета Петровна смотрит на него, смеется красивым вишневым ртом, который он не раз целовал, и как бы не видит. Зато на почтительный поклон важного генерала она послушно склоняет высокую лебединую шею. «Да это же Андрей Иванович Ушаков!» Долгорукий низко кланяется, генерал оценивающим взглядом присматривается к бывшему фавориту и любезно раздвигает квадратное лицо в ледяющей улыбке: «Скоро встретимся, батюшка!»

Высоко в небе мелькает фигура канатного плясуна, прогибается и дрожит канат, и сделан еще шаг к небу. А вот и Варенька Черкасская.

— Здравствуй, Варенька! — приветная улыбка гаснет на лице Натальи. Ее лучшая подруга отворачивается от нее, гордо пожимает узкими плечиками. Танцует в синем небе пестрая фигурка канатного плясуна. Еще шаг, еще шаг в бездонное небо. Затаила дыхание праздничная толпа. Ах, какой знатный у персидского комедианта канатоходец. Сыплются деньги в кассу персианина Ивана Лазарева. И вдруг качнулась в высоком небе фигурка канатоходца, покачнулся перед глазами Михайлы белый отвес колокольни. Посмотрел он вниз, и полетела навстречу земля.

«Убился! Убился!» — кричит толпа.

А за Москву-реку несется уже иное: «Убили! Убили!»

Лежит Михайло в голубом глубоком, спасшем ему жизнь, сугробе, и в голове у него одна мысль: жив! жив! А толпа кричит: «Убился! Убился!»

Какое-то прекрасное женское лицо (и где только видел?) склоняется над Михайлой.

— Жив? — весело смеется цесаревна Елизавета.

— Жив! Жив!

— А каков молодец! — говорит Елизавета Петровна Мавре Шепелевой. Несут уже Михайла в карету цесаревны. — Это будет масленичный трофей, господа! — В улыбке цесаревна показывает свои прекрасные жемчужные зубы. «Да здравствует дочь Петрова!» В толпе любят веселую царевну. Улетает карета Елизаветы, окруженная добровольной свитой щеголей и вздыхателей.

И последним по опустевшей улице санки уносят Ивана Долгорукого и его невесту.

ГЛАВА 11

В Успенском соборе облака ладана окутали гудящую толпу. Проповедь преосвященного Феофана всегда привлекала тысячи православных, а сегодня сюда, казалось, сошла вся Москва. В передних рядах глаз слепнет от золота и серебряного шитья придворных мундиров, алых лент и созвездий. Генералитет и сенат выстроились чинно: и в церкви блюдут петровскую Табель о рангах. Но уже заметили: нет среди них верховных. Недогадливым помещикам-степнякам разъясняют эту загадку ловкие политичные москвичи: и не ждите, не явятся верховники,

не переносят они Феофана, любимца петровского генералитета и сената.

За генеральскими спинами густо толпятся дворяне и офицеры, редко-редко мелькнет меж ними монашеская скуфейка или купеческая борода. Заезжий тамбовский купчик со страхом оглядывается: все важные баре, смотрят гордо, спесиво. Особливо гвардейские офицеры. Эти и в соборе говорят громко, перекидываются шуточками. Купчику со страху кажется, на его счет. В алтаре иконы дивного письма в богатейших окладах, сияют огромные свечи, курится ладан. Задрал голову и испугался: в упор смотрели черные гневные глаза Вседержителя. Стоявший рядом московский гостинодворец объяснил не без важности, что сие — роспись старинной работы. Но окончить объяснение не успел. По толпе прошелестело: «Владыко, владыко!» — и на амвоне показалась величественная фигура преосвященного Феофана. Даже гвардейские офицеры и те угомонились. И загремел сильный, на что-то сердитый голос.

Купчик не различал отдельные слова, для него все слилось воедино: и огромный, невиданный по красоте собор, и пышное убранство, и нарядная тысячная толпа, и высящийся над ней величавый сладкозвучный проповедник. Он не только не слышал, о чем говорит преосвященный, но даже не пытался слышать, настолько все слилось для него в едином ослепительном видении. Москвичи, напротив, не только улавливали слова Прокоповича, но и легко открывали за ними потаенный смысл.

Преосвященный гремел с амвона, взывая не к толпе, к России:

— Нагружай корабли свои различными товарами, продавай, покупай, богатися, мати моя, раю мой прекрасный! — Голос Феофана стал вкрадчивым, елейным. — Только блюдися, мати моя Россия, блюдися, раю мой прекрасный, ползущих змеев-бунтовщиков, которые по подобию змея райского на зло подушают, — голос снизился до свистящего шепота, столь правдоподобного, что тамбовец вздрогнул от страха, оглянулся. Вокруг были напряженные, как бы иные лица, и глаза у всех беспокойно бегали, точно каждый чувствовал великий грех.

Грозно взирал сверху разгневанный Вседержитель, кружились под куполами сизые облака ладана, тяжело дышала толпа.

А голос Феофана снова набрал силу и гремел уже под куполом собора, ополчаясь на неведомых людей, которые

подучают россиян стать яко бози, пожелать высочайшей власти.

— Не тако бо бедствиям вред наносят врази постороннии, яко врази домашние, — неслось над толпой. Загудели дворянские ряды. Высоченный преображенский офицер нагнулся к приятелю, прошептал явственно:

— Ловко он прошелся насчет верховных, барон.

Приятель, беспечный барон Серж Строганов, хохотнул:

— А ведь он и впрямь о верховных. Вот это смело, вот это по-нашему.

Гудел бас преосвященного:

— И помните, россияне: которая земля переставляет обычаи свои, та земля недолго стоит! — Да ведь это прямое указание на кондиции и замыслы верховных против самодержавства. Самые тугодумы, казалось, догадались об этом. Толпа зашумела, загомонила.

Барон Серж, расталкивая толпу локтями, рванулся к выходу: первым разнести по Москве весть о смелой речи Феофана Прокоповича. Отлетел в сторону под локтем барона тамбовский купчик. Он один так ничего и не понял.

ГЛАВА 12

После обеда князь Дмитрий прилег вздремнуть по старомосковскому обыкновению. Чувствовал, как ноет рука. «Должно к перемене погоды», — подумал еще князь, погружаясь в глубокий сон.

Проснулся так же неожиданно, как и заснул, оттого, что в соседней горнице Ефим затопил печку, весело и дружно затрепали в ней дубовые поленья, а Ефим и старик-бахирь Панкрат, недавно заявившийся в боярский дом после хождений по святым местам, полагая, что самого князя нет дома, по капризу любимой княжеской внучки Наташи, завели старинную песню.

На пиру-то сидело полтреть-ясто бояр, —

густым басом выводил Ефим, и князь живо представил, как ходуном ходит его широкая борода лопатой.

Они крепкую думали думушку единую,
И как будет извести царя православного... —

тонким дискантом бродяги-лирника поддержал его Панкрат.

Он покатится наш батюшка православный царь,
И по белу свету, по усердию,
И по усердию, ко благовещенью... —

дружно слились голоса певцов. Весело трещали высушенные с лета поленья в русской печи, изукрашенной травами и единорогами.

Мы закатим-ко, ребятушки, пушку медную,
И во пушечку заложим ядро свинцовое,
И расшибемте, ребятушки, золотой берлин,
Ушибемте царя православного!

— Ушибемте царя православного... — Наташа влетела в опочизальню и замерла от неожиданности: — Ой, дед, ты дома? — Песня в соседней горнице тотчас обрвалась.

— Значит так, свет Наталья, ушибемте царя православного! — Дмитрий Михайлович усмехнулся и пригладил волосы внучки. Сердиться не стал — больно ко времени пришлось старинная песня.

— Каковы же были бояре старого закала, коль народ про них такие песни слагает? — Князь Дмитрий задумался.

— Государю мы обязаны только службой, но не честью и не отечеством! — Гордостью и надменностью веяло от этой старинной боярской присказки. — А Татищев еще болтает, что на Руси не было своей аристократии. Да что они ведают о гордости, служилые дворянчики, в поместьях которых всегда был волен царь. Иное дело боярские вотчины, столетиями записанные за одним родом. Недаром царь Иван Васильевич, казня боярина, чинил лютую расправу и его вотчине за преданность мужиков боярину. И не той ли мужицкой преданностью держалась боярская твердость? — Князь Дмитрий посмотрел, как за окном ветер развеивает дым, вздохнул. — В то время не цари нас, а мы царей и великих князей учили. Да что говорить о прошлом, коль недавно государь Петр Алексеевич Боярскую думу извел, заменил чиновным Сенатом. И все стали равны в обязанностях. И Петр назвал это регулярным государством всеобщего блага! И его, Гедиминовича, заставил нести шлейф за солдатской женкой...

Воспоминание об этом унижении всегда пробуждало злость, а злость давала немалую силу. А сила так нужна была сейчас, ох как нужна была ему эта сила!

С приездом Анны все уплывало из рук верховных. И прежде всего — власть. Один Василий Лукич Долгорукий не впадает в отчаяние. По-прежнему ровен, весел. И делает то единственное, что возможно: сторожит Анну от сношений с неприятельской партией. А среди неприятелей почти весь генералитет, двор. И в самом Верховном совете тайные неприятели: Остерман, Головкин.

А их партия мельчает: не вернулся из поездки Алешка Козлов, не явился Волинский... Вызывал наемни Татищева, напрасно улецад, историк только косил лукавыми зелеными глазами, отмалчивался. То же и Черкасский, и Новосильцев, к которым ездил брат Миша. А ведь все люди знатных родов, да и ученостью господь не обидел. На словах все за кондиции. А на деле ни один не может представить себе Россию без самодержавства. Он, князь Дмитрий, может, но его-то и винят в стремлении к тиранству. И вокруг так мало людей.

«Надо убедить народы, а затем иметь силу принудить», — говаривал еще Макиавелли в своем «Государе».

Он, князь Дмитрий, никого ни в чем, кажется, не убедил. Ну что же, если он и уйдет, то уйдет с честью. После борьбы!

Князь решительно встал, прошел в кабинет. За работой засиделся за полночь. Все прожекты, даже самый хитроумный, татищевский, подписанный Черкасским и единомышленниками, уступали голицынскому. Ведь ни в одном из них ни слова не было о низшей палате. Голицын подошел к окну, распахнул настежь, набрал полную грудь тревожного влажного воздуха. С подворья пахло дымком: мужики-подводчики разложили яркий костер. И вдруг вспомнилась такая же вот тревожная ночь, когда в чреве зимы рождалась уже весна, и другой костер, в котором горели местнические книги, старинная честь Руси, а бросали эти книги в костер знатнейшие бояре: Юрий Долгорукий да двоюродный братец, печальной памяти Василий Голицын. И тут же рядом им помогал молоденький, еще безусый стольник, в котором ныне даже жена Авдотья не узнала бы князя Дмитрия. И все исчезло, ушло вместе с тем дымком.

Князь Дмитрий с треском захлопнул окно, повернулся к киоту. Строго смотрели бесстрашные глаза святого Филиппа. «Ну что же, господа Остерманы! Судьба — бурная река, выходящая из берегов. Но мы будем строить каналы».

На другой день Верховный тайный совет распорядил-

ся окружить дворец вторым кольцом караулов, составленных из драгунских и армейских полков.

Старый князь надумал столкнуть гвардию с армейцами.

ГЛАВА 13

Прощай, масленица! Несутся по Москве бешеные кони цесаревны. Прощай, масленица! Елизавета Петровна румяные щеки трет пуховой рукавицей, кричит: «Скорее, скорее!» А кони, что твои звери, для резвости в поило вылили по бутылке французского шампанского.

Мчится беспечный пестрый поезд из Покровского. Цесаревне Елизавете дела нет до «кондиций» и заговоров. Цесаревна веселится со всей Москвой. Цесаревна не хочет власти, власть — это обязанности. Какие же тут обязанности, когда мчится, гремит, прощается с Москвой хмельная масленица.

По Москве-реке летят купеческие рысаки. Санки укрыты яркими коврами, цветут на снегу. «Скорее! Скорее! Перегнать!» Дух захватывает от быстрой езды, в глаза бьет ветер, летит ледяная пороша, мелькают черные срубы на берегах, все ближе кремлевские купола и над всеми колокольня Ивана Великого. Жарко на зимнем солнце сверкает позолота.

Последнего купеческого рысака перегнали. Позади мелькнула черная борода лопатой, выпученные глаза: «Ай да цесаревна! Батюшкина порода! Дщерь Петра!» И вдруг навстречу санкам град снежков. Поперек реки снежная крепость. Завернули санки вбок, стали. «Господа кавалеры, взять крепость!» — командует цесаревна.

Барон Строганов треуголку надвинул на брови, разогнал скакуна арабских кровей, думал проскочить, да не тут-то было. Сегодня еще масленица! Огромная снежная глыба сорвалась с крепости, встал на дыбы арабский скакун, слетел барон с лошади. Вскочил, побежал, а мальчишки ему снежками в спину. Кипит толпа на берегу, летят шапки в воздух: «Ура! Сбили барона!»

Смеется веселая Елизавета, жмутся господа кавалеры, — мужицкая, мол, забава!

Потемнели голубые глаза цесаревны:

— Что ж вы, камрады! Аль огольцов московских испугались?! Мне, девке, самой на приступ снежной крепости идти? — Кипит кровь в цесаревне, кровь-то горячая, Петра Великого кровь!

Тут из задних рядов ее свиты вынесся всадник, бросился на штурм снежной крепости. По плащу только и определила Елизавета Петровна: да это же канатный плясун, подобранный ею у Красных ворот и зачисленный в хор певчих.

Меж тем лихой дончак Михайлы — не арабский пуганый скакун, только озверел под градом снежков. Бородатый мужик смеялся на валу снежной крепости. Снежная глыба полетела прямо в голову Михайле, но дончак, огретый нагайкой, рванулся грудью, взвился и перелетел через вал, задев мужика копытом на прощанье.

«Взят городок! Взят! Ура!» — грянула толпа на обоих берегах реки.

Дальше по реке помчался пестрый караван из Покровского. Только в санках теперь рядом с Елизаветой Петровной сидел Михайло. Смеялась цесаревна, блестя прекрасные ровные белоснежные зубы, кисло улыбались скакавшие по бокам санок щеголи кавалеры.

О масленица наша, прости!
А на будущий год к нам в гости ходи! —

кричали ряженые возле балаганов.

Уходили зимние праздники. Наступал долгий пост.

* * *

Ежели Феофан Прокопович орудием политической борьбы почитал слово, Андрей Иванович Остерман на первое место ставил интригу. Сейчас, в метельный февраль 1730 года, Остерман хотя и притворялся больным и не выходил из дома, был главным вождем немецкой партии.

Неслась злая февральская вьюга по кривым московским улицам, заметала балаганы. Великий пост входил в свои права.

В доме перекрещенца Остермана православные посты блюди особенно строго: Андрей Иванович ел репку. Известного скупца ничто так не утешало в его новой религии, как долгие посты. Голодали домочадцы, холопы, обобранные до нитки крестьяне господина вице-канцлера. Но голодал и он сам, и совесть его была чиста.

Андрей Иванович в старой лисьей шубе сидел возле плохо вытопленной печки, когда кто-то резко постучал в двери.

Дворецкий ввел барона Рейнгольда Левенвольде.

Все эти дни барон метался по Москве по поручениям Остермана, и то, что для Остермана представлялось отвлеченным кабинетным делом, для барона было беспокойной действительностью.

У Остермана почти не было сомнений в своем превосходном плане, и оттого он был покоен, наверное зная за собой непреодолимую силу; у барона Рейнгольда сомнений было больше, чем уверенности, потому как, встречаясь все с новыми людьми, он сталкивался и с теми неожиданностями, которые нарушали превосходный, немецкий план. Оттого барон Рейнгольд не был ни силен, ни уверен в себе и часто переходил от безграничного немецкого высокомерия к столь же безграничному и неоправданному отчаянию. Ведь в Верховный тайный совет поступали все новые дворянские прожекты, и под иными из них, как под прожектом безвестного донныне поручика Грекова, выступившего за сохранение совета, стояли сотни подписей.

План же Остермана состоял в том, чтобы дворянство подало Анне общее прошение о восстановлении самодержавия и отмене правления верховников. Для того он поддерживал постоянную связь и с кружком Бярятинского, и с кружком Черкасского. Чтобы запугать дворян, мечтающих все еще о нововведениях, Остерман через своих людей пускал по Москве слухи, что верховники готовы арестовать не десятки, а сотни дворян, не разбирая, какие прожекты те поддерживают.

Но это — одна сторона плана. Вторая его сторона состояла в том, чтобы обезоружить верховных. Именно для того приставил он капитана Альбрехта к Ивану Долгорукому, приказав ему войти в полное доверие к этому майору гвардии. И действительно, в те дни, когда во дворце охраной не командовал князь Иван, его замещал капитан Альбрехт. Так что и эта часть плана была проведена успешно.

Через записочки Остермана, которые Левенвольде с помощью герцогини Мекленбургской передавал во дворец, Анна ведала о ходе всего предприятия. Все шло успешно, и Остерман полагал уже через день, когда караулом опять будет командовать Альбрехт, прислать во дворец дворянскую депутацию, как вдруг — первое неожиданное известие, привезенное бароном. Дворец окружен вторым кольцом караулов — не гвардейских, а драгунских полков.

— Не иначе как эта собака Митька Голицын поста-

рался! Русская свинья! — Левенвольде ругаться начал еще с порога. Мнимое спокойствие Остермана его возмутило. — Да что вы улыбаетесь, в самом деле? Какое сами-то имеете мнение?

— Иметь свое мнение — мать падения! — думая о чем-то важном, решающем, машинально ответил Остерман. Дипломатическая улыбка исчезла с его лица, выдвинулся твердый и упрямый подбородок. Барон посмотрел на него с явным уважением. Такое лицо он видывал у вице-канцлера только когда тот играл в шахматы, а в шахматы Остерман играл превосходно. — На ваш шах мы объявим вам мат! — процедил Остерман, отправляя барона с секретным поручением к герцогине Мекленбургской. В потайном письмеце Остерман просил Екатерину Иоанновну переговорить с Татьяной Борисовной Куракиной, женой фельдмаршала Голицына, о ведомом им обещанном деле.

ГЛАВА 14

Фельдмаршала Михайлу Голицына в эти дни замучила бессонница. Все было смутным в февральский гололед. Многие прежние друзья по воинской службе, такие, как Барятинский, отвернулись, а в новых друзьях стараниями старшего брата ходили такие неверные и скользкие люди, как Василий Лукич Долгорукий.

Было непонятно, где друг и где враг. Даже в своем доме столкнулись два близких человека: жена Татьяна и брат Дмитрий. Татьяну, хорошенькую и лукавую кокетку Куракину, фельдмаршал очень любил, жена была, что называется, его последней радостью. Но и старшего брата он всегда почитал, как родного отца (да тот и заменил ему отца, которого он потерял в малолетстве). Брат не только помогал и делом, и советом, так что на всю жизнь князь Михайло почитал себя его должником, но и воспитал его в том глубоком почтении младшего к старшему, которое отличало весь старинный московский уклад жизни.

И вдруг два столь близких к нему человека столкнулись, и столкнулись в жестокой борьбе за него. Он, конечно, ведал, что голицынская родня всегда с неодобрением смотрела на придворную карьеру Татьяны Борисовны, и прежде всего на ее дружбу с Остерманом. Старый Голицын не скрывал, что связывать успех фамилии с женским кокетством зазорно и непотребно. Татьяна

Борисовна к новым своим родственникам относилась с глубоким презрением за их, как она говорила, неумение ловить случай, а про себя твердо решила случай тот поймать и стать первой статс-дамой российского двора. Но прежде-то она хотя бы не мешалась в высокую политику братьев, боле всего занимаясь придворными интригами и балами. И вдруг такая неожиданная перемена. Какой уже день жена требовала не денег на новые наряды, а настойчиво приставала к нему, чтобы он приказал снять драгунские караулы вокруг дворца и оставить только внутреннюю охрану из гвардейских полков.

Меж тем брат Дмитрий прямо сказал ему, что он ничего не понимает в большой политике и что армейские полки стерегут гвардейских шалунов, охраняя верховные персоны от переворота.

— Да все тебе, Дмитрий Михайлович, снится 1725 год, — рассердился князь Михайло, который в такие минуты обращался всегда к брату по имени-отчеству, но все же обещал драгун от дворца не увести.

А дома его поджидала Татьяна и перво-наперво речь повела не об обеде, а все о тех же драгунских караулах. «Сдались тебе эти караулы, дура!» — вспылил князь Михайло. Он в первый раз обругал молодую жену, и та, само собой, ударилась в слезы. А женские слезы были самым страшным оружием против фельдмаршала. Потом, конечно, было примирение, он вымолил у жены кое-как прощение, но когда его милостиво простили, князь Михайло все же осведомился, зачем Татьяне Борисовне дворцовые караулы? И здесь Танюша простодушно улыбнулась ему сквозь еще не высохшие слезы и сказала: «Я хочу освободить нашу любимую императрицу Анну от этого несносного Василия Лукича! Ведь ты и сам не любишь Василия Лукича?»

И он вдруг сдался, вызвал дежурного при нем адъютанта и послал его снять эти чертовы караулы. «Завтра же поставлю во дворце своих семеновцев, и ничего не случится...» — успокоил себя фельдмаршал. Конечно, если бы фельдмаршал знал, что за этими простодушными слезами стоял Остерман, навряд ли бы он столь легко нарушил наказ старшего брата.

Остерман меж тем по-своему даже любил Татьяну Борисовну, и не впутал бы ее, коли бы не крайняя нужда. Пока дворец окружали караулы армейские, колебались и гвардейские офицеры. Все знали, что драгуны выполняют любой приказ фельдмаршала. Маневр Дмит-

рия Голицына был ловок, и потребно было отбить удар. Ведь в случае провала в затейке с депутацией к Анне верховники будут беспощадны, а участие Андрея Ивановича будет явно доказано на первом же следствии. Даже ежели верховные долго не продержатся и падут, а политический опыт подсказывал Остерману, что это случится непременно, то для Андрея Ивановича лично этот переворот будет уже ненужным, а он признавал только нужные для себя перевороты.

В такой крайности Андрей Иванович и заслал Екатерину Иоанновну к Татьяне Борисовне с угрозой предъявить любовные записочки, посланные в свое время женошкой разным амантёрам, князю Михайле: записочки те за немалые деньги были собраны Остерманом в заветной шкатулочке.

Татьяна Борисовна, порхавшая по Москве беспечной бабочкой, пока муж ее на Украине готовил армию к войне с турком, сначала было раскричалась на Екатерину Иоанновну, затем поплакала, а затем спросила, что нужно делать. Вот тут-то Екатериной Иоанновной и была передана просьба о драгунских караулах. И был дан жесткий срок. А уж потом герцогиня Мекленбургская, как сестра императрицы, твердо обещала ей от имени Анны место первой придворной статс-дамы, а фельдмаршалу назначение в президенты военной коллегии.

Татьяна Борисовна холодно поправила ее, что мужу ничего о том говорить не следует, а что ему надобно говорить, она сама знает. Екатерина Иоанновна согласилась, что кому, как не жене, знать, как говорить с мужем, а неосторожные любовные записочки Татьяны Борисовны поклялась вернуть сразу же после успеха общего дела.

Так началась осада фельдмаршала в его же доме.

Ночью князь Михайло долго ворочался, не мог заснуть. И наконец признался себе, что ежели рассудить по-честному, он и караулы-то снял не из-за жены — та своей осадой лишь подтолкнула его. Решился же он отдать приказ оттого, что не было у него веры в великий прожект старшего брата Дмитрия о введении неслыханных в России свобод. Самодержавие для фельдмаршала, как человека военного, всегда было привычным стройным и твердым способом правления, когда все шло по порядку — сверху вниз. Конституция же была словом неизвестным и ненадежным.

А князь Михайло с детства привык к твердому воен-

ному артикулу. Ежели брат Дмитрий всю жизнь занимался делами гражданскими, вода полки только по крайней нужде, то Михайло Голицын с юности был военным. В 20 лет он был уже под Азовом, в Северную войну отличился под Добрым, командовал колонной под Лесной, вел гвардию под Полтавой. И как это просто: стоять в общем ряду перед неприятелем. Тут ежели и был страх, то страх открытый, а потом, в бою, никакого страха уже не было. Когда брали Ключ-город и царь Петр, отчаявшийся в виктории, приказал отступать, то он, Михайло, в горячке боя (а он всегда был горяч и оттого даже немного заикался) оттолкнул лады от острова и закричал офицеру, привезшему царский приказ: «Передай государю, что отныне я послушен только богу!» И взял город. Тут все было понятно, тут можно было царю перечить и на царя кричать.

А сейчас замыслы брата всех их, верховных, равняли с царем, и рождался открытый ночной страх не за себя — за семью, за род. Ведь они встали плечом к плечу с бывшими временщиками Долгорукими, которым и терять-то при новом царствовании нечего, все равно сошлют, а им, Голицыным, за что делить судьбу временщиков?

Но с другой стороны, как тяжело было отступить от брата! Князь Михайло встал, напился клюквенной воды, лег в кабинете, отдельно от жены. И наконец заснул. Сон был страшный и тревожный. Сначала он услышал шум темных елей и мучительно вспоминал, где же он раньше слышал этот шум? И не мог вспомнить. Потом пошла широкая деревенская улица, белая от пыли, и скрипели за спиной седла драгун. И здесь он сообразил, что он в разведке и еще совсем молодой офицер. Улица казалась вымершей, дома стояли пустые. И только глухо шумели вдаль темные ели и как часы — тук-тук — стучали походные котелки драгун. Он оглянулся, увидел бледные лица солдат и вдруг понял, что это мертвые лица. Вот тот рябой убит под Лесной, этот усатый сержант пал в Финляндии, третий погиб еще под Азовом. Все они мертвые, безвестные петровские солдаты. Да и сам князь Михайло разве еще жив? Но здесь он почувствовал, как мучительно ноют раны: и та, азовская, от татарской стрелы, и та, шведская, полученная под Шлиссельбургом, и понял, что жив.

Князь Михайло проснулся в холодном поту и вдруг ощутил себя таким немощным и бессильным от всех сво-

их сомнений, каким еще не был никогда. И наутро он не только не повел семеновцев, но и сам не явился в решающий час 'во дворец. Он заболел от душевных переживаний, испытывая неведомое ему чувство слабости и бессилия, и молча слушал, как жена отвечает всем посланцам брата Дмитрия: фельдмаршал болен!

После тех памятных событий князь Михайло по протекции Остермана был назначен президентом военной коллегии, но к должности сей так и не приступил. Вскоре у него открылись старые боевые раны, и фельдмаршал скончался в том же 1730 году.

Татьяна Борисовна же после переворота получила от Анны звание первой статс-дамы империи и весело танцевала на балах со своим новым амантёром Рейнгольдом Левенвольде.

ГЛАВА 15

Вечером 23 февраля у Ивана Федоровича Барятинского был большой съезд званых гостей. К двухэтажному особняку на Моховой то и дело подъезжали кареты, из которых неспешно выходили, кутаясь в шубы, вельможные сановники; лихо подлетали щегольские санки, бодро выпрыгивали из них гвардейские офицеры, одетые по полной форме, и, поддерживая шпагу, стуча каблуками, взбегали на очищенное от снега крыльцо. Под конец, в придворном экипаже, запряженном цугом в шестерку лошадей, явилась герцогиня Мекленбургская.

Екатерина Иоанновна, почтительно встреченная хозяином на крыльце, вступила в гостиную с отменной важностью, как полагается старшей сестре императрицы. Гудевшая, как осиный рой, толпа дворян в приемных покоях почтительно расступилась. Екатерина Иоанновна прошла по образовавшемуся почетному коридору к преосвященному Феофану, приняла благословение, а вслед за тем своим командирским голосом спросила:

— Так что, святой отец, наши бедные ослики все попустому болтают?!

— Увы! — Феофан Прокопович лукаво воздел руки... — Все их действие день ко дню остывает!

— Когда же они станут мужчинами и выручат, наконец, мою бедную Анну! — Герцогиня с насмешкой оглядела собравшихся. В зале поднялся гул.

— Да мы все можем, дай только знак! — бодро подступил к Екатерине Иоанновне Семен Салтыков, прибыв-

ший с гвардейскими офицерами. Он только что был произведен Анной в подполковники гвардии и шумно отмечал свое новое звание.

— Ступай, братец, проснись! И ты, и твои дружки! — гневно ответила Екатерина Иоанновна своему кузену. — Забыл, что вокруг Кремля и Лефортова стоят драгуны и гренадеры Михайло Голицына. А сей фельдмаршал еще ни одной кампании не проиграл!

Гости опять загудели. Ох уж эти армейские караулы! Ведь ежели солдат-гвардеец был свой брат — дворянин, то никто не знал, как поведет себя солдатство армейских полков, когда его кликнут фельдмаршалы. Опять же ведомо было, что ежели гвардейцы подписывались под всеми прожектами против верховных, то армейское офицерство помалкивало, подчиняясь прямой команде военной коллегии.

И снова в гостиной начались споры и толки.

* * *

Василий Никитыч Татищев в эти тревожные ночи метался по Москве от особняка Бяратинского на Моховой к особняку Черкасского на Никольской. Всюду натывался на армейские караулы, точно Москва в осаде. Выхрапывали на морозе драгунские кони, грелись у костров гренадеры. Становилось не по себе. Как пойти против силы верховных, против правительства? Ледяным холодом веяло от жерл орудий, которыми оцетинился Кремль.

Василий Никитыч был не робкого десятка, а все-таки ежился. Конечно, князь Дмитрий Голицын человек просвещенный, допустил свободу прожектов и мнений, но как-то поведут иные верховные, oprичь всего Долгорукие? Бывшим временщикам терять нечего. Они бояре старого закала, устроят еще резню, дабы спасти свою власть, мрачно размышлял Василий Никитыч, объезжая громаду Кремля. Но что это? Какое-то непонятное движение начинается в караулах. Василий Никитыч из кареты выскакивает в сугроб и слышит звонкую команду разводного караульного: «Приказ фельдмаршала! Снять караулы!»

Весело возвращается в теплую казарму колонна гренадер, ржут драгунские кони. Армия сняла охрану дворца. А внутренняя охрана своя, дворянская гвардия! С этим радостным известием Василий Никитыч, неприлич-

но расталкивая важных особ, ворвался в гостиную Барятинского.

Сомнений среди барятинцев боле не было. Тут же порешили: явиться 25 февраля по одному во дворец и просить Анну принять полную самодержавную власть, разорвать кондиции, распустить Верховный тайный совет.

У Барятинского все было просто и ясно. Не то было в кружке Черкасского, парламентаром к коему прискакал все тот же неутомимый Василий Никитыч.

Шум там поднялся страшный. Явиться во дворец с прошением о роспуске Верховного тайного совета были согласны все гости Алексея Михайловича, но о полном восстановлении самодержавия здесь и не помышляли. Новую челобитную о том снова поручили писать Василию Никитычу Татищеву и Алексею Михайловичу Черкасскому.

ГЛАВА 16

Крепко и покойно спится в Москве под свист февральских последних метелей. «Соснуть бы и мне!» Анна зевнула громко, потянулась, распаренная банькой. Но спать было недосуг. Сестрица Катя в баньке передала ей последние новины. На сегодняшний вечер к ней попросится на аудиенцию Прокопович и передаст подарок: часики с секретцем, а в них план завтрашних действий.

С тех пор, как она в Москве, сколько уже было планов и записочек, пронесенных мимо Василия Лукича, или Екатериной Иоанновной, или другой салтыковской родней. Записочки передавали даже в платье детишек Бенингны Бирон. И все напрасно. Московское дворянство не спешило действовать.

«На словах-то все смельчаки, а на деле трусят верховных». Анна посмотрела в окно: темнели фигуры караульных солдат у костра, скакали какие-то конные. И то сказать, легко убояться, ежели Мишка Голицын целый военный лагерь перед ее окнами разбил, взял дворец точно в осаду! А тут еще Василий Лукич — попугай французский! Ишь, развалился в креслах, болтает с фрейлинами, точно и не замечает, что государыня волосы сушит». Анна с досады взяла веер, ударила по отражению раззолоченного вельможи в туалетном зеркальце. Тонко зазвенели хрустальные подвески. Василий Лукич повернул голову, и Анна вздрогнула, встретившись

с его взглядом. «Видел, все видел!» Вспомнила, как еще до въезда в Москву, во Всесвятском, вздумалось ей самой произвести в гвардейские офицеры двух крепких телом курляндцев, корнета Тауба и вахмистра Вальтерса. Василий Лукич и старый неучтивец Голицын при всем дворе взяли и прочли ей рацею, что негоже, мол, безграмотных иностранцев производить в офицеры российской гвардии. «Ну и что из того, что грамоты не ведают. Зато верные подданные, не то что московские шатуны!»

Старый Голицын промолчал, а Василий Лукич заглянул вот так, прямо в глаза, и спросил с бесстыдным ехидством, не хочет ли завтра государыня, пока готовится въезд в столицу, съездить в соседнее сельцо Софрино, посмотреть бывшее поместье тетюшки своей царевны Софьи. Так и пришлось красавцу Таубу остаться в корнетах, а могучему Вальтерсу в вахмистрах.

Подошла верная Бенингна, сделала книксен, доложила, что преосвященный Феофан Прокопович просит аудиенции у ее императорского величества.

— Проси! — властно приказала Анна.

Бенингна двинулась к дверям, но перед ней вырос Василий Лукич. Бенингна пыталась обойти его слева, но и Василий Лукич сделал шагок влево, Бенингна метнулась вправо, но и тут стал он на ее дороге, расставив руки.

— Что это ты, князь, в кошки-мышки играешь? — верхний голос означал у Анны крайнее волнение.

— А то, что Феофан Прокопович после дерзостной своей речи в Успенском соборе доступа к государыне лишен.

— Кто же это лишил его? Я его не лишала.

— Так решил Верховный тайный совет, и решения те обязательны. Дерзостную же речь преосвященного Верховный тайный совет на днях обсудит и меры свои примет.

Анна побледнела. Опять посмотрела в окно. Все без перемен, войска застыли на караулах. Махнула рукой Бенингне: иди, что уж тут! Тучная, высокая, повернулась и пошла в спальню, только на пороге бросила сердито:

— Спать-то мне, Василий Лукич, Верховный тайный совет не запретил, чаю?

На что старый версалец крутнулся на красных каблуках, отвесил учтивый реверанс:

— Над Морфеем никто не властен, ваше величество.

Но Морфей так и не явился на сей раз Анне. Проскользнувшая в спальню Бенигна порылась в складках своих двенадцати юбок, извлекла золотые часики, шепнула: «От Прокоповича!» Оставшись одна, Анна надавила на кнопку часов, нижняя пластинка открылась, выпала бумажка с Остермановым планчиком. По плану выходило, что в эту ночь верные люди снимут армейские караулы вокруг дворца. «Ежели первый пункт выйдет, то и другие удадутся», — загадала Анна. Почти всю ночь она не спала, отодвигала тяжелую портьеру, смотрела во двор. Все так же горел солдатский костер, красное пламя отражалось на гренадерских касках. В соседней комнате сладко посапывал Василий Лукич. Было жарко, душно. Она еще раз подошла к окну — все то же. Легла злая, расстроенная: очередная химера. И незаметно для себя заснула.

Очнулась оттого, что Бенигна трясла ее за толстые плечи: «Вставайте, ваше величество, караул снят!» Бенигна, когда волновалась, всегда переходила на немецкий. Анна бросилась к окну, и толстое лицо ее расплылось в широкой улыбке. Армейские караулы и впрямь были сняты. Ко дворцу спешил капитан Альбрехт с отрядом преображенцев.

Гвардейцы шли бодро, легко. Анна распахнула форточку. В спальню ворвался морозный ветерок, слышно было, как скрипел снег под сапогами гвардейских караулов. И молнией пронеслось: вот она, удача!

ГЛАВА 17

Но как ни торопилась Анна, надобно было соблюдать привычный дворцовый этикет.

С утра день начался с обычного чаепития. Анна пила чай с восточными сладостями, дула на блюдечко, а мыслями витали далеко-далеко. Не верилось, что сегодня все должно перемениться. Но часики звонко тикали...

На доньшке фарфорового блюдца розовый шаловливый амур оттачивал стрелу. Надоедливо смеялся Василий Лукич — не отходил от Анны с тех пор, как она подмахнула эти злосчастные «кондиции». Сторожит, дракон! И рассказы у него все двусмысленные, вольные. А камер-фрау слушают, раскрыв рот. Еще бы, Париж!

Василий Лукич беспечально токовал над чашечкой чая: пьеса господина Вольтера, герцог Ришелье, регент, Бастилия.

Какой-то там Вольтер? Что еще за птица?.. Больше всего в рассказах Василия Лукича раздражало обилие неизвестных имен. Парижский лукавец, казалось, и мысли не допускал, что кто-то нимало не знаком с тем, что происходит на берегах Сены. Камер-фрау, те строили понимающие лица, но Анна не выдерживала, взрывалась...

— Так кто же он, этот твой Вольтер, Василий Лукич? Маршал или министр какой, чаю? — Анна пыталась притвориться равнодушной, но голос выдавал раздражение.

— Вольтер? «В самом деле, кто такой Вольтер»? — задумался некий французский маркиз и отправился на прием к герцогу Ришелье, другу Вольтера. У герцога маркиз застал множество незнакомых ему людей. «Друг мой, — обратился любопытный маркиз к некоему молодому человеку, — что это за люди?» — «Здесь все или принцы, или пииты», — отвечивал молодой человек. Он и был Вольтером.

Анна крикнула, побагровела.

— Я тебя, батюшка, спрашиваю, какой у него чин, а ты мне про его годы! Я, чай, не вертихвостка какая, я государыня!

— Вы моя монархиня! — Василий Лукич на ходу поймав и поцеловал мясистую руку императрицы. — Но господин Вольтер не имеет чинов, и я сам не могу пожаловать его в фельдмаршалы! Господин Вольтер остроумец и великий пиит. Но чины! Господин Вольтер и чины! — это несовместимо! — Василий Лукич прикрылся шелковым платочком, скрывая лукавство взгляда. Анна вспыхнула, но ее остановила мысль: «Сегодня, сегодня все переменится!»

После утреннего чая Анна Иоанновна отбыла на псарню, сопровождаемая другим членом Верховного тайного совета обер-егермейстером Алексеем Григорьевичем Долгоруким. Василий Лукич остался в покоях подремать с французской книжкой в руках.

На псарне к ногам Анны с визгом подкатилась орава борзых, гончих, медеянских и датских кобелей, лягавых, бассетов, такс — все они хрипели, стонали, выли, приветствуя хозяина. По знаку Алексея Григорьевича слуги тотчас начали бросать мясо. От собачьего визга у Анны потеплело на сердце. Алексей Григорьевич радовался прожорливости собачек. Этот был не Василий Лукич — простоват. Анна легко от него отделалась и в дальнюю конюшню прибежала запыхавшись одна, даже Бенингну в спешке оставила. В конюшне полумрак, в

яслях переливается теплый золотистый овес. Здесь Анна чувствовала себя как дома, похлопала по шее привезенного из Митавы Фаворита. Жеребец косил глазом, фыркал, поводил могучими бабками. Какой красавец! Анна достала из мешочка-лакомника кенарский сахар...

Бирон выскользнул из темноты совершенно неожиданно, хотя Анна и знала, что он обязательно придет на условное место. Без парика, вид жалкий, солома в волосах. Но такого его она любила еще больше. Ведь ради их любви он рискует жизнью, скрывается.

Бирон капризно принялся жаловаться на свою судьбу, ненадежные укрытия. Проклинал Верховный тайный совет, кондиции, старика Голицына, всю эту глупую варварскую страну. Ему здесь всегда не везет. В 1714 году, еще при Петре, его выгнали из Санкт-Петербурга. Теперь к этому же клонится дело и в Москве. Да и вообще, что это за дурацкая страна, которая за восемьсот лет не сумела вывести порядочной породы лошадей?

Анна успокаивала любезного друга, говорила утешительные слова, а внутри все кипело: до чего довели лапушку. Рождалась великая злость, а с нею непреклонная решимость. Обратившись во дворец Анна вернулась решительным гренадерским шагом. Возле дворца шумела обещанная Остерманом толпа дворян. Караульные гвардейцы с видимой неохотой загораживали толпе путь во внутренние покои.

— Повелеваю тебе и твоим товарищам на сегодня слушать только родственника моего, гвардии подполковника Салтыкова, — отдала Анна свой первый приказ подскочившему караульному офицеру. Рослый краснолицый офицер-немец в упор посмотрел на императрицу. Ей показалось на минуту, что он колеблется. Но ведь в планчике Остермана точно указано, что капитан Альбрехт свой человек. Остерман не врал. Лицо капитана расплылось в тяжелой улыбке, послушно щелкнули шпоры. Анна тотчас приказала подскочившему двоюродному братцу Семену Салтыкову пустить господ дворян в аудиенц-зал.

ГЛАВА 18

Ему снилось всю ночь, что он едет на дальний северный погост, где похоронен был князь Василий Голицын. «Сон в руку!» — мелькнуло за умыванием, но князь Дмитрий был не князь Василий. Он привык бороться

до конца. Поэтому велел закладывать лошадей и поехал во дворец. На протяжении всей своей долгой и трудной жизни князь Дмитрий не раз заглядывал в лицо смерти и знал, что нет ничего тяжелее предчувствия опасности, что лучше встретиться поскорее с опасностью лицом к лицу, чем думать о ней, додумывать и сочинять ее в своем доме.

Большой дворец казался пустым и вымершим: не было обычного оживления перед крыльцом и во дворе, где вчера еще стояли армейские караулы. «Куда же Миша войска отвел?» — подумал князь Дмитрий, но уже догадывался, что совершилось нечто ужасное, и безлюдность вокруг дворца есть чисто внешняя сторона, а внутри он полон врагов. И как бы подтверждая эту догадку, караульный гвардейский офицер у дверей не отсалютовал и не бросился распахивать двери, а нагло и независимо оглядел его, точно он был пустое место.

И Голицын, боясь встретиться с этим наглым и чужим взглядом, сам стал старческими руками со вздутыми венами тянуть на себя дверь. Тяжелая дверь не поддавалась, пока с привычной угодливостью не подскочил камер-лакей, и этот тоже заглянул ему прямо в глаза, но во взгляде его мелькнуло хоть что-то похожее на сострадание.

Князь Дмитрий и тут не дрогнул, не вернулся, а пошел вперед по гулким коридорам дворца, высоко поднимая голову, чувствуя, как вместе с возрастающим гневом и презрением к его врагам к нему возвращаются прежние силы.

В аудиенц-зале не протолкнуться. Но точно невидимая рука раздвинула толпу дворян. «Голицын! Старый князь! Дмитрий Голицын!» И под этот затаенный шепот, все так же высоко подняв голову, князь Дмитрий прошел прямо к трону, где Анна принимала дворянскую депутацию. Но князь Дмитрий не видел ни Анну, ни верховных — он искал глазами только одного человека, своего брата, и не находил, и оттого все его мрачные предчувствия вылились в слово: «Интрига! Предательская интрига!»

«Интрига!» — читал он в лукавом взгляде внезапно выздоровевшего Остермана. «Интрига!» — кричал глупый и растерянный взгляд Алексея Долгорукого. «Капитан Альбрехт... предательство!» — жарко зашептал за спиной Василий Лукич. «Ежели бы только один этот пруссак предал!» — с болью подумал старый князь, но

ничего не сказал и, спокойно выдержав цепкий, научающий взгляд Остермана, повернулся спиной к императрице и приказал секретарю немедленно послать за фельдмаршалом Михайлой Голицыным.

Меж тем среди дворян произошло некоторое движение, и вперед был вытолкнут Алексей Михайлович Черкасский. С каким удовольствием Алексей Михайлович оказался бы сейчас в тиши своего рабочего кабинета. А теперь даже слова, сочиненные им вместе с Татищевым, приобретали — по мере того, как он, путаясь в длинных фразах, зачитывал петицию — новый и тревожный смысл. Вначале дворянская челобитная благодарила за кондиции, но находила в них некоторые явные сумнительства...

В этом месте Анна с видимым удовольствием, в такт голосу Черкасского, наклонила голову: челобитная упрекала Верховный тайный совет, что оный не рассмотрел всех дворянских прожектов. Все пока шло именно так, как набросал в своем планчике вице-канцлер. Счастливо улыбался Остерман, с видимой насмешкой поглядывал на старого Голицына: опоздал, любезный, опоздал! Князь Дмитрий стоял мрачный, проклиная себя за нерешительность. «Еще вчера надобно было арестовать Остермана и Барятинского, найти Бирона, разжаловать Семена Салтыкова, незаконно произведенного Анной в подполковники гвардии, самую гвардию разогнать на мелкие караулы. Поздно, поздно, а все из-за того, что понадеялся на Мишины войска. Да, видно, лукавый Остерман и здесь успел... И вот сейчас этот дурак Черкасский с рабским простодушием предложит Анне не только распустить Верховный тайный совет, но и восстановить самодержавную форму правления. Непременно предложит. Он посмотрел на Анну. Та слушала с явной благосклонностью. А меж тем сам Черкасский с замиранием сердца перехватывал эти благосклонные взгляды императрицы. Он-то знал, что дальше шла не просьба о возврате самодержавия, дальше шли пункты, сочиненные Василием Никитычем Татищевым. И что историк земли Российской о восстановлении самодержавия в сих пунктах и не помышлял. Но он-то, Алексей Михайлович Черкасский, за какие грехи обречен читать эту петицию?

Однако раздумывать было поздно, и холодея от страха, еще больше путаясь в словах, Алексей Михайлович зачитал зловещие для него пункты, требующие созыва некоего собрания из представителей генералитета, офи-

церов и дворян, дабы рассмотреть и исследовать разные формы правления, самим сочинить и принять большинством голосов форму, наилучшую для России, и представить ее императрице к утверждению.

Да это «учредительное собрание»! Улыбка слетела с лица Остермана. До самой Анны не сразу дошел смысл этих слов. Она все еще ждала обещанных слов о полном восстановлении самодержавия. Но Алексей Михайлович молчал. Анна наклонилась к нему:

— И это все?

Алексей Михайлович в немалой растерянности развел руками и передал Анне петицию.

Оглушительно загомонила, надвинулась дворянская толпа. Анна побледнела, сделала шаг назад. Теперь и до нее дошел коварный смысл нового проекта. С растерянностью оглянулась она на верховных. Остерман скользнул мимо нее невидящим взглядом, на пергаментном лице Головкина читалось явное изумление. Да и остальные верховные были немало растеряны. Лишь двое умников — старик Голицын да Василий Лукич — словно чему-то обрадовались.

Князь Дмитрий решительно шагнул вперед, сказал четко, внятно, обращаясь к толпе, а не к императрице, что Верховный тайный совет немедленно же рассмотрит дворянскую челобитную. После чего протянул руку к петиции, с которой Анна явно не знала, что делать.

В зале внезапно воцарилась тишина. «Отдаст Анна или нет?» — мелькнуло у каждого. Всем еще памятно было, как на днях во время присяги дьякон в Успенском соборе то ли по привычке, то ли по наговору, вместо нового титула «государыне нашей Анне»... провозгласил по-старомосковскому: «государыне нашей самодержице Всероссийской». Тогда тот же князь Дмитрий прервал службу и всенародно, в присутствии самой Анны, столь сурово отчитал дьякона, что ни в одной церкви больше не осмеливались упоминать титул самодержицы.

— Государыня... — Рука Голицына настойчиво тянулась к петиции.

И в этот момент, сердито расталкивая придворных, из боковых дверей, переваливаясь с боку на бок, вывалилась герцогиня Мекленбургская. Черные усики на верхней губе, вид бравый — не женский. Герцогиня только что вместе с Семеном Салтыковым потчевала из собственных рук караульных офицеров гданьской водкой, сектом

и мозельвейном. Солдатам выкатили бочку простой водки, выставили пиво да поставили ведро кислых щей.

Перо и чернильницу герцогиня Мекленбургская держала в руках, яко меч и щит.

— Чего тут рассуждать, — еще издали, по-солдатски грубо крикнула старшая сестрица. — Чего тут рассуждать и раздумывать... Подпиши скорее. — Она решительно протянула Анне перо. Анна, безотчетно подчиняясь старшей сестрице, вывела: «Учинить по сему», после чего, явно расстроенная, удалилась, окруженная верховными.

Екатерина Иоанновна меж тем действовала.

— Зачем медлить, зачем выбирать каких-то там депутатов. Вы и есть депутаты! Разве не вам вернула императрица челобитную, подписанную ею собственно-ручно?

— Точно, точно! — зашумели барятинцы. — Не будем медлить, а пройдем в соседнюю залу и составим порядочную форму правления.

Василий Никитыч хотел было сказать, что за несколько минут новую форму правления сочинить нельзя, но понял, что его просто не станут слушать. Вся толпа устремилась уже в соседнюю залу, двери которой были предусмотрительно открыты по знаку Екатерины Иоанновны. Сказывался ее театральный опыт.

Какой большой политический спектакль ставился! И какая сцена! Было от чего закружиться голове. Прибежал человек от Остермана. Хитрец немец сообщал, что по его совету Анна Иоанновна пригласила всех верховных на обед. Так что на добрый час никто из верховников здесь не появится.

Аудиенц-зал опустел лишь на несколько минут. Екатерина Иоанновна поспешила начать второе действие. По ее зову из солдатской караульни, точно из-за кулис, в залу ввалились гвардейцы во главе с Юсуповым и двоюродным братцем Семеном Салтыковым. Сект, мозельвейн и водка произвели уже желаемое действие на господ офицеров и солдат. Гвардейцы подняли такой гвалт, что казалось, прибыло целое войско: «Не позволим! — ревел Семен Салтыков. — Не позволим, чтобы государыне предписывали законы!» «Не позволим! Не позволим!» — орали гвардейцы. Бренчали ружья, щелкали шпоры.

Семен Салтыков, сей героический пьяница, вытащил офицерский палаш и встал на караул у подножия трона.

Крики и шум еще более усилились: «Мы все ее рабы, все ее рабы!» — заливался Салтыков пьяными слезами.

И в зале, где собиралась дворянская депутация, и в столовой, где сидели верховные, зябко передергивали плечами. Страшно и опасно было составлять пункты российских свобод под пьяные вопли гвардейцев. Анна поднялась из-за стола и решительно вышла в зал. Надо было спешить, прежде чем старший Голицын вызовет своего брата.

Гвардейцы приветствовали Анну радостным криком. Падали на колени, целовали подол платья. «Рабы мы, — подполз к Анне старый гвардеец, — все твои рабы!» Вошедший с Анной фельдмаршал Долгорукий пытался уговорить гвардейцев разойтись. В ответ выскочил вперед Семен Салтыков и крикнул с пьяной удалью: «Государыня! Самодержица ты наша! Прикажи, и мы на куски разрубим твоих супротивников!» «На куски!» — взревели гвардейцы. Фельдмаршал попятился.

— Не трогайте его. Василий Владимирович, выйди отсель! — приказала Анна.

Гвардейцы бросились целовать ей руки. «На куски! На куски!» — этот гвардейский вопль показался собравшимся дворянским депутатам тем более страшным, что за закрытыми дверями казалось — ревет целое воинство.

— Янычары! — с яростью ругался старый Голицын. Он слал одного гонца за другим к брату, но гонцы возвращались с печальной вестью: фельдмаршал Михайло Голицын болен.

— Все в жизни преходяще и переменчиво, — с философским спокойствием полировал ногти Василий Лукич.

«Вот она, власть! Ну погодите, дайте мне ее только в руки», — злобствовала Анна, вернувшаяся на несколько минут в свои покои.

Привычная фигура секретаря Степанова выросла на пороге. Господа дворяне просили принять новую петицию.

Анна вышла в зал с затаенной робостью. Что еще придумали эти умники? И только гулкие пьяные крики гвардейцев, разбредшихся по коридорам, внушали надежду.

С побледневшим лицом Анна вслушивалась в текст новой петиции, которую звонким срывающимся голоском зачитывал молоденький офицерик. Она о нем слышала — сынок покойного господаря Молдавии — Антиох Кантемир. Этот-то каких вольностей желает?..

Но что это? «Всенижайше просим... — И дальше по-

лился восхитительный бальзам: — Всенижайше и с достоинственным рабским решпектом просим соизволить принять самодержавие, с которым царствовали ваши предки, и уничтожить кондиции, сиречь условия, присланные Вашему Величеству от Верховного Совета...»

И Анна не сдержалась — низко поклонилась молоденькому офицеру, и глухо гудящей толпе дворян, и караульным гвардейцам, скрытым в темноте коридоров. Камер-фрейлина и герцогиня Мекленбургская потянули ее сзади за шлейф. «Опомнись! — услышала она шипение старшей сестрицы. — Ты ныне самодержица».

Но, заглушая и этот шепот, и дворянское гудение, звенел в ушах Анны голос офицера: «Мы надеемся быть счастливыми при новой форме правления и при уменьшении налогов и можем спокойно почить жизнь свою у ног Ваших».

Анна выпрямилась.

— Как, разве те пункты были составлены не по желанию целого народа?

— Нет! — твердо и внятно ответил Кантемир.

— Нет! — заревела толпа.

— Нет! — гаркнули гвардейцы.

— Хамский восторг! — в бессильной ярости процедил старик Голицын.

— Так, значит, ты меня, Василий Лукич, обманул? — Голос Анны был ласковый, но в пустом блеске глаз точно уже мелькнули отблески топора палача, который отрубил в 1739 году на Синем Лугу в Новгороде голову Василию Лукичу и четвертует Ивана Долгорукого. — Где пункты? — Голос Анны точно переменился — стал сильный, пронзительный. Косой луч морозного солнца проскользнул в открытую фортку — колючим холодом пахнуло на сверкающих золотым и серебряным шитьем вельмож, и вдруг луч заискрился, засверкал на короне императрицы.

Анна презрительно, с высоты трона, оглянула согнутые спины, взяла кондиции и пренебрежительно надорвала их.

— Ура нашей самодержице, ура самодержавной императрице! — крикнул караульный начальник генерал-майор Юсупов. — Ура! — дружно рывкнули офицеры и солдаты караула. — Ур-ра!

— Ура! — твердо кричал капитан Альбрехт.

— Ура! — робко вскрикивали авторы вольных проектов.

— Ура! — уверенно ревели голоса барятинцев.

— Ура! — самодовольно, на немецкий манер кричали столпившиеся вокруг трона курляндцы. (Бирона уже спешно вызвали во дворец).

За этим общим восторгом никто и не заметил, как Анна положила свиток с кондициями в ларчик*, услужливо подставленный Головкиным.

Один Дмитрий Михайлович Голицын был откровенно угрюм и мрачен.

Разлетевшийся было к князю Дмитрию беспечальный камергер Строганов, приглашавший всех на пир по случаю счастливого возвращения Анне титула самодержицы, точно наскочил на камень-валун. Схватив побледневшего камергера за кружевное жабо, князь Дмитрий крикнул:

— Пир? Тут был готов иной пир, но гости были недостойны его! Недостойны! — И, выпустив обомлевшего барона, заключил с гордостью и спокойствием: — Я знаю, что буду его жертвою! Так и быть! Я пострадаю за отечество! Я близок к концу моего поприща, но те, которые заставляют меня плакать, — старик обвел собравшихся своим всегдашним насмешливым взглядом, — те будут проливать слезы долее меня! — И тут же уехал из дворца. Задержать его сразу побоялись.

«Ах, черный глаз! Поцелуй хоть раз!» — пели солдаты. Скрипел мерзлый наст под полозьями кареты. А в ушах старого князя все еще стоял людской гул и пьяные крики гвардейцев. Голицын откинулся в глубь кареты, проклиная и Остермана, и Анну, и этих дворянчиков, и свое собственное бессилие.

И вдруг почувствовал, что он действительно стар, — последний русский боярин, замысливший первую русскую конституцию. Великий замысел рухнул, вот он и почувствовал себя старым.

«Ах, черный глаз! Поцелуй хоть раз!» — слыли на морозе звонкие солдатские голоса, а какой-то иной, тайный голос выводил как-то подслушанную в черной крестьянской избе былинную песню: «А тебя я, князь Голицын, жалую двумя столбами с перекладиною, а на шею на твою шелковую петельку!» Выехали на Земля-

* Впоследствии этот ларчик у Романовых передавался от одного монарха к другому. Последним прочел кондиции Николай II. Сделано это было в целях воспитательных, дабы потомки Романовых видели, чего они могут ожидать от своих верноподданных россиян, когда трон шатается.

ной вал, где на памяти князя стояли при Петре Алексеевиче виселицы с раскачивающимися на ветру трупами стрельцов. Сейчас виселиц не было, но над тысячами московских колоколен и маковок в вечернем сумраке вспыхнули голубые тревожные сполохи и разлилось невиданное северное сияние. Жалобно перекрикивались часовые на стенах... Кричало испуганное воронье...

ЭПИЛОГ

На пасху, по случаю провозглашения Анны самодержицей, при дворе устроено было немалое трактирование для гвардии штаб- и обер-офицеров. Для сего на дворцовую кухню было отпущено: муки полтора пуда, дрожжей полведра, масла орехового десять кружек, хрену десять фунтов, петрушки зеленой и шпинату по два кулика, сморчков сухих полтора фунта.

Эрнст-Иоганн Бирон получил алмазную звезду с изумрудом из драгоценностей российской короны. Говорили, что за тот изумруд пол-Москвы купить можно.

Тонко пели кастрированные мальчики из итальянской капеллы: «Солнце не нуждается в похвалах, божественная Анна также». Сверкала банкетная горка, венчаемая короной и скипетром. Столы были убраны свежими листьями. Одурманивающе пахли померанцевые деревья в кадучках. Переливалась в отражении свечей золотая, хрустальная и фарфоровая посуда, играла нежная музыка. С кожурой жевали цитроны простодушные гвардейские офицеры — морщились и снова жевали: плоды сии были в диковинку.

Возобновила свою работу Тайная канцелярия. Андрей Иванович Ушаков был произведен в подполковники гвардии. Полковницей стала сама императрица.

Четыре кадрили скользили по ярко освещенному залу. В навощенном до блеска паркете плыли их отражения. Голубую кадрили вела смешливая принцесса Елизавета. Елизавета улыбалась: у нее было новое сердечное увлечение.

Величественно переваливаясь, как корабль в шторм, выступала во главе черной кадрили Анна Иоанновна. Напудренное, обрюзгшее лицо казалось маской.

Морщась от подагрической болезни, но с улыбкой и сияющим лицом, вел свою зеленую кадрили Остерман.

Весело скакал впереди пестрой оранжевой кадрили освобожденный из-под караула Павел Иванович Ягужин-

ский, отменный Арлекин и танцор. Звуки веселой музыки будоражили вечернюю морозную улицу.

Слышала их и Наталья Шереметева. Откинувшись в глубину кареты, закрыв глаза, она вспоминала, вспоминала... Карета летела в Горенки, имение Долгоруких. Никто не провожал Наталью, никто не попрощался с ней, даже брат. Все знали про ее дерзостный разговор с герцогиней Мекленбургской. Екатерина Иоанновна явилась в дом Шереметевых, во-первых, по исконной доброте своего сердца, во-вторых, по велению сестрицы Анны. Двору было угодно, чтобы дочь славного российского фельдмаршала разорвала помолвку с Иваном Долгоруким, коего неминуемо ожидала Сибирь. Поручение сие было даже приятно Екатерине Иоанновне. Она, как ей казалось, искренне была привязана к этой сероглазой красавице-молчальнице.

Несказанно обрадовался появлению герцогини Мекленбургской и Петр Шереметев: значит, Анна не гневается на род Шереметевых. С великой бережностью отвел он Екатерину Иоанновну в комнаты сестрицы. По пути герцогиня Мекленбургская, тяжело опираясь на горячую сухую руку молодого Шереметева, не без удовольствия быстрым взглядом оценила его стройную, широкоплечую фигуру, крепкие ляжки, обтянутые кавалергардскими лосинами. Молодой Шереметев покраснел, и это тоже понравилось стареющей герцогине. Петр Шереметев, со своей стороны, заметил: а с ней можно сделать придворный карьер. Уговаривая Наталью, Екатерина Иоанновна не сердилась, а как бы мурлыкала. Ведь за ней стояла сила и воля самодержавной императрицы. И наконец, за ее доводы говорили рассудок и здравый житейский смысл: известно же, что оный смысл всегда на стороне силы.

Наталья наклонила голову то ли под тяжестью густых русых волос, то ли от горя. В голосе Екатерины Иоанновны было что-то даже нежное, материнское, участливое:

— Ты еще молода, не сокрушай себя безрассудно. Будут и другие женихи, кроме князя Ивана. Еще лучше будут. — И мясистая рука Екатерины Иоанновны ласково легла на ее колено, глаза смеялись, перемигивались с глазами братца Петруши: — Еще лучше будут!

И вдруг перед Натальей промелькнул тот весенний радостный день, когда она впервые увидела своего нареченного. Да что ей вся эта жизнь, если надо пожертвовать памятью о том дне, который никогда не повторится и ради которого она, может быть, и вообще-то родилась на свет.

В темноте кареты Наталья даже улыбнулась, вспомнив, как перекошилось лицо толстой Салтычихи, когда Наталья отбросила ее руку.

— Какое мне утешение и честь, что когда он был велик, так я с радостью за него шла, а когда он стал несчастлив, отказать ему. Я не имею такой привычки, чтобы сегодня любить одного, а завтра другого, хотя нынче такая мода! Я в любви своей верна.

Слова Натальи ожгли толстую герцогиню, как пощечина. Всем знамо, что не было в Москве более ветроходных жен, чем Екатерина Иоанновна и ее сестрицы. Черные усики на верхней губе герцогини нервически запыр-гали. Она не сразу нашлась, что сказать, и только с порога прошипела:

— Ты за это кровью умоешься!

Сестра императрицы могла себе позволить крепкие выражения.

Двери хлопнули, братец Петруша бросился вслед за разгневанной герцогиней, а она осталась одна. Никто не посещал более ее, никто не заглядывал в ее покои.

Карета давно уже миновала дворец, а веселые звуки кадрили все еще звучали в ушах Натальи. Навстречу бежали, скакали, мчались в открытых санях толпы ряженных, горели смоляные бочки на перекрестках, освещая веселые улицы, мелькали медвежки, козлиные, свиные маски, проносились гвардейские офицеры, переодетые янычарами и Петрушками, франтоватые недавние конституционалисты, выраженные Пьеро и Арлекинами. И все это с шумом и гамом, смехом и рычанием несло по кривым московским улочкам на Красную площадь, где били фонтаны красного и белого вина. Высоко в небе лопались ракеты фейерверка, и над пиротехническим изображением императрицы Анны дрожала огненная надпись: «Через тебя исполняются желания наши».

Но вот замелькали ветхие, покосившиеся заборы московских посадов, и ряженные исчезли.

Народ все шел, больше бедный, угрюмый. И точно в насмешку над этим людом радужно вспыхивала иллюминация вокруг далекого дворца.

* * *

Когда является новое правление, все ждут от него не только новых законов и рескриптов, но и с неослабным вниманием следят, что станет с сильными персонами прежнего двора. Василий Лукич отлично ведал сию по-

литическую аксному. Первым знаком бедствий для рода Долгоруких был царский рескрипт, в коем императрица Анна Иоанновна как бы изумлялась: «Известны мы стали, что в некоторых губерниях губернаторов нет; того ради повелеваем мы Сенату определить губернаторами действительных тайных советников: князь Василия Лукича Долгорукого в Сибирь, князь Михайло Долгорукого в Астрахань».

«Что ж, в Сибирь, конечно, лучше ехать губернатором...» — усмехнулся про себя Василий Лукич. Опять же в Сенате у него было много давних знакомцев, и Сенат скоро переменял Сибирь на Архангельск.

«Дела не так плохи... — решил Василий Лукич. — Архангельск портовый город, северные ворота России. Поживу на Двине пару лет, а там, глядишь, завяжется дипломатическая каша с польским наследством, и опять позовут, опять буду нужен».

С тем Василий Лукич и отъехал из Москвы, завернув с дороги в свою дедовскую вотчину Знаменское. Здесь его настиг первый царский гонец с грозным указом — жить ему в Знаменском безвыездно. Василий Лукич и этим нимало не смутился. Вспомнил, что и сам собирался в отставку; жениться.

«Не за горами и шестьдесят годков, пора торопиться с наследником», — здраво рассуждал Василий Лукич, изучая в зеркале свои морщины. Стучали топорами мужики на крыше дедовской усадьбы, накрапывал сентябрьский дождик над запушенным барским садом. Жизнь в деревне имела свои прелести. Василий Лукич решил устроить ассамблею для уездного дворянства, а на ней невзначай и присмотреть хорошую невестушку.

Знай Василий Лукич в полной мере, как ненавидела его Анна, дрогнула бы вся его невозмутимая философия. Для Анны Иоанновны сей парижский лукавец был личным обидчиком еще с тех давних пор, когда он заявился в Митаву с гренадерами и изгнал из курляндской столицы столь любезного ее сердцу жениха, первого красавца Европы принца Морица Саксонского.

— А кто как не Василий Лукич заставил меня подписать «кондиции», кто яко цербер сторожил нашу особу во дворце и был препоной для сношений с верным народом? — грозно спрашивала Анна Остермана. Тот сочувственно разводил руками — для него Долгорукий был главным соперником на дипломатическом поприще. Участь Василия Лукича была решена.

Прискакавший в Знаменское гвардии подпоручик Медведев с порога зачитал хозяину вотчины грозный рескрипт императрицы, из коего явствовало, что Василия Лукича «за многие его безсовестные, противные ее императорскому величеству и государству поступки, и за то, что он, не боясь Бога и страшного суда его, пренебрегая должность честного верного раба, дерзнул нас весьма вымышленными и от себя самого составленными делами оболгать» ждут Соловки.

Зачитывая царский указ, подпоручик не без восхищения рассматривал блестящего дипломата, который «пренебрег» и «дерзнул» против самой императрицы. Василий Лукич то видимое восхищение уловил и так убедительно описал свои обстоятельства, что подпоручик разрешил опальному вельможе взять с собой в Соловки одного повара, одного камердинера и одного слугу, о чем и отписал в Сенат. В Сенате на тот знатный штат согласились. Ведь Василий Лукич посылался не в тюрьму, а в монастырь, как бы для перевоспитания, дабы выбить из него тот дух, который впоследствии назовут вольтерьянским. Самую страшную казнь для версальского галанта Анна еще приберегала.

Остальные Долгорукие тоже были сосланы, только без поваров и камердинеров, в дальние ссылки. Алексея Григорьевича и его сына Ивана направили в Березов. Наталья поехала в Сибирь вместе с мужем.

* * *

Праздники кончились, и настало лихолетье «бироновщины». То было не засилье иноземцев, а их прямое правление. Когда огромная и неконтролируемая власть находится в руках одного человека, такие политические чудеса, как показала русская история, возможны. Анна, и это единственное, что верно определил в ней Голицын, оказалась совершенно неспособной к управлению страной. Она была лишь именем, и от ее имени Россией управляли немцы.

Бирон, по фамилии которого вся эта эпоха и названа «бироновщиной», выступал как верховный владыка, требующий непрерывных подношений и от казны, и от частных лиц. Заработала Канцелярия тайных дел. И снова по Руси полетело «слово и дело», и снова десятки тысяч невинных людей подверглись ссылке, пыткам, разорению имуществ. Кнутобойничал, впрочем, не сам Бирон, с ра-

достью занимался этим делом Андрей Иванович Ушаков, ставший, наконец, главой Канцелярии тайных дел. Вся страна была окутана сетью тайных доносчиков, получавших за донос некую часть имущества оклеветанного. Большая часть конфискованных имуществ шла в казну, то есть Бирону, который свободно запускать туда руку.

Иностранные дела взял на себя Остерман. Никто более не препятствовал ему брать взятки у послов различных держав. Больше всех давал ему посол австрийского цезаря. Россия стала преданнейшим союзником Габсбургов. По желанию Вены русская армия была послана в Польшу, сажать на польский трон Августа III Саксонского. Когда же Августа III посадили на престол в Варшаве, он и не подумал стать союзником России — оставался союзником Габсбургов.

По желанию Вены Россия вступила вместе с Австрией в войну с Турцией. Русские солдаты впервые взяли Очаков, вошли в Крым. И что же, по Белградскому миру Россия, потеряв десятки тысяч солдат, не получила ни Очакова, ни выхода к Черному морю, ни Крыма. Австрия снова предала союзника. Остерман же получил от Вены орден, пенсии, милости цезаря.

Военная коллегия оказалась в руках другого немца — фельдмаршала Миниха. Все, что ввел пруссак Миних в русской армии — неудобную форму, плацпарады, прусский шаг, букли, палочную дисциплину и шпицрутены, — отменять уже пришлось Румянцеву, Потемкину и Суворову.

Финансы России, этот нерв государственной жизни, оказались под полным контролем кредитора Бирона банкира Липмана. Решено было выколотить из мужика все недомки, скопившиеся за период голицынского облегчения в податях. В деревни были отправлены воинские команды — на правож ставили не только мужиков, но и стариков, баб. Стон и вопль поднялся над деревенской многомиллионной Россией. Описывали и отбирали последнюю курицу. И все для процветания банкирского дома Липмана.

Действуя через Бирона, этот банкир наложил свою тяжелую руку на уральские заводы, астраханские рыбные промыслы, московскую торговлю. Был открыт полный доступ иностранному капиталу, и Невский украсился вывесками на английском, французском и немецком языках.

Двор из ненавистой для Анны по воспоминаниям о кондциях Москвы снова вернулся в Санкт-Петербург. Здесь, ближе к своим остзейским поместьям в Эстлянд-



дии, Лифляндии и Курляндии, спокойней чувствовали себя правившие страной немецкие бароны. В Россию хлынули немцы. Причем это были чаще всего не лучшие немцы. Сюда устремилась вся накипь Германии, получив, что в России этой чудной стране, которая сама отдавая власть немцам, легко и просто нажиться. Целые кварталы в Санкт-Петербурге были населены немцами. Чувствовали они здесь себя хорошо и свободно и с высокомерием поглядывали на русокик. А русским правительством вдалбливало — кнутом и зуботыниной. — что всякий немец уже оттого, что он немец выше русского. А коль выше, то и жалованье ему клали в два-три раза выше, чем русскому, и в чины производили через две-три ступеньки Табели о рангах.

При «бироновщине» был момент, когда казалось, ничтожное немецкое меньшинство в России станет правящей нацией, а русские подневольной. Правда, то был лишь момент. При дворе хотели вытравить сам русский дух, осмеять, опорочить, унижить все русское. Тон задавала Анна. Сама русская, она ненавидела Россию, которая так долго отвергала ее. Немецкий язык считался при дворе единственно приличным языком. Барон Корф, назначенный президентом Академии наук Российской империи, по-русски не говорил. Все академики, за исключением пииты Тредиаковского, были немцы. А Тредиаковского почитали шутом.

Вышучивали знатные русские роды и фамилии. С особым удовольствием Анна определила в шуты внука Василия Полицына. Когда она была его по ценам, ей казалось, что она бьет всех Полицыных, а особенно князя Дмитрия; — била всласть, за гордость!

* * *

Лето 1730 года стояло роскошное, безветренное, с колеблемой гладью деревянок прудов. В такое лето хорошо лежать в высокой траве, смотреть на белые облака, лениво покачивающиеся в глубоком голубом небе, и не то думать, не то мечтать, или просто чувствовать себя частицей этого жаркого покоя.

Елизавета Петровна потянулась в сладкой истоме: «Хорошо-то как, господи!»

Сад в Покровском, молодой, редкий — из беседки видно: в дальнем мареве колышутся позолоченные верхи колоколен, вспыхивают на солнце беспокойным тревож-

ным блеском — там Москва. А здесь покой и сладкое бабье счастье.

Знакомые шаги по песчаной дорожке. Хруст золотистых песчинок. Ближе, ближе! Знакомые руки закрывают глаза...

Потом купались в пруду. Елизавета залюбовалась на своего амантера. Михайло — загорелый, высокий, в рубашке из тонкого голландекого полотна, подбородок утонул в кружевном жабо, ничем не похож был на того полуголодного скомороха, что пришел в Москву за своим счастьем.

Разве не счастье любовь принцессы? Такое только в сказках бывает или в повести о матросе Василии Кориотском. Впрочем, Михайло тоже бывший матрос.

Забывалась, казалось, Дуняша, забывался даже ее голос, верил Михайло в свою удачу и оттого стал быстр и смел в движениях. Вот только морщинки появились у глаз.

Скинув длинное парчовое платье и парижские туфельки, Елизавета Петровна вошла в воду. Нежданно налетел предгрозовой ветер, сорвал легкий парик. Рыжим хвостом взвились волосы, с лица осыпались румяна и пудра — царевна Елизавета Петровна стала просто Лизой — молоденькой, хорошенькой девушкой, счастливой и доверчивой. Михайло, разбрызгивая воду ботфортами, подбежал, поднял на руки.

За синевшим вдаль лесом сверкнули зарницы, глухо и торжественно над притихшими подмосковными деревеньками, над прудами, заросшими осокой, над верхушками высоких деревьев дворянских и монастырских садов прогрехотал гром.

И вот, разрывая тишину и покой, налетел не ветер уже, а вихрь. На широкой глади пруда, где ходила до того мелкая рябь, поднялись белые барашки волн.

— Ну целуй же! — требовательно сказала Лиза и добавила, окая: — Милой мой, душонок!

Накатила шальная волна и накрыла их с головой.

От дома по линовой аллее к пруду бежала Мавруша. За ней спенила камеристка-негритянка, под ветром раскачивались цветные страусовые перья на ее широкополой шляпе.

— Ваше императорское высочество, ваше императорское высочество! — еще издали затараторила Мавруша. — Нельзя же так — у нас последняя репетиция, вечером спектакль, а вы нашего Юпитера похитили, нельзя же так, ваше императорское высочество!

То, что любимая подруга строго по этикету именуется не Лизой, а высочеством, лучше всего свидетельствовало о гневе Мавруши. Еще бы, ведь спектакль, которым она собиралась вечером попотчевать гостей, был не совсем обычным дежурным представлением — это было действие о принцессе Лавре, собственное сочинение Мавры Шепелевой. В запальчивости Мавруша готова была на самые отчаянные дерзости, но, взглянув на сияющее лицо подруги, оттаяла: «В Аркадии смолкает гнев богов!» Мавруша сделала церемонный реверанс, сказала с насмешливым пониманием:

— Ваше высочество, отпустите плененного вами Юпитера, — и, оборачиваясь уже к Михайле, властно приказала поторопиться на сцену.

Тем же вечером состоялся спектакль. Покровское заполнили гости. И когда казалось, что все уже в сборе, по дорогам, ведущим из Москвы и подмосковных имений, подкатывали все новые кареты, коляски, старомодные рыдваны. Многие ехали даже не потому, что в Покровском спектакль, а оттого, что приятно и хорошо было ехать после грозового дождя по омытой непыльной дороге среди свежезеленых хлебов, веселых рощиц, по обжитому раздолью Подмосковья.

Спектакль давали в открытом летнем театре. К вечеру в липовых аллеях Покровского зажглись тысячи плашек. Закраснелся огонек ramпы, раздвинулся занавес. Судьба несчастной принцессы Лавры, сироты, дочери великого покойного монарха, лишенной трона злодейками-родственницами, растрогала публику.

В руках иных дам появились кружевные платочки. Хорошо было поплакать в темной аллее, где так нежно и сладко пахло липами.

— Да ведь принцесс Елизавет и есть принцесс Лавра, — шепнул Левенвольде главе Тайной канцелярии Андрею Ивановичу Ушакову. — И сирота, и всем ведомо, что родственницы у нее престол оттягали. Ай да цесаревна, такие кромольные пьески у себя позволяет! А почтенная публика? Тоже хороша! Все понимают, о чем речь, а слушают.

— А ведь немец-то прав! — жестко ощерился Андрей Иванович.

— Я полагаю, что при таковых консидерациях мы не можем более оставаться в гостях у принцесс Елизавет, — возбужденно и с нескрываемой злобой шипел Левенвольде. Его слова потонули в аплодисментах.

На сцене меж тем явился бог Юпитер и возвел несчастную принцессу Лавру на законный престол. «Браво!» — кричали гвардейские сержанты, к которым особливо благоволили в Покровском.

«Какой красавец! Душка Юпитер! А голос, голос!» — дамы хихикали тоненько: говорят, у цесаревны с ним амур.

— Ну так что! — с насмешкой отпарировала Варенька Черкасская. — Завидуйте, сударыни, что такого молодчика упустили!

— Ваше превосходительство, вам как управителю Тайной канцелярии и подавно неприлично оставаться на сем кощунственном представлении, — пристал Левенвольде к Ушакову.

— Да-да, голубчик, не приличествует, не приличествует! — поднялся Андрей Иванович. «Токмо где я видел этого актеришку? Ба, да за него еще старик Голицын вступался. Тогда все ясно, тогда здесь заговор!» — довольно потирал руки Андрей Иванович. А над Покровским шумели темные верхушки деревьев, и высоко-высоко в темном небе вдруг сорвалась и упала звезда.

* * *

Осенью 1730 года подслеповатый подьячий прикрыл толстую папку с надписью: «Дело. Неприличная пьеска о принцессе Лавре, боге Юпитере и других лицах, оную принцессу в пьеске на престол возводивших».

На стол легла выписка из указа ее императорского величества:

«Дело об оной пьеске прекратить, пьеску запретить. Актеров, что из благородных, бить батогами с честью: не снимая рубахи. Актеров, что из подлых, бить до первой крови. Регента Михайлу Петрова сечь розгами до второго обморока. Мавру Шепелеву за ее богомерзостную и неприличную пьеску сослать в далекие деревеньки. Цесаревну Елизавету Петровну от дальнейших розысков освободить». Широко легла размашистая подпись: «Анна». Подьячий осторожно взял царский указ и подшил с великим бережением к «Делу». Закончилось еще одно «Дело», прервался еще один видимый токмо Тайной канцелярии заговор.

Откричали пытаемые в Тайной канцелярии актеры. Успокоилась веселая принцесса Елизавета — ее пощадил. А ведь еще неделю назад, разбрызгивая осеннюю

грязь, мчались курьеры от всех иностранных послов с вестью: «Цесаревна Елизавета затребована на допрос в Тайную канцелярию!» Но цесаревну не задержали надолго: в гвардейских казармах было беспокойно, и во дворец донесли, что гвардия столь невежливым обращением с дочерью великого Петра недовольна, солдаты шепчутся, а иные сержанты грозятся переменить самодержицу, ежели Елизавету Петровну сошлют вслед за Долгорукими в Березов. И снова поскакали гонцы от иностранных послов во все европейские столицы: «Елизавета Петровна снова допущена ко двору и весело танцевала кадрили с бароном Строгановым».

* * *

В промозглый декабрьский день через Московскую заставу в Санкт-Петербурге прошел оборванный высокий господин. Он расписался в книге приезжих, как Михайло Петров, актер. Будочник посмотрел на рваное платье господина актера и рассмеялся: «И что это за народ чудной — актеры?»

Михайло Петров вышел на бесконечную Невскую першпективу, вдохнул горьковатый петербургский дымок и впервые за последние месяцы почувствовал счастье только оттого, что вот он жив и опять в том городе, где только и жить всегда таким новикам, как он.

На Царицынском лугу замораживающе стучали барабаны. Под дымным петербургским солнцем однообразно желтели португези офицеров, желтые штиблеты солдат, желтые полковые знамена. Надрывно отбивали однообразный такт одинаковые желтые палочки по желтой коже прусских барабанов. Новый российский фельдмаршал Миних принимал парад. Желтый цвет становился излюбленным цветом императорского Петербурга.

Но Михайло пошел в другую сторону: к деревянному Исаакиевскому собору, к Неве, к краснокирпичной Новой Голландии.

Хотя Петербург все еще был покинут двором, но жизнь в нем кипела.

У театрального балагана толпился народ: давали представление скоморохи-кукольники. Кукольный скоморох на сцене шел разгульно, смело и вдруг замер, увидел красную девицу в окошечке.

Покачу я колечко кругом города,
А за тем колечком я сама пойду, —

словно ножом под сердце ударил Михайлу знакомый девичий голос.

— Я сама пойду, суженого найду! — с печалью и надрывом пела девушка за сценой, а скоморох уже подскочил к картонному домику и затараторил быстрой, тоже знакомой скороговоркой:

Ты пусти, пусти, девица, постоять.
Пусти, красная девица, почевать
Удалого на тесовую кровать,
Скоморохи — люди вежливые,
Скоморохи — люди честливые! —

в толпе грянул смех, а Михайло спешил уже в заднюю дверь, еще не веря своему счастью и удаче. И только через час, сидя в чистеньких комнатах, которые снимал Шмага на Васильевском, слушая его рассказ и глядя, как раскрасневшаяся радостная Дуняша и веселая певунья Галька собирают на стол, понял, что счастье, редкое скоморошье счастье и впрямь постучалось к нему.

И как сквозь сон слушал он рассказ Шмаги о том, как добрались они с Дуняшей в Петербург, явились к Фику. Немец принял было в них участие, да ни в чем не успел, ускакал в Москву.

— А из первопрестольной его, голубчика, и в Сибирь переправили, дом-то на казну отписали, а нас на улицу выставили. Хорошо тем временем Галька приехала, — Шмага как-то по-своему, по-особому поглядел на певунью.

— Опять забыл... — Галька сделала строгое лицо. — Не Галька я тебе ныне, а жена, Галина Ивановна.

— Ой-ой, батюшки, забыл, забыл, каюсь. Третью неделю как повенчались мы с Галиной Ивановной, тут и забыть немудрено. Большой срок! Три недели как пироги не ели!

Шмага был все тот же — неугомный и жизнерадостный, театральный человек Шмага. А вот как-то Дуняша? И вдруг по тому, как она зарделась под его взглядом, понял: а ведь ждала его Дуняша все это время, пока он бедокурил в Москве.

— Э, полно печалиться, Михайло, — по-своему растолковал его молчание Шмага. — В Петербурге, брат, нечего справлять праздники по московским святцам. Посмотри-ка, — и Шмага протянул Михайле бумагу с гербовой печатью. «Ох, этот неунывающий весельчак Шмага, — нигде не пропадет!» — крутил головой Михайло, читая бумагу: «Отдал я, князь Николай Засекин, в най-

мы четыре палаты для игранья комедии вольному человеку Василию Шмаге с сего декабря по 6-е число. А во время игры мне, князю Николаю, ему, Василью, помешательство ни в чем не чинить. А денег я взял с него, Василия, 4 рубля, а по прошествии января взять столько же. А ежели в чем я, князь Николай, против сего контракта не устою, взять ему, Василию, с меня, Николая, все, что ему та комедия станет, в чем и подписуюсь: князь Николай Засекин».

— Играем, понимаешь, играем! Царя Максемьяна аль Дон-Жуана, люблю роль бери!

Дуняша сидела возле него, и стало не до далеких случайных воспоминаний о Покровском, и не надо было его спрашивать о согласии играть — он вернулся в свой настоящий актерский дом, как матрос возвращается из чужих и далеких стран в родную гавань.

* * *

К Дмитрию Голицыну Анна Иоанновна и ее немецкие советники подступали сторожко. На первое время определили даже сенатором. Ведь брат Михайло сразу после переворота стал президентом военной коллегии. Голицыных еще побаивались. Однако в Сенат Дмитрий Михайлович ни разу не явился, а среди домашних, как скоро стало ведомо, едко шутил, что это не Правительствующий Сенат, а правительственная богадельня. При дворе обиделись, тем паче, что князь Дмитрий говорил правду: все решения принимались в опочивальне Анны Иоанновны. Значение этого нового органа государственной власти простодушно было разъяснено самой императрицей при производстве Бирова в обер-камергеры. «Яган Эрнест Бирон особливо нам любезно верный... через многие годы будучи в нашей службе при комнате нашей», — говорил императорский рескрипт. Князь Дмитрий тому рескрипту немало смеялся. И смех тот тоже был услышан.

Потому, когда скончался Михайло Голицын, Остерман и Бирон начали облаву на старого князя. Были отозваны с посольских должностей в Берлине и Мадриде сыновья князя Дмитрия. Угодили в Сибирь братья-художники Иван и Роман Никитины.

Вокруг князя Дмитрия постепенно возникала пустота. С ним боялись говорить, переставали здороваться. А старый Голицын упрямо шел наперекор немецкого засилья

и чистил немцев не шепотом под подушкой, а открыто и громогласно.

Когда двор в 1732 году переехал в Санкт-Петербург, князь Дмитрий не пожелал покинуть Архангельское.

— Я Бирону не холуй! — сказал он. Может, князь Дмитрий так и не говорил, но доносчики постарались и так доложили. Бирон заговорил о суде над вечным слушником.

— Такой скорый суд напомнит всем о «кондициях», напомнит русским, что они и без немцев обходились, а несколько недель даже и без матушки-императрицы жили и ничего, справлялись... — разъяснил осторожный Остерман фавориту, — подождем боле удобный и верный случай.

И случай такой вскоре представился — в Сенате снова всплыло дело о наследстве Дмитрия Кантемира. Наследство то объявилось, когда еще действовал петровский закон о майоратах. Соответственно все вотчины покойного молдавского князя перешли его старшему сыну Константину, женатому на дочери Голицына. Младший сын, Антиох, был обделен.

— Вот он, повод! — указал Остерман. — Наш неподкупный Голицын на деле мздоимец, который решил тяжбу в пользу своего зятя!

— Но ведь закон о майоратах тогда был еще в силе... — заикнулся было Бирон.

— Ныне сей закон отменен, а что было прежде... — Остерман пожал плечами.

— Вы правы, Генрих, Анхен никогда не помнит, что было прежде! — согласился Бирон.

В веселое июльское утро, когда Анна Иоанновна пила, под немолчный шум фонтанов, свой утренний кофе на террасе Петергофского дворца, оба немца предстали перед императрицей.

— Полагаю, за сию неприличную игру с законом стяжатель казни достоин, ибо закон выше верховных вельмож! — важно заключил Остерман свой доклад.

— Так, так! — решительно поддержал Остермана Бирон. — А помнишь, Анхен, как сей мздоимец жалел отпустить в Митаву лишний талер, разыгрывал из себя неподкупного министра.

Остерман уже вынул заготовленную бумагу, но Анна неожиданно отклонила ее.

— Ступай, Андрей Иванович, мы еще поразмыслим о сем судебном казусе... — важно сказала она.

В голове Анны Иоанновны в эту минуту родилась та простая мысль, что корону-то свою и все это — она обвела взглядом Петергофский парк с весело бьющимися на июльском солнце фонтанами, раззолоченный Петергофский дворец, петровский Монплеизир и, наконец, всю Россию, — она получила ведь из рук гордого и надменного боярина, что сидит сейчас в Архангельском и, говорят, учит внуков грамоте. И если она казнит его сейчас, то про нее скажут — неблагодарная, а ей не хотелось быть неблагодарной в это прекрасное утро, когда так шумят фонтаны, а на горизонте плывут паруса проходящих в Петербург кораблей.

— Но Анхен, ты, право, слишком милостива к смутьяну Голицыну! — Бирон сердито надулся. — Ведь этот русский боярин и заварил всю эту кашу с кондициями! Разве ты не помнишь?

Она, конечно, всю оставшуюся жизнь помнила 1730 год. Но все же она хотела в это утро остаться благодарной. Окончательное решение Анна Иоанновна приняла только днем, когда пожаловала в летний вольер, где для царской охоты содержали разных зверей и птиц. За шесть лет своего царствования она еще больше отъелась, ходила теперь с трудом и потому даже стреляла, сидя в креслах. Бирон самолично прочистил ружье шомполом, зарядил и с поклоном передал Анне.

«Какой красавец! — залюбовалась Анна своим фаворитом. — Голубой фазан!»

Бирон уловил ее взгляд и снова подступил к императрице.

— Но Анхен, подумай! В ту ужасную зиму этот несносный Голицын заставил нас скрывать нашу любовь!

Лицо императрицы залилось краской гнева. Она все вспомнила. Вспомнила, как льстила этому знатному вельможе, как дрожала при его рацеях! Все вспомнила! А благодарность она проявит — в мере наказания проявит. И, обратясь к фавориту, сказала властно:

— Как ты не понимаешь, Иогани? Ведь ему я короной обязана. Потому смертную казнь отставим, я его милую. Но и с законом играть я Голицыну не позволю.

— Значит, ссылка? Куда же его сослать, Анхен?

— Только не в Сибирь — там Долгоруких довольно. А не то встретятся, начнут якшаться, глянь, и новые кондиции на нашу голову сочинят! — Анна рассмеялась громко, с видимым облегчением и приказала: — Передай Ушакову, взять этого умника в Архангельском и после

суда — в Шлиссельбург, немедленно. В каземате ему тихо будет, пусть думает! Да и мне покойней.

Подняв ружье, весело гаркнула:

— Выпускай! — И, когда распахнулись узорчатые воротца вольера и на зеленую траву газона выскочил красавец олень, Анна свалила его одним выстрелом. Пуля попала точно в голову.

* * *

Князю Дмитрию никогда ранее не снились цветные сны, а здесь приснилась окутанная жемчужно-пепельным воздухом Адриатики Венеция, золоченые гондолы на Большом канале и мост Риальто, на котором крутобедрые черноглазые венецианки сушили белье. И он, князь Дмитрий, не немощный старик, а крепкий тридцатилетний мужчина весело идет по тому мосту, и бодро постукивают красные каблуки. Впереди встреча со славным ученым мужем Марком Мартиновичом, под началом которого изучал он труды древних авторов Демосфена и Цицерона, Ливия и Светония, Саллюстия и Тацита. Сам воздух Венеции, воздух республики, казалось, напоен свободой, и оттого так легко дышится, так весело стучат каблуки, так гордо он, Голицын, держит голову, и вдруг проваливается из цветного сна в сон черный и страшный. И уже не каблуки стучат, а кокают подковы лошади, на которой пробирается он, молодецкий безусый царев стольник, через болотистую, окутанную густым туманом Голыгинскую пустошь. Говаривали, что на пустоши той манило, и потому князь Дмитрий совсем не удивился, когда из густого тумана выехали навстречу два всадника на черных конях. Одного из них он сразу признал: то был мелодой Андрюша Хованский, с которым случалось ему вместе и на царской охоте бывать, и на пирях пировать. Другой же всадник неясно маячил в густом тумане, но он уже знал наверное, что это отец Андрюши, начальник Стрелецкого приказа князь Иван Хованский, известный в народе по прозвищу Тараруй. И вдруг его обожгла мысль, что Тарарую и его сыну срубили головы именно здесь, у сельца Голыгино, по приказу царевны Софьи и ее первого министра князя Василия Голицына. И в этот самый миг Андрюша Хованский снял свою собственную голову и позвал: «Иди к нам, Митя, иди!»

От слов тех князь Дмитрий проснулся в холодном поту и в какой уже раз поразился, сколь давят грудь низ-

кие своды каземата. Ледяная капля упала на лицо и беспощадно напомнила: он в Шлиссельбурге, в заточении, под крепким караулом. «За что?» — рванулась всегдашняя мысль узника, хотя он и знал ответ на роковое «за что?». Конечно же, не за тяжбу его зятка, Константина Кантемира, с мачехой бросили его в казематы Бирон и Остерман. Попал он сюда за неслыханные дотоле на Руси вольнолюбивые прожекты, за кондиции. А также за то, что не покаялся в своем великом замысле. И потому его не простила Анна. Конечно, он мог, как всякий узник, крикнуть: «Слово и дело!» И получить перо и чернила и написать покаянное письмо матушке-самодержице. Как знать, Анна, получившая из его рук корону российскую, может, и простит? Вспомнит, что из трех сестер он, князь Дмитрий, предпочел ее, тут и простит.

Но ненавистного ему заклинания «Слово и дело!» он никогда не выкрикнет! Каяться ему не в чем, ибо в помыслах своих тверд. И помыслы те чисты и справедливы, и полезны для отечества. Разве настало бы лихолетье бироновщины, удержи он, Голицын, кондиции? А ныне? Князь Дмитрий даже зубами заскрипел при мысли, как терзают страну немецкие выскочки.

«Воистину, выпросил у Бога светлую Россию Сатана, да очервлянит ее кровью мученической...» — прошептал он слышимое когда-то от Андриюши Хованского староверское пророчество.

Но у него, князя Дмитрия, вера ни старая, ни молодая. Его вера вечна, как вечна Россия, в которую он верил и которой служил по чести и совести всю жизнь. И вера та дает ему силы пройти с честью последнее испытание. Письма покаянного недругам он не напишет, голову свою не склонит! Князь Дмитрий гордо сжал губы.

Под утро мертвую тишину Шлиссельбурга разорвал глухой грохот, словно вновь русские осаждали Ключ-город и сотни тяжелых орудий обстреливали остров. По этому отдаленному за толстыми стенами каземата гулу Дмитрий Михайлович догадался, что пошел ладожский лед и голубые весенние льдины сталкиваются и крошатся, а Нева с мощной и упрямой силой несет льдины в море. Князь Дмитрий улыбнулся — вспомнил, как мальчишкой любил смотреть ледоход. Подумал, что никакие палачи не могут отнять у него это воспоминание. В памяти своей он волен. Это все, что ему оставили его недруги.

И еще с досадой подумал, что он был очень слаб в ту мятежную зиму 1730 года. Там, где он действовал убеждением, нужно было применить силу. И прежде всего против немцев. А ведь в его руках была власть, он мог еще из Всесвятского вернуть в Митаву весь курляндский двор Анны, разыскать Бирона, арестовать и казнить Остермана. Тем паче поводов этот угорь дал предостаточно — почти открыто брал взятки у различных держав. Тогда бы он, Голицын, возможно, удержался, но удержался страхом. Он же вздумал держаться свободой. Вот и получил свободу в казематах. И все же он верит, что свобода есть единственный способ, посредством которого в государстве может держаться правда. Это его убеждение — его град высок. А в тот град летают только орлы.

Князь Дмитрий встал на колени перед иконой святого Филиппа, которую ему разрешили взять в крепость, помолился. Солнечный луч через маленькое зарешеченное оконце попал в камеру. Железо стало теплым. В оконце был виден кусочек голубого апрельского неба. Гулко шумел ледоход. Как бомбы лопались льдины.

Однажды под жестокую артиллерийскую канонаду брат Михаил взял Ключ-город. Взял крепость словно для того, чтобы в ее казематы упрятали старшего брата за вольный проект ограничения самодержавства.

«Я подвластен уже токмо Богу...» Он и сам сейчас, на краю жизни, может повторить эти слова. «А все же есть в его великом замысле внутренняя сила, раз и ныне он, уже немощный старик, все еще страшен всероссийской самодержице и ее немецким прихвостням!» — не без гордости подумал князь Дмитрий.

Он умирал, задыхаясь под тяжестью могильных сводов каземата.

Конечно, Дмитрий Голицын не мог знать, что о его замысле будут наслышаны Радищев и Пушкин, что через столетие в библиотеках Парижа декабрист Александр Тургенев будет с жадностью изучать мемуары, касающиеся 1730 года, что в своей «Истории русской общественной мысли» вспомнит о нем первый русский марксист Г. В. Плеханов и назовет его, Дмитрия Голицына, «упрямым большевиком» боярства. Не знал он и того, что кондичии почитались всеми российскими самодержавцами, последовавшими за Анной, наисекретнейшим памятником российского вольномыслия, и их полный текст не был опубликован до революции 1905 года.

Всего этого не знал он и тем не менее умирал с гор-

достью, не раскаявшись ни в кондициях, ни во всех трудах своих.

В аккуратнейшем донесении в Правительствующий Сенат от гвардии поручика Корфа, приставленного к государственному преступнику Дмитрию Голицыну, с полицейской точностью сообщалось: «Оный безумец, бывший князь Дмитрий Голицын еще не раз яд злобы своей на российские порядки изbleвал, прежде чем помре. А из белья при нем найдено: белая пара, кофейная пара, дикая пара, кафтан и камзол черный, байковая рубаха. Из книг: Библия, рассуждение Титуса Ливия о древних германцах и книга злокозненного венецианца Боккалини «Известия с Парнаса».

Найдена также икона с изображением св. Филиппа и завещание, по коему все некоторое оставшееся после конфискации личное имущество князя Дмитрия Голицына отдается его внуке. «Но ежели оная моя внука в обучении различным наукам успеха иметь не будет, то именно оное передать на строительство госпиталя для увечных воинов в граде Москве.

Дмитрий Голицын».

И все же, разбираясь с наследством Голицына, Тайная канцелярия сделала упущение. Недоглядел Андрей Иванович Ушаков, и разошлись среди россиян безобидные на первый взгляд томики с надписью «ex Bibliotheca Archangelina». Тысячи книг рассказывали о дерзких свободолюбцах Бруте и Кромвеле, подвигах вольных голландских гезов, смело сравнивали обычаи и политические порядки европейских держав. И росло вольномыслие среди просвещенных россиян. А влажный балтийский ветер сдувал меж тем пыль с простой каменной плиты над могилой первого политического узника, захороненного в Шлисельбурге. На плите замысловатой старославянской вязью было начертано:

«На сем месте погребено тело князя Дмитрия Михайловича Голицына, в лето от Рождества Христова 1737 месяца Апреля 14 дня, в Четверток Светлые недели, проживе от рождения своего 74 года преставился».

Юрий Нагибин
КВАСНИК
И БУЖЕНИНОВА

Повесть







Известно, что от мелких причин бывают грозные последствия: птичка чиркнула крылом по снегу — и лавина устремилась с горы, круша все на своем пути. А бывает, когда маленькая жизнь скромного бытового человека направляется и ломается историческими событиями, к коим он ни сном, ни духом не причастен.

Внук знаменитого временщика и полюбовника царевны Софьи, князя Василия Голицына, Миша увидел свет в затерянной посреди архангельского безлюдья деревне Кологоры, куда его опальный дед со всем семейством был сослан царем Петром. Поначалу Голицына сослали не столь далеко, в городок Каргополь, но едва он туда прибыл, власти одумались и отправили дальше — в Яренск, забытую богом зырянскую деревушку, но и здесь князь не задержался: извет Шакловитого о тайных сношениях его с Софьей, заключенной в монастырь, еще более отягчил судьбу изгнанника и привел на край света — в Волоко-Пинежскую волость.

Отец Миши Алексей Васильевич быстро извелся в нужде, пустоте и мраке полунощного края и отдал душу богу; мальчика воспитал дед, явивший неожиданную в баловне счастья стойкость духа и телесную выносливость. Человек для своего времени весьма сведущий в науках, передовой по мировоззрению, он отменил местничество и одним из первых взгляделся в Европу, но не узнал в юном Петре государя, за которым следовало пойти, как и Петр не угадал сподвижника в Софьином фаворите — Василий Васильевич дал любимому внуку образование, какого тот не получил бы и в Славяно-греко-латинской академии, куда, впрочем, княжичей и не отдавали. Он обучил смышленного мальчика не только грамоте, счету, истории, гео-

графии, закону божьему, но и древним языкам, коими владел свободно, а также начаткам немецкого и французского, уловленным на слух в Кукуе, где охотно бывал.

Потеряв сына, князь Василий всей любовью, страхом и надеждой сосредоточился на внуке Мише. Но сильное чувство не мешало прозорливости. Мальчик нравился ему смышленостью, ровным характером, легкостью, с какой переносил лишения — впрочем, нельзя чувствовать себя лишенным того, чем не владел, — и доверчивой привязанностью. Нравилось и то родовитое, что проглядывало сквозь бедную, почти крестьянскую одежку в фигуре внука и в осанке, коли приложимо к подростку такое слово. Внук не унаследовал ни тонкой красоты деда, ни скромной пригожести отца; широкое, щекастое, крутособое лицо с карими теплыми глазами могло бы показаться простоватым, не выпирай так отчетливо порода: круглая голова прочно и прямо сидела на широких плечах, крутая грудь, чуть тяжеловатый стан, стройные крепкие ноги — все обещало вылиться в презентабельную наружность настоящего русского барина. Но чувствовал князь Василий, что внуку не хватает характера, и это его горестно тревожило. Его сын был слабым человеком, потому и сломался так быстро, сам князь лишь в ссылке явил мужество смирения. А так — у старика хватало внутренней честности признаваться себе в этом — недоставало ему воли и упорства, необходимых для государственного человека. Он почитался некоронованным царем России, но обязан был этому лишь Софьиной любви. Он мог не уничтожать местничества, не подписывать долгожданного вечного мира с Польшей, не вынашивать великих государственных реформ; Софье достаточно было его взгляда из-под длинных пушистых ресниц, прикосновения легких и крепких рук, забытья в его объятиях. Но и здесь потерпел князь чувствительный урон. Поддавшись честолюбию Софьи, дал вовлечь себя в злосчастные крымские походы, хотя знал, что нет у него ратного дарования и беспощадности, необходимых для войны, а тем временем наглый и ловкий Федька Шакловитый занял его место, пусть не в сердце мужеподобной и сладострастной царевны, а в постели. Подавленный двойным бесчестьем — в ратном и любовном делах (за первое его увенчали незаконными лаврами, за второе — рогами), он согласился против воли в отчаянную минуту на устранение Петра, чем и подписал себе приговор. И ведь знал же, знал, несчастный, что служит неправому, черному делу. Возьми

верх Софья — и Россия осталась бы в своем душном беспробудном сне. И тогда все попытки сбросить вошучий вшивый тулуп, укрывший с головой русское тело, ни к чему бы не привели.

А будь он сильным человеком, как и положено государственному мужу, то бросил бы заведомо проигранную игру и перешел бы на сторону Петра, да не хватило духу.

Когда князь Василий понял, что не может переступить через себя не из-за любви, давно погасшей, а из благодарности Софье, то пошел до конца за неверной возлюбленной, незаконной претенденткой на шапку Мономаха, преступной сестрой и возмутительницей государственного порядка. А место ему было при Петре. Он не мог быть ни правой, ни левой рукой царя, да и было у того рук, что у индийского бога Шивы, но мог быть при его уме. Это неправда, будто Петр сам все решает, никаких советов не слушает. Царь с детских лет ко всему прислушивался, и приглядывался, и мотал на пробивающийся ус. Как некогда Голицын, он повадился в Кукуй, чтобы набраться сведений и знаний у бывалых иноземцев. Петр сделал адмиралом пройдоху и пьяницу Лефорта — тот не мог устоять на палубе даже в штиль, — потому что ценил его умную голову. Но не хватило князю Василию характера, и похоронил он свои как бескорыстные — ради общего русского дела, так и честолюбивые — во славу рода — мечты. Наверное, в сознании неотвратимости всего содеянного и коренилось спокойствие князя, которое окружающие принимали за мужество, впрочем, есть ли тут какое различие?..

А может, что ему не удалось, выпадет внуку? Не станут же ни в чем не повинного юношу век тут держать. Небось простят и семейство, как только уйдет из этого мира осужденный глава, и вернут в Москву. Но была и подспудная мысль: авось Мишу раньше вызовут в столицу для участия в государевой заботе. Царю нужны молодые шляхтичи для службы в армии и на флоте, на верфях, рудниках, при прокладке каналов и дорог, в приказах. Людей не хватало, их зазывали из-за границы. Русь очнулась, стронулась с места, но двигаться могла лишь усилиями своих сынов. Если б старый князь не надеялся на скорую перемену в Мишиной судьбе, он поторопил бы свой уход, дабы не мешать внуку. Это грех, но страха божьего князь не ведал, он знал — все зло от людей. Уж больно хотелось поверить, что не засохнет их ветвь, вон

другие Голицыны в большом фаворе при царе состоят и все вверх тянут.

Мишенька умный, а что не зубаст, так восполнит прилежанием, радением о государевой пользе, и притом он, потомок Голицыных, может позволить себе не толкаться, не работать локтями и не кусать исподтишка соперников. Про себя Василий Васильевич знал, что на любом попреще для успеха одного лишь прилежания недостаточно, надо уметь пускать в ход зубы, а иной раз напрочь рвать другим горло, если фортуна сама не выберет тебя в любимчики, да уж больно хотелось ему славы и успеха для Мишеньки, в этом видел он оправдание своей незадавшейся жизни.

Миша в самом деле прославится, но совсем на иной манер, нежели мечталось опальному временщику. Слава его прогремит по свету, о нем будут слагать стихи еще при жизни, писать пьесы, он станет героем оперы и того нового призрачного искусства, появление которого не мог предвидеть его дед. В энциклопедических словарях будет он стоять отдельно от всех Голицыных: остальные и сам Василий Васильевич, тягавшийся с царем, и славный Голица, давший имя роду, и все воители, все государственные деятели пойдут в одной рубрике ГОЛИЦЫНЫ, один Мишенька — наособь. Эту честь он заслужит, явив в своем лице величайшее унижение человека, до которого доводило когда-либо самодержавие «нижайших рабов своих», — так подписывался в посланиях к Елизавете Петровне знаменитый философ Иммануил Кант, став на короткое время подданным императрицы.

Но все это ждало Мишу в далеком будущем. А покамест и самому причудливо-злому воображению не могло представиться, что под хмурым пинежским небом добродушный, румяный не по климату, неглупый и смирный юноша зреет для столь удивительной и редкой участи. А рядом с ним тихо угасал выдающийся, с несостоявшейся судьбой деятель России — первый среди тех, кто, играя в большие, грозные игры, где ставка — человеческая голова, определил ужасную судьбу своего внука, скромного человека, желавшего играть лишь на орешки в семейном кругу...

Надежда изгнанника оправдалась: когда Миша достиг юношеского возраста, его затребовали в столицу. Как ни больно было старому князю расставаться с последней привязанностью — к остальной семье относился с прохладной ласковостью, — он был счастлив. А внук, похо-

же, не разделял этого чувства. Миша испытывал грусть не только от разлуки с дедом, было жаль оставлять суровую и милую землю, ведь он иной не видал.

В самом нежном возрасте он просто не понимал, что семья его живет совсем не так, как ей следовало бы по знатности и заслугам предков. Подобно всем местным мальчишкам, Миша радовался каждодневному бытию: летом — солнцу и птицам, осенью — морошке и клюкве, зимой — снегу, санкам и небесному сиянию, весной — близости короткого северного лета. Он рос на деревенской улице, а в непогожие дни сидел в теплой избе, что-то мастерил из щепочек и палочек, слушал сказки. И до чего ж вкусна была сырая семга и прихваченная морозцем клюква!

Позже он узнал, что его семье надлежало жить не в глухой деревушке на краю света, под надзором, а в палатах каменных или богатой усадьбе, в окружении многочисленной челяди. Потерянный далекий и прекрасный мир представлялся довольно смутно, но тревожил воображение, впрочем, не настолько, чтобы в мальчике зародилась навязчивая, болезненная мечта об утраченном великолепии, о Москве белокаменной, — не мог говорить о ней без слез старый князь. В их северном пустынном крае тоже было неплохо.

В тревоге юношеского созревания Миша стал чаще и томительнее думать о том, что скрывается за краем видимого пространства. Но вяловатая душа мальчика оставалась чужда честолюбию и мятежным порывам. Да, дед велик был в дни фавора, всю державу русскую под себя подмял, а чем все кончилось? С большой высоты падать больнее, хотя дед никогда не жалуется на судьбу. «Мог бы я стать царю первым помощником в его великих делах, — говаривал князь Василий, — ибо теми же глазами глядел на будущее Руси, те же вынашивал замыслы, да господь иначе рассудил. Послал мне наказание за мои грехи». — «А в чем твои грехи, дедушка?» — отважился раз спросить Миша. «Много их... А худший — злоумышлял я против царя», — сказал старик и замолчал, и никогда к этому разговору не возвращался.

Юность склонна к самообольщению. Но тут обольщалась пустой мечтой старость. А Миша не связывал особых надежд с той жизнью, которую знал только по рассказам, которая издали влекла его, но пуще страшила. Он, не видевший больших людных селений и путных домов, робел перед городом с его величественными собора-

ми, высоченными колокольнями, каменными палатами, многолюдством, толчеей, шумом и ежился при мысли о важных, нарядных, самоуверенных господах, среди которых придется жить, пусть он знатнее многих из них. Миша не представлял себе ни этой будущей жизни, ни службы и даже не знал, чем бы ему хотелось заняться. В рассказах деда его больше всего грели довольно скудные и пренебрежительные упоминания о подмосковной вотчине с огромным садом, прудами, с библиотекой и картинами на стенах. К этому примечывалась молодая хозяйка и всякая прелесть, думать о которой зазорно и раздражительно. Но вотчина давно отошла к другой ветви Голицыных, что были в чести у государя и вовсе не собирались уступать нагретого места впуку изменника. Как обычно бывает, жизнь сама распорядилась, о собственных намерениях юноши никто и не спрашивал.

Не успел Миша ни оглядеться в Москве, ни оробеть больше той робости, что уже жила в нем, как его доставили перед лицо царя. И тут Миша не испытал ни страха, ни какого-либо враждебного чувства к повелителю, сломавшему жизнь его семье. Дед сам говорил, что несет кару за свою вину перед царем, а он, Миша, ни в чем не виноват, ему бояться нечего. Впрочем, логический расчет ни при чем, просто он не боялся — и все!

Было время, когда самодержец пытался прощупать направляемых для обучения в чужие земли юношей по части грамоты, счета, географии и славных деяний предков, но вскоре от такой проверки отказался, убедившись, что ни один кандидат дальше псалтыря в науках не двинулся. Теперь Петр рассчитывал лишь на пронизывающую силу своего взгляда. Он заламывал юноше чуб на темя и вперялся в глубь зрачков, пытаясь вычитать там ценность подданного. К чести юных шляхтичей, они стойко выдерживали темный мерцающий взор царя, открывая ему небесную прозрачную голубизну младенческого идиотизма. Но пить они начинали уже в каретах или возках, задолго до пересечения русской границы и не оставляли сего занятия во все дни обучения в Сорбонне, старых университетах маленьких немецких городков, амстердамской или лондонской навигационных школах. И все-таки многие из них научились в чужеземных странах не только танцам, поклонам и всякому светскому обхождению, но и полезным предметам: иностранным языкам, математике, словесным наукам, международным тонкостям для посольских дел и практическим занятиям

по судостроению, вождению кораблей, строительному и рудному делу.

Как всегда, хотя и с бóльшим, нежели обычно, интересом Петр впился в глаза юноше. Затем, желая поглубже погрузить взгляд в зрячие колодцы испытуемого, схватил Мишу за чуб и запрокинул ему голову. Голицыну было неловко и стыдно за царя, ни с того ни с сего причиняющего ему боль. Он улыбнулся Петру: дескать, ничего, вытерплю.

— Чему обучен? — отрывисто спросил Петр, не ослабляя хватки.

Голицын ответил подробно.

— И латынь знаешь? — недоверчиво спросил Петр.

— Знаю, государь. Могу читать, писать и разговаривать.

— С кем? — хохотнул Петр, но лицо оставалось жестким, а взгляд темно и грозно пронизывающим. — Ты что, пустоверскую академию кончил?

— Дед был моей академией, государь.

— Изменник? — И Петр так сжал в кулаке волосы Голицына, что у того заслезились глаза.

Голицын не ответил.

— Овечкой небось прикидывался? Меня во всем виноватил?

— Нет, государь, всю вину на себе считал.

Петр сказал задумчиво:

— Он умный, твой дед... Кабы за Софьин подол не цеплялся... Ладно, поедешь в Париж, в Сорбонну.

И перед недавним обитателем волоко-пинежской пустоты развернулись парижские виды. Жизнь Миши в ту пору мало чем отличалась от жизни любого парижского студента, но значительно разнилась от жизни тех соотечественников, которые тоже проходили курс наук в одном из старейших европейских университетов. То были юноши из состоятельных семей, получавшие от родителей щедрое содержание. Они жуировали вовсю, манкировали лекциями, чередуя светские и полусветские удовольствия с вульгарными попойками, единственно для увлажнения горла, которое могло вовсе ссохнуться в стране сухих и полусухих вин.

Князь Голицын, не будучи приучен к вину в самые восприимчивые лета, выпивки чурался, он много читал, усердно посещал лекции, ходил в Оперу и французскую комедию, конечно, не в ложи и не в партер, прогуливался по аккуратным французским садам и паркам, наслаж-

даясь не столько их расчисленной красотой, сколько дивными мраморными скульптурами в аллеях, изображавшими античных богов и героев, имел — за весь курс — две три скромные связи, обнаружив серьезность и верность, весьма непривычные для легкомысленных француженок.

Почти так же — трудолюбиво и скромно — будет жить в Париже другой русский юноша, о котором Петр произнесет прозорливые слова: «Вечный труженик». Он будет с тем же старанием учиться, корпеть в библиотеках, надсадно вызывать примадонн с галерки Парижской оперы, восхищаться скульптурами в парках, дворцах, всем красивым и утонченным, чем в избытке обладал Париж, но распорядится накопленным богатством удачнее Миши, что при этом не принесет ему счастья. Этот усердный и одаренный юноша, став зрелым мужем, приложит руку, хотя без охоты, из-под палки — в прямом смысле слова — к великому издевательству над Михаилом Голицыным, обессмертив его в похабных и ужасающих по бездарности стихах, хотя ему удавались и звонкие, чистые песни. Так переплелась жизнь двух парижских — русско-го происхождения — студюозусов разных лет: Михаила Голицына и Василия Третьяковского.

По родине юный Голицын не скучал, ибо старая родина — Кологоры — при всей нежной памяти о ней уж слишком проигрывала в сравнении с блистательной Лютецией, а к новой, недавно дарованной — Москве — он не успел привыкнуть, привязаться сердцем. По деду скучал, но приучал себя не думать о нем, зная, что больше с ним не встретится.

Если он раньше жил в пространственной пустоте, но в душевном угреве, то сейчас в густоте одушевленного и вещественного мира пребывал с незаполненной душой: веселые подружки, так любившие недорогие перстеньки, брошки и просто золотые монетки, могли дать лишь короткое тепло своего юного, ловкого, умелого тела, не больше. Но князь верил, что по окончании курса он получит служебное назначение скорее всего при одной из наших иностранных резиденций и тогда устроит всерьез и свой дух, и свою плоть.

Вопреки ожиданию по выходе из стен университета он был отозван домой и зачислен малым чином в военную службу, в захудалый армейский полк. Похоже, кому-то сильно не хотелось, чтобы внук опального временщика оказался близок ко двору и, глядишь, пошел бы в гору. Даже полуобразованные люди были нарасхват в петров-

ской Руси, а тут пренебрегли выучеником лучшего университета Европы.

Многие дворяне считали, что военная служба — кратчайший путь к успеху, но это не в случае с Михаилом Голицыным.

В роду Голицыных строго разграничивались дарования: были Голицыны-воины и Голицыны — государственные мужи, между ними находились Голицыны-баре, склонные к роскошной жизни, изящным искусствам и проживанию больших состояний. Мой скромный герой принадлежал, несомненно, к третьему типу Голицыных. Баре-байбаки-эстеты Голицыны порой достигали временного успеха в дворцовой или государственной службе, но Михаил Голицын этой возможности не имел. Отдаться же своей прямой склонности — сибаритству — тоже не выходило: надо служить, да и пуст карман. А к воинской трубе он был положительно глух.

В армейской службе оказались вовсе не нужны все приобретенные им знания, глубоко изученные языки, мудрость прочитанных книг, воспитанный на изящном вкус, безукоризненные манеры. Требовались качества прямо противоположные, которых Голицын был напрочь лишен: решительность, жестокость, грубость, умение беспрекословно подчиняться высшим и беспощадно давить низших. Все это было чуждо его натуре, он не снискал благоволения командиров, симпатий товарищей и благодарности низших чинов, державших его за придурка. Солдатам было ни тепло ни холодно от его бессильной доброты; пусть он сам держал руки на привязи, за него зверовали другие офицеры. Выходило так на так.

Неизвестно, в каких он участвовал кампаниях и как проявил себя в деле, лавров, во всяком случае, Голицын не стяжал. Его чело украсит в свой час иной венок: из капустных листьев, пучков редиски, петрушки и огородных сорняков. Но это позже, когда житейский путь будет пройден почти наполовину.

Голицын жил чужой жизнью, пустота внутри все ширилась, и, чтобы хоть как-нибудь ее заполнить, он женился. Впрочем, тут отсутствовал волевой жест, он позволил себя женить на помещичьей дочери, засидевшейся в девках. За женой взял он приданое — справное именье, но армейская служба помешала свить гнездо. Походная жизнь уводила его прочь от дома, где ж тут было привязаться к жене и детям!

Голицыну было около сорока, но дослужился он толь-

ко до майора, в то время как его сверстники ходили в полковниках и генералах. Знатные люди быстро поднимались в чинах, ибо начинали не с нуля, их зачисляли в военную службу, когда они еще размахивали игрушечной сабелькой. У Михаила Алексеевича подобного преимущества не было. Он покорно тянул армейскую лямку, поняв, что внуку волоко-пинежского изгнанника хода не дадут, покорно принял смерть жены, покорно уступил детей опекунству ее родителей, а в смутные дни, наступившие за кончиной Петра, вышел в отставку. И это не было волевым жестом, он просто выпал из армии, как лишний гриб из кузовка. И тут Голицын наконец очнулся от сонной одури и чего-то захотел. Трудно сказать, чего именно, — характер у него был смятый, что объяснялось условиями, в каких он родился и вырос, он не смел чего-либо желать и уж подавно заявлять вслух о своем желании. Добрые люди научили его отпроситься в Италию для поправки застуженного в бивуачной жизни здоровья. Разрешение было получено, и он укатил во Флоренцию, снова одинокий, свободный и не знающий, что с этой свободой делать.

На берегах Арно Голицын довольно скоро понял, как распорядиться своей свободой, — надо поскорее от нее избавиться. Отдав дань несравненной архитектуре — соборам, дворцам кунцов и герцогов, старому баптистерию, дивному куполу Брунеллески, венчающему собор Санта-Мария дель Фиоре, галерее Уффици, — равно и нынешней прелести живого, кипучего торгового города с золотыми рядами на мосту через тенистую, пахучую и живописную реку, потолкавшись в густой веселой ночной толпе, он снял чистый — по итальянским меркам — флигелек дома на окраине города у виноградаря, содержавшего небольшую тратторию тут же рядом, и поспешил влюбиться без памяти в его младшую дочь Лючию. В деревенском пригороде Флоренции ее отец считался богачом и был исполнен к себе немалого уважения. К русскому князю он относился в меру любезно, но без малейшей угодливости и даже почтительности. Голицына скорее забавляло, нежели сердило самомнение винодела-трактирщика, которого он шутливо называл про себя будущим тестем.

Михаил Голицын мог по праву считаться мужчиной в самом соку, но все-таки разница лет между ним и любимой угнетала, сковывала и без того нерешительного князя. Лючия, смуглая, темноглазая, белозубая девушка, ни-

чем не отличалась от других смазливых итальянок, способных вызвать мгновенное желание, исчезающее без следа, стоило отвести взгляд. Но, видимо, чем-то все-таки отличалась, если впервые в жизни Голицына охватила страсть. Он и не подозревал, что способен так воспламениться.

Подобным взрывом страсти некогда пленил коренастую грубоватую Софью князь Василий Голицын, причем оба так никогда и не догадались, что то была страсть честолюбца и реформатора, вдруг узревшего кратчайший путь к осуществлению грандиозных замыслов. В то мгновение, когда князь Василий осознал, что это мясистое лицо с тяжелыми серыми глазами, эта бесформенная плоть и неожиданно маленькие красивые руки, эти увядшие волосы и густые шелковистые брови вольны дать ему все, чего захочет ненасытная жажда свершений, его пробил дрожь, сообщившаяся Софье и кинувшая их друг к другу навсегда. Никому не разъединить было нашедших одна другую в сумятице мироздания половинок единой сути. Князь все понимал про нее. Софья могла ему изменять с топорным и сильным Шакловитым, когда его не было рядом, — князь Василий сам разбудил в ней чувственность, неподвластную воле; но мечталась ей в медвежьих объятиях стрелецкого вожа о худом узком теле Голицына, его пронзающем до сердца жаром, и когда он возвращался из ненужных походов, большого размашистого Шакловитого будто шапка-невидимка накрывала — Софья его не видела. Жгучая память об их первом соединении была так сильна в ней, что она не заметила, не почувствовала его остуди. Про себя самого князь Василий понимал куда меньше, чем про Софью; недостающей ему половинкой была вовсе не царевна, а его собственная жена.

Внук князя не подменял одного чувства другим, и его страсть была неподдельна и, как всякое сильное, искреннее, излучающееся из сердца чувство, не могла не затронуть молоденькой итальяночки. Голицын слова ей не сказал, лишний раз взглянуть боялся, а девушка знала, что важный русский барин без памяти влюблен.

Охваченный испепеляющей страстью, Михаил Алексеевич мечтал о тайных уладах любви, но никак не о радостях законного брака. Подобный мезальянс просто не приходил на ум. Гедиминович, внук негласного правителя России, аристократ с головы до пят, не мог взять в жены дочку крестьянина-корчмаря, как бы ни цвел ее юный рот, какие бы волны ни исходили от смуглого гибкого

тела. Этого бы просто никто не понял. И потом разница в годах; через десять лет он будет стариком, а она только вступит в самый опасный женский возраст. Ночью Голицын ворочался без сна, прикидывая, какую сумму предложить отцу и какие драгоценности преподнести ей, чтобы избавиться от неутраченного жжения в груди и всех других беспокойств. Он попробовал сделать Лючии подарок: брошку с гранатами, которую приобрел за сходную цену в золотых рядах над Арно. Она засмеялась, приколола брошку к полупрозрачной ткани, прикрывающей легко дышащую грудь, чмокнула его дочерним поцелуем в крутой вспотевшей лоб и вернула драгоценность. «Я не могу принять такого дорогого подарка». Никакие уговоры не помогли. «Отец убьет меня». Это было явным преувеличением, и Голицыну подумалось, что путь к корсажу дочери ведет через карман папаши, глубокий карман в холщовых штанах, где покоилось множество вещей: часы, ключи от винных подвалов, штопор, кисет с табаком, трубка и кресало, молитвенник, шприц для вытягивания винных проб, какие-то маленькие инструменты, складной нож и серебряные монетки. Усидев с ним три оплетенных бутылки «Кьянти», Голицын осторожно дал понять, что мог бы прекрасно обеспечить Лючию. Старик заинтересовался, что он имеет в виду. Виллу на ее имя в любом привлекательном месте Италии, банковский счет, коляску, лошадей, кучера и служанку. Трактирщик слушал благожелательно, попыхивая трубочкой и отмечая кивком каждый из посулов, потом спокойно заявил, что все хорошо, недостает лишь малости: божьего благословения. Если князь способен выдержать маленький церковный обряд, то пусть забирает Лючию, хотя и негоже ей опережать старших сестер.

Человек более решительный и предприимчивый, чем Михаил Алексеевич, наверное, не придавал бы большого значения болтовне зазнавшегося корчмаря и постарался бы объяснить ему, какая пропасть разделяет знатнейшего русскому вельможу (не беда, что он от сохлой ветви могучего голицынского древа), богача (для итальянцев все русские — баснословные богачи) от миловидной флорентийской простолюдинки; мог бы подействовать на корыстолюбие старого крестьянина, посулив ему хороший куш на расширение дела, или попытался бы соблазнить Лючию, не оставшуюся безразличной к его влюбленности, — дородный, породистый и простодушный князь нравился женщинам; он мог, наконец, что было не ред-

костью в Италии, похитить Люцию с помощью наемных удальцов, но все эти отважные и дерзкие замыслы были не по плечу Михаилу Алексеевичу; даже охваченный страстью, он оставался человеком с деликатной душой.

И Голицын согласился на женитьбу, сделал по всей форме предложение, которое было милостиво принято, правда, с одним непременным условием, чтобы он перешел в католичество: за человека другой веры Люция не пойдет. Все его уверения, что у русских это не положено и может привести к тяжелым последствиям, оказались напрасны. Равно было отвергнуто предложение о принятии невестой православной веры. Старый трактирщик был фанатичным католиком, а Люция — послушнейшая из дочерей.

Тяжело менять веру, хотя Михаил Алексеевич не отличался религиозностью, как и его вольнодумный дед. Тот, правда, учил внука закону божьему, но в святой вере не настаивал. Дряхлый кологорский попик, что-то брусивший в тихом безумии, и вечно пьяный дьячок не могли привить ему уважения к церкви. Да и после Голицын ходил в храм по обязанности, проборматывал положенные молитвы, не вдумываясь в их смысл и ничуть не уповая на помощь небесную. И коли такая отвлеченность вторглась между ним и любимой, то можно сменить религию, хотя всякая измена была ему не по душе. Он настаивал на одном: чтобы все произошло без лишнего шума. И обращение, и свадьба. Капризный кабатчик и тут было заартачился, поняв уже, что из князя можно веревки вить, но Голицын испугал его, сказав, что это грозит лишением состояния, если во дворе сведуют о его веротступничестве. Будущий тесть согласился, потому что звонкую монету ставил выше своего католического усердия и крестьянского тщеславия. Все было сделано тихо и чинно, без вульгарного простонародного шума.

Положа руку на сердце, Голицын не без тайного удовольствия решил на дерзкий и крайне опасный по тем временам шаг. Ему захотелось хоть раз в жизни совершить свой поступок. До этого им безраздельно распоряжалась чужая воля, решавшая, где ему жить, чем заниматься, даже женитьба, выход в отставку и поездка в Италию были также ему подсказаны. Конечно, и к перемене веры его принудили, но этим оплачивалось счастье, а главное, тут был вызов, пусть тайный, тому по-

рядку, который угнетал его всю жизнь. Он впервые почувствовал себя человеком, способным на самостоятельный жест.

Потекли дни безоблачного счастья, увенчавшиеся рождением очаровательной смуглой кареглазой дочки. И Михаил Голицын, безвинный узник, игрушка в руках царя, нищий сорбоннский студент, армейский тусклый офицер, полубарин в неуспевшем образоваться семейном доме, лишенный отцовства вдовец, узнал, что такое счастье. Он вложил кое-какие деньги в дело тестя и целиком отдался своей запозднившейся первой любви.

Он купил славный домик, увитый диким виноградом, с небольшим благоуханным садом, по которому пробегал звонкий ручеек, приобрел музыкальные инструменты — у него был хороший слух, он легко научился играть на клавесине, лютне и флейте, а Лючия мило пела низким, трогательно не идущим к ее летучей стати голосом. Страсть Голицына не только не утихла, но разгоралась все ярче, он похудел, загорел, красиво и гордо сидела крупная голова на широких русских плечах. Счастлива была и Лючия.

Он совсем забыл о России, но Россия помнила о нем. О, этот памятный разум государства, способный не забывать и о ничтожнейшем муравье из своей муравьиной горы, если тот помечен знаком неблагонадежности! Но далекая родина до поры молчала, занятая совсем другими, большими и тревожными делами. Такими серьезными делами, что, не оборонись старина руками молодого поколения, и Россия получила бы новую институцию, ограничивающую самодержавие. Многие видели в затее олигархов-верховников прообраз русского парламента. И снова это сотрясение империи, едва не приведшее к катаклизму, роковым образом отразилось на судьбе скромного, тихого человека, не державшего в душе иной заботы, кроме своей любви. Настывший в архангельской студии и армейском палаточном прозябании, Голицын самозабвенно грелся и никак не мог отогреться под жарким солнцем Италии.

После дворцовой чехарды — на трон сначала взошла волей и дерзостью Меншикова поднятая Петром из ливонской грязи Марта Скавронская, нареченная Екатериной, затем после внезапной ее смерти — законный наследник, царев внук Петр II, тоже не задержавшийся надолго, умерший в одночасье, что помешало пронырам Долгоруковым возвести на престол обрученную с ним

девицу из своего дома — за дело взялись верховники, члены Тайного верховного совета во главе с решительным, умным, но политически близоруким князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, и пригласили на престол герцогиню Курляндскую Анну, ограничив ее права «кондициями» — условиями. Она была дочерью старшего брата и соправителя Петра, полуидиота Ивана Алексеевича. Вернее сказать, считалась дочерью, ибо недееспособный Иван не мог вздыбиться на любовь, он даже свет божий зрил, лишь приподымая пальцами застятые веки. Анна, как и две ее сестры, была нагульным ребенком царицы Прасковьи — блудливой святоши. У Анны не было преимущественных прав на престол, но Дмитрия Михайловича Голицына устраивало, что она вдова, к тому же самая бедная, несчастная и бессильная из всех возможных претендентов на престол, стало быть, окажется игрушкой в руках верховников.

Анна Иоанновна, не любимая матерью, потерявшая мужа вскоре после свадьбы, третируемая царственным дядей, не признаваемая курляндским дворянством, влачила существование жалкое, почти нищее. Петр приказал отпускать ей на жизнь ровно столько, чтобы не дать помереть. К тому же к ней был отряжен в Митаву для пристального догляда гофмейстер Петр Бестужев. Догляд она чуть ослабила, сойдясь с честолюбивым интриганом. Когда Бестужева на время отозвали, у нее оказалось утешение более душевное: мелкий дворянин, искатель фортуны Бирен, недоучившийся студент — курс наук завершился для него побоями, которые нанесли ему корпоранты за дрянной, низкий характер и нечестность, — неудачливый карьерист — попытки пристроиться при русском дворе завершились опять-таки избиением. Дважды битый Бирен держался гордо, был высок ростом, превосходно сложен и красив, несмотря на длинный острый нос. Он пристроился конюшим при герцогине Курляндской, взяв на себя заботу о жалких одрах, на которых она передвигалась. Давно пережившая свою весну, Анна влюбилась до умопомрачения в красавца лошаадника. Войдя в фавор, Бирен первым делом присвоил себе старинную княжескую фамилию Бирон, которую в ту пору с блеском носил знаменитый французский маршал, прославившийся на полях сражений и еще больше на ристалищах любви.

Анна Иоанновна, счастливая на любых условиях избавиться от гиблого курляндского заточения, без звука подмахнула кондиции, составленные князем Дмитрием

Голицыным при вялом участии титулованных сподвижников, которые не шли за ним, а влачили на аркане маленькой, сухой и властной рукой прирожденного диктатора. Среди условий было одно страшное для Анны Иоанновны: не брать с собой в Россию конюшего Бирона — единственную отраду, Кукленка, пропахшего навозом, лошадиной мочой и потом, — для Анны Иоанновны эти дурманы были пленительнее всех дразнящих парижских благовоний. Чудовищное насилие над ее душой и плотью придало ей необходимую смелость и решительную минуту жизни.

Анна Иоанновна отправилась в Москву, куда при Петре II перетащили столицу, а Бирон тайно пробрался в Петербург и спрятался в дворцовых конюшнях, где почувствовал себя как дома. Харчишками он запаса, воду лошадям приносили, а спать под боком у кобылы — что может быть лучше!

Пока Бирон находился в стойловом содержании, произошла трагикомическая история рождения и смерти в колыбели российского «парламента». Но вождь этого обреченного на провал движения не был смешон. Заурядный военачальник и крупный администратор петровской эпохи, ушедший в тень в дни засилья Долгоруковых, Дмитрий Голицын смело выступил на авансцену истории, когда Россия вновь осталась без царя в голове. Неурядицы, интриги, произвол временщиков, полное небрежение делами, забвение петровского наследства, алчный цинизм и распад тех, кто когда-то делал историю, привели страну в полное расстройство. Если б не страх, внушенный Петром исконным врагам России, могла повториться страшная заваруха Смутного времени.

В этих обстоятельствах, когда надо было действовать быстро, отважно и решительно, Дмитрий Голицын явил волю настоящего вождя. Но одно — растормошить вялых, тянущих каждый в свою сторону сподвижников, составить сильный документ, даже принудить будущую государыню к согласию на ограничение власти, и совсем другое — повернуть колесо истории. Для этого у Голицына не оказалось прежде всего понимания тех глубинных движений и перемен, которые неотвратимо творились под пеной внешней российской жизни. Не обойденная верховниками знать, не вмешательство гвардии сорвали планы Голицына, а впервые выступившее как единая сила дворянство, не учитываемая до сих пор в государственных расчетах часть привилегированного российского населе-

ния. Это они, шляхтичи, служилые люди царя, испугавшись, что вместо одного фаворита получат десяток крутохватов на шею, и вовсе не желая идти опять под боярскую руку, ударили челом Анне, чтобы она разорвала кондиции. Государыня не могла устоять перед единодушным гласом своих подданных и публично разорвала в ключья бумагу Голицына.

После этого она поспешила в Петербург, в конюшню к милому, которого нашла обхудавшим, в кислом настроении, перепачканным с ног до головы навозом и сеной трухой. Она ничего не сказала, только издала тихое нутряное ржание, похожее на глубокий, со дна желудка, хохоток. Он мгновенно все понял и ответил ей мощным всхрапом, заставившим всех кобыл в стойлах тревожно забить копытами. Так началось правление и счастье Анны Иоанновны, а верноподданное дворянство, подарившее ей самодержавную власть, вместе со всей Россией получило бироновщину.

Дмитрий Михайлович Голицын не ошибся, отпев свое дело такими словами: «Пир был готов, но гости были недостойны его! Я знаю, что я буду его жертвой. Пусть так — я пострадаю за отечество! Я близок к концу моего жизненного поприща. Но те, которые заставляют меня плакать, будут проливать слезы долее меня». Провидческие слова, но едва ли он думал, что самые горючие слезы, хотя они никогда не выкатятся из глаз, омывая внутреннее лицо, будет проливать его внучатый племянник, ни сном, ни духом не причастный к делам верховников и узнавший о них с большим запозданием. Анна Иоанновна не посмела тронуть влиятельнейшего среди старой знати князя Дмитрия и даже назначила его членом восстановленного в своих правах Сената, никакой роли в государственном управлении не игравшего. Но князь в Сенат почти не являлся, проводя все время среди книг, картин и статуй в своей подмосковной вотчине — селе Архангельском.

Анна затаила против него лютую злобу и только ждала случая, чтобы свести счеты с человеком, едва не вырвавшим из ее рук абсолютную власть и, что еще хуже, пытавшимся разлучить с любимым. Случай такой представился в 1736 году: Голицына примазали к некрасивой тяжбе его зятя Константина Кантемира с мачехой, вдовой молдавского господаря, угодливо отыскивали вину и присудили к смертной казни. Но и тогда императрица не решилась пролить кровь и всемиловейше заменила

казнь заточением в Шлиссельбургскую крепость. Имущество было конфисковано и, как обычно в подобных случаях, ушло к Бирону, уже получившему стараниями Анны титул герцога Курляндского.

Примерно в это же время вспомнили о подзадержавшемся на лечении Михаиле Алексеевиче. Случайно ли это произошло или хотелось иметь под рукой всех членов подозрительной фамилии, сказать трудно. Голицынское древо так разрослось, что не счесть ветвей, но все же род переживал упадок: крупных людей произвели, а дети их еще не вошли в возраст, другие сами померли, третьи были вроде Михаила Алексеевича оробевшие. На виду оставался лишь один Голицын, столь далекого ответвления, что мог считаться скорее однофамильцем, нежели родней опальных Голицыных.

Послушный Михаил Алексеевич вернулся со всей возможной поспешностью, захватив с собой жену и ребенка, хотя внутренний голос подсказывал ему, что делать этого не следует. Да уж больно пригрелся он возле них, и непосильным казался холод нового одиночества.

Доложившись о приезде, Михаил Алексеевич избрал местожительством Москву, подальше от двора, а жену с дочкой схоронил в немецкой слободе. В долгом путешествии от берегов Арно до Москвы-реки и Яузы он достаточно наслушался о всех событиях, сопровождавших вступление Анны на престол, и о том, что беспокойный род его снова покрыл себя ненужной славой и что странной правит курляндец Бирон, не занимающий никакого поста, но владеющий сердцем императрицы. Много чего еще услышал Михаил Алексеевич и сильно опечалился. После князь сообразил, что человек он маленький, отставной, никому не мешает, состоянице у него незавидное, дай бог с семьей прокормиться, ни в каких интригах и заговорах сроду замешан не был, а в тревожную для государства пору дегустировал вино в подвалах тестя и с верховником Голицыным даже не был знаком.

Михаил Алексеевич обладал малым опытом российской жизни, знал ее больше по рассказам деда да по скудным наблюдениям во время гарнизонного стояния своего полка в провинциальных городах. Не было у него и друзей закадычных, которые могли бы просветить его насчет отечественных порядков, а главное — насчет опасностей, и когда появился молодой Алексей Апраксин, муж его дочери от первого брака, отпрыск старинного боярского рода, особенно возвысившегося при Петре, Голицын обрадо-

вался ему, человеку своего круга, которому можно открыть душу. Они сблизились, Голицын признался зятю, что переменял веру, и объяснил причину.

Апраксин был человек странный. Собой благообразен, ловок, несколько вертляв, как-то въедливо сердечен и легок мыслью. Казалось, он забывает слышанное тут же: в одно ухо влетает, в другое вылетает. И Голицын открылся ему, не столько доверяя его надежности и скромности, сколько полагаясь на изумительное беспамятство графа и безразличие к чужой жизни. Апраксин был с тобою, пока видел тебя, и тут он мог произвести впечатление заинтересованности, душевности и благожелательности, но стоило расстаться, забывал о тебе: с глаз долой — из сердца вон. В какой-то мере такие люди удобны для общения особенно в огнепальное время.

Апраксин нигде не служил, имел порядочное состояние, много свободного времени. Он обрадовался возникшему словно из небытия тестю, как радовался любому развлечению. Голицын, конечно, был поставлен в известность о сватовстве Апраксина и послал дочери свое отеческое благословение с берегов Арно, но встретились они с дочерью равнодушно. Их ничто не связывало, кроме тусклых воспоминаний. И поскольку в этих воспоминаниях не было чего-либо значительного и теплого, они скорее отчуждали, нежели способствовали сближению. А вот Апраксин его заинтересовал. Михаил Алексеевич впервые видел человека своего круга, столь приверженного вульгарным увеселениям. Тот мог целыми днями толкаться в Китай-городе, глазеть на бродячих лицедеев, плясунов, фокусников — особенно любил крикливого кукольного Петрушку, — на юродивых у папертей церковных; на вечно пьяных, задиристых бесприходных попишек возле храма Василия Блаженного и фальшивых белоглазых слепцов, гнусавым распевом выпрашивающих подавание, на ползунов, горбунов и прочих нищих калек; обожал уличные потасовки, травлю мелких воришек, избиение — вусмерть — крупных, ссоры лоточников, балаганные чудеса вроде волосатой женщины или пожирателя огня. А вот к домашнему театру сестры императрицы, где давались назидательные спектакли с пением и музыкой, Апраксин оставался почти равнодушен. Казалось, он не может заполнить пустоту внутри себя. Впечатления вытекали из Апраксина, как вода из худого ведра: наслонявшись по кривым улицам, отбив бока на запруженных площадях, проведая знакомых, посидев в трактире, не поленившись

сгонять в Кукуй, наслушавшись низких, в чреве закипающих басов кремлевских дьяконов на всеобщей, посетив какую-нибудь ассамблею или театральное представление и, казалось, налитый всклень, он утром вставал пуст и сух и нуждался в новом наполнении.

Голицын не принадлежал к тем, кому всякая несхожесть с собой кажется уродством, болезненным вывертом. Причудливый нрав и странные привычки зятя скорее располагали к нему Голицына, редко встречавшего оригинальных, самобытных людей. К тому же Апраксин был прекрасный слушатель — жадный, отзывчивый, а сам рассказывать не любил: уже известное, пережитое и как бы отработанное было ему скучно. Требовались новые впечатления, новые дрова, чтобы гореть. Откровенность Михаила Алексеевича с близким по родственным узам, но малознакомым человеком объяснялась и желанием переложить часть собственной ноши на чужие плечи — отсюда идут все ненужно доверительные разговоры, — и желанием произвести впечатление, задержать на себе рассеянный голубой взгляд зятя, стать чем-то, человеком с судьбой, загадкой, тайной, а не облаченной в кафтан и панталоны пустотой. Порой Голицын сам начинал сомневаться в своем существовании. Он обретал вес плоти и жар духа, лишь когда перешагивал порог чистенького домика швейцарского часовщика в Немецкой слободе, приютившего за скромную плату его жену и дочь, и оказывался в объятиях заплаканной, осунувшейся, дрожащей мелкой дрожью Люции. Да, не на такую жизнь соединяла она свою судьбу с богатым русским герцогом, владельцем роскошных палаццо, загородных вилл и толпы рабов. К чести Михаила Алексеевича, он никогда не хвастал своим несуществующим богатством, все это великолепие явилось распаленному воображению алчного виноторговца, отца Люции. Дочь же не заносилась высоко, вполне довольная той обеспеченной жизнью, какую они вели в Италии. Но она не понимала, почему на родине мужа должна ютиться у чужих людей, выходить на прогулку только вечером, не отлучаясь далеко от дома, видеться с законным супругом изредка и украдкой, прятаться в задней комнате, когда приходят клиенты или соседи старого часовщика. Тот попытался растолковать ей, что у русских браки людей разной веры не положены. Но ведь они с мужем единоверцы, возражала Люция, князь принял католичество. Тем хуже, по здешним законам ей следовало перейти в православие. Измучен-

ная женщина была готова на все, но тогда и Голицыну надо перекрещиваться, а попробуй он сделать это тайно!

Сам же Михаил Алексеевич пребывал в странной печальной беспечности, сродни обреченности. Похоже, что в некоем тайном провидении, не допускаемом до ума, он знал, чем все кончится, и где было ему восстать против судьбы? Да и что он мог? Подкупить попа? А ну-ка тот забойтся и донесет. Бесприходные попы, правда, что хошь за деньги сделают, а потом проболтаются спяна. В глубине души Голицыну не хотелось отказываться от единственного поступка, тем более что в успех он не верил. Оставалось ждать. Нет, не ждать, ибо впереди не светит, а делать вид, будто ничего особенного не произошло. Ну, жили они с Лючией вместе, сейчас живут врозь — бывает и так у людей. Он, когда в армии служил, вовсе редко видел свою жену. И ведь Лючия, как и ее папаша, сама хотела, чтобы он стал католиком, вот и терпи, нельзя менять веру, как исподнее.

Все эти мысли, конечно, не утешали. Вид несчастной испуганной Люции и жалкой мышки-дочери сутулил беспомощностью, виной и стыдом. Когда же он поверялся Апраксину, то как бы вставал над маетою: да, его удел таиться и страдать, но он посмел и ведет свой счет с богом.

Апраксину не надоедало слушать историю любви и вероотступничества Голицына. Он приходил в страшное возбуждение. Парик сползал с головы, и без того вытаращенные от неумного любопытства глаза чуть не вываливались из орбит, пот тек со лба на веки, щеки, губы, подбородок, за шелковый шейный платок, который, напокая, из лилового становился черным.

Вначале Апраксин просто слушал, но однажды, видать прочно закрепив в уме вопреки обыкновению главное событие, стал расспрашивать о католических храмах, церковных обрядах, одежде священников и причта, о всех отличиях от православной службы. Польщенный его интересом, Голицын с увлечением, какого на самом деле не испытывал, принялся живописать великолепие и головокружительную высь католических церквей и соборов, украшенных дивными фресками и картинами, скульптурами и витражами, красоту и торжественность богослужения, органную музыку, уносящую душу в горные выси, всю пышность католической церкви, поставившей себя выше владык земных. Ему было немного стыдно, когда он так разливался: его деревенскому воспитанию

остались чужды подавляющая мощь, бесстыдная красота и вызывающее богатство католических храмов и помпезно-холодноватых служб. Будучи прохладно верующим, он, случалось, испытывал в бедной деревянной поповке сладкое до слез волнение, а в католических храмах рассеянный взгляд вбирал внешние впечатления, а душа молчала. И чего его так понесло?..

А через некоторое время Михаил Алексеевич узнал, что его зять Апраксин принял католичество. И сразу тревожно мелькнуло: это даром не пройдет. Конечно, он и вообразить не мог, чем обернется поступок слишком впечатлительного и беспечного графа.

Когда же его затребовали в Петербург, он уже не сомневался, что едет на правёж. С какой стати двору помнить о его мышинном существовании? Апраксин проболтался, он, может, и не выдал его, только хвастался своим переходом в другую, зело роскошную веру, но смекалистые люди небось сразу учуяли, откуда ветер дует. Михаил Алексеевич спешил и не смог перед отъездом повидаться с неосторожным зятем. Он не научился думать о людях так плохо, как они того заслуживают. Апраксин, и не скрывая, кто «отверз» ему «вежды», и впервые сохранив все подробности бесед с «духовным отцом» в своей худой голове, поведал любопытным о тайном браке Голицына с итальянкой, которую тот прячет в Немецкой слободе.

И пока князь Голицын, успокоив, как мог, жену, тащился на перекладных в Петербург, оттуда уже поспешал гонец к московскому губернатору с приказом немедленно выслать из пределов России итальянскую девку Лючию с байстрючкой — брак по католическому обряду монаршей волей был признан недействительным. Вез он и другое повеление, составленное в не менее энергичных выражениях: отрядить в Тверь Сергея Бутурлина и Герасима Ларионова с помытчиками, тайниками и силками для поимки объявившейся там белой галки. Это второе поручение немало озадачило губернатора, не считавшего себя в ответе за тверские редкости.

Да, сама императрица заинтересовалась скромной персоной Михаила Алексеевича. Когда московский донос достиг Петербурга, в злобном сердце Анны вспыхнула мстительная радость. Наконец-то она хоть на одном из Голицыных отыграется до конца за их зверование над коленом Иоанновым. Дважды посягали, окаянные, на закон-

ную от бога власть! Сперва князь Василий хотел возвести на престол Софью и сам сесть рядом, лишив короны ее отца Ивана и соцарствующего с ним младшего брата Петра. Этот-то, хитрый, сбежал в Троице-Сергиеву лавру, а Иван, простодушный, доверчивый, остался у них заложником. Хоть и смутен был ему окружающий мир, но страх, душный, неотступный страх преследовал Ивана, сорвались на вечной опаске слабые силы, помер страдалец в тридцать четыре года, оставив вдову и трех дочек на произвол младшего братца. Петр вволю поиздевался над сиротами. Средняя сестра, окрутившись тайком с Мамоновым, выпала из царевых расчетов, а им с Катериной досталось по сокровищу, по грязному борову: Катьке — мекленбургской, а ей — курляндской породы. Катька от своего сбежала, а ее красавец, слава те господи, быстро от пьянства окочурился, но успел наплевать в душу молодой жене. Не пояись Кукленок, жеребец статный и горячий, хоть руки на себя накладывай. А тут вдруг засветило нежданное счастье: открылся путь к трону. И снова поперек Голицын высунулся — близкий родич того, Софьиного усладника. Бог милостив, отвалился и этот, сейчас в Шлиссельбурге кашку просяную пустыми деснами перетирает. И ведь глазом не повел, старый коршун, ни когда ему смертный приговор зачитали, ни когда по высочайшей милости жизнь даровали. Он уже раз чуть не сыграл в ящик при Петре по делу лисы и казнокрада Шафирова. Отмолила его невесть с чего Екатерина Алексеевна, которую он иначе как Мартой Скавронской и драгунской подстилкой не величал. Что за слабость такая владела обеими императрицами, когда они миловали подлеца? Уважение к древнему роду? Да ведь Долгоруковы, поди, не уступают Голицыным, а как она их всех по совету Кукленка, жеребчика, — золотое копытце, перепластала: кого на колесо, кого на плаху. А главного смутьяна оставила доживать. Авось долго не протянет, верные порошочки раздобыл умница Педрилло-шут. И вон опять Голицын — от рождения ссыльный, отставной майоришко, пустельга, нищий — показал родовой характер: святой вере изменил, жену еретичку взял да еще дурачка Апраксина совлек с истинного пути. За это голову снять мало. Тот-то и оно, что мало. Этим она не разочтется с Голицыными за весь стыд и страх, за позор молодых лет, за унижение, которому, виданное ли дело, подвергли ее, уже императрицу. За Кукленка, вывалявшегося в конском навозе, пока над ней изгалялись,

за все... Так рассчитается, что он плаху за милость сочтет, но, что бы ни выкинул, не ускорит своего конца, а будет каждый день умирать от стыда, плевков, затрепчин, публичного осмеяния, ниже самого последнего из ее подданных, ниже бессловесной твари. И наслаждением сочилось сердце угрюмой Анны, когда она представляла себе медленную казнь Голицына.

По пути к кабинету императрицы Михаилу Алексеевичу то и дело попадались какие-то странные люди: карлики, арапы и арапчата (с петровых времен, с черного Ганнибала пошла мода на африканцев и при дворе и в домах знати, а кому не по карману африканцы, красили жженой пробкой своих марфушек и тишек); козлородый горбун в полосатых обтяжных штанцах, плаще до половины ягодиц и с пером в бархатной шапочке при виде Голицына заблеял и ткнул его головой в живот так ловко, что не смял красного пера, и вприпрыжку побежал прочь. Затем из двери выглянул кто-то длинный, худющий, с морщинистым серьезным лицом, которому очень не подходила пляпа горшком, украшенная цветами и куриным пухом; он подмигнул Голицыну карим зорким глазом, странно подмигнул — насмешливо и невесело, — и скрылся. Чуть не наскочил на князя роскошно одетый вельможа преклонных лет, погруженный в невеселую думу. Голицын остановился, чтобы пропустить почтенного придворного, но тот вдруг очнулся, скруглил испугом глаза и юркнул в какой-то закуток. Голицына удивили его попеременно-полосатые шерстяные чулки, так не подходившие к изысканной одежде. Последним повстречался князю стройный смуглый молодец, одетый, как итальянский синьор, но в странной, усыпанной бисером шапчонке, со скрипкой в руке; он провел смычком по струнам, родившим долгую, томительную, скулящую ноту, и высоким резким тенором, почти фальцетом пропел, ломаясь: «О, кара миа, донна Лючия!..»

Князь вспомнил популярную неаполитанскую песенку, его тревожно резануло имя — Лючия.

Через несколько минут князь Михаил Голицын узнал, что у него нет жены, нет дочери, нет имени, но взамен всех потерь он получил должность придворного шута...

Поразительно было пристрастие угрюмой Анны Ивановны к шутам, придуркам, карликам, арапчатам, забавникам всякого рода. У нее было шесть шутов мужского



пола, двое достались по наследству от Петра: знаменитый Балакирев и козлобородый португалец Лакоста, в прошлом маклер и мелкий аферист. Петр подарил ему необитаемый островок на Балтийском море и пожаловал титул царя Самоедского. Лакоста был хитер, неглуп и удивительно начитан в священном писании. Петр любил дискутировать с ним на религиозные темы. Лакоста и Педрилло-итальянец пользовались особой любовью Анны Иоанновны, создавшей специально для них орден Сан-Бенедетто — уменьшенную копию второго по значению русского ордена святого Александра Невского. Легко представить, как это льстило кавалерам высокого ордена — сановникам и генералам, но императрица любила унижать людей без всякой нужды. Скрипач Педрилло — его настоящее имя Пьетро Мира — приезжал в Россию с итальянским театром, но предпочел музыке куда более прибыльную должность придворного шута. Он был в большом фаворе у Анны и Бирона. Он использовал его посредничество при найме итальянских певцов и танцоров, поручали ему покупку бриллиантов и прочих драгоценностей у обедневшей итальянской знати. Сохранилось поразительное по нагло-издевательскому тону письмо Педрилло к одному разорившемуся и «глупому до изумления» герцогу. Педрилло был силен, ловок, великолепно владел шпагой и еще лучше — кинжалом, его опасались задевать. Бирон, не разделявший пристрастия императрицы к шутам — он любил деньги и лошадей, — делал исключение для Педрилло и даже сам заводил его для разных смешных проделок. Об одной из таких изрядных шуток рассказал Петр Долгоруков в своих записках о нравах при дворе Анны Иоанновны.

«Как-то Бирон сказал Педрилло: «Правда ли, что ты женат на козе?» — «Ваша светлость, не только женат, но моя жена беременна, и я надеюсь, мне дадут достаточно денег, чтобы прилично воспитать моих детей». Через несколько дней он сообщил Бирону, что жена его, коза, родила, и он просит, по старому русскому обычаю, прийти ее навестить и принести в подарок, кто сколько может, один-два червонца. На придворной сцене поставили кровать, положили в нее Педрилло с козой, и все, начиная с императрицы — за ней двор, офицеры гвардии, — приходили кланяться козе и дарили ее. Это дикое шутовство принесло Педрилло 10 тысяч рублей».

Самым несчастным среди шутов был князь Никита Федорович Волконский. Он стал жертвой мести императ-

рицы его жене, в прошлом знаменитой красавице, презиравшей жирных и неопрятных дочерей царя Ивана. Едва укрепившись на троне, Анна своей монаршей волей постригла Волконскую в монастырь, а на ее мужа надела шутовский колпак. Его зятями были преуспевающие государственные мужи, братья Бестужевы, но даже эти родственные узы не помогли бедному старику. А самих Бестужевых, людей гордых и надменных (с низшими), ничуть не смущала принадлежность родича к шутовской кувыр-коллегии.

Впрочем, и могучий клан Апраксиных пальцем о палец не ударил в защиту графика Алексея, тоже зачисленного в шуты за отступничество от правой веры. Анна Иоанновна сочла, что усугубит унижение Голицына, если тот будет кочевряжиться рядом с зятем.

В отличие от Волконского и Голицына молодой Апраксин нисколько не тяготился жалкой ролью. Можно подумать, что он наконец-то обрел свое истинное лицо. Его шатания по рынкам, площадям и тесным улицам Китай-города в поисках грубых увеселений, пристрастие к балаганам, уличному театру, кривлянию бродячих актеров были безотчетным поиском собственной тайной сути. Теперь он нашел себя. Шут по призванию, Апраксин с веселой охотой выламывался на глазах Анны и ее двора: падал, кувыркался, раздавал затрещины и сам получал их, подставлял ножку своему неповоротливому тестю или рассеянному князю Волконскому, скакал верхом на палочке, задирали Балакирева и царя Самоедского, плясал под скрипку Педрилло, вызывал громкий смех и был вполне счастлив. Он оказался злым человеком: затевал драки, обижал бедных арапчат и не пропускал случая причинить неприятность безответному Голицыну.

Самым жалким, униженным, заплеванным шутком был Михаил Голицын. Когда Анна обрушилась на него с площадной бранью и он понял, что жизнь рухнула, у него разом выпали волосы. Он не знал этого, пока не снял парик, — весь клееный марлевый испод был забит его русской шевелюрой. Несколько минут грома и молний превратили цветущего мужчину в старика с голой, как бильярдный шар, головой. Любимым развлечением Апраксина было сдернуть парик с лысой головы тестя, что неизменно вызывало благосклонный смешок государыни и брезгливую усмешку Бирона.

Вместе с волосами Голицын утратил и то, что называ-

ется чувством собственного достоинства, точнее, ощущением себя как личности.

За близость с кавалером Монсом, соблаздившим жену Петра, прошедший застенок, пытки, битье кнутом, ссылку, солдатчину, дворянский сын Балакирев и то, бывало, огрызался даже на императрицу и, что того хуже, на самого Бирона, отказывал им в повиновении, за что бывал нещадно сечен, но повадки своей независимой не бросал. Педрилло и Лакосту боялись трогать, князя Волконского щадил, Апраксин так охотно шел навстречу оскорблениям, пинкам и тычкам, что с ним неинтересно было заводиться. Отыгрывались все, кому не лень, на Михаиле Голицыне. Тон задавала императрица. Как-то Голицыну велено было подавать гостям освежающее питье — разные квасы: хлебный с изюмом и хренком, клюквенный, яблочный, грушевый, вишневый. Начинать обнос надо было с государыни. То ли квасок и впрямь не удался — да ведь не Голицын его готовил, — то ли во рту горчило, но императрица, сделав глоток-другой, сморщилась, плюнула и с силой выплеснула из кружки остаток в лицо Голицыну. Державный жест сочли нужным повторить все придворные, кроме князя Куракина. За свою испытанную преданность он один получал право напиваться на дворцовых приемах, хотя Анна извела древний обычай избильного винопития; князь на дух не переносил квасу, а горячительные напитки слишком уважал, чтобы ими плескаться.

Да, шутка получилась отменная. Разве не смешно, когда человеку обливают рожу пенистым квасом, но поведение Голицына усугубляло комизм. Уже зная, что остаток кваса непременно угодит ему в глаза, он не пытался ни увернуться, ни прикрыться рукой, ни хотя бы прорваться досадой, гневом, жалобой. Нет, он всякий раз наивно удивлялся коричневой или другой окраски жижке, стекающей с подбородка на камзол. Он тер лицо ладонями, разглядывал их удивленно, обтирал о панталоны и шел за новой кружкой кваса, что-то бормоча и задумчиво покусывая губы. Голицын словно решал какую-то непосильную задачу и тратил на это все душевные силы, не оставляя ничего для обиды, гнева, возмущения или молчаливого призыва к состраданию. Нет, он всегда оставался серьезен, задумчив и покорен. Какой-то стержень сломался в Голицыне, в нем не осталось воли ни к сопротивлению, ни к самозащите. Он безропотно принимал все, что над ним творили, и только хотел постигнуть омрачен-

ным рассудком, что же такое случилось, почему все так переменялось в его жизни, куда девались те, с кем ему было хорошо, и откуда пришло столько вражды и зла. Ответ ускользал, он сердился на себя за недогадливость.

Вместе с квасом, выплеснутым в лицо, государыня подарила Голицыну и новое имя, хотя вовсе о том не помышляла. Это имя попало во все дворцовые ведомости, официальные бумаги, вытеснив наследственное, крестным отцом оказался шут Балакирев.

— Квасник! — давясь от смеха, сказал Балакирев, хотя темные глаза его оставались сумрачными, и ткнул Голицына пальцем в живот.

Придворные разразились хохотом, даже Бирон позволил себе улыбнуться и швырнул Балакиреву золотой, который тот ловко поймал. Видя такую щедрость по-немецки экономного Кукленка, Анна Иоанновна, расточительная до болезненности, сорвала с пальца бриллиантовый перстень и кинула Балакиреву. Он так же ловко поймал и этот дар, глянул на пляшущего под свою скрипочку Педрилло, усмехнулся, подметив его алчный, завистливый взгляд, и не спеша, чтобы позлить итальянца, насунул перстень на мизинец. Пытанный, битый, познавший бешеный гнев Петра, шут Балакирев не боялся шута Педрилло со всем его итальянским коварством.

Кличка присохла. Теперь у Голицына было отнято последнее — имя. Он смирился и с этим, как и со всем другим. Кончать с собой надо было сразу, но люди со смятой душой лишены дара последнего жеста. И он отозвался на Квасника. Прибавилось лишь умственной заботы, надо было что-то понять в связи с новым именем: почему так, разве дозволено, коли не крестили... и как понять — имя ему дали или фамилию?.. — но даже вопроса перед собой поставить толково он не мог. Неглупый, образованный, живой человек неудержимо катился в черную яму.

Помимо шутов «мужеска пола», у Анны Иоанновны имелся еще штат шутих, или, как она сама говорила, дур и полудурок. К последним относились болтушки, обычно из девиц благородного происхождения, их разыскивали по всей стране. Как только доходил слух, что где-то в российских пространствах объявилась выдающаяся трешотка, туда немедленно посылался циркуляр, составленный в той же строгой манере бюрократического велеречия, что и другие официальные бумаги, касающиеся

дипломатических, хозяйственных или военных дел, и циркуляр этот предписывал немедленно доставить ко двору в целости и сохранности говорливое чудо. Болтушки заменяли Анне Иоанновне газеты: «С.-Петербургские ведомости» были сухи, казенны и ничего интересного, кроме сообщений об охотничьих трофеях императрицы, не помещали. А ей требовались городские сплетни: кто женился, кто проворовался, кто с кем согрешил, у кого ребенок родился, кто жену или тещу поколотил, кто да чем занедужил. Лишь о смертях Анна Иоанновна не любила слушать, и если какая трещотка пробалтывалась, она кричала: «Кукла, поди вон!.. Ступай, ступай вон!» — и швыряла в провинившуюся чем попало. Болтушкам запрещалось садиться в присутствии императрицы — у них деревенели ноги, кружилась голова. Одна из трещоток сильно недужила и как-то после нескольких часов непрерывной работы языком вдруг грохнулась в обморок. Анна Иоанновна приказала принести столик и ширму. Болтушку привели в чувство, сунули за ширму и разрешили опереться локтями о столик, после чего она вновь открыла словесный кран. Анна Иоанновна боялась оставаться наедине со своими мыслями, ибо сразу начинала думать о том, что трон, который она легко получила, так же легко может быть отобран.

Лучше всех отвлекала Анну Иоанновну от тягостных мыслей любимейшая шутиха, камчадалка Буженинова. Конечно, то была не настоящая фамилия, которой она и сама уже не помнила, — Бужениновой прозвала ее государыня, предпочитавшая всем изысканным блюдам простое и вкусное кушанье из свинины. Рядом с крошечной, хоть и не карлицей, всегда грязненькой и неуемно веселой дурочкой в миру Евдокией Ивановной, государыня особенно счастливо ощущала превосходство всех своих женских статей: фигуры, дородства, роста. Буженинова любила яркие шали и побрякушки, государыня обряжала свою любимицу, как рождественскую елку, а та платила ей заразительной улыбкой, открывавшей тридцать два белейших неровных, спереди чуть выпирающих зуба. Улыбка эта веселила, успокаивала.

Больше Бужениновой Анна Иоанновна любила только Бирона, но то была страсть. Ради него тяжелая, сырая, часто недужившая императрица заделалась лихой, бесстрашной наездницей, привязалась к лошадям и даже устроила кабинет при конюшнях, ради него стала меткой ружейной охотницей, лучницей и бильярдисткой, ради не-

го вела большую карточную игру в «фараон», «банк» и «квинтич», хотя не выносила карт; она всегда держала банк, чтобы проиграть, а если это не удавалось, не обменивала выигранные марки на деньги. Чрезмерная таратаость императрицы дорого обходилась ее придворным: мотовство предписывалось всем желающим появляться при дворе, требовались умопомрачительные, всегда новые туалеты и обилие драгоценностей, необходимо было умение сорить деньгами, на чем немало выгадывали шуты, кроме Волконского и Голицына; первый старался не принимать подачек, второй никогда их не заслуживал, хотя в шутовской возне ему отводилась наиболее докучная и тягостная роль. Если играли в чехарду, он подставлял широкую спину для прыгунов, если дрались, то самые крепкие затрещины доставались ему; всем шутам, кроме Педрилло, на утреннем выходе императрицы полагалось сидеть в лукошке и приветствовать ее петушиным кукареканьем. Только Голицыну велено было квохвать наседкой и хлопать крыльями.

И тут, на свою беду, ему удалось додумать одну мысль: наседка квохчет и хлопает крыльями, когда сносит яйцо, а он ничего не сносит. Это мудрое соображение он осмелился высказать императрице своим новым просевшим, скрипучим голосом.

— Квасник, дурак, что ты городишь? — запричитала Анна Иоанновна. — Квасник, поди вон!

— Собака лает, лягушка кричит, — высунулась, сверкая сахарными зубами на грязном лице Буженинова, — ямщиком свищет, кошкой мяучит, стрикодоном стрикодонит, а пузырем лопнет!

То была поговорка-скороговорка Анны Иоанновны; где она ее подхватила, бог ведает, императрица почему-то любила слышать этот бессмысленный набор слов от других, но придворные всегда сбивались, что ее сердило. Одна дура Буженинова выпаливала, не споткнувшись, затейливую чушь, и всякий раз государыня обнаруживала тут какой-то неожиданный смысл. Вот и сейчас поговорка оказалась весьма кстати — навела государыню на счастливую мысль. Хватит стрикодону зря стрикодонить: коль сидишь в лукошке и квохчешь, так уж высиживай цыплят. Отныне Голицыну всякий раз стали подкладывать в лукошко еще теплые, из-под наседки, яйца. Он не смел покидать лукошко, пока не выведет цыплят. Случалось, что по неловкости или задремав он давил яйца. Тогда ему вымазывали физиономию клейкой массой и запре-

щали утираться. Допоздна ходил он в мерзопакостном виде.

К штату шутов и шутих императрицы принадлежало несколько арапок и арапчат с несмываемой чернотой плосконосых лиц и десятка два разноцветных попугаев, которые гадили всюду, кроме своих позолоченных клеток. Анна Иоанновна очень ими утешалась.

— Попугаюшко!.. Попугаюшко!.. Марфутка дура?

— Дур-ра! — со вкусом подтверждал палево-розовый хохлатый попугай.

— Попугайчики, Квасник дурак? — спрашивала императрица.

— Дур-рак! Дур-рак! Дур-рак! — ликуя орали слепяще золотые, кроваво-красные с синими крыльями, дымчато-черные с малиновыми коронами, зеленые, как гороховые стручки, изумрудные и снежно-белые красавцы. Этим крикам пернатых обучил Лакоста.

Михаил Алексеевич наклонял большую лобастую голову, с которой тотчас падал парик, обнажая глянец голого черепного свода, и задумывался над очередным мучительным вопросом, который никак не мог поставить перед собой, хотя не было на свете ничего важнее. Шуты принимались толкать его, тормошить, а четырнадцатилетний сын Бирона, допускаемый на взрослые собрания, — хлестать по икрам злым кнутиком из сыромятной кожи. Шуты одевались не хуже вельмож, отличали их поперечно-полосатые шерстяные чулки, предписанные отечественным дуракам; Педрилло и царь Самоедский щеголяли в обтяжных штанах с продольными широкими полосами. Они все числились на дворцовой службе, получали жалованье и довольствие: мукой, топленным маслом, салными свечами и дровами, как и первые российские академики, один из которых неизменно присутствовал на приемах, занимая промежуточное положение между шутами и попугаями. То был знаменитый пиита Третьяковский, пробудивший в высшем обществе тягу к стихам. Всякое значительное событие: взятие вражеской крепости, тезоименитство государыни, заключение мирного договора, благополучное разрешение от бремени любимой кобылы Бирона, любой праздник или тризна непременно требовали поэтического воспевания. Порой возникала настоятельная нужда в поэзии, способной возбудить государыню. Она чувствовала легкое остужение Бирона и винила в том самое себя, постоянные недуги притупляли ее чувственность. И на это был великий мастер Василий

Кириллович. Прочитав на коленях любверазжигающие вирши, он неизменно получал «всемиловейшую из собственных Ее Императорского Величества рук оплеушину» и детишкам на молочишко.

Этот замечательный деятель русской культуры, прививший России классицизм, а русской поэзии — силлаботоническое стихосложение, проговорившийся несколькими истинно поэтическими строфами, каких не встретишь у куда более искусного стихослагателя Ломоносова, прожил жизнь немногим лучше голицынского горевания поры его придворной службы. Его и бивали, и раз едва не забил насмерть кабинет-министр Артемий Вольтер. Волею провидения этот омерзительный даже для грубых и страшных нравов той поры поступок напрямую связан со злосчастной судьбой Голицына, о чем речь пойдет в свое время. А избиение несчастного поэта было опрометчивым ходом в смертельной игре, в которой решались не только личные судьбы главных людей эпохи, но и всего общерусского дела. Так уж получилось, что маленькой жизнью бедного Михаила Алексеевича управляли события исторической грозности.

Прошло время, Михаил Алексеевич так и не обрел привычки к выпавшей ему доле, не приспособился, не облегчил хоть сколько-нибудь жалкой своей участи. Он оставался изгоем даже среди шутов, и странно, что мстительная злоба Анны Иоанновны не только не утишилась, не смягчилась хотя бы скукой от покорного унижения человека, не сделавшего ей ничего плохого, а как-то дурно затвердела. Она подозревала, что таинственным, непостижимым образом Квасник ослабил действие кары, вывернулся из той скорби, которая читалась в мученическом взоре князя Волконского. Тот продолжал томиться болью по жене, а этот грузный, мерзко сановитый дурак ушел в какую-то щель, где его не достать ни пинками, ни квасом. Однажды Анна Иоанновна заставила Буженинову спросить шута при ней: скучает ли он о жене? Квасник сделал такое глубокомысленное лицо, что стало ясно; он не понял, о чем идет речь.

Голицын не притворялся, он и правда не помнил своей прошлой жизни, но смутный образ чего-то бывшего брезжил неясным томлением, и хотелось угадать черты того, что он в предельном и мучительном напряжении определял: раньше было не так. А как?.. Этого он не знал. Анна была по-своему права, муку Голицына скрало помрачение рассудка, которого хватало лишь на прямое

действие сиюминутной жизни. Голицын сохранил от забытого прошлого некоторые мелкие привычки, скажем, дважды в день угощать нос понюшками табака, сохранил отличавшую его всегда опрятность, осанку, так смешившую придворных, а государыню остро раздражавшую, но почти отвык говорить, хотя все слова помнил. А с кем и о чем было ему говорить? Он никогда не улыбался, но и не плакал. Он получал удовольствие от бани, особенно на парильном полке, но не испытывал боли от побоев. Голицын не обижался на окружающих, ибо не понимал их поведения; наверное, эти человекоподобные иначе не могут, а он не может поступать по-ихнему.

Меж тем он приближался к пику своей страшной жизни, к тому, что сделало его известным не только в России, но и во всем мире. Вернее сказать, его несло к этому пику в бурном потоке, каким давно уже обернулась историческая жизнь России, сам он был щепкой, детским размокшим бумажным корабликом.

Анна Иоанновна страдала тяжелой «каменной болезнью», по определению тогдашней медицины. Граф Петр Панин в своих записках утверждал, что внутри государыни находился камень величиной с мельничный жернов, «который обнимал всю внутренность утробы и совершенно обезобразил устройство оной». Окружающие чувствовали, что дни ее сочтены, но сама Анна упорно гнала мысль о смерти и через силу старалась поддерживать прежний образ жизни: с лошадьми, охотой, стрельбой по птичьим стаям из окон дворца, карточной игрой, бужениной и Бироном. Но принимала теперь лишь самых близких, оставаясь нередко в постели, под пышным атласным одеялом, с Бужениновой в ногах и грудастой Бенингной, женой Бирона, в головах — та подавала государыне лекарства и предписанное врачами освежающее питье. Квас был уже не про ее честь.

Постоянное недомогание, дурное настроение требовали выхода, и Анна отыгрывалась на шутах, болтушках, арапках, Тредиаковском и даже на попугаях, которых берегли, — птица заморская, ценная, важная, — но однажды государыня в порыве неудовольствия всемиловитвейше вырвала хвост у златоперого, с пунцовой короной красавца собственными Ее Императорского Величества ручками. Без этого украшения он почему-то не мог летать, смешно кувырчался в воздухе, падал и пронзительно орал. Вначале это развлекало, потом стало раздражать, попугая ощипали, зажарили и жесткое, не прожевать,

мясо скормили двум наиболее жалким шутам: Голицыну и Волконскому. Апраксин тоже просил кусочек, но ему не дали.

Весь волновал вопрос о наследнике. Петр I принял узаконение о том, что наследника назначает царствующий государь, но сам преемника не назначил, чем вызвал большую смуту. Всесильный князь Меншиков подарил России последовательно двух монархов, прежде чем успокоиться в Березовской ссылке; удачно распорядился престолом князь Дмитрий Голицын «со товарищи», за что и был награжден заточением, а товарищи — плахой. Забегая вперед, скажем: по смерти Анны Иоанновны престолом распоряжалась гвардия. Как бы предчувствуя грядущие неурядицы, Анна решила навсегда закрепить трон за коленом Иоанновым: она вызвала к себе племянницу Анну Леопольдовну Мекленбургскую и объявила наследником первенца мужского рода незамужней еще принцессы. К исходу тридцатых годов, когда императрица серьезно занедужила, принцессу выдали замуж за герцога Брауншвейгского и с нетерпением стали ждать наследника, который и появился в должный срок и был наречен Иваном. Но кому быть регентом в пору малолетства Ивана VI? Конечно, матери-племяннице и наперснице императрицы. Это казалось естественным всем, в том числе самой Анне Иоанновне, но не Бирону, герцогу Курляндскому, — ведь регент — неограниченный правитель России. Прозрачный расчет временщика: «соединить Россию и Курляндию под своим скипетром» вовсе не устраивал другого честолюбца, кабинет-министра Артемия Петровича Волынского.

Либеральные русские историки, равно и доверчивые исторические романисты хотели видеть в Артемии Волынском то, чего в нем не было: бунтаря, защитника шляхетских вольностей, непримиримого борца с бироновщиной. А был он несостоявшийся временщик. Ему не удалось сыграть той роли, какую играли Меншиков, Иван Долгоруков, Бирон, он появился на авансцене русской истории слишком поздно, когда все главные места у кормила власти были расхvatаны. И хотя Петр успел его заметить и выделить, он остался самым непреуспевшим претендентом гнезда Петрова. Волынский слишком торопился сравняться со старшими баловнями фортуны и великими казнокрадами: своим шефом Петром Шафировым и кумиром Меншиковым. Едва войдя в милость к Петру, он вскоре ее лишился по необузданному мздоимству, своево-

лию и служебным злоупотреблениям. Большой карьеры Волынский так и не сделал, но успел разорить молодую Астраханскую губернию и возмутить кротких инородцев своими притеснениями и грабительством, равно и обобрать Казанские земли, где он сперва воеводил, потом губернаторствовал. Он вошел в доверие к Анне Иоанновне, выступив против верховников, а затем участвуя в неправедном суде над ними в самой видной роли. Колоссальными взятками он расположил к себе и Бирона.

Ленивой умом Анне он понравился своими четкими, ясными докладами (писать, по собственному признанию Волынского, он «всегда был горазд»), исполнительностью, беззаветной, как ей казалось, преданностью и был назначен кабинет-министром. Так он оказался на высоте, с которой возможен любой, самый далекий прыжок. В пылком воображении Волынского мелькали смелые планы: заместить при Анне Бирона, осилив того радетельным государственным умом, для чего он пытался наставлять ее макиавеллистически тонкими посланиями («горазд был писать»), но вскоре похоронил эти расчеты — Анна была слишком предана Бирону, к тому же недолговечна. Тогда он обратил взор к Анне Леопольдовне: что, если войти к ней в доверие и подчинить себе легкомысленную сластолюбивую дуру, как подчинил кумир Данилыч государыню Екатерину Алексеевну? Но он решительно не нравился Анне Леопольдовне, признававшей лишь обходительных, лощенных кавалеров. Тогда он вспомнил о дочери Петровой Елизавете, законной, черт побери, наследнице царя-преобразователя: вот бы кого возвести на престол, а там и сесть рядом в качестве законного мужа — он далеко не стар, крепок и по неумемному духу сродни шалой принцессе.

Сближение с умными людьми: Татищевым, Еропкиным, Хрущовым дало новое направление его мыслям. Он скинет Бирона, но не путем интриг, сомнительных амуров, а опираясь на смелое, вольнолюбивое шляхетство, которое сделало Анну самодержицей, защитив ее от верховников, а в благодарность получило бироновщину. Пора посчитаться за все надругательства, пора оградить свои права от наглости временщиков. Это свободолюбие загадочно и гармонично соседствовало в Волынском с планами личного возвышения. Однажды он публично пролил слезу, представив себе, как будет гордиться его сын величием отца.

Способный искренне вдохновляться всем, что может

принести ему выгоду, Волынский всерьез рассуждал с друзьями о необходимости государственного переустройства и законодательного утверждения прав дворянства, набрасывал разные проекты, которые потом все оказались в руках Тайной канцелярии. В одном Волынский был до конца искренен, когда на допросе, на дыбе отказывался признать себя ниспровергателем. Он просто хотел куролесить над Русью, как Бирон. Чем он хуже?..

Благоприятели русского шляхетства что ни день собирались у Волынского, болтали языками, но ничего не делали для осуществления своих замыслов, даже не пытались приобрести сообщников среди дворян в армии или чиновничьей среде. Добились они лишь одного, по городу потек слух о заговоре. Поражает легкомыслие, доверчивость и безалаберность главных действующих лиц тех кровавых спектаклей, которые разыгрывались перед вечностью. Заговорщики то собираются в доме, полном слуг, и даже забывают притворить двери, то разглагольствуют в кабаках на радость осведомителям, то, пренебрегая перлюстрацией писем, открывают душу друзьям, знакомым, подругам в горячих посланиях, губя не только себя, но и своих адресатов; из-за жалких промашек проваливаются дерзкие планы, но порой столь же безответственные люди производят государственный переворот с ротой гвардейцев — легкомыслие противников превосходило их собственное.

Как ни беспечен и ни самоуверен был Волынский, но вскоре он почувствовал если не охлаждение, то настороженность императрицы. А потом Бирон откровенно дал понять, что против Волынского интригуют. Бирону нужно было иметь клеветов среди влиятельных русских, нельзя же опираться только на немецкую партию, но он напрасно полагал, будто Волынский годится на эту роль. Ублаготворенное, пусть и не насытившееся до конца честолюбие столкнулось со жгуче неудовлетворенным и потому непримиримым честолюбием. Волынский не внял предупреждению, а вскоре чем-то задел Бирона. Тот надулся. Волынский пренебрег обидой фаворита. Бирон увидел, что на Волынского рассчитывать нечего, тот ведет какую-то свою игру. Он принял это к сведению и холодно возненавидел кабинет-министра.

Друзья дали понять Волынскому, что он зарвался. Выход был один — вновь завоевать расположение Анны. Это было непросто: государственной заботой ее не проймешь, плевать она хотела на российские дела, когда ее

собственные так плохи. Желтая, мрачная, с жерновом в чреслах, лежала она на высоких подушках, изводя капризами заботливую Бенингну, то и дело гневалась на болтушек, которые от усердия языки себе обтрепали, и сажала их за пяльцы. Вместо «сорок» приказывала доставить гвардейских солдат с женами, они должны были плясать и водить хороводы. Но и это быстро надоедало, гвардейцам давали по бокалу венгерского вина и отсылали прочь. Шутов Анна Иоанновна видеть не могла, от них у нее начиналось разлитие желчи. Одного Педрилло изредка звали, чтобы поиграл на скрипке. Она еще отзывалась на неумную и ласковую веселость Бужениновой, и то ненадолго: «Куколка!.. Кукла!.. Пошла вон, надоела!..»

Волынский понял, надо измыслить какое-то небывалое увеселение, чтобы императрица встряхнулась, забыла о боли, взыграла духом и плотью, изобрести что-нибудь грандиозное — в Нероновом пошибе. Спать Петербург?.. На это могут не пойти, к тому же нет холма, с вершины которого хорошо наблюдать игру пламени, вся окрестность — плосина. Да и зима на дворе, значит, увеселение требуется в российском студеном роде, а в не в римском — жарком.

Волынский прикинул туда-сюда и поделился своими мыслями с друзьями.

— Давно бы так! — отозвались реформаторы. — Наконец-то очнулся. А чем ее удивить?

— Представляется мне самое шествие великое, — чуть неуверенно начал Волынский, но затем голос его налился, — всех народов, населяющих нашу землю, даже самых диких: самоедов, иргизов. И чтобы каждая народность в своем одеянии была, со своей музыкой. А сани будут запряжены и лошадьми, и верблюдами, и оленями, и собаками, и быками...

— Свињьями тоже, — подсказал молчаливый умный Хрущов.

— А кто на них ездит?

— Кто хошь. Нешто Анна, чем паче Бирон знают русские обычаи? А занятно!

— На свињьях Остерман с Левенвольде поедут, — предложил зодчий Еропкин.

— Не шуткуй, — одернул его лобастый серьезный Татищев. — На свињьях поедет тот, кто государыне не потрафил: дани не уплатил или бунташным делом баловался.

— Слона надо, — снова сказал Хрущов.

С этим все сразу согласились, хотя и не очень понимали, при чем тут слон и кто на нем поедет. Но слон — это величественно.

— Пусть восчувствует государыня, сколь необъятна ее держава, — вдохновенно продолжал Волынский, — сколько разных народов под ней ходит. Обольется ее сердце законной гордостью, и хворь отступит. Да и потешат ее нарядами, песнями, плясками и все эти уроды.

— А всежки этого мало, — пригасил его радость упрямый Татищев, всегда желающий добраться до последней сути. — Шествие — хорошо, да ведь оно должно куда-то прибыть. Не во дворец же их повезут.

— Эк куда хватил! — с досадой сказал Волынский. — Разведем костры на площади, выкатим бочку вина, цельных быков и кабанов на вертела насадим. А как нажрут-ся, прогоним домой.

— Не о сволочи всякой, о государыне речь, — веско сказал Татищев. — Ты ее, что ль, на площади потчевать будешь?

— Ладно, не тяни, — поморщился Волынский, догадавшийся, что головастый грамотей чего-то удумал.

— Ледяной дом нужен! — изрек Татищев.

— Дом?.. А зачем?

— Дом — это так говорится... Дворец весь из льда — и снаружи и изнутри. И в этом ледяном дворце, за ледяными столами пир закатить, какого еще в целом свете не бывало.

— Смеешься, что ли? — неуверенно сказал Волынский. — Нешто можно такой дворец построить, и кто за это возьмется?

— Можно, — тихо и спокойно произнес зодчий Еропкин. — В нашем климате — и говорить нечего. Даже итальянцы ледяные капризы строят, а в такой морозище!.. Из льда, Артемий Петрович, строить сподручней, чем из дерева, камня или глины. Он и режется легко и никакого крепежу не требует, окромя воды. Хочешь, я все в полном виде и плепорции изображу?

Но когда через несколько дней Еропкин представил рисунок, изображающий весь дворец целиком, и чертежи его отдельных частей, Волинского снова взяло сомнение: неужто такое осуществимо? Еропкин заверил, что он может смело показывать проект государыне и коли она утвердит, то все будет исполнено до тонкости и даже

сверх того прелестнее. «Пойми, Артемий Петрович, — убеждал его Еропкин, — коли мы обманем государыню, ты выкрутишься, а ведь мне карачун». Последний довод убедил Волынского, который в своих жизненных расчетах полагался лишь на неизменные свойства человеческой природы: страх, корысть, зависть, мстительность — и никогда на благородные. Друг Еропкин сказал правду: коли с ледяным домом что будет не так, ему конец, если и не от Анны Иоанновны, то от самого Волынского. Ноздри рвут за меньшие провинности — за подстреленного рябчика или куропатку, ибо вся дичь принадлежит государыне — Диане-охотнице. Но за обман доверия помазанницы божьей ноздрями не откупишься.

Рисунки и чертежи Еропкина произвели на Анну Иоанновну куда большее впечатление, нежели Волынский мог надеяться. Ее серое обрюзгшее лицо порозовело и высветилось. А услышав о шествии народов, она чуть с кровати не соскочила. Она не выразила ни малейшего сомнения в осуществлении всего этого грандиозного и невиданного праздника и сразу назначила Волынского главой машкерадной комиссии. При всей своей проницательности Волынский не проглянул причины столь сильного воодушевления Анны Иоанновны. То была месть Кукленку, который в последнее время, ссылаясь на важные заботы, почти не приходил к ней. Зато Волынский не обманулся в благожелательном отношении Бирона к его планам: по немецкой сухости и отсутствию воображения тот не поверил в затею с ледяным домом и от души желал пошатнувшемуся кабинет-министру скорейшего падения.

Но теперь уже Волынский знал, что все будет: и ледяной дворец, и шествие народное, и даже слон, за которым послали к персидскому шаху. Немало соболей, куниц, песцов и горностаев потребовалось в уплату. Еропкин решил по зрелому размышлению поставить возле дворца второго слона — ледяного, и этот слон будет выбрасывать из хобота нефтяной огонь. Волынского опять взяло сомнение: в своем ли тот уме? Но глаза зодчего смотрели светло и ясно, и Волынский успокоился.

И все-таки апофеоз празднества, едва ли не превзошедшего все чудеса, придуманные Волынским и его штабом, родился в проснувшемся уме императрицы: шутовская свадьба. Куколка Буженинова уже не раз говорила со смехом, что ей осточертело в девках ходить, не хочет она помирать, не изведав сладости любви. Государыня

надсаживалась от хохота, слыша эти признания от грязной, засаленной, зубастой полукарлицы. Но когда Буженинова вновь завела свою погудку, Анну вдруг осенило: «За чем же дело стало? Кругом вон сколько кавалеров: и беленьких и черненьких». — «Я девица приличная, — возмутилась Буженинова, — теремного воспитания. Я в грехе не хочу. Чтобы все по божескому закону». — «О том и речь, выбирай себе жениха, враз окрутим, а свадьбу сыграем в ледяном доме». Буженинова вдруг как-то странно засмеялась, стала кувыркаться, дурачиться, притворяться сконфуженной. «Ладно, — решила Анна, — выдадим тебя за короля Самоедского, будешь мне как сестра». — «Да какой он король! — взвизгнула Буженинова. — Бродяга, протерь вроде меня. Нет уж, матушка, в сестры я тебе не прошусь, а вот княгиней быть очень даже желаю. Пойду только за Голицына, он твоей заботой один у нас холостяк». Бедный Михаил Алексеевич стоял так низко во мнении Анны, что она даже не сообразила, что речь идет о нем, и стала припоминать, какие Голицыны остались на виду. Один есть, но далеко за ним лезть. «Да ты, Куколка, с остатнего ума съехала. Нешто возьмет тебя президент юстиц-коллегии?» — «А ты дурее меня, матушка, — нахально отозвалась Буженинова. — Больно нужен мне твой президент, сама с ним целуйся. Я о нашем говорю, о Мишеньке, очень он мне по душе». — «О Кваснике?» — наконец-то сообразила Анна, и злое сердце ее возликовало: вот оно, последнее, ни с чем не сравнимое надругательство, которого так недоставало, — окрутить Гедиминовича с грязной полудуркой-камчадалкой. «Целуй руку, Куколка, быть тебе княгиней». Но какая-то жалость к этой дурехе шевельнулась в императрице. «Неужто тебе не противно?» — спросила Анна почти сочувственно. «А чего?.. Он мужчина видный... С положением, — закатывая глазки, ломалась Буженинова. — Да и ты, матушка, чай, не поскупишься — подбросишь на свадьбу деревеньку». И это понравилось Анне: Буженинова, конечно, хотела угодить ей, идя под венец с заплеванным слабоумным шутом, хотя Анна могла бы выдать ее за писаря, за поповича и даже за офицера: дай ему повышение, крестик в петличку и «душек» — любой согласится. Но хорошо, что она сама назначила себе награду, не любила Анна быть кому обязанной, даже шутихе; все должны быть в долгу перед ней. «Быть по сему!» — государственным голосом изрела Анна.

Узнав о жениховстве Квасника, Апраксин, Балакирев и король Самоедский увенчали его венком из капустных листьев, укропа и разных сухих трав. Голицын покорно принял дар и ходил в срамном венке, пока тот не рассыпался.

Распоряжение императрицы о свадьбе шутов удивило единомышленников Волынского неожиданной пронзительностью ленивого ума императрицы. Гуманная выдумка вызвала восхищение у доморощенных кромвелей, решивших положить предел своевластию русских монархов.

— Недаром у ней с Петром один корень! — умилился Еропкин.

— Какие они кровные, коли Петра Салтыков настрогал? — раздумчиво произнес Татищев. — Впрочем, от кого Анна, тоже неведомо.

— Стихотворение надобно, — заявил умный молчаливый Хрущов.

— Какое еще стихотворение? — Волынский никогда не мог уследить за извилистыми ходами его сокровенной мысли.

— Молодую чету славящее. В одически-высмеивательном роде. Зело непристойное. Императрица похабство любит, а гневается только для вида. Пиите ТрEDIAKовскому сколько табакерок да перстеньков перепало!

— Сия поэзия в Европе анакреонтической прозывается, — важно сказал Татищев.

— Полегче! — предупредил Волынский, не любивший, чтобы перед ним заносились. — В Европе народ изнеженный, а нашему уху позабористей надобно. Ничего, Васька ТрEDIAKовский справится.

Когда славно задумано, все идет к рукам. Затеял Анну развлечь и свое положение укрепить, а заодно вышло Голицыных чваный род в грязь втоптать, да еще с паршивцем ТрEDIAKовским посчитаться. Волынский, гордившийся своим происхождением от героя Куликовской битвы воеводы Волынского-Боброка, все равно выходил ниже Гедиминовичей и не мог им этого простить. С ТрEDIAKовским был иной счет. Еще со студенческих парижских дней поэт пользовался покровительством Куракиных, заклятых врагов Волынского. Кабинет-министр подозревал, что по наущению Куракина ТрEDIAKовский написал на него гадостные вирши, имевшие хождение в Петербурге. Раболепствуя перед государыней и Бироном, ТрEDIAKовский был весьма сварлив в Академии да и перед вельможами не всегда гнул спину. Раб уживался в нем с другим

человеком, знающим себе цену. Сейчас Волынский покажет, какая ему цена. Одно дело — развлекать императрицу виршами в анакреон... тьфу... роде, другое — публично прочесть похабную оду, славящую свадьбу пошлых шутов: сам себя в грязь втопчет, раздувшееся ничтожество!

И все же ни одно задуманное дело, даже если им правят такие сильные руки, как у Волынского, не проходит совсем гладко. Затруднения, самые порой неожиданные, возникали во все дни подготовки к празднеству. То сдох на полпути отправленный из Персии слон: сожрал с сеном каску и колет ратника, отряженного к нему в охрану. Как оказались в сене эти предметы? Конечно, можно было обойтись одним ледяным слоном, но Волынский любил каждое дело доводить до конца, тем паче, что сметливый Еропкин нарисовал дивную золотую клетку, в которой повезут шутов на слоне из храма в ледяной дом. Ратника забили и назначили другого, шаху выслали новые щедрые подарки, — мех черно-бурых лисиц, и второй слон благополучно прибыл в Петербург, вызвав легкое волнение в городе, быстро подавленное.

Немалые хлопоты доставило собрание по всей стране инородцев, входящих в Русскую империю. При первом беглом подсчете их оказалось такое множество, что голова пошла кругом. Решили, что обсчитались: одних и тех же узкоглазых зачислили по разным «ведомствам». Обратились в Академию, но оттуда прислали список чуть не вдвое больший. В Академии, если исключить Василия Третьяковского, сидели одни немцы: что они в русских обстоятельствах понимают, им лишь бы свою ученость показать, а заодно создать помеху русскому делу. Этот список кинули в печь, а ранее составленный своим умом привели в надлежащий вид: так, всех насельников земель за Оренбургом и к югу зачислили в иргизы, всех, кто к Кавказским горам жметя, — в абхазцы, жителей далеких восточных пределов — в якуты, сделав исключение для камчадалов в честь невесты Бужениновой, обитателей же моховых тундровых пространств — в самодеды. И все равно народов оказалось чуть ли не больше, чем во всей Европе: хохлы, чухонцы, мордва, черемисы, башкиры, калмыки, чуваша, вятичи, молдаване, татары, всех не перечесть.

Слон — существо нежное, избалованное, неудивительно, что первый посланец из Персии сдох в пути, хотя, казалось бы, что такое его необъятному желудку колет и

каска! Жители же Российской империи — народ закаленный, в дороге не портящийся, но и здесь случались накладки. Кто опился, кто какую-то дрянь сожрал и от живота изощел; у самоедов олени передохли — к нашей траве не приучены; иные до того запаршивели и обтрепались в дороге, что пришлось их в госпиталь класть на поправку и откорм, а платье новое по ихним образцам шить.

Но ни разу не пал духом Волынский, ни разу не мелькнуло у него, что не справится, — слишком велика была ставка. Если б такую энергию на дело пустить, то можно было бы осчастливить всех иргизов, абхазцев, якутов, самоедов и для внутренних народов еще бы осталось. Великую транжирку Анну Иоанновну не только не смущали, но радовали чудовищные расходы, она, не думая, подмахивала любой счет. Бирон, конечно, злился, что деньги текут мимо его кармана и в немалом количестве прилипают к ладоням великого казнокрада Волынского. Но тут герцог Курляндский заблуждался: Волынский впервые, имея дело с казенными суммами, не только ими не корыстовался, но и свои добавлял. Утешала Бирона лишь мысль о неминуемом позорном провале кабинет-министра.

Зима в тот год выдалась крепкая и без капризов. Неву как схватило льдом, так уж не отпускало. Снегу выпало в пропорции — достаточно для надежности зимников, но без завалов и непролазных сугробов. Не было ни вьюг, ни метелей, ничто не мешало спорому возведению ледяного дворца. Вопреки опасениям Волынского именно это, казалось бы, сложнейшее и ненадежное дело продвигалось без сучка и задоринки волей и умением Еропкина и безответной покорностью исполнителей. Рубили лед на Неве, тут же нарезали ровными плитами и на санках отвозили на площадь меж Адмиралтейством и Зимним дворцом, где надлежало стоять ледяному дому.

Еропкин говорил, что нету большего удовольствия, чем строить из льда: не нужно ни кирпича, ни камня, ни дерева, ни крепежного раствора, ни гвоздей, ни мрамора или гранита для отделки, ни кровельного железа или теса, ни жести для водостоков — только синеватый чистый лед из Невы и невяская вода.

В положенный срок поднялось ледяное сверкающее чудо. Его столько раз описывали в прозе и поэзии, изо-

бражали на картинах и рисунках, что нет запала с видом первооткрывателя шагать в чужой, глубоко втоптаный след. Лучше я приведу два старых текста, из которых первый замечателен своим старинным красноречием, а второй — суховатой точностью.

Вот что писал член Санкт-Петербургской Академии наук, физик, профессор Георг Вольфганг Крафт, коллега Тредиаковского, предваривший свои восторги упоминанием о том, что лед — малоупотребительный материал, до сих пор из него делали лишь в Италии оконницы, стаканы и зажигательные стекла; последним занимался прославленный французский физик Мариотт.

«Здесь, в Санктпетербурге, художество гораздо знатнейшее дело изо льда произвело. Ибо мы видали из чистого льда построенный дом, который по правилам новейшей архитектуры расположен, и, для изрядного своего вида и редкости, достоин был, чтоб, по крайней мере, таковож долго стоять, как наши обыкновенные дома... На сем месте (между двумя весьма достопамятными строениями, а именно — между созданною, от блаженные и вечнодостойныя памяти императора Петра Первого, адмиралтейскою крепостью и построенным, от блаженныеж и вечнодостойныя памяти государыни Анны, новым зимним домом, который для своего великолепия, достоин всякого удивления) началось строение, самый чистый лед, наподобие больших квадратных плит, разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкою размеривали, рычагами одну ледовую плиту на другую клали, и каждый ряд водою поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом, через краткое время построен был дом, который был длиною 8 сажен, или 56 лондонских футов, шириною в 2 сажени с половиной, а вышиною, вместе с кровлею, в 3 сажени; и гораздо великопнее казался, нежели когда бы он из самого лучшего мрамора был построен, для того, что казался сделан быть будто бы из одного куска, а для ледяной прозрачности и синего его оттенка на гораздо дражайший камень, нежели на мрамор подходил».

А вот другой отрывок, представляющий из себя пересказ профессором Шубинским какого-то старого текста:

«Архитектура дома была довольно изящна... Кругом всей крыши тянулась сквозная галерея, украшенная столбами и статуями, крыльцо с резным фронтисписом вело в сени, разделяющие здание на две большие комнаты,

сени освещались четырьмя, а каждая комната пятью окнами со стеклами из тончайшего льда. Оконные и дверные косяки и простеночные пилястры были выкрашены зеленою краскою под мрамор. За ледяными стеклами стояли писанные на полотне «смешные картины», освещавшиеся по ночам изнутри множеством свеч. Перед домом были расставлены шесть ледяных трехфунтовых пушек и две двухпудовые мортиры, из которых не раз стреляли. У ворот, сделанных также из льда, красовались два ледяных дельфина, выбрасывающие из челюстей с помощью насосов огонь из зажженной нефти. На воротах сидели ледяные птицы. По сторонам дома, на пьедесталах с фронтисписами, возвышались остроконечные, четырехугольные пирамиды. В каждом боку их было устроено по круглому окну, около которых снаружи находились размалеванные часовые доски. Внутри пирамид висели большие бумажные восьмиугольные фонари, разрисованные «всякими смешными фигурами». Ночью в пирамиды влезали люди, вставляли свечи в фонари и поворачивали их перед окнами, к великой потехе постоянно толпившихся здесь зрителей. Последние с любопытством теснились также около стоявшего по правую сторону дома ледяного слона в натуральную величину. На слоне сидел ледяной персиянин, двое других таких же персиян стояли по сторонам. «Сей слон, — рассказывает очевидец, — внутри был пуст и хитро сделан, что днем воду на двадцать четыре фута пускал, ночью, с великим удивлением всех зрителей, горящую нефть выбрасывал. Сверх ж того, мог он, как живой, кричать, который голос потаенный в нем человек трубою производил».

Внутреннее убранство дома вполне соответствовало его оригинальной наружности. В одной комнате стояли: два зеркала, несколько шандалов, большая двуспальная кровать, табурет и камин с ледяными дровами. В другой комнате были: стол резной работы, два дивана, два кресла и резной поставец, в котором находились точеная чайная посуда, стаканы, рюмки и блюда. В углах этой комнаты красовались две статуи, изображавшие купидонов, а на столе стояли большие часы и лежали карты с марками. Все эти вещи, без исключения, были весьма искусно сделаны изо льда и выкрашены «приличными натуральными красками». Ледяные дрова и свечи намазывались нефтью и горели.

Кроме этого, при Ледяном доме, по русскому обычаю, была выстроена ледяная баня...

Народ петербургский сам себе не верил: неужто и впрямь стоит посреди города это диво дивное? Едва продрав глаза, до дел, до присутственной тятоты и потной работы, до ссор и дряг, до уныния и слез, до всего, чем томителен день маленького человека, бежали к Адмиралтейству. Вот он! В морозной синеве, под негреющим ярким солнцем сверкает гигантский золотой слиток. И едва ли не еще краше был он ночью, под месяцем, исходя серебристо-зеленоватым свечением. И, отмораживая себе носы и ноги, петербуржцы вздыхали, что, увы, не вечна эта красота, истечет мутноватой влагой с веем апрельских ветров.

А придворные что ни день парились в ледяной бане, и даже матушка-государыня раз пожаловала со всем причтом болтушек, фрейлин, шутов и арапчат. Сама Анна Иоанновна дальше предбанника, где шуты сразу затеяли обычную возню, не пошла, а болтушек париться заставила. Пару поддавал кваском Голицын-Квасник, которого за мужчину не считали, хотя ему предстояло скорое бракосочетание, а нахлестывала белые задницы сердитым можжевелевым веником Буженинова. А вот ее саму заставить попариться оказалось делом невозможным. «Ну, Куколка, попарься, хоть перед свадьбой смой коросту», — тщетно нудила Анна Иоанновна. «А я ему и так хороша!» — в сознании своей неотразимости отмахивалась грязнуля Буженинова. Анна Иоанновна покатывалась со смеха. Она и сама не злоупотребляла омовениями, ибо возлюбленный ее предпочитал крепкие запахи, но все же перед свиданием с ним протирала лицо и шею французской ароматной водой, румянила щеки, сурмила брови. А Буженинова вечно ходила чумичкой, лицо от пота и жира нефтью отливало, руки были как у арапки. Но безгливости к ней государыня не испытывала.

Словом, все шло к триумфу Волынского. В последний момент чуть не подгадил придворный стихоплет, дутое ничтожество Васька Третьяковский. В канун праздников стихов не представил, а вызванный для объяснения нагло заявил, что он-де Академии наук секретарь, первый российский поэт и негоже ему воспевать шутовскую свадьбу. Он поет императрицу и великия ее деяния, славу русского оружия и виктории, венчающие все войны россиян. Ну, Волынский показал ему славу русского оружия и виктории россиян — так отделал палкой, что тот еле ноги унес. Но не домой, чтобы за вирши сесть, а к Бирову — жаловаться. Волынский случайно наткнул-

ся на него в прихожей герцога Курляндского. Тут уж он всерьез принялся за наглеца, бил его в рыло и в душу, топтал ногами, и не помогло российскому Анакреону, что на вопли его вышел Бирон. «Прекратите!.. Здесь вам не конюшня!» — «Конюшня и есть!» — дерзко ответил Волинский, терявший в ярости всякую осмотрительность, и выдал Академии секретарю еще и за Бирона. После чего отвез его в караулку, где поэта добавочно наказали по строгому воинскому уставу, хотя тот в военной службе сроду не состоял. «Чтоб были вирши!» — приказал Волинский, когда страдальца укладывали на шинельку, чтобы отнести домой.

И, конечно, на другое утро вирши были представлены, и, хотя Волинский не считал себя большим знатоком поэзии, он понял, что Третьяковский постарался на славу. «Ведь можешь, коли захочешь, — сказал он милостиво. — Истинная поэзия рождается под палками». И велел подать поэту большую рюмку водки, соленый огурец и машкеру, ибо на распушем лице Третьяковского отчетливо проступали сквозь густой слой пудры лиловые, синие и багровые следы избиения, срамно в таком злом виде на ассамблею являться.

Волинский отделал поэта столь беспощадно не за малое неповиновение — тут и десятка пинков хватило бы, — а за проглянувшее в жалком бунте пренебрежение к нему, еще не списанному со счетов сановнику. Наслушался вздорных разговоров у покровителя своего Куракина, вот и обнаглел. Ладно, еще посмотрим, чья возьмет.

И пришел день великого торжества Волинского, апофеоза самодержавной власти, не ведающей предела в надругательстве над человеческой сутью.

Поначалу все шло благопристойно: шутов венчали в церкви обычным порядком, и не было в них ничего смешного или недостойного: ни в невесте, которую заставили вымыть лицо и руки, нарядили в белое подвенечное платье и всю увешали драгоценностями — не покупалась императрица в такой значительный и веселый день на щедрейшие подарки Куколке, — ни в представительном, даже сановитом Кваснике, одетом по последней парижской моде. Правда, те, кто оказывался к нему поближе, слышали, как он бормотал в пустоту: «Гм, похоже на свадьбу, но где жених?» — «Ты жених и есть», — говорили ему. Он наклонял голову в хорошо расчесанном



и крепко державшемся парике, задумывался, шлепая губами, потом сипел: «Я, государи мои, в некотором роде женат... Я не могу обманывать даму».

Придворные были в восторге — Квасник превзошел самого себя, и жаль, не было в церкви квасу, чтобы плеснуть в задумчиво-серьезную гладко выбритую рожу. Но государыня не велела задевать его в этот день, все должно идти по разработанному Волынским ритуалу.

Уже перед аналоем Голицын обернулся к Бужениновой: «Сударыня, не имею чести вас знать, тут какое-то недоразумение...» — «Ничего, батюшко, успокойся, — перебила шепотом Буженинова. — Не труди голову, все по-божески. Ты человек свободный, а сейчас нас господь соединит». — «Вы так полагаете, сударыня?» — произнес Голицын, и рот его некрасиво приоткрылся, как у судака, выброшенного на берег, и уже не закрывался во все время службы, хотя Буженинова толкала его в бок: «Закрой хлебало, батюшко, ведь перед богом стоишь». Он даже на вопрос священника ответить не мог, и нетерпеливое «да» бросил за него посаженный отец Бирон. Голицын снова провалился в ту бездну, где роились, не обретая отчетливого образа, тени не событий даже, а воспоминаний о какой-то жизни, то ли прожитой им, то ли пригрезившейся, то ли рассказанной ему в незапамятные времена. Он никак не мог разобраться в этом мельтешении красок и линий, в уколах необъяснимой боли, в тоске, сжимавшей сердце, и в чем-то ином, противоположном, чему он не помнил названия, просившем улыбки, но рот будто затвердел в уголках губ, когда ему впервые плеснули квасом в лицо, и не умел растягиваться.

Кольцо невесте Голицын тоже не смог надеть, ибо принадлежащее внешнему миру не пронизывало стеснившийся в нем хаос. Его выручила Буженинова, она так ловко просунула палец в кольцо, которое он бессмысленно держал в руке, что никто не уловил замешательства.

По выходе из церкви молодых посадили в большую позолоченную клетку, дюжие молодцы водрузили клетку на спину слона, и под крики, свист, улюлюканье толпы они двинулись во главе растянувшейся чуть не на версту процессии мимо Зимнего дворца, куда уже успела вернуться государыня со свитой, к манежу герцога Курляндского. Как ни затейливо и ни фантастично было зрелище медленно и широко шагающего по заснеженным улицам Петербурга слона и качавшейся на его спине золотой клетки, где, судорожно вцепившись в прутья, таращились

перепуганные молодые, шествие народов было еще ошеломительнее. Разноплеменные поезжане в национальных праздничных костюмах ехали парами, кто на оленях, кто на маленьких, с длинными гривами лошадаках, кто на статных рысаках, кто на верблюдах, кто на ослах, кто на собаках, кто на козах, кто на свиньях, каждый со своей музыкой, игрушками и символами, ехали в санях, сделанных в виде зверей, птиц, рыб и ярко раскрашенных.

Волинский, убедившись, что Татищев и один может наблюдать порядок шествия, поспешил во дворец, где тепло укутанная Анна любовалась процессией с балкона. Его поразило лицо государыни: обычно серо-желтое, оно пылало, словно раскаленное гневом, и кабинет-министр испугался, что чем-то не угодил ей. Анна не обернулась, когда он вошел, и, только заметив Волинского возле себя, схватила за рукав.

— Петрович, говори... Слышь, говори, кто такие... про всех... в подробности!

Анна Иоанновна была потрясена. Впервые ее сонную, отзывавшуюся лишь одному человеку да пустому баловству душу прожгло сознание, какой великой, необъятной страны поставлена она повелительницей. Что знала она в России: Москву, Петербург да тракт между двумя столицами, поразивший ее своей протяженностью и пустотой вокруг; знала она, что есть в этой стране очень далекие земли, их называли Сибирью и туда ссылали неугодных и проштрафившихся, но где они, эти земли, не представляла и не любила о том думать. Где-то там, где холодно, пусто и скучно. А она жила в тепле, свете, окруженная людьми, предупреждающими каждое ее желание. Анна знала, конечно, что есть и другие края, не только холодные, ночные, но и солнечные, теплые, Малороссия хотя бы, есть великие реки, а на них города, есть много всяких губерний, где сидят губернаторы и воруют, за что их ссылают в Сибирь, но другие, поставленные вместо них, воруют ничуть не меньше. Это было для нее Россией, но это не было Россией, как она сейчас поняла. Святой боже, сколь же необъятно пространство российской державы, можно ли объехать его хоть за целую жизнь, и как же различны всем видом и обиходом племена, эту необозримость населяющие! Цвет волос, разрез глаз, крепь скул, не говоря уже об одежде, все было у них разное.

Цепко усвоивший все наставления Татищева, Волинский почтительно и уверенно, как подобает государственному деятелю, все знающему о народной жизни, сообщал

Анне Иоанновне краткие, но исчерпывающие сведения о всех «разноязычных и разночинных» поезжанах, следующих мимо Зимнего дворца. Анна Иоанновна только охала.

— Надо же, и такие водятся!

— Гляди-ка, совсем как живые!

— Как только ты их всех в голове удержишь!

— Ах, батюшки мои, какие халаты! А шапки! Живут же люди!

— Неужто все мои подданные? Ох, утешил и распо- тешил!

И когда скрылись последние сани, она сказала дру- гим, глубоким голосом:

— Спасибо тебе, Артемий Петрович, за мою Рос- сию! — и протянула ему руку для поцелуя.

Волынский грохнулся на колени, а Бирон с досады перекусил черенок трубки.

Пока поезд народов многих объезжал все главные пе- тербургские улицы, царица успела переодеться. Сверкая бриллиантами, пенясь брюссельскими кружевами, в рос- кошном платье, выписанном из Парижа, рослая и величе- ственная, Анна прибыла в манеж со своей свитой, когда поезжан уже разместили за длинными дубовыми стола- ми. Царице и чете Биронов был накрыт отдельный стол, сюда же в знак особой милости поставили прибор для Волынского — отличие сугубо платоническое, ибо cere- мониймейстер праздника лишь раз приблизился к столу, чтобы выпить кубок за здоровье Ее Императорского Ве- личества.

Виновники торжества были усажены неподалеку за отдельным столиком. О них едва не забыли в суматохе и выпустили из клетки, когда они почти одеревенели от холода.

Стол� поезжан были установлены так, что государы- ня могла беспрепятственно наблюдать за ними. Они сиде- ли парами и ели свои национальные блюда: от сырой мороженой рыбы, любимого лакомства самоедов, до теп- лого жирного иргизского пилана, который берут руками из казана, медного таза с крышкой, и раскаленного, с углей абхазского шашлыка на острых пиках. Еду каждая народность запивала своим напитком: водкой, горилкой с перцем, вином, пивом, кумысом, зеленым чаем и другим чаем, который готовится с мясом и жиром, — админист- ративный гений Волынского учел все вкусы и запросы.

Буженинова отдышалась первой. Она поглядела на

мужа; пребывавшего в нетях: погасла от тряски, страха и холода последняя искра, порой озарявшая его омраченный рассудок. «А хорош!» — восхитилась Буженинова. Лицо просторное, лоб высокий, нос как выточенный. Вот что значит порода. Чего с ним ни творили, а кровь-то сменить не могли, древнюю голубую кровь Голицыных. Вон Кукленок пыжится изо всех сил, играет во владетельного князя, а все равно прет из него паршивый курляндский выскочка. Господи, достался же такой аристократ безродной камчадалке, которая и родителей своих не знает, как не знает, почему их занесло на Камчатку! Ее ведь только считают камчадалкой, а она русская, это же сразу видно. Помнила Буженинова себя уже побирешкой, ютившейся по чужим углам, помнила здорового бородатого мужика в медвежьей шубе и волчьем малахае, который пожалел сироту, забрал с собой в большую Россию, пристроил в услужение к «добрым» людям, мрившим ее голодом. А потом чистой случайностью попала она в дурки Анне Иоанновне. Но Буженинова не любила думать о прошлом, о настоящем думать незачем, в нем надо жить с толком, а вот о будущем мечтать стала, когда увидела князя Голицына. Мечтать никому не возбраняется, и камчатская нищенка, запечный сверчок, возмечтала о князе. Она давно уже решила попросить у Анны его в мужья, знала, что та не откажет по лютой злобе своей на Голицына. Конечно, она и вообразить себе не могла и в самых крылатых мечтах, что ради ее замужества возведут ледяной дворец, навезут народ со всей русской земли, закатят невиданный пир и вся знать, сама государыня будут гулять на ее свадьбе.

Пусть все это для потехи задумано, да поженили-то их не в смех, а по закону, в святой церкви, сам преосвященный венчал. И смеется хорошо тот, кто смеется последним. Волынский вон как распетушился, а все равно Кукленок ему голову скусит. И Кукленка, в свой черед, скovyрнут или кончат, как только государыня загнетса. А от нее уже гнилью несет. Так они все друг друга перепластают. И чего им охота на верхушку лезть, нешто кто на ней удержался? Сами они шуты гороховые, хуже тех, что в лукошках сидят. А эти — в халатах, тубетехах, малахаях, портах широченных, — нешто они не в смех сюда созваны? Значит, тоже шуты. Хоть их за столы усадили в одном лошадином дворце с государыней, которая и сама-то лошадь — отгарцевавшая, запаленная, разбитая на все четыре ноги. Сейчас поезжане жрут,

пьют, орут, хохочут, после отпоют, отпляшут, а вот доберутся ли домой — неведомо. Волынский-нехристь их не повезет. Конечно, которые с Севера на оленьих и собачьих упряжках, глядишь, доползут, они ведь, на ком едут, тех и жрут помаленьку в дороге, а которые на верблюдах, или на волах, или на свиньях, с теми хуже: или жрать, или ехать. Об остальных и говорить нечего: морозы все круче заворачивают, добреди-ка до Сибири, до Камчатки. Так и останутся их косточки на белых просторах.

Громкие крики «Виват» прервали раздумья Бужениновой, это Волынский провозгласил тост во здравие императрицы. Буженинова подтолкнула супруга и вскочила на свои короткие ножки. Когда улеглись восторги, Волынский по знаку Анны предложил выпить за здоровье молодых. И все гости захохотали, закричали: «Горько!» Голицын не двинулся, словно все это его несколько не касалось, но Буженинова быстро подскочила к нему и как клюнула в вялые губы.

Голицын словно очнулся, провел пальцем по губам.

— Я, кажется, забылся, — просипел он. — Пожалуйста, не сердайте.

И тут возникла грузная фигура в красном домино и черной маске с огромным приставным носом. Волынский хлопнул в ладоши, призывая к вниманию. Домино откашлялось и начало каким-то напряженным и словно придушенным голосом:

Здравствуйте, женившись, дурак и дурка,
Еще... тот и фигурка!
Теперь-то прямое время нам повеселиться,
Теперь-то всячески поезжанам должно беситься.

— Кто это? — спросил Голицын. — Похоже на Третьяковского. Его голос. Почему он в маске?

— А ему намедни Артемий Петрович всю морду искрошил.

— Бедняга... — прошептал Голицын.

Квасник-дурак и Буженинова
Сошлись любовью, но любовь их гадка,
Ну, мордва, ну, чуваша, ну самоеды,
Начните веселье, молодые деда!

Было тихо. Вирши, выбитые кулаками и дубинкой из Третьяковского, никого не веселили. «Молодые деда»

просто их не понимали, а придворным, знавшим, почему поэт напялил уродливую маску и красное домино, было не до смеха. Очень легко было представить себя на месте этого российского академика, если Волынский войдет в силу. Невольно вспоминался князь Мещерский, которого Волынский в пору своего астраханского губернаторства подверг невиданному кровавому истязанию. Кабинет-министр покусывал губы, утешая себя мыслью, что он прикончит Третьяковского, если тот не вызовет хотя бы улыбки на почерневшем от усталости лице императрицы.

Балалайки, дудки, рожки и волынки!
Соберите и вы, бурлацкие рынки.
Ах, вижу, как вы теперь рады!
Гремите, гудите, бряните, скачите,
Шалите, кричите, пляшите!
Свищи, весна, свищи, красна!
Не возможно нам иметь лучшее время:
Спрягся ханский сын, взял ханское племя,
Ханский сын Квасник, Буженинова ханка.
Кому того не видно, кажет их осанка.
О пара! о не стара!
Не жить они станут, но зоблить сахар,
А коли устанет, то будет другой пахарь.

И тут государыня громко прыснула, представив себе, как обогатит красавица Буженинова сиятельного шу-та — своего мужа.

Смех государыни подхватили придворные, стараясь перещеголять друг друга в усердии, даже сумрачный Бирон пофыркивал, прикрывая рот кончиками пальцев. Видя веселость государыни, возликовали поезжане. Шум стоял такой, что Третьяковский вынужден был прервать чтение. Он и сам чувствовал, что тут муза улыбнулась ему, хорошо было завернуто, но все-таки он не ожидал такого триумфа. Он готов был простить все — и побои, и унижения — Волынскому за то, что тот дал ему подняться на вершину мастерства и успеха. Закончил он звучным голосом:

И так надлежит новобрачных приветствовать ныне,
Дабы они во все свое время жили в благостыне:
Спалось бы им да вралось, пилось бы да елось.
Здравствуйте ж, женившись, дурак и дурка,
Еще... тога и фигурка!

— Мало его в бурсе секли, — уловила Буженинова сквозь восторженный рев пирующих.

Голицын низко нагнулся над столом, из карего, большого, полного глаза медленно выкатилась слеза и, прочертив дорожку по щеке, скатилась в тарелку. А ведь он понял, что это о нас, захолонуло в Бужениновой. Значит, понимает, что мы повенчаны. И острая жалость к этому беспомощному человеку пробила ее. Она налила в бокал водки и подала Голицыну.

— Выпей-ка, батюшко, авось полегчает.

Он послушно взял бокал и неторопливо, словно воду, осушил его маленькими глотками. Затем протянул руку, уверенно наполнил бокал, выпил, еще раз наполнил и снова выпил. Буженинова с некоторым испугом следила за его действиями: хорошо, если маленько очумеет, не надо, чтобы сегодня чересчур многое открылось ему, время для этого еще придет. А ну как, отвычный от вина, он свалится, как бы чего дурного над ним не учинили.

Но выпитое подействовало на Голицына благотворно: приоткрывшееся в грязных виршах Третьяковского задернулось непроницаемым пологом вместе со всем, что являло собой его нынешнее положение, а взамен явилось, хотя и оборванное, смутное представление о чем-то хорошем, что некогда с ним было, он не трудил тяжелую голову попытками принудительных уточнений, довольствуясь тенью радости.

— Простите, сударыня, что не представился. Князь Голицын. Не соблаговолите ли назвать ваше имя?

— Княгиня Голицына, Авдотья Ивановна.

— Какое совпадение! — обрадовался князь. — Вы из каких Голицыных?

— Из самых лучших. — Бужениновой стало не по себе, хотя она знала, что опять в нем что-то повернется и он забудет об этом разговоре, как уже забыл о поганных виршах Третьяковского. А забыл ли?.. Это водочный туман застит ему память. Он не безумный, как думают многие, но, трезвый или пьяный, он скрывается в своей темноте, чтобы не помнить, не знать, что происходит с ним. — Я по мужу Голицына, — добавила Авдотья Ивановна.

— Голицыны роднились со многими знатными родами России, — любезно заметил князь. Маленькая, красиво одетая, вся в бриллиантах дама с высокой грудью и живым чернобровым лицом ему нравилась, даже чуть вытирающие верхние резцы не портили впечатления, напротив, придавали ей некий возбуждающий интерес. Он дав-

но так приятно не беседовал. — Вы случайно не урожденная Салтыкова?

— Нет.

— Шаховская?

— Нет.

— Оболенская?

— Нет.

— А кто же вы?

— Урожденная Буженинова, — глядя ему прямо в глаза, сказала Авдотья Ивановна.

Он долго молчал, что-то онять перестраивалось в нем, пытаясь завязать новые связи, но эта работа оказалась ему не по силам.

— Это не дворянский род, — сказал он угрюмо. — Я знаю одну Буженинову. Другие небось не лучше.

— А чем она тебе плоха, батюшка? — улыбнулась Авдотья Ивановна.

— Черна, грязна... — Он передернул плечами и потянулся за бутылкой.

Буженинова перекватила его руку и отодвинула бутылку. Голицын настаивать на своем прежде не больно умел, а потом при дворе вовсе разучился.

— Не говори, батюшко, чего не знаешь, у ней все чисто, — защитила шутиху княгиня Голицына.

На этом разговор молодых оборвался. Анне надоело застолье, она возжаждала новых впечатлений. Начались пляски. Многоязычные пары поочередно исполняли свои национальные танцы. У северян пляски были похожи на борьбу и охоту; иргизы под однообразные завораживающие звуки большого бубна те поврозь плыли над землей, то, сходясь, вились друг вокруг дружки, будто косу сплетали из своих тел; черные, усатые, с тонкими ногами абхазцы семенили на подогнутых носках мягких козловых сапог, размахивали широкими рукавами, хватались за кинжалы — нагнали страху; малороссы грохотали гопаком, русские рассыпали бисер дробцов. Императрица, отяжелевшая после обеда, снова развеселилась, еще раз допустила Волынского к руке, приголубила омраченных Биронов, а Третьяковского пожаловала золотой табакеркой.

Затем молодоженов схватили под микитки, втолкнули в позолоченную клетку и водрузили, едва не грохнув оземь, на спину слона. Поезжане опять распределились по своим саням, а императрица с придворными сели в кареты, и все отправились к ледяному дому.

Пучки огня вылетали из отверстой пасти дельфинов и загнутого кверху хобота слона, и переливчатые отсветы проскальзывали по голубизне ледяных стен. Высвеченные «смешные» картины в пирамидах вертелись, не надоедая громадной заиндевелой толпе. Появление новобрачных и сопровождающего их кортежа исторгло надсадный вопль из тысяч застуженных глоток.

Молодых со всякими дурацкими церемониями уложили на ледяную кровать. К наружным дверям поставили караул, чтобы счастливая чета не вздумала раньше времени покинуть свое уютное гнездышко. В отношении новобрачного то была излишняя предосторожность: непривычный к вину, Голицын был пьян до бесчувствия, его внесли в опочивальню. Все понимали, что ночь в такой студии не пережить, но это никого не волновало, и даже государыня не шевельнула пальцем для спасения своей любимой Куколки. Зато она сделала другой жест, который сильно огорчил собравшихся. В сени дворца втащили вместительный короб, и Анна Иоанновна швырнула туда жемчужное кольцо. С вымученными улыбками дамы стали кидать в короб серьги, брошки, браслеты, кольца; мужчины — драгоценные табакерки, бриллиантовые булавки для галстука, золотые монеты. Всех, конечно, интересовало, кто воспользуется этими дарами, поскольку было мало вероятия, что новобрачные встанут ото сна. Но никто не заметил, как исчез короб. Предусмотрительная Буженинова, зная, что будет одаривание, доверила сокровища попечению шута Педрилло, настоящего разбойника, но с чувством чести. Пьетро Мира мог ограбить самого папу, но у своего полушкой не попользуется.

Анна Иоанновна, одарив «обреченных смерти», поспешно отбыла, гонимая начинавшимися коликами; придворные, перестав источать вымученные улыбки, вздыхая, отправились восвояси, поезжан прогнали спать, народ столичный тоже разошелся по домам, дождавшись, когда слон и дельфины в последний раз полыхнут горячей вонючей нефтью; часовые, хватившие для угрева по кружке спирта, замерли возле дверей и сами обернулись ледяными статуями; все погрузилось в тишину и мрак, лишь, отражая свет ущербного месяца и вознесшихся звезд, поблескивала громадная и страшная игрушка, которой по молчаливому стовору сильных и согласно всех остальных предстояло быть саркофагом двух несчастных людей.

Но одно существо не присоединилось к губительному согласию, совсем крошечное существо, почти карлица, с детскими руками и ногами, с большим и сильным сердцем любящей русской женщины — Авдотья Ивановна Голицына.

До этого места история бедного Михаила Голицына-Квасника и шутихи Бужениновой общеизвестна и уж, во всяком случае, общедоступна, а вот что было дальше, знают совсем немногие. Полагаю, что это должны знать историки, занимающиеся эпохой Анны Иоанновны, и те беспокойные чудаки, которые, заинтересовавшись чем-либо, доходят «до упора», до самой сути.

Итак, Авдотья Ивановна не собиралась умирать в ночь, когда всходила ее звезда, впрочем, за себя она вообще не боялась, ее маленькое тело было наполнено горячей и быстрой кровью, которой не страшна никакая стужа, но надо было оборонить любимого.

У молодых были постели: мягкие тощие тюфячки, простыни, подушки и большое пуховое одеяло. В натопленной горнице, может, и жарко бы показалось, особенно вдвоем, но здесь и тюфячок, и одеяльце не защита. Авдотья Ивановна попробовала растолкать мужа, но тщетно. Был он тяжеленек и в ответ на все усилия лишь всхрапывал да шевелил губами. Она вышла в сени, приоткрыла незапертые двери и выглянула наружу. Часовые застыли с ружьем на плече. «Будто государственных преступников стерегут, — усмехнулась про себя Авдотья Ивановна. — Неужто им палить велено?» Приглядевшись, она поняла, что воины спят вполглаза. Она столько лет обреталась при дворе, что изучила привычки и повадки всех к нему причастных и знала это умение бывалых солдат спать на часах с полуприкрытыми глазами и просыпаться от малейшего шума, от мышьего шороха. Их командиры тоже знали эту особенность и не раз пытались накрыть караульных, подкрадываясь к ним на цыпочках, но никогда не имели успеха. В последнее мгновение часовой возвращался в явь, и вся его фигура обретала напряжение чуткой готовности. Конечно, в каждом деле не без прорухи: дворцовые легенды сохранили память о выроненных ружьях и даже о грохнувших на пол ратниках. Выпавшее из рук оружие предсказывало военную конфузю, татарский набег или объявление войны, падение стражника — смерть в царствующем доме.

Спящие у ледяных дверей воины крепко держались на ногах, а ружья словно примерзли к плечу. Поступь крошечной Авдотьи Ивановны была легче мышью. Она проскользнула между караульными и побежала к будке. Растолкав подвыпившего унтера, она за колечко с камешком получила на ночь овчинный тулуп. С этим тулупом она опять прошмыгнула между стражниками и вернулась к своему мужу.

Авдотья Ивановна раздела его и укрыла тулупом. Сама разделась тоже и подсунулась под него. Тулуп натянута так, что они скрылись в нем, как в пещере. Тело ее было горячим, и особенно горячи маленькие руки, которыми она терла мужу спину, бока, шею. Он быстро согрелся, а когда Авдотья Ивановна задремала, удивленная, что чужое тяжелое, неповоротливое тело так легко ей, то продолжала безотчетно растирать его...

Михаил Алексеевич проснулся в душной, давящей темноте, рванулся из нее и скинул тулуп. В окошки процеживался рассеянный, не рождавший четких очертаний свет. Такой размытый свет льется в комнату в морозный день из окон, покрытых наледью. Он ощутил холод и тут понял, что вокруг все ледяное: и стены, и пол, и потолок, и окошки. Это открытие не осталось в Голицыне, оно вытеснилось другим: с ним произошло необыкновенное, когда-то испытанное, но потом исчезнувшее не только из жизни, но даже из памяти и воображения. Он не мог понять, что это было, но тело знало об испытанной радости и сообщило свое знание рассудку. Теперь он видел, что не один в ледяной комнате: в постели лежало маленькое существо, нагое, белое, женское. Он задрожал, опустелый мозг пронзило множеством стрел, причиняя острую, колющую боль, и каждая стрела тянула за собой нить; эти нити сплетались, перепутывались, но и создавали связи.

— Вы кто? — спросил тихо.

— Жена твоя, родимец, княгиня Голицына.

Перепутанные нити вдруг разобрались, натянулись — не все, но многие, он мог прочесть их узор.

— Но вы... Ты была другая... смуглая.

— А теперь белая. А о смуглой лучше забудь. Ты о многом забыл, чуть не обо всем. Так вот, об этом лучше не вспоминай. И вообще не вспоминая, живи, чем есть, потом все само соберется.

Голицын слушал, и что-то находило в нем смутный отзвук, а что-то отскакивало. А женщина, жена, была

перед ним в своей доверчивой наготе, и его плоть оказалась умнее смятенного духа, он наклонился к ней. Закрытыми глазами Авдотья Ивановна увидела, как в ледяное окно, не взломав его, влетел белый ангел.

А когда оба опаматовались, Голицын с тупым упорством сказал:

— Та черная.

— Кто такая? — не поняла Авдотья Ивановна.

— Бу... бу... — Он не мог выговорить противной клички.

— Э, родимец, черного кобеля не отмоешь добела, а белого проще нету запачкать. Такая служба. Ты ведь тоже не такой, как есть, потому — служба.

Разбудив плоть князя, Авдотья Ивановна принялась создавать ему новую душу, потому что от старой у князя немного осталось. Но делать это надо осторожно, чтобы не скрылся он опять в раковину безумия.

— Служба? — бессмысленно повторил Голицын.

— Конечно, служба. Дворцовая. Выгодная, только ты пользоваться не умеешь. Ты да Волконский. Многие такой службе позавидуют. Но она не для тебя и не для меня... теперь. Потерпи, у нас вся жизнь впереди.

— Жизнь? — повторил Голицын с ужасом. — Разве это жизнь?

— Я не об этой жизни говорю. О другой, новой. Теперь уж недолго ждать. А потом у нас с тобой все будет не хуже, чем у людей.

Они едва успели одеться, как явился унтер за тулупом.

— Ты того... помалкивай, — предупредил он Авдотью Ивановну. — Не то мне башку снимут.

— Не бойсь, — сказала Авдотья Ивановна.

— Не бойсь, не бойсь, — проворчал унтер, который, видать, не успел опохмелиться и был в дурном настроении. — А может, требовалось, чтобы из вас ледяной статуей вышел.

— Очень даже может, — согласилась Авдотья Ивановна.

— Ладно, выметайтесь, — вздохнул унтер. — Никаких распоряжений о вас не дано.

— А куда мы пойдем? — спросил Голицын.

— Ко мне, — сказала жена. — У меня свой покойчик есть. И даже с банькой.

— Хотите в ледяной повариться? — предложил унтер.

— Сам парься крапивным веником. — Авдотья Ивановна взяла мужа за руку и повела в свою жизнь, которая отныне стала их общей.

Самое трудное было примириться с «дворцовой службой», как Авдотья Ивановна называла шутейное дело. Возвращение памяти имело свою оборотную сторону. Одно дело, когда режут по замороженному телу, другое — по живому. С первыми квасными опивками, угловидшими в лицо, что-то омертвело в Михаиле Алексеевиче, а потом он и вовсе утратил чувствительность. А как снести надругательство сейчас, когда он начинает дрожать от одной мысли об унижении на глазах жены?

— Да плюнь ты на них, — убеждала Авдотья Ивановна. — Подумаешь, беда! Если тебя на улице карета грязью окатит, ты сильно переживаешь? Злишься, конечно, но обтерся и дальше пошел. И нешто об этом помнишь? Ну, плеснул дурак квасом, так это он свиной вышел, а не ты.

Голицын молчал, тяжело сопя и наливаясь кровью. «Как бы удар не хватил!» — тревожилась Авдотья Ивановна. И опять принималась за свое:

— Считаю, что тебе такая служба выпала. Ты в пехоте был. Мало грязи месил и в грязи валялся?

— То другая грязь.

— Почему другая? Ты же ее не выбирал. Ты чистюля. А тебя в эту грязь дураки-командиры совали. Ты хотел сухонькой тропки и чистого ночлега. А пуль неприятельских, походной грязи, вшей, дурости начальства ты вовсе не хотел. И тоже небось орали, ругались, оскорбляли... Что я, армейских не знаю? Скажи, не так? Всюду одно и то же. Как к чему относиться. Тебе плеснули квасом в рожу, а ты: «С вашей милости колечко». Дали пинок: «Пожалуйте золотой». — Авдотья Ивановна осеклась.

Красное лицо Голицына стало лиловым, шея вытянулась, а кадык набух: ни дать, ни взять разгневанный индюк. «Эдак сразу вдовой станешь!» — мелькнуло испуганно.

— Я у них под ногами... Спасу мне нет. Но торговать честью я не стану.

«Честь! — подумала Авдотья Ивановна. — О какой чести бормочет этот битый, оплеванный, замордованный бедолага?.. А может, он прав? Его честь — терпеть и не брать подачек. Мы-то все, как собачонки на задних лап-

ках. Даже старик Волконский, когда суют, боится не взять. А моему Бирон раз колечко кинул, так тот и не нагнулся. Король Самоедский подобрал. Мы думали, не заметил, а вот оно что!»

— Не сердчай, родимый. По глупости сболтнула. Всяк ведь на свой аршин... А ты не такой. Но почему ты зятю своему сдачи не дашь? Он тебя то толкнет, то ущипнет, то ножку подставит, а ты знай глаза лупишь.

— Я перед ним виноват, — опустил голову Голицын. — Соблазнил чужой верой.

— Кто в вере крепок, того не собьешь. А в шутах ему самое место. Что он, что король Самоедский, что господин Балакирев — ничем другим быть не могут да и не хотят. Вон Балакирев — куда его ни кидало, а все назад под дурацкий колпак спешил. Это как в итальянской комедии: все друг друга лупят хуже, чем при дворе, а нешто актеры обижаются? Такой у них талант.

— А у меня нет такого таланта, — пробормотал Голицын.

И все же что-то из рассуждений Авдотьи Ивановны запало ему в душу. Он старался контролировать свое поведение и предупредить враждебные выходы, насколько это было возможно. Когда просили квасу, он осведомлялся любезно: «Какого прикажете: хлебного, клюквенного, вишневого или грушевого?» Ему отвечали. Видимо, даже такого крошечного разговора достаточно, чтобы протянулась какая-то человеческая ниточка, и уже рука не подымалась для хамского жеста. А может, останавливало присутствие Бужениновой, что котенком вилась в ногах императрицы. Анна, к своему удивлению, обрадовалась, что Куколка уцелела в ледяной ночи. Она сама не ожидала, что так к ней привязана. Ласковость государыни все видели и боялись обозлить любимицу. Но были и такие, не до конца изгнившие, что совестились унижать мужа на глазах жены.

А зятя своего Михаил Алексеевич, памятуя наставления Авдотьи Ивановны, проучил. Однажды, когда тот по своему обыкновению ударил его исподтишка, Михаил Алексеевич отвесил ему такую затрещину, что Апраксин волчком пролетел всю приемную императрицы и расквасил нос о «монашку» карельской березы. Присутствующие расхохотались, захлопали в ладоши, но Апраксин впервые не испытал ни малейшей радости от того, что вызвал смех.

Другой раз, заметив, что Балакирев нацелился прыгнуть через него, Голицын услужливо пригнул широкую спину, крепко уперся руками в колени и позволил ловкому, но подутратившему былую гибкость суставов старому шуту совершить великолепный прыжок, вызвавший одобрение придворных. После чего спокойно отошел в сторону, не дав вовлечь себя в шутовскую чехарду.

Но ведь недаром говорят: в огне брода нет. Как ни берегайся, беда тебя сама найдет. И случилось это вскоре после того счастливого дня, когда Авдотья Ивановна объявила ему, что ждет ребенка. Голицын уже трижды становился отцом, но такого чувства, как сейчас, не испытывал. Подумаешь, какой фокус — сотворить ребенка, когда ты в расцвете лет, когда и жена у тебя молодая, и спокойствие на душе, и упругое сердце мерно и сильно гонит кровь по жилам. Но создать дитя, когда ты весь изломан, раздавлен, смят, когда ты пробыл в разлуке с самим собой и всем светом долгие годы, когда тебя шатало от голода не потому, что не было еды, а потому, что кусок не шел в горло, когда ты, казалось, навсегда выбыл из круга живых, — это великое чудо, знак божьего благоволения, знамение, которое еще надо разгадать. Значит, он для чего-то нужен богу, коли тот хочет привязать его к жизни такими прочными нитями.

В этом умиленном, философически-религиозном настроении Голицын отправился на службу. Он с непривычной легкостью предавался обычным пошлым глупостям, казавшимся столь ничтожными рядом с постигшей его благодатью. Как мог он придавать этой чепухе значение? Эти вельможи, сановники, фавориты — просто дети, большие, злые, капризные, глупые дети, не отвечающие за свои поступки. Он тешит взрослых детей. Вот он закудахтали — смеются, вот козу соорил — смеются, вот упал — смеются, вот Биронов сын по ногам его кнутиком — смеются, аж закатываются, чтоб перед папашей милого сорванца выставиться. Смейтесь, бог с вами, а у меня сын будет, и ему уже не придется корячиться перед вами. Тут он заметил, как граф Левенвольде с досадой швырнул карты на стол и что-то резкое сказал своей белокурой партнерше красавице Лопухиной. Небось опять пробросился, а на нее валит. Играть он до страсти любит, а выдержки и умения большого нету. На проигрыш обычно не особо злится, он и вообще не злой. Деньги любит и делает их предостаточно в компании с другом своим Бироном. Положение Левенвольде при дворе почти

такое же прочное, как у самого герцога Курляндского (это он, Левенвольде, предупредил Анну о посланных ей кондичиях верховников), но амбиций неизмеримо меньше. Он не рвался к власти и к государственным постам, довольствуясь званием обергофмаршала, мог выполнить тонкое дипломатическое поручение, но к деятельности не стремился. Левенвольде хотел играть в карты, иметь много денег и любить женщин. В дальнейшем он еще сузил круг своих желаний: денег для картежной игры требовалось по-прежнему много, а женщины свелись к одной-единственной — очаровательной и своенравной Наталье Лопухиной. Он принадлежал к числу немногих, которые никогда не обижали Голицына, точнее, просто не замечали его, как и остальных шутов. И Голицын был благодарен ему за это. Приметив, что граф оглянулся на столик с напитками, видимо, желая промочить спекшееся от азарта и горечи горло, он быстро наполнил кружку и поднес Левенвольде.

Тот сделал несколько быстрых, жадных глотков. Но вместо того, чтобы успокоиться, насвежо как бы без помех, обозрел свою дурную игру и разозлился на себя. Но ведь себя не накажешь, а Лопухина была не такая дама, чтобы дважды снустить колкость. Перед ним маячило широкое, красное лицо — Левенвольде резким движением поднял кружку. И тут он увидел в странном неестественном приближении два коричневых глаза с глубокой тенью круглых зрачков, но то были не зрачки, а маленькие колодцы, и на дне их проглядывала такая мука, такая пронзающая молчаливая мольба, что Левенвольде передернуло от небывалого проникновения в чужую боль, на мгновение ставшую его собственной. Он сумел оборвать движение руки.

— Хороший квас... Благодарствую, — пробормотал он и отдал кружку.

Маленькую стенку между обергофмаршалом и шутом длиною в несколько ударов сердца заметили придворные и сделали естественный вывод: коли уж сам Левенвольде не решился окатить Квасника, значит, нынче такой расклад.

Пронесло на этот раз, но от судьбы не уйдешь. И потерпел Михаил Алексеевич от невольного творца своего счастья Артемия Волынского. После Ледяного дома и шествия народов звезда Волынского подвиглась как никогда высоко, слишком высоко, чтобы удержаться в такой головокружительной выси. Он не был настоящим

политиком, умеющим различать в сегодняшнем успехе зерна завтрашнего поражения и ловким ходом обезоруживать врагов. В успехе он был невыносимо заносчив, в неудаче — малодушен и низок. Его энергия, нахрап, дерзость не превращались в решительность, как, скажем, у Меншикова или Миниха. Завоевав вновь расположение Анны и осадив немецкую партию, Волынский вернулся к бесцельным свободолюбивым разговорам в своем кружке, не слишком заботясь о конспирации. С другой стороны, он не пропускал случая показать Анне, что годится не только для устройства шутовских праздников, в его речах, обращенных к императрице, вновь зазвучала наставническая нота, раздражавшая Анну и бесившая Бирона. Тот в грош не ставил Волынского-реформатора, но боялся Волынского-интригана. Парламента России кабинет-министр, понятно, не даст, а ему, Бирону, нагадит. Вопрос о престолонаследнике, младенце Иоанне Антоновиче, был решен и закреплен соответствующим актом, регентша вроде бы тоже известна — мать его Анна Леопольдовна, но подписание этого указа государыня все откладывала, видя в нем как бы согласие на собственную смерть. Бирон надеялся, что Анна Иоанновна еще передумает и назначит регентом его, но добиться этого было ох как непросто! Препятствий множество: и сама потерявшая уверенность, раскисшая от болезни императрица, и пустая, сластолюбивая, но охочая до власти Анна Леопольдовна, и упрямый дурак ее муж герцог Брауншвейгский, и честолюбивый Миних, даже на милого друга Левенвольде нельзя положиться. Но все это люди без корней, а Волынский был русским, старинного рода, но связан и со служилым дворянством. Его необходимо убрать. И Бирон сказал Анне Иоанновне без всяких оценок: или он, или я. Это решило участь Волынского. Без Бирона императрица не мыслила утекающей из нее жизни.

Как ни был Волынский зашорен верой в свое мнимое торжество, но и он почувствовал угрозу. Его ясные, точные доклады вдруг оказались не нужны, во дворец перестали приглашать. И тогда Волынский явился незваный, чтобы тайное сделать явным, чтобы дать врагам своим открытый бой. То был смелый до отчаянности шаг, но продиктован он был не отвагой, а полным отсутствием выдержки.

В покоях императрицы все было по-прежнему. Анна лежала на высоком ложе под ярко-голубым стеганым

одеялом, в чепце с лентами и розовом пеньюаре, подчеркивающим нездоровую желтизну лица и тени в подглазьях; Бирон у изголовья сосредоточенно орудовал ногтечисткой; Бенигна приготавлила какое-то лекарство, в ногах за ломберным столом Левенвольде, Лопухина и князь Куракин вели нескончаемый карточный спор, в дальнем углу рослый Миних — голова отрублена тенью от портьеры — о чем-то шептался с белокурой томной Анной Леопольдовной, начальник тайной канцелярии Ушаков медленно потягивал квас, ошаривая присутствующих тяжелыми оловянными глазами, а придворный Квасник стоял наготове, чтобы принять пустую кружку, шуты кочевряжились на ковре. Буженинова-Голицына, ластясь к опущенной руке Анны Иоанновны, скалила белые зубы. Педрилло, пританцовывал, пиликал на скрипочке, меж клеток с гортанно покрикивающими попугаями томился Тредиаковский со свернутой в трубочку рукописью, тщетно ожидая, что на него обратят внимание и он угостит присутствующих очередными виршами. Но поэта не замечали, как не замечали Волынского. Кабинет-министр отшвырнул подкатившегося с кривляниями Апраксина, вышел под взгляд государыни и низко поклонился. Анна посмотрела сквозь него, словно он был прозрачный, потом равнодушно отвернулась. Остальные продолжали заниматься своим делом. Бирон даже на мгновение не перестал полировать ногти.

Надо было что-то сказать, но горло схватило сушью. Волынский откашлялся и сипло бросил в никуда: «Квасу!»

Михаил Алексеевич поспешил исполнить приказание кабинет-министра и в избытке усердия налил ему вишневого квасу, хотя прекрасно знал, что тот признает только хлебный с хренком, об остальных отзывался презрительно: немцы в России все изгадили, даже квас.

Волынский жадно глотнул раз-другой, ощутил противную сладость, бешено глянул на застывшего в любезно-достойной позе Квасника и с силой плеснул ему в лицо темно-красной жидкостью. Будто кровью умылось широкое, сразу изгнавшее улыбку лицо. Но ярость Волынского не утихла.

— Ты чего мне суешь, дурак?

— Не гневайся, батюшко! Успокойся, родимец! — слышался тонкий голос.

Никто не заметил, как успела Буженинова сорваться с места, налить квасу и поднести Волынскому. Тот от-

вернулся от Квасника, увидел белую шапку пены, кружку в маленькой нечистой руке, непроизвольно потянулся за ней, но не успел взять. Кружка отодвинулась и вдруг стремительно приблизилась к его лицу — в глаза, в ноздри, в приоткрытый рот ударило коричневой жидкостью. Это было так дико, что лишь по громовому хохоту окружающих кабинет-министр понял, что случилось. Карлица отомстила за своего мужа и обдала его квасом. Схватить, разорвать ее, как кошку, а там пропади все пропадом! Он рванулся вперед — и будто о стену ударился. Между ним и карлицей вдвинулась большая нелепая фигура, с рожи стекали рубиновые капли. Ах, этот!.. Волинский двинул плечом, фигура не шелохнулась, а плечу стало больно. Волинский шагнул в сторону, но фигура вновь загородила ему путь. Ярость уже не ослепляла взора. Волинский видел массивное тело Квасника, который был одних лет с ним, в той же силе, но куда тяжелее. Такого не сдвинешь. А драться — смешно и унижительно. И еще он увидел, что к нему за спину заходит верста в генеральском мундире — Миних, а сбоку надвигается мертвоглазый и крепкий, как кленовый свиль, палач Ушаков. Кабинет-министр почти обрадовался голосу императрицы.

— Выйди, Артемий Петрович. Не срамись понапрасну.

Лучше удалиться по приказу государыни, чем ждать, чтобы тебя вышвырнули вон. Он повернулся и, задев локтем Миниха, быстро прошел к дверям. «Это конец!» — подумал Волинский.

Он не ошибся. Поэтому и сошла с рук Авдотье Ивановне ее выходка, а Голицыну — непозволительное заступничество. Волинский был обречен на мучительную смерть.

Уже на следующий день он стоял перед Ушаковым в застенке Тайной канцелярии. Кабинет-министра взяли, не потрудившись придумать ему сколь-нибудь важной вины. Даже бывалый Ушаков был озадачен, что должен допрашивать такого серьезного человека из-за сущих пустяков: избияния Академии секретаря Тредиаковского и посылки государыне книги зело бесстыдного политика Никколо Макиавелли с «тайными намерениями». Разве из этого состряпаешь дело? По счастью, спохватился камердинер Волинского и донес, что его хозяин с товарищами готовил заговор, злоумышляя против императрицы и, что всего хуже, оскорблял ее поносными словами. Сделали

обыск, нашли записки Волынского, наброски проекта об улучшении государственного устройства — перепевы мыслей «верховника» Дмитрия Голицына, взяли Еропкина и Хрущова (Татищев уже сидел по делу о казнокрадстве) — работа закипела.

До этого у Волынского оставалась надежда выкрутиться: неужели с него всерьез спросится за оплеушины бездарному виршеплету или посылку сочинения знаменитого флорентийца? Но когда Ушаков, как-то сыто зевая, сказал: «Хрен с ним, с Тредиаковским, хрен с ним, с Макиавеллем, ты мне о заговоре своем расскажи», — кабинет-министр понял, что его песенка снета. И сразу потерял достоинство.

Он обретет его лишь на эшафоте.

В России всегда путали слово и дело. Люди говорили ничего не значащие слова, за которыми не стояло никаких злокозненных намерений, а их наказывали беспощадно, зверски. Мягких наказаний не ведали. Самыми легкими были сечение кнутом, вырывание ноздрей, ссылка в Сибирь. Так расправлялись с ворами, грабителями, браконьерами.

С болтунами обходились круче. Любое слово, сказанное против монаршей особы, тут же объявлялось заговором, за это сажали на кол, колесовали, четвертовали — с предварительным урезанием грешного языка. Более гуманных приговоров не ведали, лишь монаршья воля могла смягчить участь осужденного: кол заменить колесованием, колесование — четвертованием, а последнее — простым отсечением головы. Слова, которыми обменивался Волынский со своими друзьями, слова, которые он небрежно предавал бумаге («горазд был писать»), слова, которые не перешли даже в подобие дела, были расценыны как свершившееся злодеяние. Доброе сердце императрицы облегчило участь несчастных «словесников»: Еропкина и Хрущова просто обезглавили, Волынскому по урезанию языка отрубили вывихнутую на дыбе руку, после чего палач отсек ему голову. Трупы казненных свезли в Самсоньевскую церковь и по отпеванию бросили в общую могилу.

Так судьба Михаила Голицына еще раз переклестнулась с историей. Но мученический исход Волынского несколько не облегчил его собственных мук.

Анна Иоанновна умирала, но и это не внушало радужных надежд. Как еще распорядится шутами Анна

Леопольдовна или, вернее, Бирон? Задумываясь над своей жизнью, Голицын не раз спрашивал себя, что легче: нести крест в идиотическом беспамятстве или в нынешнем все сознающем страхе? Теперь ему казалось, что раньше унижали не его, а кого-то, кто имел лишь внешнее сходство с ним, душа не чувствовала боли, затихла. Но душа его оттаяла в Ледяном доме, стала живой и мучающейся. Пусть теперь оскорбляют реже и не так зло, но во сто крат больнее, потому что он переживает не только за себя, но и за жену, а главное, за того, кто появится на свет. Голицын не мог избавиться от чувства, что тычки и пинки отражаются на зреющем в утробе Авдотьи Ивановны младенце. Его воображению рисовалось, что крошечное новое существо явится в мир обезображенным, в кровоподтеках, синяках и даже не со смятой, как у него самого, а с переломанной душой. Авдотья Ивановна своим поступком с Вольнским спасла не только его сердце, но и будущее дитя. Спасла раз — и он сумел ей помочь, но в других случаях она бессильна. А что ждет их при жестоком и ненавидящем все русское Бироне? Голицын тосковал, но все-таки никогда бы не променял нынешнюю тревогу на прежнее скотское спокойствие. Ведь случались вечера, целые дни вдвоем с Авдотьей Ивановной — императрица теперь редко кого допускала к себе, кроме врачей и Бирона, — эти часы и дни были такими счастливыми, что стоило вытерпеть даже адовы муки.

Они уже не боялись ворошить былое: у Авдотьи Ивановны его, в сущности, не было, так, маета нужды и зависимости, но Голицыну было что вспомнить и о чем порассказать. Странно, но даже прекрасное воспоминание прежних лет: Италия, смуглая горячая Лючия — не вызывало в нем страдания. Беспокойства за нее и за почти стершуюся в памяти дочь он тоже не испытывал: виноградарь-корчмарь не даст им погибнуть. А любви былой так и вовсе не помнил, Авдотья Ивановна стала его Италией, стала всем, что он когда-то любил. И еще одно властно привязывало Голицына к крошке-жене: с тех первых дней она никогда не говорила о будущем, не строила воздушных замков, держала его и себя в сегодняшнем, но ему казалось, что она провидит для них что-то хорошее впереди. И это помогало справляться со всеми страхами и сохранять уравновешенность в той дьяволиаде, которую он теперь все чаще называл службой. В этом тоже была заслуга Авдотьи Ивановны. Слово не обозначение предмета и явления, а сама

суть. Назови «службой» пытку души, и ты все выдержишь.

Авдотья Ивановна благополучно разрешилась от бремени младенцем мужского пола через месяц после блаженные Ее Императорского Величества кончины и чрез неделю после трагикомического падения регента Бирона. На этом событии остановимся, поскольку здесь в последний раз судьбу Михаила Алексеевича решили исторические потрясения.

Бирон все-таки вырвал из рук умирающей Анны указ о назначении его регентом. Освободив народ от четырехмесячного подушного обложения, Бирон считал, что достаточно укрепил свою популярность в подлом состоянии, и занялся серьезным делом: уничтожением недовольных. Усилили караулы и разъезды, столицу наводнили наушниками и доносчиками. В крамольники мог угодить каждый из-за неосторожно сказанного слова, по лживому навету, по излишнему усердию шишов, по смутному подозрению испугавшегося собственного возвышения временщика. Бирону следовало бы пересажать всю Россию, кроме членов своей фамилии, поскольку недовольны были все. Даже немецкая партия, даже друг любезный Левенвольде. Никто не верил в способность курляндского выскочки, корыстолюбца и лошадиника управлять великим государством и никому не хотелось делить участи обреченного на падение диктатора.

Серьезные заботы не помешали герцогу Курляндскому распорядиться шутейной командой. По окончании траура шутам надлежало вернуться к исполнению обычных обязанностей. Все должно оставаться таким же, как при жизни великой императрицы, этим регент лишней раз доказывал свою беспредельную преданность усопшей благодетельнице. Значит, опять чехарда, тычки, драки, сидение в лукошках, квохтанье, поднесение кваса, дрожь в коленках...

И тут сказал свое слово другой честолюбец, долгие годы находившийся на вторых ролях и терпеливо выживавший своего часа. Сейчас настало время для военного инженера, генерал-аншефа, победителя турок и шведов графа Миниха. Он не был человеком идеи, вроде верховника Голицына, не был таким неумным честолюбцем, как Волынский, грезившим о ступенях трона; не похож был Миних и на Бирона, для которого власть означала прежде всего богатство.

Он был человеком действия. Непрерывное дело и не было необходимо его редкостно энергичной, сильной и неутомимой натуре. Придворные интриги, глупость и алчность временщиков, безразличие наследников Петра к делам великого государя не давали ему развернуться. Миниху все это надоело, он хотел большого дела и славы.

Он не был мастером интриги и заговора и совершил свой переворот с обезоруживающей простотой. Получив испуганное согласие Анны Леопольдовны принять регентство, подполковник лейб-гвардии Преображенского полка Миних взял роту гвардейцев, арестовал Бирона, выдернув его из супружеской постели, и провозгласил регентшей мать малолетнего царя Ивана Антоновича. Арест Бирона сопровождался гадко-смешными подробностями. Герцог забился под кровать, а извлеченный оттуда стал кусаться, царапаться и лягаться. Его связали, закатали в ковер, рот заткнули платком и в таком виде сволокли в карету. Бенингна тоже сопротивлялась, тонкий пеньюар разорвался в клочья под грубыми руками гвардейцев, обнажив избыточные розовые тела. Так позорно завершился один из худших периодов многострадальной русской истории.

Переворот Миниха имел следствием роспуск шутейной команды. Анна Леопольдовна, сама достаточно потерпевшаяся от грубого и вздорного нрава тетки — ее ругали и били по щекам, как нерадивую фрейлину, — не находила удовольствия в унижении других людей. Она разогнала болтушек и уволила с придворной службы всех шутов, щедро их наградив, Голицыну была возмещена стоимость конфискованного имения.

— Ну, и я тебя отпускаю, батюшко, — сказала Авдотья Ивановна, когда благодетельствованный регентшей муж вернулся домой.

— Куда? — не понял Голицын.

— В твою новую настоящую жизнь.

— А разве у нас не настоящая жизнь? — с улыбкой спросил Голицын.

— Нет, вся наша жизнь — в шутку. Сам знаешь. С шутки началось, шутя продолжалось. А что не отверг меня, за это тебе спасибо. Я тебе не ровня и всегда это знала. Сейчас ты вольный человек, в своем достоинстве и при средствах. Наш брак вовсе не считается, раз ты другой веры.

— Чего ты?.. О чем ты?.. — бормотал растерявшийся Голицын.

— Пора тебе начать жить, как по родовитости твоей положено, а чужой злобой отнято. Ты же Голицын! И как тебя ни мытарили, как ни гнули, а сломать не смогли. Человек ты свежий, крепкий, в полном здравии. Будет у тебя и дом, и жена-ровня, и детишки. А за меня не переживай, нашего богатства и на двоих хватит.

Последних слов ее Голицын уже не слышал. Он наконец-то понял, что все это всерьез, что Авдотья Ивановна приняла решение, а он хорошо знал, как тверда она и неуступчива, если что задумала. Голицын не умел спорить, бороться, убеждать, он никогда ни в чем не мог поставить на своем, все распорядились им, как хотели: цари, министры, фавориты, военачальники, даже итальянский виноторговец и его дочка, да что там — огрызки человеческие из шутейной команды, а он умел только покоряться, молча потуплять голову. Голицын зарыдал, затопал ногами в бессильном отчаянии, стал колотить себя кулаками в грудь.

Авдотья Ивановна испугалась, что он опять выпадет из ума. Она видела его в беде, в нечеловеческом унижении, видела битым и растоптанным, видела раз за свадебным столом слезу на его щеке, но никогда не видела и даже не представляла плачущим. Этого от него никто не мог добиться.

Она должна была дать Голицыну свободу выбора. Он мог остаться с ней из благодарности или по слабости, а Авдотья Ивановна этого не хотела. Ведь она любила. Но слишком велико их нынешнее неравенство. Какая она жена князю — Буженинова, божья нелепица, камчатская оборванка рядом с Гедиминовичем, статным пожилым красавцем, от которого за версту несет родовитостью.

— Милый, да что ты?.. Что с тобой?.. Ну, не хочешь, никуда я не уйду. Только перестань, родимый. Никуда не денется твоя Авдошка. Вот я, всегда с тобой, пока не прогонишь... Да шучу я... Твоя я, твоя, понял?.. Давай утрем слезки.

— Ты правду говоришь?

— Конечно, правду. — Она протянула ему фуляр, и князь трубно высморкался...

Через месяц к черному ходу дворцового флигеля бы подана поместительная карета; в нее сели высокий представительный барин в шубе с бобрами и маленькая

барынька в соболях! Туда же забралась дородная молодница с грудным ребенком в атласном конверте. Карета тронулась, за ней потянулись три возка с поклажей. Князь и княгиня Голицыны отправились в свое имение в подмосковном селе Братовщине, приобретенном через доверенного человека.

По тем еще скромным временам имение Голицына могло считаться образцовым: усадьба в отменном состоянии, за мужиками недоимок не числится, а сам господский дом — табакерка. В елисаветинский век богатые и знатные фамилии начали возводить в своих сельских вотчинах каменные дворцы с колоннами, приглашая для их строительства лучших петербургских и московских зодчих, разбивать французские и английские сады, украшая их мраморными статуями, городить искусственные гроты, балюстрады, фонтаны. Но в ту патриархальную пору даже знаменитое Архангельское верховника Голицына было бесконечно далеко от того роскошного вида, который ему впоследствии придадут новые владельцы имения, баснословно богатые Юсуповы. Дома состоятельных помещиков тогда мало чем отличались от деревенских изб, разве что были попросторнее и окошки стеклянные, а не слюдяные, да крыльцо позатейливей. Крыша та же дранка, обстановка — грубо сколоченные столы, лавки вдоль стен, два-три городских стульца, сундуки, пол застлан рядом.

А у Голицыных дом хоть деревянный, да оштукатуренный, двухэтажный, под железом, крыльцо с белыми колоннами; в первом этаже имелось порядочное зальце с изразцовыми печами, несколькими старыми почерневшими картинами на стенах и огромным паникадиллом. На втором этаже находился кабинет с дубовым письменным столом, прямоспинным креслом, диваном и книжным шкафом, рядом — спальня и детская. К дому примыкали флигеля, там были комнаты для гостей, поварня, кладовые, контора, чуланы для дворни, баня. За домом расстилался громадный сад, его прорезали липовые аллеи, был и чистый пруд с карасями, и клумба против парадного входа.

Голицыну дом полюбился, но Авдотья Ивановна не разделяла его восторга. «Нынче и этот сгодится, — говорила она, — а там, конечно, ты по-другому отстроишься». Эти слова пугали Голицына каким-то темным намеком, но, утомившись страдать, он сразу прекращал разговор.

Поместью принадлежало большое село и пяток не слишком захудалых деревень. Михаил Алексеевич явил недюжинный административный талант и в короткое время крепко и выгодно устроил хозяйство в своих владениях. Кого оставил на барщине, кого перевел на оброк, а кого отпустил и в город на заработки. Он прогнал старого управителя, честного, но бессмысленно придирчивого немца, которого крестьяне ненавидели и всячески старались обмануть. На его место Голицын поставил приказчика из местных, сметливого молодца, взяв с него клятву, что воровать тот будет ни много ни мало, а средственно, чтобы барину не захотелось сдать его в солдаты. И еще ему велено было не прижимать крестьян без нужды, не то пойдет к ним на правож. Сметливому молодцу равно не хотелось ни под ружье, ни под розги земляков, его стараниями имение обеспечивало Голицыных и прибыль давало, крестьяне тоже не жаловались.

Вскоре Авдотья Ивановна подарила Голицыну еще одного сына. На радостях Михаил Алексеевич закатил пир, пригласив всех окрестных помещиков. Это был народ мелкотный, хотя и не вовсе бедный. Но жили бирюками, иные сидни даже в Москве не бывали, не то что в Петербурге. Помещики были ошеломлены великолепием дома Голицыных и оказанным им приемом. Непривычный к роли хозяина и боящийся уронить себя чрезмерной обходительностью, которую могли счесть заискиванием, Михаил Алексеевич надувался, как индюк, был важен до высокомерия и необычайно понравился гостям. Таким они представляли себе настоящего вельможу, приближенного суровой Анны Иоанновны, о царствовании которой ходило столько темных слухов. И, напротив, радужная, веселая Авдотья Ивановна разочаровала помещиков своей простотой и неавантюжностью; разве такая жена положена князю Голицыну!

В свою очередь, Авдотья Ивановна невысоко оценила гостей, вспомнив о них много времени спустя и, как поначалу показалось Михаилу Алексеевичу, ни с того ни с сего.

— До чего же соседи наши дремучи, как только шерстью не поросли!

Они сидели на лавочке возле клумбы и отмахивались от комарья.

— Люди как люди, — равнодушно отозвался Голицын.

— Нет, не такая тебе компания требуется.

— Что ты все меня возвышаешь? Кто я такой? — рассердился Михаил Алексеевич, которому не понравилось словечко «тебе», будто разъединяющее их. Уже не в первый раз Авдотья Ивановна проводила черту между ним и собой.

— Надо, чтобы к тебе из Москвы, из подмосковных вотчин господ приезжали, — мимо его слов продолжала Авдотья Ивановна. — И они поедут, когда прослышат про твои хоромы.

— Какие еще хоромы? Что ты несешь, Дунюшка? Нешто я Шереметев или Куракин? Да и зачем они нам?

— Молчи! — приказала Авдотья Ивановна. — Чем ты хуже их?

— Не привык я к пышности. А главное, денег нет на такое мотовство.

— Есть, Миша, — очень серьезно сказала Авдотья Ивановна. — Я же говорила тебе, что мы богаты.

Голицыну вспомнилось, что как-то в первые дни их супружества она обмолвилась о каком-то богатстве, но не до того ему тогда было, а после и вовсе выпало из головы. Ну, что она, сердешная, в богатстве смыслит? Думает небось, что незаможная деревенька, пожалованная на свадьбу Анной Иоанновной, и разные ее подачки: перстеньки, брошки, браслетки — невесть какое состояние. Откуда ей знать, что такое настоящее богатство?

— Ты не веришь?

Авдотья Ивановна прошла в дом и вернулась с увесистой шкатулкой, которую, хоть крепенькая была, несла с трудом на плече. Она открыла шкатулку, и у Голицына заслезились глаза — такой оттуда ударил блеск и сверк.

— Господи, откуда?

— А это приданое. Ты пьяненький был, не заметил, поди, как нас одаривали. Матушка императрица пример подала. Остальным куда деваться?

Авдотья Ивановна заметила его брезгливое, отстраняющее движение.

— Эти дары не в короб, а в ледяную могилу кидали. — И добавила с тихой угрозой: — Не смей ими гробовать, чистоплюй...

— О чем ты? — испугался Голицын. — Нешто я что говорю? Я ничего не говорю.

— То-то!.. Вот он, твой дворец, Михаил Алексеевич!

— Почему «твой»? — вскинулся Голицын, в такие



минуты робость его оставляла. — Нет ничего моего и не будет, только наше!

Она помотала головой.

— Это для твоей новой жизни. Меня уже не будет.

— Куда же ты денешься? — вымученно улыбнулся Голицын.

— Куда все деваются, туда и я. Выкормлю поскребыша своего и уберусь... Я все от жизни получила... Нешто могла я мечтать о таком?.. А ты должен еще одну жизнь прожить, самую лучшую. Был господь наш Иисус на кресте, а стал в славе. И ты должен восстать в славе. Так я решила, и не спорь со мной. Не раздражай больного человека.

— Чем же ты больна, Дунюшка? Мы врачей вызовем, хочешь, в Италию поедем?

— Вот моя Италия. — Она обмахнула пространство рукой. — А врач меня осматривал. Помнишь, я на грудь жаловалась, говорила, что придется кормилицу брать?.. Ничего у меня с грудью не было, а сидела во мне моя болезнь. И врач это подтвердил. От нее не лечатся и не выздоравливают... Прекрати! Я еще поживу здесь... А мой наказ ты исполнишь. Поклянись, что исполнишь!.. Смотри, а то я тебе являться стану...

— Являйся, Дунюшка! — попросил Голицын. — Все легче...

Авдотья Ивановна поверила: слово муж сдержит, чего бы ему ни стоило. Этого она и добивалась. Пришлось сказать о своей неизлечимой болезни, чтобы связать его обязательством, а то, не ровен час, руки на себя наложит. Она знала, как Голицын ее любит, и ничего не боялась. Его любовь сбережет ее в каком-то высшем тайном смысле, назвать который она не умела.

А Михаил Алексеевич после этого разговора вроде бы успокоился. Он не плакал больше и хорошо спал, прижимая к себе маленькое тело жены, так что ей становилось трудно дышать, но Авдотья Ивановна никогда не освобождалась из его рук. На посторонний взгляд с ним было все в порядке, правда, приказчика удивляло, что вникавший прежде во все хозяйственные дела Михаил Алексеевич перестал интересоваться хозяйством, хотя подступала уборочная страда. Ушлый молодец не попался на удочку внезапного доверия и еще умерил воровство. Конечно, приказчику и в голову не могло прийти, что барину все безразлично: хоть вовсе не убирайте, не молотите, не сейте. Он хотел каждую минуту быть с Ав-

дотьей Ивановной и не тратиться ни на что другое. Он таскался за нею как тень, а стояло ей, все слабеющей, прилечь, как он тут же подвдвдвался к ее боку. Голицын почти не страдал, она это знала. С ним сделалось что-то похожее на прежнее выпадение памяти. Только тогда Михаил Алексеевич полностью освободился от себя, а сейчас сумел прогнать страшное. Он так сосредоточился на ней живой, что не осталось места для образа утраты. Да ведь нельзя просто забыть о том, что ежеминутно напоминает о себе, это вне человеческой воли; свое благое беспамя-ство Михаил Алексеевич оплатил частичной утратой личности. В нем не было сейчас ни любви к детям, ни радости от дома, от прогулок, ни беспокойства о хозяйстве, ни интереса к чему-либо творящемуся на свете, он дышал и не мог надышаться одной Авдотьей Ивановной. «И не надышишься, милый, — нежно и жалеюще думала Авдотья Ивановна. — А все-таки большое облегчение — уметь так прятаться от страшного». Сама же она жила, как раньше, не изменяла своим привычкам, спокойно и твердо ждала близкого конца, но думать старалась только о хорошем, что ей выпало в жизни. Утешалась она и мыслями о будущем величии Михаила Алексеевича.

Хорошая собака никогда не умирает на глазах хозяина, а находит такое укромье, где ее невозможно отыскать. Она не хочет удручать зрелищем своего конца того, кого любила всем беззаветно преданным сердцем. Видимо, этот древний животный инстинкт заговорил в Авдотье Ивановне, по корням близкой природе и почве.

В один из ничем не примечательных мягких пушистых зимних дней она исчезла. И как могло это случиться? Михаил Алексеевич ни на шаг не отпускал жену от себя — да ведь случилось! Усыпила она его, что ли, или заколдовала, но вдруг он как-то странно вздрогнул, будто со сна, и очнулся в пустоте. Голицын заметался, забегал по дому, стал обшаривать каморы, двигать мебель, хлопать дверцами шкафов, потом спохватился и кликнул людей. Длинной цепью двинулись они через сад к лесу. Голицын приглядывался к следам, их было множество — маленькие опущенные следы животных и птиц. Но ведь и следки Авдотьи Ивановны были не больше.

Они обыскали сад и примыкающую к нему березовую рощу, окликая Авдотью Ивановну и аукаясь — тщет-

по! — и углубились в еловый бор; здесь снег был так глубок, что люди проваливались по пояс — нешто тут пройти такой крошке? — но Михаил Алексеевич завороченно ломил вперед, и дворе нечего не оставалось, как следовать за ним.

Нашел ее сам Михаил Алексеевич, хотя не признал в первое мгновение, приняв меховое пушистое существо в развилке соснового сука, пригнувшегося под снежным гнетом, за зверька вроде кунички. А это была Авдотья Ивановна в шубке и меховой шапочке, уже замерзшая, одеревеневшая. Голицын взял ее на руки, она ничего не весила. Только сейчас увидел он, как мало ее осталось, как сморщилось, усохло в детский кулачок желтое лицо с провалами забитых снегом глазниц. Михаил Алексеевич видел ее, такую важную и значительную для него, преувеличивающим оком, а сейчас зрение его опустело, и Авдотья Ивановна словно съежилась, уже мертвая предстала перед ним в настоящем своем облике.

Он понес ее на вытянутых руках и весь путь до дома по-волчьи выл. Нашлись добрые души, взявшие на себя похороны и все сопряженные с ними хлопоты: Михаил Алексеевич ни на что не годился...

Потом началось долгое, тяжелое опаматование.

Постепенно Голицын выполнил все наказы Авдотьи Ивановны. Детям нанял воспитателей. Построил каменный дом — бело-синий, с колоннами и лепниной. Обставил его английской мебелью. Женился. Жену взял из семьи почтенной, но не родовитой. Ее страстью было наряжаться, но долгое время всем великолепием парижских нарядов любовались лишь дремучие очи окрестных помещиков. А потом, как предсказывала Авдотья Ивановна, слухи о роскоши и хлебосольстве голицынского дома достигли Москвы, и среди его гостей появилось немало чуть замшелой, но весьма родовитой знати. У новой княгини Голицыной был один несомненный дар: она умела принять любого гостя и любое число гостей, сохраняя вид величественного благоволения, неизвестно почему осенившее внучку петровского барабанщика, выслужившего офицерский чин и потомственное дворянство. Ей очень повезло, поскольку ничего другого, кроме представительности, от нее не требовалось.

Когда князь и княгиня Голицыны выходили на прогулку, оба большие, статные, нарядные и торжественные,

он, опираясь на трость, она — на его твердую руку, дворовые бросали дела, чтобы полюбоваться этим величественным и никогда не надоедавшим зрелищем.

Соседние помещики боготворили князя. Он устраивал великолепные охоты с борзыми и гончаками, хотя сам никогда не брал ружья в руки, поил и кормил до отвала и даже перепившему, наскандалившему гостю не делал никакой укоризны, а заботливо отправлял домой на своих лошадях. У него был великолепный погреб, и, наверное, во всей России не нашлось бы таких квасов, как у Голицына. Из чего только их не готовили! Помимо всех известных квасов, у него подавались шипучие хмельные квасы из заморских фруктов, выращиваемых в оранжереях, с примесью каких-то трав. И была традиция: каждому новому гостю князь с задумчивой полуулыбкой собственноручно подносил кружку кваса, чуть наклонив крупную голову под великолепно расчесанным париком, и говорил душевно: «Извольте, сударь, откусать». С поклоном принимал опорожненную кружку и протягивал платок, чтобы гость отер пену с усов. Говорили, что императрица Анна пила квас только из его рук, и на эту привилегию никто не смел посягать. Что правда, то правда.

А вообще правды о нем не знали, да и не стремились знать. Каждое историческое событие становится сперва легендой (еще при жизни современного ему поколения), потом предметом научного изучения, и окончательный образ обретает себя вновь в легенде. Конечно, случались люди, утверждавшие, что блистательный вельможа был шутом при дворе Анны Иоанновны, но это не производило на гостей Голицына обидного для князя впечатления. Бироновщина была овеяна какой-то мистической жутью, пережить то время, да еще вблизи самого Курляндского сатаны, было уже подвигом. А как ты назывался, как числился, какие муки терпел в страшное огнепальное время, стоишь ли разбираться? Лучше почтительно молчать перед страстями, которые по божьей милости не выпали тебе на долю.

Сам Голицын никогда не говорил о прошлом и умел безмолвно прекращать эти разговоры в своем присутствии, что еще увеличивало общее к нему уважение. Не хотел этот человек ни лавров, ни сострадания, ни восхищения, ни содрогания, он имел мужество существовать в нынешнем своем образе, не озираясь на прошедшее.

Никто не задавался вопросом: счастлив ли хозяин го-

стерпимых пенатов — это казалось само собой разумющимся. Если он и претерпел гонения в прошлом, то настоящее все ему возместило.

Сам Михаил Алексеевич был иного мнения на этот счет. Он видел свое счастье в минувшем, когда, закончив шутовскую службу, возвращался к Авдотье Ивановне, срывал парик с потной головы, скидывал пыльный кафтан, и они вдвоем шли париться в ее домовую баньку, и он поддавал пару хлебным квасом.

С годами его меланхолия, не переходившая во что-то болезненное, тягостное для окружающих, стала усиливаться. Однажды Голицын задумался об этом и сделал выводы. Он завел шутов. Кормил и содержал их отменно, но был строговат.

ОТЕЧЕСТВО ВО ВСЕХ ЕГО ПРЕДЕЛАХ

Свидетельства эпохи





«Россия и Время. отдернувшее завесу».
Титульный лист
«Атласа Всероссийской империи», 1734 г.



ДЛЯ ДОСТОПАМЯТНОГО ВЕДОМА

Российский академик Степан Петрович Крашенниников полагал, что «знать свое отечество во всех его пределах... небесполезно», при этом «всякого звания люди имеют желаемую пользу». Узнать «промыслы граждан... обычаи их, веру, содержание и в чем состоит богатство их, также места, в каких они живут, с кем пограничны, что у них произрастит земля и воды и какими местами к ним путь лежит...» помогают исторические источники. Они многочисленны и разнообразны. Это — законодательные акты и делопроизводственная документация, политические сочинения и публицистика, экономические и географические описания, периодика и мемуары, дневники и частная переписка...

Задача предлагаемого документального раздела книги — помочь читателю получить представление о событиях России середины XVIII века по документам самого разного происхождения.

Вначале помещены выдержки из «Записок» свидетеля практически всего интересующего нас периода — В. А. Нащокина. Автор был не только наблюдателем, но и участником многих исторических событий, детали которых он приводит во множестве. Познательны бытовые зарисовки, сведения о культурной жизни страны. Автор не обходит вниманием внутри- и внешнеполитическую деятельность властей. Присутствуют, и это совершенно естественно, в «Записках» данные из семейной хроники. Мы узнаем не только о служебной деятельности В. А. Нащокина, но и о его родных и знакомых. Подробно автор останавливается на своей военной службе, которой отдано несколько десятилетий. Понятно поэтому, что приводимые им подробности о состоянии войск представляют значительный интерес. Есть в воспоминаниях и «светская хроника» — автор служил при дворе и мог «со знанием дела» описать торжественные обеды, балы, приемы и т.д.

Примечания достойно, что к «Запискам» мемуарист прилагал и выдержки из газеты «Санкт-Петербургские ведомости»; порой

сопровождал лапидарные заметки информативного свойства пространнейшими биографическими данными о лицах, им упоминаемых.

Иными словам, перед читателем — краткий, но емкий, содержательный рассказ о жизни России середины XVIII века. В этом видит составитель главную примечательную черту и ценность для данного тома публикуемых «Записок», составленных, по словам автора, «впредь», «для достопамятного ведома». Открывая документальный раздел книги, эти воспоминания как бы вводят читателя в атмосферу сложной, противоречивой, но всегда интересной Истории Отечества.



ИЗ «ЗАПИСОК...» В. А. НАЩОКИНА

<...> 1725 год началом своим зело неблагополучие России оказал: 28 текущаго Генваря, по воле всемогущаго Бога, всепресветлейший, державнейший и Самодержец Всероссийский, отец отечества, Государь всемилостивейший, Петр Великий, чрез двенадцатидневную жестокою болезнью, от сего временнаго в вечное блаженство отыде. Я не могу, от неискусства пера моего, описать, как, при толиком общенародном неблагополучии, видим был общий плачь: старые сетуют, по что Петра Великаго пережили; молодые говорили: блаженны отцы наши, что жили во дни Петра Великаго, а мы только его видели, чтоб о нем плакать! Домашние его рыдали день и ночь. По погребении его приходили великим множеством на гроб его: всяк хотел образ его помнить. Везде неутешная печаль в России на лицах всех изобразует. Но распространяться о толикой печали недостаток моего сложения прекращает; ибо о том печальном времени свидетельствуют истории на разных языках, а на Российском диалекте от проповедников говорено в день погребения Его Петра Великаго, Феофаном Прокоповичем, епископом Псковским, в день же годичнаго препоминения в Петропавловской церкви, где Его Величества гроб, от архимандрита * Троицы Сергиева монастыря Гавриила, которая проповеди в печать преданы, из чего довольно видно, какова была тогда ужасная печаль России.

По кончине Его Императорскаго Величества славной памяти, престол самодержавства Российскаго коронованная при жизни Его Величества, вселюбезнейшая супруга, наша всемилостивейшая Государыня Императрица и Самодержица Всероссийская, Екатерина Алексеевна, с Божиею помощию, восприть изволила и, для поминования Его Императорскаго Величества многия милости оказаны: которые офицеры не по порядку, без заслуг, были произведены князь Матвеем Гагариным и губернаторами, и за то написаны были в гвардию в солдаты, и оны от солдатства освобождены, и прежние чины им возвращены.

А оной 1725 год, во всем государстве, в Москве и в С.-Петербурге, все ходили в глубоком трауре, знатные по классам носили плюрезы на обшлагах, а их дома были убраны трауром и

* Архимандрит — духовный чин главы наиболее крупных монастырей.

люди. и одним словом, такой был глубокий траур, что генерально ходили, как дворянство, офицерство, приказные чины до последнего члена, так и купечество; но самые бедные дворяне и их служители и купечество малоторговое, без траура были; а священство в обеих резиденциях, как в Москве, так и в С.-Петербурге, без изъятия все ходило в черном.

О погребении Его Величества здесь, для памяти, в сей моей записке не упоминаю; ибо тогда я при том в Петербурге быть не случился, а отправился, вскоре после кончины Его Величества, для дел, в военную контору в Москву.

Тогож году Мая 18 дня... в С.-Петербурге опубликовано о браке учиненного стовору... супружественного трактата между Ея Высочеством Анною Петровною, Цесаревною Всероссийскою, и Его Королевским Высочеством герцогом Голштейн-Готторпским. ...о том браке, чрез офицеров с трубачами и литаврами, во всем С.-Петербурге опубликовано, и назначен тому браку день Мая 21, то есть, в Пятницу. А церемониал того браку издан печатной, которой напечатан в типографии в С.-Петербурге 1725 года Июня 30 дня...

А по окончании онаго браку, в торжество, Ея Императорское Величество, наша все милостивейшая Государыня Императрица и Самодержица Всероссийская, все милостивейше изволила жаловать чинами: князь Михаила Михайловича Голицына в генералы-фельдмаршалы, Вейсбаха в полные генералы, и прочие получили чины, а другие кавалерии * ордена Св. Андрея. В оноеж торжество жалованы и кавалериями новаго ордена Св. Александра Невского, на пуццовом банте. <...>

Тогож году во всей армии великая перемена чинам была, и произведены, а долговременно которые служили, получили, по желанию, отставку. Я тогда был в Белгородском пехотном полку, и сколько есть в полку штаб и обер-офицеров, все переменены чинами, кроме полковника. <...>

В начале 1726 года вся армия в движении была: изнутри государства пришли в Остзею **, и лето того года пришед стояли корпусами в С.-Петербурге немалым лагерем, на Васильевском острове, при Риге, Ревеле и Выборге.

Тогож лета, которые обер-офицеры были из полков армейских выбраны для коронации в кавалергардской корпус, 1724 года, оным велено явиться в С.-Петербург в Военную Коллегию, и оные все определены в корпус кавалергардской, и от того времени учрежден был настоящий корпус; офицеры были выбраны лучшие и собою весьма великорослые и достаточные паждвением.

Тогож лета флот Английской к Ревелю приходил и, стояв без всякаго действия, возвратился.

Тогож лета князь Меншиков, и с ним некоторое число корпуса кавалергардов, посланы были в Ригу, а из Риги он Меншиков ездил в Митаву к Государыне Герцогине Курляндской Анне Иоанновне. Тогда в Митаве Польскаго короля Августа побочной сын граф Мориц, и о Курляндском герцогстве имел претензию и приезжал того искать, а по прибытии князя Меншикова, оной граф Мориц из Курляндии немедленно ретировался, а князь с кавалергардами в Петербург возвратился.

* Кавалерии — знаки отличия.

** Остзея — Эстляндия и Лифляндия.

В то самое время в Риге, генерал-фельдмаршал и Военной Коллегии президент, и кавалер ордена Св. Апостола Андрея, князь Никита Иванович Репнин умре. <...>

В том же году я, вместо грандерской роты, из Белгородскаго полку с ротю перешел в Углицкой полк, которому после звания первого грандерскаго полку новое наречено Углицким.

Тогож году в Сентябре месяце, к Выборгу на галерах пошли, и тамо определено зимовать.

Тоёж осени была в С.-Петербурге большая вода, только прежней 1721 года меньше, за тем, что каналы везде были поделаны, и у Невы, на Московской дороге, берега подняты и обиты сваями, и того ради на берег так не взливалась.

В начале 1727 года князь Меншиков объявлен был рейхсмаршалом.

Стоящие около С.-Петербурга, верстах во сте и больше, полки армейские. Генваря к 6 числу, то есть, ко дню Богоявления Господня, собраны были в С.-Петербург. Ея Императорское Величество изволила на водосвящении присутствовать. Гвардии оба полка, трех-баталлионной Ингермоландской полк, которой под именем князя Меншикова, яко того полку полковника, весьма полк хороший, и прочих, всего с 30 тысяч, в том параде поставлено

М. А. Меншикова. Гравюра А. Ф. Зубова. 1726 г.



было с гвардиею, полевыми и гарнизонными полками. Учрежден был на Неве реке батальонкаре, зачав от Васильевского острова, по обе стороны берегов Невы реки, даже до Охтенской слободы окружностью поставлены были. Государыня изволила идти из дворца; половина корпусу кавалергардскаго напереди, другая позади Ея Величества кареты, шли до самой ердани, где оной корпус впервые вывез того корпуса штандарт. Князь Меншиков сел верхом на уборной лошади, имел на себе, для слабости своей, что был весьма болезнен, кафтан парчевой, серебряной, на собольем меху, и обшлагн собольи. При нем немалое число генералитета, и командовал всем тем корпусом. А на другой день, которые приходили из разных мест полки, паки тудаж пошли.

Петр II. Гравюра XVIII в.



Тогож году Февраля 15 дня, я в аудиторы пожалован, в тот же Углицкой полк.

Тогож году, как и в прошлом 1726, армия вся в лагере стояла в тех же местах, а кавалерия на Украине, при которой был генерал-фельдмаршал князь Голицын, а при нем генерал Вейсбах; в Ревеле генерал Бон, в Риге Лесси; над С.-Петербургом и Выборгским, генерал-лейтенант Волков, а всею Ея Императорского Величества армиею командовал рейхсмаршал Меншиков.

В Апреле месяце тайнаго действительнаго советника графа Петра Андреевича Толстова в ссылку послали.

Генерал-полцимейстера, государева генерал-адъютанта и ордена Александровскаго кавалера, Дивьера розыскивали и, наказав, в Сибирь послали.

Мая 6, о 9 часе по полудни, Всепресветлейшая, Державнейшая, Великая Государыня Императрица и Самодержица Всероссийская, Екатерина Алексеевна, от сего временнаго в вечное блаженство отыде, а о принятии Всероссийскаго престола, подписанною духовною, Ея Величество собственною рукою утвердить изволила вселюбезнейшему внуку, Государю Великому Князю, о чем 7 дня Маия, от Его Императорского Величества выданным манифестом в народ опубликовано.

Того ж году князь Меншиков генералиссимус объявлен, и дочь его большая сговорена за Его Императорское Величество и несколько времени была сговоренною невестою; а после того опубликован указ, Сентября 8 дня, чтоб нигде за его Меншикова рукою посылаемых указов не слушать, и в скором времени он Меншиков послан в ссылку с фамилиею в Ранебург, которое местечко его бывало, а от туда в Сибирь, где и умер в заточении и в самой бедности, которое место за Тобольским, называемое Березов.

Долгорукой князь Алексей, весьма нехитраго разума, с сыном своим князь Иваном, пришел в великую знатность, и род Долгоруковых пред всеми больше усилился; а князь Алексей, ничем больше, как псовою охотою и частыми ездами на поля, всех знатных фамилий отдалил наставлением от других роду своего; паче многих того роду был человек весьма умной, князь Василий Лукич. И так Государя от всех удалили, что не всегда можно было его видеть, и Его Императорское Величество, со псовою охотою, тогож году осень продолжать себя изволили в С.-Петербурге, в удобных местах для оной псовой охоты.

В начале 1728 года, Его Величество, прибыв в Москву, короноваться изволил, по обычаю предков своих великих государей, и продолжался Его Величество в Москве и отъезжая от Москвы в удобныя места со псовою охотою.

Оного ж году, в Ноябре месяце, пожалован я подпоручиком и определен в Лефортовский полк.

В исходе того году, Великой Княжны Государыни Натальи Алексеевны не стало в Москве и погребена в Вознесенском монастыре.

Тажко и 1729 год изволил Государь быть в Москве и ходил в Тулу для смотра ружей новаго мастерства. <...>

Того ж году, Ноября 19 числа, Его Императорское Величество изволил назначить себе невесту, князь Алексея Григорьевича дочь Долгорукова. После того числа публичное было обручение в Головинском дворце, при котором обручении была бабка Его Величества, Царица Евдокия Федоровна. Обручал архиепископ Нового-

родской Феофан Прокопович, которую церемонию я сам довольно видел, будучи при том на ординации за генерал-фельдмаршалом князем Долгоруким.

В начале 1730 году, Генваря 6 числа, лейб-гвардии полки и стоявшие в Москве пехотные полки собраны были в парад, и от Красных ворот Его Императорское Величество, перед Преображенским полком, в строевом убранстве, изволил идти, в полковничьем месте. И полки пошли в Кремль для освящения воды, а Государь возвратился во дворец, и от того дня занемог воспою, и в том же году Генваря 19 числа Его Императорское Величество, Самодержец Всероссийский, наш милостивейший Государь, в вечное блаженство отыде.

И в верховном тайном совете, духовные, весь генералитет и знатное шляхетство собрано и, по общему согласию, при собрании полков, объявлена на Российской престол Государынею герцогиня Анна Иоанновна и титулована Ея Императорским Величеством.

И со известием из Верховнаго Тайнаго Совета отправлены в Курляндию князь Василий Лукич Долгоруков, князь Михайло Михайлович меньшей Голицын, Михайло Иванович Леонтьев и прочие, с прошеннем для прибытия Ея Императорскаго Величества в Москву.

А когда всемилостивейше соизволила прибыть в Москву с публичным восшествием, тогда подана была князь Алексеем Михайловичем Черкасским челобитная от всего шляхетства, чтоб Ея Императорское Величество изволила принять самодержавство так, как предки Ея Величества, что от того времени и восприято, и все подданные поздравили.

И тогда ж Ея Императорское Величество изволила указать

А. М. Черкасский.
Гравюра Н. Иванова.

Д. М. Голицын.
Гравюра А. Грачева.



генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского из-под ареста освободить, которой арестован был от Верховного Тайного Совета и посажен под крепкой караул, за тайное отправление от себя писем после отбытия князь Василья Лукича Долгорукова в Курляндию, с Петром Спиридоновым сыном Сумароковым, чтоб он Сумароков те письма тайно, в Курляндии, подал Ея Императорскому Величеству, что он и учинил; а после известно стало, что в оных писано было, дабы Ея Императорское Величество не изволила подписывать доношения от помянутого князя Долгорукова: ибо Российское шляхетство желает Ея Императорское Величество самодержавнейшею быть на Российском престоле. Однако оной Сумароков от Долгорукова взят был под караул и бит жестоко, и содержался, пока освобожден Павел Иванович.

И того ж года Апреля 28 числа, Ея Императорское Величество, по древнему обыкновению предков своих, изволила короноваться в Москве, а в Мае месяце, великим церемониалом, изволила итти в Измайлово, и онаго года лето тамо изволила продолжаться.

И под селом Измайловым поставлен был лагерь кавалергардской и убран по воинскому порядку. Гвардии полки, Преображенской и Семеновской, по другую сторону дворца, в лагере стояли ж и непрестанно в екзерциции были. Армейские полки, Бутырской, первой и второй Московские, по полку, привожены были перед дворец и чинили екзерцицию.

Того ж лета Семеновскаго полку майор Хрущов послан был в Украину на линию, которому велено набрать из ландмилицких полков лучших людей, трехбатальонной полк и одну гранодерскую роту, которые в Сентябре месяце и приведены в Москву, и по именному Ея Императорскаго Величества указу именован оной полк лейб-гвардии Измайловским, которому в ранге и в жалованьи быть против лейб-гвардии полков, а в содержании комплекта людей против Семеновскаго трехбатальоннаго полку и одной гранодерской роты. <...>

С начала учреждения полка и я, по именному Ея Императорскаго Величества указу, пожалован, из подпоручиков армейских, в оной лейб-гвардии Измайловской полк в адъютанты...

А в исходе 1730 года, генерал фельдмаршал, лейб-гвардии Семеновскаго полку полковник, князь Михайло Михайлович Голицын, в Москве умре и погребен с великим церемониялом, по его высокому характеру, в Богоявленском монастыре. <...>

Февраля 17 дня 1731 года весь полк лейб-гвардии Измайловской собран был за Москвою рекою на лугу, что слывет Царицын, и все чины присягали пред знаменами о верной службе Ея Императорскому Величеству, и служен был молебен, освящена вода и окроплены святою водою знамены, и отнесены были знамены в дом Ея Императорскаго Величества, при препровождении всего полку. И после того полк во всегдашней был екзерциции, и в службу вступил для отправления караулов ко двору Ея Императорскаго Величества, и сменил стоявших лейб-гвардии Семеновскаго полку Мая 28 дня 1731 году.

Тогож году весною все полки гвардии пред Ея Императорским Величеством, за Донским монастырем, полками чинили екзерцицию и палили, а потом все три полка сведены в батальонкаре, и по три патрона выпалено в том же каре залпом, причем были иностранные послы и посол Турецкой Сайдефендий.

В том же году, Июня 9 дня, не стало большой сестры моей

Дарьи Александровны: больна была горячкою; погребена в Москве в Петровском монастыре. <...>

Тогож лета Государыня изволила перейти в новопостроенной дом, который именован Аннингофом...

Тогож году учреждена Конная Гвардия, а приверстан в Конную Гвардию лейб-регент. <...>

В том же году осенью не стало Государыни Царевны Прасковьи Иоанновны.

В том же году учреждены кирасирские полки*: выбраны лучшие люди из кавалерии.

В исходе 1731 года, за некоторое преступление, генерал-фельдмаршал князь Василий Володимирович Долгорукой послан в ссылку, а племянник его, гвардии Преображенскаго полку капитан Юрий Долгорукой, тогож времени наказан и послан в Сибирь.

С новаго 1732 году лейб-гвардия учреждена по новому штату, и прибавлено жалованье против рангов, и учреждены от того времени секунд-майоры...

Ея Императорское Величество, тогож году Генваря 7 числа, изволила идти в С.-Петербург и после того в Москве не бывала.

Тогож году граф Миних пожалован генерал-фельдмаршалом... и с сего времени в армии наилучшее завелось во всем исправленье.

В 1733 году Петр Павлович Шафиров заключил мир, будучи в Персии...

В 1735 году, обер-шталмейстер, лейб-гвардии Измайловскаго полку полковник, ордена Св. Апостола Андрея кавалер, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютант, граф фон Левенволд, который был в Польше полномочным послом, и посылан был к Цесарю**, он же и полк Измайловский привел в изрядной регулярной порядок и в лучшую от других полков экзерцицию, по многих его к государству трудах, из Немецких краев в С.-Петербург возвратился в тяжкой болезни, и просил Всемиловливейшую Государыню, чтоб отпущен был в деревню его... А при отъезде, призвал он всех штаб и обер-офицеров, со всеми прощался и поехал в последнем состоянии своего здоровья и, по прибытии в свою деревню, как было известно, все домовое распорядя добropорядочно, того году, в Апреле месяце, умре. Человек был великаго разума, имел склонность к правосудию, к подчиненным, казалось, был строг, только в полку ни единой человек не штрафован приказом его, а все в великом страхе находились. И такой человек, как оной граф Левенволд, с справедливыми поступками и zelo с великим постоянством, с смелостию, с столь высокими добродетели, редко рожден быть может. Он же при жизни Его Императорскаго Величества, блаженный памяти Государя Петра Великаго, был его Величества генерал-адъютантом и много употреблен бывал от Его Величества в посылки. В жизни своей оной граф фон Левенволд имел охоту к ружью и охотник был до лошадей. И так я об оном описал, как подлинное мое есть примечание безстрастно; ибо я у него в особливой милости не был и чрез его рекомендацію никакой милости в авантаж*** свой не получил, только писал в сей моей записке из по-

* Кирасирские полки — полки тяжелой кавалерии.

** Цесарь — австрийский император.

*** Авантаж — выгода.

чтения, видя в жизни моей такова достойного человека, которой чаще своей славы, общее добро, то есть правдолюбие, наблюдал, что мне случилось видеть и сим засвидетельствовать. <...>

Августа 15, Ея Императорское Величество изволила объявить себя полковником в Измайловской полк, чего ради со знаменами собран был полк на Васильевском острове в лагерь, и объявил лейб-гвардии подполковник Ушаков. <...>

<1736 г.> Того лета в Санктпетербурге жестокой пожар был, две Морския улицы * сгорели и гостиный двор; от того времени во оных улицах каменное строение началось. <...>

Я... из адъютантов пожалован в капитаны-поручики, Генваря 22 дня 1737 года... и командирован в поход.<...>

Тогож году Мая 29 числа в Москве был великой пожар: в Кремле и в Китае горело, и в Белом городе; многое число дел в коллегиях погорело, а особливо в вотчиной; також Божиих церковей многое число погорело.

Вскоре после того в Санктпетербурге, на Адмиралтейской стороне, в Миллионной ** улице, еще великой пожар был.<...>

<1738 г.> И паки в Турецкую войну *** я возвратился к команде в Украину и, едучи через Москву, помолвил жениться на вдове Титовой, а по отце Головцовой, Анне Васильевой дочери, и тот же день, из дома от нея, в путь отправился, как выше явствует, в Турецкую кампанию. <...>

И осенью был отпуск в дома до 1 числа Апреля 1739 года. Тогда и я отпушен в Москву и, приехав, на назначенной невесте, вдове Титовой, 10 Декабря, публично сговорил жениться.

Генваря 7 дня 1739 года я женился на ней, а венчался в церкви, что слывет Сергия на Трубе, и, благополучно окончив брачное веселье и исправясь своими нуждами, поехал с Москвы в Украину, где батальон винтер-квартиру **** имеет...

В том же 1739 году, в Октябре месяце, не стало брата моего большого Петра Александровича, и погребен в Москве в Петровском монастыре.

Ноября 8 пришла гвардия в Москву, и велено ей быть в Москве до указа.

Декабря 18 родилась у меня первая дочь Настасья по полудни в 1 часу. Крестил оную Александр Григорьевич Строгонов с княгиней Екатериною Григорьевною Троекуровою.

И после того через две недели гвардии батальоны и конная команда пошли в Петербург.

В начале 1740 года, Генваря 27 дня, лейб-гвардия, по прибытии из Турецких походов, имела поход в С.-Петербург, которую вел гвардии подполковник Густав фон-Бирон. Штаб и обер-офицеры, так как были в войне, шли с ружьем, со примкнутыми штыками; шарфы имели подпоясаны; у шляп, сверх бантов, за поля были заткнуты кукарды лавроваго листа, чего ради было прислано из дворца довольно лавроваго листа для делания кукардов к шляпам: ибо в древния времена Римляне, с победы, входили в Рим с лавровыми венцы. И было учинено в знак того древняго обыкновения, что с знатною победою над Турками возвратились.

* Две Морские улицы — Большая и Малая Морские улицы (совр. ул. Герцена и ул. Гоголя).

** Миллионная — совр. ул. Халтурина.

*** В турецкую войну — 1735—1739 гг.

**** Винтер-квартира — зимняя квартира.

А солдаты такие ж за полями примкнутыя кукарды имели, из ельника связанныя, чтоб зелень была.

Марш начался от Московской Ямской ко дворцу. Тогда, во весь марш, с начала зимы, чрезвычайные морозы были, паче обыкновенных зим, и тот день, как был вход, был мороз п зело с жестоко-проницательным ветром. И оной марш продолжался мимо дворца; а против дворца, к Адмиралтейству, сделан был, в знак студеной зимы, ледяной дом высокою работою и с презрядными в нем фигурами, и около онаго поставлены были пушки, мортиры, все леденое, и сделан был ледяной слон, что весьма была курioзная фигура. И мимо того дома походная гвардия маршировала и, обед по берегу Невы реки кругом дворца, у дворцовых ворот свернули знамена и распустили по квартирам, а штаб и обер-офицеры позваны ко двору, и как пришли во дворец, при зажжении свечь, ибо целой день в той церемонии продолжались, тогда Ея Императорское Величество, наша всемилоостивейшая Государыня, в средине галлерей изволила ожидать. И как подполковник со всеми в галлерей вошед, нижайший поклон учинили, Ея Императорское Величество изволила говорить сими словами: «Удовольствие имею благодарить лейб-гвардию, что, будучи в Турецкой войне, в надлежащих диспозициях, господ штаб и обер-офицеры тверды и прилежны находились, о чем я чрез генерал-фельдмаршала графа Минниха и подполковника Густава Бирона известна, и будете за свои службы не оставлены».

Выслушав то монаршеское слово, паки нижайше поклонились и жалованы к руке, и Государыня из рук своих изволила жаловать каждого Венгерским вином по бокалу, и с тем высококомонаршеским пожалованием отпущены.

И тогож Генваря 27 дня объявлен был, к вечеру, Турецкой мир, и палили из пушек; а 28 и 29 чисел, все походные штаб и обер-офицеры трактованы * во дворце богато за убранными столами, и по два дни обедали и потчиваны довольно; в 30 же число соизволила Государыня всемилоостивейше указать всем прибывшим из похода Турецкаго гвардии унтер-офицерам и капралам ко двору быть, и жалованы к руке, и оные, за тою военную службу, от своего Государя Монарха получили благодарение, и указано оных потчивать гофмаршалу Шепелеву.

После того трактования назначено, по именному указу, походных штаб и обер-офицеров послать со объявлением о Турецком мире, объявля всемилоостивейше в указах, где будут объявлять оной мир, что за верную службу и храбрые против неприятеля поступки, кого сколько подарить, то, во удовольствие за службу, могут получить. Я тогда послан был в Нижегородскую губернию и, будучи при том объявлении, получил 1350 рублей. <...>

Да тогож 1740 году была курioзная свадьба. Женлся князь Голицын, которой тогда имел новую фамилию *Квасник*, для которой свадьбы собраны были всего государства разночинцы и разноязычники, самага подлаго народа, то есть: Вотяки, Мордва, Черемиса, Татары, Калмыки, Самоеды и их жены, и прочие народы с Украины, и следующие столам Бахусовым и Венеринным, в подобном тому убранстве, и с криком для увеселения той свадь-

* Трактовать — угощать; трактование, трактанмент — угощение.

бы. А ехали мимо дворца. Женinx с невестою сидел в сделанной нарочно клетке, поставленной на слоне, а прочий свадебной поезд вышеписанных народов, с принадлежащею каждому роду музыкалшею и разными игрушками, следовал на оленях, на собаках, на свиньях. Також курioзные были сделаны сани, на подобие зверей и рыб морских, а некоторые во образе птиц странных. А подклет молодых был в вышеупомянутом лдяном доме... но при том лдяном доме, для оной свадьбы и молодого с молодою, сделана была лдяная баня. На подобие бревен оточен был лед и с углами, как бревенчатому быть надлежит; внутри печь с каменкою; вместо камня, оточеной лед; полки и лавки, и принадлежащая к бане посуда, все лдяное. И как во лдяных покоях молодых положили, тогда баню затопили соломою. Одним словом, оная свадьба была убрана великим курioзом, что было всем во удивление. Поезд странным убранством ехал так, что весь народ мог видеть и веселиться довольно, а поезжане каждой показывал свое веселье, где у котораго народа какия веселья употребляются, в том числе города Твери ямщики оказывали весну разными высвисты по птичью. И весьма то было во удивление, что в поезду, при великом от поезжан крике, слон, верблюды и весь упоминаемой выше сего необыкновенной к езде зверь и скот, так хорошо служили той свадьбе, что нимало во установленном порядке помешательства не было.

В оном же году, кабинет-министр Артемий Петрович Волинской, да с ним Андрей Хрущов и Петр Еропкин взяты под караул; люди были славные своим разумом, которые несколько времени следованы и 27 Июля месяца казнены смертию.

Тогож лета гвардия была непрестанно в экзерциции, и Государыня всегда сама присутствовала при экзерцициях, а в Петергофе была сделана земная крепость, к которой атакою приступ был, и такая чинена экзерциция, как натурально неприятельской город атакуется и обороняться должен.

В оном же году зачаты строить в С.-Петербурге гвардейския слободы. <...>

А в Октябре месяце Государыня заболела и 17 тогож Октября, изволением Всевышняго Творца, временнаго сего жития отыде в вечное блаженство.

По кончине же Ея Императорскаго Величества, в правлении государства следовали многия перемены, даже до 1741 года Ноября по 25 число.

В 1741 году, от начала года, я продолжался у набора рекрут в городе Ярославле и, по особливому указу, набрал в лейб-гвардию несколько великорослых, и со оными, дабы в пути не утрудить, велено идти водою, с которыми я и пришел в С.-Петербург 12 июля.

В том же году Июля 30, на первом часу дня, родилась вторая у меня дочь Елисавет, которую крестил брат мой родной Федор Александрович с дочерью своею Аленою в С.-Петербурге.

Тогож году Августа 15 дня объявлена против Швеции война...

Во оном году Ноября 25 числа, Божпим изволением, Ея Императорское Величество, наша всемплодивейшая Государыня Елисавет Петровна, восприяла наследственный, самодержавный, отеческий престол...

И вскоре после того, по следствию над бывшим генерал-адмиралом и кабинет-министром графом Остерманом, генерал-

фельдмаршалом Минихом и кабинет-министром Головкиным учинено публичное наказание: выведены были для экзекуции, и объявлена им ссылка в дальние города, в Сибирь, со отобранием всех чинов и имения, а обер-гофмаршал граф фон Левенвольд послан також в ссылку к Солн-Камской.

В начале 1742 года Ея Императорскаго Величества вселюбезный племянник*, государыни цесаревны и герцогини Голстинно-Готторпской сын, в Петербург прибыл благополучно.

От того времени орден Святыя Анны в России оказался: в день его высочества рождения, Февраля 10 дня, пожалован многим.

Тогож года зимою изволила Государыня в Москву идти, и приуготовление было к коронации, и 25 Апреля... Ея Императорское Величество... изволила короноваться...

Тогож году Июля 31 родился у меня сын в Москве, в 12 часу пополудни, которому наречено имя Доримедонт, а отец велел звать Воином. Онаго изволили крестить всемилостивейшая Государыня с его королевским высочеством герцогом Голстинским, с любезным Ея Величества племянником, а крещение было в придворной церкви Аннингофскаго дворца, Августа 11 дня, в 10 часу по полудни, при чем случился быть Французской полномочной посол Шетарди. Всемилолюбившая Государыня изволила пожаловать крестнику 500 рублей.

Октября 1 дня, Ея Императорское Величество всемилостивейше изволила пожаловать меня деревнями, в Орловском уезде сельце Подзавалово и Пирожково... и в том же месяце послан на низ в посылку, и для исполнения даны указы за подписанием руки Ея Величества.

В Ноябре месяце тогож года опубликовано, что Ея Императорскаго Величества вселюбезнейший племянник титуловаться будет Великим Князем и всея России Наследником.

В начале 1743 года Государыня изволила быть в Петербурге, и оный год изволила продолжаться в Петербурге неотлучно.

В том же году Июня 18 дня, во 2 часу дня, родился у меня второй сын Петр, в сельце Шишкине Костромскаго уезда. Крестил его поручик лейб-гвардии Преображенскаго полку Егор Матвеевич Замятин с Матреною Васильевною Овцыною.

В начале 1744 года Государыня изволила прибыть в Москву, и во оном же году, в день Святых Апостол Петра и Павла, в соборной Успенской церкви было духовное обручение его высочества государя великаго князя Петра Феодоровича: изволил обручаться с ея высочеством принцессою Ангальт-Цербскою, и после обедни, в то торжество, многие жалованы чинами и орденами. А ея высочеству, по миропомазанию в вере кафолической, наречено имя Екатерина Алексеевна.

Июля 15 числа торжествован был мир со Шведскою короною, и при том торжестве також жалованы чинами и графскими титулами и деревнями. Некоторые из придворных и из гвардии посланы были с объявлением мира. <...>

Тогож году Декабря на 9 число, в исходе 12 часу по полудни, родилась у меня третья дочь, которой наречено имя Евгения, а родилась едучи в Москву на Переславской дороге, в деревне Дубне; крестил ее брат Федор Александрович с Матреною Васильевною Овцыною.

* Вселюбезный племянник — Петр III.

На дороге С.-Петербургской, в Хотилловском яму, государь великий князь занемог осною, чего ради Ея Императорское Величество изволила возвратиться из Петербурга во оной Хотилловской ям, и пока его высочество освободился от оспы и пришел в настоящее здравие, изволила пребыть в оном яму до Февраля месяца, и купно прибыли в С.-Петербург в начале 1745 года.

И той зимы опубликовано было о свадьбе его императорскаго высочества, государя великаго князя, а летом, т.е. Августа 21 числа, в высоком великолепии и зело богатым убранством, свадьба его высочества была. При том поставлены были полки гвардии и армейские в парад, и Ея Императорское Величество изволила наперед шествовать мимо полков в пребогатой карете церемониально, имев при себе во оной же карете, напротив, ве-

Петр Федорович — великий князь.
Портрет работы Гроота.



ликаго князя Петра Феодоровича и обрученную Екатерину Алексеевну, а за каретою ехали все по классам, в богатых каретах. А венчался его высочество в церкви Казанской Богоматери, что на большой перспективной *, в присутствии Ея Величества Государыни Императрицы, и обратно, такоуж церемонию, изволила возвратиться в новой зимний дворец, которой подле Адмиралтейства. Я при том параде был за майора.

Тогож года осенью, мать государыни великой княгини, принцесса Ангальт-Цербская, герцогиня Саксонская, изволила из Петербурга отъехать к супругу своему в Берлин.

В 1746 году Ея Императорское Величество изволила продолжаться в Петербурге, отъезжая в увеселительное приморское ме-

* На большой перспективной — на совр. Невском проспекте.

Екатерина II в детском возрасте.
Гравюра с портрета работы Г. Лисчевской. 1740 г.



сто Петергоф и в село Сарское, которое место особливо изволила жаловать.

Апреля 24, брат мой Иван Александрович занемог, будучи в городе Костроме, а 5 числа Мая скончался и погребен, 10 Мая, в городе Костроме, в Богоявленском монастыре.

Июня 21, в исходе 5 часа по полуночи, в Пятницу, родилась четвертая дочь, которой наречено имя Ольга, в С.-Петербурге, в Измайловской слободе, в светлицах 12-й роты; крестил ее Николай Нащокин, да большая ей Ольге сестра Настасья. Она во младенчестве умре.

Июля 3 дня, Ея Императорское Величество изволила отбыть с его высочеством государем великим князем и государынею великою княгинею в Ревель и при отбытии изволила, тогож числа, пожаловать генерал-кригс-коммисара Апраксина в генералы полные. И быв Государыня в Ревеле, изволила быть в Рогервике* и осматривать гавань, которая зачата была делать при Государе Императоре Петре Великом, и оттуда изволила прибыть в С.-Петербург.

Тогож Июля 29 числа изволила пребывать в Петергофе, а в Петербург изволила прибыть в первых числах Сентября.

Сентября 5, в день тезоименитства Ея Императорского Величества, полки гвардии и армейские были в параде и, по окончании службы Божией, палили из пушек, а полки стреляли троекратным беглым огнем.

И того дня два брата Шуваловы пожалованы в графы. Генералитеты трактованы обедом во дворце и гвардии старшие капитаны. В вечеру был бал и лиминации при дворе и во всем городе. <...>

Тогож времени из С.-Петербурга поехал ко двору Прусскому бывший здесь Прусской посол Мардафельд, которой в России был более 20 лет.

Тогдаж посланы из Петербурга лейб-гвардии Преображенскаго полку прапорщик Дмитрий Матюшкин, и еще один Семеновскаго, да двое конной гвардии офицеров, во Швецию, которым велено быть при учрежденном от Российскаго императорскаго двора полномочном после г. Корфе, в свите посольской, дворянами посольства; понеже в Швеции назначен рейстаг, то есть государственный съезд, и при том будет вышеобъявленной Российской полномочной посол.

Тогож году в Польше сейм в Варшаве, при котором от Российскаго двора министр г. граф Михайло Петрович Бестужев-Рюмин.

В исходе сего года я именованным указом отпущен в дом свой. <...>

Тогож <1747> году Февраля 7 числа приехал я в Ярославль с моею фамилиею**, и стал в квартире содержателя полотняной фабрики г-на Дмитрия Максимовича Затрапезнаго, а 8 числа обедал у бывшего в России регента, Курляндскаго и Семигальскаго герцога, фон Бирона, которой в Ярославле с своею фамилиею живет в аресте. Оной герцог подарил меня буланым жеребцом, ценою рублев до ста, весьма годной к заводу. И Февраля 10 числа

* Рогервик — порт на Балтийском море, место ссылки на каторжные работы.

** Фамилия — семья,

мы с ним герцогом обедали в доме г. Затрапезного, а после обеда отправился я в свою Костромскую деревню, в сельцо Шишкино. <...>

Февраля 23 дня в село мое Шишкино приехал епископ Костромской и Галицкой Селивестр. Оной родом Малороссиец и от фамилии Кулябко; а с ним архимандрит Костромского Богоявленского монастыря Феодосий; при том Костромской воевода Александр Иванов сын Кайсаров с секретарем, прозваньем Сербин, да города Ярославля полотняной фабрики содержатель Иван Затрапезной и другие; а из купчества, Костромского магистрата президент Степан Белой с прочими. И онаго числа обедали, и за столом, когда поздравления ради за государство здоровье пили, тогда немалое число брошено шлагов. И так оной день в веселии препровожден, а к вечеру на воротах и в других пристойных местах зажжены были фонари, а среди двора поставлены были высокою перемидою бочки с смолою, и к вечеру зажжены, и не однажды метали шлаг.

А 24 числа, поутру, преосвященный епископ ездил на погост, которой от двора моего разстоянием 440 сажень*, и осматривал ветхость церкви. При том от меня подано прошение, чтоб мне строить церковь каменную во имя Спаса Преображения Господня, близ дома моего усадьбы Шишкина. <...>

А 28 Февраля, его преосвященство епископ Селивестр, из консистории своей, о строении церкви, по прошению моему, благоволил и указ прислал...

Тогож году, в продолжение мое в усадьбе Шишкиной, при отправлении всенощного бдения, 17 числа Мая, в день неделной**, пришед со святыми иконы на назначенное место, где быть строению церкви соборной во имя Спаса Преображения Господня и другим в трапезе пределам... еже при отправлении водоосвящения, прося Его вышняго благословения, священническими руками начат ров копать, а при том я с женою и детьми моими... и со всеми дома моего домочадцы, последовали копанию рва. И со означеннаго числа подрядчиком с каменщиками началась производиться работа фундамента к строению церкви.

...28 дня Мая, по благословию его преосвященства, для заклада церкви, архимандрит Феодосий, к обедни, к погосту Спаса Преображения приехал и служил литургию, а по отпуске литургии, со святыми иконы, шел со священники в сельцо Шишкино, и где быть церкви, на оное пришед место, обыкновенное служение при закладывании церкви отправлял и заложил кирпичем во всех углах, а где быть престолом поставил кресты. <...>

После закладывания церкви, архимандрит Феодосий, города Костромы воевода, и штаб и обер-офицеры приезжие, обедали и, благодаря Бога, радуясь, с довольным угощением, на вечер того же дня поехали. Видимо было той ночи немалое число сторонних разных деревень мужеска и женска полу, кои, усердствуя церкви Божией, производили всю ночь работу пошением кирпича.

Июня 18, Костромского уезда, в усадьбе Шишкиной, как строилась каменная церковь и выделано было по окошки, в Чет-

* Сажень — мера длины, немного более 2 метров.

** Неделной день — воскресенье.

верток, по полудни в 5 часу, родился у меня сын, которому наречено имя дядино Ивана Александровича...

Июля 4 новорожденный сын Иван крещен. Восприемником был преосвященнейший Селивестр, епископ Костромской и Галицкой: крест положил золотой с мощами, презрядной работы; восприемницею, своячина моя Матрена Васильевна Овцына. <...>

Июля 9, поутру, в Костромской деревне, в усадьбе Шишкиной, получено из Москвы письмо от брата Федора Александровича, что не стало матушки нашей Ульяны Васильевны Июня 25 числа, во втором часу по полудни, и погребена 27 числа в Петровском Высоком монастыре, что близ Петровских ворот.

Августа 15, из села Шишкина поехал я к сроку в Петербург. Приехал тогож Августа 30 числа, и тот же день, получив отсрочку до Генваря 748 года и пашпорт, поехал из Петербурга 1 числа Сентября, в Костромскую свою деревню, в село Шишкино, куда приехал Сентября 12 числа.

Сентября 14, в день праздника Воздвижения честнаго Креста Господня, поставлен крест на трапезе на новостроющейся церкви при селе Шишкине. <...>

И сего года Российской флот, корабельной и галерной, были

**Павел Петрович, великий князь.
Портрет работы А. Рослена.**



вооружены и к походу готовы, точию* далее своих берегов никуда не ходили. <...>

И тако новостей более сего года не происходило знатных случаев, точию в окончании года, Декабря 5 дня, государственная кунст-камера в С.-Петербурге горела, где и многия знатныя вещи сгорели.

Генваря 1 числа 1748 году, всемилостивейшим именовым Ея Императорскаго Величества указом произведены лейб-гвардии: ...в секунд-майоры из капитанов Василий *Нащокин*...

Февраля 10-го я, по прибытии из Москвы в Петербург, благодарил в зимнем дворце всеподданейше Ея Императорское Величество за новопожалованной чин... при чем Ея Величество всемилостивейше спрашивать изволила, каков я в своем здорovie? На что от меня донесено о болезни, которую имею от давних лет, и временем бывает лучше, а временем тяжеле. На сие сподобился слышать освященное монаршеское слово: «Будь здоров; я тебе желаю больше чину». Сим обрадованной, я раболепственно поклонился к ногам Ея освященнаго Величества, всемилостивейшей Государыни.

Маия 10 из Москвы в Петербург получена ведомость, что того числа жестокой пожар был: начиная от Лубянки, где церковь Гребенской Богородицы, горело до Яузских ворот и за Яузу до Андроникова монастыря. После же того безпрестанныя письма подтверждали, что в разных местах ежедневно и через день, были жестокие пожары, от чего жители в великий страх пришли и принуждены из домов в поля выезжать, пока такое несчастье кончилось. Последний пожар был 26 числа Маия. Для предосто-

П. И. Шувалов. Неизвестный художник XVIII в.



* Точию — только.

рожности от пожаров и сыску о зажигальщиках послан из Петербурга с именным указом генерал-майор и лейб-гвардии Преображенского полку майор и кавалер Федор Ушаков. <...>

Тогож году, в 14 день Июля, в полдень, в стоящем при Петергофе с командою лагере видимо было всеми солнце в затмении, от чего луч светила, отменною темнотою, был подобен, как бывает близ ночи при закате, или еще темнее, и свет солнечной не весьма ясен был. Таковое затмение продолжалось близ трех часов пополудни, и оное случилось мне, в жизни моей, в первой раз видеть, и всем, обретавшимся тогда при том, и для достопамятного известия, в журнал не оставил внести.

В тож продолжение в Петергофе, в собственном приморском дворце, от Петергофа в трех верстах, в 25 день Июля, в присутствии всемилостивейшей Государыни, священа была церковь. <...>

Августа 14 в С.-Петербурге получено от обретающейся в Немецких краях Российской армии известие, что Июля 27 числа генерал-фельдцейхмейстер и над оною армиею главной шеф князь Василий Никитич Репнин заболел, а 29 тогож Июля скончался параличною болезнию. Человек был весьма умной и ученой, особливо инженерству и фортификации, точию нрава был горячаго, и имел честное правосудие, за что многими нелюбим был.

Сегож году в Малороссии чрезвычайная была саранча и, как хлеб еще на корню, так и траву, и в болотах тростник, все без остатку поела, от чего произошла крайняя нужда в хлебе и в скотском корму. <...>

В исходе сегож году, Декабря на 16 число, в 1 часу пополудни, всемилостивейшая Государыня Императрица Елисавет Петровна из С.-Петербурга в Москву идти изволила, и государь великий князь с государынею великою княгинею туда ж изволили идти. <...>

<1749 г.> Марта 4 дня, поутру, скончался в Москве генерал-аншеф, сенатор, лейб-гвардии Преображенского полку подполковник и кавалер орденов Св. Андрея Первозванного и Александра Невского, граф Александр Иванович Румянцов, который служил сначала в Преображенском полку с 1704 года, из дворян небогатых, Кинешемской помещик, произошел из солдатства всеми нижними чинами. ...погребен в Москве в Златоустовском монастыре с великим церемониалом. <...>

Июня 4, всемилостивейшая Государыня изволила идти к Троице, по всевысочайшему усердию, пешком, расположа по пяти верст в день. <...>

Июля 5, в Среду, в Москве, родился сын четвертой, пополудни в 4 часу, которому наречено имя Александр. <...>

Июля 29 новорожденной мой сын крещен. Восприемником был граф Михаил Ларионович Воронцов, государственный вице-канцлер, действительный камергер, лейб-компания поручик, орденов Александра Невского, Св. Анны, Польского Белого Орла и Прусского Черного Орла кавалер. При том восприемницею присутствовала графиня Екатерина Ивановна Разумовская, супруга президента Десненц-Академии, лейб-гвардии Измайловского полку подполковника, действительного камергера, орденов Александра Невского, Св. Анны и Польского кавалера, Кирила Григорьевича Разумовского, по отцевской фамилии дочь Ивана Львовича г. Нарышкина.

По окончании крещения обедали и при том присутствии граф Кирила Григорьевич пожаловал пасынка моего Федора Титова, из капралов фурьером, которому от роду 14 лет; а детей моих, Воина и Петра, капралами, которым от роду, Воину 7 лет, а Петру 6, да племянника Николая Овцына, 13 лет, в капралы ж. <...>

Октября 13, в Четверток, построенную в селе Шишкине, Костромского уезда, каменную церковь, во имя Преображения Господня, святил оной епархии преосвященный Селивестр Кулябка...

Декабря 14 числа, его высочество государь великий князь, с великою княгинею, изволил идти из Москвы в Петербург, пополудни в 11 часу.

Декабря 15, Ея Императорское Величество изволила отъехать из Москвы в Петербург, пополудни в 12 часу. <...>

<1750 г.> Генваря 17, скончался генерал-фельдмаршал, сенатор и орденов Св. Апостола Андрея и Александра Невского кавалер, князь Иван Юрьевич Трубецкой, 84 лет от рождения своего. ...По кончине погребен в Александро-Невском монастыре... с надлежащею процессиею по его знатному характеру.

Февраля 23, действительной тайной советник, Коммерц-Коллегии президент, ордена Александра Невского кавалер, князь Борис Григорьевич Юсупов, определен сенатором и над Кадетским Шляхетным Корпусом директором.

Февраля 24 при дворе был, от 5 часу по полудни, Метаморфоз, то есть одеты были мужеск пол в платье женском, а женск в мужеском, в котором кавалеры были до генерал-майора, придворные все и оных особ супруги.

Марта 7 из Москвы ведомость получена, что Марта 1 числа Москва река прошла, что весьма не без удивления, что так чрезвычайно рано. И от всюду известия подтверждают о ранней весьма весне, что и суда по Волге и Тверце рекам к Петербургу пошли со Гжати в первых числах Марта, а из Твери от 20 тогож Марта.

Троицкий монастырь-крепость в начале XVIII в.
Гравюра И. Зубова.



Апреля 4 объявлен в Малороссию гетманом, родом Малороссиянин, граф Кирилла Григорьевич Разумовской.

Маия 3. В сей день Ея Императорскаго Величества всевысочайшее соизволение было и всемилостивейше изволила за обеденным кушаньем в зимнем доме в С.-Петербурге присутствовать за столом всей лейб-гвардии полков с штаб-офицерами. Стол поставлен был фигуною на подобие короны. В середине изволила сидеть всемилостивейшая Государыня, всех лейб-гвардии полков полковник. <...>

При том обеденном кушаньи с пушечною стрельбою пили: первой бокал за здоровье всемилостивейшей нашей Государыни; второй, при стрельбе же из пушек, здоровье гвардии штаб и обер-офицеров. <...>

Июля 25, в Ранибоне (Ораниенбауме), у великаго князя, государя Петра Феодоровича, в новопостроенном доме, онаго числа присутствовала Ея Императорское Величество, на вечернем кушанье... Всемилостивейшая Государыня, на новоселье, великому князю пожаловать изволила 60 тысяч рублей. <...>

Генваря 1, в новой 1751 год, обыкновенной при дворе съезд в 10 часов поутру, для поздравления, а в вечеру бал и ужин. Знатные иностранные, гвардии майоры, армейские полковники и гвардии капитаны трактованы были.

Генваря 2 при дворе был маскарад. <...>

В 28 день, при дворе Ея Императорскаго Величества была свадьба: женился бывшего генерала-фельдмаршала князь Михайла Михайловича Голицына сын его, лейб-гвардии Измайловскаго полку капитан князь Дмитрий, на дочери покойнаго Волошскаго господаря князя Кантемира... княжне Екатерине Дмитриевне. <...>

Марта 4... Василий Нащокин, за болезнию, отпушен, по именному указу, на год в дом свой.

На 8 число, по полуночи в 3 часу, из Петербурга выехал с фамилиею. За бездорожицею продолжались, едучи на ямских подводах, 11 дней до Твери; а как приехали в Тверь, Волга пошла 18 числа, и в ночи остановилась, а 19, в 10 часу по полуночи, только могли с экипажем пробраться льдом через реку тем местом, что затерло версты на две. А после перехода, меньше четверти часа минуло, пошел лед с великою быстротою. <...>

Апреля 3 в дом свой я приехал, Костромскаго уезду, в село Ново-Преображенское, и праздник Св. Пасхи был в том селе своем, что слыло до построения новой церкви, усадьба Шипкина. <...>

Июля 10 приехал я в Москву.

18 числа начали копать рвы для закладывания фундамента под палаты, которыя начали строиться: длина 12, ширина 7 сажень. ...началось палатное строение в доме моем на Петровке, в Белом городе, в приходе Рождества, что слывет в Столешниках...

<1752 г.> Марта 4. Ея Императорское Величество... всемилостивейше изволила указать в полк лейб-гвардии Измайловкею обьявить, чтоб в отпуску бывшему того полку маюру Нащокину еще отсрочить до зимняго перваго пути 1752 году...

Июля 27 на Московском дворе моем подряжен старой пруд вычистить...

Получено в Москве известие, что 29 Июля, в присутствии Ея Императорскаго Величества, нашей всемилостивейшей Государыни и государя великаго князя и великой княгини, при чем были

иностранные министры и пятого класса Российские, обретающиеся в Петербурге, означенного числа в Кронштате док, которой начат при Государе Императоре Петре Великом, всею работою в нынешнем 752 году окончен и спущена вода... И сие славное дело чрез немалое число лет окончалось...

От 4 Марта прошлого 1751* года майор Нащокин за болезнию отпущен был в дом свой, а 1753, хотя от болезни не освободился, но указом именованным велено ему ехать в Петербург и быть при полку, и ...Февраля 13 числа, в полк приехал.

Июля 26 убило громом в С.-Петербурге профессора Рихмана, которой машиною старался о удержании грома и молнии, дабы от идущаго грома людей спасти; но с ним прежде всех случилось при той самой сделанной машине. <...>

Октября 15 в С.-Петербурге, из сенатской конторы получен указ лейб-гвардии Измайловскаго полку в полковую канцелярию... о учреждении Морскаго Кадетскаго Корпуса, которому быть в С.-Петербурге... а в Москве что была школа на Сухаревой башне, которая учреждена в 1701 году, оной не быть.

Октября 19, по апробованному от Ея Императорскаго Величества, всемилостивейшей Государыни, к церковному строению лейб-гвардии в Измайловском полку, плану новой деревянной, во имя Св. Троицы, церкви, по представлению того полку от майора Нащокина, и на посланный план от негож донесено было подполковнику графу Разумовскому, что оный высочайшею апробациею всемилостивейшей Государыни апробован, и вышеписаннаго 19 числа обратно резолюция получена: велено церковь строить. И с сего числа надлежащее приготовление в канцелярии к подряду определением воспоследовало и по публикациям о строении с подрядчиком Петербургским купцом Воротниковым построить все из его материала, кроме внутренняго убора, за 3800 р., и контракт заключен.

Из Москвы получено на почте в Петербург известие, что Ноября 1 числа, в 3 часа пополудни, и в самыя вечерни, загорелось во дворце, что слывет Головинской, на Яузе реке, и пожар размножился так, что весь дворец, при отпуске почты, в пламени огня был, и близ пяти часов продолжался; а что спасено от пожара онаго дворца, и от какого приключения произошло такое несчастье, еще на будущей почте ожидается пространнейшее известие. И при том прискорбном и весьма сожалительном состоянии, как пишут, ужасной во всех церквах Москвы был тревожной в колокола зvon, как обыкновенно бьют в набат.

По получении из Москвы почты от 4 Ноября о случившемся пожаре, который 1 Ноября был, подтверждается, яко то пожарное несчастье произошло во дворце от нижней печи под залом. ...Всемилоствейшая Государыня, после пожару, изволила перейти во дворец, в село Покровское, а его высочество, великий Всероссийский князь и наследник Российскаго Престола, для жития от того пожару, изволил перейти в слободу, что слывет Немецкая, в дом г. Чеглокова. <...>

Еще из Москвы от 11 Ноября уведомляют, что село Перово, близ Москвы, где построен был немалой дом, оной на месте сгорелаго велено перевезть, а к тому еще готовые дома способные, приказав взять за деньги, построить. А последним по известиям

* В тексте явная опечатка. Должно быть: «прошлога 1752 года».

окончилось тем, что, по высочайшему Ея Императорского Величества соизволению, на всем старом фундаменте сгорелаго дворца велено строить дворец, которой бы в непродолжительном времени построен был; а для наискорейшаго успеха то строение поручено князь Никите Юрьевичу Трубецкому и Петру Ивановичу Шувалову, и определены гвардии офицеры ко оному строению, и ожидать надлежит, что оной дворец построится скоро; ибо великое множество всяких мастеровых людей собрано, как вольным наймом, так и казенных разных мастерств.

В письме г. барона Григорья Николаевича Строгонова к Василию Нащокину, от 16 Декабря, написано, что 10 числа того Декабря, всемилостивейшая Государыня в новопостроенной дворец перейти изволила в немалом собрании, при пальбе из пушек...

И всего удивительнее, что 1 Ноября немалое число покоев во дворце без остатку сгорело, а в новопостроенном на том же фундаменте дворце, как известно, более 60 покоев и зал, 16 сажень 2 аршина * длина и 12 сажень с одним аршином ширина, и все построено и великолепно убрано в один месяц и 16 дней от сгорания прежняго дворца, что почитаю, оное предивное исправление, для достопамятности ведения, в журнал записать всеконечно нужно есть...

Декабря 18, в день всевысочайшаго торжества рождения Ея Императорского Величества, всемилостивейшей Государыни, обыкновенной знатных ко двору приезд был... И того дня после обеда пожалованных разными чинами 217 персон. <...>

Тогож часу и я всемилостивейше пожалован генерал-майором...

Да тогож 1753 года, Декабря 18 ...дети мои, Воин и Петр, лейб-гвардии Измайловскаго полку из каптенармусов ** пожалованы в сержанты. <...>

<1754 г.> В С.-Петербурге в ведомостях напечатано из Москвы, от 28 Генваря, что 23 числа Генваря Ея Императорскому Величеству, всемилостивейшей Государыне, именем всего Российскаго купечества, за высочайшее Ея Императорскаго Величества к верноподданым, особливо Всероссийскому купечеству оказанное высокомонаршее милосердие, увольнением от платежа внутри государства таможенных сборов, как о том известно из опубликованного в народ Ея Императорскаго Величества указу от 20 Декабря 1753 году, принесено всеподданнейшее и достождное благодарение, при чем Ея Императорскому Величеству от всего купеческаго корпуса всенижайше поднесены в дар: камень алмаз, весом в 56 крат без 32 доли, ценою в 53.000 рублей, на золотой тарелке высокой работы, да 10.000 червонных иностранных на трех серебряных блюдах, высокой же работы, и рублевою монетою 50.000 рублей, которой дар от Ея Императорскаго Величества принят весьма милостиво. <...>

Маия 25, пополудни в 7 часу, Ея Императорское Величество, наша всемилостивейшая Государыня, к несказанной радости всех жителей здешней Императорской резиденции, благополучно прибыла сюда в летний дворец из Сарскаго Села, при пушечной пальбе с крепости *** и адмиралтейства, и при несказанном мно-

* Аршин — мера длины, равная 0,7 метра.

** Каптенармус — «имеет смотрение над ружьем и аммунициею...» («Лексикон»).

*** С крепости — с Петропавловской.

жестве собравшагося по улицам народа, по всей дороге въезжающей в С.-Петербург. <...>

Сентября 20. О рождении его императорского высочества и о всем, что происходило, при сем печатная ведомость прилагается.

Сентября 25 повешено было первым пяти классам съехаться в 10 часов ко двору, ибо в тот день назначено крестить новорожденного великого князя.

В 12 часу, всемилостивейшая Государыня, при проведении знатных в великой свите, из залы летнего дома изволила итить в придворную церковь, а за Ея Величеством несен ко крещению новорожденной великой князь Павел Петрович, которого несли вдовствующая генерала-фельдмаршала принца Гессен-Гомбургского супруга, ея светлость княгиня Настасия Ивановна, и держана под руки, по правую обер-гофмаршалом и кавалером Св. Апостола Андрея Шенелевым, а по левую обер-гофмейстером и кавалером тогож ордена бароном фон-Минихом. И по принесении в придворную церковь и по восприятии Св. крещения, с такою церемониею препровожден во внутренние покои, и по окончании молебна, с крепостей, С.-Петербургской и Адмиральтейской, происходила пущная пальба. И того дня более ничего не происходило. <...>

Октября 9, о рождении его императорского высочества великого князя Павла Петровича в С.-Петербурге, в летнем доме происходило торжество. <...>

А после того во всю неделю определено препроводить время весельем, и происходили при дворе оперы, комедии, и 12 числа маскарад был, а 16, то есть в Воскресенье, маскарадом окончено.

Представлены были великолепныя иллюминации. Аллегорическое представление на главном плане фейерверка было следующее:

Россия, в отверстом круглом храме, где в середине представлено было здание Чести с щитом имени Ея Императорского Величества под короною, стояла на коленях пред жертвенником; а подле ея Верность и Благодарность во образе младенцов, которые побуждали ее принести жертву и фимиам своих желаний вознести на небо, с подписью внизу: *Единого еще желаю.*

После явилось с высоты, на легком облаке, великим сиянием окруженное, Божие Провидение с новорожденным принцем, на пурпуровой бархатной подушке, с надписью: Тако исполнилось твое желание. <...>

<1755 г.> Генваря 24 выданным указом опубликовано о учинении университета и при том гимназии в Москве...

Апреля 24. Присланному от Порты Оттоманской посланнику, которой прислан с грамотою о восшествии нового султана, аудиенция была в летнем Ея Императорского Величества доме, в С.-Петербурге. Ея Императорское Величество изволила быть под троном; статс-дамы и фрейлины в богатом платье, рядом по старшинству, стояли в галерее, по правую сторону трона, а пяти классов генералитет и придворные кавалеры по левую сторону, також в богатом платье. По сторонам кресел, на которых Ея Императорское Величество изволила присутствовать, в пребогатом голубом платье с серебром, стояли, по правую руку, обер-егермейстер и лейб-компания капитан-поручик и кавалер, рейхсграф Разумовский; по левую, обер-гофмейстер и кавалер барон Миних. По подании от посланника грамоты, принял ее, для поднесения всемилостивейшей Государыне, великий канцлер, сенатор и раз-

ных орденов кавалер Бестужев-Рюмин, и по поднесении Ея Императорскому Величеству положил на приуготовленный по правую сторону столик, и отшед из под трона по степеням задом, приступя к посланнику, ответ говорил именем Ея Императорского Величества вкратце. А что касалось речи от посланника, то переведено было на Русский диалект и читано, прежде подания грамоты, пред Ея Императорским Величеством, от генерал-майора и генерал-рекетмейстера Дивова. И тою церемониею аудиенция окончена.

Вне двора Ея Императорского Величества поставлена была команда армейских полков по обе стороны дороги в две шеренги под командою генерал-майора и кавалера Салтыкова, а внутри двора Ея Императорского Величества фрунтом в четыре шеренги, при одном белом знаме, лейб-гвардии полков гранодер и солдат 400 человек, в середине мушкаты и знамя, а по флангам гранодеры с принадлежащим числом обер-офицеров, також и унтер-офицеров, капралов и прочих чинов. А командовал оными генерал-майор и лейб-гвардии Измайловскаго полку майор Нащокин. По прибытии Ея Императорского Величества из зимняго дому в летний, в церемониальном штате, означенною командою, Ея Императорскому Величеству, оный Нащокин, со стоящим всем фрунтом, сказал на караул, со уклонением знамя, и в барабан бит поход. А как Турецкий посланник шел церемониею, то как вне двора армейские, так и внутри двора Ея Величества гвардии полков команда держала ружье у ноги, без отдаiania комплимента. <...>

Июня 13, во Вторник, сын мой меньшей Иван, от рождения своего имея 8 лет, отправлен из С.-Петербурга в новоучрежденный университет, при учителе того университета втораго класса г. Михельсоне.

Июня 14, Турецкий посланник имел равным образом при дворе аудиенцию, для возвращения своего в отечество. <...>

Ноября 15 в С.-Петербурге, в новопостроенной деревянной зимний Ея Императорского Величества дом на реке Мье * и по большой перспективной дороге что к Адмиралтейству, Ея Императорское Величество, по полудни часу в 8, перейти изволила со всею высочайшею фамилиею. <...>

<1756 г.> От начала новаго года зима происходила весьма слабая с великими ветры и часто с прибылою с моря водою, и всевременно с переменною погодою. <...>

Апреля с 29 на 30 число, по полуночи в первом часу, начался дождь с громом, и от молнии, в третьем часу по полуночиж, зажгло Петропавловской шниц, которой горел 6 час и свалился; как оной шниц, так и на соборной церкви купол, сгоря, свалился же, от чего и в церкви иконостас повредился. После того вскоре, имянным Ея Императорского Величества указом велено канцелярии от строений, учиня проект, строить, которая и начата месяца Мая строиться.

...по... высочайшему Ея Императорского Величества соизволению, Мая 11 дня, в 9 часов, всех лейб-гвардии полков майоры в Царское Село съехались... а потом пошли... в палаты верхняго апартамента, для смотра новопостроенной церкви, украшенной великолепом, и прочих палат, преукрашенных великолепно разными художествами. <...>

Того же числа, по полудни во 2 часу, Ея Императорское Ве-

* Мья — совр. Мойка.

личество изволила итить в новопостроенной Царскаго Села армитаж, с несколькими штатсдамы и придворными кавалеры...

Маия 16, Настасью, большую дочь, сговорил я замуж генерала-поручика Ивана Афанасьевича Шипова за сына его, лейб-гвардии Измайловскаго полку подпоручика Михаила Ивановича Шипова, в Петербурге.

Июня 1, Ея Императорское Величество, всемилостивейшая Государыня указать соизволила, новопостроенную в слободе лейб-гвардии Измайловскаго полку, деревянную на каменном фундаменте, церковь, во имя Святыя Троицы и в ней придел во имя Иоанна Воина, освятить, что того 1 числа Июня и учинено...

Октября 18 Василий Нащокин отпущен из С.-Петербурга в Москву, именным указом, без вычета по окладу генерал-майора жалованья.

Ноября 2 в Москву благополучно приехал.

Ноября 8 выдал дочь свою большую Настасью замуж, за Михайлу Ивановича Шипова... Приданого дано 3.000 р. денег, да на 4.000 р. платья и алмазных вещей.

Ноября 19 из Москвы поехал в деревни свои Ростовския и Костромския и, возвращаясь чрез город Ярославль, между Ростова и Переславля-Залесскаго, приезжая к селу Петровскому, на 30 число Ноября, по полудни часу в третьем, в левом плече такая чрезвычайная началась боль, и во всю руку непрестанная ужасная стрельба, что с великим страданием происходила, и 40 верст хотя с великою поспешностию везен до города Переславля-Залесскаго, где, в самом от болезни худом состоянии, пущена того же 30 числа кровь, и продолжался тут двое сутки, потом в Москву везен с несказанным трудом от приключения той жестокой болезни, где до окончания сего году пользован доктором Монси, которой признавал в вышнем градусе ремотизм от простуды; ибо тогда, 21 Ноября, начались жестокие морозы и продолжались до окончания года, а потом, по пользовании в Москве, несколько стало легче, токмо рука с болью и нимало владеть не могла.

Декабря 28 поехал я с нуждою на срок и привезен в Петербург в великой от руки болезни 31 Декабря, по полудни в 11 часу, и такая чрезвычайно мучительная болезнь продолжалась, в болезненном безпокойстве от нестерпимой боли, чрез несколько месяцев. <...>

<1757 г.> Августа 30. Сей день, празднуемый в С.-Петербурге, в монастыре Троицы пренесения мощей благовернаго князя Александра Невскаго, Ея Императорское Величество, со всеми ордена Александра Невскаго кавалеры, изволила прибыть к божественной литургии, и все кавалеры были во одинаковом, по тому ордену положенном, платье.

Еще до обедни, от Ея Императорскаго Величества, всемилостивейше пожалованы лейб-гвардии майоры в генерал-лейтенанты: Григорий Корф, Василий Нащокин... и князь Александр Меншиков. <...>

<1758 г.> Ноября 25 всемилостивейшая Государыня пожаловать изволила детей моих лейб-гвардии в Измайловской полк прапорщиками, из которых большому Воину 17 год, а Петру 16.

Того ж числа в вечеру, среднюю свою дочь, Елисавет, сговорил, а при сговоре обручали духовным порядком, за Михаила Васильевича Дурова.

И того ж числа меньшей мой сын Иван, которой сначала оп-

ределен в Московской шляхетной университет, ныне по полку пожалован в подпрапорщики.

Ноября 30 я со оными пожалованными прапорщиками удостоился Великую Государыню благодарить и детей своих пред Ея Величество представить. При чем всемилостивейше изволила спрашивать: которой Ея Величества крестник? И о том от меня всеподданнейше донесено, что крестник Воин и он большой сын. На что всемилостивейше изволила милосердно сказать, что меньшей моего крестника перерос. И с такою я неизреченною мило-

**Наградные знаки ордена Андрея Первозванного.
Середина XVIII в.**



стию от всеавгустейшей Государыни и Великой Монархини из дворца поехал с несказанным обрадованием...

<1759 г.> Сего года Июля 22 дня, в Петергоф, от армии Ея Императорскаго Величества... приехал курьером гвардии поручик граф Иван Салтыков... с радостною ведомостью... о случившейся баталии между войск Ея Императорскаго Величества и короля Прусскаго. Ея Императорское Величество, всемилостивейшая Государыня тогда изволила продолжаться, для лучшего летняго времени, в Монплезире... Соизволила Ея Величество повелеть о той радостной ведомости дать знать чрез пушечную стрельбу... И в присутствии Ея Императорскаго Величества чтена присланная реляция, что помощию Победодавца Бога, 12 Июля месяца, была баталия, где Прусская армия совсем разбита...

Августа 22, от двора Ея Императорскаго Величества в Петергофе... генералу-поручику гвардии майору и кавалеру Нащокину приказано, чтоб привезенные Прусские знамены и штандарты, всего 28... с надлежащею командою принесть ко двору Ея Императорскаго Величества...

Потом... понесены <знамена> в верхние апартаменты дворца и поставлены в старой зале, строения славной памяти Великаго Государа Императора Петра I. <...>

Того дни к вечеру куртаг, и его императорское высочество благоверный государь великий князь Петр Феодорович, из большой новопостроенной аванзалы, где собрание было куртага, изволил водить всех иностранных послов и посланников во оную Петра Великаго старую залу для смотрения вышеписанных победительных знаков.

Августа 30 день, праздника Св. Александра Невского, указано того ордена кавалерам быть в вечеру в Петергоф, а как съехались с 9 пополудни часу продолжался бал. По окончании бала, кавалеры позваны были в старую залу, строения Петра Великаго, где дожидали выхода Ея Императорскаго Величества, а по выходе, всемилостивейшая Государыня жаловать изволила всех кавалеров к ручке; потом пошли все за ужин... Всемилостивейшая Государыня изволила быть в короне, в кавалерском цветном платье, как того ордена обыкновенной бывает мундир, о котором здесь, вперед для памяти, обстоятельно описывается. На всех кавалерах единственной того ордена был убор: кафтаны белые суконные, с гасом серебряным, по борту, в два ряда и по всем швам подбой; камзол, обкладенной серебряным же гасом; пунцовые обшлага разрезные с боку с пуговицами, с сверху клином, гарнитуровые, обложены гасом; штаны белыезь суконные, чулки пунцовые шелковые, башмаки ординарные, шпаги серебряныя разных калибров; шляпы без обшивки с красным плюмажем; на левой стороне крест гранитуровой. Сие для того больше обстоятельно описано, что по пожаловании Нащокину сего ордена, он чрез два года первой случай во оном платье при дворе имел быть.

Сентября 4, Ея Императорское Величество всемилостивейшая Государыня отбытие свое из Петергофа в Петербург иметь соизволила... по полудни в 9 часу. При самом же отъезде Ея Величество указать соизволила генерал-поручика Нащокина призвать к карете, при чем всемилостивейше ему объявлять соизволила свое монаршее удовольствие за бытность его Нащокина с командою в Петергофе. <...>



ЧЕХАРДА НА ПРЕСТОЛЕ

Политическая история Российской империи середины XVIII столетия наполнена острейшей борьбой за власть между различными группировками класса феодалов. Достаточно хорошо известна внешняя, хронологическая канва событий после смерти Петра Великого и до вступления на престол Екатерины II. Думается, читатель составит более яркое впечатление об «эпохе дворцовых переворотов», ознакомившись с документальными материалами.

Открывают раздел официальные, выпедшие «из монаршего окружения», документы: Манифест о порядке престолонаследия, Высочайший указ о титуловании Бирона как регента Российской империи, Манифест об отрешении от регентства империи Герцога Курляндского Бирона, Манифест о преступлениях Герцога Курляндского, сообщавшие о переменах на Российском престоле. Манифесты издавались в связи с важнейшими событиями в политической жизни страны (объявление войны или заключение мира, изменения в структуре органов государственной власти и управления, вступление «в должность» нового монарха...). Манифесты начинались «большим императорским титулом», витиеватость, напыщенность — вот характерные черты таких документов. Предназначались манифесты «для повсеместного сведения» — печатались в газетах и отдельными выпусками, объявлялись населению. Указы подразделялись на несколько категорий: именные (распоряжения монарха, направленные в Сенат для исполнения); указы, объявленные из Сената (также распоряжение императора, на основании которого Сенат составлял предназначенный для обнародования текст указа); сенатские (постановление Сената по конкретному вопросу, оформленное в виде указа от имени Сената). По своему содержанию и значению указы весьма разнообразны. Порой они по своему значению не уступают манифестам, так как законодательно оформляют изменения правительственной политики.

Обращают на себя внимание весьма незначительные хронологические интервалы между официальными документами, взаимноисключающими друг друга, — очевидно становится, сколь быстро можно достичь вершин государственного правления и бесславно скатиться со ступенек трона, пройти путь от всеильного временщика до почти безвестного ссыльного.

«Назначения на различные места и увольнения с них следовали друг за другом с такой быстротой, что не успевало появиться в газетах объявление о пазначении на какое-нибудь место известного лица, как оно уже было сменено». Эти слова княгини Дашковой, характеризующие обстановку в стране в начале правления Павла I, могут определить и атмосферу середины столетия, эмоционально переданную современником, участником событий князем Я. П. Шаховским. Он показывает состояние человека, на судьбу которого резко влияли быстротечные перемены в столице.

Совсем иного свойства — описание очередного переворота, сделанное Екатериной II в частном письме к Станиславу Понятовскому, — «рафинированное» изложение событий, приведших на трон в прошлом далеко не богатую немецкую княжну.

Ну а последний документ раздела — свидетельство щедрой благодарности новой императрицы лицам, способствовавшим ее приходу к власти.



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ УКАЗЫ
Октябрь 1740-го — апрель 1741 года

Божиею милостию Мы, Анна, Императрица и Самодержица Всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем Нашим верным подданным. Какое Мы истинное матернее попечение имели от самого вступления Нашего на наследный самодержавный Всероссийский Императорский престол об Империи Нашей и обо всех верных наших подданных, и какое Наше неусыпное непрестанное радение и усердное старание было в начале об утверждении и вящем распространении православной Нашей веры греческаго исповедания, об установлении истиннаго правосудия на охранение обидимых, о поправлении и о порядочном основательном учреждении государственных сил на защищение от всякого нападения, об учреждении училищ на воспитание молодых людей в страхе Божии и для обучения оных во всяких, государству полезных науках, об умножении фабрик и мануфактур, и купечества к государственной пользе, и об учреждении многих иных, государству и подданным Нашим полезных порядков, и генерально обо всем том, что к прямому благополучию верных наших подданных и к приведению любезнаго Нашего отечества с часу на час в вящее цветущее состояние служить могло, о том Мы здесь не распространяем: понеже всем Нашим верным подданным о том известно, и толь многие, от нас учиненные новые уставы, регламенты и учреждения и опубликованные манифесты явно засвидетельствуют. Мы же должны Всемогущему Богу, от котораго всякое благо происходит, от искренняго Нашего сердца благодарение воздать, что Он, по щедротам своим, все Наши дела благословил в бывших трудных войнах, которыя для обороны и защищения верных наших подданных вести принуждены были, Нашим заступником и защитою был, и все Наши усердные труды и старание такими счастливыми происхожденими милостиво венчал, что безопасность Империи Нашей, с великим оной умножением и приращением славы и почтения у всего света, совершенно утверждена, и все Наши верные подданные плодами оных в покое пользуются и пользоваться могут. При таких Ево Божеских благословениях, Мы себя должну признаем матернее Наше попечение продолжать и паче всего труды распространять, дабы Империя Наша и все верные подданные в таком благополучном состоянии на все предбудущия времена и в руке Божией состоящиеся случаи постоянно и неотменно содержаны были. И в таком, Богу угодном, намерении рассудили

Мы запотребно заблаговременно о наследстве сей Нашей Всероссийской Империи, по дарованной нам от Бога самодержавной власти, по довольном и зрелом разсуждении собственного совершеннаго Нашего соизволения, с призыванием Его Божеской милости и благословения нижеследующее законное определение учинить, а именно: назначиваем и определяем после Нас в законные наследники Нашего Всероссийскаго Императорскаго престола и Империи Нашего любезнейшаго внука, благовернаго принца Иоанна, рожденнаго от родной Нашей племянницы, ея высочества благоверной государыни принцессы Анны, в супружестве с светлейшим принцем Антоном Улрихом, герцогом Брауншвейг-Люнебургским, которому Нашему любезному внуку Мы титул великаго князя всея России всемилостивейше от сего времени пожаловали. А ежели Божеским соизволением оный любезный Наш внук, благоверный великий князь Иоанн, прежде возраста своего * и не оставя по себе законнорожденных наследников, преставится, то в таком случае определяем и назначиваем в наследники перваго по нем ** принца, брата его от вышеозначенной Нашей любезнейшей племянницы, ея высочества благоверной государыни принцессы Анны, и от светлейшаго принца Антона Улриха, герцога Брауншвейг-Люнебургскаго, рождаемаго; а в случае и его преставления, других законных, из того же супружества рождаемых принцев, всегда перваго, таким порядком, как выше сего установлено. И понеже о учиненном в 1722 году февраля 5 дня, и от всех чинов верных подданных всероссийскаго государства торжественною присягою утвержденному о наследстве уставу, всегда в высокой воли и соизволения правительствующих государей Всероссийскаго самодержавнаго престола состоит: кого похотят по себе учинить наследником, в чем и все чины, верные Наши подданные, в 1731-м году нам торжественно же присягали: того ради Мы о сем Нашем всемилостивейшем соизволении и определении всенародно объявляем со всемилостивейшим именным повелением, дабы все Наши верные подданные как духовнаго, так и мирскаго, военнаго и гражданскаго чина, и всякаго звания, в должном повиновении и послушании сего Нашего устава и определения, как верным подданным надлежит, торжественную присягу учинили по приложенной при сем форме, прося при том Всемогущаго Бога о продолжении Нашего века и дражайшаго здравия, и о щедротном Его благословении сего Нашего, едино к пользе государства и верных подданных Наших касающагося, матеряго вернаго намерения, и для того Мы сие Наше, о наследстве учиненное, определение собственноручно подписали и указали оное, и формуляр присяги, напечатав, всенародно публиковать и во все Наше государство, для исполнения по оному, разослать. Подлинный за подписанием Ея Императорскаго Величества собственныя руки. Октября 5 дня 1740 года. Печатан при Сенате октября 6 дня 1740 года.

Указ его величества Иоанна Третьяго, императора и самодержца всероссийскаго, из Правительствующаго Сената. Объявляется во всенародное известие. Понеже чрез опубликованный в

* Прежде возраста своего — до своего совершеннолетия.

** Первый по нем — следующий по старшинству.

народ, от 18 сего октября, манифест о кончине всепросветлейшей, державнейшей, Великой Государыни Императрицы Анны Иоанновны, Самодержицы Всероссийской, и о вступлении на всероссийский императорский престол его императорского величества, и каков устав и определение Ея Императорское Величество блаженныя и вечнодостойныя памяти учинить и оставить и по оному правление Всероссийской Империи, до возраста его императорского величества, регенту Российской Империи, Эрсту Иоанну, светлейшему герцогу Курляндскому, Лифляндскому и Семигальскому, вверить и поручить всемилостивейше соизволила, о том всем его императорского величества поданным уже известно. А ныне, по указу его императорского величества, будучи в собрании, Кабинет, Синод, Сенат, обще с генералами фельд-маршалами и прочим генералитетом, по довольном разсуждении, согласно определили и утвердили его высококняжескую светлость,

Анна Ивановна. Гравюра с оригинала работы
Л. Каравакка. 1730 г.



от сего времени, во всяких титулах титуловать по сему: его высочество, регент Российской Империи, герцог Курляндский, Лифляндский, и Семигальский, и о том всенародно публиковать, дабы всяк о том был известен. Подлинный за подписанием всего министерства, Синода, Сената и генералитета. Октября 18 дня 1740 года. Печатан в Санктпетербурге, при Сенате, октября 19 дня 1740 года.

Божнею мпlostию мы, Иоанн Третий, император и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляет чрез сие во всенародное известие. Хотя по всепресветлейшей, державнейшей, Великой Государыни Анны Иоанновны, Императрицы и Самодержицы Всероссийской, вселюбезнейшей нашей Государыни бабки, блаженнейшей и вечnodостойной памяти, учиненному и при манифесте нашем, от 18 дня октября, в народе публикованному определению, регентом Всероссийской нашей Империи, во время нашего малолетства, определен и учрежден был светлейший герцог Курляндский Эрнст Иоанн. Но при том, потому же Ея Императорскаго Величества определению, ему, герцогу, именно повелено сие свое регентство вести и отправлять по государственным нашим правам, конституциям и прежним как от Ея Императорскаго Величества, так от всепресветлейших Ея Величества предков определениям и учиненным государствен-

Э. И. Бирон. Неизвестный художник.
Гравюра середины XVIII в.



ным уставам, и особливо ему же притом повелено не токмо о дрожайшем здравии и воспитании нашем должное попечение иметь, но и ко вселюбезнейшим нашим родителям и ко всей нашей императорской фамилии достойное и должное почтение оказывать, и, по их достоинству, о содержании оных попечение иметь. Но вместо должного, по тому Ея Императорскаго Величества определению, исполнения, мы, к великому нашему неудовольствию, усмотреть принуждены были: коим образом он, герцог Курляндской, тотчас по восприятии того своего регентства и не обождав еще, чтоб тело Ея Императорскаго Величества земле предано было, не токмо многие государственным нашим правам и прежним определениям противные поступки чинить, но, что навящше есть, к любезнейшим нашим родителям, их высочествам государыне нашей матери и государю нашему отцу такое великое непочитание и презрение публично оказывать, и при том еще со употреблением непристойных угроз, такая дальновидныя и опасныя намерения объявить дерзнул, по которым не токмо вышепомянутые любезнейшие наши государи родители, но и мы сами, и покой и благополучие Империи нашей в опасное состояние приведены быть могли; и для того желая и должна себя признавая таким онаго герцога Курляндскаго частуопоманутому Ея Императорскаго Величества учиненному определению нарушительным и явно противным поступкам и дальновидным его нам, любезнейшим нашим родителям, всей императорской нашей фамилии и государству нашему опасным видам и намерениям заблаговременно упреждать необходимо принуждена себя нашли, по всеподданнейшему усердному желанию и прошению всех наших верных подданных духовнаго и мирскаго чина, онаго герцога от того регентства отрешить, и по тому же всеподданнейшему прошению всех наших верных подданных оное правительство Всероссийской нашей Империи, во время нашего малолетства, вселюбезнейшей нашей государыне матери, ея императорскому высочеству государыне принцессе Анне (которой мы отныне титул великой княгини всероссийской придать соизволили) поручить и отдать во всем с такою властью и силою, и на таком основании, как по вышеписанному Ея Императорскаго Величества блаженнейшей памяти определению правительство вести и отправлять учреждено и повелено было. И дабы все наши верные подданные как духовнаго, так мирскаго всякаго чина и достоинства люди о том ведали, и нам, яко истинному своему государю и императору, верно служили, и по сему нашему уставу ея императорскому высочеству, великой княгине всероссийской Анне, нашей любезнейшей государыне матери, в правлении нашей Всероссийской Империи, во время нашего малолетства, во всем должное повиновение и послушание отдали и сие наше всемилостивейшее определение не нарушимо содержали и по оному без всяких отмен поступали, и в том торжественную присягу нам учинилиб, того ради всемилостивейше указали сим нашим печатным манифестом для всенароднаго известия о том публиковать. Подлинный за подписанием всего Синода, министерства и генералитета. Ноября 9 дня 1740 года.

Божиею милостию мы, Иоанн Третий, император и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем чрез сие во всенародное известие и всему свету, а особливо всем на-

шим верным подданным. По силе публикованного нашего манифеста, ноября от 9 дня прошлаго 1740 года, еще довольно известно, коим образом мы во время малолетства нашего в регенты определенно бывшего герцога Курляндскаго Эрнста Иоанна, по всеподданнейшему усердному желанию и прошению всех наших верных подданных, духовнаго и мирскаго чина, от того регентства для того отрешить и арестовать принуждены были, что оный бывший регент, презирая и оставя вовсе Ея Императорскаго Величества, блаженныя и вечностойныя памяти вселюбивейшей нашей Государыни бабки, высочайшее определе-

Иван VI, император.
Литография В. Прохорова.



ние <...> злостно дерзнул не токмо многие государственным нашим правам и прежним определениям противные поступки чинить, но и к любезнейшим нашим родителям, их императорским высочествам: государыне нашей матери и государю нашему отцу, великое непочитание и презрение публично оказывать, а особливо еще и другие как нам и любезнейшим нашим государям родителям, так и всему государству весьма опасные виды и намерения объявить, как то все в вышеписанном нашем манифесте ноября от 9 дня 1740 года пространно объявлено. И хотя мы, за показанныя бывшего онаго регента явныя преступления, по дарованной нам от Бога самодержавной власти, могли бы ему, с добрым основанием, уже тогда положенное по государственным нашим правам и уставам наказание учинить, в разсуждении того, что он нам присягою верности обязан был; однакож, понеже мы, по природной нашей к милосердию склонности, и от последнего нашего подданнаго, впадшаго в погрешение, все то, что он к оправданию своему объявить может, не токмо охотно слушаем, но и, по рассмотрению, к подлинному его извинению всесправедливейше принимаем. Того ради всемилостивейше указали и по сему делу, для подлиннаго изследования и разсмотрения онаго, учредить прежде особливую комиссию, которой комиссии бывшего регента обо всем обстоятельно допросить, также и о том, что он может быть, ко оправданию своему, объявит, пристойное и справедливое разсуждение иметь, перед которою комиссиею он, по допросу, не токмо совершенно изобличен, но и сам добровольно в том признался: 1) что он, во время последней смертельной болезни ныне в Бозе усопшей всепресветлейшей, державнейшей, Великой Государыни Императрицы, нашей вселюбезнейшей Государыни бабки, оставя должное о продолжении Ея Величества дражайшаго живота * попечение, только о том старался, как бы ему правительство Российской Империи, во время нашего малолетства, которое как по Божественным, так и по натуральным и всем светским правам, и по государственным нашим уставам, их императорским высочествам, нашим любезнейшим государям родителям, одним принадлежит, с их императорских высочеств несправедливым исключением добывать, и что он, в таком намерении, Ея Императорское Величество о поручении ему помянутаго регентства не токмо безотходно докучал, но и по усмотрении, что Ея Императорское Величество к тому сначала еще несклонна, для достижения злостнаго своего вида отчасти всею своею тогдашнею властью, а отчасти и разными, в деле пространно объявленными, безбожными происками и интригами домогался и действовал. 2) Что он несказанное число казенных денег и прочих дорогих вещей, к невозвратному государственному ущербу, похищал, и, к корыстным своим намерениям, по большей части вне государства себе в пользу употреблял, которое свое корыстное намерение он и во всех прочих случаях истинному интересу Российской Империи всегда злостно предпочитал. 3) Что он и его фамилия с любезнейшими нашими родителями, с их императорскими высочествами: государынею нашею матерью и государем нашим отцом, которым они, по точному повелению Ея Императорскаго Величества, блаженные и вечнодостоинныя памяти нашей вселюбезнейшей Государыни бабки, всякое достойное и должное почтение

* Ж и в о т — жизнь, имущество.

Анна

Елизавету

Принцесса Анна.

Антон и Ульрих.

Иванъ регентъ
и Герцогъ:

Факсимиле подписей Анны Ивановны,
Елизаветы Петровны, Анны Леопольдовны,
Аптона-Ульриха и Бирона.

оказывать должествовали, с крайним презрением и непочтанием поступали, и их вообще всякими вымышляемыми досадами и противностями безпрестанно печаливали, и их императорских высочеств почтение и любовь у народа не токмо всякими мерами умалить, и для того всякия ложныя клеветы расевать старались, и когда усмотрел всенародное усердие и желание, чтоб правительство в руках ея императорскаго высочества, нашей вселюбезнейшей государыни матери было, то, по неизречимому своему властолюбию, забыв Бога и себя, весьма дерзнул их императорских высочеств обоих самих допрашивать, и притом разными неслыханныя, непристойныя угрозы употреблять, между прочими и сии, что с их императорскими высочествами равно как и с другими подданными поступать может, и весьма любезнейшаго нашего государя родителя на поединок позвать не постыдится; онаго ж его императорскаго высочества к снисхождению всех своих как при армии, так и при гвардии тогда имевших чинов, употреблением всяких нечестных способов, принудил; при Дворе их императорских высочеств преданных себе людей содержал, дабы чрез их о всех их императорских высочеств поступках и намерениях сведому быть, и напоследи весьма отважилися их императорских высочеств служителей, которым поверены были нужнейшия дела, без всякаго на них подозрения, без их высочеств ведома, изо внутренних наших покоев побрав, за караул в крепость отослать и наижесточайшей пытке предать велеть, уповая либо чрез то какое известие получить, по которому б он злой свой умысл против нас самих и любезнейших наших государей родителей толь скорые и свободнее в действо произвесть мог. 4) Что он же, бывший регент, государственные права и прежния определения, по которым ему по всемилостивейшему ея императорскаго величества намерению во всем неотменно поступать надлежало, по своей воли, и когда они пристрастным его видам противны казались, весьма оставляя и нарушал, и кроме вышеобъявленных у их императорских высочеств обретающихся служителей, еще другими многими знатными и заслуженными офицерами и другими чиновными людьми, без всякия их вины, и токмо по одной той причине, что они по присяжной своей должности ревнуя нам и любезнейшим нашим государям родителям, его Богу и общему народу ненавистными поступками недовольны являлись, без всякой милости и безчеловечно розыскивал, и для лучшаго произведения злаго своего умысла намерение взял из полков лейб-гвардии нашей Преображенскаго и Семеновскаго, в которых, по древнему учреждению, большая часть из знатнаго шляхетства, всегда нам и предкам нашим непоколебимо в верности находящагося состоит, оное шляхетство все вывесть и выключить, и места их другими простыми людьми наполнить. И, что наивящше есть, 5) такия беззаконныя дальновидныя и злостныя намерения имел, и во оном, чрез свое собственоручное признание повинился, чрез которыя, ежели бы Всещедрый Бог того не отвратил, верные наши подданные своего благополучия и государства, нынешней тишины и покоя лишиться, а мы и любезнейшие наши государи родители в весьма опасное состояние приведены быть могли б, умалчивая о многих других бывшаго онаго регента важных же преступлений и безбожных его как к предосуждению любезнейших наших родителей, так и к общему государственному ущербу и к разорению всех верных подданных, дерзостно оказанных поступках, о которых, так-

же и о вышеписанном обо всем по объявленному бывшего онаго регента добровольному признанию и по следственному об нем, делу совершенно и подробно значит. И понеже, по показанным реченнаго регента безбожным поступкам, весьма явно, что он не токмо в умышленном нарушении государственных прав и мало-слыханном похищении нашей казны, но и в вине оскорбления величества, и особливо в злом умышлении противу нам и государству нашему приличился, за которые преступления как по нашим государственным правам, так и по Божественным, натуральным и всенародным законам, конечная смертная казнь положена. Того ради надлежало ему оную, по сущей справедливости, и учинить, особливо и потому, что он нам не токмо, как выше объявлено, присягою верности обязан был, но к тому ж еще и всему свету известно, что ея императорское величество, блаженныя и вечнодостойныя памяти наша вселюбезнейшая государыня бабка, его, по одной своей императорской щедроте и милости, из самых подлых людей в такие знатные чины и состояние произвела, которая высочайшая императорская милость его по справедливости ко всегдашней благодарной памяти, также и к верной службе Российской Империи, а особливо к неотменному, должному почитанию любезнейших наших родителей и всея императорския фамилии возбуждать имела б; однакож как мы, по природному нашему великодушию и в разсуждении добровольнаго онаго бывшего регента во всех вышеписанных тяжких преступлениях признания, как всегда, так и ныне особливо к милости больше склонны, так указали мы его от смертной казни всемилостивейше освободить, а напротив того, со всею его фамилиею, которая, в объявленной вине оскорбления величества явно с ним обще приличилась, по отписании всего их движимаго и недвижимаго имения на нас, в вечном заключении содержать, дабы тяжкое оное гонение и наглые обиды, которые верные наши подданные от него претерпели, к справедливой их сатисфакции без всякаго взыскания не остались, также и всему тому, что нашему государству и общему покою и благополучию опасно и вредительно быть может, таким образом вдруг предупреждено было. И дабы во всем свете о сем нашем манифесте известно учинилось, того ради указали мы оной за нашу государственною печатью и за подписанием напечатать и во всенародное известие публиковать. Апреля 17 дня 1741 года. На подлинном подписано рукою ея императорскаго высочества государыни правительницы великия княгини всея России тако: именем его императорскаго величества Анна. Печатан при Сенате апреля 18, а в Москве, в Сенатской типографии, 29 чисел 1741 года.

ИЗ «ЗАПИСОК...» КНЯЗЯ ЯКОВА ПЕТРОВИЧА ШАХОВСКОГО

<...> Его Светлость Герцог Бирон, о коем я выше описал, а из Кабинетных Министров Обер-Шталмейстер * Артемий Петрович Волынской, были ко мне благосклонны и коротко меня знали; а особливо Волынской, тогда из лучших в Кабинете Монаршем быв дельцов, очень меня полюбил, так что часто со мною о многих Государственных делах разговаривал. И хотя я в знании

* В ведении обер-шталмейстера находились дворцовые коюшники.

таких дел пред ним малосмыслен был, не могли худыя от добрых мнений разделять; однакож понятие мое мне вперило столько, что все его дела, яко истиннаго любителя отечества ревностным духом ко славе Монаршей и к пользам общим, следовательно гдеб и его слава не погасла, производимыми почитал.

Но увы! оныя-то мне его открытости и доверенности были предзнаменованием бедственных, высокими горами и глубокими рвами, или пропастьми наполненных путей, по которым судьба Всемогущаго водить меня определяла, как то вскоре следующими приключениями оказалось; но сперва совсем в инаковых по поверхностям видах я те принимал.

В один день увидев меня Артемий Петрович во дворце, сказал мне, чтоб я ввечеру к нему в дом приехал, что он имеет пужду со мною поговорить. Я то исполнить и не приминул; а он увидя меня, повел в свой кабинет и с великою благосклонностию являясь, говорил: вот, друг мой! я вчерась будучи во дворце имел счастье сделать доказательство о ваших достоинствах, и по моей к вам дружеской любви, довольно изъяснил о вас Ея Императорскому Величеству и Герцогу Бирону, и приготовил что вы скоро будете Сенатором: ибо оной еще большим числом достойных людей есть намерение наполнить.

Такое уведомление очень меня обрадовало; я тем ласкаясь оказывал ему приличные благодарности, и ожидал день ото дня себе лучшаго, не зная, что уже тогда к погублению его употребляемые способы поспевали, и всех тех, коих он любил, и которые к нему часто езжали, кладены были метки.

Вскоре потом оказываться стало, что Волынскій впал в ненависть у Герцога Бирона. Сверх того я знал же, что он тогда с товарищем своим, кабинет Министром же Графом Остерманом имел потаенную вражду, и каждой из них имея у двора из первых чинов свою партию, непрерывно один другому сети ко уловлению и рвы к падению хитро делать тщились.

Но я то, как еще в таких делах был малосведом, по своим воображениям умствуя гаданиями, и приводя примеры, что на высоких степенях находящимся частыя потрясения, от разных вихрей бываемыя, не всегда делают низвержение, но тем еще иногда вразумляют, ободряют и укрепляют к лучшему, не за бедственное почитал, и непрерывно каждой день, а иногда и по дважды, несколько уже в задумчивости находящагося моего благодетеля Волынскаго посещал в знак моей непоколебимой благодарности.

Потом чрез несколько дней случилось мне быть в доме у бывшаго тогда Генерала Полицей-мейстера Василья Федоровича Салтыкова, которой ко мне был благосклонен, и когда мы с ним разговаривали о разных посторонних делах; вошел в ту камору* бывший тогда в Полиции Секретарь Молчанов, котораго я до того времени не знал. Он начал сказывать своему Генералу Полицей-мейстеру, что он по утру того дня призыван был для некоторых случившихся по Полиции дел, в Кабинет Ея Величества к Министрам, где между прочими делами видел за собственною Ея Императорскаго Величества рукою указ, о определении в главную Полицию новых членов на место Его Превосходительства, а имянно: из Артиллерийской Канцелярии Бригадира Унковскаго, из Адмиралтейской Коллегии Советника Зыбина, да Ротмистра Конной Гвардии Князя Якова Шаховскаго.

* Камора — комната.

Василий Федорович с удивительным восторгом оказав обрадование, что он от того хлопотного присутствия избавлен, поздравлял мне с усмешками, как я своими пролазами такое хорошее себе место промыслил.

Но я никогда о таком для меня неавантажном месте не думал; а инаковым, как уже выше упомянул, гораздо знатнейшим был обнадужен, паче же ласкаясь великою благосклонностию ко мне Артемья Петровича, и день ото дня ожидая ему лучшего, уповая притом, что и Герцог Бирон ко мне милостив, несомненно события моих польз дожидался, и быв на кануне того дня у Артемья Петровича, а нимало о сем новом моем чине не слышав, принимал оную себе ведомость от Секретаря Молчанова за ошибку его; но он уверял меня, что тот указ он весь сам читал, которой при нем уже и в Сенат послан. От сего подвергнулся дух мой великому безпокойству, и я не долго мешкав поехал в дом к моему благодетелю Артемью Петровичу Вольтскому, чтоб о том удостовериться.

Артемий Петрович увидя меня прежде нежели я говорить начал, встретил с весьма печальным видом сими речьми: знаю, друг мой, о вашем приключении, и что тому я причиною; пожалуй не оскорбляйся и имей терпение, авось либо Бог допустит мне лучше вам сделать!

Такой его вид и речи я приняв доказательством твердой любви и милости его ко мне, начал было изъяснять мое о таком со мною нечаянном приключении удивление с горестным чувствованием; но он мне пресек, повторяя речьми своими, чтоб я о

А. И. Остерман.



том более не говорил и не оскорблялся, а поставил бы на его счет. И тако оные разговоры и кончились.

Я несколько побыв у сего моего благодворителя, как был уже вечер, поехал в дом свой и препроводил всю ночь в горестном сматении, крайнее имея от Полицейских должностей отвращение.

Поутру рано и от полку получил я приказ, чтоб немедленно явился в Сенат, куда я тогда же не замедлил приехать.

По введении меня в присутствие господ Сенаторов, объявлен мне был указ, что я пожалован Советником в Главную Полицию. Хотя неудовольствие мое и ясно было на лице моем написано; но я должен был с низайшим поклоном благодарение мое представить.

Я в тот же день приведен был к присяге, а на другой день в Канцелярию Полиции, обще с моими тогда новоопределенными товарищами вступил.

В то время благодворителю моему Артемию Петровичу Во-лынскому из дому выезжать уже не велено; но я по незазренной моей совести, не токмо намерений согласных, но ниже разговоров клонящихся к безславию Монархам и ко вреду общества не имея, все его мне являемыя дела, мнения и разсуждения патриотическими и верно-радетельными Монархине и отечеству признавал, и тщася в таком случае ему доказать мою постоянную благодарность, посещал его в доме, когда уже все его оставили, а только еще бывали его друзья.

А как такая приключения скоро одно за другим следовали, то по прошествии малаго времени učinена из первейших чинов в нескольких персонах над ним Коммисия.

Я, учреждая мои поведения так, как новопричисленной в таких внутренних хитроковарных между случайными людьми по-

А. П. Волинский.



литических войнах рекрут, нимало не воображал и не опасался, чтоб столь велика злость человеческая к подобным себе быть могла, и дабы невинность ясно оправдать, себя могущаго скоро низвергнуть и погубить превозмогли; сие воображал я чрезвычайною редкостью и то только от непросвещенных, злонравных и варварскими обычаями и жадностями в воспитании напоенных людей. При чем и по моим непорочным поведением, не имел я причины думать, чтоб то в Полицию мое определение от кого мне во зло сделано было; но увя! иное мне открываться стало.

По нескольким днях моего в Полиции присутствия, как уже Волынской под строгим судом в Петропавловской крепости (как обыкновенно в тогдашнее время содержали в оной важнейших по криминальным делам преступников) находился, просил я Герцога Бирона, чтоб он меня милостивым заступлением от такой должности, в коей я ни знания, ни охоты отправлять оную не имею, избавил, и учинил предстательство, чтоб я по неперестарелым тогда еще бывшим моим летам, и по склонности и практике к военным делам определен был в армию Полковником, как и некоторые младшие мои товарищи уже награждены были.

Его Светлость Герцог Бирон с несколько суровым видом изволил мне ответить, что он того не знает, а говорил бы я о том с Министрами: ибо де они к тебе благосклонны.

Я таковой Его Светлости ответ, чтоб был иным мнением произведен, ни мало не приметя, просил милостиваго наставления, чтоб мне подать челобитную Ея Величеству, в чем он и не отрекся.

Я приняв то за начало к моему удовольствию и немедленно написав оную, на другой день будучи во дворце пред полуднем, как в такие часы Ея Величество изволила выходить и допускать видеть себя приезжим, с нижайшим поклонением Ея Величеству подал и усчастливился видеть, что тогда ж изволила отойдя к окну, оную прочесть: ибо та в малых строках, только о определении меня в армейскую службу состояла.

Я, не зная с каким то намерением Ея Величество, шествуя во внутренние покои, оную мою челобитную с собою взять соизволила, весьма с твердою надеждою что скоро резолюция последует, в дом поехал.

Учрежденной тогда суд над моим благотворителем Артемьем Петровичем Волынским по большей части под надсмотрением и руководством его злодеев и ненавистников производился. Одне за другими умножаемы были суровости, о чем, яко чрезвычайном с таким человеком приключении, во всем городе по домам происходили разные разговоры и толкования, и между прочими почитаемыми его друзьями и искателями упоминали, что и я был его любимцом.

Такия до ушей моих доходящия уведомления, паче же когда я день ото дня примечал, что по моей челобитной, поданной Ея Императорскому Величеству, не токмо резолюции, но и никакого отзыва не было, и как притом господа тогда бывшие Кабинетные Министры, Граф Остерман и Князь Черкасской на прошение о определении меня в армейскую службу, коротко и холодно мне отвечали, дали мне причину терять надежду мою и ожидать худшаго, не по делам, но по знакомству онаго несчастнаго Министра, впадшаго в руки своих злодеев.

Бывший тогда Лейб-Гвардии Коннаго полку Подполковник Ливен, который ко мне имел особливую благосклонность, увидя

меня наедине и сожалел о моем приключении, советовал мне иметь терпение, и чтоб я никому впредь до времени никакими о себе просьбами не скучал. Таких его речей не могши я понять, просил, чтоб он объяснительно о причине той дал знать, и благосклонным наставлением к лучшему меня снабдил. Но он, как разумной, и во всех случаях предусматривать и скромно остерегаться уже человек искусной, пожав меня за руку, тихо на ухо дружески сказал: «Довольно сего, что я по моей вам дружбе и по нынешним обстоятельствам объявил, а впредь время все нам откроет». Такое уведомление и впрочем принудило меня худшаго ожидать по Волинском. Через несколько потом недель, благодетель мой Артемий Петрович Волинской и его друзья Комиссиею судимы были, которые, зная, что к какому нибудь худу доверенности от него, или сообщения с ним имели, что мне было не ведомо; или за иное что, Всевидящего правосудием повосною смертью на эшафоте жизнь свою скончали; а некоторые телесное наказание получа в ссылку были отправлены; меняж Всевидящий по невинности сохранил. <...>

В таких-то обстоятельствах и в звании моем при Полиции пререманно со всех сторон оберегаясь, без мала год обращался, не имея нимало отзова на мою поданную челобитную; и для того и стараться уже о том перестал.

Потом чрез несколько времени Ея Императорское Величество Государыня Императрица Анна Иоанновна быв в тяжелой болезни, от сей временной в вечную преселилась жизнь; а Герцог Бирон до возраста наследника утвержден Регентом, и в Монаршем кабинете правительствуя всеми Государственными делами, между прочими тогда бывшими Кабинет Министрами главнейшим был.

И как многих при начале того новаго Правительства по поданным их челобитным повышение чинов и разная награждения производить начали, тогда и я, хотя уже с самага дела Волинскаго от Его Светлости Герцога Бирона, котораго начали в Регентах уже титуловать Высочеством, таковых милостивых приветствий, каковы прежде имел, и не видел: но отважился паки написав челобитную, о определении меня в армию Полковником ему подать.

Но по моей незазренной совести, зная, что таким моим поведением был конец и пришло благоволение Всемогущаго, новыми почестями меня ободряя, возвести для таких же искушений повыше на другую степень. Ибо Его Высочество оную мою челобитную принял весьма с милостивым видом, идучи из своих покоев в Министерское присутствие, в Кабинет. И едва столько было времени, как успел Его Высочество сесть в присутственное место, то на оной приказал и резолюцию подписать, которая в тож время мне формальным образом была и объявлена: что я пожалован Статским Действительным Советником и главным в Полицию. Излишнее мне здесь объяснять вам, благосклонный читатель, о такой последовавшей со мною перемене: ибо вы сами натурально познать можете, в каковом я восторге тогда был. Почему вскоре потом идущему из присутствия в свои покои Герцогу Бирону мое благодарение представлял и проводил его до той комнаты, куда всем ходить дозволено было. Его Высочество несколько в своих покоях остановясь подошел ко мне и весьма с милостивым видом говорил: «Вот Князь Шаховской, я не забыл дружбу дяди твоего и что я тебя любил; а ты променял было

меня на Волинскаго. Но я сие предаю теперь в забвение, и в том будьте уверены, что я ваш всегдашний доброжелатель».

Такия диюцияся в тот день непрерывно в уши мои для ободрения духа моего уведомления подали языку моему смелость велеречествовать. Я с благодарным видом поклонясь ответствовал Его Высочеству: «Мне весьма было надобно благосклонности к себе Волинскаго честными поведениями сыскивать: поже кабинет Министр, который первейшия Государственныя дела производить поверенность и всегдашнии к Монархине с своими советами доступ имеет, всегда в состоянии просветить или затмить тех службы и добрыя поведения, которые еще далеко за их спинами находятся». Его Высочество оказал мне благосклонный вид, и повторив, что он все прошедшее забывает, пошел во внутреннея свои комнаты, а я обрадованнем восхищенный поехал домой.

О сем со мною происшествии скоро повсюду разнеслось, и вы, благосклонный читатель, можете себе вообразить, сколь много я был, не только от моих ближних, но и от тех, кои прежде только что меня знали, обласкан: так что я не успел ответы благодарныя производить приемлющим в моих благополучиях участие.

Указы о пожаловании меня в новой чин немедленно во все надлежащия места из кабинета Монаршаго были разосланы, и я в Канцелярии Полидейской сев в креслы главнаго Судьи, вступил в должность по моему новому званию, и в тоже утро успел из Канцелярии поехать во дворец, чтоб видеть Герцога и усугубить ему мое благодарение.

По вступлении в его комнаты, где уже много было пришедших и его выходу ожидающих, (в том числе несколько в голубых и в красных кавалериях) от коих всех я ласково, и совсем инаково, как прежде, был принят; и как тогда дух мой, по словице крестьянской, как пшеничное тесто на опаре подымался, то я скоро между имп вмешался в разговоры. В сие самое время вышел из внутренних от Его Высочества комнат его камердинер, и учтиво осмотря предстоящих, пошел обратно; но недолго мешкав паки вышел, указывая на дверь, дал мне знать, чтоб во югу далее шел.

Я тогда в поспешном того исполнения, пошел по показанию камердинера далее чрез две еще комнаты, а в третьей увидел Его Высочество еще в спальном платье сидящаго в креслах и держащаго в руках чашку кофе. Я лишь только Его Высочеству поклонился, а он уже приказывал своему камердинеру подать для меня чашку кофе, и указал мне креслы не подалеку от него стоящия, в коих бы я сел. Я, как всегда привыкшии пред Его Высочеством стоять, начал было поклонами от того отрицаться, и притом изъявляя мое благодарение, донес ему, что я уже сего же утра в мое новое звание вступил, но он принудил меня сесть, потчивая меня кофею с весьма ласковым приветствием.

Дав мне выпить кофею, начал со мною благосклонныя разговоры, и как теперь помню, во первых говорил мне, что он надежен, что во мне столько разума есть, чтоб нашу Полицию в лучшее состояние привести; а кого де тебе в помощь к тому имянно по твоему избранию, и какия еще вспоможения надобно, требуй от меня: все то исполню. Я ипжайше изъявляя мою Его Высочеству благодарность, просил его о неотменной его к себе милости и особливой по тому моему званию протекции, изъяв-

ляя, сколь уже есть, а еще и более по моим безпристрастным поступкам от многих знатных господ я ненавидим буду.

Его Высочество встав с кресел и в знак своей милостивой ко мне доверенности дая мне свою руку, а другою указывая на дверь, говорил, что он всегда в оную камеру без доклада входить, и персонально с ним изъясняться позволяет. «Вы не бойтесь никого, говорил он, только поступайте честно, и говорите со мною без всякой манности справедливо; я вас не выдам, и буду стараться ваши достоинства и заслуги к Государству награждать, и в том будьте уверены». Потом начал Его Высочество одеваться; а я поклонясь пошел из оной комнаты, дабы в таком духа удовольствия будучи, ехать домой, помыслить и собрать потребныя сведения для лучших производств моего звания, и проходя ту комнату, в коей множество господ скорого выходу Его Высочества ожидали, еще с большими ласкостей видами, от знатных, а паче от остряков лицемерить умеющих, окружен был. Одни спрашивали меня: скороль Герцог выдет? А другие поздравляя меня в моих благополучиях, большого мне желали: но я скоро окончав оные комплименты, с пристойным учтивством оставя их, поехал из дворца.

В каком я тогда обрадовании и полных удовольствия восхищениях был, о том, благосклонный читатель, прямо узнаете, когда ваш благородный, к добродетелям стремящийся дух, по многом смятении также встречен будет. <...>

И как уже за долго пред тем бывшею Коммисиею из первейших чинов, был сочинен план собираемый из всех лучших тогда в свете Полиций, токмо еще не был опробован: то я достал его к себе прочесть, которой оставя в своей дороге, но многое из того почерпая, к первоначальным в моей должности надобностям, сочинил чрез несколько дней для подачи Его Высочеству доклад.

И как теперь помню, что тот-то мой день тогдашних счастливых моих поведений был последний, в которой я заблагоразсудя, чтоб прежде формальной в кабинет к Министрам оного моего доклада подачи приватно Его Высочеству Герцогу Бирону, как моему патрону представить ко апробации, приехал во дворец, в покои Герцога Бирона перед вечером, когда он обыкновенно один, или с немногими своими приятелями несколько часов препровождал. И хотя, как я и выше описал, имел дозволение к нему во внутренние его покои без доклада всегда входить; но однако спросил у камердинера, которой готов был двери отворить, кто у его Светлости? Он с почтением отвечал, что тут сидят Генерал-Фельдмаршал Граф Миних, и Комерц-Коллегии Президент его свойственник Барон Менген, с которыми, как я знал он особое приятство имел. Я тогда не рассудя заблаго с таким моим делом к ним войти, поехал домой; ибо тогда уже было не рано.

Я всю ту ночь долго не спал, делая в мыслях своих разположения, как бы мне на утро, прежде нежели Герцог пойдет в Министерское собрание в кабинет, оной мой доклад ко апробации представить и изъяснить.

Сия ночь... как помнится мне, была 1740 году в Декабре, которая не только мои поведения, но и все Государственное правление инаково обратила. Я поздно в оную заснул, но еще прежде разсвету приезжим ко мне Полицейским Офицером был разбужен, которой мне объявил, что во дворец теперь множество

людей съезжаются, гвардии полки туда же идут, и что Принцесса Анна, мать малолетнего наследника, приняла правление Государственное, а Регент Герцог Бирон с своею фамилиею и кабинет Министр Граф Безстужев взяты Фельдмаршалом Минихом под караул, и в особливых местах порознь посажены.

Вы сами узнаете, благосклонный читатель, нималога воображения о том в мыслях прежде не имея, в каком смятии я тогда был. И так спешно оделся, и ко дворцу приехав увидел множество разного звания военных и градских жителей в бесчисленных толпах окружающих дворец, так что карета моя, до крыльца не возмогши проехать, далеко остановилась; а я выскока из оной, с одним провожающим моею команды Офицером, спешно продирался сквозь людей на крыльцо, где был великой шум и громкие разговоры между оным народом; но я того не вникая; бежал в верх по лесницам в палаты, и как начала, так и окончания, кто был в таком великом и редком деле начальником, и кто производитель и исполнитель, не зная, не мог себе в смысл вообразить, куда мне далее идти, и как, и к кому пристать. Чего ради следовал за другими, тудаж спешно меня обещающими. Но большею частию гвардии Офицеры с унтер-офицерами и солдатами, толпами смешиваясь, смело, в веселых видах и не уступая никому места ходили; почему я вообразить мог, что сии-то были производители онаго дела.

В таких сомнениях вошел я в дворцовую залу, и в первом взгляде увидел в великом множестве разных чинов, и по большей части штатских, теснящихся в дверях и проходах к Придворной церкви, которая также была наполнена людьми и освещена множеством горящих свечь. Я несколько поостановился, чтоб подумать, как бы и в которую сторону подвинуться и найти кого из моих приятелей, от коих бы обстоятельства узнать, и по тем бы поступок мой употребить удобнее мог: но в тот же миг один из моих знакомых гвардии Офицер, с радостным восторгом ухватил меня за руку, и начал поздравлять с новою нашею Правительницею, и приметя, что я сие приемлю, как человек, ничего того не знающий, кратко мне об оном происшествии рассказал и приговорил, чтоб я ни мало не останавливаясь, протеснялся в церковь, там де Принцесса и все знатные господа учинили ей в верности присягу, и видитель, что все прочие тоже исполнить туда спешат.

Сие обстоятельное уведомление во первых поразило мысль мою, и я сам себе сказал: вот теперь Регентова ко мне отменно пред прочими милостивая склонность, сделают мне похоже, как и после Вольтинскаго толчок! но чтоб только не худшим окончался, Всевидящий защиты меня!

В том размышлении дошел я близ дверей церковных; тут уже от тесноты протраться в церковь скоро не мог, и увидел многих моих знакомых в разных масках являющихся. Одни носят лист бумаги и кричат: изволите, истинные дети отечества, в верности нашей Всемиловитейшей Правительнице подписываться, и идти в церковь в том Евангелие и крест целовать; другие протесняясь к тем по два и по три человека, каждой только спешит жадно спрашивая один у другаго, как и что писать, и вырывая один у другаго чернилицу и перья, подписывали, и теснились войти в церковь присягать и поклониться стоящей там Правительнице в окружности знатных и доверенных господ.

Таким способом скоро и я участвовал на одной из тако-

вых разносимых бумаг подписаться, и продравшись в церковь, поцеловать Евангелие и крест, и учиня пристойной поклон Правительнице, стал позади окружающих Ее господ, воображая себе, что я в таком чину, коему теперь отдаляться не надлежит, и могут мне быть о касающихся по Полиции в теперешних обстоятельствах потребных делах повеления.

Но увы! вскоре потом инаковую приемность почувствовал. Некоторые из тех господ, кои в том деле послужить усчастливились, весьма презорные * взгляды мне оказывали; а другие с язвительными усмешками спрашивали: каков я в своем здравье и всель благополучен? Некоторыеж из наших площадных звонарей неподалеку за спиною моею рассказывали о моем у Регента случае и что я был его любимец. С такими-то глазам и ушам моим поражениями, не имея ни от Правительницы, ниже от ея Министров, уже во многия вновь доверенности вступивших, никаких приветствий, ниже по моей должности каких повелений, с прискорбными воображениями, почти весь день таскавшись во Дворце между людьми, поехал в дом свой в смятении моего духа.

На другой, или на третий после того день, как помнится, определен Генерал-Полиции-мейстером бывший тогда Тайный Советник и Сенатор Федор Васильевич Наумов; а о мне умолчано. И тако я сам себя отрешить от Полиции не осмелюсь, но во ожидании моего точнаго жребия, остался его товарищем**.

Новой Генерал-Полиции-мейстер имел не весьма короткое до того со мною знакомство; но я приметил, что он ко мне начал оказываться весьма благосклонным, оноеж вяцше для того, чтоб чрез меня, яко уже несколько в таких делах сведущаго и заобыклаго, все дела моими трудами, под его именем, и в поспешествование его соизволений и апробаций в честь ему происходили. Одним словом я скоро узнал, что он часто употребляет меня начал вместо кочерги, коюю в печи уголья и жар загребает. Я видя мои худыя участия и еще день от дня, как уже выше описал, по Регентовой ко мне милости худшаго ожидая, принужден был сгибаться и сносить. Чрез несколько в таком поведении моем недель, один из приятелей как мне, так и бывшему тогда новоопределенному Министру Графу Михайле Гавриловичу Головкину (которой по жене своей от Салтыковой рожденной, яко ближний Принцессе Правительнице свойственник, в великую доверенность вступил) говорил мне: «Для чего я к Его Сиятельству не езжу в дом и не ищю его благосклонности: ибо де уже не однократно от него слышал, что он в разговорах, когда изчисляет к Государственным делам годных, вас между первыми в щет поставляет».

Такое онаго приятеля моего уведомление вперило в мысль мою желание, чтоб то самым делом опробовать, как наискорее: ибо мне тогда справедливой покровитель весьма был нужен.

Чрез несколько дней воспоследовало по Полиции такое по тогдашним обстоятельствам дело, о коем должно было кабинет Министров уведомить; а Генерал-Полиции-мейстер тогда за болезнию из дому своего не выезжал, и для того поручил мне оное исполнить. Я немедля сочинил о состоянии и происхождении

* Презорные — высокомерные, надменные, гордые.

** Товарищ — здесь: заместитель.

оного дела краткие экстракты и вручил в домах их персонально всем трем, тогда бывшим Кабинет-Министрам: Графу Остерману, Князю Черкасскому и Графу Головкину. Но при вручении оных первым двум ничего примечательного для меня не видал: ибо они оба, равно как бы согласясь, оные от меня приняв, сказали только: *хорошо мы разсмотрим, а теперь не время*. А когда я подал оной Графу Головкину, то он прочитавши положил в карман, ни чего на оной не ответствуя, а ласковым видом приказал мне сесть, и зачал со мною разговаривать о поведеньях моих по делам Полиции, и о прочих моих в военных службах происхождениих... Я приметить мог, что он не только все то с приятностию охотно слушал, но еще некоторые мои поступки похваляя говорил: я де слышал об ваших поведеньях похвалу, но не имел чести вас знать, а теперь прошу со мною быть познаною. Время уже было близ обеда и я по должному учтивству встал со стула, чтоб откланявшись поехать; но Его Сиятельство весьма с ласковыми видами приветствовал меня, чтоб я при столе его отобедал, говоря притом, что он желает, чтоб его хлеб и соль были мне не противны, и чтоб он имел честь в доме своем не редко меня видеть.

Супруга его Графиня Екатерина Ивановна, которая считалась мне по колену матери своею роднею, тут же была и благосклонно со мною разговаривала.

И так я при столе Его Сиятельства отобедав пробыл в доме его до вечера. Такая Его Сиятельства оказанная ко мне благосклонность обязала меня, что я чрез несколько дней поехал к нему удостоверить о моем почтении, и принят был весьма милостиво; но еще более в разных с Его Сиятельством разговорах весьма был обрадован, тем наипаче, что я нашел мужа истинного патриота и прямого любителя справедливости.

Таким образом усчастливился я у такого человека, котораго дух мой полюбил, скоро в числе его друзей находиться, и он чрез несколько месяцев, нимало не дав мне прежде знать, призвел меня в Сенаторы.

Сей-то добродетельной человек и истинной любитель своего отечества, часто утверждал меня полезными советами, и истинного патриота должность в том быть доказывал, чтоб людей не по любви и дружбе своей, но по дарам их свойств и способностей для существенных обществу польз в военные и штатские чины производить, невзирая, когда многие, только по особенным своим надобностям и пристрастиям будут ненавидеть и давать к непохвальности разные прозвища.

Я в сем почтенном присутствии, то есть в Сенате, находил несколько месяцев с великим удовольствием и охотою; а паче по моей амбиции имел случай показываться в поведеньях и в делах патриотических, в чем мне много вспомоществовали милостивая, частная и разумная наставления сего моего благотворителя... И как точно теперь помня воображаю в мысль мою день Ноября 24, в которой оного моего милостивца супруги, Графини Екатерины Ивановны, именины празднованы были в доме их, и вам благосклонный читатель, вообразить можно, коликое число тогда у сей именинницы, яко у ближней Принцессе Правительнице свойственницы, (которая по отце Княжна Ромадановская; а по матери Салтыкова, от родной сестры Царицы Прасковьи Феодоровны рожденная, следственно Императрице Анне Иоанновне

также и сестре Ея Царевне Екаторипе Иоанновне сестра, а Принцессе Правительнице тетка была) ласкателей и милости снискателей, а наипаче в тот день поздравителей в доме их было.

Но я чистосердечно за сего ея супруга, а моего благодетеля отвечая, что он все такие притворства пронизательно видел и в дружеских правоучительных со мною разговорах, о себе угадывал, что после таких его благополучий должно ему несчастливо быть; почему и никаким таким великолепиям и пышностям не радовался, паче же в тот день: ибо он подагру, хирагру и головную болезнь, коими он был часто мучим, в наибольшем их действии ощущал и уже пред тем несколько ночей без сна был. Но политики, просвещенные разумом, умея для пристрастных своих желаний и подлое ласкательств угождение при способных случаях в хороших ко услугам и одолжениям видах представлять, и в таком состоянии хозяина видя почтительными и сожалительными о его болезнях видами и словами жертву являя, многие в доказательство своих искренних почтений и любви

Елизавета Петровна, императрица.
Портрет работы Эриксона.



оставались в доме его у племянницы, по введенной уже и тогда моде, без зову обедать. И тако все комнаты, кроме только той, где объята болезнями и сожаления достойной хозяйин страдал, наполнены были столами, за коими как в обеде, так и в ужине более ста обоего пола персон, а по большей части из знатнейших чинов и фамилий торжествовали, употребляя во весь день между обеда и ужина, также и потом в веселых восхищениях танцы и Рускую пляску с музыкою и песнями; что продолжа с удовольствием до первого часу за полночь по домам разъехалась. Чтож до меня касалось, то и я уже тут весь же день, как домашний, иногда в потчивании знатнейших гостей, в числе коих и все иностранные Министры были, то по несколько хозяйину, одному в своей комнате с болезнями борющемся, компанию делал, и наблюдая приличность старался о его успокоении, и оставшись в доме его последний, как бы по предуведомлению, что скоро несчастливой жребий его поразить и на веки меня с ним разлучить спешает, зашед в его комнату, с ним простился, а он слабым голосом, но весьма ласковыми словами благодарил, сожалел о моем беспокойстве и желал мне скорее в дом мой ехать благополучно ко успокоению.

Таким образом я в великом удовольствии и приятном размышлении о своих поведениях, что я уже господин Сенатор, между стариками в первейших чинах находящимися обращаюсь, и будучи такого многомогущаго Министра любимец, день ото дня лучшия приемности себе ожидать, и притом ласкаться себя могу надолго счастливым и от всяких злоключений быть безопасным, приехал в дом свой, и забывая в мысль себе приводить, чтоб на будущих гаданиях не утверждаться, а помнить, что от счастья к несчастию всегда только один шаг находится, лег спать; то только лишь уснул, как необыкновенной стук в ставень моей спальни, и громкий голос Сенатскаго Экзекутора * Дурнова меня разбудил. Он громко кричал чтоб я, как наискорее, ехал в Цесаревнинской Дворец: ибо де она изволила принять престол Российскаго правления, и я де с тем объявлением теперь бегу к прочим Сенаторам. Я вскоча с постели подбежал к окну, чтоб его несколько о том для сведения моего спросить, но он уже удаллся.

Вы, благосклонный читатель, можете вообразить, в каком смятии дух мой тогда находился. Нимало о таких предприятях не только сведения, но ниже** видов к примечаниям не имея, я сперва подумал, не сошел ли господин Экзекутор с ума, что так меня встревожил и в миг удаллся; но вскоре потом увидел многих по улице мимо окон моих бегущих людей необыкновенными толпами в ту сторону, где Дворец был, куда и я немедленно поехал, чтоб скорее узнать точность такого чрезвычайнаго произхождения. Не было мне надобности размышлять, в которой Дворец ехать. Ибо хотя ночь была тогда темная и мороз великой, но улицы были наполнены людьми, идущими к Цесаревнинскому Дворцу, гвардии полки с ружьем шеренгами стояли уже во круг онаго в ближних улицах, и для облегчения от стужи во многих местах раскладывали огни; а другие, поднося друг другу, шили вино, чтоб от стужи согреться. При чем

* Экзекутор — чиновник, осуществлявший надзор за отправлением бумаг из учреждения.

** Н и ж е — даже, тем более.

шум разговоров и громкое восклицание многих голосов: *адрас-твей наша матушка Императрица Елисавета Петровна*, воздух наполнял! И тако я до онаго Дворца в моей карете сквозь тесноту проехать не могши, вышед из оной пошел пешком, сквозь множество людей с учтивым молчанием продираясь, и не столько ласковых, сколько грубых слов слыша, взошел на первую с крыльца лесницу, и следовал за спешащими же в палаты людьми; но еще прежде входу близъ уже дверей, увидел во оной тесноте моего сотоварица Сенатора Князь Алексея Дмитриевича Голицына, мы содвинувся поближе спросили тихо друг у друга, как это сделалось, но и он, также как и я, ничего не знал. Мы протеснились сквозь первую и вторую палату и вошед в третью, увидя многих господ знатных чинов, остановились; и лишь только успели предстоящим поклониться, как встретил нас ласковым приветствием тогда бывший при Дворе Ея Величества между прочими Камер-Гером Петр Иванович Шувалов, который после был уже... знатной господин, и великия дела в Государстве производил. Он в знак великой всеобщей радости, веселобразно поцеловал нас и рассказал нам кратко о сем с помощью Всемогущаго начатом и благополучно окончанном деле, и что главнейшие до ныне бывшие Министры, а именно: Генерал-Фельдмаршал Граф Миних, Тайные Действительные Советники и кабинет Министры, Графы Остерман и Головкин, уже все из домов своих взяты и под арестом сидят здесь же в доме. <...> Потом Ея Императорское Величество вскоре из своих внутренних покоев изволила ту палату, где и мы между прочими уже много собравшимися господами находились, войти и весьма с милостивыми знаками принимая от нас подданические поздравления, дозволила нам поцеловать свою руку.

Вскоре после того повелено было всем идти; ибо за теснотою находящихся по улицам солдат и прочих людей ехать было не можно, в Зимней Императорской Дворец, куда и Ея Величество в открытой большой лифейке с благонадежнейшими ей изволила ехать сквозь Гвардии солдат стоявших до большого Дворца шеренгами, в сопровождении немалого числа Преображенскаго полку Гренадер, кои в том деле Ея Императорскому Величеству наипервейшими служивиками были; и по прибытии во Дворец в Придворной церкви началась Ея Императорскому Величеству в верности по надлежащему учреждению присяга.

ПИСЬМО ЕКАТЕРИНЫ II К ГРАФУ СТАНИСЛАВУ-АВГУСТУ ПОНЯТОВСКОМУ

<...> Уже шесть месяцев, как замышлялось мое восшествие на престол. Петр III потерял ту малую долю разсудка, какую имел. Он во всем шел напролом; он хотел сломить гвардию, он вел ее в поход для этого; он заменил бы ее своими голштинскими войсками, которые должны были оставаться в городе. Он хотел переменить веру, жениться на Л. В. (Елисавете Воронцовой), а меня заключить в тюрьму. В день празднования мира, сказав мне публично оскорбительные вещи за столом, он приказал вечером арестовать меня. Мой дядя, принц Георг, заставил отменить этот приказ.

С этого дня я стала прислушиваться к предложениям, которые мне делались со времени смерти императрицы. План со-

стоял в том, чтобы схватить его в его комнате и заключить, как принцессу Анну и ее детей. Он уехал в Ораниенбаум. Мы были уверены в <преданности> большого числа капитанов гвардейских полков. Узел секрета находился в руках троих братьев Орловых; Остен помнит, что видел старшего, как он всюду за мною следовал и делал тысячу безумных вещей. Его страсть ко мне была всем известна, и все им делалось с этой целью. Это — люди необычайно решительные и очень любимые большинством солдат, так как они служили в гвардии. Я очень многим обязана этим людям; весь Петербург тому свидетель.

Умы гвардейцев были подготовлены, и под конец в тайну было посвящено от 30 до 40 офицеров и около 10,000 нижних чинов. Не нашлось ни одного предателя в течение трех недель, потому что было четыре отдельные партии, начальники которых созивались для приведения <плана> в исполнение, а главная тайна находилась в руках этих троих братьев; Панин хотел, чтоб это совершилось в пользу моего сына, но они ни за что не хотели согласиться на это.

Я была в Петергофе. Петр III жил и пил в Ораниенбауме. Условились, что в случае предательства не станут ждать его возвращения, но соберут гвардейцев и провозгласят меня <самодержавной императрицей>. Рвение по отношению ко мне вызвало то же, что произвела бы измена. Распространился 27-го <июля> слух в войсках, что я арестована. Солдаты приходят в волнение; один из наших офицеров успокаивает их. Один солдат приходит к капитану Пассеку, начальнику одной из партий, и говорит ему, что я, без сомнения, погибла. Он уверяет его, что у него есть известия обо мне. Этот солдат, все продолжая тревожиться за меня, идет к другому офицеру и говорит ему то же самое. Этот не был посвящен в тайну; испуганный тем, что услышал, что офицер отослал этого солдата, не арестовав его, он идет к майору, а этот последний послал арестовать Пассека. И вот весь полк в движении. В течение этой же ночи послали рапорт в Ораниенбаум. И вот тревога между нашими заговорщиками. Они решили прежде всего послать второго брата Орлова ко мне, чтобы привезти меня в город, а два другие идут всюду извещать, что я скоро приеду. Гетман, Волконский, Панин были посвящены в тайну.

Я спокойно спала в Петергофе, в 6 часов утра, 28-го. День прошел очень тревожно для меня, так как я знала все то, что подготовлялось. Алексей Орлов входит в мою комнату и говорит мне с большим спокойствием: «Пора вам вставать; все готово для того, чтобы вас провозгласить». Я спросила у него подробности; он сказал мне: «Пассек арестован». Я не медлила более, оделась как можно скорее, не делая туалета, и села в карету, которую он привез. Другой офицер под видом лакея находился при дверцах кареты; третий выехал навстречу ко мне в нескольких верстах от Петергофа. В пяти верстах от города я встретила старшего Орлова с князем Барятинским младшим; последний уступил мне свое место в одноколке, потому что мои лошади выбились из сил, и мы отправились в Измайловский полк, где вышли; там было всего двенадцать человек и один барабанщик, который стал бить тревогу. И вот сбегаются солдаты, обнимают меня, целуют мне ноги, руки, платье, называют меня своей спасительницей. Двое привели под руки священника с крестом; и вот они начинают приносить мне присягу. По окончании этого

меня просят сесть в карету; священник с крестом шел впереди; мы отправились в Семеновский полк; последний вышел к нам навстречу с криками виват. Мы поехали в Казанскую церковь, где я вышла. Приходит Преображенский полк, с криками виват... Приезжает Конная гвардия; она была в бешеном восторге, так что я никогда не видела ничего подобного, плакала, кричала об освобождении отечества. Эта сцена происходила между садом гетмана и Казанской <...>

Я отправилась в новый Зимний дворец, где Синод и Сенат были в сборе. Тут на скорую руку составили манифест и присягу. Оттуда я спустилась и обошла пешком войска. Было более 14.000 человек гвардии и полевых полков. Как только меня увидели, поднялись радостные крики, которые повторялись бесчисленной толпой.

Я отправилась в старый Зимний дворец, чтобы принять необходимые меры и завершить дело. Там мы держали совет, и было решено отправиться, со мною во главе, в Петергоф, где Петр III должен был обедать. <...>

Я послала адмирала Талызина в Кронштадт. Приехал канцлер Воронцов, посланный для того, чтобы унрекнуть меня за мой отъезд: его повели в церковь для принесения присяги. Приезжают князь Трубецкой и граф Шувалов, также из Петергофа, чтобы обеспечить верность войска и убить меня; их повели принести присягу безо всякого сопротивления с их стороны.

Разослав всех наших курьеров и приняв все меры предосторожности с нашей стороны, около 10 часов вечера я облеклась в

Н. И. Панин.



гвардейский мундир, приказав объявить себя полковником при неопикуемых криках радости. Я села верхом; мы оставили лишь немного человек от каждого полка для охраны моего сына, который остался в городе. Я выступила таким образом во главе войск, и мы всю ночь шли в Петергоф. Когда мы подошли к небольшому монастырю на этой дороге, является вице-канцлер Голицын с очень льстивым письмом от Петра III. <...> За первым письмом пришло второе, доставленное генералом Михаилом Измайловым, который бросился к моим ногам и сказал мне: «Считаете ли вы меня за честнаго человека». Я ему сказала, что да. — «Ну так», сказал он, «приятно быть заодно с умными людьми. Император предлагает отречься. Я вам доставлю его после его совершенно добровольнаго отречения. Я без труда избавлю мое отечество от гражданской войны». Я возложила на него это поручение; он отправился его исполнять. Петр III отрекся в Ораниенбауме безо всякаго принуждения, окруженный 1590 голштинцев, и прибыл с Елисаветой Воронцовой, Гудовичем и Измайловым в Петергоф, где, для охраны его особы, я дала ему шесть офицеров и несколько солдат. ... это было <уже> 29-ое число... в полдень ... после того я послала, под начальством Алексея Орлова, в сопровождении четырех офицеров и отряда смирных и избранных людей, низложеннаго императора за 25 верст от Петергофа, в местечко, называемое Ропша, очень уединенное и очень приятное, на то время, пока готовили хорошия и приличныя комнаты в Шляссельбурге и пока не успели разставить лошадей для него на подставу. Но Господь Бог рас-

П. И. Панин.



положил иначе. Страх вызвал у него понос, который продолжался три дня и прошел на четвертый; он чрезмерно напился в этот день, так как имел все, что хотел, кроме свободы. (Попро- сил он у меня, впрочем, только свою любовницу, собаку, негра и скрипку; но боясь <произвести> скандал и усилить брожение среди людей, которые его караулили, я ему послала только три последние вещи). Его схватил приступ геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу; он был два дня в этом состоянии, за которым последовала страшная слабость, и, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух, потребовав <перед тем> лютеранского священника. Я опасалась, не отравили ли его офицеры. Я велела его вскрыть; но вполне удостоверено, что не нашли ни малейшего следа <отравы>: он имел совершенно здоровый желудок, но умер он от воспаления в кишках и апоплексического удара. Его сердце было необычайно мало и совсем сморщено. После его отъезда из Петергофа мне советовали отправиться прямо в город. Я предвидела, что войска будут этим встревожены. Я велела распространить об этом слух; под тем предлогом, чтобы узнать, в котором часу приблизительно, после трех утомительных дней, они были бы в состоянии двинуться в путь. Они сказали: «Около 10 часов вечера, но пусть и она пойдет с нами». Итак, я отправилась с ними, и на полдороге я удалилась на дачу Куракина; где я бросилась, совсем одетая, в постель. Один офицер снял с меня сапоги. Я проспала два с половиной часа, и затем мы снова пустились в путь. От Екатериненгофа я опять села на лошадь, во главе Преображенского полка, впереди шел один гусарский полк, затем мой конвой, состоявший из Конной гвардии; за ним следовал, непосредственно передо мною, весь мой двор. За мною шли гвардейские полки по их старшинству, и три полевых полка.

Я въехала в город при безчисленных криках радости, и так ехала до Летнего дворца, где меня ждали двор, Синод, мой сын и все то, что является ко двору. Я пошла к обеду; затем отелужили молебев; потом пришли меня поздравлять. Я почти не пила, не ела, и не спала с 6 часов утра в пятницу до полудня в воскресенье; вечером я легла и заснула. В полночь... каштан Пассек... будит меня, говоря: «Наши люди страшно пьяны; один гусар... закричал им: к оружию! 30.000 пруссаков идут, хотят отнять у нас нашу матушку. Тут они взялись за оружие и идут сюда, чтоб узнать о состоянии вашего здоровья... Они не слушают ни своих начальников, ни даже Орловых». И вот я снова на ногах... Я села в свою карету с двумя офицерами и отправилась к ним; я сказала им, что я здорова, чтоб они шли спать и дали мне также покой, что я только что легла, не спавши три ночи, и что я желаю, чтоб они слушались впрямь своих офицеров. <...>

Когда бывший император узнал о мятеже в городе, молодые женщины, из которых он составил свою свиту, помешали ему последовать совету старого фельдмаршала Миниха, который советовал ему броситься в Кронштадт или удалиться с небольшим числом людей к армии, и когда он отправился на галере в Кронштадт, город был уже в наших руках, благодаря исполнительности адмирала Талызина, приказавшего обезоружить генерала Дивьера, который был уже там от имени императора, когда первый туда приехал. Один портовый офицер, по собственному побуждению, пригрозил этому несчастному государю, что

будет стрелять боевыми снарядами по галере. Наконец, Господь Бог привел все к концу, предопределенному им, и все это представляется скорее чудом, чем делом, предусмотренным и заранее подготовленным, ибо совпадение стольких счастливых случайностей не может произойти без воли Божией. <...>

ИЗВЕСТИЕ О НАГРАДАХ ЕКАТЕРИНЫ II УЧАСТНИКАМ ПЕРЕВОРОТА

Ея Императорское Величество хотя нимало не сомневалась об истинном верных своих подданных при всех бывших прежде обстоятельствах сокровенном к себе усердии; однакож к тем особливо, которые по ревности для поспешения благополучия народного, побудили самым делом Ея Величество сердце милосердное к скорейшему принятию престола российского, и к спасению таким образом нашего отечества от угрожавших оному бедствий, на сих днях оказать соизволила особливые знаки своего благоволения и милости, из которых иных пенсиями, других деревнями, а прочих денежною суммою наградить соизволила, а именно: разными и в разныя числа указами, малороссийскому

Гренадеры Преображенского полка. 1740-е гг.



гетману, фельдмаршалу графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому, пожаловать соизволила сверх его гетманских доходов и получаемого им жалования, по пяти тысяч рублей в год; действительному тайному советнику, сенатору и Его Императорского Высочества обергофмейстеру, Никите Ивановичу Панину, таким же образом, по пяти тысяч рублей; генерал-аншефу, сенатору и лейб-гвардии конного полка подполковнику, князю Михаилу Никитичу Волконскому по пяти же тысяч рублей; гвардии семеновского полка подполковнику и генералу-поручику Федору Ивановичу Вадковскому 800 душ; действительному камергеру Григорью Григорьевичу Орлову 800 душ; преображенского полка секунд-майору Алексею Григорьевичу Орлову 800 душ; лейб-гвардии преображенского полка капитану-поручику Петру Пассеку 24,000 рублей; поручику Григорию Протасову 800 душ; поручикам: князю Федору Барятинскому 24,000 рублей; Евграфу Черткову 800 душ; семеновского полка капитану Федору Орлову 800 душ; измайловского полка премьер-майору Николаю Рославлеву 600 и в дополнении 6000 рублей; капитанам: Михаилу Похвисневу 800 душ; Александру Рославлеву 800 душ; Михаилу Ласунскому 800 душ; князю Петру Голицыну 24,000 рублей; капитану-поручику Петру Вырубову 800 душ; конной гвардии секунд-ротмистру Федору Хитрову 800 душ; а следующим преображенского полка капитанам-поручикам Сергею Бредихину 18,000 рублей, Михаилу Баскакову 600 душ; поручикам: Захару Дубянскому 600 душ; Ивану Ступшину 600 душ; измайловского полка капитану-поручику Ивану Обухову 18,000 рублей; конной гвардии секунд-ротмистру Александру Ржевскому 18,000 рублей; графу Валентину Мусину-Пушкину 600 душ; поручику, князю Ивану Несвижскому 600 душ; унтер-егермейстеру, Михаилу Дубянскому 600 душ; да инженерного корпуса капитану поручику, Василью Бибикову 600 душ, и поручику армейскому Всеволоду Всеволодскому 600 душ; конной гвардии подпоручику, Григорью Потемкину 400 душ; измайловского полка прапорщикам Сергею и Илье Всеволодским, обоим 600 душ, да Федора и Григорья Волковых в дворяне и обоим 700 душ; Алексея Еврейнова в дворяне же и ему 300 душ. Сверх сих, Ея Императорское Величество еще пожаловать соизволила ея сиятельству княгине Екатерине Романовне Дашковой и ордена святыя Екатерины кавалеру 24,000 рублей; камер-юнгфере Ея Императорского Величества, Екатерине Шаргородской 10,000 рублей; действительному статскому советнику, господину Теплову 20,000 рублей; статскому советнику, Алексею Еропкину 800 душ; и гардеробмейстеру, Василью Шкурину, с женою, 1,000 душ. Вышепомянутыя пенсии годовыя пожалованы по смерти из собственной Ея Императорского Величества комнатной суммы, так-как из той же суммы и все прочия денежные награждения, а деревни со всеми землями и угодьями в вечное и потомственное наследное владение.



О СКУДОСТИ И БОГАТСТВЕ

«Страна рабов, страна господ...» С полным правом эти слова Лермонтова могут быть отнесены и к Российской империи XVIII столетия.

Проблема «напрасной скудости» и «гобзовитого богатства» всегда волновала передовых людей. Многие из них брали на себя смелость высказывать суждения, не совпадавшие с официальной, парадной велеречивостью. Большинство поплатилось жизнью за «мысли вслух».

Виднейшим писателем-публицистом начала XVIII века, откликнувшимся на актуальные проблемы своего времени, был И. Т. Посошков, Почетное место в истории русской общественно-политической и экономической мысли обеспечили ему сочинения, выражавшие прогрессивные для своей эпохи идеи.

Наиболее известное произведение Ивана Тихоновича Посошкова — «Книга о скудости и богатстве», созданная им на склоне лет и как бы подведшая итог литературной деятельности.

Основная идея труда — превращение России в экономически и политически независимую, сильную и богатую державу с развитой промышленностью и торговлей. Однако не эта «благородная» цель, но суждения о «помещечьем насилии», о выборности представителей всех сословий для составления нового законодательства привели к «взятю» Ивана Тихоновича «под караул» в августе 1725 г. и содержанию его в Петропавловской крепости «по важному секретному государственному делу».

А через несколько месяцев в Тайной канцелярии была составлена протокольная запись: «1726 году февраля в 1 день содержащейся от Тайной розыскных дел канцелярии под караулом колодник водошного дела мастер Иван Тиханов сын Посошков против помянутого числа пополудни в девятом часу умре».

В девяти главах «Книги» Посошков рассматривает положение

ние различных групп населения государства, высказывая собственные суждения относительно состояния каждой из них.

«Столпом всему благочестию» именуется автор духовенство, селя, однако, на то, что священники «не преуспели «в книжном учении и разумении». Он предлагает в связи с этим открыть училища для обучения духовенства; не обходит вниманием его внешний вид и поведение в быту.

Описывая крайне тяжелое положение русских воинов, при котором последние вынуждены либо голодать, либо грабить, автор считает разумным обеспечить солдат хорошей пищей, амуницией, обмундированием.

Рассуждая о состоянии и деятельности судебных учреждений, Посошков показывает произвол, царивший в суде, и невозможность подчас добиться в нем правды.

«А торг — дело великое!» — так эмоционально определяет Иван Тихонович значение торговли для государства; он призывает правительство обеспечить развитие купеческой инициативы, свободу торговли; при этом настаивает на сословной привилегии купечества заниматься торговыми операциями. Главное средство обогащения страны Посошков видит в развитии ремесла и торговли, улучшении положения ремесленников, создании мануфактур.

Неудовлетворительным выглядит, по Посошкову, состояние сельского хозяйства; положение крестьян он считает крайне тяжелым. В «Книге» звучит критика помещиков, не заботящихся о крестьянах, отягощающих их излишними работами. Автор, сам владелец крепостных, остается на позициях своего класса. Ни в коей мере не выступает он за ликвидацию крепостной неволи. Посошков имел в виду лишь некоторую регламентацию крестьянских повинностей, но не для облегчения положения зависимых людей, а ради выгоды самих помещиков.

Сходные идеи содержатся в другом документе данного раздела, а именно: в «Кратких экономических до деревни следующих записках» В. Н. Татищева. «Краткие... записки» содержат рекомендации по рациональному ведению хозяйства на крепостнической основе при жесткой регламентации жизни крестьян. В документе речь идет о соблюдении определенных агротехнических правил (время проведения различных сельскохозяйственных работ, правила возделывания почвы, хранения зерна, ухода за скотом, птицей и т. д.). Автор строго определяет повинности крестьян в пользу помещика. В целом можно сказать, что «Краткие... записки» дают яркое, достаточно полное представление о режиме феодальной эксплуатации в помещичьем хозяйстве.

Положение всех категорий зависимых крестьян было незавидным.

Обострение классовых противоречий проявлялось в борьбе крестьян за землю, за уменьшение оброка и сокращение барщины, за расширение связей с рынком, возможность заниматься промышленной деятельностью, в конечном счете — за выживание.

Постоянное, возрастающее ухудшение жизни толкало эксплуатируемых на протест: подача челобитных на обидчиков, непослушание, волнения и восстания, бегство.

Угрожающие масштабы бегства приводили в запустение многие села и деревни, порой даже целые волости. А бежали крестьяне из-за «скудости» от «тяжких поборов», «нападок», «тиранства» помещиков, рекрутчины и подушной подати. Уходили не только в соседние уезды и города, к новым владельцам, на заводы, но и в степь, в Сибирь, на Урал, Украину и Каспий, в другие районы.

С 1727 по 1742 год насчитывается более 327 тысяч беглецов мужского пола. Это составило 5 процентов всех ревизских душ. У князя А. М. Черкасского, одного из богатейших земле- и душевладельцев в 20—30-е годы, в бегах числилось 16 процентов принадлежавших ему крестьян. Верховный тайный совет отмечал, что если так пойдет дело и дальше, то не с кого будет брать подати и некого отдавать в рекруты.

Возрастает подача челобитных. Составление документов, передача их в Москву или Петербург производились «всем миром». При этом «учиняли присягу», целовали крест на том, чтобы «всем стоять заодно», не выдавать друг друга. В известной степени это сплачивало крестьян селения или волости, приучало их к совместным выступлениям.

Тем не менее это был «бунт на коленях», объяснявшийся верой в «добрых» правителей. И все равно, челобитчиков преследовали, как «пущих злодеев» и «заводчиков»; жалобы и просьбы расценивались как «предерзости».

В эти годы довольно часто возникают открытые восстания, особенно среди помещичьих и монастырских крестьян. В 30—50-е годы было 37 восстаний помещичьих крестьян в 32 уездах 7 губерний. Крестьяне отказывались подчиняться помещикам и приказчикам, убивали их, захватывали господское имущество, урожай, скот, делили между собой, оказывали сопротивление воинским командам. Восставшие проявляли упорство, смелость, стойкость. Борьба отличалась нередко длительностью и жесточенностью.

Число восстаний, их накал нарастают от десятилетия к десятилетию.

То же можно сказать о восстаниях монастырских крестьян. Их выступлений (57) в полтора раза больше, чем помещичьих крестьян: в 30-е годы — 8, в 40-е — 17, в 50-е — 32. Крестьяне

выступали против чрезмерного гнета со стороны церковных властей. Позднее они все чаще требуют перевода в государственные или дворцовые крестьяне. Нередки расправы с представителями монастырской администрации, отказы исполнять повинность. Выделяются вожаки из крестьян.

В середине 50-х годов в ряде случаев восстания принимают ожесточенный характер. Пример тому — события в Николо-Угрешском монастыре, располагавшемся в 15 километрах к юго-западу от современного центра Москвы. Обитель была основана в 1380 году Дмитрием Донским при возвращении его с Куликовской битвы. По преданию, на этом месте, по дороге на битву, великому князю явилась икона Николая Чудотворца — над сосной, в звездном сиянии. Увидев это, Дмитрий Иванович воскликнул якобы, что «сия вся Угреша сердце его». С тех пор место это, как гласит легенда, называется Угреша.

В XVIII веке владения монастыря находились в Коломенском, Боровском, Ростовском, Переяславль-Залесском, Костромском, Вологодском и Тотемском уездах. Всего монастырь владел 3787 душами мужского пола.

Более тысячи крестьян, принадлежавших монастырю, проживало в Московском уезде. Там у монастыря имелись вотчины, состоявшие из 3 сел и 13 деревень и приселков (в Островецком и Копотненском станах). Именно в этом районе вспыхнули волнения. Крестьяне избили иеродиакона и монаха, следившего за работой, осадил воинскую команду, заседавшую за монастырскими стенами, грозили убить всех монахов. Был прислан новый военный отряд, и каратели пустили в ход оружие против тысячной толпы восставших. Движение прекратилось. Но его участники «от великого страха едва не все из той вотчины, оставя дома, разбежались к другим ближним вотчинам и в Москву».

В фонде Николо-Угрешского монастыря, хранящемся в Центральном государственном архиве древних актов (Москва), находится «Дело по доношению Илариона, игумена Николо-Угрешского монастыря, о нападении на монастырь служителей и крестьян монастырских». Из документов «Дела» ниже публикуются два доношения игумена монастыря (в Синод и Московскую контору Синода) и прошение крестьян этого монастыря (в Синод). Документы позволяют довольно полно представить причины и ход волнений.

Так, Иларион описывает восстание крестьян в январе 1756 года (освобождение арестованных крестьян из монастырской тюрьмы, угрозы властям монастыря, избиеие иеродиакона Игнатия, осада крестьянами монастыря, сопротивление воинской команде). Из прошения можно узнать о системе жестокой эксплуатации, применявшейся по отношению к крестьянам и ставшей основной

причиной восстания (непосильные работы, взятки, незаконные поборы, налагавшиеся на крестьян). В челобитной высказывается просьба перевести Игумена из Николо-Угрешского монастыря в другое место, заменить поборы с крестьян единым оброком.

После длительных разбирательств эти просьбы были удовлетворены: Иларий переведен в Чудов монастырь (в Москве), введен единый оброк — 1 рубль с души мужского пола. Однако крестьяне по-прежнему оставались в подчинении монастыря. Новый игумен — Варлаам — жестоко преследовал крестьян, жаловавшихся на его предшественника.

Активная борьба монастырских крестьян привела к тому, что в феврале 1762 года правительство Петра III объявило указ о переводе их в разряд государственных с передачей им монастырских земель. Правда, после июньского дворцового переворота того же года этот указ был отменен. Но это, в свою очередь, вызвало такой подъем антифеодальной борьбы, что правительство Екатерины II через два года (1764 г.) провело секуляризацию (изъятие) монастырских владений, перевело крестьян в государственные и передало их в ведение специальной Коллегии экономии.

Ухудшалось положение дворцовых и государственных крестьян; им постоянно угрожала передача в частное владение. Большое число государственных крестьян приписывали для работ к казенным и частным заводам. На заводах и фабриках трудились и вольнонаемные работники, и крепостные, отпущенные помещиком на оброк.

Одной из крупнейших отраслей была в XVIII веке текстильная промышленность. Попытки заведения в Москве первых текстильных предприятий мануфактурного типа относились к XVII веку, но все предприятия оказались недолговечными.

Основы крупной текстильной промышленности были заложены при Петре I, что тесным образом связано с военными мероприятиями правительства на рубеже XVII—XVIII веков. Поэтому первые мануфактуры по производству главным образом разных видов парусных полотен («Хамовный двор»), а также сукна и других тканей для пошивки мундиров («Суконный двор») возникли в Москве (соответственно в 1699 и 1705 гг.) на средства казны. К концу первой четверти XVIII столетия на Хамовном дворе работало 1362 человека, на Суконном — тоже больше тысячи. Позднее все казенные текстильные мануфактуры были переданы частным предпринимателям, составлявшим для этого обычно компании из торговых людей. Так, Суконный двор перешел к компании из 14 человек во главе с Владимиром Щеголиным. В Москве были большие возможности для закупки сырья и сбыта продукции в казну и на рынок. В 1760-х годах в Москве

находилось 45 текстильных мануфактур и 12 — в Московском уезде.

Заметным новым явлением в истории классовой борьбы XVIII века являются волнения и восстания на заводах и фабриках. Работные люди и приписные крестьяне стремятся вырваться с предприятий и уйти в свои деревни. Уже вполне зримо, осязаемо выделяются профессиональные требования, связанные с положением на заводе или фабрике, — повышение платы, улучшение условий жизни и труда, прекращение насилий администрации (штрафы, наказания и пр.). Это свидетельствует о формировании своего рода предпролетариата с его специфическими требованиями и действиями.

Завершают данный раздел документы о волнениях на Московском Сукольном дворе.

Московский Сукольный двор был построен в Замоскворечье, недалеко от Всехсвятского Каменного моста (на месте которого — совр. Большой Каменный мост). Главной его продукцией были солдатское сукно и караез*. Сукольный двор размещался в четырех каменных двухэтажных корпусах, расположенных в виде огромного прямоугольника. Внутри его находился большой двор. Такая планировка позволяла отгородить мануфактуру и работавших в ней людей от внешнего мира. У ворот днем и ночью стоял караул. Первые этажи зданий были отведены под кладовые, чесальни, красильни, сушильни. На вторых этажах в страшной тесноте ютились рабочие.

В 1737 году началась забастовка. Отказались выйти на работу более тысячи работных людей. В результате с 22 марта по 17 мая, то есть почти два месяца, бездействовало более 200 станков. Своими представителями забастовщики выбрали Родиона Дементьева и Петра Егорова, которые подали челобитные на имя императрицы Анны Ивановны. Выборные умерли в петербургской тюрьме. Но восставшие «многочисленным», «с великим криком» вновь требовали отменить сниженные перед этим расценки за выполняемую работу. В конце концов Сенат согласился с тем, что просьбы работников были обоснованы. Однако причины недовольства ликвидированы не были.

Волнения продолжались и впоследствии, в частности, в 1749 и 1762 годах.

* Караез — грубошерстная редкая ткань для подкладки к мундирам.



И. Т. ПОСОШКОВ. ДОНОШЕНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ К «КНИГЕ О СКУДОСТИ И БОГАТСТВЕ»

О царственных правлениях вечерне мненья моего предъявления

Всепресветлейшему державнейшему императору и самодержцу всероссийскому Петру Великому, отцу отечества, государю все-милостивейшему.

ДОНОШЕНИЕ

Присмотрих бо отчасти яко во владущих судиях, тако и в подвластных, многое множество содевающихся неправды и всяких неисправностей.

И возжелах пред очи его императорскаго величества о достоверных и слышанных делах предложить изъявление.

И на тья неправды и неисправности елико ми бог даровал мнение свое ко исправности тех неправостей трикраты по трикраты предложих, а имянно:

Первое трекратие о духовности, о воинстве и о правосудии. Второе трекратие о купечестве, о художестве, и о разбойниках збеглецами. Третие трекратие о крестьянстве, о землевладении безгрешном и о интересе царскаго величества. И на тое тречислие написах трелетным своим трудом книжицу и назвах ю Книга скудости и богатства, понеже содержит в себе силу отчего случается напрасная скудость и от чего умножится может изобильное богатство, и притом положих некую часть о истреблении неправды и о исправлении неисправностей и о насаждении правды и всякаго исправления и о водружении междусобные любве и покойном и праведном житии.

И тако мнение мое утвердися во мне о силе помянутых дел аже, аще бог на ня призрит и великий наш монарх по настоящему своему желанию вступит в ня неуступно, то я без всякаго сомнения могу рещи, еже на кийждо год нынешних зборех на малой пример собрания казны в царская сокровища милиона по три будет приходить. А буде твердо устоят тая расположения, то лехко собиратися будет и по шесть милионов на год. А буде же вся изъявленная дела прямо и твердо вкоренятся без уятя... ний, то может милионов по девяти их и болши на год приходить.

И аще никогда изменения тем новоначатым делам и отмены не будет... году богатство яко царское, тако и всенародное умжа-

тиса будет... и вражды земляные весьма истребятца, и надеюсь на всеедраго бога, что, аще... волею или и неволею обаче разноголасныя чины и высокопарные офицеры будут яко кроткия овчата и будут иметь любовь и с niskочинцы.

А егда правда выкоренитца и любовь в мире утвердится, то бог при зрит на всех нас милостивым своим призрением и прославит нас паче всех иностранных и древле славных государств.

Прошение же мое токмо едино предлагаю, еже бы ненавистливым и завистливым паче же ябедникам и обидникам и любителям неправду быти имяни моему неявлену, понеже не слага им писах, аще бо уведят, то не попустят мне и малого времени на свете жити, и потому буду я сам себе убийца.

А паче всего отдаюсь в волю бога моего и в волю правдожелателя монарха своего и его всепресветлаго величества яко о делах предьявленных, тако и о мне нижайшем.

О сем доносит всенпжайший и далечайший раб Иван Пошшков.

ВСТУПЛЕНИЕ

СИ ЕСТЬ ИЗЪЯВЛЕНИЕ, ОТЧЕСОГО ПРИКЛЮЧАЕТСЯ НАПРАСНАЯ СКУДОСТЬ И ОТЧЕСО БО ГОБЗОВИТОЕ БОГАТСТВО УМНОЖАЕТСЯ

Аз, мизирный его императорскаго величества рабичищ, мненпе свое сипеовое предлагаю о собрании царских сокровищ, сице. Еже верным его величества рабом тако подобает пешися, еже бы елико о собрании казны старатися толико и о еже бы и собранное туне не погибало, и не токмо собраннаго, и несобраннаго прилежно смотрети, дабы даром ничто нигде не лежало и не погибало.

Подобне и о всенародном обогащении подобает пешися без уятня усердия, дабы и они даром и напрасно ничего не тратили, но жили бы от пьянственнаго питья воздержнее, а и во одеждах не весьма тщеславно, но посредственно, чтобы от излишняго украшения своего, наипаче же жен своих и детей, в скудость не приходили, но вси бы по мерности своей в приличном богатстве разширялись.

Понеже не то царственное богатство, еже в царской казне лежащия казны много, нежели то царственное богатство, еже сиклит царскаго величества в златотканых одеждах ходит, но то самое царственное богатство, еже бы весь народ по мерностям своим богат был самыми домовыми внутренними своими богатствами, а не внешними одеждами или позументным украшением, ибо украшением одежд не мы богатимся, но те государства богатятся, из коих те украшения привозят к нам, а нас во имении теми украшениями истосчевают. Паче вещественнаго богатства надлежит всем нам обще пешися о невестественном богатстве, то есть о истинной правде. Правда отец бог, и правда велми богатство и славу умножает и от смерти избавляет, а неправде отец диавол, и неправда не токмо вновь богатит, но и древнее богатство отончевает и в нищету приводит и смерть наводит.

Сам бо господь бог рек (Матфия, глава 6, стих 33): «Ищите прежде царства божия и правды его», и прирече, глаголя, «яко вся приложатся вам» (то есть богатство и слава). По такому словеси господню подобает нам паче всего пешися о снискании правды, а егда правда в нас утвердится и твердо выкоренится,

то не можно царству нашему российскому не обогатится и славою не возвысится.

То бо есть самое царству украшение и прославление и честное богатство, аще правда яко в великих лицах, тако и в мизирных она насадится и твердо вкоренится и вси яко богати, тако и убози, между собою любовно имут жить, то всяких чинов люди по своему бытию в богатстве доволни будут, понеже правда никого обидить не попускает, а любовь принудит друг друга в нуждах помогати. И тако вси обогатятся, а царския сокровища со излишеством наполнятся и аще и побор какой прибавочной случится, то, не морщася, платить будут.

И аще великий наш монарх Петр Алексеевич, по данной ему от бога благодати и по самодержавной своей власти, вся нижеписанная моего мнения предложения в бытие произвести повелит, то, я чаю, и без прибавочных поборов преизлише царская сокровища наполнятся. И тако на бога надежду имам, еже и настоящих прежних со крестьян поборов убудет.

По моему мнению сие дело невеликое и весьма нетрудное, еже царская сокровища наполнити богатством, за еже царь, яко бог, еже воззоцет, во облости своей может сотворить. Но то великое и многотрудное есть дело, еже бы народ весь обогатить, понеже без насаждения правды и без истребления обидников и воров и разбойников и всяких разных явных и потаенных грабителей никоими мерами народу всесовершенно обогатится невозможно.

Первое же предложим расположение о духовном правлении, потом о воинском и о протчих мирских делах и о здоровом и гобзоватом и постоянном собрании интереса его императорскаго величества.

1. Священство — столп и утверждение всему благочестию и всему человеческому спасению, ибо без него никаковыми мерами до царства небеснаго никакому человеку дойти невозможно. Они — наши пастыри, они и отцы, они и вожди, а в книжном учении и разумении не весьма доволни. И сего не вем, чего ради тако деется, токмо, мню, аще и страшно ми изреци, дабы архиерейская клятва на мя не пала, а иначе не вем, како ми вознестись, понеже аз признаваю, еже от оплошки архиерейския тако чинится, понеже полагаются на служебников своих в поставлении поповъstem. Тии бо примут от новоставлиника дары и затвердят ему во псалтыри псалма два-три и перед архиереем заставят то тверженое читати, и той ставленик ясно и внятно и поспешно пробежит, и архиереи, не ведая того ухищреннаго подлога, посвящают во презвитеры. И от такова порятка у иных грамота и плоха, а по моему мнению, аще бы кой ставленик и в школе учился, обаче надлежит ево испытати, каков он в разуме и во всяком разсуждении, да тогда уже ево посвящати бы. А буде которой и грамоте учился, а смыслу к разсуждению несть в нем, и таковых во презвитеры посвящати, мне ся мнит, отънюд не надлежит. Паче учения надлежит во презвитерех искать умнаго разсудительства, чтобы он мог пастырем быть словесных овец. Аще бы попы яко градские, тако и селские, были разумительны, то никоими дела расколникам в простом народе множится было невозможно и нимало возникнути было б им некак. И о сем речется в настоящей главе.

2. Военной люд — стена и твердое забрало царству, а коман-

дыры их и судии военного правления не имут попечения о них, чтобы они ни голодни, ни холодны были, но всем бы довольны. Зело бо от них слышно, что от недостатку великую нужду подымяют, ибо иным салдатам на месяц и по десяти алтын не приходит, то чем ему прожить, где ему взять шуба или рукавицы и иные потребности, такожде и харчу на что ему купить? И в таковой скудости живучи, как ему и не своровать и как ему и с службы не бежать? Нужда не токмо к бежанию принудит, но и изменить готов будет, а изменя, и ратником на своих будет.

О салдатех и о драгунех надлежит весьма великое попечение имети и пыльно того смотрети, дабы они пищею и одеждоу были не скудны, а егда будут всем довольни, то они и в службе будут исправнее. И сего ради, яко главных полков, тако и последних и новобраных полков, вси не были бы ни голодни, ни холодни.

А и сие едва право ли учинено по немецкому ли артикулу или наших командиров вымысл, еже солдату или драгуну мундир дадут, а последи за весь тот мундир из жалованья и вычтут, и того ради вычету иным солдатам и по десяти алтын на месяц не приходит. И мню я, что его императорскому величеству не весьма известно, и о всем пространнее речется в настоящей главе о воинстве.

3. Древний российских судей обычай был, еже в приказах иметь челобитчиков множество, и так бывало их много, что иногда никонми дела до судьи дойти худосильному не мочи. К тому ж, насаждают колодников множество, а решения им не чинят, да, перековав, распустят по улицам милостыни просить. И тем они Российское царство безчестят, что ни в коем государстве такого числа колодников не сыщется, колико у нас. И сие чинитца ни от чего иного, токмо от нерадения судейскаго. И о сем пространнее речется во главе судейства.

4. И купечество у нас в России чинитца весьма неправо: друг друга обманывает и друг друга обидит, товары худые закрашивают добрыми и вместо добрых продают худые и цену берут не прямую, и между собою союзаства ни малого не имеют, друг друга ядят, и тако вси погибают. А в зарубежных торгах коварства между собою не имеют и у иноземцов товары покупают без согласия своего товарищества.

А торг дело великое! Надобно судьям всем об них попечение иметь неоскудное, понеже купечеством всякое царство богатитца, а без купечества никакое и малое государство быть не может. И того ради под великим охранением блюсти их надлежит и от обид их оберегати, дабы они ни от кого обидимы не были и во убожество б не входили и его императорскому величеству приплод бы несли со усердием. И о сем пространнее речется в настоящей главе.

5. И в художественных мастерствах весьма деется у нас в Руси неисправно. Вначале, егда кой человек отъдастца в научение к мастеру и поставит срок, х которому ему выучитца, и аще мастер не скроется и научит его скоро, то он, не дожив срока, и станет прочь отбиватца, и, отшед, станет делать собою, и аще хуже мастерского станет делать, то он цены збавит, да и мастерство все погубит. А за таким порядком в Руси у нас и нет самого доброго мастерства. И о художествах пространнее речется в настоящей главе.

6. Разбойников у нас в Руси паче иных государств множество, ибо не токмо по десяти или по двадцати человек, но бывает по сту и по двести человек в артеле и больши (и аще их весьма не истребити, то царству нашему Российскому никоими делею обогатиться невозможно). А вся сия чинится от неправого суждения, ибо егда какова вора или разбойника приведут, то аще и попытают его, да посадя в тюрьму, да кормят его лет десять или больши. И в такое протяжное время многие и уходили, а ушод, пуще старого воровали. А иных разбойников судьи вместо смерти паки отпускали на старые их промыслы и, то надеясь, безобязанно воровали. И о истреблении их в настоящей главе речется.

7. Надлежит же и о крестьянстве вспомануть, чтобы и их от разорения и от обид поохранить и в лености б пребывать им не попускать, дабы от лености во всеконечную скудость не приходили. Аще бо кои крестьяня живут и в хлебных местех, обаче и те бы зимою даром не лежали, но трудились бы, овья в лесах, овья ж в домовых рукоделиях, иные ж в подводах бы ездили, а лежа и своего припасеннаго хлеба, не потрудясь, не ели бы и дней бы своих даром не теряли. А у коих крестьян лошадей добрых нет и в подводы нанятя не на чем, те шли бы в людския работы и работали бы из найму или и из хлеба, а даром бы не лежали. И о сем пространнее в настоящей главе речется.

8. Дворяня при животе своем и по смерти сродников своих земли делят на малые разные жеребьи, одну пустош разделяют частей на десять и больши. И в том лише съсора да беда да смертное убивство, и такое обыкновение весьма нездраво.

А и сие не токмо не право, но и весьма гнило, еже землям достоверного размерения и меж не зделано, и колико ее под рукою монарха нашего есть, а платежа с нея ни малого нет. Дворяня накупив пустошей, да в наймы отдают, и многия денги на кийждой год кортомы с нее берут, а великому государю ни по деньге на год не платят. И о сем о всем пространнее в настоящей главе речется.

9. Российское царство на просторном месте стоит и многонародно оно есть, а собрания казны в царския сокровища весьма неговозита собирается, ибо в военное время не достает того собрания на военные росходы. А просторства земли в нем толико, еже и исчислити неможно, а несть с нее ни малого особливаго собрания. И аще бы с нея учинен платеж по ней и самой малой, чтоб лише никто на ней даром не жил, то и одного и земляного платежа миллионное собрание бы было, и было бы оно недвижимо. Земля самый говозитый данник ему, великому нашему монарху было бы и никогда измены бы ему не было. И аще прямо вся собрания исправятся и собиратели будут прямо собирати, то тако мочно нашему великому государю довольну казною быть и без наметных поборов, еже на кийждой год милиона по два-три за всякими росходы в царских сокровищах и оставатся будет. И о сем в настоящей царского интереса <главе> речется.

Во изъявлении моем сем предложив девять глав, а вся сия девятица глав состязаются к насаждению правды, неправды же и всякого воровства ко истреблению. И аще на всю сию девятицу с высоты бог милостиво призрит, а с низоты императора нашего великаго изволение всеусердное произыдет, то не ток-

мо едина царская сокровища со излишеством наполнятся, но и весь народ обогатится и вражды многия прекратятся. И егда сия девятерица оснуется и твердо укоренится, то яко река теши имать повсегодно, неумолчно и неизменно.

КРАТКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДО ДЕРЕВНИ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАПИСКИ

Всякому должно знать примечание в году обыкновенной погоды. Весною, летом и осенью, когда сделается ветер от западу, то будут ненасные и дождливые дни продолжительные; когда сделается ветер с полудни *, то будет гром и дождь и продолжается не более двух часов; когда ветер сделается с востоку, то будет ясная и сухая погода; а когда ветер сделается с полуночи **, то будет великая стужа и граду ждать надлежит. Зимой же когда ветер от западу, будет снег и оттепель; а когда ветер с полуночи, ясная погода; когда ветер с востоку, ясные дни и умеренная стужа; когда ветер с полуночи, делает метель и стужу. <...>

1. О РАЗДЕЛЕНИИ ЗЕМЛИ

Во-первых помещикову землю надлежит верно измерить, которую разделить на четыре равные части: первая будет с рожью, вторая с яровым, третья под пар, четвертая для выгону скота; и опую землю переменять под выгон ежегодно другою по очереди, дабы в короткое время вся земля чрез то удобрена навозом была, от чего невероятная прибыль быть может и великой урожаи хлебу, скотина ж без всякой нужды без лугов продовольствоваться может одним полевым кормом, а та земля от пашной пазьбы напитается плодоносным соком к предбудущему году для посева. <...>

2. О ЗБЕРЕЖЕНИИ ЛУГОВ И СЕНА

Как придет весна, надлежит стараться, чтоб скот в луга не пускать; дабы первая трава в рощении своем помешательства не имела, чтоб два раза косить было можно. Смотреть при том и то надлежит, чтоб луга кочками, кусьями заростать не могли, и для того в осень разчищать надлежит; а свиней ни под каким видом пускать в луга не надлежит, разве когда оныя проволокою сквозь ноздри продеты будут, чрез что лугов портить не станут.

3. О ПАШНЕ

Под еровой хлеб пахать осенью, чтоб земля чрез зиму прозябла; а под рожь пахать надлежит ранее или где как климат позволит; пахать лучше на валах плугом, а не сохою, на лошади два

* Ветер с полудни — южный ветер.

** Ветер с полуночи — северный ветер.

или три раза, чтоб была гораздо мякка, чрез то будет плодоноснее; на горах пахать и делать полосы поперек гор, а вдоль гор не пахать, затем что сок навозной будет стекать.

4. О СЕНОКОСЕ

Сена старатья косить ранее, дабы сок и влажность из травы высохнуть не могла, при том поспешным образом, хотя б как туга довольны ни были, в три дни, а по крайней мере в 7 дней. За лучшее нахожу косить с вечера, и ежели ночь будет светла, то и всю ночь и утро, пока роса есть, для того что сено будет обильное; а другой день возить в сараи, чтоб были крытые. А как скоро другая трава вырастет, косить таким же образом, когда время позволит. Скирды и стоги класть на подкладках, а сверху крыть густо соломою, чтоб ничего сему траты не было.

5. О НАВОЗЕ

Навоз иметь надлежит таким образом: на скотных, конюшенных и овчарных дворах зделать ямы, в которые б навоз класть было можно; при том надлежит и то знать, когда навоз лежит в таком месте, где ветер и дождь к нему не приходит, оной уже испорчен; ежели ж навоз лежит в яме на сонце, той силы не имеет, понеже сок и влажность селитры высохнет, чрез то силу свою потеряет; и для того земля ни от чего так плодоносна не бывает, как от сочнаго и добраго навозу. Навоз начинать возить не ранее июля 1 числа поспешным образом; разделя крестьян, две части возить а третьей тотчас запахивать; а лучшая возка навозу, как ежели случатца ненастные дни, хотя и ранее, а в сонце весьма неспособно, как и выше значит. Свиной и овечьи навоз отнюдь не возить, понеже где он на землю придет, никакое зерно взойти не может, что о том многия разумныя эконсмы за подлинно утверждают, а для того свиней и овец иметь во особливых местах, а навоз их зарывать в землю; а коровей навоз возить на вспаханную землю, и после тотчас в другой распахивать, как выше значит, поспешным образом. Всякой лист весною надлежит из рощей возить на скотный двор, а из него будет навоз. А лошадиной класть на огороды подо всякой овоц, а не в поля; и для того лошадей должно иметь особо.

6. О ЖНИТВЕ

Хлеб жать, а лутче косить, имея косы з граблями, весьма поспешно с вечера и, ежели светло, и всю ночь, пока роса есть, чтоб не осыпался; а класть как снопам быть на землю и не вязать, а после полудни в 4-м часу, зачав с перваго жнитва, вязать в снопы и, не снашивая, давать еще лежать день, а на третьей день возить в крытые сараи или класть в скирды счетом снопов с верною запискою, ис котораго хлеба делать опыты, и как можно хлеб с поля скорей убирать надлежит. Рожь на ситную, а пшеницу на крупичетую муку осенью мыть в реке или пруде в решетках и сушить на сонце, от того мука будет и вкусом лутче.

7. О ПОСЕВЕ

Всякой хлеб надлежит сеять сыромолотными семенами, потому что овсяныя семена не столь плодоносны, а надлежит сушить семена одним сонцом, притом примечать, чтоб сеянной хлеб чисто вывезан был и подсеян; а особливо алняное и конопляное семя на овине не сушить, для того что оные семена очень маслены и тем их вредит. После посева всякого хлеба катками в землю прижимать на лошадях и поливать соленою или навозною водою. Узнавать время сева таким образом: сунуть голую руку в закроем в семена, и естли оне горечц, то время пришло их сеять; при том смотреть, чтоб сев был в тихую погоду, без ветру. Можно рожь смешать с еровым хлебом пополам и весною сеять; еровой сожнет, а рожь к предбудущему году останетца в земле готовою за одною работою.

8. О МОЛОТЪБЕ

Иметь гумна крытыя, чтоб всегда молотъбу производить было можно; рожь на муку сушить на овинах, также и на продажу, счетом на каждой овин на 300 снопов; или лошадьми круг столба молотить можно. Каждой сноп надлежит прежде на овине ударить 3 раза об стену, и те семена беречь для посева, ибо оныя зерна будут одне спелыя выходить ис колосу; а всего лучше для молотъбы иметь каменныя риги с печами и трубами, чтоб скорее сушить было можно.

9. О ПРОКОРМЛЕНИИ СКОТА И О ЗБЕРЕЖЕНИИ ШЕРСТИ

Чрез всю зиму и весну всякой скот и лошадей довольствовать сечкою, колосом, ухвостьем и ухоботьем*, обваривая оное горячею водою и пересыпать отрубями и мукою, и для того иметь железной большой котел, вмазаной в печи, а сена давать по малому числу. Для скота иметь разные теплые клевы каждому скоту и смотреть, чтоб клевы были чисты, а навоз каждой день вон в яму выбрасывать; притом отворять окошки, чтоб воздух проходить мог, а особливо весною во время ясной погоды. Каждой день поутру курить можжевельником; корм давать, сколько им съесть, помалу, только чаще; чего ради иметь хорошие колоды и привязывать каждую особливо, чтоб она другую повредить не могла; поить по три раза в сутки, в зимнее время греть воду, а студеною огнюдь не поить. Коров и овец выгонять зимою в хорошие дни в поля, чтоб они необходимо имели монцион, а паче овец по их теплой шерсти, чрез то они минуют воспы. Хотя многие люди рассуждают, чтоб овец меньше иметь, будто оне весьма неприбыльны, потому что оне содержатся на сене. Правда когда худой эконом не смотрит, как им корм задают, больше затопчут, нежели съедят, то, конечно, прибыли мало; а когда сделать вокруг сарая частые хорошие решетки, пол, по которому в сарае ходят, из частых решеток, то будет великая прибыль, потому что кал их будет мякче и чище, а для лутчева обшивать их в рогожи.

* Ухвостье и ухоботье — неполновесные зерна злаков и сорняки, отделяющиеся при веянии зерна.

Когда ж придет время стричь, то есть маяя 1-го и октября 1-го, то надлежит сперва овец всех в реке или пруде вымыть и пустить их на луг, чтоб шерсть обсохла; а после как можно велеть их скорее стричь, чтоб шерсть не замаралась, то будет шерсть самая лучшая, которая продается по 4 руб. пуд. При том и то надлежит знать: где ходят овцы и бараны, смотреть, чтоб репейника не было, понеже шерсть от того портится и в дурноту приходит. В корм замешенной класть хоть в неделю один раз соль необходимо надлежит. Весною ж рогатый скот чесать железными скребницами и при том мыть в реке, чрез что грязь и плоть и лишняя шерсть вытти может; сие для скота весьма здорово. Дойных коров и овец надлежит необходимо по три раза доить в сутки, исключая прибыток, оное весьма надобно, чтоб в них кровь загуститься не могла; и для того летом скотину пригонять на двор в 10-м часу и держать до 4 часу по полудни в хлевах, а почевать скотине в поле здоровее, тот год минует скот падежа. Из шерсти ж валить войлоки и делать сукна тонкие из мытой, разбирая порознь белую и черную. Птиц же старых летом кормить не надлежит, кроме молодых, и тех кормить кашею и сыпать рубленую крапиву, оное их лечит, а особливо индейских цыплят; а племянных старых зимою кормить, обваривая мякину, посыпать отрубями или гущею, а чистова хлеба не давать. А осенью в морозы мелкой скот гонять на озими весьма нужно. Зимою свиней кормить племянных лошадиным калом, осыпая немного отрубми; и коров по нужде тем довольствоваться можно. А телят не менее надлежит поить молодых молоком одним 6-ть недель, от того скотина будет крупна и здорова, а лутче поить до травы молоком одним всегда, не считая убытка.

10. О РАЗМНОЖЕНИИ СКОТА И ПТИЦ

Когда скотина в хорошем призрении, то оную легко размножить можно; надлежит оную пасти порознь коров и овец; для заводу иметь на каждые 15 коров 1-го быка и на десять овец 1 баран, которых быков в стада никогда не пускать; а когда корове придет время, то оную для припуску запрячь с быком; телят же как можно стараться, чтоб беречь до 5-ти лет от припуску. А на кобыл на каждые 6 иметь одного жеребца, которых тож в поле с кобылами не пускать; молодых же кобыл до 5-ти лет тож беречь от припуску. Птицы ж обыкновенно содержатся зимою в теплых хлевах или избах; и когда сядут на яйца, то надлежит их больше кормить, чтоб они горячее были и без ущерба детей высиживать могли; летом же могут быть на загороженном пруду, причем надлежит подрезывать крылья и пух щипать, чтоб мошка не могла им вредить, от чего они и умирают. Скота ж иметь столько, чтоб всю землю в одном поле унавозить было можно, а имянно, считая на каждое тегло крестьянина, в барском дому иметь лошадь одну, коров две, овец пять, кладеной бык один, свинья одна, гусей две пары, уток одна пара, индеек одна пара, кур русских три пары; на вышесказанное число каждое тегло крестьянское сработать хлеба и сена может, кроме продажного, без всякой тягости; все оное число разумеется иметь в барском дому племянных. На конюшенных дворах иметь козла, для того что от духу его лошади минуют хворобы; деготь и смола своим духом помогают и всякое курение.

11. О КОПАНИИ КАНАЛОВ ВМЕСТО ГОРОДЬБЫ И О РАЗМНОЖЕНИИ ПРУДОВ

Когда работы не будет, надлежит вместо городьбы рыть по шнугу прямые каналы, а по бугру садить ивы и всякой лес, которой бес корня роста может, а в третий год сучья можно будет рубить на потребу, которая прочнее, нежели едегодная городьба. Также и во всех полях, где есть низкия и болотные места, оные расчищать в пруды, хотя б и не в пристойных местах были, они могут служить для того, когда скотина в поле, ближе напоить можно, разводить рыб или удобно мочить пенку, чтоб прядно земли не было.

12. О САДАХ И ПЧЕЛАХ

Сады разводить прилежным образом, не жалея в том убытка, не токмо помещику, и каждому крестьянину, также и пчел, понеже в том великой прибыток без всякой работы временем бывает.

13. О ШКОЛАХ, РУКОДЕЛЬЕ И МАСТЕРСТВЕ

Крестьянских ребят от 5 до 10 лет учить грамоте и писать, как мужеск и женск под, чрез что оные придут в познание закона; а от 10 лет до 15-ти учить разным художествам: кузнечному, колесному, бочарному, овчарному, горшечному, коневальному, шерсть бить, войлоки валять, портному, сапожному и всему тому подобному, что крестьянину необходимо иметь надлежит, дабы ни один без рукоделья не был; а особливо зимою оныя могут без тяжкой работы получить свои интересы; и в том от них не принимать никакова оправдания и всевозможными силами к тому их принуждать и обучать надлежит.

14. О ПАДЕЖЕ, ХВОРОБЕ И ЛЕКАРСТВАХ

В случае падежа всякого отнюдь кож не снимать, а зарывать с кожею, возя в лес, весьма глубоко, дабы собаки вырыть не могли и не таскали б... ..пользу для всех болезней изъяснить надлежит: отлучить от здоровой, как скоро примечено будет, что которая скотина захворает, то оную взять в теплую избу, чтоб она могла гораздо выпотеть, не давая ей корму сутки двои, поить теплою водою, прежде вымыв рот и горло коновальной щеткой, зделав полосканье таким образом, как и лошадям:

1). Штоф вина и пива, полштофа уксусу, фунт посного масла, фунт соли, все оное вместе взварить, мыть рот и внутрь давать по стакану в сутки и по три стакана теплой сыворотки.

2). Взять сельдь и посыпать перцом и тем кормить насильно.

3). Кинуть степную кровь, как у лошади, или отрубить хвоста, чтоб крови вышло 5 фунтов; а после прижечь горячим железом, чтоб зажил хвост.

4). Сухова корму больной скотине отнюдь не давать; для того что зделаетца у оной внутри великой жар и запор.

5). От запору давать ремень или гамгут и сабур *, александрийской лист, настояв в теплой воде.

6). От кровавого поносу или сильной пургадии вотка с перцем.

7). Уксусу, меду сырова, каждого по 6 фунтов, селитры, купоросного масла по 3 золотника **, сыворотки, разогрев, давать чрез час по полуфунту.

15. О СЕЧКЕ

Надлежит иметь станок, в чем резать сечку, зачиная от колоса соломы, а к корню обыкновенно солома толще, она в корм неспособна, а употребляетца для постилки; всякую солому надлежит для пищи скота употреблять в сечку или гонять круг столба и мять лошадыми, будет наподобие сечки.

16. О КОРМЕ СКОТА И ПТИЦ НА УБОЙ

Каждой скотине или птице надлежит иметь особое место столь велико, как ей лечь можно, дабы она муциону не имела, и поить в тех местах, где она стоит; кормить пареною рожью, осыпая немного гороховой муки, и несколько посыпать солью, считая на каждую скотину ржи по одному четверику, а муки гороховой вполы откормить весьма довольно; поить же как можно чаще. А как скотина на корм придет, должно кровь скинуть, чтоб она была жирнее и мясо слаще.

17. О ДАЧЕ КРЕСТЬЯНАМ НА ПЛЕМЯ

Крестьянам на племя давать корову, овцу, свинью, гусей пару, уток пару, индеек пару ж; и чрез год с каждого тягла собирать масла 20 фунт., барава кладеного, борова, в котором весу чтоб было 2 пуда, птиц каждого рода по 5-ти, цыплят по 10, яиц куриных по 50 в год или деньгами за все оное по 1 руб. с тягла.

18. О КЛАЖЕ БЫКОВ И БАРАНОВ

Как можно стараться иметь кладеных быков для работы, а со временем оныя и на убой способны быть могут; также и бараны когда положены будут осенью, то к весне на убой жирны будут; тож боровов и петухов, гусей и селезней иметь можно кладеных.

19. О ТКАЧАХ

Надлежит ткачам всех крестьянских баб учить ткать широкие тонкие холсты, пестрядь *** и шерстяные кушаки и сукна тон-

* Сабур — алоэ.

** Золотник — 4,266 грамма.

*** Пестрядь — грубая пеньковая пестрая или полосатая ткань.

кия, для скорости иметь самопрятки; чулки вязать нитяные и шерстяные; холсты и пряжу белить сонцом, поливая водою, без лишней работы и катать на катке; а золой отнюдь не белить и в печь на становить, прочные будет к носке в рубахе крестьянам холстина, нежели пареная с золою в печи; а бывает и в навозе держат.

20. О СТРОЕНИИ

Всякое строение надлежит строить, конюшни и овчарные дворы, хорошою отделкою, чтоб были окна з затворами и двери, кровли ж стараться крыть корою и тонкими кольями, а крестьянские дворы один от другого разстоянием в 30 сажнях, соломою ж никакого строения крыть не надлежит для пожарного случая; печи иметь всегда с трубами; летом для варения и печения хлебов иметь печи особливия и ни под каким видом в дворах не топить, для того избы, от жару изопрев, скоро пропадают; льну в избах не сушить, с лучиною по дворам с огнем не ходить, а иметь необходимо фонари и сальные свечи. А всего лутче, где можно, стараться иметь строение все каменное и для того делать кирпичные заводы. И иметь на господских хоромах колокол для сигналу ходить на работу и в случае разбоя зделать крестьяном чрез звон збор, к чему их пробам и приучить надлежит, и всем иметь рогатины; также часы, хотя солнечные. Для винных людей иметь тюрьму; две бани больших, мускую и женскую, которые топить каждую субботу после обеда по очереди, а вверху иметь коптельную. Крестьянам построить дворы каменные или деревянные, а с них собирать за каждой двор по 1 руб. в год; также и житные дворы строить помещиковы ж, а крестьянские избы ис пильных досок 5-ти и 6-ти дюймов*, прибывней как из бревен и лутче немшенные; и для старых и увечных 2 богадельни. Иметь садки, в чем живую рыбу держать. Каждую осень во всех дворах у печей трубы чистить. Иметь ветреные мельницы; риги с печами и трубами делать. На скотных дворах иметь колодези весьма надобно во время падежа и пожара, к збережению навоза скотского от дальняго прогона для водопою.

21. О ЗБЕРЕЖЕНИИ МАГАЗЕЙНОВ** И ЦЕЙГАУЗОВ

Всякой помещик должен в деревни запасной магазейн иметь, в котором быть надлежит: блоки, ворота для подъемов, ведра, ушаты, воронки, фонари, шайки для доения коров, сохи, серпы, топоры и все пожарные инструменты, бороны, лопаты, буравы, долоты, ножи, ситы, решеты, кадки, бочки, чаши, горшки, кувшины, корыты, заступы, кирки, ломы, телеги, дровни, разные гвозди, скобели, ухваты, вилы железные, грабли, фуры, лапти, сковороды, рогожи, ценовки, мешки, весы, меры, разные котлы, рукавицы коженые, разные ножницы, иглы, большие чаны, лесницы, земляные тележки, веревки. Оные вещи надлежит иметь для того, когда в рабочую пору потребует крестьянин, чтоб не ездил

* Д ю й м — 25,4 миллиметра.

** Магазейн — склад товаров или продовольствия (на случай неурожая).

для покупки и не пропускать время в работе ему, сделать скорее помочь. Хлеба в запасе иметь на 5-ть лет, а фуража на 2 года в случае недорода; иметь всякова разнаго сухова лесу, драпи, лубков, досок для случившейся надобности, разные краски, сало, масло, смолу, деготь, кожи, соль, сельдь, железо, клей, серу, порох, шорки, хомуты, колеса, стекла, разные замки, терпуги, разные пилы. Каждой год брать дикой камень на продажу, ежели город будет не далее 50 верст, где уповательно покупать будут на мосты; а из городу зимою можно возить без платы в деревню навоз. нежели порожнему ехать.

22. О ПОСПЕШНОСТИ В РАБОТЕ

Всего наивяшше смотреть надлежит, дабы летом во время работы не малой лени и дальняго покою крестьянам происходить не могло. Кроме одних тех праздников, которые точно положены и освобождены от работы, не торжествовать; понеже ленивые крестьяня ни о чем больше не пекутца, как только узнать больше праздников. И для того работу производить, начав с вечера, ночью и поутру, а в самое жаркое время отнюдь не работать, ибо как людям, так и лошадям оное весьма вредно. <...> И необходимо во время работы с крестьянами старосте и прикащику с великою строгостью и прилежностью обращаться надлежит, пока хлеб весь с поля убран будет, как помещиков, так и крестьянской. Работу ж производить, сделав сперва помещичью, а потом принуждать крестьян свою, а не давать им то на волю; как то есть в худых экономиях, то не смотря за крестьянскою работою, когда они обращаются в собственной своей работе, понеже от лени в великую нищету приходят, а после произносят на судьбу жалобу. Когда ж убран будет с поля весь хлеб, то староста и прикащик не имеет их больше к работе принуждать и должны им дать покой несколько времени; а за труды их, выбрав свободный день и собрав, всех напоить и накормить из боярского кошту*. А в зиму ревизует художников**, что кто сделал для своей продажи и не были ль праздно; понеже от праздности крестьяня не токмо в болезнь приходят, но и вовсе умирают, спят довольно, едят много, а не имеют муциону; доброму старосте и прикащику всего того смотреть надлежит, ибо за хорошее смотрение должны получить хорошую зарплату, а за нерадение штраф или наказание. Он должен смотреть, чтоб каждой крестьянин, муж с женою, имел у себя лошадей работных 2-х, быков кладеных дву, боровов 5, овец 10, свиней 2, гусей старых две пары, кур старых 10; а кто пожелает иметь больше, дозволяетца, а меньше вышеписанного положения отнюдь не иметь.

Крестьянин не должен продавать посторонним хлеб, скот и птицу лишних, кроме своей деревни, а когда купца нет, то должен купить помещик повольною ценою***; а когда помещик купить не захочет, тогда вольно продать постороннему. А кто без ведома продает или к работе ленив будет, тех сажать в тюрьму и не давать хлеба двой или трой сутки. А особливо вражды, спор и драк между собою отнюдь не иметь под жестоким наказани-

* Из боярского кошту — за счет помещика.

** Ревизует художников — то есть крестьян, занимающихся домашним промыслом, ремеслом.

*** Повольная цена — цена по договоренности.

ем; а жить всем согласно и единодушно без всякой зависти во всяком дружелюбии, одному другому во всем вспомоществовать и друг другу быть покорным по закону божию. А кто в том виновен явитца или каким себя злодеем окажет, то штрафовать денежным штрафом и сверх того чинить наказание, не давать пить и есть время, смотря по вине, до трех дней. Прикащик же ни под каким видом не должен иметь присевок или пашню, кроме своего дохода, положеннаго от помещика, а может держать скот на барском корму, сколько ему позволено будет; а лутче содержать прикащика деньгами. Крестьян в чужую деревню в батраки и пастухи не пускать и в свою не принимать; влов и девок на вывод не давать под жестоким наказанием; пошеже от того крестьяня в нищету приходят, все свои пожитки выдают в приданые, и тем богатятца чужие деревни. В своей деревне между собою кумовства не иметь, затем чтоб было можно женитьца. Крестьян старых и хворых мужеска и женска полу по миру не пущать, а определять их в домовую богадельню, которых поить и кормить боярским коштом. Прикащик должен иметь годовой ежедневной журнал, что когда делано и зачем когда работы не было. На барском дворе иметь каждую ночь караульчиков по 3 человека с рогатинами. Естли же паче чаяния в случае недорода хлеба или в дороговизне должен всякой прикащик у крестьян весь хлеб собственной их заребовать и продавать им запретить; дабы они в самую крайнюю нужду могли тем себя пропитать, чрез что можно их удержать в случае самой крайней нужды от разброду. Впрочем, и то доброму прикащику и старосте наблюдать должно и ежегодно готовить надлежит к довольствию и прибыли своего помещика, а имянно: яблоки, груши, дули, сливы, вишни, смородину, малину, бамбарис, крыжовник, клубнику, чернику, клюкву, бруснику, землянику, орехов, рябину, черемухи, сельцерей, петрушки, пустарнаку, бобов, картофелю, репы, моркови, хрену, зеленого гороху, ретьки, тыквы, арбузов, дыней, капусты, огурцов, свеклы, луку, чесноку, разных салат, артишоков и всяких трав: мяты, шалфеи, полыни, безелики, мариам, спаржи, грибов, груздей и рыжиков, сосновыя шишки, можжевеловыя ягоды и всякия тому подобныя, которое, смотря по времени, в погребах свежее хранить, а прочее сушить, солить и разными способами; а ягоды и всякие фрукты водкою наливать, дабы ништо, произращенное от бога, данное нам в пищу, втуне по нашей лености пропасть не могло. Не менее ж и то знать надлежит, каким образом из всякого хлеба по крайней мере семь ведр добраго вина вытти могло; в том предосторожности значут те: всякаго хлеба зерна должны быть сыромолотные обрацаемы в солод, которой смолоть мелко, положить в чан, налить горячею водою, спустить сусло в другой чан, и промыть тот солод горячею водою раза три, и собрать все то в один чан, куда положить дрожжей: на каждую четверть солоду по ведру; закрыть плотно, штоб дух не выходил, квасить десять дней; при том смотреть, чтоб работные люди сусла не пили и траты не было. Почасту надлежит трубы и кубы чистить, штоб вино было чисто и без всякого запаха; а дрожжи разводить суслом, сколько возьмешь из бочки дрожжей, толикое число положить должно в дрожжи сусла, будет безпереводно; одним словом сказать: из всякой кислоты заквашенное дрожжами вино быть может, если взять какие-нибудь ягоды, и налить водою, и положить дрожжей, и как крепко закиснет, оной морс двоить чрез

куб, будет вино. А барду и всякую гущу употреблять должно рогатому скоту и птицам.

Скотнице надлежит весьма прилежной быть и смотреть, чтоб всякой скот и птицы в призрении были; коров привязывать каждую в стойло и обмывая титьки теплою водою, а зимою мазать титьки теплым деревянным маслом*, чтоб не мерзли и не трескались; от того коровы худы бывают и мало молока дают; доить же надлежит в деревянные большие шайки или ведра; чтоб корова всегда на чистом месте стояла, а навоз из-под нее вон вычищать; в сутки ж всегда доить по три раза; масла збирать по пуду нетопленного, а топленного по 30 фунтов. Ей надлежит уметь хорошие сыры делать таким образом: взяв желудок молодого теленка, вычистя, осолить его круто, налить кислую сывороткою, чтоб закис и сошел неделю; а потом как скоро подоить корову, то взять тот желудок и помешав то молоко, которое вдруг сядет, а потом положить в тряпицу то молоко и, завязав, отжать туго и наложить в формы и под гнет тяжелой, чтоб сыворотка вышла; и как сух будет, то взять и положить в соленую сыворотку на семь дней, а потом вынуть из сыворотки, высушить на ветру, чтоб сонца не было; оные сыры делают весною, в мае; а сыворотку, которая выдет, разливать в чаши и поставить на сонце, то много из оной вытянет сметаню масла, которое лошкою собрать, а оставшею из того сыворотку можно класть, когда растворяют хлебы, оные будут белее и вкуснее, и так ничего пропадать напрасно не может. А ежели кто пожелает, чтобы сыры были жолты и другаго вкусу, наподобие пармазана, то надобно в парное молоко положить шафрану, чтоб гораздо пожелтело, а после заквашивать и делать таким же образом, как выше показано... Когда хочешь хлебы печь или другое что из теста, а желание имеешь, чтоб в пору было вынуто из печи, то возьми от того теста и зделай круглой шарик и положи в воду в хрустальной стакан, как скоро посадишь в печь и как тесто поспевать будет в печи, то оной шарик подыматьца станет, и как совсем подыметца вверх, то и в печи оное тесто поспело.

ПРАВОУЧЕНИЕ ЖИЗНИ ДОБРАГО КРЕСТЬЯНИНА И РУКОДЕЛЬНИКА

Каждой день необходимо всякой доброй крестьянин должен поутру встать зимою и летом в 4-м часу по полуночи, обуьца, одетьца, умытьца, голову вычесать, отдать богу долг, принести молитву, потом осмотреть свою скотину и птиц, накормить, клевы вычистить, коров выдоить, после того делать разную по времени надлежащую работу до 10-го часу; а потом обедать, а в 12-м часу поить всякой скот и птиц и доить коров; а зделав то, взять роздых, летом до 4 часу пополудни, потом надлежит умытьца и ужинать; а в 5-ть начать производить с поспешением надлежащую работу до 10 часу пополудни; после того должно убрать с поля скотину и птиц, коров выдоить, а в ночь летом корму не давать; зделав оное, отблагодаря бога, спокойно может спать. Зимою же работу производить таким же образом с разделением тем: обедать в 12-м часу, ужинать в 9 часу пополудни, по холодному времени, кроме 12 часу, весь день производить работу; в

* Деревянное масло — оливковое масло, употреблявшееся для лампад.

субботу пополудни итти в баню, где обрезать ногти у рук и у ног. А в воскресенье, торжественные праздники, кроме пустых крестьянских, должны быть в церкви, слушать божественную литургию в белых рубашках и во всяком опрятстве. Доброй хозяин должен старатца иметь чистые хорошие постели из перья, дабы от скота иметь различие в своем покое; в дому истреблять всякую гадину, которая родится единственно от нечистоты, также и от духу всякой той пищи, которую мы употребляем, и для того по обеде и ужине надлежит тотчас хлеб и прочие съестные припасы выносить вон в нежилое место, избу тотчас вымести. Всякая крестьянка должна уметь хлеба печь добрые, делать квасы хорошие, стряпать разное кушанье; в саду хозяйка должна иметь фрукты и овощи всякие: яблоки, груши, вишни, сливы, малину, смородину, ребину, черемху, капусту, огурцы, лук, чеснок, хрен, редьку, брюкву, репу, морковь, горох, бобы, пустарнак, петрушку, грибы, всякие ягоды, картофель; и тем может чрез всю зиму хорошо себя довольствовать и различить себя от скотской пищи. В летнее время делать сыры молошныи, пахтанное масло, ибо способно употреблять во время работы летом по неимению случая варить пищу от поспешности в работе. Каждой человек, которой ежечасно упражняется в работе, тот всегда здоров и бодр; а которой спит довольно, ест много, тот ежечасно себя подвергает болезни. При том то ведать надлежит: летом меньше есть, а чаще пить, а зимою больше есть, а меньше пить, то никакой болезни знать не будет; чрез силу не пей и не ешь и спать не ложись, когда не хочешь. Каждой крестьянин должен иметь у себя 2 лошадей, 2 вола, 5 коров, 10 овец, 2 свиньи, гусей старых две пары, кур старых 10; а кто будет иметь больше, то заслужит больше себе похвалы и тем докажет доброе свое хозяйство и домоводство. Должен иметь посуду ценинную, блюда, торелки, ножи, вилки, оловянные ложки, солонки, стаканы, скатерти, полотенцы, шкафы или поставцы, малинкое зеркало, деревянные стулья, жестяные шандалы, свечи салныя, железныя половники и ковши; а кто всего вышеписанного в доме своем иметь не будет, таковых отдавать другому в батраки без заплаты, которой будет за него платить всякую подать и землею его владеть, а его ленивца будет иметь работником, пока он заслужит хорошую похвалу. И для того всякой крестьянин детей своих должен в великом страхе содержать, ни до какой праздности не допускать, и всегда принуждать к работе, дабы он в том взял привычку и, смотря отца своего неусыпные труды, себя к тому приучать мог. Праздность человека приводит в воровство и разбой, от чего после навеки должен будет пропасть душою и телом. А дабы каждой праздно в младости не был, то должен он отдать его какомунибудь художеству или рукоделью учителя, от чего всегда интерес свой получить может; а наивящей пункт — учить грамоте и писать, чрез что познает закон и страх божий, хотя тем может назваться истинным человеком и различить себя от скота...

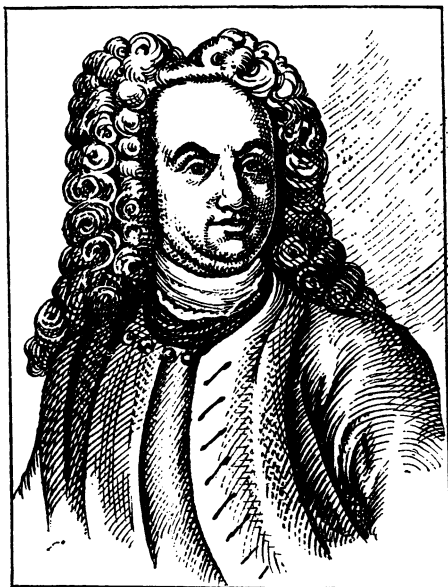
Примечание. В деревне в доме самага лениваго крестьянина бывають, у которых причины нижеследующия:

- 1). С двора навоз течет.
- 2). Мало дров заготовлено.
- 3). Изба холодна и неконопачена.
- 4). Зимою лаптей и веревок не наготовлено.
- 5). Изба и сарай от дождя каплет.
- 6). Колод, яслей и решеток нет для корма скота.
- 7). Стол не мыт, а изба не чиста.
- 8). Таракавы и сверчки в избе.
- 9). Ножи, барона и сошники тупы.
- 10). Туа коса, серп и топор.
- 11). Мало рубах и один каф-

тан. 12). Лошадям, скот и птицам не вод. 13). На дворе своево колодезя нет. 14). В погребе льду и бани нет. 15). Летом телег, а зимой саней нет. 16). Лошадь с садном, седла нет. 17). На поле хлеб хуже всех. 18). Навоз долго не запахан. 19). Хлеб убирают позднее всех. 20). Летом избу топят. 21). Худыя и сырыя хлебы печет. 22). Ранее всех ест. 23). А долее всех спит. 24). Квасу в доме нет. 25). Здоровой по миру ходит и милостыни просит. <...>

Конец желаниям нашим ненасытным в свете главной пункт — деньги: не тот богат, кто их имеет много и еще желает, и не тот убог, кто их имеет мало, мало же скорбит о том и не желает, а богат, славен и честен тот, кто может по препорции своего состояния без долгу век жить и честь свою тем хранить и быть судьбою довольным, роскоши презирать, скупость в доме не пускать. Советую всякому жителю сего света оставлять от годового своего дохода по крайней мере пятую часть денег для нечаянных приключений: например, в случае недорода хлеба в прокормлении крестьян, в падеже скота и пожара; притом сделать раззоренному вспомошествование, увечному подавание, больному на исцеление, попу и доктору за труды и на погребение бедного своего трупа, дабы оставшим тягости не навести преселением своим в вечное жилище и не оставить от обидимых слез о себе... Сохраняя все то, укрепит бог чад его. Препорция содержания дому от 1000 руб. доходу в год, сколько иметь дворовых людей и

В. Н. Татищев. Автолитография Н. Брезе.



каких чинов в доме: первой человек камердинер 1, помощник повар 1, ученик его 1, кучер 1, фареитор 1, лакеев два, истопник и работник 1; женщин иметь: вверху 1, белая прачка 1, работная 1; карета 1, лошадей 4. Итого в доме мужчин 9, женщин 3.

ДОЛЖНОСТЬ ВЫШЕПИСАННЫХ ЛЮДЕЙ

1. Камердинер должен быть во-первых человек трезвой и доброй, благоразумной и вежливой, опрятной, на все домовья должности знающий, дабы каждого в неисправности мог поправить; без позволения его из дому никто никуда отлучаться не может; имеет у себя годовья приходные и расходные книги, наблюдает во всем экономию... одним словом сказать, весь дом от доброго его смотрения зависит и честь господину его приносит. Он не должен делать никаких подлых поступков... ни отчего так человек в презрение не приходит, как от пьянства и худых поступков. Должен поутру каждый день видеть господина своего, наблюдает во всем дому всякую чистоту, иметь регистр и число блюд обыкновенного стола, а для нечаянно приезжих гостей должен прибавить без доклада на каждые две персоны по одному блюду, смотря персону, для кого што приготовить. Он смотрит за всеми людьми, учит и поправляет и воздерживает от всякаго подлага поступка... Камердинер поутру всегда должен рано встать, вычистить господское платье и обувь, чай приготовить и дожидаться у дверей, как проснетца его господин, должен уметь брить, кровь пускать, волосы стричь, убирать. Он для себя имеет особую комору в господских покоях. Имеет у себя на руках все платье и столовой убор и белье, питейной погреб, фарфоровую, хрустальную посуду, столы, стулья, шендалы, свечи, бутылки, рюмки и чарки, ножи, вилки и ложки; и весь столовой сервиз в чистоте иметь должен; ежедневно он с дневальным лакеем покрывает стол и собирает, а после обеда варит кофь и разносит; во время стола стоит за стулом у господина своего; безотлучно бывает в господских покоях, всякое белье, кроме постели и женскаго платья, принимает и отдает он прачке; должен иметь для поклаж разные хорошие шкафы и всегда безотлучно бывает в покоях со своим помещиком.

2. Повар должен быть человек искусной и чистоплотной, дабы из его рук без размышления всякую пищу употреблять было можно. Он должен быть хороший эконоом; из малого делает хорошее и тем доказать свое искусство и разум; иметь у себя одного хорошаго ученика, должен посуду во всякой чистоте; он может весь погреб и годовья припасы иметь на своих руках во всякой чистоте; хлебы печь белья и людския, також и квасы делать, полпива, меда варить, мясо и рыбу солить ево должность, тож коптить и провешивать.

3. Кучер и фареитор должны каждой день лошадей и кареты чистить, конской весь прибор содержать в порядке, лошадей кормить чаще, только помалу, поить по три раза в сутки, конюшню и сарай ежедневно мести; лошадей чистить должно, выводя из конюшни вон, дабы волос их в сено не попал.

4. Необходимо должны в доме все люди взяты быть ис поваров; и каждой день быть убраны и напудрены, в башмаках, в обеде и ужине должны все быть у стола; лакеи ж между собою

имеют очередь дневальным быть по суткам, которой должен все покой вымести, сор и путины на печах и панелях обмести щоткою пыль, окончаны протереть, и без того другой не должен его сменить, пока он все то исправит; и как смеятца, должны сказать камердинеру, нет ли чего поврежденного или разбитого... у каждого должна быть постеля и одеяло, пара платья и епанча, и зимою могут под камзолом носить фуфайки байковья для тепла, три рубашки. Все должны уметь грамоте, партес петь и на музыке играть... наказывать за вину несчадно, одна милость без наказания быть не может по закону божию.

5. Истопник зимою должен печи топить и смотреть, чтобы трубы были чисты, дрова пилить, воду носить; а летом двор метет и всякую работу работает, у рагатов караул содержит.

6. Вверху женщина должна содержать спальню во всякой чистоте, постелю и комоды; понеже в спальне никто, кроме ее, ходить не должен; она с постели и женские рубахи отдает для мытья прачке и принимает обратно щотом; она должна уметь шить белье, варить конфекты, убирать женские волосы.

7. Белая прачка должна уметь чисто мыть, крахмалить, белить, всякое платье штопарить и починивать, летом на солнце белить, а зимою мыть в сыворотке, на катке катать, всякое белье шить и гладить.

8. Работная должна на людей всех и на верховую женщину рубашки шить и мыть, в покоях полы мыть же, когда господ дома нет, и не менее в неделю один раз; птиц в садках поить, кормить; всю оную работу делать безо всякой лености.

9. Никакой пьяница и вор во дворе терпим не может, и как можно старатца его ис числа дворовых людей исключить, хотя б как он надобен ни был, ибо от того великое поношение и раззорение господин терпеть его должен. Как уже известно, что от пьянства всякая беда произойти может, пожар, воровство, убийство, одним словом сказать, всему злу корень.

Сочинения господина губернатора в Астрахане Василья Никитича Татищева 1742 года.

МАТЕРИАЛЫ О ВОЛНЕНИЯХ В НИКОЛО-УГРЕШСКОМ МОНАСТЫРЕ

ПРОШЕНИЕ В СИНОД МОНАСТЫРСКИХ КРЕСТЬЯН СЕЛА КОПОТНИ С ДЕРЕВНЯМИ И СЕЛЬЦА МИХАЙЛОВА О ПРИТЕСНЕНИЯХ, ПРИЧИНЯЕМЫХ ИМ ИГУМЕНОМ НИКОЛО-УГРЕШСКОГО МОНАСТЫРЯ ИЛАРИОНОМ

Всепресветлейшая, державнейшая великая государыня императрица Елизавет Петровна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!

Бьют челом Московского уезду вотчины Николаевского Угрешского монастыря подмонастырного села Копотни с деревнями староста Иван Савинов да селца Мисайлова староста ж Стефан Никитон, да тех же вотчин, оных же села и селца присутственных к ним деревень крестьяна, всего тысяча двести пятьдесят душ оного монастыря, на игумена Илариона, а в чем наще прошение, тому следуют пункты:

1. Означенной Николаевского Угрешского монастыря игумен Иларион чинил нам, имянованным, несносные налоги и обиды и

великое во всем утеснение и всегда содержит в тяжких и непрестанных работах затейных по прихотям своим: земельных, каменных и прочих, а именно: копаем пруды и землю носим в отдаленные полевые места, а в те пруды для насыпки носим из других мест от реки Москвы, разстоянием близ версты, и для удержания в тех прудах воды глину возим из других деревень, и в одном вырытом пруде принудили нас, нижайших, сверх обыкновения землю пахать и бороновать, которую за невозможностию лошадыми и пахали, мы, нижайшие, собою; и сеял в том пруде на оной пашне хлеб, и на той прудовой работе держит нас, заглав из разных монастырских деревень, человек по пятисот, не давая нам никакова для своей крестьянской работы время, не токмо в простые дни принуждает на оной работе быть, но и в святую пасху и в другие воскресные, праздничные и торжественные дни; и как в зимнее, так и в летнее работное время пеших и конных с лошадами содержит на той работе без спуска, которая ныне еще не окончена.

Что же до каменной работы надлежит, то в перестраивании каменного строения нас же употребляют, и возим бут, которого навожено многое число, и покупали мы оной бут на свои мирские деньги, и всего куплено нами на сто на сорок рублей, от чего лишной убыток несли, а вновь строения каменного никакова нет, но токмо тем изнуряет нас, да сверх того строит излишнее деревянное строение, а прежнее перестраивать и неоднократно с места на место принуждены были то прежнее строение переносить и ставить, а на новое строение возим всякой лес из рощи, состоящей на пустоши Вешках, расстоянием чрез семь верст; и взяв с нас подписку, чтобы рубить сухие и негодные деревья в меру, а кто ниже той меры привезет, за то положил штрафу за каждое дерево по рублю, а потом принудил рубить и всякой годной лес и матерые деревья и возить сырой, которой мы и ныне возим и одно бревно тремя и четырьмя, и пятью лошадыми; и для той воски сырого лесу имеется в згоне из разных вотчин подвод с триста; и взяв с нас другую подписку ж, чтоб те сырые деревья рубить и возить в меру же, а кто ниже той меры привезет, за то положил штрафу по три рубли за дерево, и у которых в ту меру бревна не приходят, с тех помянутой штраф и правит, при которой рубке лесу один крестьянин деревом был задавлен и хотя не до смерти, однако же так изувечен, что уже за себя впредь подушных денег платить и других работ исправлять в несостоянии.

И таковыми непрестанными работами отягощает нас весьма и сверх нашей возможности чрезмерно, которых уже мы и нести не можем. А за неисправление оных приставленные к тем работам монахи и слуги по приказу его, игумена, бьют нас, нижайших, беспощадно. И от таковых всегдашних и безпрестанных работ и своей крестьянской работы исправлять нам некогда, и хлеб сеем и сено косим все же, упустия удобное время, от чего бывает в хлебе немалой недород и в сенокосе упущение, и за тем и подушных денег сполна платить не можем, а промыслить оных за таковою всегдашнею работою время не имеем.

2. Сверх оных всегдашних работ к вящему нашему разорению он же, игумен, берет с нас, помянувших, как старост, так и крестьян, всякие немалые денежные взятки, а именно:

1-е, во время прошедшего последнего рекрутского набору собрал с нас, нижайших, как с тех, у кого есть дети или братья,

годные в рекруты, так и с протчих у кого и годных и нет, якобы на покупку для отдачи за ту нашу вотчину в рекруты у помещиков немалое число денег... и оной сбор чинил с нас, низайших, с превеликим принуждением и побоями; и кто таковых денег не давал, тех бил нещадно и держал в цепях, а крестьянина Леонтья Иванова за недачу тех денег, разлуча и оставя малолетних ево детей без пропитания, сослал в дальнюю монастырскую вотчину к городу Архангельскому в Ежескую волость. А на вышеписанные деньги для отдачи за нас помянутых рекрут не купил, а отдавал оных из нас же монастырских крестьян, да и отдачу принудил отправить нам, низайшим, своим мирским коштом, а те собранные деньги взял себе.

2-е. Он же, игумен, брал во взяток же с имеющихся в тех наших монастырских вотчинах старост, как с тех, которые вновь определяются, так и кои по прошествии года сменяются, по малому ж числу и от них же, старост, берет во взятки ж к разным приказным как деньгами, так и другими подносами, которые с принуждения ево, игумена, теми старостами собираются с нас.

3-е. За дачу пашпортов с отпускаемых для заработков крестьян берет по два и по три, и по четыре, и по пяти рублей с человека.

4-е. Он же, игумен, собирал якобы за дрова денги же, а пмяноно с нас, подмонастырных села Копотни с деревнями, по два года по сту по двадцати рублей на год, а с нас, селца Мисайлова с деревнями ж, с 750 по 755 год итого за пять лет, а считая по три рубля за каждую сажень на год, и оные дрова мы, низайшие подмонастырные крестьяне, ставим из вышеписанной рощи, называемой пустошь Вишек, без зачету тех денег, да и прежде бытности ево, игумена, те дрова ставили ж, но токмо помянутых денег сбору с нас, низайших, не бывало, а он, игумен, и за прошлые до бытности его годы с нас, монастырских крестьян, доправил сто восемьдесят рублей, сверх же того и в прошедшем 755 году принудил нас, низайших, тех дров купить; и на мирские наши деньги куплено было в монастырь по тридцать рублей, не зачитая нам, низайшим, в вышеписанных с нас взятых за те дрова денег. И из того видно, что он, игумен, теми деньгами корыстуется сам, ибо с нас, низайших, михайловских крестьян, как дров, так и денег за оные в сборе прежде сего не бывало.

5-е. Да по приказу его ж, игумена, велено было... собрать с нас, подмонастырных крестьян, денег до двухсот шестидесяти семи рублей семидесяти трех копеек, а не знаемо для какой ево корысти; и которых им, игуменом, и собрано было сорок рублей, и оные взяты по приказу ево, игумена, казначеем монахом Германом с росписками ж.

6-е. Прежде сего для смотра состоящей не в дальном от монастыря разстоянии монастырской пустоши Вешка рощи бывали из нас, именованных крестьян, сторожи, за которое смотрение имели без всякой от миру за то платы, но токмо уволены были от монастырских работ и в том была волность с мирского приговору, кто хочет, тот и был сторожем; а ныне объявленной игумен в те сторожи выбирает по своим прихотям и по нападкам и на тех сторожей собирает с нас немалые ж деньги, а именно с подмонастырных по пятидесят рублей, а с селца Мисайлова по семнадцати рублей на год.

7-е. Да он же, игумен, взял из собранных с миру для пла-

тежа подушных денег на поупку для сажения в пруды рыбы двадцать пять рублей, чем причинил в платеже тех денег на нас, нижайших, недоимку, за что в Московской губернской канцелярии в той недоимке и поныне содержится староста Иван Савинов без выпуска.

8-е. Сверх того он же, игумен, берет с нас, подмонастырных крестьян, безвинно и только для одной своей корысти нападками и насилем денежные штрафы...

3. Кроме же всего вышеписанного он же, игумен, и следующим приводит нас, подмонастырных крестьян, в крайнее раззорение и убытки, ибо который луг, состоящей под монастырем на Москве реке, из сорока пашен, прежде нанимали мы, нижайшие, из Канцелярии Экономии, — оной ныне нанимает он, игумен, и по принуждению ево траву скашиваем мы, нижайшие, в одно лето двоекратно, чего ради он, игумен, запрает тот луг во все лето, а поне же ко оному лугу смежны и наши монастырские крестьянские луги, то и оные потому же заперты бывают; и затем лошадей наших и скота во оные луга во все лето не пускает; и поне же других выгонов у нас, нижайших, не имеется и скота и лошадей пасти негде, то от того оной скот в корму тер-

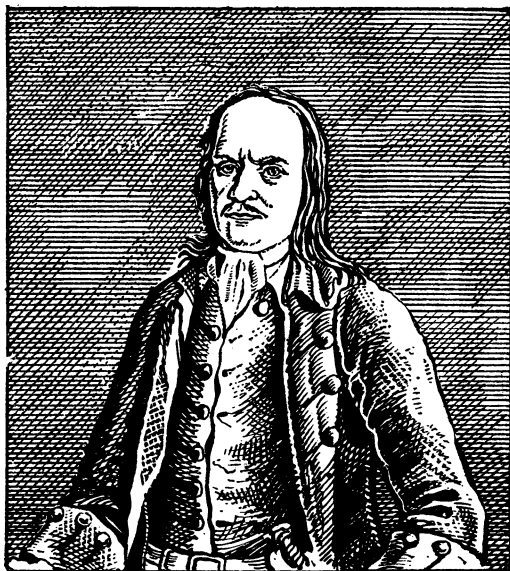
Портрет крестьянина. Художник Фр. Жувене. 1723 г.



пит крайней недостаток, а иногда хотя на малое время помянутой скот и лошадей он, игумен, и прикажет пустить, то однако же берет с нас взятки же, а покошенное со оного наемного лугу сено, не продавая на сторону охочим покупщикам, наваливает сильно на нас, крестьян, и берет с нас цену весьма выше настоящей, ибо в прошедшем 755 году то накошенное сено против продажной цены стоило двусот осмидесят рублей, а он, игумен, навалил то сено на нас, нижайших, и доправил с подмонастырных крестьян четыреста сорок два рубли сорок пять копеек, с мисайловских девяносто рублей, да кроме того наваливает же на нас, нижайших, прошлогодского сена, как с того лугу, так и с монастырских покосов за семьсот рублей, а оное по продажной цене стоит токмо до трехсот рублей, и в том велит старосте Агапу Артемьеву от всего лугу подписаться и держал его немалое время в цепи.

4. И от таковых несносных от того игумена налог и чрезвычайных взятков, тако ж от тяжких и беспрестанных работ приведены мы, нижайшие, в крайнее разорение и бедность, так что многие и государственных податей платить не могут, а шные и дневной пищи не имеют и скитаются в мире; и ежели кто при

Солдат Преображенского полка Бухвостов.
Гравюра М. Махаева. 1728 г.



взыскивании вышеписанных излишних поборов станет объявлять в платеже невозможность, тех бьет и немилостиво ездальными кнутами и держит в цепи и угрожает ссылатъ нас, нижайших, в Архангелогородскую вотчину. И дабы мы, нижайшие, не могли вовсе быть разорены и с семейством разлучены, для того и по самому крайнему утеснению принуждены о всемилостивейшем нас, всеижайших, от крайнего разорения защищении всеподданейше просить вашему императорскому величеству.

И дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие наше прошение в святаейший Правительствующий Синод принять и за вышепозказанными от объявленногo игумена нам, нижайшим, налогам и утеснениями и за неспособным нас разорением ево, игумена, из помянутого Николаевского Угрешского монастыря перевести куда указом вашего императорского величества повелено будет, а дабы мы, нижайшие, вовсе разорены быть не могли, — для того повелено б было нас положить в оброк против прочих крестьян или побрежнему приписать в ведомство к Коллегии Экономии, вышеписанные же взятые с нас взятки и прочие неподлежащие сборы с него, игумена, нам, нижайшим, возвратить и впредь таких неуказных и пакладом собирать с нас запретить и тем от всеконечного разорения всемилостивейше повелеть нас, всеижайших, избавить и к исправному платежу положенных вашему императорскому величеству податей учинить способными.

Всемилоостивейшая государыня, просим вашего императорского величества о сем нашем прошении милостивое решение учинить.

Февраля дня 1756 года.

К подавию надлежит в Святаейший Правительствующий Синод.

Прошение писал Главной Полицмейстерской канцелярии копия Иван Схаров.

К подлинному прошению руки приложены тако: к сему прошению вместо села Копотни с деревнями старосты Ивана Савинова и всех крестьян по их прошению того ж села Копотни деревни Денисева крестьянин Иван Афанасьев руку приложил. К сему прошению вместо сельца Михайлова старосты Степана Никитина и всех крестьян по их прошению Московского уезду дворцового села Мячкова крестьянин Прокофей Сидоров руку приложил.

На подлинном прошении помета секретаря Михаила Остолопова такова: № 300. Подано февраля 12-го 1756 года. Записав в книгу, предложить к докладу. Докладывано февраля 14-го 1756 года.

ДОНЕСЕНИЕ В СИНОД ИГУМЕНА НИКОЛО-УГРЕШСКОГО МОНАСТЫРЯ ИЛАРИОНА О ВОЛНЕНИЯХ МОНАСТЫРСКИХ КРЕСТЬЯН В ЯНВАРЕ 1756 г.

Святаейшему Правительствующему Синоду доношение Николаевского Угрешского монастыря от игумена Иларiona о нижеследующем:

1. Минувшего генваря 11 дня сего года по поданному Московской духовной консистории от копейста Александра Иванова мне, нижайшему, письменному объявлению о надененных ему Мо-

сковского уезда вотчины одного монастыря деревни Денисова крестьянином Иваном Афанасьевым сыном Гороховым и другим тому Иванову неизвестным человеком того же месяца противу седмого числа ночью порою побоях, грабительстве и о протчем показанной крестьянин Горохов мною, именованным, в Москве на монастырском подворье допрашиван, хотя в том точно не винылся, однако же между прочим говорил, что ведать про то могут того ж монастыря села Копотни крестьяне Иван Федоров сын Горлов, Егор Екимов, Иван Савинов и деревни Алексеева Филат Семенов; и потому я, нижайший, приказал было тех крестьян, сыскав, в монастыре содержать до приезду моего скованных, из которых реченной Горлов не сыскан, а протчие того же месяца 12 дня, когда в оном монастыре по сыску были скованы в железы, то тогоже 13 числа означенного числа села Копотни и подмонастырных деревень крестьяне, собираясь многолюдно до ста и более человек, приходили неоднократно в монастырь нагло с необычайным шумом, бранью и с произношением похвальных непристойных речей и по довольном смятении и озорничествах, сбив с вышписанных колодников железы, сильно с собою их увели.

2. И того же генваря 16 дня объявленной крестьянин Иван Горохов (который недавно перед тем Канцелярии тайных розыскных дел в конторе за ложное сказывание слова и дела государева вместо кнута бит плетью) послан был из подворья в монастырь под присмотром того ж монастыря слуги Ивана Прокофьева да деревни Кишкина крестьянина Ивана Аврамова для отдачи оного надежным поручителям, чтоб сторону никуда не отлучался, понеже минувшего 1755 года у межевых дел от оного монастыря был поверенным и выпись из оных дел по сие время еще не получена за его Гороха, нехождением, точию означенный слуга и крестьянин Аврамов, возвратясь на подворье, письменно мне, именованному, объявили якобы того Гороха неведомо какие салдаты в Таганной улице от реченного слуги и крестьянина отбили, в самой же вещи по их коварному согласию своеволью реченные слуга и крестьянин того Гороха отпустили.

3. А 29 дня того же месяца помянутого села Копотни с деревни крестьяне Иван Савинов, Иван Митрофанов, Савелий Артемонов, Филат Семенов и с ними близ ста человек подмонастырских крестьян же с необыкновенным криком и озорничеством приступили к казенной одного монастыря палате, требуя, чтоб я, именованный, вышел к ним, крестьянам, разговориться, но я, нижайший, опасаяся от них, крестьян, убивственного случая, выдти к ним не посмел, точию послал наместника иеромонаха Иосифа, который едва их мог уговорить, чтобы пошли из монастыря, из которого оные крестьяне, выходя, многими укорительными меня, именованного, словами поносили и притом говорили: пускай де игумен десять приказов к нам посылает, точию мы ево не послушаем, а ежели де к нам пришлют целовальника Гришку Каряжинка, то де мы ему руки и ноги переломаем. Кроме же того многие иные непристойные слова и похвальные речи, к убивству касающиеся, произносили.

4. 30-го же числа того же месяца сысканы были одного монастыря в казенную палату и скованы в шейных цепях монастырские слуги Михайла да Андреан Козмины для отсылки в Московскую губернскую канцелярию по имеющемуся тамо до них воровскому делу, точию озорничеством своим из оной полаты с об-

наженными пожарами (которыми одного же монастыря конюхов Якова Иванова да Федора Максимова едва было не закололи) за монастырь в имеющийся в служней слободе свой дом ушли и взять себя не дали, похваляясь посланных за ними до смерти убить и хотя той же слободы служителям Нову Иванову, Тимофею и Ивану Никитиным, Ивану Прокофьеву и прочим тамошним жителем от одного монастыря приказано было оных Козминых караулить, чтобы утечки учинить не могли с подписками, точию показанные слуги подписаться и караулить оных Козминых не похотели и крайне оказались ослушны, хотя же потом приказано было того монастыря конюхам в объявленной слободе часто поминаемых Козминых караулить, точию и те же реченные слуги от двора оных Козминых согнали с произнесенем на меня, нижайшего, с братиею укорительных и похвальных речей. И в таком случае я, нижайший, упросил дворцового села Бесед несколько человек крестьян в проводники, того же генваря 30 дня с немалой опасностью в Москву прислал; что же потом воследовало, — явствует в приложенной при сем точной копии поданного сего февраля 1 дня Святейшего Правительствующего Синода в кантору от меня, нижайшего, доношения.

5. И по таковым обстоятельствам я, нижайший, впредь уже в означенный Угрешский монастырь ездить крайне имею опасение, дабы означенные озорники угрешские слуги и крестьяне (о которых протчих непорядочных поступках и своевольствах вашему святейшеству ныне за скоростию и крайним моим опечалением я, нижайший, представить не успел) по своему свирепству и необыкновенной злобе временной моей жизни вояся каким-нибудь случаем лишить не могли.

Того ради вашего святейшества всенижайше прошу от вышеписанных озарников угрешских слуг и крестьян (которые и по сие время от осады означенного монастыря не отступают) как оной монастырь, так и мене, бедного, милостиво оборонить и о сем моем прошении решение учинить.

Февраля 1 дня 1756 года.

К подлинному прошению вышеписанный игумен Иларион руку приложил.

На оном прошении помета секретаря Михаила Остолопова такова: № 255.

Получено февраля 6 1756 г., записать в книгу, предложить к докладу.

Слушано февраля 7 числа 1756 году.

Канцелярист Андрей Кононов.

ДОНЕСЕНИЕ В МОСКОВСКУЮ КАНТОРУ СИНОДА ИГУМЕНА НИКОЛО-УГРЕШСКОГО МОНАСТЫРЯ ИЛАРИОНА О НАПАДЕНИИ МОНАСТЫРСКИХ СЛУГ И КРЕСТЬЯН НА ПРИСЛАННУЮ В МОНАСТЫРЬ ВОИНСКУЮ КОМАНДУ И ОБ ОСАДЕ ИМИ МОНАСТЫРЯ

Святейшего Правительствующего Синода в кантору доношение Николаевского Угрешского монастыря от игумена Илариона о нижеследующем:

1. По письменному от одного Угрешского монастыря объявлению мпнувшего генваря 31 числа сего года во время заутренняго пения Ржацкой пристани обретающейся в Москве и в Москов-

ском уезде для сыску воров и разбойников офицер (а как по имени и прозванию его зовут, — не упомяну) приехал с салдатами в подмонастырскую одного монастыря служную слободу для взятия вора того же монастыря слуги Андриана да брата его злодея Михайлу Козминых, точию (как мне, именованному, известно учинилось) показанного Андреяна не обыскал, а означенного Михайла Козмина приказал взять под караул.

2. А сего февраля 1 числа того ж монастыря монах Герман и служней сын Андрей Иванов, а вчерашнего дне дворцового села Бесед священник Андрей Федоров мне, именованному, объявили, что оной же слободы слуги и обыватели да того же монастыря вотчин, села Копотни с деревнями и сельца Мисайлова, крестьяне, собравшись многолюдно, человек до трехсот, с дубинами и протчими крестьянскими орудиями, атакowali помянутого офицера и салдат, запершихся в оном Угрешском монастыре, и во весь день вчерашней чинили великое нападение, почему де означенные салдаты принуждены были во оных крестьянех палить из ружья пыжами. А между тем помянутые слуги и крестьяне того ж монастыря иеродиакона Игнатия дубинами вчерашнего дня тиранно били, от которых побой их едва ли жив будет и как из монастыря, так и в монастырь отнюдь никого не пропускают, чтоб о их продерзостях отнюдь же никто в Москву не мог известить.

3. Ныне ж часто поминаемые слуги и крестьяне, находясь в необычном пьянстве, огонь немалый раскладывают близ одного монастыря, некоторые же из них, проезжая на лошадях, крайнее употребляют бесчинство и похваляются иных до смерти убить, протчие же многолюдно атаковать монастырь не престают в необычном шумстве, от чего, избави боже, неповинным последовать бы не могло смертного убивства или иного злочлечения.

Того ради всенижайше прошу, чтобы повелено было сообщить о вышеписанном Правительствующего Сената в кантору для послышки из Военной канторы пристойного числа воинских людей ради пресечения вышеозначенных безчинных и необыкновенных тех крестьян противностей и для взятия и приводу, куда надлежит, виновных и для учинения с ними по указом и о сем моем прошении милостивое решение учинить. И о протчих означенных слуг и крестьян необыкновенных продерзостях и озарничествах иметь быть впредь обстоятельнее от мене, низжайшего, с братнею представлено. Февраля 1 дня 1756 году.

К сей копии Иларий, игумен Угрешский, руку приложил.

МАТЕРИАЛЫ О ВОЛНЕНИЯХ НА МОСКОВСКОМ СУКОННОМ ДВОРЕ

ЧЕЛОБИТНАЯ ВЫБОРНЫХ ОТ МАСТЕРОВЫХ И РАБОТНЫХ ЛЮДЕЙ И. СЕМЕНОВА С ТОВАРИЩАМИ ИМПЕРАТРИЦЕ ЕЛИЗАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ. 4 мая 1742 г.

Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица Елисавет Петровна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!

Доносят Московской суконой Большой фабрики компанейщика Степана Болотина с товарищи выборные той фабрики от мастеровых и работных людей от тысячи человек и более лут-

чие люди ткачи, бывшие в Санкт-Петербурге, Иван Семенов, Иван Леонтьев, Иван Дмитриев, вторичные ныне Конон Семенов, Петр Иванов, Меншей Щелочихин. А в чем наше доношение, тому следуют пункты.

1.

При жизни всевозлюбнейшаго в. п. в. родителя, блаженные и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великаго, самодержца всероссийского, вышеписанная фабрика заведена и в делании суконного художества мастеровыми всякого звания людьми размножена, которая тогда и содержана была казенным коштом.

2.

А в 720 году, по имянному е. и. в. указу, оная фабрика со всем строением и с мастеровыми людьми отдана была бывшему компанейщику Володимеру Щеголину с товарищи. И от того 720 по 735 год оной Щеголин по смерть свою и содержал, а заработные деньги нам, всех мастерств людем, давал по присланному из

**Гаврила Сухарев — рабочий Московского Суконного двора.
Неизвестный художник конца XVIII в.**



бывшей Манифактур-коллегии в 723 году февраля 4 дня указу по настоящим ценам, как в том указе изображено, а имянно ткачам с аршина обоим на край по 7 коп., скребольщику с картовщиком, которые шерсть чешут, по 2 коп. и по $\frac{3}{4}$, прядильщику по 3 коп. с фунта, дросцедером 4 человеком з деланной из русской шерсти половинки по 50 по 5 коп., а с турецкой по 60 и по 5 коп., почему тогда от вышеписанного Щеголина и получали сполна, безостановочно.

3.

А по смерти оного Щеголина во владение в означенную фабрику вступил товарищ ево Степан Болотин с товарищи и в 736 году, по чему получали от оного Щеголина заработные деньги, выдал нам сполна, по указной цене. Токмо при выдаче тех работных денег вычел он, Болотин, у скребольщиков и картовщиков за скробли* и карты более 100 рублей, а дросцедером дает и поныне с 737 году запросом, а не очискою, и то с великим уменьшением, к тому ж помесячно. И от того году в достальных заработных оставших за ним деньгах росчету с ними не чинит, еще ж заставлявает их в великие мразы збирать суровые сукна и караеи и лить воду ушатов по 100 — у и более не по силе, того 723 году указу. И из них, дросцедеров, от таких обид и палогов пришли многие во оскудение и в неоплатные долги.

4.

Да в прошлом 737 году вышеозначенной же компанейщик Болотин, призвав нас, именованных, заставлял подписатца, чтоб мы взяли за работу не по указной цене, но с великою убавкою, и мы, нижайшие, не подписались в том, что по такой цене работать не ис чего и з женами и детьми пропитатца нечим. И за такую нашу неподписку многих бил плетьми смертно и работы в том 737 году марта з 22 мая по 14 число не давал, и гуляли праздно без дела и скитались без работы меж двор, и пришли в великую нищету.

5.

И мы, именованы, о тех ево, компанейщика Болотина с товарищи, напрасных обидах и о раззорении той фабрики в том же 737 году апреля «...» дня подавали на него государственной Камерц-коллегии в кантору и Правительствующаго сената в кантору ж многие прошения и доношения. И по тем нашим прошениям и доношениям и по посланным ис той Сенацкой канторы указом, по которым велено изследовать в вышереченной канторе, токмо оная кантора решения не чинила.

* Скробли (скребли, шкроблы, сшкробалы) — щетки, на которых первоначально расчесывалась шерсть на суконных мануфактурах.

6.

И усмотря мы, именованны, что в той Камерц-канторе догвоременно решения учинено нам не будет, о тех своих обидях и о раззорении в том 737 году в декабре месяце выбрали со общего своего согласия товарищев своих Родиона Дементьева, Ивана Леонтьева, Андрея Леонтьева и дали им от 1000 человек и более за своими руками выбор, дабы ему, Дементьеву, с товарищи просить в Санкт-Петербурхе, где будет пристойно. И оной Дементьев подавал в государственной Камерц-коллегии и в Правительствующем сенате доношении, токмо оной Болотин, сведав про него и признав свою вину и в деле неправость, послал прикащика своего Алексея Афонасьева, которой в тое ж коллегию подал на них допование ложно, якоб они, не давав в Москве ответу, бежали. А из нас, именованных, были в Москве другая ответчики — Конон Семенов, Федот Чесноков, Василей Иванов — и содержались чрез происк ево, Болотина с товарищи, в государственной Военной канторе под караудом многое время. И когда б реченная кантора востребовала и без него каких ответов, и те б ответы оные содержащаяся Семенов с товарищи дать могли. И того выборного Дементьева показанная коллегия, не хотя допустить е. и. в. до кабинета, прислала в Москву в Военную кантору скованных, и морены были безвинно гладом, и потом до решения дела освобождены на росписку.

7.

А потом в прошлом 738 году мая... дня вышеобъявленной Дементьев и товарищ ево Федот Чесноков, будучи близ той ево, Болотина, фабрики, в Лебяжем переулке, усмотрели несенную мастерами дрощедерами и зделашную не против образцов в. и. в. из Военной канторы негодную каразею, в которой мерою 30 аршин. И признав он, Дементьев, что оная каразея делана из негодной шерсти, из одних верхов, взяв у тех дрощедеров, принес в вышереченную Камерц-кантору и объявлял при доношении ему, Болотину, на изобличение, а в.и.в. сожалея интереса, присутствующему советнику Ивану Алексееву, дабы оную каразею освидетельствовать мастерами иноземцами и купецкими людьми, по чему такой каразеи аршин стоит. Токмо оной советник Алексеев не свидетельствовал никем, и послана та каразея за печатями оной канторы и нашими в Санкт-Петербурх в государственную Камерц-коллегию, и тамо свидетельствована ль или нет, нам и поныне неизвестно.

8.

И потом он же, Болотин с товарищи, призвав тех мастеровых людей, которые делали ту каразею, чтоб они дали своих рук ему подписки, бутто делали из годной шерсти. И, хотя прикрыть свою вину, бил из нас товарища Герасима Наяна плетми смертно за то, что он не подписался, на что тот же выборной Дементьев о таких побоях объявлял доношением тому ж советнику Алексееву, которой того подаваемого доношения у него не принял и за то бил ево в той канторе плетми смертно, причитая, чтоб ему не просить впредь на него, Болотина с товарищи, о обидях и непорядочных поступках, и о утрате е.и.в. интереса не доносил.

Да оной же Болотин с товарищи приказывает подмастерью Ивану Соколову, которой имеет с ними общество, а нам, рабочим людям, великое насилие, делать сукна мерою по 50 аршин, а разрезаютца те сукна надвое, и принимает те зделанные нами сукна, по приказу ево, Болотина, вышеозначенной Соколов, хрестит и выворачивает и поныне по 30 коп. и более, и бьет плетью смертно ж. Да и когда ж случаютца нам необходимые домовые нужды, оной Соколов выворачивает у нас при выдачи заработных денег у ткачей по 20 коп., у скробольщиков и картовщиков по 10 коп., все ради своей бездельной корысти, а нас приводит к нищете и к великому оскудению, чего ему, Болотину, и подмастерью Соколову и вычитать не надлежит для того, когда он нам работы довольной не дает и гуляем за ним месяца по два и более, и чинятца такпе остановки от него, и за такие прогулы денег мы от него не получаем. Да те ж сукна отдаютца на толчею для валяния и в разные краски, а ис краски те мокрые сукна вздевают на крючки и на рамы и вытягивают железным воротом человек до 40. И от того те сукна чинятца весьма ретки, а не от нас, мастеровых и рабочих людей, но все он чинит для своей бездельной корысти, и к носке служилым людям весьма они неспособны, и до сроков чинятца недостаточны.

10.

Да в том же 738 году по приказу ево ж, Болотина, прикащик ево Леонтей Иванов сын Носов выдавал нам, рабочим людям, на 17 станов негодной шерсти хлопьев. И в записных книгах оной Носов и в листах писал такие хлопья турецкой и гданской. И, усмотря, мы, рабочие люди, что подлинно та шерсть негодная и не гданская и не турецкая, и вынесли тех хлопьев вышеобъявленного просителем Дементьеву с товарищи, чтоб объявить, где надлежит ему, Болотину, на изобличение, а нам ко оправданию. И, взяв такую шерсть, хлопья, положи в кулек, Федот Чесноков, да другой кулек таких же хлопьев Родион Дементьев объявляли, где пристойно, дабы освидетельствовать мастерами иноземцами и купецкими людьми, которые наибольше в суконном деле и в шерстях полную силу знать могут, по чему такой шерсти фунт стоит, и по свидетельству на той фабрике на станах опечатать. И по посланному Правительствующаго сената ис канторы в Камерц-кантору указу, а ис той канторы опечатано было канцеляристом Николаем Васильевым только на одном стану, а на прочих станах печатать он, Болотин, видя свою вину и от советника Алексева послабление, печатать ему не дал; и освидетельствованы те хлопья приказом оного Алексева тех же компанийщиков мастерами, которые со оными согласны, и на такое их ложное свидетельство не утверждаемца и поныне.

11.

И выбрали мы, именованны, вышеобъявленного ж просителя Родиона Дементьева с товарищи Петром Егоровым, Иваном Семеновым и послали вторично в Санкт-Петербурх, дабы о тех ево, Болотина, к нам появлящих обидах и о прочих поступках бить челом блаженныя и вечнодостойныя памяти государыни императ-

рицы Анны Иоанновны о скором того дела решении, и дали за руками своими выбор. По которым их прошениям прислан был в Москву для подлинного следствия государственной Камерц-коллегии президент барон Менгден на тое ево Болотина фабрику. И мы, именованны, оному Менгдену запечатанную на одном стану негодную шерсть, хлопча объявляли, и он, Менгден, с советником Алексеевым, взяв те хлопча и положи в кульки, запечатали, а куда употребили, про то и поныне нам неизвестно. А вышеобъявленные просители Дементьев и Егоров в Санкт-Петербурхе, Чесноков в Москве в государственной Военной канторе от тюремного сидения и от великого гладу померли, а оставшие Конон Семенов, Иван Леонтьев до решения дела по указу освобождены на поруки.

12.

И по отъезде оного барона Менгдена из Москвы вышеобъявленной Болотин, рнясь на нас в том, что мы, именованы, о такой негодной шерсти хлопча доказывали, и по такой злобе, захвата из нас пять человек — Конона Семенова, Петра меньшева Щелочихина, Дмитрея Степанова, Ивана Тимофеева, Ивана Леонтьева — ис которых Конона Семенова, Ивана Леонтьева ему, Болотину, по указу и брать насильем не надлежало, бил плетьми смертно и держал под крепким караулом в чепях и в железах, яко сущих разбойников в своей канторе, и заставлявал работать в тех же чепях и железах, и работали более месяца, а все видно, дабы мы на него не просили и ни в чем не доказывали. И по прозьбе нас, работных людей, те содержащиеся свободны были за нашими поруки на росписку и потом, видя мы вопиющее от него, Болотина, разорение и обиды, послали для прошения в Санкт-Петербурх вышеописанного прежняго просителя Леонтьева, которой Болотин, сведав об нем, оставших по нем роспищиков, перековав в кандалы и железы, держал многое время, уграживал без указа е.и.в. Сыскным приказом.

13.

А прошедшаго марта... го дня сего 1742 году, по прозьбе той нашей призыван был вышеобъявленной Болотин с товарищи в Камерц-кантору советником Алексеевым и ассесором Алексеем Алексеевым сыном Красовским и секретарем Петром Васильевым и словесно о нас, именованных, они ево, Болотина, допрашивали: по какому же указу он нас, работных людей, содержит и заработные деньги дает? На что он, Болотин, объявлял, якобы он нас содержал не по указу, и будто б мы с ними рядилися рядою, а не по указу, и в том он, Болотин, Камерц-кантору оболгал напрасно и показал, будто такого указу у него не имеетца. А когда востребуецца к следствию данной родителя в.и.в. Петра Великаго присланной из бывшей Мануфактур-коллегии в 723 году февраля 4 дня указ, по чему заработные деньги нам у них брать повелено, и мы объявить впредь можем ясными доказательствами.

14.

Да в прошлом 739 году в феврале месяце оной же Болотин, видно все ради своего умыслу, а нас ко искорению, захвата безвинно из-за работы 10 человек, а имянно Василья Иванова, Ти-

хопа Титова, Дмитрея Степанова, Ивана Иванова, Федора Борисова, Николая Петрова, Ивана Семенова, Петра Щелочихина, Ивана Семенова, Ивана Петрова, и содержаны были в Камерц-канторе под караулом, якобы учинились ослушны и, разломав заборы, с той ево фабрики бежали, и в том обогал как Камерц-кантору, так и их напрасно. И, согласясь той канторы с советником Алексеевым, учинили определение, дабы их бить кнутом не по указу и сослать в катаржную работу в Оренбургскую экспедицию, но не посланы за присланным по прошению вышеописанного умершаго просителя Дементьева в Санкт-Петербурхе в Кабинете е.и.в. и за присланным ис Правительствующаго сената указом.

15.

Да сего 1741 году декабря 7 дня о тех же ево, Болотина с товарищи, обидах и о утрате в.и.в. интереса и о протчем доносили бывшие, которые в сем доношении выше показаны Иван Семенов с товарищи, в Санкт-Петербурхе в.и.в. И по резолюциям как Рекетмейстерских дел, так и государственной Военной коллегии для подлинного следствия и решения присланы в Москву в Камерц-кантору.

16.

Сего ж 1742 году марта 23 дня, по выбору ж от нас, именованных, по пришествии в.и.в. в Москву, подавали в.и.в. вторично всепокорнейшее доношение ткачи Конов Семенов, Петр Иванов сын Щелочихин, Тимофей Петров о утрате в.и.в. интереса и о всяких от него, Болотина, обидах, о которых показано выше сего о подлинном рассмотрении и решении по указом в.и.в., по которому доношению, присланному к следствию в Камерц-кантору, и что оная кантора следует или нет, с вышеописанного марта 23 дня нам, нижайшим, не известно.

И дабы высочайшим е.и.в. указом повелено было спе наше всепокорнейшее доношение принять и всемилостивейшим в.и.в. указом с вышеписанного компанейщика Болотина с товарищи с прошлого 1737 году, по силе указу 1723 году февраля 4 дня родителя в.и.в. блаженные и вечнодостоинныя памяти государя императора Петра Великого самодержца всероссийского, недоданные заработные наши деньги, а имянно ткачам, скребольщиком, картощиком, прядильщиком, також и дросцедрым мастерам, для пропитания выдать, дабы от невыдачи таких им, Болотиным, заработных денег не приттить нам з женами и з детьми поповящее оскудение и не помереть напрасно гладом, а к состоянню впредь та фабрика не воследовала б х какой остановки. А о утрате в.и.в. интереса учинить ему, Болотину, как указы в.и.в. повелят. Буде ж он, Болотин, в чем станет пметь какое запрятельство, а мы можем ево изобличить ясными доводы.

Всемилоствейшая государыня, просим в.и.в. о сем нашем доношении милостивое решение учинить...

**ЧЕЛОБИТНАЯ МАСТЕРА-КРАСИЛЬЩИКА
МОСКОВСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКИ Ф. Н. НЕМКОВА.**

Не позднее 9 августа 1743 г.

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня императрица Елисавет Петровна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!

Бьет челом суконной фабрики красильной мастер Федор Никитин тое ж фабрики на компанейщика Ефима Кирилова сына Болотина. А в чем мое прошение, тому следуют пункты.

1.

Сего 1743 году июля в 8 день, то-есть в праздник Казанския богородицы, как было крестное хождение, оной Ефим Болотин, приехав на оную фабрику ночным временем, приказал собою, без указу, той же фабрики салдатом Григорью Лазареву с товарищи бить меня плетью безвинно, которые и били. А сам он, Болотин, по битой моей спине топтал томками смертно и живот мне раздавил, от которых ево смертных побой я, именованный, отцем духовным церкви Николая чудотворца, что в Берсеневке, попом Петром Алексеевым исповедыван и о тех смертных побоях ему, отду духовному, я извещал, которые салдаты о тех побоях, что я бит безвинно, по присяжной должности показать могут. И теми побоями он, Болотин, меня убил и обещестил и изувечил напрасно, и ныне от тех ево смертных побой в голове у меня великой шум, и глаза помрачились, и носом не слышу, и у красильного дела за тем быть мне невозможно.

А я, именованный, в красильном мастерстве пробован и освидетельствован прежними государственной Комерц-коллегии президентами из немецких и из русских красок, которые мои пробы и ныне за печатями их имеютца, что к тому красильному мастерству я достоин. А оной Болотин еще, не удовольствуясь теми смертными побоями, ныне хвалитца не токмо с спины, по и з брюха кожу у меня збить; и от тех ево похвальных слов опасен я впредь от него смертного убивства.

И дабы высочайшим в.в. указом повелено было сие мое прошение в государственной Мануфактур-коллегии принять, и вышеписанного Болотина сыскать и допросить, и во всем вышеописанном по указу изследовать, и по иследствии оному Болотину за вышеописанные безвинные мои побой и за увечье и за бесчестье и за похвальные ево слова по Уложению и по указом указ учинить. А за оным делом, за болезнью своею, ныне, веряя вместо себя ходить, и ежели повелено будет и в суде быть, и к чему надлежит руки прикладывать, и при слушании из дела выписки быть дому вдовы Катерины Федоровой дочери бригадира Ивановой жены Григорьева сына Безобразова служителю ее Семену Федорову, а что он по тому делу учинит, я прекословить не буду.

Всемилоостивейшая государыня, прошу в.в. о сем моем челобитье решение учинить...

**ИНСТРУКЦИЯ ОФИЦЕРАМ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЛКА,
ДАННАЯ МАНУФАКТУР-КОЛЛЕГИЕЙ. 21 июня 1749 г.**

По указу е.в. из государственной Мануфактур-коллегии определенным для сыску суконной Ефима Болотина с товарищи

фабрики мастеровых и работных людей Санкт-Петербургского полку обер-афицеров инструкции.

Чинить вам по нижеписанным пунктам следующее:

1.

Оных работных людей сыскивать вам з данною командою по указыванию той же фабрики мастеровых и работных людей, которые определены к вам будут от вышеписанных фабрикантов, с прилежаннем. И ежели кто где пойманы будут, то оных отдавать на ту фабрику и, сколько когда сыскано и на ту фабрику отдано будет, о том повсядневно Манифактур-колегию репортовать.

2.

Ежели те работные люди где найдены будут в домах, то те дворы, оставляя караулами, и требовать от съезжих дворов сочких и десятчких и с понятами для взятъя итти в те дома, дабы от хозяев каких напрасных для вас приклепов и нареkania прозойтти не могло.

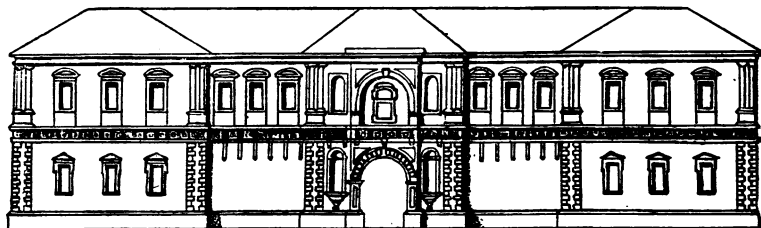
3.

Будет же указаны будут кто из оных работных людей в знатных домах, то в те дворы, а паче в покой, с командою для взятъя не ходить, разве одному из вас, обер-афицеров, пришед на те дворы, от управителей требовать тех работных людей отдачи.

4.

На фабрике, где работа производитца, поставить в пристойных по указыванию фабриканскому местах, сколько оных требовать будут, караул, дабы сысканные паки разбежатца не могли и на фабрику вход всем дозволить без задержания. А з двора фабричных работников, а паче тех, кои в упрямстве и своевольстве явились, без позволения фабриканского не пускать, и учиня

Фасад Московского Суконного двора.
Чертеж архитектора И. Мичурина. 1746 г.



реэстр, и каждой день по приходе на работу и по сходе с работы перекликать.

В прочем при том поступать, как надлежит верным е.и.в. и честным обер-афицерам, не чиня тем фабричным отнюдь никакой слабости, паче же похлебства, а особливо сторонним людям никакого озлобления и обид не чинить, опасаясь за худыя поступки по силе военных артикулов ответа и истязания...

ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕНАТА О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ К ПОДАВЛЕНИЮ ВОЛНЕНИЙ РАБОТНЫХ ЛЮДЕЙ МОСКОВСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКИ. 6 июля 1749 г.

1749 году июля 6 дня в собрании Правительствующий сенат по доношению Манифактур-коллегии...

Приказали: из вышеобъявленных фабричных работников 127 человек, которые в работу и поныне не вступают, пущим заводчиком, по показанию фабрикантов и мастеровых людей за побег их с фабрики и за учиненные не токмо фабриканом, но и Манифактур-коллегии вышеобъявленные противности, в страх другим, учинить публичное наказание: десятого бить кнутом, и по учинении того наказания, как их, так и прежде от коллегии кнутом же наказанных, заковав в кандалы, сослать в Рогервик в работу за пристойным канвоем на коште фабрикантов, а канвой дать из Военной коллегии. Прочим же фабричным работником, которые поныне в работу упрямымством своим ис тех же 127 человек не вступили, учинить наказание плетьюми и велеть ввесть в полаты и к работе их принудить. И притом всем оставшим при оной суконной фабрике мастеровым и работным людям объявить: ежели кто из них впредь явятся в таковых же противностях и непослушаниях, то и с ними поступлено будет, как и с вышеобъявленными к тому непослушанию заводчиками, без всякого милосердия. А кто из достальных с той фабрики беглых явятся на оную, и в работу вступят собою, тем вины их оставить: а кои по поимке в присылке будут, ис тех, пущих заводчиков, бив кнутом, ссылать в Рогервик против вышеписанного ж, а другим, учиня наказание плетьюми ж, определять в работу. И о том в Манифактур и в Военную коллегии и в Главную Полицеймейстерскую канцелярию послать указы <...>



ПУСТЬ ПРОСВЕЩЕНИЕ ВОЛНУЕТ ВЕК

Слова, вынесенные в заголовок раздела, принадлежат виднейшему деятелю Петровской эпохи, лидеру, как мы сказали бы сейчас, «ученой дружины» Феофану Прокоповичу. Прогрессивная деятельность «ученой дружины» (Ф. Прокопович, А. Кантемир, В. Татишев) продолжалась и после смерти Петра I, так много сделавшего для прогрессивных перемен в русской культуре и, в частности, в области просвещения.

Во второй четверти и во второй половине столетия политика в сфере просвещения приобретает все более сословный характер, осуществляется прежде всего в интересах класса дворян. Укрепляются привилегированные учебно-воспитательные заведения, использовавшие достижения передовой педагогической мысли.

Свидетельством неуклонного поступательного развития страны в целом, и в сфере культуры в особенности, стало открытие новых учебных заведений, таких, как, например, университет в Москве (1755 г.). Одним из первых преподавателей Московского университета стал Н. Н. Поповский.

Николая Никитича глубоко волновали вопросы просвещения, обучения и воспитания. Уже при начале чтения курса философии (март 1755 г.) педагог твердо заявил о намерении читать свои лекции на русском языке, дабы облегчить широким массам «тяжелый доступ» к этой «высокой науке».

Публикуемое ниже «Письмо» напечатано впервые Н. И. Новиковым в журнале «Живописец» (лист. 8, 1772) под заголовком: «Письмо о пользе наук и о воспитании во оных юношества, писанное покойным профессором Поповским к его превосходительству Ивану Ивановичу Шувалову при заведении Московского университета, 1756 года».

«Письмо» посвящено старшему куратору (попечителю) Мос-

ковского университета И. И. Шувалову, оказывавшему содействие М. В. Ломоносову в создании университета.

Под воздействием «Письма» находились многие передовые мыслители XVIII века — Н. И. Новиков, И. А. Крылов, А. Н. Радищев и др.

Автор критикует ложь, лицемерие, призывает родителей оградить юное поколение от влияния великосветской жизни, когда дворяне и купцы «неправедным житьем, предезкими делами дорогу им ко злу показывают сами». Далее речь идет о необходимости развития просвещения, о значении открытия Московского университета.

Поповский затрагивает не только проблемы воспитания юношества, но и осуждает самодержавно-крепостнические порядки, нравы дворянства.

Иных взглядов на принципы воспитания придерживается Г. Н. Теплов — сторонник монархии, сословного обучения. В составленной им «Временной инструкции об университете и гимназии» (1750) говорилось, в частности, что дети дворян и разночинцев во время занятий должны сидеть за разными столами; при разработке учебной реформы в 1760—1770-е годы, защищая дворянские привилегии, также отстаивал сословную систему воспитания. В то же время в деятельности Г. Н. Теплова есть и прогрессивные просветительские черты. Он выступал за то, чтобы просвещение в России развивалось в соответствии с требованиями времени; активно участвовал в разработке проектов открытия университетов в Сумах (1767), Екатеринославле (1784), Чернигове (1786).

В разделе публикуется «Наставление сыну» Г. Н. Теплова (впервые опубликовано в Петербурге в 1760 г.), написанное в виде поучения, характерного для России XVII—XVIII веков. Принцип изложения в форме правил о нравственном поведении юноши традиционен: и «Домострой», и «Юности честное зеркало», а позднее — и «О должностях человека и гражданина» составлены подобным же образом.

«Наставления» — кодекс поведения дворянина, состоящий из 21 правила, отражает педагогические взгляды видного царского сановника. Быть сдержанным, умеренным во всем, уметь одолевать нищету трудом и прилежанием, не допускать «худых привычек», «здоровье свое почитать первым для себя сокровищем», думать, как обеспечить свое благополучие.

Главное же — быть порядочным человеком. Автор полагает, что «ни честь высокая и богатство чрезмерное, ни похвала за твои таланты счастья тебе еще прямого не составляют»; предостерегает против аморального поведения (правило 13-е — «Каков ты будешь, промотавши имение»).

Выше читатель имел возможность познакомиться с работой Татищева-экономиста. Но немало энергии отдал Василий Никитич и педагогике.

После назначения в 1720 году начальником Горного правления сибирскими и казанскими казенными заводами, В. Н. Татищев уделял внимание просвещению не только дворянских детей, но и детей рабочих. В 1721 году по инициативе Татищева создаются казенные школы для рабочих при Кунгурском и Уктусском заводах, в 1737 году — горнозаводские школы в Екатеринбурге, Соликамске, Каменске (планировал он и создание школ для крестьян).

Первоначально, очевидно, целью заводских школ была подготовка русских специалистов для горного дела, геологических изысканий. Но малое число грамотной молодежи заставило заводское управление перестроить преподавание: сначала обучение грамоте, русскому языку, математике, а затем профессиональная подготовка. Количество учащихся в школах возросло; потребовались специальные правила преподавания в них.

Публикуемый ниже документ составлен как методическое руководство для учителей заводских школ и охватывал все стороны образования, отражая оригинальные педагогические воззрения автора.

Инструкция Татищева обнаружена Н. Ф. Демидовой в одной из книг отпусков Главного правления сибирскими и казанскими казенными заводами за 1736 год (хранится в ЦГАДА СССР). Инструкция касалась всех сторон школьного преподавания, отражала педагогические воззрений одного из самых передовых дворянских общественных деятелей первой половины XVIII века, человека, по словам В. О. Ключевского, «хорошо послужившего Отечеству».

Свои педагогические взгляды В. Н. Татищев изложил также в «Разговоре о пользе наук и училищ», «Записке об учащихся и расходах на просвещение в России», «Духовной моему сыну» (1733).

В 1730 году дворянам было дано звание шляхетства, то есть благородного дворянства, и обещание «в солдаты, матросы и прочие подлые и нижние чины неволею не определять». Дворяне получили привилегию начинать военную службу в чине офицера, срок службы для них был сокращен. Указ от 29 июля 1731 года объявил весьма нужным обучение дворян военному делу «от малых лет».

С этой целью учрежден был в Петербурге «Корпус кадетов, состоящий из 200 шляхетских детей». В этом заведении они должны были получать общее образование и специальную

подготовку для выполнения обязанностей на офицерской службе в армии и в правительственных учреждениях.

Среди прочих военных учебных заведений страны Кадетский корпус стал первым специальным учебным заведением, готовившим офицеров для сухопутной службы. Вначале корпус разместился в бывшем Меншиковом дворце на Васильевском острове, в середине столетия расширил свои владения.

Устав Шляхетского кадетского корпуса был утвержден в ноябре 1731 года. В корпусе дворянские дети, уже обученные грамоте, в возрасте от 13 до 18 лет должны были учиться и жить на полном казенном содержании. В корпусе создавалось четыре класса. В низшем, IV классе кадетов обучали русскому и латинскому языкам, чистописанию, арифметике; в III классе — геометрии, географии и грамматике. Во II классе наряду с общеобразовательными науками преподавались фортификация, артиллерия, а также история, «правильный в письме склад и стиль», риторика, юриспруденция, мораль, геральдика и «прочие воинские и политические науки». В высшем, I классе определялась будущая профессия кадета, исходя из его «способности», прилежания и «особливо понятия», которые он проявил к той или иной отрасли военного дела (фортификации, артиллерии, кавалерии, пехоте), или же к гражданской службе.

Открытие Кадетского корпуса состоялось 17 февраля 1732 года. Сначала в него поступило 56 воспитанников, число которых вскоре возросло до 300. В связи с этим был определен новый штат корпуса в 360 человек с подразделением на 3 роты. Позднее, в 1743 году, корпусу было присвоено наименование Сухопутного шляхетского корпуса. Корпус пользовался большим вниманием правительства и государственных учреждений, был хорошо оборудован; постепенно занял ведущее место в системе военно-учебных заведений Российской империи, привилегированное положение.

Обязательными предметами считались лишь закон божий, арифметика и военные упражнения, остальные — воспитанники изучали по желанию. Каждую треть года проводились частные экзамены в классах, а в конце года — публичные в присутствии официальных лиц. Большое внимание уделялось физическому и эстетическому воспитанию. При корпусе имелся театр, сами кадеты устраивали вечера, спектакли, балы, издавали журнал. Была создана большая библиотека.

Среди воспитанников много выдающихся полководцев — П. А. Румянцев, А. В. Суворов, М. И. Кутузов, а также известных русских писателей — М. М. Херасков, А. П. Сумароков, В. А. Озеров и др. По образцу Сухопутного шляхетского корпуса устраивались другие дворянские учебные заведения,

Нужно заметить, однако, что не все зачисленные в корпус успешно проходили курс обучения. Кадетов отчисляли «за болезнь», «за неспособностью к наукам». Давались и более пространственные характеристики в связи с исключением из корпуса.

Так, поступивший в корпус 27 мая 1732 года Николай Зотов уже 20 июня получил следующую «аттестацию»: «имеет себе от роду двадцать три года, к тому ж имеется у него головная и каменная болезнь, за которыми и словесно российского чтения и писания обучился с великим трудом, и для того оный Зотов из кадетского корпуса выключен...». В августе 1732 года князь Василий Никитич Волконский из корпуса «отослан», так как он «свыше указных лет и в науках непонятлив». А Родион Дмитриев в феврале 1734 года «затем, что к наукам ненадежен», был отчислен «в армию Унтер-офицером».

Объективные потребности в образованных людях осознавались многими прогрессивными деятелями своего времени; определенные меры к распространению знаний предпринимались в государственных масштабах. Но, как и в первой четверти XVIII века, в середине столетия оставалось достаточно противников образованности. Несмотря на то, что в дворянской среде Кадетский корпус пользовался большой популярностью, многие «недоросли» всеми правдами и неправдами пытались избежать учения. При этом выдвигались убедительные, по их мнению, доводы типа «затхлого в ушах слушания» или «слабой своей памяти».

Именно подобные объяснения приводятся в публикуемых ниже челобитных на высочайшее имя, составленных, по словам П. И. Баргенева, «прототипами фонвизиновского Митрофанушки».

В 30—40-х годах XVIII века дворянству было предоставлено право: или определять своих детей в школы, или обучать их наукам на дому до 20 лет. Время от 7 до 12 лет отводилось на элементарное обучение, главным образом, чтению, письму, религии; от 12 до 16 лет — арифметике и геометрии. В дальнейшем в круг обязательных предметов для первых двух периодов были введены также иностранный язык (обычно изучали французский) и катехизис. С 16 до 20 лет дворяне учили математику, географию, историю и фортификацию. К 20 годам дворянам следовало определить будущий род службы их детей. Для проверки результатов домашнего обучения проводились специальные смотры и экзамены в присутствии официальных лиц. Для домашнего обучения детей дворяне стали выписывать иностранных учителей. Многие посылали своих детей учиться за границу. В столичных городах открывались частные иностранные пансионы. В 50-х годах в Петербурге имелось несколько таких пансионов,

Но среди учителей-иностранцев появляется много случайных людей, не имеющих необходимого образования и опыта в обучении и воспитании детей. Даже дворянское правительство вынуждено обращать внимание на это. Так, указом от 5 мая 1757 года на профессоров Академии наук и Московского университета была возложена обязанность экзаменовать иностранных учителей и лишь тем, кого они найдут подготовленными, выдавать аттестаты на право преподавания в пансионах и дворянских семьях. Но запрещение нанимать иностранных учителей, не имеющих документов на право преподавания, всячески обходили, и в имениях «обучали» детей невежественные иностранцы.

Для этого же времени характерно и печальное пренебрежение к русской культуре, нравам и обычаям народа, к родному языку, чрезмерное увлечение парижскими модами, «галантностью» и изящными манерами. Французский язык становится языком преподавания и воспитания.

О том, как и какое воспитание и образование получали дети из различных по достатку дворянских фамилий, читатель получит представление из публикуемых фрагментов воспоминаний двух известнейших людей России. Записки первого из них, Г. Р. Державина (составлены по памяти, между 1808 и 1812 гг.), рассказывают о жизни мелкопоместных дворян. Другой мемуарист, А. Р. Воронцов, достаточно ярко изобразил быт высшей сановой знати.

Если дворянская молодежь имела практически неограниченные возможности в получении образования, то представителям других сословий путь во многие учебные заведения был закрыт. В значительной мере благодаря стараниям М. В. Ломоносова при Московском университете Сенатом было постановлено «быть двум гимназиям: одной для дворянства, а другой для разночинцев всякого звания, кроме крепостных людей и крестьян». При разночинной гимназии были открыты специальные классы художеств. В 1757 году в этих классах числилось 24 ученика, обучавшихся пению, инструментальной музыке, рисованию. Ранее М. В. Ломоносов выступил с идеей создания «Академии трех знаменитых художеств». Считаясь с этими предложениями, заручившись поддержкой правительственных кругов, куратор университета И. И. Шувалов сделал Сенату представление об учреждении Академии художеств (документ включает этот раздел). После рассмотрения представления Сенатом Академия учреждена с 6 ноября 1757 года. Первым ее президентом стал Шувалов.

Академия до 4 ноября 1764 года (получение своего устава и штата) состояла при Московском университете, хотя и была уже передана в Петербург.

В 1758 году из Москвы в столицу прибыло 16 воспитанников

Московского университета. Вновь прибывшие, как и приехавшие ранее, держали экзамены, после чего были зачислены в Академию художеств. Среди них мы встречаем имена Василия Баженова и Ивана Старова (впоследствии крупнейшие отечественные архитекторы). В 1760 году Академия послала лучших своих учеников — А. П. Лосенко и В. И. Баженова — совершенствоваться за границу. В числе учеников этих лет и Федор Рокотов. В 1761 году в Академии было 68 учеников в трех классах, изучавших живопись, архитектуру, скульптуру.



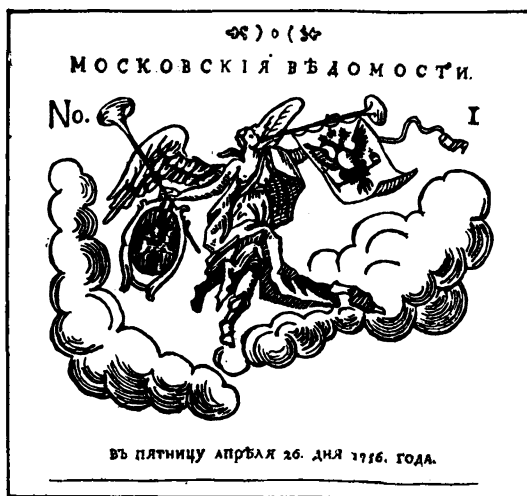
**Н. Н. ПОПОВСКИЙ. «ПИСЬМО О ПОЛЬЗЕ НАУК И О
ВОСПИТАНИИ ВО ОНЫХ ЮНОШЕСТВА»**

Различны, меценат! к бессмертию дороги:
Иной, повергнув тьмы людей себе под ноги,
Чрез раны, через кровь, чрез кучи бледных тел,
Развалины градов, сквозь дым сожженных сел
Отверз себе мечом путь к вечности кровавый
И с пагубой других достиг бессмертной славы;
Но плач и вопль сирот и стон оставших жен,
Родителей печаль и треск упавших стен
Гремящую трубу их славы заглушает
И ясно проникать в слух смертных воспящает.
Другой, подняв верхи ужасных пирамид
Превыше туч, где ветер и буря не шумит,
Потомству по себе мнит память тем оставить
И имя чудными громадами прославить;
Но многих труд веков, несчетных тысяч пот,
Под тягостию сей вздыхающий народ,
На вечные труды и муки осужденный
И в жертву гордости невинно принесенный,
Мучительскую тем доказывают власть
И самолюбную изобличают страсть.
Тот мыслей хитростью и скрытностью советов
И темнотою своих сомнительных ответов
Народов дружбу рвет союзных меж собой
И возмущает их возлюбленный покой,
Чтоб ссорою других своим дать силы боле
И дале расширить отечественно поле:
Надеясь делом сим политиком прослыть
И титло мудрого министра заслужить.
Итак, не истинной прельщаемся хвалою:
Призраком лишь ее и тенью пустою!
Не подлинная нас в делах предводит честь,
Но легкомыслие и хвастовство и лесть;
Нам похвалою то и славою быть мнится,
Коль в нас чему-нибудь простой народ дивится.
Не мог скрыть *Демосфен* веселья своего,
Как женщины «*вот он!*» шептали про него.
Младенца удивить бездельницей не трудно:
Пустому может он дивиться безрассудно.
Обманщик знатоком покажется наук,

Как насмеется он глазам проворством рук.
Но паче похвала нас та увеселяет,
Котора у живых вокруг ушей летает.
Что хочешь про меня тихонько рассуждай.
Лишь только во глаза хулой не досаждай.
Аммонов жрец, дары приняв, в уме смеялся,
Когда ответ его правдивым показался
Нехитрому царю, что он *Зевесов сын*;
Хоть изо всех богов скончался он един.
Весьма безумен *Крис*, имея столько злата,
Что титла не купил Юпитерова брата.
Скажи про *Юлия*, что в Риме он тиран,
Что вольность он теснит несправедно граждан;
Но меч в его руке обуздывает слово,
Отцом его признать все общество готово:
Он держит на своих отечество плечах,
Он может лишь один в колеблемых стенах
Пороки истребить, восстановить законы;
И нет, кроме его, другия обороны.
Но только слух прошел, что *отчества отец*
Достойный получил делам своим конец,
То льва бездушного поверженное тело
Трусливый попирает осел ногами смело.
Уж *отчества отца* тираном стали звать:
Доброты прежние пороками считать.
Вот как народному верить себя языку,
Ласкательным словам, плесканиям и крику,
Где действует одна надежда или страх,
Где искренности нет, ни истины в сердцах!
Но что бесстыднее! фортуна обижаем,
Как власть ее своим советам причисляем:
Что счастьем сделалось, что случай учинил,
Величеству своих приписываем сил.
Лисица петуха всего съест не успела,
Как волка близ себя внезапно усмотрела:
Нарочно для тебя я берегу, дружок;
С тобою, говорит, последний съем кусок.
В свою влечем хвалу, хоть наше, хоть чужое:
И мелочь самую мы больше кажем втрое.
Но много ли таких мы найдем на земле.
Чтоб честность предпочли напрасной похвале;
Чтобы имели дух и сердце благородно
И не смотрели бы на мнение народно;
Чтоб не прельщались ни суетной хвалой,
Не оскорблялись бы безумною хулой;
Чтоб совести одной и правде угождали
И на бесстрастный бы потомства суд взгляди:
Где злобы, зависти, ниже потачки нет.
Где малым и большим по выслуге ответ;
Чтобы держались во всем его устава,
Что честь и похвала, величие и слава
Во добродетельных заслугах состоит,
С любовью ко своим и прочим без обид;
Чтоб твердо верили, что все дела честные
Хоть в жизни хуляются от ненависти злых,
Иль меньше хвалятся по существу заслуг,

Но как из брэнного изыдет тела дух,
 Тогда им должная цена постановится
 И мрачным никогда забвеньем не затмится!
 Ты к славе, меценат, надежней путь избрал,
 Что мусы возлюбил, что зреть их предприял:
 Обычаем худым, растленной нашей воле
 Чем можно пособить и чем исправить боле?
 Сие осталось едино врачество,
 Душевный исцелить недуг и естество.
 Прошли те времена, прошли златые веки,
 Как разумом простым водимы человеки,
 Не ведая наук, незлобие блюли,
 И от неправд себя, как яда, берегли.
 Но в наш несчастный век проклятые пороки
 Взошли на самый верх и степень превысокий:
 И некуда уже взойти превыше им;
 То ж будут делать впредь, что мы давно творим.
 Имеем от младых ногтей мы свет природный,
 Который нас ведет на путь, блаженству сродный;
 Имеем семена естественных доброт,
 Которы дать могли б плоды своих красот;
 Но вредные людей испорченных примеры,
 И в ложных мнениях погрязши, лицемеры
 Природу нежную младенческих умов,
 Доброту красную естественных даров
 В противну сторону напрасно преклоняют:
 Где был бы красный цвет, там терние возвращают,
 Как взрытая земля, что влагой смягчена,
 Удобно внутрь себя приемлет семена,

Первый номер газеты «Московские ведомости». 1756 г.



Так ложны мнѣнія, в младый ум впечатлѣнны,
Нетрудно могут быть надолго вкорененны.
Когда же пустится их корень в глубину
И отрасли свои распустил в ширину;
Когда с годами вдруг чрез возраст укрепитя,
То скоро ли тогда сие искоренится?

Блажен, кто, получив родителей честных,
Воспитан в строгости обычаев святых,
Издетска научен знать, хвально что, безчестно,
И к честности кому течение известно:
Сей радость есть отцов, надежда матерей,
Родства сей красота и честь семьи своей!
Не игры на уме и не непостоянство,
Не вкус и щегольство, пирушки и убранство;
Но польза общества, потомства похвала,
Чтоб вечность получить чрез славные дела.
Таков был Александр в свои младые годы,
Пока не покорил роскошные народы!
Победы славные и тяжкие труды,
Походы дальние — ученья суть плоды.
Таков был Сципион для отчества любви:
Он в жизни не жалел ни здравия, ни крови;
Но кто тому виной, что жизнь он презирал?
Родитель в том его наставил, воспитал.

Опека добрая, прилежное ученье,
Пример похвальных дел, честное обхожденье,
Незараженное сообществом худым,
Все может произвестъ в младенцах, что хотим.
Сие и добрую природу утверждает

Билет для входа в Кунсткамеру.



И склонную ко злу способно исправляет.

Но много ли таких родителей сыскают,
Чтоб честности детей старались наставлять?
Неправедным житьем, продерзкими делами
Дорогу им ко злу показывают сами.
Когда ты, деньгами обклавшись, дрожишь,
Полушки нищему одной не уделишь.
Надеешься ль, чтоб сын не знал к богатству страсти;
Чтоб бедных искупал из скудости, напасти?
Когда насильственно обидишь немощных,
Без всякой жалости смотря на слезы их;
Когда их образом теснишь бесчеловечным,
То сын твой будет ли, то зря, мягкосердечным?
Ты в роскошах уснул, во сладостях погряз,
Друзьям и недругам ты лжешь на всякий час:
А хочешь, чтоб был сын воздержан и умерен,
Чтоб тайну сохранял и в слове был бы верен.
За то же ремесло, за кое и отец,
Примается и сын, смотря на образец.
Купеческий сынок смышляет, как взять втрое:
Смекает, как продать за целое гнилое.
О картах и дитя с слугами говорит,
Которого отец над оными сидит.
Как язва, так пример пороков переходит
И, заразив отцов, детям болезнь наводит.

В том крепость дивная, божественный в том дух
Который, таковы соблазны видя вокруг,
Но к оным во младых летах не поползнется,
И от прельщающих приман сих отречется.
Сей возраст мудрые толь свято люди чтут,
Такую честь ему по правде отдают,
Что дом тот почитать за храм велят священный,
Где отрок есть, в уме еще несовершенный;
И ничего чтобы не делать перед ним,
Что стыдно было б нам соделать пред другим;
И чтобы ничего при нем не говорили,
За что б нас правильно другие осудили.

Язычники нам сей оставили закон.
В какой, о небо! стыд нас всех приводит он,
Что, будучи святой мы верой просвещенны,
Имеем сей закон в забвенье погруженный;
И к службам хитростным приучивая псов,
Наставить не хотим к полезному сынов!
На вас, родители, потребуют отчета,
Что ваших жизнь детей позором стала света,
И что в беспутствах дни свои ведут они,
Причиною тому лишь только вы одни!

Когда кто от детей почтения желает,
Тот «я отец твой!» им всегда напоминает.
Но чем они должны тебе? иль что зрят свет?
Но их испорчен нрав: и свет их сей кланет.
Иль что вскормил ты их, как были малолетны?
И в сем уста твои должны быть безответны:
Природа и закон не только что своих,
Воспитывать велит младенцев и чужих;
И сами варвары к ним не жестокосерды;

И звери лютые ко детям милосерды.
На *Ромулов* с горы и *Ремов* плач сошла
Волчица и сосцы младенцам подала.
Тогда ты их отец и присный их родитель,
Когда им в детстве был наставник и учитель,
Когда ты разум их ученьем просветил
И к добродетели дороги им открыл,
Без коей самая жизнь мука и досада,
И коя в самых нам несчастьях есть отрада;
Когда их научил зло с благом различать,
Держаться истины, пороков убегать.

Сие родителей о детях небреженье
Чрез собственное ты об оных попеченье
Стараешься теперь исправить, меценат!
Един ты обще всех приял в опеку чад,
Представив мудрый твой совет Петровой дщери:
В Минервин храм отверз российским детям двери
И случай подал им свой разум просвещать:
Познанием наук себя обогащать.
Бессмертная твоя к отечеству заслуга
Не увядет, пока земного станет круга.
Не на тщеславии основана она,
На пользе истинной людей утверждена:
Россиянам она приятна и полезна,
Похвальна от чужих и варварам любезна.
Сей истинной хвале ничто не повредит;
И зависть оную и злоба подтвердит.
Ни в жизни ты притворств в хвалах не опасайся,
И славы по конце правдивой дожидайся:
Деяньем сим всегда себя увеселяй,
И лучшия хвалы ты в жизни не желай.

Г. Н. ТЕПЛОВ. ИЗ «НАСТАВЛЕНИЯ СЫНУ»

<...> **Правило 1-е: будь добросердечен.** Первое и главное для всей жизни человеческой счастье — сердце праводушное, благополучен тот будет навеки, кто с добросердечием родился и кто сей природы не токмо худыми примерами не потерял, но еще воспитанием в душе своей паче утвердил. Недовольно, что от сего источника собственное удовольствие и жизнь благая истекает, но и всегда за сокровище для других он почитается. Такой человек чувствует несчастье ближнего и терпит равно с теми, кому он помочь не в состоянии. Не толкует он ничего во зло и пороки чужие закрывает. Очи его слепы на слабости ближнего, а уши глухи на оклеветание, внушаемое коварством. Ежели кого одобрять, он тогда говорит, а ежели свидетельствовать злословящему, тогда он нем. Благополучным себя считает, когда устроил другому благополучие, и радуется всегда чистосердечно. Когда он видит вражду между двоими, крушится непритворно и примиряет их усердно. Воздерживает ярость ненавидящего и отдаляет его мщение. Он не знает имени зависти, а всякому доброжела-

тельствует; несчастных утешает, а обремененным делает облегчение. Скажу тебе правду: в наш век таких людей мало, но приближающихся к ним число довольно найдешь. Затверди сии добросердечного начертания в уме твоём и с людьми в обхождении употребляй их по силе лет и смысла твоего. Привычка к добру также нечувствительно в сердце твое войдет, когда жить станешь с примечанием твоих поступков, как и пороки, которые вкрадываются в сердца никаким воспитанием необузданные.

Правило 2-е: опасайся быть корыстником на вред ближнего. И мал и велик — все действуют имея за цель корысть свою, а без нее никто не движется. Она так возведена высоко, что тот и разумным человеком почитается, который на нее делит своими действиями, а иначе его простаком назовут. Ты не разумей здесь корыстника, который ищет прибыли в имении и во всем другом святыми правилами каждому разумному не заповеданном, но разумей такую лихву, которую многие за счет ближнего, на убыток, а иногда и на вред совершенный приобрести стараются. Представивши себе такого корыстника, памятуй, что его характер презрителен. В нем ты много пороков найдешь, от которых честный человек иметь должен отвращение. Корысть такая за

Г. Н. Теплов.



адской порошок почитаема быть должна, который в глаза бросается для заслепления, чтоб не видеть ни правосудия, ни должности, ни чести, ни дружбы. Она истребляет обязанность взаимную, родственникам приличную, она жену с мужем в раздор приводит, она злобу между братьями возрождает, она огонь дружбы между приятелями погашает и многих заставляет поборствовать иногда неправде. Она делает многократно ласкателя рабом, бойца — отчаянным, духовного — лицемером, а купца — обманщиком. Кажется, что корысть — такая госпожа, которая все другие страсти за собою в порабощение ведет. Словом, действующий по корысти почитает себя за разумного, а в самом деле он подлец и насыщает всеми мерами свою алчность. Портрет сей многим есть общий потому, что бесстыдно порок захватывает на себя имя добродетели; но ласкатели и харю <лицо> часто называют красотою, а ты старайся честного человека черты на лице твоём сохранить.

Правило 3-е: будь экономом, а не будь скуп. Когда человек не имеет довольного богатства, то может быть нетароватым без его порицания. Добродетель и то, когда кто умеет сберечь приобретенное и добрым экономом быть, есть знак разума. Хотя обыкновенно нетароватый идет в число скупых, средства, однако ж, другого нет заслужить имя хозяина. Таким образом, сего рода скупой человек прикрывается именем эконома, потому что скупой есть имя порицательное. Но когда неумеренная бережливость есть добродетель, то и согласиться надобно, что она ближайшая соседка пороку, потому что она в близком свойстве с прямою скупостию; ибо по большей части, где великая бережливость имения внедрилась, тут и жадность к оному зародилась. Кто не любит сам давать, тот обыкновенно привыкает сам брать, а наконец, и все неистовые способы употреблять к набогачению своему. Сие свойственно не одним хитрецам, но и глупые люди собирать умеют богатства. Разумный только один умеет оное издерживать. Скупец и в богатстве нищим проживает, но прямой экономом собирает имение без стяжания и по мере достатка расходы свои ведет. Приметить можно, что дети, которые с малолетства бывают на все вещи бережливы, часто случается, что к старости перерождаются в великих скупцов, и что ежели кто в двадцать лет всего жалеет, тот в тридцать куражу не имеет за своим собственным столом в сытость наедаться, а все оставляет на утро. Обыкновенно, кто смолоду любит страстно рюмку вина, тот под старость бывает нередко пьяница. И потому кажется, что такая экономия приличествует только старикам или старухам, которые всегда робость имеют, чтоб на предки не быть в нужде. Но прямая экономия всегда обитает между чивостию и скупостию и к той и другой стороне никогда не склоняется. Тут на-

добно иметь разбор разумный и особое знание, которые качества редко в месте случаются. Есть род экономов у нас и такой, который прямо назваться не может: смрадные скупцы, и их за то, что при великом своем достатке живут в домах гнусных, пьют скислое, а едят вонючее, одеваются изношенным и детей воспитывают в таком же неблагообразии, называют великими хозяевами. Сие смешенное имени происходит от недовольного понятия, в чем состоит прямая экономия и что есть гнусная скупость; разумные попечители питомцев прежде стараются обучить правилам хозяйства, нежели о глубокости знания латинского языка в них трудиться. Они видят, что невежа богатый всегда выступает перед ученым бедным и что люди с талантами, имеющие недостатки в пропитании, ему раболепствуют. <...>

Правило 5-е: преодолевай нищету трудом и прилежанием. Нищета часто человека приводит к пороку, когда он твердости не имеет ее сносить. Сверх того, она лишает иметь то, к чему натура его привыкла. Она погружает в вечную темноту часто добродетель и полезным замыслам гробом вечным бывает. Она задушает в самом рождении благородные мысли и презрением покрывает дух разумной души. Многие отличные разумы мертвы между живущими, или, так сказать, живые погребены во тьме нищеты; и словом: никакая ясная свеча не испускает света из фонаря непрозрачного. Некто из древних римских писателей сказал: боги все трудам продают и делателям помогают. Нет другого соперника нищеты, как труд и прилежание. Не ослабевай в них. Памятуй, что сии два качества, соединенные с природным твоим разумом, доведут тебя быть надобным тому, кто от своего изобилия тебе поможет, а ты невзирая на то, что многие скорее помогают в бедности слепым, немым и увечливым, нежели ученым. Большая часть боятся сами умереть такими, а не боятся в бедности умереть учеными.

Правило 6-е: в счастии и несчастии взирай на будущее твои времена. Не меньше надобно разума иметь, как вести себя в благоденствии, нежели твердости, как сносить несчастье. Всякий человек желает быть благополучным, а редкий умеет благополучием пользоваться. Не все, что блещет, то золото, и не всякое благоденствие человека делает счастливым; и самые лучшие люди в счастии нашли иногда источник своего неблагополучия. Часто благоденствие рождает жизнь неприятную, потому что счастье долговременное наконец бывает без вкусу, а печальная и малая перемена весьма чувствительна по своей новости. Таким правилом надобно памятовать одно: в благоденствии не забывать, что можешь быть несчастлив, а в несчастии утешаться, что может и к тебе прийти счастье.

Правило 7-е: будь храбр, а не будь забиячлив. Уязвленная

честь всегда возбуждать должна храбрость. Кто сего свойства не имеет, тот прямо не знает хранения чести. Напротив того, храбрость без причины есть забиячество, которое оную вовсе помрачает. Она, будучи законная, есть природное в человеке ободрение, которое ополчает его по разуму на своего обидчика. А забиячество — предрозость приобретенная, то есть происходящая от худого воспитания, у которой при отпуске из общества обыкновенно проводником бывает палач. Первая прилична благородным, а последнее — грубым невежам, хотя и в благородстве рожденным. Недостаток рассудка многих заставляет посредством забиячества искать себе славы храброго человека. Но ты знай, что забиячество есть характер подлой души и что прямо храбрые люди оно презирают не меньше, как и прямых трусов. Есть много, однако ж, безрассудных людей, которые сей порок нарицают добродетелью. За лучшее средство почитать надобно, чтоб не смешать своей храбрости с другого забиячеством, удаляться от общества забияки.

Правило 8-е: не допускай до себя никогда худых привычек. Древние уже правоучители заметили, что привычка в человеке то же, что и природа. Ежели привычка добрая, то служит залогом концу благу, но ежели дурная, то она такие узы, от которых редко кто освобождается. Она вкрадывается от юности так неприметно, что тогда только ее узнаешь, когда уже властительно тобою обладает. Не решено еще любомудрыми, по крови ли приходят склонности душевные или по воспитанию; но явные в человеке пороки, чему бы ни должныствовали свое начало, привычке, однако ж, должныствуют свою необузданность. Кто крайне лжив, скуп, горд, ленив, праздноделен и пр. так же как и кто головою мотает, лицом кривляется, походку имеет странную, жрет не в меру, пьет до вреда своего или до безумия, закуривает и занюхивает себя табаком, голос отворяет в обыкновенных разговорах не в меру и пр., тот все сие привычке долженствует и сам свою природу в душе и на теле небрежением в неустройство привел. Ежели говорить, что у него отец был лжив, походку имел такую же и тому подобное, подражанию неприметному, в небрежении оставленному от юности, то припиши, к которому человек от младенчества имеет склонность, от которой найдешь и тут всегда привычку, превращенную в природу. Человек разумный крайнее старание в том прилагает, чтоб не поработить себя такой властительнице, которая душе благородной, хотя, впрочем, добродетельной, наносит пятно, помрачающее нрав приятный, или наносит безобразие красоте совершенной. Сии, однако ж, привычки суть меньшего уважения, а есть такие, которые производят пагубные следствия и перерождают человека в адское исчадие: испорченная привычкою душа защищает всякое беззаконие, по-

мрачает разум, правые души, ослепляет понятие истины, ожесточает совесть и самый порок в добродетель превращает. Привычки такие ведутся на вред ближнему без примечания, отъемлют вольность без сожаления и заключаются в узы, которых тягости, ослепленная, не чувствует. Представь себе богатого, бездетного, гнусно живущего, корыстного, правую сторону обвиняющего разбойника, без ярости мучающего на смерть человека; скудость, корыстолюбие и склонность к кровопролитию суть те привычки, с которыми он не родился, но они поселились в душе его от воспитания, от небрежения и от зверского сожигтия с подобными, которых он за пример себе поставлял. И ежели беспрепятственно они сопутствовали тому, кто им попустился, то и вселилася в него новая природа, с которою он не родился, а умирать с нею должен. Стерегись такой заразы в самой твоей юности. Всякому злу корень скоро распространяется, и всякое зло скоро прозябает. Примечай в самом себе привычку в зарождении ее и власти ей никогда над собою не давай. И добрым и худым быть смалу люди привыкают. <...>

Правило 11-е: здоровье свое почитать первым для тебя сокровищем. Повседневно видим таким нерадивых, что болезни их одолевают, а сохранение здоровья ни во что они ставят. Кажется, что довольно бы тот был заплачен, кто проживает век без страдания. Великость, богатство и честь на свете все приторны и ни малого вкуса в себе не имеют, ежели человек лишен первого сокровища, то есть здоровья. Человека, страждущего в болезни, ничто не веселит и ничто не утешает, кроме облегчения. Когда он болен, все вкусу его противно; но не видишь ли, однако ж, сколько таких, которые насильно стараются быть больными? Едят без гладу, пьют без жажды, ночи просиживают без принуждения, согреваются без холоду, сидят без движения и движутся с излишним утомлением — словом, все делают будто бы нарочно с тем, чтобы лишить себя бесценного здоровья. Таких обыкновенно без старости старость нечаянно постигает. Все его члены вскоре одряхлевают, ослабевают мысли, и желанья пресекаются. Тогда он сам признает все сие плодами прошедшей развращенной своей жизни. Тогда, увидя век свой сокращающийся прежде времени, почувствует, но поздно, что сам прилежно и заблаговременно о том старался... Ты распоряжай дни и часы твои благовременно. Знай, что день и ночь оба ровно к сохранению здоровья устроены.

Пища и питание не всякому и во всякое время равное питание делают. Все твои дела, разделенные часами и благовременно, порядочнее оканчиваются и здоровья твоего не изнуряют. Раздели сутки твои на спокойное содержание твоего тела и на все твои упражнения. Более сделаешь порядком, нежели хватка-

ми в делах, заменяющими один час на другой. Ложись спать не поздно, а просыпайся рано. Утреннее время разум чистый и к трудам удобный тебе представляет. Стол свой имей в час уреченный и насыщайся не в полную сытость. Переложное в котле ни вскипеть, ни перевариться удобно не может. Время и мера для пищи и питания не отягчат твоего желудка. Старайся, чтоб из порядка, тобою принятого, ни один день не выступил доколь то в твоей воле остается. Привычка такая в юности делает тебе другую природу на всю твою жизнь, и старость награждает твое юности о себе попечение. <...>

Правило 14-е: старайся говорить кстати и смыленно. Обыкновенно те, которые говорят много, рассказывают пустошь, а временем и дурачество. По справедливости болтун заслуживает таковые себе имена прилагательные. Его рассказы столь неумеренны, что часто другим времени не дают тронуть своего языка. Распространенное его горло оглушает всех слушателей, а звонкий голос отнимает ему самому время взвешивать всякое слово и рассудить, что он говорить намерен. Речь его, по привычке скоро текущая и никакую мыслью не удержанная, в воздух один ударяется, а ушей слушателей не наполняет разумом. Она в беседах барабану подобна, который дробь стучит, а музыкальных тонов никаких не издает. Такой человек более не годится в беседе, как для произведения шума. Он мыслей своих не разбирает, а и того меньше изречений. Все слова выплевывает из уст своих сырые и тем самым отвращение прочих навлекает. Чему верит, чего желает и что знает худо или добро, ложь или правду, все говорит без разбору и без остановки, а чтоб скорому обороту своего языка, так как мельничному жернову было что молоть, подсыпает и то, чего вовсе не знает. Умножает рассказы такими ненадобными обстоятельствами, что напоследок и сам забывает, о чем говорил. Заболтавшийся много и глух и слеп на присутствующих, которые давно скучают его болтанием. Все покидают его неприметно, а он опамятуется тогда, когда уже увидит себя без слушателей. Примет сей характер посмеянию достойный. Не все, что ты знаешь, сряду говори. Примеряй твое знание к настоящим в беседе разговорам. Разум без знания ничто, но знание без свойственного употребления посмеяние. Складная речь без мысли есть пустое болтание, а складная мысль, украшенная чистою речью и кстати, то прямое разуму твоему украшение.

Правило 17-е: не будь упрям по своенравию, а соглашайся по разуму. Уметь соглашаться со мнением других есть знак благоразумия. Упрямство — свойство такое, которое прилично скотам, дуракам и младенцам бессловесным. Искусный кормчий всегда свой парус опускает, когда ветер дует не в меру. Редко

кто выигрывает дело одним своим упрямством, напротив того, все, почитай, оное теряют или и вовсе бывают несчастливими от сего порока. Человек разумный старается уступать другого мнения с благопристойностью, дабы наконец тем ближе приступить к справедливости того, о котором бывает прение. Есть характер таких людей, которые, когда единожды вызвались с мнением своим, по смерть уже от оногo не отступают, во что бы им то ни стало. Честь, дружба и репутация никакого препинания им в том не делают. Таких обыкновенно девиз бывает: лучше переломиться, нежели согнуться. Сия страсть начинается от самого младенчества и по мере лет так высоко в человеке возрастает, что напоследок не меньше, как природа в нем становится. В младенце она происходит от желанья воли и свободы в своих прихотях, а в возрастном от самолюбия. И как в первом сокращается или вовсе искореняется воспитанием, так в последнем остается вечным его пороком. Всякое тебе учение и всякое словесное наказание кажется в младых твоих летах припуждением. Оно отымает твою волю и свободу, которые ты слепо своими руководителями почитаешь. Сие есть один, однако ж, способ исцелить тебя от будущей язвы, которою многие самолюбцы заражены. Согласуйся теперь наставлениям твоих воспитателей — не будешь упрям после в советах. Доброго и благоразумного суди имя за-служишь навеки. <...>

Правило 20-е: желанья и вкус с летами переменяются. Живое жизненное всегда и мыслит, поговорка площадная. Как жизнь с летами преходит, так и желанья и вкусы в человеке убывают. Молодого веселят все те забавы, которые чувствам его удовлетворяют, и он с летами от одних к другим стремление свое направляет. В прехождении же века своего чем прежде веселился, то ныне осмеивает, а что впредь ему будет приятно, тому не верит или вовсе о том и не мыслит. Но как во всех человеческих склонностях, юность не поставяет меры, то одно правило остается на их ограничение: взирать надобно на леты, к старости приближающиеся, других и от них заключать умеренность своих стремлений в юности. Человек, в старость пришедший, мыслит обыкновенно о спокойствии духа. Он знает из прошедшей своей жизни, что пороки одолевают добродетель и что большая часть людей, по его вычету, исключаются уже из его сообщения. Чем больше к развращенной жизни был привязан, тем паче в старости се возненавидишь, памятуя, в какую цену приходила его слава и здоровье. Роскошь стола его совсем ему кажется излишняя, потому что чрево его малым насыщается, и роскошь упитанным его не сделает, когда старость тело сдает и червям снесь и из оногo готовится. Он не думает больше о путешествиях и посещениях отдаленных, которые единожды уже сде-

лал. Везде ему скучно, и всякая новость — повторение прошедшего. Расходы и набогачение суть излишнее для него попечение первое суетно, а другим пользоваться поздно. Так все происходит, сколько ни казалось оно лестно. Служба добродетельная Отечеству, верность государю и благотворение ближнему — те одни юности и старости до гроба сопутствуют, с его утешением. Мысля о живом, мысли и о конце жизни. Таким образом, не сделав много расходу в здравии твоём от юности, на старость сделаешь продолжение твоей жизни.

Правило 21-е: жизнь благополучная. Кто в тишине духа живет, тот живет спокойно и благоденственно. Честь и богатство возвышенные когда отъемлются, чувствительности больше наносят, нежели услаждения, когда кто ими ослепляется. Глубина ямы всегда бывает равна выкопанному из нее холму. Часто случается, что и достоинства или приобретенные таланты разума, излишние перед другими, иметь опасно. Закрывая своими качества других, делаютя тебе сокрытые чрез то враги и непримиримые злодеи. Добрые свойства в человеке и отличные таланты разума есть то же, что и честь и богатство, потому что первые ведут к последним, но никто о совершенстве своих меньше не думает, как бы твои ни велики были, а особливо ежели они одного рода. Не сумнительно, что ласка фортуны безмерно человека обольщает, знай, однако ж, что отвращение ее несносно ее любимцам. Ты, идучи по стезям твоих достоинств, не думай, чтоб всяк пути твои правыми нашел. Большее число невеж, которые о тебе судят, всегда преодолевают самое малое количество разумных. Как бы тебя ни далеко возвели твои достоинства, многие скажут, однако ж, что не по пути к тебе они пришли и что чуждое добро ты отъемлешь. Ни честь высокая и богатство чрезмерное, ни похвала за твои таланты счастья беде еще прямого не составляют, а отъемлют часто твое только спокойствие. Умеренность в первых, а собственное удовольствие последними в тиши твоего духа, то прямое твое счастье и жизнь благополучия.

**В. Н. ТАТИЩЕВ. «ИНСТРУКЦИЯ О ПРЕПОДАВАНИИ
В ШКОЛАХ ПРИ УРАЛЬСКИХ ЗАВОДАХ». 9 ноября 1736 г.**

Учреждение, коим порядком учителя русских школ пмеют поступать.

1. Учитель есть человек, которой детей читать и писать или иным каким наукам и познанию полезных правил и жизни человеческой обучает. И для того он, яко един отец им обсчий вместо многих родителей. Он должен по совести не токмо в их предприятном учении, но во всех делах, обхождениах и поступках

твердое и прилежное надзирание и попечение иметь, как отец о суских детех. И им без лености и продолжения все ясно и внятно добрым порядком и наставлением показывать. Но как известно, что младенцы образы жития старших над собою от видения приемлют и по тому прилежно следуют, того ради должен учитель быть благоразумен, кроток, трезв, не пьяница, не зершик, не блудник, не крадлив, не лжив, от всякого зла и неприличных, паче же младенцем соблазненных поступков, отдален, чтоб своим добрым и честным житием был им образец, ибо в противном случае как пред божним, так е.в. судом ответственность за всякое преступление и соблазн должен.

2. Учители должны каждодневно в школу приходить прежде прихода учеников; и если где учитель не один, то наипаче молочшей повинен то чинить, дабы столы и скамьи, осмотря, в порядок поставить, школа чтоб чиста, а зимою тепла, чада и смрада чтоб никакого не было, и ежели что не исправно, то исправить, книги учебные, которые в шкапах хранятся, по местам разложить и все к приходу их изготовить. Если же которой учитель то презрит, то за едино умедление жалованья за неделю лишен будет.

3. Ученикам собираться в школы летом, апреля с 1-го сентября по 1-му, поутру точно 6, после обеда 2, выходить до полудни 10, в вечеру 6 часов; зимою, т. е. октября с 1-го марта по 1-е число, приходить по утру 8, после обеда 12, выходить по утру 11, в вечеру 3, весною и в осень, т. е. в сентябре и марте, до обеда 4, после обеда 3 часа учиться.

Но сие разумеется о младенцах не меньше семи лет, которые же меньше семи лет, тем убавить как пред полуднем, так и по полудни полчаса и более, смотря по состоянию каждого.

Самые же малые лет пяти и до шести не имеют долее сидеть как 2 часа споряд, дабы вдруг сидением не отяготить и науки им не омерзить, некогда же и между учением может учитель на полчаса младенцем допустить погулять.

4. По собрании учеников в школу должен каждой учитель всех своих учеников, по росписи пересмотря, посадить и прочитывать им гласно и внятно одно зачало из Новаго завета, положеннаго на тот день, а имянно: поутру из Евангелия, по обеде из Апостола и потом предписанную молитву, а в среду же и субботу часть ис катехизиса *... чтоб всякой мог слышать и розуметь, и потом начинать учение. Пред отпуском же каждодневно всем ученикам за учителем говорить «Отче наш».

5. В учении младенцем должен учитель начинающим азбуку

* Катехизис — книга, содержащая краткое изложение христианского вероучения, обычно в форме вопросов и ответов, предназначенная для начального религиозного обучения.

каждому сам начинать, и когда ему несколько раз буквы покажет, тогда посадить его подле такого, которой уже основательно знает, и приказать, чтоб оной за ним надсматривал и как к показанию, так изречению букв поправлял, а за тем учителю по часту самому надзирать и поправлять, однако ж без всякой злобы и свирепости, но ласкою и с любовью показуя себя как словами, так и ноступками любительно и весело. И когда будет чисто слова выговаривать и их познавать, тогда его похвалять и скорым науки окончанием обнадеживать. И потом же, как многие буквы познает и складывать начнет, тогда учитель может одному из учеников приказать, чтоб начинал, дабы ему к надзиранию других и прослушиванию уроков времени не оскудевало.

6. Чтоб ученики охотнее и скорее обучались и меньше принуждения и надзирания требовали, давать им мерные уроки, и как скоро которой урок свой выучит, так скоро его с похвалою из школы выпустить, чрез что и ленивым подается лучшая охота. Для котораго сперва давать уроки малые, и когда способность в котором усмотрит, то по малу может учитель прибавлять, а ленивых наказывать, однакож не столько битьем, как другими обстоятельствами, а наипаче чтоб более стыдом, нежели скорбью, яко стоя у дверей, привязану к скамье и на земли сидя кому учиться, или неколико часов излишнее пред другими в школе удержать. И если такие наказания жестокосердому недостаточны, тогда биением по рукам или лехкою плетью по спине, токмо того весьма храниться, чтоб часто не бить, ибо тем более побои в уничтожение и ученики в бестрашие приводятся. В голову же и по сече учеников отнюдь не бить.

7. Хотя до сего времени неискусством учителей в обычай введено младенцев обучать азбуке, потом часовник, псалтирь, некоторые же Апостол и все оное наизусть, а потом писать, которым многих лет до пяти удерживали. И хотя оные книги наизусть читать могли, но силы слов не разумели, писать правильно и порядочно ничего не умели.

И для того ныне оной порядок отставить, а учинить тако:

Как скоро младенец азбуку выучит, то ученику начать для чтения и показания склада учить книжицу, сочиненную преосвященным архиереем новгородским Феофаном Прокоповичем, имянуемую «Первое учение отроком», и «Зерцало человеческого жития», сочиненную его превосходительством графом Брюсом; которыми при чтании купно знанию закона божия и честного жития обучаться будет. Но и при том, когда младенец каковлибо стих выучит, должен его учитель спрашивать, преж читая ему, знает ли он силу того, что учил, чтоб простым наречием и хотя непредписанным порядком пересказал. Но при том учителем смотреть, чтобы ученики читая не кричали, но каждый ти-

хо про себя, чтоб другому в разумении, а учителю в прослушивании не мешали.

8. Как скоро объявленные книжицы ученик складывать станет, тогда немедленно начать ему и писать буквы по черной деревянной доске... мелом, которой во всех школах иметь казенной. Оные буквы писать крупно, чисто и хотя разными, но употребляемыми почерки. И для того письма уделять им после обеда час из вышеобъявленного времени.

А когда внятно читать и все буквы хорошо писать будет, тогда начать ему склады писать и сусче ис тех же, или для того нарочно сочиненных, книжек, тогда все время после обеда оставить к писанию, токмо следующее накрепко хранить: 1) чтоб в письме странных букв и много на веру строки, а особливо целого слогу не писали; 2) чтоб одну букву з другою не мешали. И для того учителем грамматику и при сем приобретенныя правила прилежно читать, разуметь и хранить; 3) в начале всякого писания класть большую букву, потом також во всяком стихе начальную нечто побольше рядовых, а протчие все равны; 4) привыкать речь разделять точками, где дух переводить, запятыми, чтоб читающему вразумительно было; 5) строки вести прямо и между строк оставливать равно, в котором не малая письму краса есть, паки от младенчества правильно и порядочно писать и писанное читать привыкнуть. И для оных же слогов давать каждому ученику бумаги казенной по 6 листов и смотреть, чтоб оное как для себя, так для других впредь хранили, а сверх того могут, от Канцелярии черные бумаги брав, обучаться, токмо им бездельных сказок и врак писать отнюдь не допускать. Сверх же того могут от Канцелярии данные указы или дела набело переписывать.

9. Когда ученик довольно в писании основание положит, тогда начать ему писать и цыфирь, а по выписании оной час пред полуднем и час по полудни ходить в арифметическую школу... По научении же тройных правил начинать геометрии.

Для которого каждому ученику в школе давать инструменты казенные и бумаги 12 листов, на которой должен все учное в арифметике и геометрии записывать и хранить...

А понеже арифметики и геометрии учителя за недостатком есче не на все заводы определены, того ради оное положить на надзирателей работ тех заводов.

10. Понеже при заводах обучающимся для собственной своей пользы, чтоб в чины правления происходить и для пользы заводов, чтоб искусством надлежасчую услугу показывать и вновь пользы изобретая приносить могли, нужно разным необходимым к тому искусствам и ремеслам обучаться, — яко: 1) и главнейшее есть, руды по их внешнему виду познавать и внутрен-

нее содержание испытывать или пробовать и уведывать; 2) подобное сему механика, то есть хитродвижность, чрез которую научиться силу машин вычитать, оные вновь сочинять и с пользою в действо приводить; 3) архитектура или учение строепий, чрез что искусство приобретет, как всякое строение покойно и способно к намеренному употреблению заложить, крепко строить и с пристойною вида красотою отделать; 4) наука знаменования и живописи, к той же архитектуре и прочим наукам и ремеслам в помощь весьма полезна, понеже оная всех природных вещей сущую подобномерность в членах разуметь и паче свет и тень различать поучает.

И сии все от нижнего ремесленника и до высшего начальника каждому полезны и нужны.

Прочия же особливо ремесленникам нужны, яко: 5) камень резать и грани, ибо, добывая руды, достают различные камни, которые иногда многократно дороже стоят, нежели руды 1000 пуд, но за незнанием бросают; 6) токарное ремесло, как собственно каждому, так наипаче при заводах нужно и полезно; 7) столярное, 8) полярное; механикам и другим многим мастерам нужны, и если б кто сам работать не хотел, чрез оное удобнее о деле или сочинении рассказать и ремесленника научить может.

И для того, при всех заводах, где искусные учителя или такие ремесленники есть, всем, разделя время, по одному часу хотя и всякой день с переменами обучать, так, чтоб некоторые приходили в ту или другую науку до полудни, а другие после полудни, дабы учителя в наставлении могли исправляться и ученики за множеством напрасно не гуляли; но чтоб всякой учитель знал, в которой день и час кто у него обучаться имеет, должен главной той школы начальник роздать всем оным росписи...

И тако ученики всех оных по малу обучиться могут. А когда кто к чему большую охоту и способность явит, тогда ему к той науке более времени допустить, а в другом убавить или весьма отставить. И для того инструменты и потребные материалы неоскудно заготовлять и в готовности иметь казенное. Однако ж того смотреть, чтобы оные что-нибудь к заводам или на продажу годное делали, чтоб употребленные припасы напрасно не пропали.

12 *. Управительские, подьяческие и церковничьи дети, как скоро по-русски научатся чисто писать и читать, тогда об них присылать ведомости и их самих к главному межевсчику для определения в немецкую, а церковничьих в латинскую школы. И оных более осми лет возраста их нигде не держать, но поне-

* Так в тексте.

же церковничьим детям не столько нужно вышеобъявленные ремесла, того ради их некоторым... весьма не учить... но вместо того учить пению по нотам, дабы в церкви искусными певцы быть могли.

13. Хотя выше сего о приходе и выходе учеником часы каждодневные показаны, но из оного выключаются все праздники и торжества... Сверх же того, всякую субботу и среду, когда в седмице в учебные дни праздника не прилучится, после обеда не учить; ежели же в понедельник или другой учебный день праздник случится, то в среду и субботу по полудни учить... На дом ни для каких домовых праздников, яко именин и пр., не увольнять, но отправлять им во дни недельные. И ежели которой ученик в урошное время не придет и прогуляет час или боле, такого наказывать, кроме битья, по вышепоказанному в 6-м пункте; если же которой прогуляет без надлежасчей причины целый день, то оного наказать на теле; а буде которой более одного дня прогуляет, то у получающих жалованье вычесть втрое, по чему на учебный день приходит, и сверх того донести управителю, которой помогающего родителя или содержателя равномерно накажет; а которые школьники не получают, то с тех родителей доправить против равных ему получающих учеников, и сии деньги, записывая особно, употреблять на школьной расход со определенными на оную, и для того о всех прогулах в месячных ведомостях учителем писать имянно.

14. К научению грамоты и ко благонравию предпочтение подает немалую пользу. Того ради весьма нужно различать, чтоб высший в науке высшее и место имел и всегда у нижайшаго правую руку брал, несмотря его рода, ни возраста. Иsche преимущество: каждой в своей школе, в которой он другого превосходить имеет, яко ежели Симен пред Маркою в русской школе — он и первенствует, а когда Марко в другой науке, яко геометрии или знаменовании и пр., превосходит, то во оной школе паки Марко преимущество имеет.

Не в школе же должны все по классам друг друга почитать, и ежели из разных школ в равных классах вместе будут, то латинские пред немецкими и немецкие пред рускими да первенствуют.

15. Для лучшего обучения, когда в церкви служба божия бывает, каждодневно посылать в церковь по очереди по 2 или по 3 ученика, чтоб оные, как благовестить станут, не медля шли читать, что им от попа повелено будет; тако ж им и на крыласе петь как в обедню, так заутреню и вечерню.

А ежели которой прогуляет, то их наказывать учителю.

Во дни же праздничные должен всякой учитель всех своих учеников во время благовеста, собрав, отвести в церковь и по-

ставить порядочно подле крыласов, малых впереди, а больших позади, сам же над ними надзирать, чтоб кротко и чинно стояли.

А которые петь учатся, тех должен учитель пения на крылосы для пения поставить и смотреть, чтоб согласно и гладко пели, а чрезвычайно не кричали.

16. Принуждать учителям учеников своих к чистоте, дабы никто не умывшийся и не часавшись или с необрезанными ногтями в школу не явился.

17. Ни которому учителю позволено без ведома начальствующаго своего вновь учеников не принимать и принятых отпустить, ниже от учеников сверх своего жалованья что-либо не требовать и принимать.

18. Учителем смотреть, чтоб родители, сродники и те, у которых они стоят, их домашних работ работать не заставляли, например дрова рубить и пр. тому подобное, понеже тем не токмо они в науке напрасно время потеряют, но от оной тяжелой работы руки портят и чисто писать делают не способны, паче же от того в науке немалое продолжение чинится, что сии данные им уроки от сего помешательства не могут вытвердить, а учитель должен будет отвечать, что они долго в школе учатся.

19. Должен он все непристойные игры ученические пресечь и отрепшить, наипаче же которые и не вредны, яко играть сукою*, городки, мясом, бабки — от того будет рука трястися, а особливо в кулачки, от того может потерять глаз, яко карты и протчие игры, но чрез частое увесчание свое во учтивость их приводить.

20. Учеников надлежит обучать честно говорить, кланяться, старейших почитать словом и местом, не токмо во училище, но и в домах. Тако ж учеником пред протчими детьми, которые не учатся, почтение должно отдано быть, не взирая на чин отца его и лета. Но когда кто во училища придет человек знатной для дела или присмотру их науки, тогда учеником надлежит встать от своих мест, обратя лицо на приходящую персону, и по достоинству человека отдать поклон; ежели же он о чем спросит, дать отповедь кратко с почтением, а в лишней разговор и спор не вступать.

21. В содержании учеников учителя должны со младенцами не слабо и не жестоко поступать, прилежно и внятно не токмо наукам, ремеслам принадлежасчим, но и страху божию и благочестному житию поучать, с ними ласково поступать и более любовью, нежели страхом обходиться, и для того не токмо в школах, но и в гулянии за ними надзирали.

* Играть сукою: сука — род игры, называемой также касло, лунки, дубинки и пр.

А понеже ложь во младенцах и кража суть такие злодеяния, чрез которые, ежели во младости воздержаны не будут, то в возрасте от обычая вкоренившиеся всякое благонравное наставление изгоняют и благополучия лишают, того ради, онаго накрепко за учениками смотреть и по обличении, не упуская ни малейшего, наказывать; если же к тому злодеянию от родителей повод или причина дастся, то немедленно доносить командиру, которой родителей и содержателей накажет; если же учитель презрит, то сам, яко потакающий, постраждет.

22. Сквернословия и всякие непристойные слова не токмо во училище, но и вне весьма накрепко запрещается, и дабы во училище, кроме учения, лишних посторонних разговоров, а наипаче брани не допускать, за которое по пристойности вины и возраста наказывать.

23. Иметь ему об оных учениках, которые получают е.и.в. жалованье, каждого месяца именной реэстр, и против каждого имени в линейках отмечать — <не>явятца за чем, болен или за отлучением куда. И при подании списков к даче жалованья писать имянно о том, у кого сколько в учении дней прогульных и больших, и уволенных.

А ежели кто из учеников божиею волею разнеможется, то немедленно при письмах отсылать к лекарю и записывать имянно, с которого и по которое число был в лечении у лекаря, таже и от него принимать при письмах же.

24. Иметь ему каждодневальную записку всем о наличии, таже о отлучающихся и больных. И оной подавать по третям года, а к даче жалованья помесечно командующим, однакож, чтоб от ленности болезней не притворяли или напрасно без надлежащего надзирания и лечения скорби не умножали, должен учитель немедленно о заболевшем доктору или лекарю объявить и требовать, чтоб осмотрел и о содержании определил.

25. Е.и.в. указы и прочие письменные дела, которые они получали и впредь получать будут от начальств, оным сочинить числемой журнал с номерами и внести с такою подпискою — которого числа получены и под которым №. И содержать оныне всегда в чистоте под добрым охранением в удобном месте.

26. Иметь особливую книгу, в которая вносить отходяския доношение и прочия письма с номерами, каковы и с кем будут посланы подписывать, под которою подпискою должен он, с кем пошлется, в приеме того ко отдаанию росписаться.

27. Всем полученным казенным в школы книгам и инструментам иметь приходную книгу и всегда порядочно записывать. А которая отдаются ученикам для обучения, те записывать в расходную книгу, имянно, — кому какая отдана будет, — на ево

имя с роспискою, а которые писать еще сами не умеют, вместо себя кому они верят, а без записки в расход и без росписки приемщиков отнюдь никому не отдавать; и сказывать им, чтоб они приятые книги и инструменты всяк свое в чистоте и целости хранили и держали под страхом наказания и денежного пла- тежа.

**ИМЕННОЙ УКАЗ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАННОВНЫ,
ДАННЫЙ СЕНАТУ, ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КАДЕТСКОГО
КОРПУСА. 29 июля 1731 г.**

Хотя вечнодостойныя памяти дядя наш, государь Петр Великий, император, неусыпными своими трудами воинское дело в такое уже совершенное состояние привел, что оружие российское действия свои всему свету храбростию и искусством показало, а для произвождения определено было указом его величества, все младое шляхетство в гвардию с начала писать, и тем путем, яко школою, далее дослуживаться; також и в гражданских и политических делах не меньше старания прилагать изволил посылкою для обучения в чужие края, и потом в государстве указом определил, во всех коллегиях из шляхетства быть коллегии юнкерам, дабы из них, по примеру других европейских государств, чрез секретарство до вышних градусов* происходить могли, и напоследок Академию Наук учредил. А понеже воинское дело поныне еще в настоящем добром порядке содержится, однакож, дабы такое славное и государству зело потребное дело наивыяще в искусстве производилось, весьма нужно, дабы шляхетство от младых лет к тому в теории обучены, а потом и в практику годны были; того ради указали мы: учредить Корпус Кадетов, состоящий из 200 человек шляхетских детей, от тринадцати до осмнадцати лет, как Российских, так и Эстляндских и Лифляндских провинций, которых обучать арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, артиллерии, шпажному действию, на лошадях ездить и прочим к воинскому искусству потребным наукам. А понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна, також и в государстве не меньше нужно политическое и гражданское обучение: того ради иметь при том учителей чужестрапных языков, истории, географии, юриспруденции, танцованию, музыки и прочих полезных наук, дабы видя природную склонность, по тому б и к учению определять. И на содержание того Корпуса и учителей и прочих расходов определяем сумму 30000 рублей, и повелеваем нашему Сенату по сему учинить учреждение, каким порядком содержать и обучать, та-

* Градус — степень знания наук, положение, состояние, чин.

кож и штат как офицерам, учителям, и прочим при том потребным служителям определяя, из вышеписанной суммы по достоинству жалованье и к тому способной дом приискать, и нам о всем том немедленно донести; для известия всему шляхетству, сей наш указ публиковать, дабы желающие явились в Сенате.

ЧЕЛОБИТНЫЕ А. САМАРИНА И А. ЧААДАЕВА

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня императрица Анна Иоанновна, самодержица Всероссийская.

В нынешнем 1732 году Марта, а которого числа не упомяну, по объявлении вашего императорского величества указу о Кадетском Корпусе, записан я нижепоименованный в Москве у генерала и кавалера господина Салтыкова во оной корпус из недорослей кадетом. Не знал я, в каком подлинно оной корпус имеет быть порядке, и думал, что оной будет состоять против других полков; а ныне я, по прибытии моем в Санктпетербург, уведомился, что оной высочайше учрежденный корпус состоит в великих науках, и от младых лет в учение подлежащие, и по крайней мере хотя по-русски чтение и писание твердо знающие в оной требуются; и показано быть кадету не больше 18 лет и от богатого шляхетства.

А я нижеименованный имею от рождения своего 19 годов в доходе, а паче, что одержим головною болию и имею крепко затхлое в ушах слушание, в памяти своей весьма слаб, за которою едва по русски читать книги и то малость церковной печати; а писать, кроме своего имени, ничего не умею. К тому же нахожусь во владении за собой токмо одной небольшой деревни, шляхтич хотя и природной, но небогатой. Имею я за вышепоказанными моими резонами * сказать, что во оной вышепоказанной корпус никак не гожусь, для того, что во обучении высочайших наук могу время за моими вышепоказанными причинами препроводить напрасно. К тому и охоты по слабой своей памяти во оном быть не имею, а желаю служить вашему императорскому величеству в армейских полках.

А посему прошу ваше императорское величество милостивым указом повелеть, дабы меня нижеименованнаго в корпус не определять, а определить в армейский полк, отослать, понеже и отец мой служил вашему императорскому величеству в армейских полках.

Нижайший раб, недоросль Александр Иванов сын Самарин. Июня 1732 года.

* Резон — причина.

Всемиловнейшая, державнейшая, великая государыня императрица Анна Иоанновна, самодержица Всероссийская.

Служил я низжайший при дворе ея высочества блаженной памяти государыни царицы Парасковьи Иоанновны пажем безотлучно и без всяких подарений. А по кончине ея высочества отсланы: мой брат камер-паж для определения в армейский полк в обер-офицеры в Военную Коллегию, а я нижеименованный отслан по указу вашего императорского величества во вновь учрежденной Кадетской Корпус в кадеты. А понеже по указу вашего императорского величества определять велено в Кадетской Корпус от 12 и до 17 лет, а которым свыше 17-ти, то отсылаются в военную службу, для определения чрез государственную коллегию, а я нижеименованной имею от роду 18 лет и к тому не знаю языков и наукам никаким не обучался, и невозможно, чтоб во оном корпусе, за довольными мои летами, как-нибудь обучили.

Александр Чаадаев

ИЗ «ЗАПИСОК... ГАВРИЛЫ РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА»

ОТДЕЛЕНИЕ 1.

С рождения его и воспитания по вступлении в службу.

Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член верховного совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа. Отец его служил в армии и, получив от конского удара чухотку, переведен в оренбургские полки премьер-майором; потом отставлен в 1754 году полковником. Мать его была из рода Козловых. Отец его имел за собою, по разделу с пятерыми братьями, крестьян только 10 душ, а мать 50. При всем сем недостатке были благонравные и добродетельные люди. Помянутый сын их был первым от их брака; в младенчестве был весьма мал, слаб и сух, так что, по тогдашнему в том краю непросвещению и обычаю народному, должно было его запекать в хлебе, дабы получил он сколько-нибудь живности. <...> Примечания достойно, что когда <17> 44 году явилась большая, весьма известная ученому свету комета, то при первом на нее воззрении младенец, указывая на нее перстом, первое слово выговорил: «Бог!» Родители со взаимною нежностью старались его воспитывать; однако же, когда в последующем году родился у него брат, то мать любила более меньшего, а отец старшего, который на

четвертом году уже умел читать. За неимением в тогдашнее время в том краю учителей, научен от церковников читать и писать. Мать, однако, имея более времени быть дома, когда отец отлучался по должностям своим на службу, старалась пристрастить к чтению книг духовных, поощряя к тому награждением игрушек и конфетов. Старший был острее и расторопнее, а меньшей — глубокомысленнее и медлительнее. В младенческие годы прожили они под непрестанным присмотром родителей несколько в... городе Яранске, потом в Ставрополе, что близ Волги, а наконец в Оренбурге, где старший, при вступлении в отроческие лета, то есть по седьмому году, по тогдашним законам, явлен был на первый смотр губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву и отдан для научения немецкого языка, за неимением там других учителей, сосланному за какую-то вину в каторжную работу, некоторому *Иосифу Розе*, у которого дети лучших благородных людей, в Оренбурге при должностях находящихся, мужеска и женска полу, учились. Сей наставник, кроме того, что правов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафами, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно, был сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял толь-

Г. Р. Державин.



ко детей тверждением наизусть вокабул и разговоров и списыванием оных, его, Розы, рукою прекрасно однако писанных. Чрез несколько лет посредством такового учения разумел уже здесь упомянутый питомец по-немецки читать, писать и говорить, и как имел чрезвычайную к наукам склонность, занимаясь между уроков денно и пощно рисованием, но как не имел не токмо учителей, но и хороших рисунков, то довольствовался изображением богатырей, каковые деревянной печати в Москве на Спасском мосту продаются, раскрашивая их чернилами, простою и жженою охрою, так что все стены его комнаты были оными убиты и уклеены. В течение сего времени отец имел комиссии быть при межевании некоторых владельческих земель, то от геодезиста, при нем находящегося, сын получил охоту к инженерству. Наконец, когда отец его в <1>754 году получил отставку, для которой ездил в Москву, в бытность в одной государыни императрицы Елисавет Петровны, то и сей любимый сын его был с ним, с намерением, чтоб записать его в кадетский корпус или в артиллерию; но как для того надобно было ехать в Петербург, а дела отца его, которые он должен был кончить в Москве, паче же недостаток, что издержался деньгами, ехать ему в сию новую столицу не дозволили, то возвратился он в деревню с намерением в будущем году непременно записать сына в помянутые места. Хотя ему и вызывались некоторые особы в Москве принять его в гвардию, но он по недостатку своему на то не мог согласиться; однако же, по приезде в деревню, в том же году в ноябре месяце скончался, и тем самым пресекулись желания отца и сына, чтоб быть последнему в таких командах, где бы чему-нибудь ему научиться можно было. И таким образом мать осталась с двумя сыновьями и с дочерью * одного году в крайнем сиротстве и бедности; ибо, по бытности в службе, самонаименьшие деревни, и те в разных губерниях по клочкам разбросанные, будучи неустроенными, никакого дохода не приносили, что даже 15 руб. долгу, после отца оставшегося, заплатить нечем было; притом соседи иные прикосновенные к ним земли отняли, а другие, построив мельницы, остальные луга потопили. Должно было с ними входить в тяжбу; но как не было у сирот ни достатку, ни защитника, то обыкновенно в приказах всегда сильная рука перемогала; а для того мать, чтоб какое где-нибудь отыскать правосудие, должна была с малыми своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них в передних у дверей по несколько часов, дожидаясь их выхода; но когда выходили, то не хотел никто выслушать ее порядочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо, и она должна была ни с чем возвращаться домой со слезами, в крайней горести и печали... <...>

* С дочерью — Анной, которая скоро умерла.

Такое страдание матери от несправедливости вечно осталось запечатленным на его сердце, и он, будучи потом в высоких достоинствах, не мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот. При таких, однако, напастях мать никогда не забывала о воспитании детей своих, но прилагала всевозможное попечение, какое только возможно было им доставить; а для того отдала их в научение, за неимением лучших учителей арифметики и геометрии, сперва гарнизонному школьнику Лебедеву, а потом артиллерии штык-юнкеру Полетаеву; но как они и сами в сих науках были малосведущи, ибо, как Роза немецкому языку учил без грамматики, так и они арифметике и геометрии без доказательств и правил, то и довольствовались в арифметике одними первыми пятью частями, а в геометрии черчением фигур, не имея понятия, что и для чего надлежит. Когда же большему сыну настало 12-й год, то мать, дабы исполнить закон и явить герольдии* в положенный срок детей своих, в <1>757 году ездила в Москву, желая также, по явке в оной и по получении доказательств на дворянство, записать их в помянутые места, куда отец хотел; но как, против всякого чаяния, в герольдии не могла она объяснить хорошенько роду Державиных, по которым городам и в которых годах предки их служили, то и произошло затруднение; а для того, чтобы отвратить оное, должно было обратиться к некоему подполковнику Дятлову, живущему в Можайском уезде, происшедшему от сестры мужа ее, который, приехав в Москву, доказал истинное дворянское происхождение явленных недорослей от рода Багримы мурзы, выехавшего из Золотой Орды при царе Иване Васильевиче Темном**, что явствует в Бархатной книге вообще с родами: Нарбековыми, Акинфиевыми, Кеглевыми и прочими; но как на такое изыскание древности употреблено много времени, то зимнею порою и не можно уже было доехать до Петербурга, а как летний путь по недостатку не был под силу, то и возвратились в Казань с тем, чтобы в будущем году совершить свое предположение.

Поелику же в 1758 году открылась в Казани гимназия, состоящая под главным ведомством Московского университета, то и отложена поездка, а записаны дети в сие училище, в котором преподавалось учение языкам: латинскому, французскому, немецкому, арифметике, геометрии, танцеванию, музыке, рисованию и фехтованию, под дирекциею бывшего тогда ассессором Михайла Ивановича Веревкина; однако же, по недостатку хороших учите-

* Герольдия, герольдмейстерская контора — центральное учреждение, ведавшее делами о дворянских родах, титулах, гербах, прохождении дворянами службы.

** При царе Иване Васильевиче Темном — должно быть: Василии Ивановиче Темном.

лей, едва ли с лучшими правилами как и прежде. Более же всего старались, чтоб научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике, и быть обходительным, заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи; также представлять на театре бывшие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных собраниях при случае экзаменов; что сделало питомцев хотя в науках неискными, однако же доставило людскость и некоторую розвязь в обращении. Старший из Державиных оказал более способности к наукам до воображения касающимся, а меньшой — к математическим; однако же, во всех классах старший своей расторопностью блистал поверхностью и брал пред меньшим преимущество, который казался туп и застенчив. Вследствие чего старший отличался в рисовании, а потому, когда директор в <1>759 году собирался главному куратору Ивану Ивановичу Шувалову дать отчет в успехах вверенного ему училища, то и приказал отличившимся ученикам начертить геометрию и скопировать карты Казанской губернии, украсив оные разными фигурами и ландшафтами, дабы тем дать блеск своему старанию о научении вверенного ему благородного юношества. В числе сих отличных был и старший Державин. Когда ж директор в 1760 году из Петербурга возвратился, то и вознаграждение учеников, трудившихся над геометриею, объявил каждого по желанию записанными в службу в полки лейб-гвардии солдатами, а Державина в инженерный корпус кондуктором... <...>

В 1761 году получил г. Веревкин от главного куратора Ивана Ивановича Шувалова повеление, чтоб описать развалины древнего татарского, или Золотой Орды города, называемого Болгары, лежащего между рек Камы и Волги, от последней в 5-ти, а от первой в 50-ти или 60-ти верстах, и сыскать там каких только можно древностей, то есть монет, посуды и прочих вещей. Не имея способнейших к тому людей, выбрал он из учеников гимназии паки Державина и, присовокупя к нему несколько из его товарищей, отправился с ними в июне или июле месяце в путь. Пробыв там несколько дней, наскучил, оставил Державина и, подчинив ему прочих, приказал доставить к себе в Казань план, с описанием города и буде что найдется из древностей. Державин пробыл там до глубокой осени и что мог, не имея самонужнейших способов, исполнил. Описание, план и виды развалин некоторых строений, то есть ханского дворца, бани и каланчи, с подземельными ходами, укрепленной железными обручами по повелению Петра Великого, когда он шествовал в Персию, и списки с надписей гробниц, также монету медную, несколько серебряной и золотой, кольца ушные и наручные, вымытые из земли дождями, урны глиняные или кувшины, вырытые из земли с углями, со-

брал и по возвращении в Казань отдал г. Веревкину. Он монеты и вещи принял, а описание, план, виды и надписи приказал переписать и перерисовать начисто и принести к нему тогда, как он в начале наступающего года по обыкновению будет собираться в Петербург для отдания отчетов главному куратору об успехах в науках в гимназии; но как в начале 1762 года получено горестное известие о кончине государыни императрицы Елисаветы Петровны, то он наскоро отправился в столицу, приказав Державину сделанное им доставить к нему после.

Скоро потом Державин получил из канцелярии лейб-гвардии Преображенского полка паспорт 1760 года за подписанием лейб-гвардии майора князя Меншикова, в котором значилось, что он отпущен для окончания наук до 1762 года. А как сей срок прошел, ибо тогда был того года уже февраль месяц, то и должен он был немедленно отправиться к полку, тем паче, что не имел уже никакой себе подпоры в Веревкине, на которого место в директору Казанской гимназии прислан был некто профессор Савич.

ИЗ «ЗАПИСОК ГРАФА АЛЕКСАНДРА РОМАНОВИЧА ВОРОНЦОВА»

ЗАМЕТКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ И О РАЗЛИЧНЫХ СОБЫТИЯХ, СОВЕРШИВШИХСЯ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ КАК В РОССИИ, ТАК И В ЕВРОПЕ

<...> я имел счастье родиться на свет за несколько недель до вступления на престол императрицы Елисаветы... Мой дядя, бывший впоследствии канцлером Империи, состоял при этой царевне камер-юнкером, прежде нежели она сделалась Государыней, и припимал видное участие в возведении ея на престол. <...>

Моя мать скончалась в 1745 году от горячки, на 28-м году от роду, оставив малолетних детей. Моей старшей сестре было только шесть лет, другой сестре было пять лет, мне было три года с несколькими месяцами; моей сестре княгине Дашковой было два года, и сверх того у нас был брат, родившийся лишь за несколько месяцев до смерти моей матери. Мой отец, который был в ту пору еще молод, был крайне огорчен этой смертью. Мой дядя канцлер взял к себе в дом всех детей моего отца; тётушка отвеслась к нам с особенной заботливостью, и мы остались там до Сентября того же года. <...>

Не смотря на молодость моего отца и на то, что он вел рассеянную жизнь при дворе и в большом свете, он постарался дать нам такое хорошее воспитание, какое было возможно в то время. Мой дядя прислал для нас из Берлина гувернантку, которая со-

ставила себе там очень хорошую репутацию и, как я слышал, была лучшая, какую только можно было найти. Действительно, она много занималась нами. Эту девицу Ruinau заменила г-жа Vegger. Мы незаметным образом научились Французскому языку, и уже с 5-ти или 6-ти летнего возраста я обнаружил решительную склонность к чтению книг. Я должен сказать, что хотя воспитание, которое нам давали, не отличалось ни блеском, ни лишними расходами... однако оно имело многия хорошия стороны. Главное его достоинство заключалось в том, что в то время не пренебрегали изучением Русского языка, который в наше время уже не вносится в программу воспитания. <...> На придворном театре давали два раза в неделю Французския комедии, и наш отец брал нас туда с собою в свою ложу. Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно много способствовало тому, что мы с раннего детства получили решительную склонность к чтению и к литературе. Мой отец выписал для нас из Голландии довольно хорошо составленную библиотеку, в которой находились лучшие Французские авторы и поэты, а также книги исторического содержания, так что, когда мне было 12 лет, я уже был хорошо знаком с произведениями Вольтера, Расина, Корнеля, Буало и других французских писателей. В числе этих книг находилась состоявшая почти из ста томов коллекция номеров журнала: *Ключ к*

М. И. Воронцов. Мозаика XVIII в.



знакомству с кабинетами Европейских государей, начинавшаяся с 1700. ...Это издание имело великое влияние на мою склонность к истории и политике; оно возбудило во мне желание знать все, что касается этих предметов и в особенности по отношению их к России.

Императрица Елисавета, отличавшаяся благосклонностью и приветливостью ко всем окружающим, интересовалась даже детьми лиц принадлежавших к ее двору. Она во многом сохранила старинные русские нравы, очень походившие на старинные патриархальные нравы. Хотя мы были еще детьми, она позволяла нам бывать при ее дворе в приемные дни, и иногда давала, в своих внутренних апартаментах, балы для обоего пола детей тех особ, которые состояли при дворе. Я сохранил воспоминание об одном из этих балов, на котором было от 60 до 80 детей. Нас посадили ужинать, а сопровождавшие нас гувернеры и гувернантки ужинали за особым столом. Императрицу очень занимало смотреть, как мы танцевали и ужинали, и она сама села ужинать вместе с нашими отцами и матерями. Благодаря этой привычке видеть двор, мы незаметно привыкли к большому свету и к обществу. Существовал еще один обычай, много способствовавший тому, чтоб сделать нас развязными, — а именно то, что дети лиц, состоявших при дворе, взаимно посещали друг друга по праздникам и Воскресеньям. Между ними устраивались балы, на которые они отправлялись всегда в сопровождении гувернеров и гувернанток. <...>

Так как у моего дяди была единственная дочь одних лет с нашей меньшей сестрой княгиней Дашковой, то, по возвращении из-за границы, он выразил желание, чтоб она воспитывалась вместе и попросил моего отца, чтоб он отдал ему мою сестру. С тех пор она жила у дяди до своего замужества. Императрица, из милостиваго расположения к моему отцу и в память дружбы, которую она питала к моей матери, произвела моих обеих сестер во фрейлины, не смотря на то, что старшей из них было только одиннадцать лет, а второй только десять. Она дала им помещение во дворце, оставив старшую при себе, а вторую назначив состоять при великой княгине, которая потом была Императрицей под именем Екатерины Второй. <...> После того, как мои сестры были взяты ко двору, а самая младшая переселилась к моему дяде, в доме остались только я да мой брат. Мой отец взял для нас гувернера...

Императрица... обыкновенно один или два раза в год приезжала ужинать к моему отцу, а у моего дяди она бывала еще чаще. Я помню, что однажды она приехала к нам совершенно неожиданно, узнавши, что у моего отца обедали ее фаворитка графиня Шувалова, моя тетка и семейство графа Чернышова, толь-

ко что возвратившееся из Лондона. Дочери этого графа привезли с собой Английские контредансы и, благодаря этому, оне попали в моду при дворе. Императрица пообедала безцеремонно в этом обществе, была в очень веселом расположении духа и даже оставалась довольно долго после обеда, чтоб видеть, как танцуют Английские контредансы.

В 1745 Императрица приказала зачислить меня в гвардию, а в 1755 произвела меня в офицеры гвардии и взяла моего брата к себе в пажи. Она оказывала ему много милости; в 1760 она произвела его в камер-пажи, и он оставался при ней в этом звании до самой ее смерти.

В 1754 моему отцу посоветовали поместить нас в пансион к профессору юриспруденции в Академии Наук, г-ну Штрубе, который в то же время был членом комиссии для составления законов. Сенатор граф Петр Шувалов был ее начальником. Этот профессор был чрезвычайно достойный человек.

В 1756 я вступил в отправление моих офицерских обязанностей, хотя мне еще не было и 15-ти лет. Тогда мой отец взял нас из пансиона. С тех пор я стал чаще бывать при дворе и в лучших великосветских домах, как-то у гетмана Разумовского... у генерал-прокурора князя Трубецкого, у обер-камергера графа Шереметева, не говоря уже о доме моего дяди, у котораго я бывал постоянно. Благодаря этому, я не только свыкся с обычаями и правилами общества, но также привык слушать разговоры о государственных делах и, признаюсь, что уже тогда я чувствовал пылкое влечение к деловым занятиям. В доме моего дяди мне случалось видеть иностранных посланников; некоторые из них обходились со мной очень любезно и приглашали меня к себе обедать и бывать у них в доме, на что мой дядя дал мне разрешение. <...>

Французское посольство в Петербурге, с Лопиталем во главе, отличалось необыкновенным великолепием... Жил он очень роскошно и держал в некотором роде открытый стол. Он часто бывал у моего дяди вице-канцлера, встречался там со мной и пригласил меня посещать его, на что мой дядя дал мне позволение. После того как я побывал у него несколько раз и много разговаривал с ним, он стал хвалить меня моему дяде и предложил ему послать меня во Францию. Он сказал дяде, что недавно открыто в Версали отличное заведение, находящееся под особым покровительством короля... что там воспитываются сыновья самых знатных Французских вельмож и высшего дворянства, что хотя туда и не принимаются иностранцы, но он нисколько не сомневается в том, что король дозволит мне поступить туда, а потому предлагал написать об этом своему двору, если мой дядя захочет. Через два месяца Лопиталь получил в ответ на свое письмо уве-

домление... что король с удовольствием даст приказание принять в школу племянника Русского вице-канцлера.

Это предложение пришлось моему дяде очень по вкусу; он доложил об этом императрице и получил от нея разрешение послать меня туда. <...> Мой дядя и мой отец занялись приготовлениями к моему отъезду, а Императрица была так добра, что приказала дать мне рескрипт к нашему посланнику во Франции Бестужеву с поручением устроить мое вступление в помянутую школу и пецись обо мне.

Я могу сказать, что этот отъезд во Францию имел большое влияние на склад моего ума, так как он способствовал моему умственному развитию и еще усилил мою склонность к деловым занятиям. <...>

Мой дядя, очень заботившийся обо всем, что касалось моего отъезда, снабдил меня отеческими наставлениями... дал мне рекомендательныя письма к нашим посланникам в Варшаве и Вене, которыя я должен был проезжать, и в особенности горячо рекомендовал своему другу Русскому посланнику в Париже графу Бестужеву, попечению котораго он меня всецело поручал. Он также дал мне письма в Ригу и к нашим генералам в Пруссию, через которую лежал мой путь. <...>

И. И. ШУВАЛОВ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СЕНАТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ. Ноябрь 1757 г.

Науки и искусства, без сомнения, почитаются не токмо пользой, но и славой государства. Е.и.в. государь Петр Великий между важнейшими своими предприятиями два дела почитать изволил, чему свидетельствует его собственное к ученым и художникам снисхождение, выписанные великими издвигениями славные сего века люди и многие дорогие инструменты, установление Академии наук и художеств, посланные в чужие ученые места люди. Итак, видно, что сей государь великое желание и старание прилагал к распространению в России наук и художеств, но как предел, предписанный человеческой жизни, не допустил видеть зрелые плоды, им насажденные, то сколь обязаны все споспешествованию исполнению дел великого государя и отца истинного отечества...

Но как науки не могут быть без искусства, будучи столь между собой связаны, столь и польза и слава от их быть может. Мы здесь искусств почти не имеем, ибо нет почти ни одного национального искусного художника. Причина та, что молодые обучающиеся люди приступают к сему учению, не имев никакого начала как в иностранных языках, так и в основании некоторых наук, необходимых к искусствам, и так, теряя одно вре-

мя, только одной практикой делают то, что выучат, не могут ничего приобрести сами или совершенным сделать, не имея ничего того, чтобы могло способствовать к их врожденному дарованию.

Многие, на большом иждивении содержащиеся здесь искусные художники, не токмо кого выучили, но ни порядочного начала не дали, извиняясь сами на неспособность учащихся.

Теперь в Московском университете находясь, много молодых людей, иных склонности более к художествам нежели к наукам, может некоторая часть уволена быть для сего учения, уча при том языки и другие нужные к тому знания. Если Правительствующий сенат сие представление заблагорассудит пожаловать на то в год 6 тысяч рублей, то можно здесь, в Петербурге, Академию художеств завести, которая, можно себя льстить, успехи окажет и будет тем ответствовать Правительствующего сената попечению и благоволению.

И. И. Шувалов. Неизвестный художник XVIII в.





ДЛЯ ОДНОЙ СЛАВЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ

В середине XVIII столетия Россия явила миру ярчайшую плеяду оригинальных и глубоких мыслителей, талантливых самородков, смелых исследователей. Говоря словами поэта, люди жили, «Трудом и мудростью своей украсив прошлые столетья!».

В XVIII веке «знание стало наукой, и науки приблизились к своему завершению, т. е. сомкнулись, с одной стороны, с философией, с другой — с практикой»*. Россия, как и другие страны Европы, переживала свой «век Просвещения». Середина и вторая половина столетия были временем дальнейшего развития отечественной науки. «Колумбы Российские» изучали Сибирь, Дальний Восток, Арктику. Морская экспедиция во главе с В. Берингом и А. Чириковым прошла между Чукотским полуостровом и Аляской, открыв пролив между Азией и Америкой. О весьма нелегких условиях экспедиции свидетельствует фрагмент отчета В. Беринга об экспедиции.

Ученый-путешественник С. П. Крашенинников изучил Камчатку и составил обширнейшее «Описание земли Камчатки», не потерявшее своего значения до наших дней, переведенное на многие иностранные языки. Сделанные в ходе путешествия заметки, впоследствии использованные ученым для составления своего основного труда, публикуются в данном разделе. Написанные живым, образным языком, они, на наш взгляд, являются ярким памятником своего времени, содержат богатый историко-этнографический материал.

В России работали многие замечательные мастера архитектуры. Это — И. Земцов, П. Еропкин, Ф.-Б. Растрелли и многие другие. Но выдающиеся зодчие выполняли прежде всего заказы «властей предержажих», бывавшие подчас капризами. Пример тому — «Ледяной дом», сооруженный единственно для потехи императрицы.

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 1, с. 599.

«Служба архитектора в России изрядно тяжела» — слова, принадлежащие Ф.-Б. Растрелли, в полной мере отражают истинное положение зодчих, в том числе и самого придворного обер-архитектора. В «Описании...» есть характеристика многих шедевров мастера, в частности, Зимнего дворца, создававшегося «для одной славы Всероссийской».

Эпоха дала много ярких, самобытных писателей — поборников просвещения. Для литературы того времени был характерен классицизм, отличавшийся гражданским пафосом, просветительскими тенденциями, элементами реализма. Активным просветителем был Антиох Кантемир — «первый светский поэт на Руси» (Белинский). В своих «сатирах» он высмеивал паразитизм и невежество дворян, лицемерие и стяжательство духовенства. Один из первых российских академиков — В. К. Тредиаковский — внес значительный вклад в развитие теории поэтического искусства. «Похвала... Санктпитебургу» — это гимн не только новой столице Российской империи, но и всему Отечеству.



В. БЕРИНГ. ИЗ «ДОНОШЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОЙ КАМЧАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ»

Прошедшего 1725 году февраля 5 дня блаженный и вечно достойный памяти от е.и.в. государыни Екатерины Алексеевны получил я инструкцию собственноручною блаженный и вечно достойный ж памяти е.и.в. Петра Великого, с которой при сем предлагается копия.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Надлежит на Камчатке или в другом тамо ж месте сделать один или два бота * с палубами.

2. На оных ботах <плыть> возле земли, которая идет на юрд, и по чайнию (понеже оной конца не знают) кажется, что та земля — часть Америки.

3. И для того изкать, где она сошлась с Америкою, и чтоб доехать до какого города европейских владений, или, ежели увидят какой корабль европейской, проведать от него, как оной куст ** называют, и взять на письме, и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, прислать сюды. Також дана мне инструкция от бывшего генерал-адмирала графа Апраксина, в которой написано: мастеровых людей и что будет надобно ко экспедиции, по усмотрению моему, требовать от Тобольской губернской канцелярии, а репортовать <в> Государственную адмиралтейскую коллегию помещено.

А прежде получения инструкции отправлено из Адмиралтейской коллегии генваря 24 дня во оную ж экспедицию команды моей лейтенант с командою в 26 человеках и при нем матриалов на 25 подводях, а всех служителей при команде моей отправлено 33 человека. А посланною мою команду достиг на Вологде, и от Санкт-Петербурха до Тобольска тракт свой имели следующими городами, а имянно: чрез Вологду, Тотьму, Устюг Великой, Соль Вычегодскую, Верхорутье, Туринск — он же и Епачин, Тюмень.

Марта 16 дня прибыли в Тобольск. И был майя до 15 дня, понеже зимним путем дале ехать было время поздно. А в бытность в Тобольске требовал, что надлежит, матриалов ко экспе-

* Бот — небольшое парусное одномачтовое судно.

** Оной куст — берег.

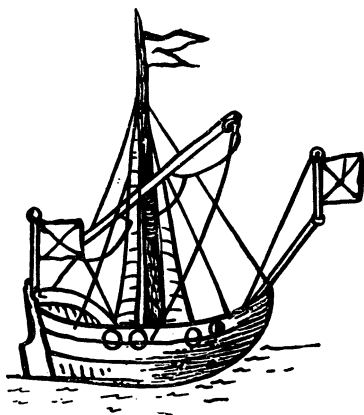
диции. Майя 15 дня отправился из Тобольска водою вниз по реке Иртышу до Самаровского яму на 4 барках, а оные по-сибирски называются дощеники, из которых погрузя все материалы, привезенные из Санкт-Петербурха и которые приняты при Тобольску. Да от Тобольска дано мне, по требованию моему, пероманах, комиссар да унтер-офицеров и солдат 37 человек.

От Самаровского яму послал наперед на лодке з данными мне от Тобольской губернской канцелярии послушными указами гардемарина в принадлежащие города и для изготовления дощеников в Енисейску и на Ускуте, а ему приказал плыть до Якуцка.

От Самаровского ж яму мы пошли вверх рекою Обью до Сургута и до Нарыма, от Нарыма вверх же рекою Кетью до Маковского острога, а от Тобольска до Маковского по рекам, где путь имели, живут остяки, которые были прежде идолопоклонники, а в 715 году чрез труды тобольского митрополита Филофея приведены в христианскую веру. От Маковского острога до Енисейска переехали сухим путем, от Енисейска до Илимского устья шли вверх рекою Енисеем и Тунгускою на 4-х же дощениках. По реке Тунгуске имеются 3 порога и несколько шивер — порог разумеется, что чрез всю ширину реки под водою камень великое, а проход судам токмо в одном месте или в двух, а шивера также имеет камень под водою и сверх воды небольшие, токмо разнится с порогами, что в том месте вода мелка и протягается по реке на версту и на две, и на оных

Бот «Св. Гавриил».

Гавриилъ



местах не с малым трудом переправлялись. При Енисейску взял по указу из Тобольска 30 человек плотников и кузнецов.

По реке Илимю дощениками до города Илимска иттить было не можно, понеже имеет пороги и шиверы маловодны, и для того присланы были из Илимска малые лодки, на которые тяжелые вещи перевозили до Илимска, а прочее зимним путем.

Из Илимска отправил на Ускут сухим путем к реке Лене лейтенанта Шпанберха и при нем служителей и плотников 39 человек, где в зимнее время зделали 15 барок для сплавки вниз рекою Леною до Якуцка провианта, матриалов и всей команды моей. А я с оставшею командою зимовал при Илимске, понеже при Ускуте жилья имеется немного, а до Якуцка зимним путем за скудостью подвод и за великими снегами и морозами ехать было не можно; також и пустых мест оным путем имеется довольно, и да и для того, что надлежало нам провианту во экспедицию, повелено по указу из Тобольской губернской канцелярии отправить от Иркутка и от Илимска, понеже при Якуцке хлеб не родится. И оною зимою из Илимска ездил я в Иркутк для совету к тамошнему воеводе, которой прежде был воеводою ж в Якуцку и о тамошних краях известен, как бы нам способнее переправиться от Якуцка до Охочка и до Камчатки, понеже мы подлинного известия о тамошних краях не имели. И по последнему зимнему пути переехал на Ускут со всею командою, да еще ж получил в команду от Якуцка плотников и кузнецов... да от Илимска 2-х бочаров.

По рекам Тунгуске, Илимом и по Лене до реки Витима живут тунгусы называемой народ, которые имеют у себя оленей для езды; а которые оленей не имеют, живут близ рек, пропитание имеют от рыб, лодки держат берестяные, а оной народ идолопоклоннической.

И от Ускута в 726 году весною на построенных 15 барках сплыли вниз рекою Леною до Якуцка. А от реки Витима вниз по реке Лене по обе стороны живут якуты и малое число тунгусов. Якуты имеют у себе скота довольно, лошадей и коров, а пропитанием и одеждою довольствуются все от скота, а которые скота мало имеют, — оные рыбою; веру держат идолопоклонническою, кланяются солнцу, луне, да изо птиц — лебеду, орлу и ворону; имеют у себя в великой чести ворожей, которые по-тамошнему называются шаманы; они ж у себя имеют болванов маленьких, а по их — шайтаны; и по признанию, что оные от татарской породы.

И по прибытии в Якуцк требовал людей на суда для вспоможения команде моей и, как получил, отправил лейтенанта Шпанберха в 13 судах, которые строили при Ускуте плоскородные, водою по рекам Леною вниз, Алданом, Маею и Юдомою вверх, а погружено было матриалы, из которых многие верхами сухим путем везть не можно, и несколько провианту сухопутного и морскова; а послал в таком надеянии, что могут оные суда дойти до Юдомского Креста, и ежели бы дошли до оного Креста, то б меньше было кошту, нежели сухим путем перевозить на лошадях. А сам не со многими людьми переправился до Охочкого острога на лошадях по тамошнему обычаю верхами, а провиант везли вьюками и клали токмо по 5 пуд на лошадь, понеже телегами за великими грязями и горами ездить невозможно, и з собою привез провианта з 1600 пуд. При Охочком остроге имеется русского жилья токмо 10 дворов, а при Якуцке оста-

вил зимовать лейтенанта Чирикова, которому приказал весною быть в Охотской острог сухим же путем.

А декабря в последних числах 726 году получил известие от лейтенанта Шпанберха, что суды, которые посланы с ним реками, не дошли до Юдомского Креста за 450 верст и замерзли в реке Горбее, а он, поделав нарты, или, по-нашему, санки долгие, погрузя нужнейшие матриалы, идет с командою пеш, а матриалы везут собою. И я, собрав команду, которая обреталась при мне, и жителей Охоцкого острога, дав им в вспоможение собак, послал навстречу с провиантом. И прибыл оной лейтенант с командою в Охоцкий острог генваря в первых числах 727 году. А оной путь возприяли от реки Горбеи ноября от 4 дня 726 году, а матриалов ничего не привезли, понеже, идучи путем, оголодала вся команда, и от такого голоду ели лошадиное мертвое мясо, сумы сырмятные и всякие сырые кожи, платья и обувь кожаные. А матриалы оставил все на дороге в 4-х местах, понеже по оному пути вблизи жителей никаких не имеется, но токмо еще получили себе способ от оставленной при Юдомском Кресте от нас муки; когда я ехал сухим путем, пристало и пало несколько лошадей, и для того принужден был оставить со 150 пуд.

А по рекам Алданом и Маею живут якуты того ж роду, что и по Лене реке, а по реке Юдоме, но токмо не вблизи, и около Охоцкого острога кочуют тунгусы морские, а по их ламутки, скот имеют у себя оленей довольно, на которых ездят верхами как летом, так и зимою, а пропитание и одежду имеют от оленей своих и от диких; в том числе есть и пешие тунгусы, которые живут близ моря и по рекам и питаются рыбою, а веру имеют, как и якуты.

Февраля в первых числах, собрав 90 человек и несколько собак с нартами, послал с лейтенантом Шпанбергом для собрания оставленных матриалов по реке Юдоме, которой апреля в первых числах, а иные и в половине возвратились в Охоцкий острог, но токмо не все матриалы привезли. И я еще послал до Юдомского Креста 27 человек, которые возвратились в мае, а последние матриалы от Юдомского Креста привезены на лошадях; а в тамошних местах в зимнее время на лошадях от Якуцка к Охоцку и в другие дальние места не ездят, всегда ходят пеши, педель по 8 и по 10, что надобно возят на себе на вышеозначенных нартах, какие и в команде нашей имелись, когда шли от Горбен до Охоцкого, пуд по 10 и по 15, понеже выпадают великие снега на сажень, а местами и больше, и которые, ходя зимою, каждой вечер для ночи выгребают снег до земли для теплоты.

Июня 30 дня лейтенанта Шпанберга отправил чрез моря к Болшереецкому устью на новопостроенном своем судне, в котором погружены были все матриалы, и приказал, выгрузя там матриалы, а ботового подмастерья и плотников команды нашей послать на Камчатку для заготовления ботовых лесов, а самому паки возвратитца к нам.

Июля 3 дня прибыл из Якуцка лейтенант Чириков и по данной ему от меня инструкции привез муки 2300 пуд.

Августа в 21 день, погрузя на новое судно, которое возвратилось от Камчатской земли, и на другое старое судно, которое прибыло от Болшереецкого устья, муку, и сам со всею командою, которая при мне была при Охоцком остроге, пошел чрез

моря к Большерецкому острогу, а провиант, который был на судах и зимовал при реке Горбее, приказал штурману, которой был при оном провианте с командою на карауле, сплавить... и отдать в Якуцкого канцелярию с роспискою, а ему с командою быть на Камчатку в 728 году и з собою привезть некоторую часть провианта, железа и смолы.

И по прибытии к Большерецкому устью материалы и провиант переправили до Большерецкого острога водою в малых лодках; при оном остроге русского жилья 14 дворов, и отправил вверх рекою Быстрою водою в малых же лодках тяжелые материалы и некоторую часть провианта, которое доведено было водою до Верхнего Камчадальского острога за 120 верст, и тою ж зимою из Большерецкого острога до Верхнего и Нижнего Камчадальских острогов переправили совсем по тамошнему обычаю на собаках. А каждой вечер в пути для ночи выгребали себе станы из снегу, а сверху покрывали, понеже великие живут метелицы, которые по-тамошнему называются пурги, и ежели застанет метелица на чистом месте, а стану себе сделать не успеют, то заносит людей снегом, от чего и умирают. При Верхнем остроге жилья дворов з 17, а при Нижнем Камчатском остроге дворов з 50, да в другом месте, где церковь, дворов с 15.

А в бытность нашу при Камчатке во всех трех острогах служивых людей было не больше 150 человек, которые живут для збору ясаку, а иноземцам, которые были у нас в подводах в переправлении от Большерецкого, приготовили для их пропитания китового жиру з 300 пуд, понеже тою осенью выбросило из моря кита, да им же давано было вместо денег китайским табаком. По Камчатской земле к югу живут курила, к северу камчадала, язык меж собою имеют в некоторых словах разнь; из сего народа немногие идолопоклонничают, а прочие ничему не веруют и чужды всяких добрых обычаев. А российские люди, которые живут на Камчатке, и тамошние народы хлеба никакого не имеют, также и скота, кроме собак, на которых ездят и возят, что им понадобится, и одежду себе от них получают, а пропитание свое имеют от рыбы и от коренья и ягод, а летним временем от диких птиц и от всяких морских животных. А ныне в пустыне Якуцкого монастыря, которая с версту от церкви камчатской, родился ячмень, конопля, редька, а репа и у многих служилых во всех трех острогах родится, такая великая годом живет, какой и в России мало находится, а имянно по 4 рены в пуд. А я привез в пустыню ржи и овса, которая посеена была при нас, но токмо созрели или нет, неизвестно, понеже рано бывают морозы, а земля безнавозная, скота еще не имеют, пащут людьми.

А все означенные народы -- под державою Российского государства, от которых збирается ясак зверьми всякими.

Вышеозначенные ж народы, по их зловерию, пакость имеют: ежели жена или скот какой родит двоих, то одного из них тотчас задавят, которой час родится, и признают себе за великой грех, ежели не задавят одного из двоих родившихся.

А камчатской народ, по их суеверию, имеют обычай: ежели кто из них будет весьма болен, хотя отец или мать, и не к смерти, то таких вывозят в лес и пропитание ему не дадут больше, как на неделю, хотя зимою или летом, и оттого много умирают, а мертвых своих в землю не хоронят, вытащат в лес и бросят на съедение. А иные жилье свое оставляют, в котором

умрет человек; а корятской народ мертвых сожигает, понеже им такой их обычай хотя и запрещается, но токмо не под страхом.

По прибытии моем в Нижней Камчадальской острог леса к строению бота большая часть изготовлена, и апреля 4 дня 1728 году заложили бот, которой з божию помощию построили июля к 10 числу, а лес к строению бота возили на собаках, смолу сидели из тамошнего лесу, которой называется лиственник, понеже смолы привезенной с нами не было, а тамошние жители до сего времени сидеть смолы из оного дерева не знали. Также за недовольством для морского пути сидели, по тамошнему обыкновению, вместо хлебного вина из травы, а соль варили из морской воды, да за недовольством же в морской провиант потребляли вместо масла коровья жир, которой варили из рыбы, а вместо мяса — рыбу соленую. И нагузья бот всякими припасами, чтоб можно было 40 человеком пропитатца год, и 14 дня того же июля <1728 г.>, вышел из устья реки Камчатки на море и следовал данною мне собственноручною инструкцию е.и.в. Петра Великого, как о том сочиненная карта показывает.

Августа 8 дня пришли в ширину северную $64^{\circ}30'$, пригребли к нам от берегу в лодке кожаной 8 человек, спрашивали нас, откуда мы пришли и чево ради, а о себе сказали, что чюкчи (о которых тамошние русские обыватели давно известны), а как мы стали их призывать к боту, и они, надув пузыри кожаные великие из нерп, а по-нашему туленья, высадили одного человека и прислали к нам для разговоров, а потом и лодкою пристали к боту и сказывали нам, что живет их, чюкоч, по берегу морскому многолюдно, а земля де недалече отсуда будет, vrátится к западу; да они же нам сказали, что недалече впереди есть остров, у которого мы были, но токмо ничего не видали доброго, кроме что жилье, которой остров мы назвали по дню святого Лаврентия, а до сего времени по берегу людей мы никаких не видали, хотя и два раза послан был з боту от меня мичман на шлюшке для изкания людей.

А 15 дня того ж августа пришли в ширину северную $67^{\circ}18'$, разсуждал, что по всему видимому и по данной инструкции блаженныя и вечно достойныя памяти е.и.в. исполнено, понеже земля более к северу не простирается, а к Чюкоцкому или к восточному углу земли никакой не подошло, и возвратился. А ежели б еще иттить далее, а случились бы противные ветры, то не можно б паки того лета возвратиться до Камчатки, а на тамошней земле зимовать было б не без притчины, понеже лесу никакого не имеется, а тамошней народ не под державою Российского государства, самовластен и союзства с нашими ясашными иноземцами не имеет.

А от устья реки Камчатки и до сего места, откуда возвратились, по берегу морскому великие, высокие каменные горы, подоб ственную кругостию, и в лете из-под снегов не открываются.

А 20 числа августа ж, по возврату нашему, пригребли к нам в 4 лодках человек з 40 такой же народ, которые прежде у нас были чюкчи, и привезли к нам для продажи мяса, рыбы, лисиц, песцов белых мест с 15 да 4 зуба моржовых, которое служители команды моей у них раскупили на иглы да на огнивы, и сказывали нам, что родники их ходят на реку Колыму сухим путем на оленях, а морем де к Колыме не хаживали, токмо по берегу морскому живут далече люди нашего роду, а русских де

людей мы давно знаем; и один из них сказал, что он бывал в Анадырском остроге с торгом, а о прочем сказали те же речи, как и прежде бывшие чюкчи.

И сентября 2 дня пришли в устья реки Камчатки и зимовали в Нижнем Камчадалском остроге.

А 729 году июня 5 дня, починя бот, что надлежало, вышли из устья реки Камчатки и пошли морем к востоку, понеже камчатские жители сказывали, что будто в ясные дни <можно> видеть землю чрез моря, а нам самим не случалось видеть, но хотя известиться подлинно, и шли близ 200 верст, но токмо земли никакой не видали, и пошли кругом южного камчатского угла к Большерецкому устью и оной угол описали, которой прежде не был описан; а из Большерецкого устья шли чрез моря ж до Охоцкого острога; а при Нижнем Камчатском и при Большерецком острогах оставлено от нас тамошним управителям, под ведения Якуцкой канцелярии, муки и круп, мяса сухова, соли с 800 пуд.

И июля 23 дня прибыли в устье реки Охоты, бот со всеми принадлежащими припасы и материалы отдали охоцкому управителю, а я с командою, наняв лошадей, переехали до Юдомского Креста, а от Креста поплыли водою на лодках и на плотах на реку Алдан до Бельской переправы и ниже и тут паки на лошадях переехали до Якуцка; всего пути были от Охоцка до Якуцка июля з 29 дня августа до 29 и сентября до 3 дня, а из Якуцка 10 дня сентября пошли на двух дощениках вверх рекою Леною, и шли октября до 1 дня, и осеновали в деревне Полеуде, понеже далее иттить не попустил лед.

Того ж октября 29 дня, как стал быть малой снег и края у реки Лены укрепились льдом, поехали до Илимска; а от Илимска до Енисейска ехали рекою Тунгускою и Енисеем русскими деревнями; от Енисейска к Томску русскими же деревнями и повокращенными татарами рекою Чюлымом; от Томска до Чауска острога русскими деревнями; а от Чауска до Тары Барабинскую степью; от Тары до Тобольска рекою Иртышем татарами; в Тобольск прибыли генваря 10 дня 1730 году, а из Тобольска до Санкт-Петербурха поехали 25 дня того ж месяца и ехали тем же трактом, которым вперед ехали до Тобольска.

А в Санкт-Петербурх прибыли марта 1 дня.

С. П. КРАШЕНИННИКОВ. ИЗ «ОПИСАНИЯ КАМЧАТСКОГО НАРОДА»

О КАМЧАТКЕ, ОТКУДА ОНА НАЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛА, И О ЖИВУЩИХ НА НЕЙ НАРОДАХ

Камчатская земляца есть мыс или полуостров, которой от NO на SW тысячи на четыре верст * вытянулся, ширина его от двух до пяти сот верст. Перешеек оного полуострова шириною верст на 70. С одну сторону его прилегло Олюторское море, а с другую Пенжинская губа, впрочем окружается весь оной полуостров Восточным морем и Пенжинскою губою.

Сей полуостров на иноземческом языке никакого звания не имеет, а русские назвали его Камчаткою с коряцкого языка, ибо

* Верста — мера длины, равная 1,07 километра.

коряки, живущих на впадающей в Камчатку реку Еловке речке иноземцов называют своим языком ханчал, которое слово с самого начала там бывшие русские люди перевертели в камчадал. Итак от людей имя ее и к полуострову пристало, которой прямее Ханчаткою называться может.

На нем живут разные народы, а имянно: близ матерой земли коряки оленные и сидячие, олюторы близ моря Олюторского, а в середине его, по рекам в Восточное море и в Пенжинскую губу впадающим, камчадалы четырех языков, а в Лопатке курилы, которые народы все нравы и поведения, также и веру, по объявлению бывалых у тех иноземцов, почти одинаковую имеют, а понеже мне мало случая было с ними иноземцами, кроме камчадалов большеецкого присуду, разговаривать, того ради об одном только камчатском народе собранные от них же известия предлагаю.

О КАМЧАТКОМ НАРОДЕ

Камчадалы, от русских так называемые, на своем языке общего звания не имеют, но по рекам, на которых живут, называются, как например ханчал-ай от Ханчала, то есть Еловки реки, большеецкие кыхша-ай от Кыхши, то есть Большой реки, авачинские суаачю-ай от Суаачю, то есть Авачи реки и прочая. Они не все говорят одним языком, но разными, которые по их следующие названия имеют.

Кшаагжи или кыхчерен, чюпагжу или бурин, лигнурин и кулес, которой всех языков слова смешанные в себе имеет. Кшаагжи употребляется у иноземцов, живущих между впадающею в Восточное море Жупановой и впадающею в Пенжинскую губу Немтиком реками; чюпагжу или бурин, от Верхнего Камчатского острога по реку Жупанову, лигнурин от Немтика по реку Белоголовую; кулес от Белоголовой до коряк и олюторов.

Камчадалы ростом от большей части малые, лица у них, как и у других сибирских народов, широкие, волосы черные, которые, как мушцины так и женщины, плетут на две косы, только тем разнствуют, что женщины пришивают к своим волосам волосы умерших женщин, которых они иногда остригают, также, что их косы из маленьких бесчисленных кос состоят, а мушцины волосов чужих к своим косам не приплетают и на мелкие косы не расплетают. Волосов своих никогда не чешут, а смотрят того, чтоб всегда гладки были, а особливо женщины, которые вместо гребней употребляют иглы, ибо которые волосы из кос выбьются, те к ним пришивают, женские косы ежели б взвесить, то б все конечно более 10 фунтов потянули.

Платье носят из звериных кож, а больше из собачьих зделанное, по их куклянками называемое. У них сзади к воротнику пришиваются будто мешки, которые во время выюги сверх махая на голову надевают, а спереди на вороту козыри из лап собачьих зделанные, на спине и вокруг подола окладывают их шерстяными красными махрами, а особливо женские, у которых кроме доянутых махров на спине рядами пришиваются шерстяные ж красные снурки и ремешки длиною в $\frac{1}{4}$ аршина.

Мушцины и женщины носят штаны, но женщины иные мужичьи штаны носят, а иные хоньбы. Хоньбы состоят из (чюлков)

штанов и душагрейки вместе спитых, а надеваются они с ног воротом. От ворота до пояса делаются они против толщины тела, а от пояса до коленей или ниже гораздо шире.

На ногах носят торбасы из кож нерпичьих крашенных сделанные.

Камчадалы, так как якуты или братские мужики, чистоты не любят, ни рук, ни лица, ни посуды никогда не моют, кроме тех, которые у русских живали.

В войне они не крепки, и с лица на лицо редко бьются, но к измене весьма склонны и русских, от большей части сонных, ничего неприятельского не чающих убивают, а малым числом пойманных немилостиво и бесчеловечно мучат, брюхи распарывают и кишки из живых мотают, и, утомивши такими и прочими сим подобными муками, убивают.

Живут в юртах землею осыпанных, у которых делаются по двой двери. Одни на самом верху юрты, а другие с стороны. Верхние двери и вместо дверей служат и вместо дымового окошка, ибо как в юрте огонь раскладут, дым в него идет. Оные двери никогда не закрываются, понеже в юрте окон нет и оной вместо окна служат. Сторонные двери называются жупанами, а

**Иллюстрации к первому изданию
«Описания Земли Камчатки» С. П. Крашенинникова.
Камчадалка в самом великолепном убранстве.**



делаются для того, чтоб входящим в них ветром дым из юрты вверх подымало.

Прежде.. были они свободные и дани никому не плачивали, также торгов и обхождения ни с кем не имели, но своим довольны были, платья от звериных кож имели. Питались рыбою и кореньем, как и ныне. Вместо железа употребляли камень и кость, из чего делали они топоры, копыя, стрелы и прочая.

Границ не имели и ныне не имеют, но где кому понравится, тут и живет и промышляет.

Войны между ними частые были, река на реку или острожек на острожек, не для какой иной причины, только, чтоб побив мужиков, девок в полон взять, ибо они девок только за богатство почитали, а прочее ни во что вменяли. У них и поныне тот богатым называться может, которой жену хорошую и собак имеет, да сыт и одет.

Закона никакого не имеют, но как кому любо, так и живет. За великой грех ставят возбранить кому в намеренном его деле, также грех есть отцу сына с младенчества учить, но чтоб сын ни делал, тому отец не препятствует. И оттого помянутой народ так глуп, что он и десяти перечесть без пальцев не может,

Камчадал в зимнем платье.



а ежели дватцать, то пальцы ручные и ножные вместе складывает, буде же тридцать, то глазам, ушам и губам достается, а как все перечтет, то и спутается. Редкие из них могут считать до 50, хотя в их языке щет и до 100 имеется. Годов от рождения себе ни один не знает.

Будучи на Аваче, случилось мне спросить у тойона, сколько в его острожке ясачных людей, то он по тех пор ответа дать не мог, покамест на пальцах всех не выложил, а всех их было 12 человек.

О БОГЕ ИХ И О ПРАЗДНОВАНИИ

Бога сказывают быть одного, которой землю сотворил, а имя ему Кутху. О сотворении богом земли от них повествуетца тако.

Прежде сотворения земли было небо да море, на небе жил Кутху с женою, Илькхум называемою.

Когда некогда Кутху с женою сошел с неба на море, то жена его не могла стоять поверх вод, но по груди в море погрязла, и тогда родила она сына, Сымскалин называемою, которой всплыл поверх вод головою на запад, а ногами на восток, а мать его Илькхум стала ему на шею, сам же Кутху на ноги и сказал, чтоб сын его землю претворился. И зделалось.

По сотворении земли родила Илькхум другова сына Тыжил-Кутху да дочь Сидуку, которую Тыжил-Кутху и в жены себе взял.

Кутху сыну и дочери шил платье из листья, и, зделав им бат, оставил их здесь на Камчатке, а сам пошел с женою своею с Камчатки на лыжах.

Прежде отшествия Кутху с Камчатки, земля была ровная, ни гор, ни долов на ней не было, но как Кутху пошел на лыжах, то земля под ним гнулась, и где он шел, тут пади стали, а по сторонам горы.

По отшествии Кутху с Камчатки у сына его Тыжил-Кутху родился сын Амлея да дочь Сидукамшичь, от которых все прочие народы, по сказыванию их, расплодились.

Тыжил-Кутху при отце своем и после отца до рождения сына Амлея питался березовою и таловою коркою, а по рождении сына стал он вымышлять (и выдумывать) чем бы потомкам его питаться, и выдумал из кропивы делать сети, которыми сына своего Амлея научил ловить рыбу. Также сотворил он и зверей и зделал из кож их шубы себе и сыну с дочерью, а прежде как выше упомянуто, носили они платье из листья. И понеже не сам Кутху сотворил зверей, но сын его Тыжил-Кутху, то они ему не празднуют и не молятца, но только сыну его Тыжил-Кутху, а празднуют ему осенью в ноябре месяце следующим образом.

Припасши по обычаю своему разных еств, призывают к себе шамана или шаманку, которые ворожа просят у Тыжил-Кутхи, чтоб им дал здравие и в промыслах счастье. Потом спрашивают, щасливо ли их праздник окончается.

Во время шаманства посылаются к шаманам от Тыжил-Кутху маленькие бесы, в подобие человека величиною в полвершка, видом черные, плешивые, в россомачье платье одеты, которые влазят в рот шаманам иногда 15, иногда 10, а иногда и меньше. Ежели придут пятнатцать, то они праздник за щасливо почитают, а ежели мало, то признавают, что или в праздне-

стве какая помеха будет, или после тому острожку, в котором празднуют, какая беда прилучится.

Оные бесы, вшедши к шаману в рот, устами его призывают спешшимся на праздник людям: 1) чтоб вначале каждой из них пук прутья связал и принес бы в юрту, 2) чтоб наделали камылаев (маленьких болванчиков из дощечек вырезанных) и, навязав бы на шею их сладкой травы, в огонь бросили им на жертву, 3) чтоб толченой сараны несколько в огонь бросили им же на жертву, 4) чтоб ажушаку рожу сараню вымазали; ажушак есть кол на стороне юрты против жупана вколоченной, у которого верх обделан на подобие шара, а оттуда на низ немного стесан вместо шеи, о котором сказывают, что оной зделан по приказу бесовскому чрез шамана, того ради, что де бесы, рассудя не всегда свое с ними пребывание, но только во время праздника и шаманства, и ведая приключаящиеся им в промыслах нещастия и что помощи в несбытность их подать некому, помянутого ажушака сделать приказали и ежели кому в промыслу щастия не будет, ему жертву приносить велели; жертва состоит только в обвязании сладкой травы около его шеи, а ежели кто по жертве убьет птицу или зверя, то сверх означенной жертвы привязывают к нему на шею кишки птичьи и мажут рожу его птичею или звериною кровью, 5) чтоб кымыляям, которых из них всяк по 4 имеет, мятой травы, тоншичь по их называемой, в жимолоснике выкрашенной, на шею привязали.

По совершении всего вышеписанного связанное пучками прутье, о котором выше помянуто, выносят они из юрты вон и близ острога втыкают, на которых потом первых промышленных птиц в жертву Тыжил-Кутху вешают, а потом начинают они обедать и от всякой ествы по малому числу в огонь бросают.

После обеда бесы чрез шамана людям приказывают, чтоб тот день, как хотят, веселились. И то сказав отходят, а они по своему обычаю весь день и ночь до свету пляшут и песни поют.
<...>

О СВАДЬБАХ

Свадьбы у камчадалов бывают следующим образом. Жених, присмотря себе девку, приходит к отцу ее и объявляет ему, что он хочет дочь его хватать, и буде отцу жених не поглянется, то отказывает, буде же понравится, то велит ему хватать. Жених у тестя в юрте живет, покамест невесту схватает, а между тем на всех в юрте живущих, как холоц, работает. Он дрова и воду в юрту носит, он юрту топит и опану* собакам варит, он и собак кормит...

...обычай есть невестам женихов дарить поясом, махва по их называемом, которым подпоясываются они, когда для великого в юрте жару нагие ходят. У одного пояса спереди сделан шубной мешочек, в которой тайной уд кладется, а сзади махры ремешные, которыми зад закрывается.

* Опана — корм для собак, разварная вяленая рыба.

Многие из камчадалов года по два и по три работав у тества ни с чем отходят.

Камчадалы держат у себя жены по две и по три, а буде не понравится которая, хотя б у него и одна была, отбрасывает и на иной женится, также и жены мужей покидают и за иных выходят.

В женитьбе у них разбору нет, сродственнику на сродственнице и брату на двоюродной сестре жениться можно, также и того не разбирают, чтоб жених с невестой летами равны были, но и малых ребят на старых девках и малых девок за стариков отдают. <...>

О ДЕТОРОЖДЕНИИ

Камчадалы в деторождении не очень плодородны. Редкие находятся, у которых от младости до старости от одной жены по пяти ребенок бывает.

Родины у женщин их не очень тяжелы, так что они за свои обыкновенные труды на другой день без нужды приниматься могут.

При родинах бывают у них и бабки повивальные, которые у младенцов пупки обрезают. Имена младенцам от матерей даются.

Двойники у них очень редко рождаются, а при рождении имена им волченками даются, для того что мужья думают, что жены не от них, но от волка двойни понесли. А прежде сего у них обычай бывал одного из двойников убивать, потому что они сие за несчастие признавали. Младенцов грудью кормят лет до четырех. Зубы у них в год появляются. Ходить и говорить начинают в два года.

О БОЛЕЗНЯХ И ЛЕКАРСТВАХ

Между камчадалами обыкновенные болезни: французская, чесотка, цынга и желтуха.

Французская болезнь по их азахуж. <...> Пользуются от нее листьем пажайяну, княженицы ягоды, также листьем кутажки травы и кедровником, которые они порознь парят и декокт их пьют для того, чтоб болезнь изнутри наверх вышла.

К ранам прикладывают они княженицы же листья и мох, плавающей поверх озерной воды. Также присыпают они и пылью старых дождевников, питья их языком называемых.

Цынга, костьшхан по их, издревле у них обыкновенная скорбь, пользуются от нее листьем травы мыткажун, которое к деснам прикладывают. Также варят и пьют они ягоду брусницу и шикшу.

Желтуха (пукшуну) появилась у них от русских, пользуются от нее кореньем травы кейлюд и рябинною коркою, которые парят порознь и пьют декокт их. От чесотки они ничем не лечатся.

Воспы, горячки, водяной болезни, подагры, кровавого поносу и чахотки по объявлению камчадалов у них не бывает, а хотя которая из вышписанных болезней и случится, то, может быть, что назвать ее своим языком не умеют и того ради говорят, что не бывает.

Кровь пускают в тех местах, в которых человек лом слышит или опухоль имеет. И в тех местах оттягивают они кожу и протыкают ее обвостренным камнем, которой цветом подобен черному стеклу. А жил они не прокалывают.

Кровь унимают травяным трудом.

Ядна ставят на опухлых местах, а жгут то место березовым трудом, которого пепел и к учинившимся от сжения ранам присыпают.

Лом в составах старики или старухи у них заговаривают, а в заговорах призывают на помощь Тыжил-Кутху и просят его, чтоб невидимо послал паука внутрь тела, которой бы суставы на свое место поставил.

О ПОГРЕБЕНИИ

Камчадалы умерших загребают в землю одетых в платье, которое они носили, а сверх обшитых в чирел, то есть в травяную рогожу.

Умерших от такой скорби, от которой тело их сгнило, бросают поверх земли собакам на съедение, понеже за грех признают от такой скорби погибшего в землю класть.

Младенцов умерших в землю не загребают, но в дуплеватое дерево кладут.

Они не все естественною смертию умирают, но и самохотно, ибо которому человеку долго в скорби лежать не захочется, тот или сам удавится, ежели сможет, или велит сродственнику себя удавить, что отцы над детьми и дети над отцами делают, а которой сродственников не имеет и удавить его некому, тот велит себя вынести из юрты, а особливо в зимнее время и прикажет над собою шалашик травяной сделать, в котором сидя от стужи умирает. А иные и здоровые, не захотя больше жить, в шалашике летом и зимою ложатся и с голоду самохотно умирают.

Многие також де и от беды или осердясь на кого удавятся. Это у них любимая смерть.

Сей народ так смерти не боится, что прежде, как с русскими войну имели, которые из них сами на копыя метались, как убежать им невозможно было. Также при розыске в 1732 году за измену учинившемся, как некоторые на повешенье осуждены были, жаловались стоя у виселицы, что им в повешеньи щастья нет, ибо не их сперва вешали.

Но и к терпению наказанью или пытки так жестоки, что они ни кричат, ни плачут и ничего не говорят, но молчат язык закуся, о чем сказывали присланные для следствия и розыску господя штап офицеры Мерлин и Павлуцкой. Сие описание сочинил Степан Крашенинников.

Г. В. КРАФТ. «ИЗ ПОДЛИННОГО И ОБСТОЯТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ... ЛЕДЯНОГО ДОМА»

<...>Жестокая стужа, которую в прошлую зиму 1740 года вся Европа чувствовала... произвела... такое множество оной материи <льда>... что трудолюбивые и тщательные люди приняли от того случай оказать свое искусство над льдом...

Один пример, о котором я известился, был в Либке, где господин поручик фон Мейнерт, пока жестокая стужа продолжалась; перед Голштинскими воротами изольду льва длиною в 7 футов так искусно изобразил, что онаго бы никакой рещик из дерева лучше вырезать не мог. Около сего льва зделал он также изольду болверк, а на оном 5 пушек, одного салдата и бутку.

Но здесь в Санктпетербурге художество гораздо знатнейшее дело изольду произвело. Ибо мы видели из чистаго льду построенной дом, которой по правилам новейшей архитектуры расположен, и для изряднаго своего виду и реткости достоин был, чтоб по крайней мере таковой долго стоять, как наши обыкновенные дома, или чтоб в Сатурна как в число звезд перенесен был. Первое о строении сего дому похвалы достойное предложение учинил господин Камергер, Алексей Данилович Татищев, а высочайшее на то соизволение, и потребное к сему достопамятному строению немалое иждивение происходило от милости и щедролюбия ея императорскаго величества блаженныя и вечнодостойныя памяти государыни императрицы Анны Иоанновны, которая великая монархиня остроумных, и иногда к одному только увеселению склоняющихся трудов своих подданных своею милостию не оставляла. По принятии сего намерения в последних месяцах 1739 году начато было немедленно, и со вся-

Г. Крафт. Гравюра И. Гайда с портрета работы В. Майера.
Конец 1740-х — начало 1750-х гг.

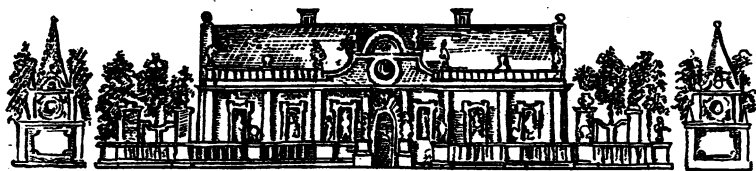


кою ревностью оное строение сперва на льду Невы реки перед императорским зимним домом, причем была та способность, что потребные к строению материалы, а именно твердая и жидкая вода там в близости находились. Но как архитектура по большей части чрез прежняя многия погрешности в строении до нынешняго своего совершенства дошла, так тож самое и здесь случилось. Лед Невы реки, которой и тогда не гнется, когда многия тысячи вооруженных людей на нем стоят; когда из больших пушек и мортир на нем стреляют; когда целую крепость изо льду построенную и гарнизоном обороняемую наступатели приступом берут, как то лет за семь перед сим для военного увеселения действительно учинено; сей лед, говорю я, начал при возвышении сего строения гнуться, и чрез то показывать, что никакой тягости более нести уже не может: однакож сей случай происходил не столько от чрезвычайной тягости строения, сколько от того, что работа начата была прежде, нежели фундамент потребную твердость получить мог, и что в самое то время оттепель зделалась, которой после чрез всю зиму не было. Между тем сие начатаго намерения ни мало не остановило, но еще больше ревности к строению ледяного дому возбудило. Потребные к тому материалы Нева река в довольном числе подавала, и надлежало только выбрать такое место, которое бы сие достопамятное строение способнее нести могло. Оное найдено было в зватнейшей части сего столицы, и между двумя весьма достопамятными строениями, а именно между созданною от блаженных и вечнодостоинныя памяти императора Петра Перваго Адмиралтейскою крепостью, и построенным от блаженныяж и вечнодостоинныя памяти государыни императрицы Анны новым зимним домом, которой для своего великолепия достоин всякаго удивления. На сем месте строение опять началось; самой чистой лед на подобие больших квадратных плит разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулом и линейкою размеривали, рычагами одну ледяную плиту на другую клали, а каждой ряд водою поливали, которая тотчас замерзала, и вместо крепкаго цементу служила. Таким образом чрез краткое время построен был дом, которой был длиною в 8 сажень... шириною в 2 сажени с половиною, а вышиною вместе с кровлею в 3 сажени, и гораздо великолепнее казался, нежели когда бы он из самага лучшаго мрамора был построен, для того что казался зделан быть будто бы из одного куска, и для ледяной прозрачности и сияяго его цвету на гораздо дражайшей камень, нежели на мрамор походил.

И дабы благосклонный читатель мог о сем чрезвычайном доме, также и о наружном и внутреннем его украшении, и о прочем приборе, которое все из чистаго льду зделано было, подлинное и ясное понятие получить, и сколько можно в тогдашнем нашем удовольствии участие иметь: то намерен я с ним каждую онаго часть ... рассмотреть. <...> На каждой день всякому позволено было в сие строение ходить, и оное смотреть, но от того произошла было беспрестанная теснота, так что вскоре надлежало там караул поставить, дабы оной при чрезвычайном собрании народа, которой туда для смотрения приходил, содержал некоторой порядок. Для помянутой же причины около всего ледяного строения воткнуты были деревянные колышки и соединены брусками... Наперед перед домом стояло 6 ледяных точеных пушек... которые имели колеса и станки ледяныяж, что и о

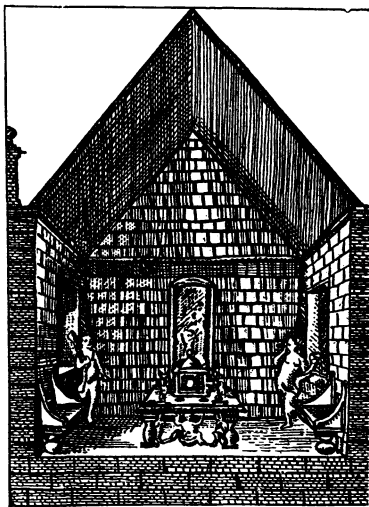
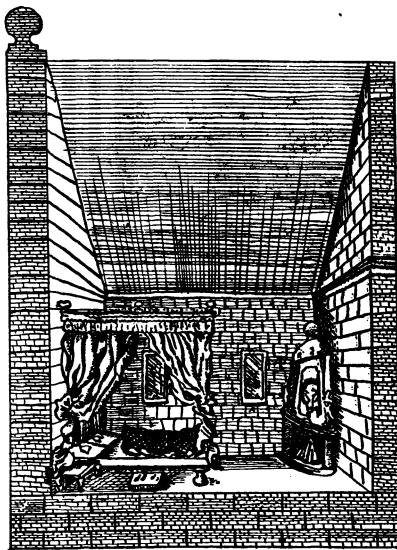
всем последующем разумеать должно, разве что неледяное случится, о чем именно упомянуто будет. Помянутыя пушки величиною и размером против медных трех фунтовых зделаны и выверлены были. Из оных пушек не однократно стреляли, в котором случае кладено в них пороху по четверти фунта, а при том посконное или железное ядро закачивали. Такое ядро некогда в присутствии всего императорскаго придворнаго штата в расстоянии 60 шагов доску толщиною в два дюйма насквозь пробило. <...> Еще стояли в том же ряду с пушками две мортиры... Оныя мортиры зделаны были по размеру медных мортир против двух пудовой бомбы, из которых многократно бомбы бросали, причем на заряд в гнездо по четверти фунта пороху кладено. Напоследок в том же ряду у ворот стояли два делфина... Сии делфины помощью насосов огонь от зажженной нефти из челюстей выбрасывали, что ночью приятную потеху представляло. Позади помянутаго ряду пушек и мортир зделаны были около всего дому из ледяных балис изрядные перилы, между которыми в равном расстоянии четверугольные столбы стояли... Когда на оной дом из близи смотрели, то с удивлением видна была вверху на кровле четверугольными столбами и точеными статуями украшенная галерея, а над входом преизрядной фронтишпиц в разных местах статуями украшенной... Самой дом имел дверные и оконнишные косяки также и пилястры выкрашенные краскою на подобие зеленого мрамора. В оном же доме находились крыльцо и двой двери... при входе в дом были сени... а по обеим сторонам покоя... без потолка с одною только крышкою... В сенях были четыре окна, а в каждом покое по пяти окон, в которых как рамки, так и стекла из тонкаго чистаго льду зделаны были. Ночью в оных окнах не однократно много

Изображения Ледяного дома, приведенные в книге Г. Крафта.



свечь горело, и почти на каждом окне видны были на полотне писанные смешные картины... причем сияние сквозь окна и стены проникающе презрядной и весьма удивительной вид показывало. В перилах кроме главного входа... находились еще двои сторонния ворота... и на них горшки с цветами, и с померанцовыми деревьями; а подле них простыя ледяныя деревья, листья и ветвь ледяныяж имеющия, на которых сидели птицы, что все изрядным мастерством зделано было... Теперь посмотрим, каким образом убраны были покои. <Первый покой:> Тут стоял уборной стол, на котором находились зеркало, несколько шандалов с свечами, которые по ночам будучи нефтью намазаны горели, карманные часы, и всякая посуда, а на стене висело зеркало. <...> Тут видны были презрядная кровать с завесом, постелею, подушками и одеялом, двои туфли, два калпака, табурет и резной работы комель, в котором лежащая ледяныя дрова нефтью намазанная многократно горели. <...> <В другом покое> стоял стол, а на нем лежали столовые часы, в которых находящиеся колеса сквозь светлой лед видны были. Сверх сего на столе в разных местах лежали для играния примороженныя подлинныя карты с марками. Подле стола по обеим сторонам стояли резной работы два долгия стула, а в углах две статуи. <...> Тут стояли... резной угольной поставец с разными меньшими фигурами; а внутри онаго стояла точеная чайная посуда, стаканы, рюмки и блюда с кушаньем. Все оныя вещи изольду зделаны, и приличными натуральными красками выкрашены были.

Наружное и прочее сего дому украшение состояло в следующих вещах. Во первых, на всякой стороне на педестале с фронтишпидом поставлено было по четверугольной пирамиде... По-



мянуты пирамиды внутри были пусты, которая ззади от дому вход имели. На каждой оных стороне высечено было по круглому окну, около которых снаружи размалеванныя часовыя доски находились, а внутри осьмиугольной бумажной большой фонарь висел, у котораго на каждой стороне всякия смешныя фигуры намалеваны были, и в котором ночью свечи горели. Оной фонарь находившейся внутри потайной человек вокруг оборачивал, дабы сквозь каждое окно из помянутых фигур одну за другою зсмотрители видеть могли.

Второе, по правую сторону дома изображен был слон в надлежащей его величине... на котором сидел Персианин с чеканом в руке, а подле ево еще два Персианина в обыкновенной человеческой величине стояли. Сей слон внутри был пуст, и так хитро зделан, что днем воду вышиною на 24 фута пускал, которая из блисконаходившагося канала Адмиралитейской крепости трубами приведена была, а ночью с великим удивлением всех зсмотрителей горящую нефть выбрасывал. Сверх же того мог он как живой слон кричать, которой голос потаенной в нем человек трубою производил. Третье, на левой стороне дома... по обыновению северных стран изольду построена была баня, которая казалась, будто бы из простых бревен зделана была, и которую несколько раз топили, и действительно в ней парились.

Такого состояния был сей ледяной дом; и понеже жестокая стужа с начала генваря месяца по самой март почти непрерывно продолжалась, то и оной дом до тогож времени стоял, без всякаго повреждения. В исходе марта месяца начал он к падению клониться, и помаленьку особливо с полуденной стороны валиться; причем из обвалившихся льдин самыя большия в императорской ледник отвезены были. <...>

Ф. - Б. РАСТРЕЛЛИ. «ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВСЕХ ЗДАНИЙ, ДВОРЦОВ И САДОВ...»

1. По моем прибытии я составил генеральный план всего расположения мызы Стрельны, а также приступил к изготовлению модели большого сада с видом на море.

2. Я руководил постройкой каменного дворца в Бенгенбауме, ровно как и нижнего сада и увеселительного дома, который ранее принадлежал князю Меньшикову и находится на расстоянии 9 верст от Петергофа.

3. Я руководил одновременно постройкой дворца, с галлереей, выложенной камнями, принадлежавшего ранее князю Меньшикову и расположенного на Васильевском острове, где сейчас помещается благородный Кадетский корпус.

4. Я руководил одновременно постройкой каменного дворца для резиденции Петра Великого, с видом на реку Неву, ныне занятого дворянской ротой лейб-гвардии.

5. Я выполнил в рисунке проекты для зданий Сената, равно как и для всех Коллегий.

6. Я выполнил по приказу императрицы Екатерины увеселительный дворец из дерева, с большим садом, для ее величества царицы Прасковьи.

7. Я выполнил рисунок и изготовил модель мавзолея для славной памяти императора Петра Великого по приказу императрицы Екатерины.

8. По приказу императора Петра II я сделал в рисунке большой проект обширного увеселительного дворца из камня с большим садом, для князя Ивана Долгорукого, фаворита императора.

9. Я выполнил по тому же приказу большой проект постройки арсенала с фасадом и профилями этого обширного сооружения.

10. Я сделал рисунок плана пьедестала для установки конной статуи императора Петра Великого, равно как и модель из дерева, по которой названная статуя была вылита из бронзы под руководством моего покойного отца.

11. Я построил в городе Москве, в царствование императрицы Анны, прежде вдовствующей герцогини Курляндской, Зимний дворец из дерева на каменном фундаменте. Это здание было расположено близ нового Арсенала, недалеко от Кремля. В этом здании был большой зал, украшенный несколькими колоннами и скульптурой, а также парадные апартаменты.

12. Я построил одновременно на большой рыночной площади, близ главных ворот Кремля большой театр из дерева на каменных фундаментах с 4-мя ярусами лож.

13. Я построил большой двухэтажный дворец из дерева, с каменными погребами, наименованный Анненгоф, фасад которого, обращенный в сторону города Москвы, имел более 100 туаз в длину, не считая галлерей, выходящих во двор и имевших в длину более 60 туаз; вместе с этим большим зданием, там был сделан сад в сторону деревни, а также терраса напротив назван-

Ф.-Б. Растрелли. Гравюра 1750-х гг.



ного дворца, вся из тесанного камня, с большим спуском, над которым был сделан цветочный партер, окруженный пятью бассейнами, с фонтанами, украшенный статуями и вазами — все в позолоте. Это большое сооружение состояло более, чем из 400 комнат, помпозного большого зала, и имело две парадные лестницы, также украшенные скульптурой, а в главных аппаратаментах плафоны были расписаны живописью. Это обширное строение было выполнено менее чем в четыре месяца, включая мебельровку. Число рабочих всякого рода, которые были там заняты, превышало 8000 человек.

14. Я выполнил по моему проекту большую триумфальную колесницу, поставленную на полозья, для большого императорского маскарада, устроенного двором после коронации и проведенного по всем главным кварталам города Москвы.

15. По моем возвращении в С. Петербург я получил приказ построить на берегу Невы, напротив большого Летнего сада деревянный дворец длиной более 70 туаз с большим спуском к воде для барок и придворных шлюпок, что и было сделано и закончено к возвращению императрицы Анны.

16. По своем прибытии императрица Анна велела мне построить большой каменный Зимний дворец в четыре этажа, не считая погребов и мезонинов. Это здание было возведено рядом с Адмиралтейством, против большой площади, так что жилой корпус выходил на реку Большую Неву. В этом здании был большой зал, галерея и театр, также и парадная лестница, большая капелла, все богато украшенное скульптурой и живописью, как и вообще во всех парадных аппаратаментах. Число комнат, которые были устроены в этом большом дворце, превышало 200, кроме нескольких служебных помещений, лестниц и большого помещения для караула, дворцовой канцелярии и проч.

17. Я устроил на обширной площади Зимнего дворца большую иллюминацию с двумя фонтанами вина, украшенными статуями, а также с пирамидой, предназначенной для народного гулянья по поводу заключения мира с Турцией.

18. При принцессе Анне, правительнице Всероссийской, я соорудил большой Летний дворец из дерева, первый этаж которого был выполнен из камня, с новым садом, разбитым согласно моим рисункам. Этот большой дом существует в настоящее время, являясь обычной резиденцией монархов во время их летнего пребывания в Петербурге.

19. Славной памяти императрица Елизавета, вступив на трон, тотчас же послала меня в Москву, чтобы сделать к ее прибытию по случаю ее коронации все приготовления в ее дворце, а также чтобы с великолепием украсить большой Зал Кремля, где е. Имп. в. должна была дать церемониальный тронный обед в самый день ее коронации. Это старинное здание было раньше обычной резиденцией русских царей. Одновременно я построил большой деревянный дворец близ Немецкого квартала, на каменных фундаментах, недалеко от старого дворца Анненгоф, построенного императрицей Анной в начале ее царствования. В жилом корпусе этого обширного здания был сделан большой зал, украшенный и архитектурой и орнаментами из золоченой лепнины, в середине зала был сделан фонтан с бесконечными струями воды, а вокруг него — стол в форме императорской короны, целиком позолоченный. Зал был освещен несколькими тысячами стеклянных лампиров, а на большой площади, против дворца я возвел большую

пирамиду, предназначенную для народного гулянья, и большой фонтан вина.

20. Против этого дворца я одновременно построил большой театр из дерева на каменных фундаментах, с четырьмя ярусами лож. Все эти строения были исполнены и закончены на протяжении двух месяцев, когда были отпразднованы торжества после коронации императрицы Елизаветы.

21. По моем возвращении из Москвы я начал большое здание Монастыря для благородных девиц, который должен был содержать 120 келий, кроме того — большое здание для госпожи настоятельницы с очень большой трапезной. Это здание имело в плане параллелограм, в каждом из четырех углов которого была построена часовня; для удобства воспитанниц, имелось, посредством большого корридора, сообщение с каждой церковью. В первом этаже этого обширного монастыря каждая воспитанница имела свою кухню и маленький погреб с помещением для своей прислуги. В центре большого внутреннего двора названного Монастыря я построил большую церковь с куполом, причем капители, колонны и их базы были сделаны из чугуна, большая колокольня, которая была выстроена при въезде в названный монастырь, должна была иметь высоту в 560 английских футов. Я не могу достаточно превознести великолепие этого здания, украшенного снаружи прекраснейшей архитектурой, а внутри, в большой трапезной и в апартаментах госпожи настоятельницы, — лепной скульптурой и плафонами. Кроме того, четыре часовни были также выполнены в отличнейшем вкусе. Это большое строительство осуществлялось с усилиями на протяжении 12 лет, включая постройку ограды, которую я сделал в виде высокой стены, с несколькими небольшими башнями, которые украшали и укрепляли эту стену.

22. В течение этого времени я сделал деревянную модель всего этого монастыря, следуя каковой он и был построен.

23. Я построил новый каменный дворец в Петергофе, месте отдыха Петра Великого, фасад коего имел более 100 туаза в длину, с большим залом, галлереей и большой церковью. Все было украшено снаружи архитектурой, а апартаменты внутри были украшены золоченой лепкой и живописью на плафонах в зале, галлерее и парадной лестнице.

24. В большом парке Петергофа, близ нового дворца я сделал несколько фонтанов, украшенных фигурами и орнаментами, все целиком золоченые. Также я построил в разных местах названного парка несколько трельяжей разного вида, очень богато отделанных скульптурой.

25. По приказу императрицы Елизаветы я восстановил большой каменный дворец в мызе Стрельна, начатый Петром Великим во время его царствования и находящийся в восьми верстах от Петергофа. В этом большом здании я закончил все апартаменты, построил большую парадную лестницу и перестроил все так, чтобы там мог проживать весь двор.

26. Одновременно я построил в Мызе Стрельна деревянное здание, вблизи большой мельницы, где император Петр Великий, ценя приятное расположение местности, некогда построил маленький дом. Дабы почтить это место, императрица приказала разбить там прекраснейший сад с дворцом, который я и выполнил. Он служит и сейчас для жительства двора в тех случаях, когда приходится следовать по Петергофской дороге при отпра-

лении ее величества на охоту или возвращении с таковой.

27. Я построил в большом нижнем саду Петергофа, рядом с дворцом Монплеизр — каменным зданием, которое ее отец, Петр Великий выстроил у моря на голландский манер, деревянное здание, в котором были только апартаменты для ее величества и императорской семьи, и где я устроил в одном из крыльев великолепную баню, с несколькими фонтанами, куда императрица удалялась во время большой жары.

28. В том же нижнем саду Петергофа, рядом с большой аллеей для игры в шары, я построил другое большое каменное здание. Императрица часто имела там свою резиденцию в середине лета, и все иностранные послы и вельможи страны регулярно находились там два раза в неделю.

29. Одновременно я построил в камне, вблизи большого дворца большие кухни и помещения для пользования всего двора.

30. Я выстроил на краю большого верхнего сада, против большого дворца, большой каменный портал, украшенный несколькими колоннадами и мраморными статуями, а вся ограда названного сада была сделана из камней, перемежающихся решетками, богато отделанными скульптурой и позолоченными.

31. В конце большого нового Петергофского дворца я выстроил из камня большую кордегардию с квартирами для офицеров.

32. Я выстроил рядом с большим Петергофским садом деревянный театр, состоящий только из одного амфитеатра без ярусов для лож.

33. По приказу императрицы Елизаветы я перестроил жилой корпус дворца в Ренгенбауме, изменив несколько апартаментов, предназначенных для резиденции их императорских высочеств в летнее время.

34. Я исправил большой Аничков дворец и присоединил часовню с куполом, а также большой зал с парадной лестницей, богато украшенной статуями и лепными декорациями, равно и все парадные апартаменты и часовня были украшены богатыми плафонами. (Это большое здание расположено на углу у Большого моста Большого проспекта, ведущего к городу С. Петербургу. Ее императорское величество за несколько лет до своей кончины подарила его графу Разумовскому, в настоящее время генерал-фельдмаршалу). Все помещения были великолепно мебелированы.

35. В Сарском селе, любимом месте императрицы Елизаветы, отстоящем от Петербурга на 26 верст, я построил большой дворец в камне, в 3 этажа, фасад которого имеет более 130 туаз, считая 7 английских футов в туазе. В этом обширном сооружении имеются помимо парадных апартаментов большая галлерей с несколькими большими приемными, с большой парадной лестницей, украшенной колоннадами и статуями, с богатыми лепными и живописными украшениями, равно как и во всех апартаментах баль-этажа, где расположена большая галлерей, также украшенная архитектурой и скульптурой, перемежающимися с большими зеркалами, привезенными для этой декорации, все — богато позолоченное. Кроме того там имеется большая комната, отделанная великолепной работой в янтаре, выполненной в городе Берлине и подаренной королем Пруссии императору Петру Великому во время его проезда по пути во Францию. Зал, находящийся в центре этого здания, декорирован обоями, изготовленными в Китае, и скульптурными обрамлениями, а также большим количеством консолей, на которых установлены большие фарфоровые

вазы из Японии. Рядом с этим залом имеется также большой кабинет, обои которого сделаны равным образом в китайском духе с лепными обрамлениями и консолями, на которых установлены фарфоровые вазы из Саксонии исключительной красоты, а также несколько других больших комнат, украшенных великолепнейшими картинами из Италии и знаменитых живописцев Брабанта. Кроме того, там имеется большая церковь, украшенная богатыми лепными декорациями и живописью с великолепным алтарем и с плафоном, выполненным весьма известным итальянским художником. Фасад этого большого дворца украшен великолепнейшей архитектурой, все капители, колонны, пилястры, наличники, статуи, вазы и вообще все до балюстрад позолочено, равно как и здание, находящееся против дворца и имеющее форму циркумференции, выстроенное для проживания придворных вельмож.

36. На краю старого сада, против большого дворца Сарского села я построил большой каменный Эрмитаж в два этажа, состоящий из четырех павильонов с залом посредине, увенчанный куполом; все фасады украшены снаружи колоннадами и статуями, между колоннами, равно как и поверх венчающего карниза имеются пьедесталы для статуй, ваз, а на вершине упомянутого купола помещена группа фигур, все позолоченные, равно как и наличники окон, фронтоны и балюстрады. Вокруг прекрасного здания устроен большой каменный канал с подъемным мостом, украшенным великолепной балюстрадой с пьедесталами, на которых установлены статуи в шесть футов высоты, целиком вызолоченные. Все это место между каналом и Эрмитажем вымощено большими квадратами белого и черного мрамора.

37. В большом Парке Сарского села я построил большое каменное здание в два этажа с 4 павильонами, с восьмиугольным залом посредине, в котором помещены картины, посвященные охоте. Там имеется также большая лестница с великолепными железными перилами, ведущая в названный зал. Это здание также окружено большим каменным каналом с балюстрадой, украшенной статуями, равно как и самое здание.

38. Я построил ограду, соответствующую по величине протяжению парка Сарского села, имеющую в окружности более одной германской мили, с четырьмя большими бастионами, которые были выстроены по четырем углам этого парка, причем я сделал при каждом бастионе павильон, украшенный колоннами, где можно было отдыхать, когда императрица совершала прогулку пешком вдоль этой стены, сделанной для этой цели достаточно просторной. Одновременно я сделал у входа в этот парк большой портал, великолепно украшенный архитектурой со статуями и другими декорациями на охотничьи сюжеты.

39. Напротив большого пруда в Сарском селе, находящегося весьма близко от дворца, я выстроил большое каменное здание с восьмиугольным залом в центре, увенчанным куполом, великолепно украшенным колоннадой и статуями. К этому зданию были присоединены две больших каменных площадки для зимнего катка, а летом там устраивались представления, которые императрица часто давала всем вельможам своего двора.

40. В старом саду Сарского села, рядом с большим прудом я построил большое каменное здание в один этаж, которое имело два павильона и большой зал со сводом, и было украшено снаружи несколькими колоннами с фронтоном и окружено балюстрадой, статуями и вазами различного вида. Это здание было вы-

строено на подобие грота, богато украшенного редчайшими раковинами с причудливыми декорациями, а также статуями, вазами и колоннами, выполненными в весьма необычном вкусе. С краю этого здания я устроил большую террасу с балюстрадой, имевшую с каждой из двух сторон мраморный сход, по которому императрица, выходя из названного грота, могла спуститься к пруду и садиться в лодку для охоты на бекасов.

41. У трех больших входов большого двора Сарскосельского дворца я сделал порталы в форме решеток, великолепно выполненных из железа. Это было сделано с величайшим совершенством, ажурно и все было позолочено и украшено бронзой с золотыми орнаментами.

42. В деревне Сарского села я построил большие каменные конюшни на 200 лошадей, а также сарай для придворных карет и нескольких других зданий для проживания прислуги названных конюшен.

43. Императрица приказала мне построить в трех верстах от Петергофа, по дороге в Ораниенбаум большое деревянное здание в один этаж, квадратной формы, с большим двором посредине. Это место называется Царская дача, что означает место отдыха царя.

44. Я получил приказ сопровождать императрицу Елизавету в ее втором путешествии в Москву, и тотчас по ее прибытии я построил рядом со старым головинским дворцом другое деревянное здание для летней резиденции императрицы. Это здание выстроено напротив большого сада, и к нему присоединен большой коридор для сообщения с зимним дворцом.

45. Я построил каменный дворец против большого сада. Это здание выстроено в деревне, называемой Покровское, резиденции государыни, когда она была принцессой. Здание имело два этажа и часовню, очень богато украшенную скульптурой подобно всем апартаментам.

46. Я также построил каменный дворец в старом Кремле — резиденции прежних царей. Это здание было выстроено рядом с большим залом, предназначенным для празднования первого дня коронации.

47. Я построил охотничий дворец в 15 верстах от города Москвы. Это здание было выстроено из камня, с большим садом, в большом лесу Перово. Это сооружение было снаружи украшено простой архитектурой вовсе без лепных орнаментов, не считая фронтона, богато украшенного скульптурой, а на балюстраде кровли названного дворца были поставлены статуи и вазы.

48. Я построил в городе Киеве, в провинции Украины большую каменную церковь с куполом и 4 башнями в виде колоколен. Это здание построено на бастионе св. Андрея, ибо согласно преданию этой страны, св. Андрей, проезжая через эту провинцию, воздвиг там крест, который сохраняется с большим почитанием. Именно по этому случаю императрица приказала построить эту церковь в том самом месте, где этим св. апостолом был поставлен крест.

49. По моем возвращении из города Москвы я построил по приказу императрицы каменный дворец в один этаж с большим залом и погребками. Это здание было сооружено на большой Московской дороге, на полпути в Сарское село, в 11 верстах от города Петербурга.

50. Я построил каменный флигель, соединенный со старым

Зимним дворцом. Это здание было сделано для того, чтобы увеличить апартаменты императрицы, которая всегда имела там свою резиденцию в зимнее время. Одновременно там была построена часовня, расположенная в конце названного дворца, где сейчас еще можно видеть церковь, которая осталась неснесенной после того, как старый дворец был разрушен.

51. Ее величество императрица Елизавета повелела мне по случаю свадьбы их императорских высочеств декорировать большой зал Зимнего дворца, а также большую галерею, чтобы там отпраздновать со всем великолепием торжества, назначенные по этому поводу. С этой целью я сделал фигурные столы, украшенные фонтанами и каскадами и установленные по 4 углам названного зала, окруженные вазами и аллегорическими статуями, все богато орнаментированное золоченой скульптурой; по каждой стороне названных каскадов были расставлены померанцевые и миртовые деревья, образовавшие прекраснейший сад. На большой площади был устроен винный фонтан, украшенный скульптурой, с большой пирамидой, предназначенной для народного гулянья. Эти праздники продолжались в течение трех дней после свадьбы.

52. В Летнем дворце я сделал каменный Эрмитаж с небольшим садом в первом этаже апартамента ее величества: здание было украшено статуями из белого мрамора на пьедесталах с небольшим фонтаном посередине, все украшения которого были позолочены.

53. В новом Летнем саду я вырыл пруд большого размера, недалеко от дворца, который примыкал к новому саду, где одновременно я устроил большой лабиринт из зелени липовых аллей, замкнутый оградой из различных деревьев, украшенной на равных промежутках великолепными мраморными статуями, а также большой фонтан с водяной пирамидой и каскадами, украшенными позолоченными барельефами и вазами, из которых били снопы воды, а вокруг этого большого бассейна было поставлено несколько мраморных фигур.

54. В новом саду я построил по приказу императрицы большое здание бань, с большим круглым салоном и фонтаном в несколько струй воды, а также с несколькими апартаментами, приспособленными для удобства бани, и с несколькими парадными комнатами. Все это было украшено скульптурой и живописью, великолепно выполненными.

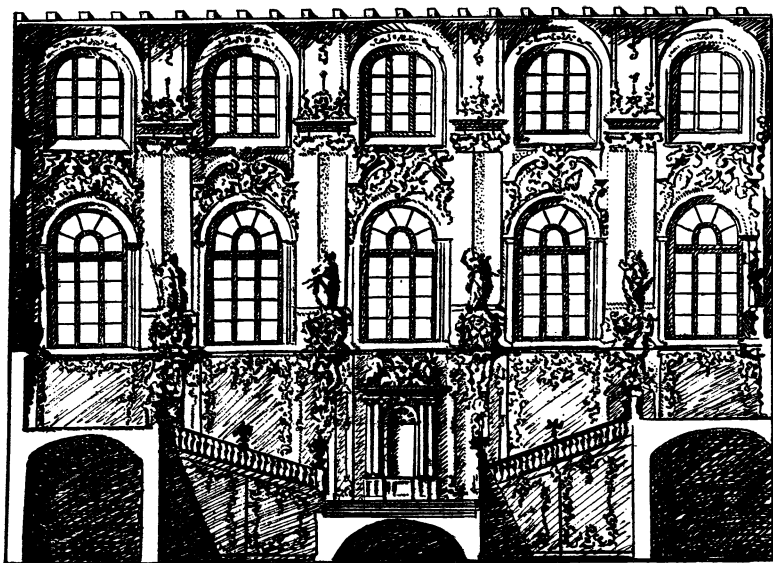
55. После того, как императрица утвердила проект нового Зимнего дворца и так как было необходимо совершенно снести старый дворец, построенный покойной императрицей Анной в начале ее царствования, ее величество императрица Елизавета приказала мне строить большой Зимний дворец из дерева, в один этаж на каменных фундаментах, и это здание было построено на большом проспекте. Число апартаментов превышало 2000 комнат, с большим залом, галлереей, часовней, а также большим театром в два яруса лож. Все парадные апартаменты, приемные, зал, галлерей и проч. были украшены лепным позолоченным орнаментом и несколькими плафонами, помещенными в главных апартаментах.

56. По приказу сената я изготовил большую модель Триумфальных ворот, которые должны были быть построены в начале Большого проспекта, чтобы служить главным въездом в город Петербург. Это сооружение еще не начато. Названная модель находится в настоящее время в большом зале Сената.

57. Я выполнил по приказу императрицы Елизаветы проекты для постройки новых двухэтажных лавок, которые строятся вдоль Большого проспекта.

58. Я построил в камне большой Зимний дворец, который образует длинный прямоугольник с четырех фасадах, из коих один, выходящий на Большую площадь, имеет более 790 английских футов в длину, фасад со стороны большой реки имеет равным образом такое же число футов, два остальных фасада, из коих один напротив Адмиралтейства, а другой — со стороны большой Миллионной улицы имеет более 600 футов каждый. Это здание состоит из трех этажей, кроме погребов. Внутри этого обширного сооружения имеется посредине большой двор, который служит главным входом для императрицы и где расположен большой караул гвардейского корпуса. Кроме этого главного двора имеется два других меньших, из коих один расположен у больших апартаментов, а другой находится у края дворца и служит для того, чтобы отделить служебные помещения и кухни императорской фамилии. Число всех комнат в этом дворце превосходит 460, включая 4 больших приемных, соединяющихся в том же этаже с большим залом. Кроме этих больших помещений, там имеется большая парадная лестница с двойными перилами итальянского белого мрамора, весьма великолепная по архитектуре и скульптуре, украшенная архитектурой и лепными позолоченными орнаментами, а также парижскими зеркалами. Кроме того имеется большая церковь с куполом и алтарем, весьма богато украшен-

Зимний дворец. Разрез Парадной лестницы.
Вид на восточную стену. Чертеж Ф.-Б. Растрелли.



ным скульптурой и живописью, с плафоном, причем во всех вообще парадных апартаментах, в том числе тех, которые предназначены для императорской семьи, все украшено с величайшим великолепием. В углу названного дворца, со стороны Большой площади построен театр с 4 ярусами лож, выполненными целиком в камне, внутренность этого театра весьма богато украшена скульптурой и живописью.

59. На берегу реки Большой Невы, против нового дворца, я соорудил большую каменную набережную с тремя сходами для удобства дворцовых шлюпок и вообще для всех министров и вельмож, которые прибывают ко двору водой.

60. На большом Проспекте я построил церковь с куполом и колокольной, всю в камне, в честь св. девы Казанской, которая почитается в этой провинции как чудотворная. Алтарь, равно как и весь интерьер украшены весьма богатыми лепными позолоченными орнаментами, с бесчисленными прекраснейшими образами, установленными в алтаре. Именно в этой церкви состоялось венчание императора Петра III с ныне царствующей императрицей.

61. Я построил деревянный охотничий дом, на каменных фундаментах. Это здание выстроено в Красном селе, в 25 верстах от Петербурга.

62. Я выстроил одновременно, по приказу императрицы Елизаветы, большой алтарь в Преображенской церкви, принадлежащей первому полку ее Гвардии. Этот алтарь — великолепной архитектуры со скульптурой и живописью, равно как и кафедра; все богато вызолочено.

Имеется еще много других сооружений средней важности, которые я не упоминаю, опасаясь быть слишком пространным в моем Описании; достаточно того, что я перечисляю только наиболее значительные здания.

Следует заметить, что все эти сооружения и здания были выполнены целиком по моим проектам, в том числе и все внутреннее убранство зал, галлерей, парадных лестниц, равно как и всех парадных апартаментов, а также отделка фасадов; все было исполнено исключительно под моим руководством, причем я снабжал всех архитекторов, находившихся в моем подчинении, и мастеров всеми чертежами, необходимыми для производства работ, и я постоянно работал лично с усердием над всем, что мне поручалось монархами, что отлично известно всем министрам и вельможам двора. Все эти здания были выполнены на протяжении 40 лет, когда я был на службе, причем я никогда не получил никакой награды, а когда попросил отставки, чтобы вернуться на родину, не будучи более в состоянии служить из-за недугов, приобретенных мной в течение столь долгого периода времени, — меня отпустили без малейшего вознаграждения и даже не дали мне средств на столь длинное путешествие.

Независимо от дворцов, построенных мной в течение всего времени, когда я был на службе императорского двора, я соорудил несколько больших зданий для знатнейших сановников империи, а именно.

63. Я построил большой дворец с парком для великого канцлера графа Воронцова, кавалера ордена св. Андрея и прочих.

64. Равным образом, я построил дворец графа Строганова, отца нынешнего камергера и кавалера ордена св. Анны.

65. Я построил большой дворец для бывшего гофмаршала, графа де Левенвольде, умершего в изгнании.

66. Я построил большой дворец для гофмаршала Шепелева, кавалера ордена св. Андрея: это здание было сооружено на большой Миллионной улице, недалеко от Зимнего сада.

67. Я построил на большом проспекте большой дворец, приобретенный главнокомандующим артиллерии де Вильбуа.

68. Я построил также большой загородный дворец, по дороге в Петергоф, принадлежащий гофмаршалу, графу де Сиверс, кавалеру ордена Белого Орла и прочих.

69. Я построил в поместьи, близ города Москвы большой загородный дворец, принадлежащий князю Голицыну.

70. Равным образом, я построил в городе Москве дворец, принадлежащий князю Сергею Голицыну, сенатору, кавалеру ордена св. Александра и св. Анны.

71. Я построил в том же городе Москве большой дворец, принадлежащий графу Салтыкову, генерал-адъютанту императрицы Анны, кавалеру ордена св. Андрея и прочих.

72. Я построил в конце Миллионной улицы в Санкт-Петербурге большой дворец для его светлости великого господаря Валахии, князя Молдавии, сенатора и кавалера ордена св. Андрея.

73. Я построил на Морской улице дворец, принадлежащий его превосходительству Чоглокову, гофмейстеру двора великого князя.

74. Я построил дворец князя Хованского, расположенный на берегу большой реки, недалеко от места, где строят суда.

75. Я построил вблизи малой реки и зеленого моста большое здание, принадлежащее господину Гегельману, поставщику двора.

АНТИОХ КАНТЕМИР. САТИРА I*. НА ХУЛЯЩИХ УЧЕНИЯ К УМУ СВОЕМУ

- 1 Уме незрелый, плод недолгой науки!
Покойся, не понуждай к перу мои руки:
Не писав летящи дни века проводи
Можно, и славу достать, хоть творцом не слыти.

* Сатира сия, первый опыт стихотворца в сем роде стихов, писана в конце 1729 года, в двадцатое лето его возраста. Насмеивается он ею невежам и презирателям наук, для чего и надписана была «На хулящих учения». Писал он ее для одного только проведения своего времени, не намерен будучи обнаружить; но по случаю один из его приятелей, выпросив ее прочесть, сообщил Феофану, архиепископу Новгородскому, который ее везде с похвалами стихотворцу рассеял и тем, не доволен, возвращая ее приложил, похвальные сочинителю стихи и в дар к нему прислал книгу «Гиралдия о богах и стихотворцах». Тому архипастырю следуя, архимандрит Кролик многие в похвалу творцу стихи надписал <...> чем он ободрен, стал далее прилежать к сочинению сатир.

Ст. 1. Уме незрелый, плод и проч. Тут наука значит наставление, действие того, кто другого кого учит. Так, в пословице говорим: Плеть не мука, да впрядь наука.

Ст. 4. Творцом не слыти. Творец — то ж, что сочинитель или издатель книги, с латинского — автор.

САТИРА I

НАХУЛТАЩИХЪ УСЕНІЕ.

къ УМѢ своему,

УМѢ славыи ПЛОДѢ ТРУДАѢ НЕГОЛОУНАДИИ!
Понимай, встань хощешь проситѣ Свѣтъ Божіи

ИЗЪЯСНЕНІЕ

Сатира сіѣ сочинена внонцѣ 1729 года, кѣмъ прѣ-
вада Купцова Латорова; Купцовъ имѣла свое ута-
мля поощрять вѣсѣхъ поэты сатирикохъ, вниѣ * насмѣ-
далахъ и въ прѣстаѣ описываеѣхъ многихъ Словесныи
иѣ Оиавнахъ

Мошно сказать что сатира сіѣ кѣмъ некимъ тоди-
на, но имѣ въ оублѣна кѣмъ автора: Понеже
Купцова сатирикохъ, ни что особляѣхъ сатиру на-
хултащи Усеніе небула. Авторъ нашъ сочиня
сіѣ сатиру не много събъ его лѣтѣхъ, таѣхъ это стѣ-
ломъ оуболю прѣстѣхъ се понадала; Купцовъ
се списатѣ въ прѣстаѣ, понадала прѣстѣхъ
Архисписноѣ Усефанѣ сеи прѣстѣхъ се ко авторѣ и-
дѣтѣхъ прѣстѣхъ впокладу его стихѣхъ [Купцова
впадалъ сеи Купцова прѣстѣхъ] кѣмъ, послѣхъ прѣ-
стоу пѣхъ булаѣхъ кѣмъ, оубо Купцова обѣхъ Купцова
сеи Архисписноѣ послѣхъ прѣстѣхъ Купцова и оубо
прѣстѣхъ Архисписноѣхъ и оубо прѣстѣхъ, таѣхъ не.

Автографъ А. Д. Кантемира.

Рукопись I Сатиры в первоначальной редакци.

- 5 Ведут к ней нетрудные в наш век пути многи,
 На которых смелые не запнутся ноги;
 Всех неприятнее тот, что босы проклали
 Девять сестр. Многи на нем силу потеряли,
 Не дошед; нужно на нем потеть и томиться,
- 10 И в тех трудах всяк тебя как мору чужится,
 Смеется, гнушается. Кто над столом гнется,
 Пяля на книгу глаза, больших не добьется
 Палат, ни расцветенна мраморами саду;
 Овцу не прибавит он к отцовскому стаду.
- 15 Правда, в нашем молодом монархе надежда
 Выходит музам немала; со стыдом невежда
 Бежит его. Аполлин славы в нем зашиту
 Своей не слабу почул, чтяща свою свиту
 Видел его самого, и во всем обильно
- 20 Тщится множить жителей парнасских он сильно.
 Но та беда: многие в царе похваляют

Ст. 5. Нетрудные в наш век. Слова в наш век пошешкою вставлены. Путь к истинной славе всегда бывал весьма труден, но в наш век легко многими дорогами к ней дойти можно, понеже не нужны нам уже добродетели к ея приобретению.

Ст. 7 и 8. Всех неприятнее тот, что босы проклали девять сестр. Всего труднее славы добиться чрез науки. Девять сестр — музы, богини и изобретательницы наук, Юпитера и Памяти дочери. Имена их: Клио, Урапия, Евтерпе, Ератон, Фалия, Мелпомене, Терпсихоре, Каллиопе и Полимния. Обычайно имя муз стихотворцы за самые науки употребляют. Босы, сиречь убогие, для того, что редко ученые люди богаты.

Ст. 13. Расцветенна мраморами саду. Украшенного статуями или столбами и другими зданиями мраморными.

Ст. 14. Овцу не прибавит. Человек чрез науки не разбогатеет; каков от отца ему оставлен доход, таков и останется, ничего к нему не прибавит.

Ст. 15. В нашем молодом монархе. О Петре Втором говорит, который вступал тогда в пятое на десять лето своего возраста, рожден быв 12 октября 1715 года <...>.

Ст. 17. Аполлин. Сын Юпитера и Латоны, брат Дианы, у древних за бога наук и начальника муз почитан.

Ст. 18 и 19. Чтяща свою свиту видел его самого. В Аполлиновой свите находятся музы. Петр II показал образ почитания наук, понеже сам, пока не был обременен правлением государства, обучался приличным такой высочайшей особе наукам. Прежде всошествия на престол его величество имел учителя Зейкана, родом венгерца; а потом, в 1727 году, взят для наставления его величества Христиан Гольдбах, Санктпетербургской Академии наук секретарь. По прибытии своем в Москву его величество изволил подтвердить привилегии Академии наук, учредив порядочные и постоянные доходы профессорам и прочим учителям того училища.

Ст. 20. Жителей парнасских. Парнас есть гора в Фиде, провинции греческой, посвященна музам, на которой они свое жилище имеют. Ученые люди фигурально парнасскими жителями называются. Сим стихом стихотворец припоминает великодушные монарха к учителям, которые на его величества иждивении тщатся приумножить науки и ученых людей.

- За страх то, что в подданном дерзко осуждают.
 «Расколы и ереси науки суть дети;
 Больше врет, кому далось больше разумети;
- 25 Приходит в безбожие, кто над книгой тает, —
 Критон с четками в руках ворчит и вздыхает,
 И просит, свята душа, с горькими слезами
 Смотреть, сколь семя наук вредно между нами;
 Дети наши, что пред тем, тихи и покорны,
- 30 Праотческим шли следом к божией проворны
 Службе, с страхом слушая, что сами не знали,
 Теперь, к церкви соблазну, библию честь стали;
 Толкуют, всему хотят знать повод, причину,
 Мало веры подавая священному чину;
- 35 Потеряли добрый прав, забыли пить квасу,
 Не прибьешь их палкою к соленому мясу;
 Уже свечек не кладут, постных дней не знают;
 Мирскую в церковных власть руках лишну чают,
 Шепча, что тем, что мирской жизни уж отстали,
- 40 Поместья и вотчины весьма не пристали».
 Силван другую вину наукам находит.
 «Учение, — говорит, — нам голод наводит;
 Живали мы преж сего, не зная латыне,
 Гораздо обильнее, чем мы живем ныне;
- 45 Гораздо в невежестве больше хлеба жали;

Ст. 23. Расколы и ереси. Хотя то правда, что почти все ересей начальники были ученые люди, однако ж от того не следует, что тому причина была их наука, понеже много ученых, которые не были еретики. Таков есть святой Павел — апостол, Златоустый, Василий Великий и прочие. Огонь служит и нагревать и разорять людей вконец, каково будешь его употреблять. Пользует он, ежели употребление добро; вредит — ежели употребление зло. Подобно и наука; однако для того ни огонь, ни наука не злы, но зол тот, кто употребляет их на зло. Между тем и то приметно, что в России расколы больше от глупости, чем от учения рождаются; суеверие же есть истое невежества порождение.

Ст. 25. Приходит в безбожие. Обыкновенное невежд мнение есть, что все, которые многому книг чтению вдаются, напоследок не признают бога. Весьма то ложно, понеже сколько кто величество и изрядный порядок твари познает, что удобнее из книг бывает, столько больше чтить творца природным смыслом убеждается; а невежество приводит в злые весьма о божестве мнения, как, например, богу уды и страсти человеческие приписывать.

Ст. 26. Критон с четками в руках ворчит. Вымышленным именем Критона (...) означаетя тут притворного боготчения человек, невежда и суеверный, который наружности закона существу его предпочитает для своей корысти.

Ст. 41. Силван другую вину. Под именем Силвана означен старинный скупой дворянин, который об одном своем поместье радеет, охудая то, что к распространению его доходов не служит.

Ст. 45. Гораздо в невежестве больше хлеба жали. Не гораздо ли смешно приписывать наукам в вину то, что от одной лености земледельцев или от непорядочного воздуха происходить может.

- Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли.
 Буде речь моя слаба, буде нет в ней чину,
 Ни связи, — должно ль о том тужить дворянину?
 Довод, порядок в словах — подлых то есть дело,
 50 Знатым полно подтверждать иль отрицать смело.
 С ума сошел, кто души силу и пределы
 Испытает; кто в поту томится дни целы,
 Чтоб строй мира и вещей выведать премену
 Иль причину, — глупо он лепит горох в стену.
 55 Прирастет ли мне с того день к жизни, иль в ящик
 Хотя грош? могу ль чрез то узнать, что приказчик,
 Что дворецкий крадет в год? как прибавить воду
 В мой пруд? как бочек число с винного заводу?
 Не умнее, кто глаза, полон беспокойства,
 60 Коптит, печась при огне, чтоб вызнать род
 свойства,
 Ведь не теперь мы твердим, что буки, что веда —
 Можно знать различие злата, серебра, меди.
 Трав, болезней знание — голы все то враки;
 Глава ль болит — тому врач ищет в руке знаки;
 65 Всему в нас виновна кровь, буде ему веру
 Дать хочешь. Слабеем ли — кровь тихо чрезмеру
 Течет; если спешно — жар в теле; ответ смело
 Дает, хотя внутри никто видел живо тело.
 А пока в баснях таких время он проводит,
 70 Лучший сок из нашего мешка в его входит.
 К чему звезд течение числить, и ни к делу,
 Ни кстати за одним ночь пятном не спать целу,

Ст. 49. Довод, порядок в словах. Тому учат витийство и наипаче логика, которая дело есть право о вещи какой рассуждать и то другому ясными доказать доводами.

Ст. 51. Кто души силу и пределы. В сем стихе о метафизике говорится, которая рассуждает о сущем вообще и о свойствах души и духов.

Ст. 53. Строй мира и вещей выведать премену иль причину. Физика или естествословие испытает состав мира и причину или отменение всех вещей в мире.

Ст. 60. Чтоб вызнать руд свойства. Химия тому учит. Слово руда значит металл, каково есть золото, серебро, медь, железо и прочая.

Ст. 63. Трав, болезней знание. То есть медицина или докторство.

Ст. 64. Ищет в руке знаки. Докторы, желая узнать силу болезни, щупают в руке больного ударение жилы, от чего познают, каково течение крови и, следовательно, слабость или жестокость болезни.

Ст. 68. Внутри никто видел живо тело. То есть, хотя анатомисты и знают тела состав и состояние, однако нельзя от того рассудить о тех непорядках, которые в живом человеке случаются, понеже еще никто не видал, каково есть движение внутренних человека.

Ст. 71. К чему звезд течение числить. О астрономии тут слово идет.

- За любопытством одним лишиться покою,
Ища, солнце ль движется, или мы с землею?
- 75 В часовнике можно честь на всякий день года
Число месяца и час солнечного восхода.
Землю в четверти делить без Евклида смыслим,
Сколько копеек в рубле — без алгебры счислим».
- 80 Силван одно знание слично людям хвалит:
Что учит множить доход и расходы малит;
Трудиться в том, с чего вдруг карман не толстеет,
Гражданству вредным весьма безумством звать смеет.
Румяный, трожды рыгнув, Лука подпеваает:

Ст. 72. За одним пятном. В солнце и в планетах астрономы пятна с любопытством примечают, по оным признавая время, в которое они круг своего центра вертятся. При соединении двух планет живет то, что нижний пятном кажется в вышнем планете. В луне усматриваются подвижные пятна, которые чаятельно суть тени ея высоких гор. Смотри Фонтенелла «О множестве миров».

Ст. 74. Солнце ль движется, или мы с землею (Фонтенелл «О множестве миров», вечер 1-й). Два мнения имеют астрономы о системе (состав) света. Первое и старое есть, в котором Земля вместо средоточия всего система имеется и неподвижна стоит, а около ея планеты Солнце, Сатурн, Юпитер, Марс, Меркурий, Луна и Венус вертятся, всякий в известное время. Система сие, по Птолемею, своему вымыслителю, называется Птолемаическою; другое есть, которое Солнце неподвижно (но около самого себя обращающееся) поставляет, а прочие планеты, между которыми есть и Земля, в учрежденное всякому время около его вертятся. Луна уже не планета, но сателлес есть Земли, около которой круг свой совершает в 29 дней. Систему сие выдумал Коперник, немчин, и для того Коперническою называется. Есть и третье система, Тихона Брахея, датчина родом, которое, однако ж, из прежних двух составлено, понеже он с Птолемеем согласуется в том, что Земля стоит и что солнце около ея вертится, но с Коперником всех прочих планет движение около солнца поставляет.

Ст. 77. В четверти делить без Евклида смыслим. Четверть есть часть земли или пашни в 20 сажень ширины и 80 длины. Евклид был славный математик александрийский, где во время Птолемея Лага математическое училище держал в лето по создании Рима 454. Трудов его у нас, между прочим, остались «Елементы», содержащие в 15-ти книгах основанье всей геометрии.

Ст. 78. Без алгебры. Алгебра есть часть математики весьма трудная, но и преполезная, понеже служит в решении труднейших задач всея математики. Можно назвать ее генеральною арифметикою, понеже части их по большей мере между собою сходны, только что арифметика употребляет для всякого числа особливые знаки, а алгебра генеральные, которые всякому числу служат. Наука сия, сказывают, в Европу пришла от арап, которых мнят быть ея изобретательми; имя самое алгебры есть арапское, которые ее называют Алжабр Валмукабала, то есть наверстать или соравнять.

Ст. 83. Румяный, трожды рыгнув, Лука. Лука — пьяница, с вина румяный и с вина, часто рыгая, говорит и проч.

- «Наука содружество людей разрушает;
 85 Люди мы к сообществу божия тварь стали,
 Не в нашу пользу одну смысла дар прияли.
 Что же пользы иному, когда я запруся
 В чулан, для мертвых друзей — живущих лишуся,
 Когда все содружество, вся моя ватага
 90 Будет чернило, перо, песок да бумага?
 В веселье, в пирах мы жизнь должны провождати;
 И так она недолга — на что коротати,
 Крушиться над книгою и повреждать очи?
 Не лучше ли с кубком дни прогулять и ночи?
 95 Вино — дар божественный, много в нем провору:
 Дружит людей, подает повод к разговору,
 Веселит, все тяжкие мысли отымает,
 Скучость знает облегчать, слабых ободряет,
 Жесточких смягчит сердца, угрюмость отводит,
 100 Любownik легче вином в цель свою доходит.
 Когда по небу сохой бразды водить станут,
 А с поверхности земли звезды уж проглянут,
 Когда будут течь к ключам своим быстры реки
 И возвратятся назад минувшие веки,
 105 Когда в пост чернец одну ешь станет вязигу, —
 Тогда, оставя стакац, примуся за книгу».
 Медор тужит, что чресчур бумаги исходит
 На письмо, на печать книг, а ему приходит,
 Что не в чем уж завертеть завитые кудри;
 110 Не сменит на Сенеку он фунт доброй пудры;
 Пред Егором двух денег Вергилий не стоит;

Ст. 85. К сообществу божия тварь стали. Бог нас создал для сообщества.

Ст. 88. Для мертвых друзей. То есть для книг.

Ст. 95. Вино — дар божественный. Гораций нечто подобное говорит в... стихах своего V письма, книги 1... <...>.

Ст. 101. Когда по небу. Подражание из ...Овидиевых стихов 7-й его Элегии...

Ст. 107. Медор. Щеголь тем именем означен.

Ст. 109. Завертеть завитые кудри. Когда хотим волосы завивать, то по малому пучку завиваем, и, обертев те пучки бумагою, сверх нея горячими железными щипцами нагреваем, и так прямые волосы в кудри претворяются.

Ст. 110. Не сменит на Сенеку. То есть не сменит на книгу Сенекову фунт пудры. Сенека был философ секты стоической, учитель Нерона — императора римского, от которого убит лета Христова 65. Сего Сенеки имеются многие, и почти лучшие из древних, нравоучительные книги.

Ст. 111. Пред Егором Вергилий. Егор был славный сапожник в Москве, умер 1729 г. Вергилий, стихотворец латинский, был сын некоего горшечника из города Аиды в провинции Мантуанской, где родился... в 27-е [лето] пред рождеством Христовым. В Рим приехав, за его превосходный ум охотно с ним дружбу свели многие из знатнейших города... Весь свет дивится стихам его, которыми у всех достал себе имя князя стихотворцев латинских. Умер в Бринде, городе Калаврии..., в 51 [лето] своего возраста, и погребен близ Неаполя,

- Рексу — не Цицерону похвала достоин.
 Вот часть речей, что на всяк день звенят мне в уши;
 Вот для чего я, уме, немее быть клуши
- 115 Советую. Когда нет пользы, ободряет
 К трудам хвала, — без того сердце унывает.
 Сколько ж больше вместо хвал да хулы терпети!
 Трудней то, неж пьянице вина не имети,
 Нежли не славить попу свягую неделю,
- 120 Нежли купцу пиво пить не в три пуда хмелю.
 Знаю, что можешь, уме, смело мне представить,
 Что трудно злонавному добродетель славить,
 Что щеголь, скупец, ханжа и таким подобны
 Науку должны хулить, — да речи их злобны
- 125 Умным людям не устав, плюнуть на них можно;
 Изряден, хвален твой суд; так бы то быть должно,
 Да в наш век злобных слова умными владеют.
 А к тому ж не только тех науки имеют
 Недрузей, которых я, краткости радея,
- 130 Исчел иль, правду сказать, мог исчезеть смелея.
 Полно ль того? Райских врат ключари святые,
 И им же Фемис вески вверила златые,
 Мало любят, чуть не все, истинну украсу.
 Епископом хочешь быть — уберися в рясу,
- 135 Сверх той тело с гордостью риза полосата

Ст. 112. Рексу — не Цицерону. Рекс был славный портной в Москве, родом немчин; Марко Туллий Цицерон был сын римского некоего всадника из поколения Тита Тация, короля сабинского. Еще в юношестве своем Цицерон речи говорил в сенате, столь дерзновенны против друзей Катилиновых, что, убоявсь за то на себя нападения, уехал в Грецию, где у знатнейших учителей обучивсь, в такое совершенство привел латинское сладкоречие, что отцом того назван. В 691 лето по создании Рима выбран он с Антонином Непотом в консулы. Антониевым повелением убит в лето ...64 своего возраста...

Ст. 115 и 116. Когда нет пользы, ободряет к трудам хвала. Всех наших действий два повода: польза или похвала. Не обykle люди или редко следуют добродетели держаться для того, что добродетель собою красна.

Ст. 120. Нежли купцу. Имя купца значит посадского: известно, что они великие пиволюбцы и охотники к крепкому пиву, которого часто и в 5 пуд хмеля варю варят.

Ст. 126. Твой суд. Твое рассуждение.

Ст. 131. Ключари святыя. Церковные пастыри, епископы.

Ст. 132. Им же Фемис вески вверила златые. То есть судьи. Фемис — богиня правосудия, дочь Земли и Неба, пишется с весками в руках.

Ст. 133. Мало любят, чуть не все, истинну украсу. Истинною украсою называет стихотворец науку; и подлинно, невежество голо и срамно.

Ст. 135. Риза полосата. Епанча из шелковой парчи безрукавна, сшита на подоле и разных цветов полосами поперек расшита, которую сверх всего платья архиереи надевают. Обыкновенно мантию называют.

- Пусть прикроет; повесь цепь на шею от злата,
 Клобуком покрой главу, брюхо — бородою,
 Ключу пышно повели везти пред тобою;
 В карете раздувшись, когда сердце с гневу
 140 Трещит, всех благословлять нудь праву и леву.
 Должен архиастырем всяк тя в сих познати
 Знаках, благоговейно отцом называти.
 Что в науке? что с нее пользы церкви будет?
 Иной, пища проповедь, выпись позабудет,
 145 От чего доходам вред; а в них церкви права
 Лучшие основаны, и вся церкви слава.
 Хочешь ли судьей стать — вздень перук с узлами,
 Брани того, кто просит с пустыми руками,
 Твердо сердце бедных пусть слезы презирает,
 150 Спи на стуле, когда дьяк выписку читает.
 Если ж кто вспомнит тебе граждански уставы,
 Иль естественный закон, иль народны правы —
 Плюнь ему в рожу, скажи, что врет околёсну,
 Налагая на судей ту тягость несносну,
 155 Что подъячим должно лезть на бумажны горы,
 А судье довольно знать крепить приговоры.
 К нам не дошло время то, в коем председа-
 ла

Ст. 136. Цепь от злата. Архиереи повседневно сверх рясы, а в священнослужении сверх саккоса повешену имеют на шее цепочку золотую или серебряную, к которой привешен образ святого. Обыкновенно цепочку такую с образом панагии зовут...

Ст. 137. Брюхо — бородою. Широкою бороду и по брюху распущенну неведжды священническому чину за особливую украсу приписуют. <...> Раскольщики бороду брить в грех ставят.

Ст. 138. Ключу пред тобою. То есть патерицу. Когда архиерей выезжает с двора, один из его певцов верхом везет патерицу епископскую в знак его церковной власти.

Ст. 140. Праву и леву. Разумеется: руку.

Ст. 144. Выпись позабудет. Выпись есть письмо приказное, которым судья удостоверяет, что товар какой чист и что с него в государственную казну пошлина взята, или подтверждает владение земли, деревни, двора и проч.

Ст. 148. Кто просит с пустыми руками. То есть челобитчик, который подарков не дает, который ничего, прося, не подносит.

Ст. 151 и 152. Граждански уставы, иль естественный закон, иль народны правы. — Гражданские уставы суть законы, учрежденные от государей, для расправы в судах, каково у нас Уложение. Закон естественный есть правило, от самой природы нам предписанное, которое всегда неотменно и без которого никакое сообщество устоять не может. Народны правы суть законы, которые содержать должны народы разных властей для удобного взаимного сообщения и взаимной пользы.

Ст. 155. Лезть на бумажны горы. То есть шевелить, читать такое множество книг.

- Над всем мудрость и венцы одна разделяла,
 Будучи способ одна к высшему восходу.
- 160 Златой век до нашего не дотянул роду;
 Гордость, лень, богатство — мудрость одолело,
 Науку невежество местом уж посело,
 Под митрой гордится то, в шитом платье ходит,
 Судит за красным сукном, смело полки водит.
- 165 Наука ободрана, в лоскутах обшита,
 Изю всех почти домов с ругательством сбита;
 Знаться с нею не хотят, бегут ея дружбы,
 Как, страдавши на море, корабельной службы.
 Все кричат: «Никакой плод не видим с науки,
- 170 Ученых хоть голова полна — пусты руки».
 Коли кто карты мешать, разных вин вкус знает,
 Танцует, на дудочке песни три играет,
 Смыслит искусно прибрать в своем платье цветы,
 Тому уж и в самые молодые леты
- 175 Всякая высша степень — мзда уж невелика,
 Семи мудрецов себя достойным мнит лвка.
 «Нет правды в людях, — кричит безмозглый
 церковник, —
- Еще не епископ я, а знаю часовник,
 Псалтырь и послания бегло честь умею,
- 180 В Златоусте не запнусь, хоть не разумею.
 Воин ропщет, что своим полком не владеет,

Ст. 157 до 160. К нам не дошло время то и проч. Не дошло к нам то время, когда от одной мудрости ожидать было должно человеку свое награждение и повышение в вышние чины.

Ст. 160. Златой век. Стихотворцы разделяют времена на четыре века, а именно: на золотой, серебряный, медный и железный, и говорят, что в златом веке люди все одной только добродетели прилежали, отдаляясь всяких злостей.

Ст. 161. Мудрость одолело. В сем месте мудрость есть винительного падежа.

Ст. 163. Под митрой. Митра есть шапка архиерейская, в священнослужении употребляема.

Ст. 164. Судит за красным сукном. Во всех приказах стол, за которым судьи заседают, покрыт обычно красным сукном.

Ст. 172. На дудочке песни три играет. Дудочка тут значит косою флейт, который был, когда сатира сия писана, в славе, и почти все молодые люди на нем играть обучались.

Ст. 176. Семи мудрецов. Славные в Греции семь мудрецов были: Фалес, Питакус, Биас, Солон, Клеобул, Минос и Хилон. Некоторые вместо трех последних кладут Периандра, Анахарса и Эпаминонда; иные же — Писистрата, Трасибула, милетского тирана и Феницида Сирийского. <...>

Ст. 178. Часовник — книга, содержащая повседневные молитвы греческой церкви.

Ст. 179. Псалтырь и послания. То есть книгу царя Давида и апостолов послания.

Ст. 180. В Златоусте не запнусь. В Златоустовском толковании на Евангелие, которое переведено с греческого весьма неясно.

- Когда уж имя свое подписать умеет.
 Писец тужит, за сукном что не сидит красным,
 Смысля дело набело списать письмом ясным.
- 185 Обидно себе быть, мнит, в незнати старети,
 Кому в роде семь бояр случилось имети
 И две тысячи дворов за собой считает,
 Хотя в прочем ни читать, ни писать не знает.
 Таковы слыша слова и примеры вида,
- 190 Молчи, уме, не скучай, в незнатности сидя.
 Бесстрашно того житье, хоть и тяжко мнится,
 Кто в тихом своем углу молчалив таится;
 Коли что дала ти знать мудрость всеблагая,
 Весели тайно себя, в себе рассуждая
- 195 Пользу наук; не ищи, изъясняя тую,
 Вместо похвал, что ты ждешь, достать хулу злую.

В. К. ТРЕДИАКОВСКИЙ.

ОДА IV

**ПОХВАЛА ИЖЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ И ЦАРСТВУЮЩЕМУ
 ГРАДУ САНКТПЕТЕРБУРГУ**

Приятный брег! Любезная страна!
 Где свой Нева поток стремится к пучине.
 О! прежде дебрь, се коль населена!
 Мы град в тебе престольный видим ныне.

Немало зрю в округе я доброт:
 Реки твоей струи легки и чисты;
 Студен воздух, но здрав его есть род:
 Осушенъ почти уж блата мшисты.

Где место ты низвергнуть подала
 Врагов своих блаженну Александру,
 В трофей и лавр там лавра процвела;
 Там почернил багряну ток Скамандру.

Отверзла путь, торжественны врата
 К полтавским тем полям сия победа;
 Великий сам, о! слава, красота,
 Сразил на них Петр равного ж соседа*.

Ст. 183. Писец. То есть подьячий.

Ст. 184. Письмом ясным. Наши подьячие, когда пишут, об одном только тцатся, чтоб письмо их было четко и красиво; что же до правописания касается, так мало к тому прилежат, что и не нужно то чают; для того, если желаешь какую книгу не разумеь, отдай ее подьячему переписать.

Ст. 186. Семь бояр. Известно есть, что боярский чип бывал в великом почтении; потому знать, что благородным звать себя может тот, из чьего роду семеро честь боярскую на себе носили.

Ст. 193. Мудрость всеблагая. То есть бог, понеже он не только мудр, но самая премудрость, к тому ж и всеблаг.

* Равного ж соседа — шведов.

Преславный град, что Петр наш основал
И на красе построил толь полезно,
Уж древним всем он ныне равен стал,
И обитать в нем всякому любезно.

Не больше лет, как токмо с пятьдесят,
Отнеле ж все хвалу от удивленной
Ему души со славою гласят,
И честь притом достойну во вселенной.

Что ж бы тогда, как прѳидет уж сто лет?
О! вы, по нас идущие потомки,
Вам слышать то, сему коль граду свет,
В восторг пришед, хвалы петь будет громки.

Авзонских стран Венеция, и Рим,
И Амстердам батавский, и столица

Портрет В. К. Тредиаковского, помещенный в Деидамии (М., 1775),
Гравюра А. Колпашникова.



Британских мест, тот долгий Лондон к сим,
Париж градам как верьх, или царица, —

Все сия цель есть шествий наших в них,
Желаний вещь, честное наше странство,
Разлука нам от кровнейших своих;
Влечет туда нас слава и убранство.

Сей люб тому, шному — тот из нас:
Как веселил того, другой другого,
Так мы об них беседуем мног час,
И помним, что случилось там драгого.

Но вам узреть, потомки, в граде сем,
Из всех тех стран слетающихся густо,
Смотрящих всё, дивящихся о всем,
Гласящих: «Се рай стал, где было пусто!»

Явится им здесь мудрость по всему,
И из всего Петрова не в зеркале;
Санктпетербург не образ есть чему?
Восстенут: «Жаль! Зиждитель сам жил вмале».

О! боже, твой предел да сотворит,
Да о Петре России всей в отраду,
Светило дня впредь равного не зрит,
Из всех градов, везде Петрову граду.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

К с. 5. *Василий Осипович Ключевский* (1841—1911) — выдающийся русский историк. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1865). С 1867 г. начал преподавательскую деятельность. В 1900 г. В. О. Ключевский стал академиком истории и древностей русских, а через восемь лет — почетным академиком по разряду изящной словесности. Автор многочисленных фундаментальных исследований по истории феодальной России. Главное творческое достижение ученого — много томный «Курс русской истории».

К с. 10. *Михаил Иванович Семевский* (1837—1892) — историк, публицист, общественный деятель. Окончил Полоцкий кадетский корпус; состоял на военной и гражданской службе. Одно время был связан с А. И. Герценом, в заграничных изданиях которого публиковал материалы о декабристах и др. С 1856 г. начал печататься; опубликовал ряд работ по русской истории XVIII в. Труды М. И. Семевского посвящены политической, придворной жизни, быту; он — автор историко-биографических очерков о Петре I, Екатерине I, царевиче Алексее и др. Занимался изданием ценных источников — мемуаров А. Т. Болотова, Э. Миниха, Я. П. Шаховского и др. В 1870 г. основал и до 1892 г. издавал исторический журнал «Русская старина».

К с. 22. *Николай Михайлович Карамзин* (1766—1826) — писатель, публицист, историк. Сын помещика Симбирской губернии, с 1784 г. жил в Москве; в 1789—1790 гг. путешествовал за границей. Впечатления от поездки изложил в «Письмах русского путешественника». В 1791—1792 гг. издавал «Московский журнал», а в 1802—1803 гг. — журнал «Вестник Европы». Н. М. Карамзин — автор многочисленных литературных произведений. Из исторических сочинений Н. М. Карамзина наиболее известны: «Записка о древней и новой России» (1811) и многотомная «История государства Российского» (выходила в свет в 1816—1829 гг.).

С. ДЕСЯТСКОВ. ВЕРХОВНИКИ

Станислав Германович Десятков (р. 1937) — доктор исторических наук, член СП СССР.

Текст печатается по изданию: Десятков С. Г. Верховники. Исторический роман. М., 1980 (с небольшими изменениями).

В публикуемых художественных произведениях и текстах документов встречаются отличные от современной транскрипции написания имен (фамилий) исторических лиц.

К с. 26. *Дмитрий Михайлович Голицын* (1665—1737) — князь, государственный деятель, дипломат. Глава «верховников»; осужден по обвинению в заговоре, умер в Шлиссельбурге.

...*веселая царевна... Елисавет...* — Елизавета Петровна (1709—1761) — дочь Петра I и Екатерины I; императрица с 1741 г., когда в пользу этой «умной и доброй, но беспорядочной и своенравной русской барыни» (В. О. Ключевский) был совершен очередной дворцовый переворот.

К с. 27. *Петр II* Алексеевич (1715—1730), сын царевича Алексея Петровича (1690—1718) и Софьи Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской (1694—1715), император с 1727 г.

К с. 28. *Петр I* Алексеевич (1672—1725) — царь (с 1682), император (с 1721). Его родителями были: Наталья Кирилловна, урожденная Нарышкина (1651—1694) и Алексей Михайлович (1629—1676), царь с 1645 г.

Екатерина I Алексеевна (1684—1727) — императрица (с 1725). Дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского. До принятия православия — Марта Скавронская [по другим данным — Веселевская]. В Мариенбурге попала в русский плен, вскоре стала фактической женой Петра I. Церковный брак оформлен в 1712 г.

...*царская невеста...* — Екатерина Алексеевна Долгорукая (Долгорукова) (1712—1745), дочь князя Алексея Григорьевича Долгорукого — гофмейстера Петра II, члена Верховного тайного совета. А. Г. Долгорукий в 1730 г. был сослан в Березов; в 1734 г. казнен.

К с. 29. *Павел Иванович Ягужинский* (1683—1736) — граф, государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, первый генерал-прокурор Сената.

К с. 31. *Андрей Иванович Остерман* (Генрих Иоганн Фридрих) (1686—1747) — граф, государственный деятель и дипломат. На русской службе с 1703 г., в 1727—1730 гг. был воспитателем Петра II, затем фактически стоял во главе внешней и внутренней политики России.

...*князь Иван...* — Иван Алексеевич Долгорукий (1711—1739) — генерал-майор, в 1730 г. сослан; колесован в Новгороде (сын А. Г. Долгорукого).

К с. 33. ...*герцогиня Мекленбургская...* — Екатерина Ивановна (1691—1733), дочь Ивана V Алексеевича (1666—1696, царь с 1682 г. совместно с Петром I) и Прасковьи Федоровны Салтыковой (1664—1723). Екатерина Ивановна была замужем за Карлом Леопольдом, герцогом Мекленбург-Шверинским.

К с. 38. *Моисеевский женский монастырь* занимал с XVI в. часть территории совр. площади имени 50-летия Октября в Москве. Ликвидирован в 1764 г.

К с. 40. *Василий Никитыч, не упади!* — Василий Никитич Татищев (1686—1750) родился в семье псковского помещика стольника Никиты Алексеевича Татищева. Окончил в Москве Инженерную и артиллерийскую школу. С 1704 г. В. Н. Татищев на военной службе. В Северной войне (1700—1721) участвовал в боевых действиях при взятии Нарвы и в сражении под Полтавой, а

также — в прутском походе. Выполнял различные военные, дипломатические поручения императора. В 1720—1722 и 1734—1737 гг. управлял казенными заводами на Урале; основал город Екатеринбург (ныне Свердловск). В 1724 г. Татищев был послан в Швецию «для призыву мастеров, потребных к горным и минеральным делам», а по возвращении назначен в Московскую монетную контору. В 1730 г. активно выступал против «верховников». В правление императрицы Анны Иоанновны получил чин действительного статского советника. В 1734 г. В. Н. Татищева назначили главным начальником всех горных заводов в Перми и в Сибири, а через пять лет отстранили от должности по обвинениям в злоупотреблениях. Действительные же причины опалы Василия Никитича следует искать в близости его к А. П. Волюнскому. Свержение Бирона-регента и возведение на престол Елизаветы Петровны помогли Татищеву избавиться от преследований. С 1741 по 1745 г. был губернатором Астрахани.

Научные интересы Татищева связаны с его государственной деятельностью. Он подготовил первую русскую публикацию исторических источников, введя в научный оборот тексты Русской Правды и Судебника 1550 года с подробными комментариями; ему принадлежит первое научное обобщающее произведение по отечественной истории — «История Российская с самых древнейших времен»; он положил начало развитию в России исторической географии, источниковедения, этнографии; составил первый русский энциклопедический словарь — «Лексикон российской исторической, географической, политической и гражданской» (доведен автором лишь до буквы «к»).

После отставки с поста астраханского губернатора в 1745 г. Татищев поселился в своем подмосковном имении Болдино, где и умер. Последние пять лет он находился под следствием и не имел права покидать деревню.

К с. 41. ...княжна *Варвара Черкасская с подругой, Натальей Шереметевою...* — Варвара Алексеевна Шереметева, урожд. Черкасская (1711—1767) — графиня, статс-дама; Наталья Борисовна Долгорукая, урожд. Шереметева (1714—1771) — дочь фельдмаршала, графа Бориса Петровича Шереметева (1652—1719), жена князя И. А. Долгорукого. В 1730 г. вместе с мужем отправилась в Сибирь. Вернулась из ссылки в 1740 г.; с 1758 г. — монахиня Фроловского монастыря в Киеве.

Антиох Дмитриевич Кантемир (1709—1744) — был выдающимся российским поэтом-сатириком, дипломатом, общественным деятелем. Уже в юношеские годы определилась твердость его характера, непреодолимо стремление к образованию, о чем свидетельствует Собственноручное прошение А. Кантемира на имя Петра I: «Всепресветлейший, державнейший император и самодержец всероссийский, Петр Великий, отец отечества, государь всемиловитивейший!

1

Крайнее желание имею учиться, а склонность в себе усмотрю чрез латинский язык снискати науки, а именно знание истории древняя и новья, географию, юриспруденцию и что к статусу политическому надлежит. Имею паки и к математическим наукам не малую охоту, также между делом и к миниатюре.

Но понеже вышепомянутые науки, как рачительнее снискиваются, так и удобнее приобретаются в знаменитых окрестных государств академиях, требуется и неколиколетнему там пребыванию и денежное иждивение, а сиротство мое и крайний в деньгах недостаток без всякаго моего изъяснения сами собою вашему императорскому величеству довольно ведомы суть.

Того ради всеподданейше прошу, да повелит высокодержавство ваше мене, нижайшего, для приобретения вышепомянутых наук отпустить в окрестные государства и для моего сиротства, по монаршескому своему великодушию, хотя малое что на тамошнее иждивение милостивейше пожаловать. Вашего императорскаго величества всенижайший раб К. Антиох Кантемир. Подана 25 мая, 1724 года).

Кантемир был широко образован: владел в совершенстве несколькими языками, изучал гуманитарные и точные науки. Он выполнял обязанности российского посла в Англии (с 1732 г.) и во Франции (1738—1744 гг.). Входил в «ученую дружину», принадлежал к передовой дворянской интеллигенции своего времени. Выступал активным сторонником реформ Петра I. Антиох Кантемир считал основной задачей защиту естественных человеческих прав, распространение просвещения, борьбу с невежеством и суевериями. Занимался теорией естественного права, развитием русской культуры, интересовался происхождением Вселенной, остро критиковал церковь и клир.

Широко известны сатиры, написанные в 1729—1730 гг., опубликованные впервые во французском переводе в Лондоне в 1749 г., а в России появившиеся лишь в 1762 г. В 1730 г. Кантемир перевел на русский язык трактат физика Фонтенеля «О множестве миров». Кантемир ввел в русский речевой оборот такие слова, как «идея», «депутат», «материя», «природа» и др. В 1756 г. Синод конфисковал перевод трактата. Сочинения Кантемира, а также связи его с прогрессивными людьми Западной Европы обострили отношения с правительством. Однако большой авторитет Кантемира в столицах европейских государств, глубокое знание международных отношений заставляли Петербургский кабинет терпеть А. Д. Кантемира на ответственных дипломатических постах.

Феофан Прокопович (1681—1736) — церковный и политический деятель, писатель, сподвижник Петра I.

Дмитрий Константинович Кантемир (1673—1723) — князь, принадлежал к среде высшей молдавской знати. Получил блестящее образование, знал многие иностранные языки, имел познания в архитектуре, математике, музыке, философии, оставил ряд ученых трудов. В 1711 г. вместе с семьей переселился в Россию. Сначала жил в Харькове, в 1713 г. переезжает в Москву. В 1719 г. Д. Кантемир с семьей поселился в Петербурге; с 1721 г. он — член Сената; позднее сопровождал Петра I в персидском походе.

К с. 42. *Сергей Григорьевич Строганов* (1707—1756) — барон (с 1722), затем граф.

К с. 43. ...*многие, как Толстой или Меншиков...* — Петр Андреевич Толстой (Толстов) (1645—1729) — граф, государственный деятель, дипломат. Александр Данилович Меншиков (1673—1729) — государственный и военный деятель, светлейший князь, ближайший сподвижник Петра I.

К с. 47. *Петр Михайлович Ерошкин* (1689—1740) — архитектор. Происходил из старинного дворянского рода. Участвовал в архитектурном оформлении дворцовых ансамблей московских и петербургских пригородов; руководил архитектурной школой в Петербурге.

...*Смутного времени и Семибоярщины...* — К «Смутному времени» историки относят первые два десятилетия XVII столетия, наполненные сложными, противоречивыми событиями как во внутренней, так и во внешней политике России. Семибоярщина — «седемчисленные бояре» — боярское правительство в России после свержения в июле 1610 г. царя В. И. Шуйского. В состав Семибоярщины вошли члены Боярской думы, оказавшиеся к этому времени в Москве: кн. Ф. И. Мстиславский, кн. И. М. Воротынский, кн. Ан. В. Трубецкой, кн. Ан. В. Голицын, кн. Б. М. Лыков, И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев. В начальный период деятельности Семибоярщины в ее состав входил кн. В. В. Голицын.

К с. 56. ...*письмо дядюшки Василия Лукича...* — В. Л. Долгорукий (ок. 1670—1739) — князь, дипломат, член Верховного тайного совета, активный участник «заговора верховников». В 1730 г. сослан в Соловецкий монастырь; после вторичного осуждения казнен в Новгороде.

К с. 57. *Гавриил (Гавриил) Иванович Головкин* (1660—1734) — граф, государственный деятель, сподвижник Петра I; государственный канцлер (с 1709), президент учрежденной в 1718 г. Коллегии иностранных дел; член Верховного тайного совета (1726—1730).

К с. 58. *Попадал на какие-то балы, обеды, куртаги...* — В буквальном переводе с нем. — избранный день. Это слово стали употреблять при дворе, когда Петр II учредил для вечерних съездов к высочайшему двору известные дни недели и назвал эти дни куртагами. Право участия в куртагах предоставлялось особам первых четырех классов и гвардии офицерам. На куртагах играли в карты, слушали камерную музыку. Куртаги отличались от банкетов, назначавшихся в царские, орденские и другие торжественные дни.

К с. 59. *Михаил Михайлович Голицын* (1675—1730) — князь, генерал-фельдмаршал (с 1725).

К с. 60. *Василий Владимирович Долгорукий* (1667—1746) — князь, генерал-фельдмаршал, член Верховного тайного совета, в 1731 г. арестован, в 1739 г. заточен в Соловецкий монастырь, затем возвращен из ссылки, с 1741 г. — президент Военной коллегии.

К с. 62. *Георгий Дашков* — ростовский архиепископ, обскурант и политический реакционер. В царствование Петра II добивался восстановления патриаршества, метя стать патриархом. Стремясь склонить в свою пользу влиятельных лиц и в первую очередь временщиков при Петре II — Долгоруких, Дашков дарил им лошадей, которых добывал незаконными путями. После воцарения Анны Иоанновны попал в опалу. Указом от 21 июля 1730 г. уволен из Синода; 24 октября того же года вышел указ о производстве следствия по делу о разорении Ростовской епархии. В процессе следствия выяснилась и история с лошадьми. 8 декабря 1730 г. Дашков был лишен сана и сослан в монастырь. Умер в 1739 г.

К с. 67. *Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост* (1692—1755) — лейб-медик, первый президент Академии наук.

К с. 68. *Андрей Иванович Ушаков* (1670—1747) — граф, сенатор (с 1724), начальник Тайной канцелярии (с 1730).

К с. 71. *Мавра Егоровна Шувалова*, урожд. Шепелева (1708—1759) — фрейлина, затем статс-дама; жена П. И. Шувалова.

К с. 74. *...своего дяди Якова...* — Яков Федорович Долгорукий (Долгоруков) (1639—1720) — князь, государственный деятель, сподвижник Петра I.

К с. 75. *...царицы Евдокии...* — Евдокия Федоровна Лопухина (1669—1731) — первая жена Петра I, мать царевича Алексея Петровича.

К с. 80. *...царевна Наталья...* — Наталья Алексеевна (1714—1728) — сестра Петра II.

К с. 83. *Анна Петровна* (1708—1728) — дочь Петра I и Екатерины I; в 1725 г. обвенчана с герцогом Карлом Фридрихом Шлезвиг Голштейн-Готторпским (1700—1739); мать императора Петра III (1728—1762).

К с. 84. *Иван IV Васильевич, Грозный* (1530—1584) — великий князь (с 1533), царь (с 1547).

Прасковья Ивановна (1694—1731) — царевна, дочь Ивана V. *Анна Ивановна* (1693—1740) — императрица. Дочь Ивана V, племянница Петра I. В 1710 г. выдана замуж за герцога Фридриха Вильгельма Курляндского (ум. 1711).

К с. 86. *...Юрий Долгорукий жег местнические книги Боярской думы.* — Князь Юрий Алексеевич Долгорукий был при царе Алексее Михайловиче начальником Приказа сыскных дел, а затем Приказа пушкарских дел. Умер в 1682 г., весной, а в начале того же года принимал участие в отмене местничества (порядок, при котором должности распределялись в соответствии с древностью и заслугами боярского рода).

К с. 91. *Иоганн-Герман (Иван Иванович) Лесток* (1692—1767) — граф, лейб-медик.

К с. 93. *Гарпагон* — герой мольеровской комедии «Скупой»; нарицательное имя для скупого человека.

К с. 95. Изданная в 1722 г. Табель о рангах (определяла порядок прохождения службы чиновниками) установила 14 классов (рангов). Со временем Табель подвергалась изменениям, но в основном действовала до 1917 г. Ниже указываются чины по Табели, значившиеся в середине XVIII в., в следующем порядке: военные (сухопутные и морские), гражданские, придворные. I кл.: генерал-фельдмаршал (генерал-адмирал; канцлер, действительный тайный советник I класса. II кл.: генерал-аншеф адмирал; действительный тайный советник; обер-камергер, обер-гофмаршал, обер-штальмейстер, обер-егермейстер, обер-гофмейстер, обер-шенк, обер-церемониймейстер. III кл.: генерал-поручик, генерал-лейтенант/вице-адмирал; тайный советник; гофмаршал, штальмейстер, егермейстер, гофмейстер, обер-церемониймейстер. IV кл.: генерал-майор/контр-адмирал; действительный статский советник. V кл.: бригадир/капитан-командор; статский советник. VI кл.: полковник/капитан 1-го ранга; коллежский советник; камер-фурьер. VII кл.: подполковник/капитан 2-го ранга; надворный советник. VIII кл.: премьер-майор, секунд-майор, майор, войсковой старшина/капитан 3-го ранга, капитан-лейтенант; коллежский асессор. IX кл.: капитан, ротмистр, есаул/капитан-лейтенант; титулярный советник. X кл.: капитан-поручик, штабс-капитан, штабс-ротмистр, подьесаул/лейтенант; коллежский секретарь. XI кл.:

поручик, сотник; корабельный секретарь (первоначально морской чин). XII кл.: секунд-поручик, унтер-лейтенант, подпоручик; мичман; губернский секретарь. XIII кл.: прапорщик, корнет, хорунжий; провинциальный секретарь, сенатский регистратор, синодский регистратор, кабинетский регистратор. XIV кл.: фендрик/мичман; коллежский регистратор.

К с. 99. *Кукуй* (Чечерка) — ручей, левый приток р. Чечеры. Начинаясь в районе совр. Нижней Красносельской ул. и впадал в Чечеру в районе совр. Доброслободской ул. По мере застройки территории русло засыпано. В XVII — начале XVIII в. здесь, на северо-востоке Москвы, находилась Немецкая слобода. От названия ручья местность на правом берегу Яузы именовали слободой Кукуй.

К с. 103. *Бурхард Крестов Миних* (1683—1767) — граф, генерал-фельдмаршал, военный и государственный деятель, на русской службе с 1721 г. в 1742 г. сослан императрицей Елизаветой Петровной, через 20 лет Петр III возвратил его из ссылки.

К с. 112. ...у *отставного адмирала Головина*. — Николай Федорович Головин (1695—1745) — граф, государственный деятель и дипломат, генерал-адмирал.

К с. 114. ...*некому крикнуть «слово и дело!»* — В XVII—XVIII вв. в России существовала особая система политического розыска. Всякий, кому становилось известно какое-либо «слово или дело», направленное против государя или государства, под страхом смертной казни был обязан донести об этом властям. Человека, объявившего «слово и дело», должны были немедленно доставить в Преображенский приказ, Тайную канцелярию, где на основании его доноса велось расследование.

К с. 117. *Иван Калита* — великий князь в 1325—1340 гг.

К с. 122. *Эрнст Иоганн Бирон* (1690—1772) — граф (с 1730 г.), курляндский дворянин, фаворит императрицы Анны Ивановны. С 1718 г. находился при дворе Анны Ивановны в Курляндии; в 1730 г. в качестве обер-камергера ее двора приехал в Россию. Имел огромное влияние на императрицу и использовал его для устройства собственных денежных дел, покровительства иностранцам. В 1737 г. при содействии Анны Ивановны был избран герцогом Курляндским. В 1741 г. сослан в Пелым, с 1742 г. — в Ярославль. Петр III вернул Бирона в Петербург, а Екатерина II восстановила его на курляндском престоле.

К с. 123. *Чинквеченто* — термин, применяемый для обозначения художественной культуры Италии между 1500—1600 гг., а также культуры Высокого Возрождения (1490—1520 гг.).

К с. 125. ...*принадлежало царевне Софье*. — Софья Алексеевна (1657—1704) — дочь царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской. Правительница России в 1682—1689 гг. Фактически власть в это время принадлежала ее фавориту — князю, боярину Василию Васильевичу Голицыну (1643—1714).

К с. 136. ...*перевод нашего доморощенного пииты...* — Василий Кириллович Тредиаковский (1703—1769) — родился в семье астраханского священника, получил образование в школе католических монахов капуцинского ордена. Из Астрахани бежал в Москву, где учился в Славяно-греко-латинской академии. Оставил и этот город, оказался в Голландии, а оттуда добрался до Парижа. В Сорбонне обучался математике, философии, богословию. В Россию Тредиаковский вернулся в 1730 г. Стал придворным поэтом; был профессором Академии наук (первым русским академиком).

Василий Кириллович написал множество стихотворных произведений, в том числе несколько од; сделал русский перевод французского романа «Езда в остров любви», очень популярного в свое время. Тредиаковский — автор статей по теории русского стихосложения. Судьба талантливейшего человека во многом, однако, определялась прихотью и капризами императорского окружения. Характернейший пример тому — разного рода «заказные» сочинения по случаю самых нелепых церемоний (например, «Приветствие, сказанное на шутовской свадьбе»).

К с. 145. *Алексей Михайлович Черкасский* (1680—1742) — князь, государственный деятель, в 1730 г. был во главе дворянской оппозиции «верховникам», с 1731 г. — кабинет-министр, в 1740—1741 гг. — канцлер, президент коллегии иностранных дел.

К с. 150. *Ни за что не пойду за толстого Петрушу Шереметева* — Петр Борисович Шереметев (1713—1788) — генерал-аншеф, генерал-адъютант, сын Б. П. Шереметева.

К с. 163. *Артемий Петрович Волюнский* (1689—1740) — государственный деятель и дипломат. Был астраханским и казанским губернатором. Сыграл выдающуюся роль в подготовке Персидского похода Петра I. Был сторонником усиления политического значения дворянства; вместе с тем разрабатывал меры для развития торговли и промышленности.

К с. 184. *Петр Иванович Сиверс* (1674—1740) — вице-адмирал, главный командир Кронштадтского порта (1724—1725).

К с. 196. *Никита (Аникита) Иванович Репнин* (1668—1726) — князь, генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии (с 1724).

К с. 240. *Михаил Алексеевич Голицын* (1687—1775) родился в Москве, служил на флоте, потом — отставной майор. В 1720-х гг. принял католичество. В 1732—1740 гг. — придворный шут, носивший с 1737 г. прозвище «Квасник». М. А. Голицын был женат четырежды: на Марфе Максимовне Хвостовой (1694—1721?); на баронессе Марье — Францишке; на Евдокии Ивановне Бужениновой (1710—1742) — свадьба в Ледяном доме (1740) состоялась либо 6 февраля, в среду, либо 12 февраля, во вторник; на Аграфене Алексеевне Хвостовой (1723—1750). Голицын был похоронен в с. Братовщина, под Москвой, по старой Троицкой дороге.

К с. 250. *Иван Андреевич Хованский (Тараруй)* — боярин, начальник Стрелецкого приказа. Казнен вместе с сыном Андреем Ивановичем 17 сентября 1682 г.

Ю. НАГИБИН. КВАСНИК И БУЖЕНИНОВА

Юрий Маркович Нагибин (р. 1920) — известный советский прозаик, член СП СССР.

Текст печатается по изданию: Октябрь, 1986, № 4, с. 48—90.

К с. 255. *Алексей Васильевич Голицын* (1665—1740) — князь, спальник царя Федора Алексеевича (1661—1682), комнатный стольник Петра I, служащий Посольского приказа; мать Михаила Алексеевича Голицына — Марфа Исаевна Квашнина.

К с. 258. Родоначальником рода Голицыных считается князь Михаил Иванович Булгаков (посл. четв. XV в. — до августа

1554 г.), по прозвищу Голица. По преданию, Михаил Иванович имел обыкновение носить железную перчатку-голицу. М. И. Голица был окольным вел. кн. Василия Ивановича и его сына — Ивана Васильевича Грозного.

К с. 269. *Петр Михайлович Бестужев-Рюмин* (1664—1743) — граф, государственный деятель, обер-гофмейстер вдовствующей герцогини Курляндской Анны Ивановны.

К с. 277. *Троице-Сергиева лавра* — Троицкий монастырь основан в середине XIV в. Сергием Радонежским (1312—1392). Героическая оборона монастыря в начале XVII в. сделала его символом чести родины в глазах простого народа. В 1744 г. монастырю присвоено почетное наименование «лавра» (расположен в совр. Загорске Московской обл.).

К с. 280. *Иван Александрович Балакирев* (1699—1763) — придворный шут.

Орден Александра Невского учрежден Петром I в 1724 г. Император предназначал его «в награждение подвигов», то есть предполагал сделать исключительно военной наградой. Однако сам учредитель наградить этим орденом никого не успел. Впервые орден Александра Невского был пожалован Екатериной I в мае 1725 г., в день бракосочетания дочери Петра Анны. Таким образом, Екатерина нарушила замысел Петра I, раздав ордена прибывшим на свадьбу гостям. С тех пор орден Александра Невского давался «в награду трудов, за отечество подъемлемых», то есть за заслуги и на военной и на гражданской службе.

К с. 282. *Виллим Иванович Монс* (1688—1724) — камергер, фаворит Екатерины I.

Александр Борисович Куракин (1697—1749) — князь, государственный деятель, дипломат.

К с. 288. ...он приближался к пику своей страшной жизни... — Приведем выдержки из письма очевидца событий — маркиза де ла Шетарди — от 19 февраля 1740 г.:

«Только в одной этой стране можно увидеть такую забаву, какую доставила царица... Один князь Голицын, паж ея величества, подал к тому повод... <...>

Забава... вызвана не столько желанием тешиться, сколько несчастною для дворянства политикою, которой всегда следовал этот двор. Напрасно, из притворного снисхождения к фамилии Голицыных, одной из первейших в государстве, приводят в оправдание бездарность того, котораго выводили на публичное осмеяние, его дурное поведение... он все-таки принадлежит к знатной фамилии, и его посрамление неуместно, так как этим самым презрены службы его отцев и тех родных его, которые ныне служат. Подобными действиями напоминают от времени до времени знатым этого государства, что их происхождение, достояние, почести и звания, которыми их удостоивает государь, ни под каким видом не защищают их от малейшаго произвола властителя, а он, чтобы заставить себя любить, бояться и опасаться, в праве повергать своих подданных в ничтожество, которое им никогда не было известно прежде. <...>»

Петр Иванович Панин (1721—1789) — граф, военный деятель, генерал-аншеф, участник Семилетней войны (1757—1763) и Русско-турецкой войны (1768—1774). В 1770 г. — в отставке, один из членов оппозиционного правительству партии крупной аристократии. В июле 1774 г. назначен командующим карательными войсками, действовавшими против Пугачева.

К с. 290. *Анна Леопольдовна (1718—1746)* — принцесса Мекленбург-Шверинская, в замужестве принцесса Брауншвейгская. До перехода в православие (1733) — Елизавета Екатерина Христина (дочь герцога Мекленбург-Шверинского и Екатерины Ивановны (см. комм. к с. 33)). С 1722 г. жила в России; в 1739 г. была выдана замуж за принца Антона-Ульриха герцога Брауншвейг-Люнебургского (1714—1776). Их сын — Иван VI Антонович (1740—1764) — император (1740—1741). Анна Леопольдовна была «правительницей» России при малолетнем сыне с 9 ноября 1740 г. по 26 ноября 1741 г. Умерла в Холмогорах.

К с. 295. *Андрей Федорович Хрущов (1691—1740)* — выходец из старинного дворянского рода. Был советником Адмиралтейства.

К с. 301. *В канун праздника стихов не представил...* О событиях, с этим связанных, мы узнаем из рапорта В. К. Тредиаковского в Академию наук:

«Сего 1740 года, февраля 4 дня, т. е. в понедельник ввечеру, в 6 или 7 часов, пришел ко мне г. кадет Криницын и объявил мне, чтоб я шел немедленно в Кабинет е.и.в. Сие объявление хотя меня привело в великий страх, толь наипаче, что время было позднее, однако я ему ответствовал, что тотчас пойду. Тогда, подпоясав шпагу и надев шубу, пошел с ним тотчас, нимало не отговариваясь, и, сев с ним на извозчика, поехал в великом трепетании, но видя, что помянутый г. кадет не в Кабинет меня вез, то начал его спрашивать учтивым образом, чтоб он мне пожаловал объявил куда он меня везет, на что мне ответствовал, что он меня везет не в Кабинет, но на Слоновый двор и то по приказу его п-ства кабинет-министра Ар. Петр. Вольтского, а зачем — сказал, что не знает. И (услышав сие, обрадовался и говорил помянутому г. кадету, что он худо со мною поступил, говоря мне, будто надобно мне было пойти в Кабинет, и притом называя его еще мальчиком и таким, который мало в людях бывал, и то для того, что он таким объявлением может человека вскоре жизни лишить или по крайней мере в беспмятствие привести для того, что, говорил я ему, Кабинет дело великое и важное, о чем он у меня и прощения просил, однако же сердился на то, что я его называл мальчиком и грозил пожаловаться на меня. е. п-ству А. П. Вольтскому, чем я ему сам грозил, но когда мы прибыли на Слоновый двор, то помянутый г. кадет пошел наперед, а я за ним, в оную камеру, где маскарад обучался, куда вшед, постояв мало, начал я жаловаться его п-ству на помянутого г. кадета, что он меня взял из дому таким образом, который меня в великий страх и трепет привел, но его п-ство, не выслушав моей жалобы, начал меня бить сам пред всеми толь немилостиво по обеим щекам и притом всячески браня, что правое мое ухо оглушил, а левый глаз подбил, что он изволил чинить в три или четыре приема. Сие видя, помянутый г. кадет ободрился и стал притом на меня жаловаться его п-ству, что его будто дорогою бранили и поносил. Тогда его п-ство повелел и оному кадету бить меня по обеим же щекам публично; потом с час времени спустя, его п-ство приказал мне спроситься, зачем я призван, у г. архитектора и полковника П. М. Еропкина, который мне и дал на письме самую краткую матерю и с которой должно было мне сочинить приличные стихи к маскараду. С сим я отправился в дом мой, куда пришед, сочинил оные стихи и, размышляя о моем напрасном бесчестии и увечьи, рассудил поутру, избрав время, пасть

в ноги его высокогерцогской светлости (Бирону) пожаловаться на его пр-ство. С сим намерением пришел я в покои к его высокогерцогской светлости поутру и ожидал времени припасть к его ногам, но по несчастью туда пришел скоро и его пр-ство А. П. Волынский, увидав меня, спросил с бранью, зачем я здесь; я ничего не ответствовал, а он бил меня тут по щекам, вытолкал в шею и, отдав в руки ездовому сержанту, повелел меня отвезти в комиссию и отдать меня под караул, что таким образом и учинено. Потом, несколько спустя времени, его пр-ство прибыл и сам в комиссию и взял меня перед себя. Тогда, браня меня всячески, велел с меня снять шпагу с великою яростию, и всего оборвать, и положить, и бить палкою по голой спине толь жестоко и немилостиво, что, как мне сказывали уже после, дано мне с 70 ударов, а приказавши перестать бить, велел меня поднять, и, браня меня, не знаю, что у меня спросил, на что я в беспамятстве моем не знаю, что и я ему ответствовал. Тогда его пр-ство паки велел меня бросить на землю и бить еще тою же палкою, так что дано мне и тогда с тридцать разов; потом всего меня изнемогшего велел поднять и обуть, а раздранную рубашку, не знаю кому зашить, и отдал меня под караул, где я ночевал на среду и твердя наизусть стихи, хотя мне уже и не до стихов было, чтоб оные прочесть в Потешной зале. В среду под вечер приведен я был в маскарадном платье и в маске под караулом оную Потешную залу, где тогда мне повелено было прочесть наизусть оные стихи насилу. По прочтении оных и по окончании маскарадной потехи отведен я паки под караул в комиссию, где и ночевал я на четверток, но в четверток призван я был поутру часов в десять в дом к его пр-ству, где был взят пред него и был много бранен, а потом объявил он мне, что расстаться хочет со мною еще побивши меня, что я, услышав, с великими слезами просил еще его пр-ство умилостивиться надо мною, всем уже изувеченным, однако не преклонил его сердце на милость, так что тотчас велел он меня вывести в переднюю и караульному капралу бить меня еще палкою десять раз, что и учинено. Потом повелел мне отдать шпагу и освободить из-под караула и, призвав к себе, отпустил меня домой с такими угрозами, что я еще ожидаю скоро или не скоро такого же печального от него несчастья, буде господь по душу не сошлет.

К с. 308. Приводимый Ю. М. Нагибиным текст «виршей» незначительно отличается от «Приветствия, сказанного на шутовской свадьбе», опубликованного в кн.: Тредиаковский В. К. Избр. прозв. М., 1963, с. 354—355.

ДЛЯ ДОСТОПАМЯТНОГО ВЕДОМА

ИЗ «ЗАПИСОК...» В. А. НАЩОКИНА

Василий Александрович Нащокин (1707 — ок. 1761) родился в Москве. В 1716 г. он «приехал в Петербург и был в школе». Скорее всего это было вызвано повелением Петра I от 20 декабря 1715 г., гласившего: «которые есть в России знатных особ дети, тех всех от десяти лет и выше выслать в школу С. Петербургскую, а в чужие края не посылать, и чтоб оные недоросли высланы были нынешнею зимою». В 1719 г. Нащокин записан в солдаты, а в 1722 г. он уже на действительной службе в Белго-

родском полку; через восемь лет переведен в только что учрежденный лейб-гвардии Измайловский полк, где служил около 30 лет. Похоронен В. А. Нащокин в Москве, в Высоко-Петровском монастыре.

Текст печатается по изданию: Записки Василья Александрова сына Нащокина, что мог видеть от времени памяти своей, о рождении, по достоверной записке руки отца своего Александра Федоровича, и какие случаи достопамятные, в которых годах что происходило, явствует в нижеписанном журнале, что уверяю сей журнал подпискою руки моей по листам в книге сей. — Русский архив, 1883, кн. 2, вып. 4, с. 260—351 (в сокращении).

К с. 342. *...кавалерии ордена Св. Апостола Андрея...* — Орден Андрея Первозванного — высшая награда в царской России, старейший из русских орденов. Учрежден Петром I в 1698 г.; им награждались монархи, высшие сановники, генералитет.

К с. 342. *...на Васильевском острове.* — «...в Санкт-Петербурге против Адмиралтейского острова, которой обливает Нева, Малая Невка и залив морской. Оной построен регулярно, главные строения: Сенат и Коллегии, Академия наук императорская, Кадецкая и Адмиралтейская, Гостиной двор и множество знатных каменных и деревянных дворов. А понеже оной, почитай, каждогодно морскою водою потопляет и великой вред делает, яко же по пространству онаго многие дома от воды отдалены, его императорское величество вечно достойныя памяти Петр Великий определил чрез весь оной вдоль и поперег несколько каналов зделать, дабы тою землею от потопления выше поднять и водою всех удовольствовать, которых несколько было начато, но по нем опущено и обвалилось... Имя сие сему острову весьма давно... но от кого то имя взято, неизвестно» (Лексикон)*.

По «Уставу Воинскому» 1716 г. к обер-офицерам относились чины от прапорщика до майора.

...из полков армейских... — В отличие от гвардейских частей.

...выбраны для коронации... — Имеется в виду коронация Екатерины I.

К с. 344. «Батальон каре, называется в войске, устройство онаго к обороне на все четыре стороны. Обыкновенно на углах ставятся гранодеры и пушки, и оное чинится для отпору противу многолюднаго неприятеля или в походах чистыми местами... и в средину включаются артиллерия и обозы, дабы нечаянно чего похитить не могли» (Лексикон).

...шли до самой ердани... — «Иордань хотя точно зовется река в земли обетованной, имя еврейское, уступающая, но у нас иордань делается на реках или озерах для освящения воды, обливо генваря шестаго и августа 1, которое по достатку украшается сению и пр.» (Лексикон).

К с. 345. *...в Риге Лесси...* — Петр Петрович Лесси (1678—1751), генерал-фельдмаршал, ирландец по происхождению, на русской службе с 1700 г.

* Здесь и далее в ряде случаев использованы материалы, приведенные Татищевым в его «Лексиконе Российском историческом, географическом, политическом и гражданском», опубликованном в издании: Татищев В. Н. Избр. произв. Л., 1979, с. 153—327.

Генералиссимус — «главнейший начальник над всеми в государстве войски. Оной чин более в империи Германской употребляем и собственно называется генерал-порутчик, но, кроме владельцев князей и довольно в воинстве искусных, никому не дается. У нас назывался дворовой воевода, и были всегда из знатнейших князей. При Петре Великом Шейн для его собственных и его фамилии славных заслуг был генералиссимусом» (Лексикон).

...дочь его большая... — княжна Мария Александровна (1711—1729).

«Березов, город главной в провинции Обдорской, при реке Оби на левой стороне, при устье реки Черной». (Лексикон).

...короноваться изволил... — Коронации российских монархов осуществлялись (и после переноса столицы в Петербург) в Успенском соборе Московского Кремля.

...погребена в Вознесенском монастыре. — «Вознесенский монастырь женской, в Москве внутри Кремля, у Спасских ворот. Прежде на оном месте был дом ханов татарских или их баскаков, но благоразсудным великой княгини Софии Фоминишны, супруги Иоанна III-го, определением... устроен монастырь, в котором все гробы цариц и царевен кладутся» (Лексикон).

Головинский дворец — принадлежал сподвижнику Петра I, Федору Алексеевичу Головину, находился на левом берегу Яузы, а в 1770-х гг. на его месте построен существующий поныне Екатерининский дворец (в совр. Краснокурсантском пер.).

К с. 346. *...от Красных ворот...* — Красные ворота были построены по приказу Петра I в честь побед над Швецией в годы Северной войны.

К с. 347. *Петр Спиридонович Сумароков (1709—1780)* — военный деятель, генерал-аншеф, обер-шталмейстер.

Богоявленский монастырь, мужской — один из древнейших в Москве, основан в конце XIII в. великим князем Даниилом Александровичем. Ныне сохранились (в совр. Куйбышевском проезде): собор Богоявления с колокольней, здание братских келий, настоятельские палаты — постройки XVII века.

Царицын луг — в прошлом название местности на правом берегу р. Москвы, напротив Кремля, в районе совр. площади Репина.

Донской монастырь — мужской, основан в 1591 г. царем Федором Ивановичем в память избавления Москвы от набега крымского хана Казы-Гирея. Название монастыря — от иконы Донской божьей матери, помещавшейся в церкви-палатке в стане русских воинов (на бывшей Крымской дороге), определившем местоположение монастыря. В свое время Донской монастырь был важным звеном южного оборонительного пояса Москвы. В настоящее время — филиал Научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева.

К с. 348. *Петровский монастырь* — мужской монастырь, основанный в 1380 г. великим князем Дмитрием Ивановичем (Донским) после победы на Куликовом поле. Заново отстроен в XVII в. В настоящее время сохранился ряд построек XVII—XVIII вв. (совр. ул. Петровка).

«Аннингоф, великой дом императорской близ Москвы, на левой стороне реки Яузы, против Немецкой слободы. Прежде был малой дом графа Головина, но в 1722 году Петр Великий, взяв, устроил изрядной сад, а в 1730 году императрица Анна, распро-

страня и новые деревянные покои построя, имяновала Аннингоф. В 1743 имянован паки Головинский дом» (Лексикон).

В 1733 году... Шафиров заключил мир... — В данном случае мемуарист ошибается: Рештский договор между Россией и Ираном был заключен в 1732 г. (по условиям его, в частности Ирану, возвращались провинции, отошедшие к России после Каспийских походов Петра I). *Петр Павлович Шафиров* (1669—1739) — барон, государственный деятель, дипломат. Служил переводчиком в Посольском приказе, участвовал в Великом посольстве. С 1709 г. занимал пост вице-канцлера; в 1711—1714 гг. был посланником в Турции; с 1717 г. — вице-президент коллегии иностранных дел. Участие Шафирова в борьбе придворных группировок имело следствием то, что в 1723 г. он был лишен чинов, титулов, имущества, приговорен к смертной казни, замененной пожизненной ссылкой. В 1725 г. возвращается ко двору; президент коммерц-коллегии в 1725—1727 и 1733—1739 гг.; посол в Иране в 1730—1732 гг. (в 1727—1730 гг. в отставке).

К с. 349. *...Морския улицы сгорели и гостиный двор.* — В XVIII в. в Петербурге были Большая и Малая Морские улицы (ныне соответственно ул. Герцена и ул. Гоголя). Гостиный двор — место, где «приезжие купцы <гости> товары свои, складывая, хранили и стаями продавали купцам руским. Таковые дома во многих знатных городех и на великих ярманках... построены деревянные или каменные...» (Лексикон). Первый гостиный двор в Петербурге возник на Троицкой площади (совр. пл. Революции). В 1719 г. возникает каменный гостиный двор на Адмиралтейской стороне, на углу Невского и Мойки. Это здание имеет в виду автор.

...и в Китае горело, и в Белом городе... — «Китайгород, или крепость Московская средняя <между Кремлем и Белым городом>, построен в 7044 году <1536> каменной, с четверугольными башнями, на север имеет реку Неглинную, на восток чрез гору веден, к югу Москва река, а на запад примкнут к Кремлю. Его длина по стене 1205¹/₂ сажени (сажень=2,1336 м), ворот, кроме кремлевских, 5, яко Воскресенские, Никольские, Ильинские, Варварские и Москворецкие; башен глухих 8. В нем более ряды кунецких лавок, которых по разным званиях товаров 52 ряда... Церквей в нем 11, монастырей муских 3 и при одном гимназия или училище; 3 дома великие для купчества, яко гостиный, рыбной и мытной, публичных же; главная аптека, манетной и посольской дома. В последнем ныне главная шелковая фабрика. Затем множество великих знатных домов, и в нем деревяннаго строения ничего не допущено» (Лексикон). Белый город — «Крепость московская каменная, заключает от Москвы реки и паки до оной Кремль и Китай. Построен каменной в 1586 году, по нем 4463²/₃ сажени, ворот 10, а башен глухих 17. Назван для того, что более делан из белаго камня» (Лексикон).

Александр Григорьевич Строганов (1698—1757) — барон, генерал-поручик.

Густав Бирон (ум. 1746) — младший брат Э. И. Бирона, генерал-аншеф (1740).

К с. 350. *Дмитрий Андреевич Шепелев* — гофмаршал. «В его власти состоят все двора государева служители и вещи, ко убранию и столу принадлежащие. По табели Петра Великого положен он в ранге полковника, а ныне генерал-майор и состоит под властью обер-гофмаршала» (Лексикон).

К с. 351. ...в правлении государства следовали многие перемены... — Имеется в виду период до вступления на престол Елизаветы Петровны.

К с. 352. *Михаил Гаврилович Головкин* (ок. 1700—1756) — сенатор, действительный тайный советник. Получил образование за границей: в 1720—1730-е гг. выполнял дипломатические поручения; был главным директором монетной канцелярии; в Кабинете министров «курировал» вопросы внутренней политики. Арестован в ноябре 1741 г., в начале следующего — сослан на вечное жительство в Собачий Острог (Якутия). Жена — Екатерина Ивановна (1701—1791, урожд. кн. Ромодановская) — разделила ссылку мужа.

...От того времени орден Святыя Анны в России оказался... — Официально орден св. Анны вошел в состав русских орденов в 1797 г., хотя награждать им в России начали гораздо раньше. Учредил его герцог Голштейн-Готторпский К. Ф. в 1735 г. Гроссмейстером ордена стал сын учредителя — принц Карл Петр Ульрих (в будущем — Петр III), а с 1742 г., когда он объявлен наследником российского престола, этим орденом стали награждать и в России. После смерти Петра III в 1762 г. гроссмейстером ордена и наследником стал его сын Павел. В 1773 г. Екатерина II отказалась от прав на голштинские владения и титулы, и орден Анны утратил государственную принадлежность. Однако Павел Петрович сохранил за собой звание гроссмейстера ордена и право награждать им. В день своей коронации, 5 апреля 1796 г., Павел провозгласил этот орден российским императорским.

Сын Воина. — Павел Воинович (1801—1854) был близким другом А. С. Пушкина.

К с. 354. ...отъезжая в увеселительное приморское место Петергоф и в село Сарское... — Название «Петергоф» (с нем. — «Петров двор») впервые упоминается в «Походном журнале» Петра I 13 сентября 1705 г. В этот день 14-пушечное судно «Мункер» бросило якорь против небольшой мызы, расположенной на южном побережье Финского залива и выбранной царем для отдыха во время частых морских переходов из Петербурга в Кронштадт. Идея создания парков у самого залива, основная схема планировки центральной и восточных частей Нижнего парка, соединенных в одну целостную композицию, принадлежит Петру I. В архитектурно-художественном ансамбле Петергофа воплощена идея прославления мощи Российского государства, его триумфа в борьбе за освобождение исконно русских земель, за утверждение на Балтийском море. Здесь «все трудились во имя одной и той же идеи», всем творениям «присуща одна общая черта, отвечающая необъятной шире русской земли и размаху русской жизни» (Александр Бенуа). 27 января 1944 г. город Петергоф переименован в Петродворец.

В начале XVIII в. в 25 верстах к югу от будущей столицы Российской империи находилась небольшая усадьба. По-фински ее называли Саари мойс (возвышенное место), а по-русски стали именовать Саарской мызой. Мыза была «отписана» жене Петра I Екатерине Алексеевне, стала называться Сарским (затем — Царским) Селом. Вначале это место было небольшой летней загородной резиденцией Екатерины I, а к середине XVIII столетия здесь сформировалась парадная императорская резиденция. Свообразие сложившегося дворцово-паркового комплекса в том, что Цар-

ское Село — это система обширных парков, слившихся в единый зеленый массив, насыщенный разнообразными произведениями архитектуры и скульптуры — творениями величайших мастеров. В 1918 г. Царское Село получило название Детское Село, а в 1937 г. — имя Пушкина.

К с. 355. ...*два брата Шуваловы...* — Александр Иванович Шувалов (1710—1771) — граф, генерал-фельдмаршал, участник дворцового переворота 1741 г., в 1746—1763 гг. — начальник Тайной канцелярии; *Петр Иванович Шувалов* (1711—1762) — граф, государственный деятель, генерал-фельдмаршал, генерал-фельдцейхмейстер, участник дворцового переворота 1741 г.

К с. 356. *Михаил Петрович Бестужев-Рюмин* (1688—1760) — граф, русский дипломат. В течение многих лет занимал важные дипломатические посты в Англии, Польше, Пруссии, Швеции.

К с. 358. ...*близ Петровских ворот.* — По линии совр. Бульварного кольца была сооружена стена Белого города с несколькими воротами, названия которых сохранились в современной московской топографии: Яузские, Покровские, Петровские; последние находились на пересечении совр. ул. Петровки с Петровским бульваром.

Кунсткамера. — Первый в России научный музей, начало которому положил Петр I: в 1714 г. собранные им за границей коллекции были перевезены в Петербург и размещены в комнатах Летнего дворца, где до 1719 г. находился так называемый «императорский кабинет». Затем коллекция размещалась в палатах Кикина (здание сохранилось, находится рядом с быв. Смольным монастырем), а с 1727 г. — в здании на Васильевском острове.

Андроников монастырь. — «В предградии московском на реке Яузе» (Лексикон), основан около 1360 г. как форпост на юго-восточных подступах к Москве. Назван по имени первого игумена — Андроника, ученика Сергия Радонежского. До настоящего времени сохранилось большое количество построек, занятых теперь музеем Древнерусского искусства имени Андрея Рублева.

К с. 359. *Александр Иванович Румянцев* (1679/80—1749) — государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, отец П. А. Румянцева-Задунайского. Румянцева (урожденная Матвеева) Мария Андреевна (1698—1788) — графиня, статс-дама — жена А. И. Румянцева.

Златоустовский монастырь (Иоанно-Златоустинский) — мужской, основан в конце XV в. великим князем Иваном III. От названия монастыря произошло наименование Большого и Малого Златоустинских переулков (совр. Б. и М. Комсомольские пер.).

Михаил Илларионович Воронцов (1714—1767) — государственный деятель, дипломат. Принял активное участие в дворцовом перевороте 1741 г. В 1744 г. назначен вице-канцлером и получил титул графа; в 1758—1762 гг. — канцлер. Принадлежность к активным сторонникам свергнутого Петра III и столкновения с новым канцлером Н. И. Павиным привели к отставке М. И. Воронцова в 1763 г.

Польский орден Белого Орла включен в состав российских орденов в 1831 г. Орден был одним из старейших польских орденов, учрежден королем Августом II в 1705 г. Награждались им

преимущественно иностранцы — союзники Августа в войне против Швеции. В России кавалерами этого ордена были Петр I и некоторые его сподвижники.

Кирилл Григорьевич Разумовский (1728—1803) — фельдмаршал, последний гетман Украины (1750—1764); участвовал в дворцовом перевороте 1762 г. В 1746—1765 гг. был президентом Петербургской академии; с 1768 г. — член чрезвычайного совета при дворе; в 1784—1794 гг. жил в Москве, а затем — на Украине.

К с. 360. *Иван Юрьевич Трубецкой* (1667—1750) — князь, боярин, фельдмаршал.

Алекса́ндро-Невский монастырь. — «На левом берегу реки Невы, от Петербурга 5 верст. Построен Петром Великим в 1714 году, которому великие деревни даны. И в 1719 году перенесены из Владимира мощи князя Александра Невского. В нем погребены многие от фамилии императорской. При нем же устроен изрядной семинариум» (Лексикон).

Борис Григорьевич Юсупов (1695—1759) — камергер, сенатор (с 1736 г.) действительный тайный советник (с 1740), президент Коммерц-коллегии (1741), директор Кадетского корпуса (1750—1759).

К с. 361. Ораниенбаум — с 1948 г. — город Ломоносов, расположен на южном берегу Финского залива, в 41 километре от Ленинграда. Прежнее название было дано местности ее первым владельцем — А. Д. Меншиковым, которому эти земли пожалованы Петром I. Напротив Ораниенбаума расположен о. Котлин, где велось строительство Кронштадта под наблюдением «светлейшего князя». Дворцовый ансамбль, созданный трудом крепостных, размерами и богатством превосходил аналогичные сооружения царских резиденций. В 1743 г. Елизавета Петровна подарила имение наследнику престола Петру Федоровичу. В 1780 г. Ораниенбаум стал именоваться городом.

Генваря 1... — Ниже приводится отрывок из Камер-фурьерского журнала за 1751 г. с описанием новогодних торжеств при императорском дворе.

1751 года генваря месяц.

1, То есть в Новый год, торжествовано при дворе ея императорского величества, в Санктпетербурге, следующим порядком:

Накануне того торжества, 31-го декабря, от двора ея императорского величества посланы в главную полицию и к церемониальным делам письменная повестки, а к придворным господам обер и гофмейстерам, статс-дамам, камер-фрейлине, и фрейлинам, и господам придворным кавалерам придворные лакеи с нижеписанным объявлением:

«Ея императорское величество изволила указать: наступающего 1-го числа генваря, то есть, в Новый год, ко двору ея императорского величества, приезд иметь знатным обоего пола персонам по утру в одиннадцатом часу, а господам иностранным министрам в 12-м часу для поздравления ея императорскому величеству, и собираться в галерее, а пополудни в обыкновенное время на бал, который имеет быть в той же галерее. А по окончании бала первых 5-ти классов обоего пола персонам и ино-

странным министрам, да гвардии майорам и капитанам старшим, армейским полковникам и лейб-компаниям унтер-офицерам, також морским и артиллерийским чинам, состоящим в полковничьих рангах, и Малороссийским депутатам остаться при столе вечернего кушанья в зале, при чем в оный день дамам быть в робах, а кавалерам в богатом платье; а приезд иметь ко обыкновенным крыльцам».

Того 1-го числа, то есть, в Новый год, по утру в назначенные часы, помянутыя знатныя обоего пола персоны и иностранные министры съехались ко двору ея императорскаго величества и собрались в галерею. Потом, в 1-м часу пополудни, ея императорское величество с их императорскими высочества, в своем императорском убранстве и имея на главе малую корону, изволила из своих внутренних покоев шествовать, чрез галерею, в придворную большую церковь, обыкновенною церемониею, и слушать божественную литургию. При окончании литургии предикку сказывал преосвященный архиепископ Санктпетербургский и Шлиссельбургский Сильвестр; потом, по окончании, изволила из церкви шествовать такую ж церемониею, чрез галерею ж, и оставаться в парадных антикамерах, от вышепомянутых приезжих знатных обоего пола персон и иностранных министров принимать поздравления и жаловать к руке. При чем происходила пушечная пальба с крепостей: с Петропавловской из 101, с Адмиралтейской из 100 пушек, також пред покоями ея императорскаго величества от находящихся здесь в Санктпетербурге полков чиною ж было поздравление музыкою и барабанным боем. А приезжыя персоны, по поздравлении, все разъехались по домам. Ея императорское величество изволила обеденное кушанье кушать в своей столовой, за ординарным столом, с некоторыми придворными знатными особы. Во время того кушанья палили с Адмиралтейства из 101 пушки. Оное кушанье окончилось в 4-м часу пополудни.

В вечеру того дня, во обыкновенное время, вышеупоминаемая персоны имели паки приезд ко двору на бал, который начался в галерею в 8-м и продолжался до половины 11-го часа. А в 11-м часу в исходе их императорския высочества, со знатными первых 5-ти классов обоего пола персонами и иностранными министрами, також лейб-гвардии с майорами, изволили садиться в большом зале, за сделанным фигурным столом, кушать вечернее кушанье; да в аванзале поставлены два стола по сторонам, за которые сажались гвардии старшие капитаны, армейских полков полковники, лейб-компания унтер-офицеры, морские и артиллерийские чины, состоящие в полковничьих рангах, и Малороссийские депутаты. За теми столами в заседании находились: за фигурным столом дам 56, кавалеров 103, в аванзале за двумя 52, итого за теми столами заседало обоего пола 211 персон. Оный стол продолжался до 2-го часа полночи; в продолжение того стола, на балконе, играла итальянская вокальная-инструментальная музыка и пели хор придворные певчие. Во оное время в том зале зажжено было в паникадилах, пирамидах, кракштейнах и в шандалах белаго воска свеч до 3000, а в среди фигурнаго стола сделан был цветник, в котором уставлено было премножество хрустальных, налитых белым воском, шкаликов и оные також зажжены; также пред дворцом на Неве реке зажжена была иллюминация. Того дня, при дворе ея императорскаго величества, были дамы в робах, кавалеры в богатом платье, а диврейные слу-

жители в статс-ливрее; также на 20 человек гребцов надета старая лакейская статс-ливрея».

К с. 362. *Георг-Вильгельм Рихман* (1711—1753) — физик, академик. «Санкт-Петербургские ведомости» от 4 августа 1753 г. писали: «...После того, как г. профессор отстал на фут от железного прута, смотрел на указатели электричества, из прута без всякого прикосновения вышел бледно-синеватый огненный клуб с кулак величиною, шел прямо ко лбу профессора, который в самое то время, не издав ни малого голоса, упал назад, на стоящий позади него сундук. В самый же тот момент последовал такой удар, будто бы из малой пушки выпалено было».

Сухарева башня — находилась на совр. Садовом кольце, при пересечении его с ул. Сретенкой. Сооружена по инициативе Петра I (архитектор М. И. Чоглоков) в 1692—1695 гг. близ стрелецкой слободы полка Л. П. Сухарева (отсюда название). В нижней части башни были ворота и караульни, над которыми находились палаты, окруженные открытой галереей. В 1698—1701 гг. над палатами надстроены еще один этаж и четырехъярусная башня, в 3-м ярусе которой были установлены часы.

К с. 363. *Никита Юрьевич Трубецкой* (1699/1700—1767/68) — государственный деятель, фельдмаршал, в 1740—1760 гг. — генерал-прокурор.

«Каптенармус, франц. капитен десарм, полковой в ранге подпоручика, а при роте другой ундер-афицер; имеет смотрение над ружьем и аммуницією, он принимает и раздает, смотрит, чтоб чисто и ко употреблению исправно было, для того слесарем определяет починивать. В гранодерских ротах должны уметь состав в трубки зделать и набивать, шлагги для учения делать и о пр.» (Лексикон).

К с. 364. ...назначено крестить новорожденного великого князя... — В Приложениях к «Запискам» Нащокина помещен следующий документ: «Прибавление к С. Петербургским ведомостям, во вторник, сентября 26 дня. Сего сентября 20 дня пред полуднем в 10 часу, всемогущая божия благодать обрадовала ея императорское величество, нашу все милостивейшую государыню, и всю здешнюю империю, младым великим князем, которым всевышний супружество их императорских высочеств благословил и которому наречено имя Павел.

Сия всеобщая радость объявлена была тогож дня двесте одним пушечным выстрелом с обеих адепных крепостей [Петропавловской и Адмиралтейской] и к вечеру приносимы были ея императорскому величеству от собравшихся ко двору обоего пола знатных персон всеподданнейшия поздравления о том благополучном и желанном происшествии.

На другой день по утру отправляемо было всем духовенством торжественное благодарное молебствие, а в вечеру паки приносимы были от всех его императорскому величеству великому князю нижайшия поздравления...»

Людвиг Груно Вильгельм Гессен-Гомбургский (1705—1745) — принц, генерал-фельдмаршал, генерал-фельдцейхмейстер. На русской службе с 1723 г. Участник дворцового переворота 1741 г. *Анастасия Ивановна Гессен-Гомбургская* (1705—1755) — дочь князя И. Ю. Трубецкого, статс-дама, активный участник дворцового переворота 1741 г.

Университет начал работать сначала в помещении Земского

приказа у Воскресенских ворот Китайгорода (ныне на этом месте здание Государственного исторического музея).

Алексей Григорьевич Разумовский (1709—1771) — граф, государственный и военный деятель. Свою деятельность при императорском дворе начал певчим; затем — фаворит, а с 1742 г. — муж Елизаветы Петровны; после дворцового переворота 1741 г. — камергер и генерал-поручик, с 1756 г. — фельдмаршал, с 1762 г. — в отставке.

К с. 365. *Алексей Петрович Бестужев-Рюмин* (1693—1766) — государственный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, в 1740—1741 гг. — кабинет-министр, в 1744—1758 гг. — канцлер.

...зажгло Петропавловской шпиль... — На месте существующего Петропавловского собора 29 июня 1703 г. заложена деревянная церковь по имя апостолов Петра и Павла — «видом крестообразная и о трех шпицах, на которых по воскресеньям и праздничным дням подымали выпелы, расписана была под каменный вид желтым мрамором». На месте деревянной церкви в 1712—1713 гг. строился каменный собор (проект Доменико Трезини). Работы по устройству деревянного шпиля закончены к концу 1724 г., тогда же на колокольне установлены куранты, купленные Петром I. Деревянный шпиль не имел громоотвода, и неоднократно от ударов молнии возникали пожары. Особенно сильным был пожар, упоминаемый мемуаристом. Загоревшийся шпиль рухнул, погибли и куранты. Огонь охватил чердаки и деревянный купол (иконostas быстро разобрали и вынесли), стены дали трещины; колокольню разобрали до окон 1-го яруса. Работы по восстановлению колокольни продолжались 20 лет, а собор после пожара был отремонтирован через год. С 1776 г. на колокольне установлены (работающие и ныне) часы-куранты, изготовленные в Голландии мастером Оортом Красом.

К с. 366. *Александр Александрович Меншиков* (1714—1764) — князь.

К с. 368. *...о случившейся баталии...* — Имеется в виду битва при Палцихе 12 июля 1759 г.

Монплеизир — одно из дворцовых сооружений в Петергофе. Название (с франц. — «мое удовольствие») — традиционно. Так именовались распространенные загородные постройки, название при этом оттеняло их сугубо личное назначение. Петр I очень любил этот дворец, так как он отвечал его представлениям о совершенном жилище просвещенного человека. В Монплеизире особенно нравилась Петру близость к морю, да и само место для строения было выбрано монархом лично. Созданный и использованный изначально как жилое помещение, Монплеизир уже с 30-х гг. XVIII в. сохранялся как петровский мемориал и показывался гостям.

ЧЕХАРДА НА ПРЕСТОЛЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ УКАЗЫ. ОКТАБРЬ 1740-ГО — АПРЕЛЬ 1741 ГОДА

Текст печатается по изданию: Внутренний быт Русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 1741 года, по документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства

Юстиции. Книга первая. М., 1880, с. 530—531, 537, 542—543, 546—550.

К с. 371. *Божиею милостию Мы, Анна, императрица и самодержица Всероссийская, и прочая...* — Так начинались «грамоты» за монаршей подписью «внутри государства», если же речь шла о документах, «которые отправлены имеют быть в иностранный государства», то «грамота» открывалась «полным титулом с «Божиею поспешествующею милостию мы Иоанн Третий, император и самодержец всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, государь Псковский и великий князь Смоленский, князь Эстляндский, Лифляндский, Корельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгорский и иных, государь и великий князь Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, и всяя северныя страны повелитель, и государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинския земли черкасских и горских князей и иных наследий государь и обладатель».

К с. 372. *«Его величеству Иоанну»...* — было в день составления указа 2 месяца 6 дней от роду.

ИЗ «ЗАПИСОК... КНЯЗЯ ЯКОВА ПЕТРОВИЧА ШАХОВСКОГО...»

Яков Петрович Шаховской (1705—1777). — Отец его умер, когда мальчику было несколько месяцев; мать вновь вышла замуж, вскоре овдовела, вышла замуж в третий раз. Восьмилетний ребенок был взят на воспитание родным дядей, князем Алексеем Ивановичем Шаховским, тогда гвардейским офицером. С 14 лет Яков Шаховской служит в Лейб-гвардии Семеновском полку — солдатом, капралом, каптенармусом, сержантом. В 1725 г. произведен в поручики, а при Петре II тем же чином переведен в новый полк, названный Лейб-регентом; затем повышен в капитаны. В 1730 г., когда этот полк императрицей Анной Иоанновной переименован в Конную гвардию, Шаховской оставлен в полку поручиком. В 1734-м Алексей Иванович Шаховской (подполковник Лейб-гвардии Конного полка) отправлен императрицей в комиссию для учреждения южных Слободских полков, между прочими офицерами взял с собой и Якова Петровича, которому поручал разные дела и неоднократно посылал его с докладами к императрице. Вскоре А. И. Шаховскому было вверено главное начальство над Малороссией. В 1735 г. он вместе с племянником приехал в Петербург по делам службы, тогда же Яков Петрович Шаховской произведен был в секунд-ротмистры, а вскоре — в ротмистры. После отъезда старшего Шаховского остался в Петербурге при полковой службе.

В 1737—1740 гг. участвовал в Очаковской, Днепровской и Хотинской кампаниях под непосредственным начальством главнокомандующего графа Миниха. Служил Шаховской и в столичной полиции, в 1742—1753 гг. был обер-прокурором Святейшего Синода, назначался генерал-кригс-комиссаром, наконец, стал генерал-прокурором. В отставке с 1766 г.

Последние 10 лет жизни Шаховской провел в своей подмосковной деревне, наезжая в Москву зимами. Похоронен в трапезной теплой соборной церкви московского Донского монастыря.

Текст печатается по изданию: Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. ч. 1, изд. 2. СПб., 1821, с. 16—25, 31—36, 37—51, 52—53.

К с. 380. ...из Кабинетных Министров... — 12 октября 1731 г. был создан «для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел» Кабинет Министров из трех человек: А. И. Остермана, Г. И. Головкина, А. М. Черкасского. После смерти Головкина его последовательно заменяли П. И. Ягужинский, А. П. Вольтинский, А. П. Бестужев-Рюмин. На заседания Кабинета приглашались и другие должностные лица (Б. Х. Миних, А. И. Ушаков, А. И. Шаховской и др.). Первоначально Кабинет занимался распоряжениями по делам управления. Указом 9 ноября 1735 г. Кабинет получил законодательные права: три подписи кабинет-министров заменяли подпись императрицы. Инициатором создания Кабинета министров и фактическим его руководителем был А. И. Остерман. Вскоре после воцарения Елизаветы Петровны Кабинет упразднен (указ 12 декабря 1741 г.).

К с. 381. *Василий Федорович Салтыков* (1675—1755) — граф, государственный деятель, при императрице Анне Ивановне генерал-адъютант и генерал-полицмейстер в Петербурге.

К с. 384. Впервые Петропавловская крепость была использована как государственная тюрьма в 1718 г. — в одном из помещений Трубечкого бастиона содержался царевич Алексей Петрович, участвовавший в заговоре против собственного отца.

Подполковник Ливен... — Юрий Григорьевич (Георг Рейнгольд) Ливен (1696—1763).

К с. 387. *Карл-Людвиг Менден* (1706—1760) — в 1742 г. был приговорен к ссылке в Нижнеколымск; за ним последовала его жена — Христина.

К с. 388. Позднее, в записке «Обстоятельства приготовившая опалу Эрнста-Иоанна Бирена», бывший регент пишет: «Я был схвачен в постели, в ночь с 8 на 9 ноября, поднят в одной рубашке гренадерами, вытащен ими к карете, приготовленной Минихом, и под конвоем Минихова адъютанта Манштейна отвезен в зимний дворец...

9 ноября после обеда меня и все мое семейство отправили одной каретой в Шлиссельбург.»

К с. 393. *Алексей Дмитриевич Голицын* (1697—1768) — князь, государственный и военный деятель, в 1738 г. во время опалы рода Голицыных, находясь в чине действительного статского советника, был сослан в Кизляр «нижним офицером» с лишением чинов и дворянства; в 1741 г. — сенатор, судья московского Судного приказа; в 1757 г. — действительный тайный советник.

ПИСЬМО ЕКАТЕРИНЫ II К ГРАФУ СТАНИСЛАВУ-АВГУСТУ ПОНЯТОВСКОМУ.

Текст печатается по изданию: Записки императрицы Екатерины II. СПб., 1907, с. 562—571 (в сокращении).

К с. 394. *Станислав-Август Понятовский* (1732—1798) — польский магнат, в 1755—1758 гг. жил в Петербурге; последний польский король (1764—1795).

Он хотел... жениться на Л. В. — Елизавета Романовна Во-

ронцова (1739—1792), графиня, фаворитка Петра III; с 1765 г. жена статского советника Александра Ивановича Полянского.

В день празднования мира... — Мир и союз с Фридрихом II был заключен Петром III 24 апреля.

Принц Георг-Людвиг — принц Голштинский, дядя Екатерины II по материнской линии.

К с. 394. *...в руках гроиз братьев Орловых...* — Григорий Григорьевич Орлов (1734—1783) — граф, 1-й президент Вольного экономического общества, активнейший участник дворцового переворота 1762 г., фаворит Екатерины II. Орлов Алексей Григорьевич (1737—1807/08) — граф, генерал-адмирал, один из активнейших участников дворцового переворота 1762 г., в 1770 г. получил титул графа Чесменского. Орлов Федор Григорьевич (1741—1796) — граф, сенатор.

...к капитану Пассеку... — Петр Богданович Пассек (1736—1804) — участник дворцового переворота 1762 г., затем генерал-губернатор в польских провинциях.

Михаил Никитич Волконский (1713—1786) — князь, генерал-аншеф; отличился в Семилетней войне.

Никита Иванович Панин (1718—1783) — брат П. И. Панина, граф, государственный деятель и дипломат, воспитатель Павла, активный участник дворцового переворота 1762 г., ближайший советник Екатерины II по внешнеполитическим делам, в 1763—1781 гг. возглавлял Коллегию иностранных дел.

Барятинский-младший — Федор Сергеевич (1742—1814), князь, обер-гофмаршал, участник дворцового переворота 1762 г.

К с. 395. *Иван Лукьянович Талызин* (1700—1777) — адмирал, участник дворцового переворота 1762 г.

К с. 396. *Андрей Васильевич Гудович* (1731—1808) — генерал-аншеф, генерал-адъютант Петра III.

К с. 397. *...я ему послала только три последние вещи.* — В собственноручном рескрипте к В. Суворову (Василий Иванович (1705—1775) — генерал-аншеф, отец генералиссимуса Суворова) 30 июня императрица писала:

«Господин генерал Суворов! По получении сего, извольте прислать сюда, отыскав в Ораниенбауме, или между пленниками, лекаря Лидерса, да арапа Нарцыса, да обер-камердинера Тимлера; да велите им брать с собою скрыницу бывшего государя, его мопсинку собаку; да на тамошния конюшни кареты и лошадей отправьте их сюда скорее».

...и, несмотря на усиленную помощь докторов... — Достаточно известно письмо А. Г. Орлова Екатерине II из Ропши следующего содержания:

«Матушка милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу; но как пред богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка — его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя. Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором; не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил; прогневили тебя и погубили души на век».

«ИЗВЕСТИЕ» О НАГРАДАХ ЕКАТЕРИНЫ II УЧАСТНИКАМ ПЕРЕВОРОТА

Текст печатается по изданию: Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в государственном архиве Министерства иностранных дел. Спб., 1871, т. 1, с. 108—109.

К с. 399. *Евграф Александрович Чертков* (ум. 1797) — гвардейский офицер, участник дворцового переворота 1762 г.

Николай Иванович Рославлев (1724—1785) — премьер-майор Измайловского полка, участник дворцового переворота 1762 г., затем генерал-поручик, в отставке с 1765 г.

Петр Алексеевич Голицын (1731—1810) — князь, секунд-майор Измайловского полка, потом генерал-поручик (1771); сенатор (1797), действительный тайный советник, обер-егермейстер.

Федор Алексеевич Хитрово — секунд-ротмистр лейб-гвардии конного полка, участник дворцового переворота 1762 г., был выслан из Петербурга за протест против возвышения Г. Г. Орлова.

Сергей Александрович Бредихин (1744—1781) — капитан-поручик Преображенского полка, участник дворцового переворота 1762 г., впоследствии камергер.

Валентин Платонович Мусин-Пушкин (1735—1804) — граф, фельдмаршал.

Василий Ильич Бибииков (1740—1787) — цензор, писатель, в 1779—1782 гг. заведовал русской труппой в Петербурге.

Всеволод Алексеевич Всеволодский (ум. 1796) — участник дворцового переворота 1762 г., сенатор.

Григорий Александрович Потемкин (1736—1791) — государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, князь Таврический; фаворит и ближайший помощник Екатерины II.

Екатерина Романовна Дашкова (1743—1810) — участница дворцового переворота 1762 г., директор Петербургской Академии наук и президент Российской академии.

О СКУДОСТИ И БОГАТСТВЕ

И. Т. ПОСОШКОВ. ДОНОШЕНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ К «КНИГЕ О СКУДОСТИ И БОГАТСТВЕ»

Иван Тихонович Посошков (1652—1726) родился в подмосковном селе Покровском-Рубцове на реке Яузе. По писцовым книгам середины XVII в. отец и дед его числились непашенными, оброчными крестьянами этого дворцового села и состояли серебряниками (ювелирами). Эта семья зажиточных ремесленников работала для Оружейной палаты. И. Т. Посошков был денежным мастером. В 1697 году техник-изобретатель Посошков показывал царю Петру в Преображенском собственное изобретение «огнестрельные рогатки», улучшавшие ружейную стрельбу. Посошков пытался заниматься промышленным предпринимательством, что было, однако, малоудачным. Нельзя не отметить при этом, что Посошков проявил достаточную разносторонность и изобретательность — устанавливал станки на монетном дворе, работал фонтанным мастером, служил по производству и продаже водки, держал на откупе некоторые казенные сборы, вел коммерческие операции. К концу жизни И. Т. Посошков имел свои дома в Нов-

городе и Петербурге, стал зваться «купецким человеком», приобрел постепенно земельные владения, стал «душеладельцем»; устроил в своем имении винокуренный завод.

Текст печатается по изданию: Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М., 1951, с. 13—20, 314—315.

К с. 409. *И аще великий наш монарх... в бытие произвести повелит...* — Эти строки называют адресата «Книги».

К с. 410. *...от недостатку великую нужду поднимают...* — «Устав воинский» 1716 г. определил денежного и продовольственного содержания всех воинских чинов для мирного и военного времени. Пехотинец должен был получать деньгами 10 руб. в год и 1 порцион продовольствия (2 фунта (1 фунт — 409,5 г) хлеба в день, 1 фунт мяса, 2 чарки (чарка — 122,99 мл) вина и 1 гарнец (3,28 л) пива); кроме того, полагалось на месяц 2 фунта соли и 1,5 гарнеца круп. Однако царские указы не выполнялись, и солдаты зачастую голодали.

...о салдатах и о драгунах. — Под солдатами разумелись пехотинцы; драгунами называли легких кавалеристов.

КРАТКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДО ДЕРЕВНИ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАПИСКИ

Об авторе см.: комм. к с. 40.

Текст печатается по изданию: Татищев В. Н. Избр. произв. Л., 1979, с. 402—415 (с небольшими сокращениями).

ДОКУМЕНТЫ О ВОЛНЕНИЯХ КРЕСТЬЯН НИКОЛО-УГРЕШСКОГО МОНАСТЫРЯ

Текст печатается по изданию: Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. Сборник IX. М., 1980, с. 257—266.

К с. 428. *...из Канцелярии экономии...* — В. И. Буганов и С. М. Троицкий, готовившие эти документы к публикации в «Материалах по истории сельского хозяйства...», предполагают, что, вероятно, имеется в виду Канцелярия синодального экономического правления, существовавшая в 1744—1763 гг. и ведавшая делами по управлению синодальными имениями и сбором доходов с них.

К с. 430. *Коллегия экономии* — центральное учреждение, занимавшееся управлением архиерейскими, монастырскими и синодальными имениями и сборами с них казенных доходов. Учреждена в 1726 г., в 1744 г. была упразднена. Ее функции были переданы Канцелярии синодального экономического правления. В челобитной крестьян Коллегия экономии названа ошибочно, в это время ее не существовало. Она была восстановлена в 1763 г. экономическими (бывшие архиерейские, монастырские, синодальные) владениями. В 1786 г. Коллегия экономии была окончательно упразднена.

К с. 431. *...Канцелярии тайных розыскных дел в конторе...* — Имеется в виду Московская контора тайных розыскных дел, существовавшая в 1731—1762 гг. и ведавшая делами о политических преступлениях.

К с. 432. *...вашего святейшества...* — Имеется в виду обер-прокурор Синода.

К с. 433. *...для присылки из Военной канторы...* — В Петербурге находилась Военная коллегия, а в Москве имелась ее контора.

ДОКУМЕНТЫ О ВОЛНЕНИЯХ НА МОСКОВСКОМ СУКОННОМ ДВОРЕ

Текст печатается по изданию: Волнения работных людей на мануфактурах текстильной промышленности России во второй четверти XVIII в. Ч. 1. М., 1980, с. 152—162, 216—218, 260—261, 272—273 (с небольшими сокращениями).

ПУСТЬ ПРОСВЕЩЕНИЕ ВОЛНУЕТ ВЕК

Н. Н. ПОПОВСКИЙ. ПИСЬМО О ПОЛЬЗЕ НАУК И О ВОСПИТАНИИ ВО ОНЫХ ЮНОШЕСТВА

Николай Никитич Поповский (1730—1760) — просветитель, поэт, переводчик, один из первых отечественных профессоров университета. Родился в Москве, в семье священника Покровского собора (известного также как храм Василия Блаженного). Учился в Славяно-греко-латинской академии, затем в числе лучших учеников был отправлен в академический университет в Петербурге. В университете увлекся философией и поэзией, в дальнейшем занимался под руководством М. В. Ломоносова, который давал будущему поэту «наставления в стихотворстве». После окончания университета получил звание магистра и был назначен помощником директора университетской академической гимназии. В 1755 г. стал инспектором гимназии при Московском университете; годом позже был утвержден профессором красноречия на философском факультете университета и до конца жизни занимал эту должность.

В течение двух лет являлся деканом этого факультета. В стихах, прозе, речах, переводных работах стремился показать значение науки в изучении природы, общественной жизни. Боролся за развитие русской национальной культуры, науки, русского литературного языка; участвовал в Московском литературном обществе, организованном при Московском университете в 1757 г. Был основателем одной из двух издававшихся в XVIII в. в России газет — «Московских ведомостей», начавших выходить при Московском университете в 1756 г. С конца 1758 г. Поповский целиком посвятил себя литературной деятельности и профессорской работе, оставив должность инспектора гимназии. Скончался Николай Никитич в Москве.

Текст печатается по изданию: Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. Т. 1. М., 1952, с. 95—101.

К с. 455. *На Ромулов... волчица.* — Согласно легенде основатели Рима Ромул и Рем были вскормлены волчицей.

Представив мудрый твой совет. — Проект организации Московского университета представлял императрице И. И. Шувалов. *Иван Иванович Шувалов (1727—1797)* — государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, генерал-адъютант. Разносторонне образованный человек, он сыграл значительную роль в истории русской культуры XVIII в.; оказывал помощь М. В. Ломоносову в основании Московского университета и был первым куратором этого университета. С 1757 до 1763 г. возглавлял созданную по его проекту Академию художеств. С 1763 по 1777 г. Шувалов жил за границей. Передал в Академию художеств свою коллекцию картин, положив этим начало ныне существующему музею.

Г. Н. ТЕПЛОВ ИЗ «НАСТАВЛЕНИЯ СЫНУ». 1760 Г.

Григорий Николаевич Теплов (1711—1779) учился в Петербургской семинарии, затем в академической гимназии. Завершил образование за границей. Сопровождал за границу (в качестве воспитателя) К. Г. Разумовского. Одновременно с назначением последнего (в 1746 г.) президентом Академии наук Теплов стал ассессором, с 1747 г. — статс-секретарем академии. Он — сановник при дворе Елизаветы Петровны и Екатерины II, один из активных участников по разработке учебных реформ.

Текст печатается по изданию: Антология педагогической мысли России XVIII в. М., 1985, с. 203—210 (с сокращениями).

В. Н. ТАТИЩЕВ. ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ШКОЛАХ ПРИ УРАЛЬСКИХ КАЗЕННЫХ ЗАВОДАХ

Об авторе см. комм. к с. 40.

Текст печатается по изданию: Исторический архив. V. М.; Л., 1950, с. 167—177, с небольшими сокращениями.

К с. 465. *«Первое учение отроком».* — Прокопович Феофан. «Первое учение отроком, в ней же буквы и слоги, так же: краткое толкование законного десятословия, молитвы господней, символа веры и девяти блаженств». СПб., 1720.

«Зерцало человеческого жития». — Сочинение Я. В. Брюса под таким названием неизвестно. Возможно, что автор имеет в виду «Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению» (СПб., 1717), изданное без указания автора. Это тем более вероятно, что было бы непонятным отсутствие упоминания об этом произведении в перечисленных Татищевым книгах для юношества, при малом количестве подобной литературы и при очень широком распространении «Зерцала» в России середины XVIII в.

К с. 467. *...к главному межевщику...* — Главный межевщик входил в состав канцелярии Главного управления сибирских и

казанских заводов. Ему были подчинены горные межевщики, лесные надзиратели и геодезисты. По горному уставу в его ведении находилось также управление школами при горных заводах.

Латинская и немецкая школы... — Были организованы В. Н. Татищевым как высшие специализированные отделения Екатеринбургской школы (наряду с русской школой) и комплектовались из детей высшего технического персонала заводов и духовенства. Латинская школа была в основном рассчитана на детей иностранных специалистов, которые обучались преимущественно латинскому языку. Немецкая же школа имела техническую специализацию. Одновременно с немецким языком в ней изучали физику и механику. И та и другая не играли значительной роли в истории Екатеринбургской школы и просуществовали сравнительно недолго.

ИМЕННОЙ УКАЗ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАННОВНЫ, ДАННЫЙ СЕНАТУ — «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КАДЕТСКОГО КОРПУСА».

Текст печатается по изданию: Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е, т. VIII. 1728—1732. СПб., 1830, № 5811, с. 519.

ЧЕЛОВИТНЫЕ А. САМАРИНА И А. ЧААДАЕВА

Текст печатается по изданию: Русский архив, 1898, вып. 8, с. 513—514.

Петр Иванович Баргенов (1829—1912) — русский археограф, библиограф. Он окончил Московский университет (1851). В 1863 г. основал исторический журнал «Русский архив». Баргеновым опубликовано очень большое количество исторических и литературных архивных материалов.

К с. 472. *Александр Самарин*, числившийся в корпусе с 30 июня 1732 г., 15 февраля 1735 г. был отчислен «за непонятием наук в армию унтер-офицером».

К с. 473. *Александр Чаадаев*. — В «Списке кадет по выпускам» (Исторический очерк сухопутного кадетского корпуса. Вып. I. СПб., 1907) обнаруживаем «Алексея Чаодаева», числившегося с 16 ноября 1732 г. В январе 1737 г. он был выпущен «в сержанты в армию».

ИЗ «ЗАПИСОК... ГАВРИЛЫ РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА».

Гаврила Романович Державин (1743—1816) происходил из небогатой дворянской семьи; в 1759—1762 гг. учился в Казанской гимназии. С 1762 г. служил солдатом в Лейб-гвардии Преображенском полку, участвовавшем в дворцовом перевороте 1762 г. Десять лет спустя произведен в офицеры, принимал участие в подавлении Пугачевского восстания. Затем перешел на гражданскую службу. С 1784 г. — олонекский губернатор, в 1785—1788 гг. — губернатор тамбовский. Много сделал для просвещения тамбовского края. В 1791—1793 гг. был кабинет-секретарем

Екатерины II, с 1793 г. — сенатор. Отличался горячностью характера, неуживчивостью, самостоятельностью в суждениях и определенным самомнением. Это обусловило его личные конфликты с влиятельными лицами и с самой императрицей. При Павле I Державин фактически не у дел, а в период царствования Александра I — в 1802—1803 гг. — министр юстиции.

Выдающийся российский поэт Г. Р. Державин начал печататься с 1773 г. С 1780-х гг. возглавлял литературный кружок, в который входили такие деятели отечественной культуры, как В. В. Капнист, Н. А. Львов, И. И. Хемницер. С 1811 г. состоял в литературном обществе «Беседа любителей русского слова».

Текст печатается по изданию: Записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина. — В кн.: Державин Г. Р. Соч. М., 1985, с. 361—366 (в сокращении).

К с. 473. *Александр I Павлович* (1777—1825) — император с 1801 г.

...родился в Казани... — Державин родился в деревне Кармачи или деревне Сокура Казанской губернии в небогатой дворянской семье.

К с. 474. *...по тогдашним законам...* — Закон о явке недорослей на смотр (в 7, 12 и 16 лет).

К с. 475. *...в Москве на Спасском мосту продаются...* — В 1508 г. на Красной площади вдоль Кремлевской стены от р. Москвы до р. Неглинной был вырыт крепостной ров шириной 36 метров, глубиной от 9,6 до 12,8 метра, в который в 1516 г. была пущена через подземный тоннель вода р. Неглинной. Через ров от Никольских, Фроловских (Спасских) и Константино-Еленинских ворот были переброшены деревянные мосты, в конце XVII в. замененные каменными. От Спасского моста к ул. Ильинке (совр. ул. Куйбышева) тянулись деревянные лавочки, где продавались книги, большей частью рукописные, и «фряжские листы» (гравюры).

К с. 476. *...при царе Иване Васильевиче Темном...* — Автор имеет в виду Василия II Темного (1415—1462) — великого князя Московского.

Бархатная книга — родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских фамилий (назв. происходит от бархатного переплета). Составлена в 1687 г. по приговору об отмене местничества (1682) и после прекращения составления разрядных книг. Работа по составлению Бархатной книги не была доведена до конца; в книге имеются фактические ошибки.

К с. 477. *...бывшие тогда в славе Сумарокова трагедии...* — *Александр Петрович Сумароков* (1717—1777), писатель, поэт, драматург, первый директор русского театра.

...когда он шествовал в Персию... — Каспийские походы Петра I 1722—1723 гг.

ИЗ «ЗАПИСОК ГРАФА АЛЕКСАНДРА РОМАНОВИЧА ВОРОНЦОВА»

Александр Романович Воронцов (1741—1805) — граф, государственный деятель, дипломат. В 1762—1764 гг. был полномочным министром России в Англии, в 1764—1768 гг. — в Голландии.

дии. В 1773—1794 г. президент Коммерц-коллегии и член Комиссии о коммерции, с 1779 г. — сенатор. Участвовал в заключении договоров России с Францией (1786 г.), со Швецией (1790 г.), с Турцией (1791 г.). При Павле I был в отставке; в 1802—1804 гг. — государственный канцлер. Известна дружба Воронцова с А. Н. Радищевым, помогал его семье после ареста просветителя.

Текст печатается по изданию: Записки графа Александра Романовича Воронцова. Заметки о моей жизни и о различных событиях, совершившихся в течение этого времени как в России, так и в Европе. — Русский архив. М., 1883, кн. 1, вып. 2, с. 227—249 (в сокращении).

К с. 478. *Моя мать скончалась в 1745 году... — Марфа Ивановна Воронцова*, урожденная Сурмина (1718—1745), происходила из богатой купеческой семьи.

У автора «Записок...» были старшие сестры: Мария Романовна, в замужестве Бутурлина (1737—1765), и Елизавета Романовна (см. примеч. к с. 393).

...у нас был брат... — Семен Романович (1744—1832) — выдающийся российский дипломат, государственный деятель. В русско-турецкой войне 1768—1774 г. отличился при Ларге, Кагуле, Силистрии. Его «Инструкция ротным командирам» отражала позиции передовой военной мысли. С 1782 г. полномочный министр в Венеции, с 1784 г. — в Лондоне. Проводил политику укрепления экономических и политических связей с Англией. Ухудшение отношений с последней привело к отставке (1800) Воронцова с последующей конфискацией его имений. Александр I восстановил С. Р. Воронцова в прежних правах. После отставки (1806) остался жить в Лондоне.

Мой отец... — Роман Илларионович Воронцов (1707—1783) — генерал-аншеф, сенатор.

...тетушка огнеслась к нам с особенной заботливостью... — Анна Карловна Воронцова, урожденная Скавронская (1722—1775). — двоюродная сестра императрицы Елизаветы Петровны; графиня, статс-дама, с 1760 г. обер-гофмейстерина.

И. И. ШУВАЛОВ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СЕНАТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Об авторе см.: комм. к с. 455.

Текст печатается по изданию: Хрестоматия по истории СССР. XVIII в. М., 1963, с. 570—571.

ДЛЯ ОДНОЙ СЛАВЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ

В. БЕРИНГ. ИЗ «ДОНОШЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОЙ КАМЧАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ»

Вигус Беринг (1681—1741) родился в датском городе Хорсенс. Родители его — Ионас Свендсен и Анна Педерсдаттен Беринг (мореплаватель носил фамилию своей матери). Отец Беринга был

таможенником. После смерти отца в 1719 году Витус Беринг унаследовал некоторую сумму денег, которую вместе с накопившимися процентами позже завещал неимущим родного города. На голландском корабле Беринг плавал в Ост-Индию; в 1703 г. окончил в Амстердаме Морской кадетский корпус и получил офицерское звание. Тогда же Беринг встретился с К. И. Крюсом (по происхождению норвежцем) — вице-адмиралом русского флота. Крюйс обратил внимание на ценные для морской службы качества Витуса и содействовал зачислению его в состав русского военно-морского флота.

Службу на русском флоте Беринг начал 22-летним унтер-лейтенантом в 1703 г., участвовал в Прутском походе, в победных сражениях на Балтике; его отличали превосходное знание морского дела, исполнительность, честность. Во время Северной войны Беринг не раз выполнял специальные поручения Петра I. Царь включил Беринга в число командиров, которым предстояло вести первые корабли под русским флагом вокруг Европы из портов Азовского моря на Балтику, а затем утвердил его командиром крупнейшего тогда на русском флоте боевого судна — 90-пушечного линейного корабля «Лесное». В. Беринг возглавлял 1-ю и 2-ю Камчатские экспедиции (1725—1730 и 1733—1743 гг.).

Об условиях, в которых проходила вторая экспедиция, дает представление письмо одного из ее участников М. П. Шпанбергу (о нем см. ниже) от 25 ноября 1742 г.:

«Милостивый государь мой Мартын Петрович!

Купно и с благодарною вашею фамилиею желаю вам здравствовать и прошу пожаловать, не оставить о вашем здравии писанием, которого всегда желаю.

При упоминаемом доношу вам, моему милостивому государю, о бытности нашей. Минувшего, 1741 году июня от 4 дня ноября по 6-е были мы на море, где при многих случаях видели землю, и как июля 21 дня возвратились к Аваче, то всегда на курш нам имели противные и сильные вестовые ветры, и через искусство наших правителей пристали к нужному острову упомянутого ноября 5 дня, полагая себя между Кроноцким и Камчатским мысами, где лежало судно на открытом море онго месяца по 28 число, и сорвало оное с якорей и потом, притесня к берегу, разбилось. И к возвращению нашему были всякой надежды. А питались на оном безлесном острове, что когда найти могли, выброшенным из моря всяким животным, и к тому ж на пропитание били палками котов, нерп, бобров, сивучей, а напоследок промышляли чрез ялбот манатов (или морских коров). И жили чрез всю зиму в парусных палатках. И из того утраченного пакетбота сделали с великим трудом малой гукор по киллю 36, широтою в 12, глубиной в 4½ фут, на котором минувшего августа 26 дня сего году от 77 человек в 46 возвратились в Санкт-Петропавловскую гавань, оставя на упомянутом острове 11 пушек и другие припасы и матриалы. А командор г-н Беринг умре в прошлом, 741 году декабря 8 дня. <...> Тако прекратя, остаюсь ваш, моего милостивого государя, доброжелательный слуга

лейтенант *Дмитрей Овцын*».

На могиле капитан-командора вначале был поставлен простой крест, замененный в 1822 г. памятником.

Текст печатается по изданию: Русская тихоокеанская эпопея. Хабаровск. 1979, с. 140—147 (в сокращении).

К с. 486. *Федор Матвеевич Апраксин* (1661—1728) — граф, государственный и военный деятель, сподвижник Петра I, генерал-адмирал, первый президент Адмиралтейств-коллегии, с 1726 г. — член Верховного тайного совета.

К с. 487. *...послушными указами гардемарина...* — П. А. Чаплин (ум. 1765) — гардемарин, мичман.

К с. 488. *Маргын Петрович Шпанберг* (ум. 1761) — выходец из Дании, участник 1-й и 2-й Камчатских экспедиций. Руководил доставкой грузов из Якутска в Охотск, дважды плывал из Охотска в Большерецк на Камчатке, находился на боте «Св. Гавриил» во время плавания в Северный Ледовитый океан (1728). Описал ряд островов Курильской гряды, один из которых назван его именем. Проложил морской путь в Японию.

К с. 489. *Алексей Ильич Чириков* (1703—1748) — выдающийся русский мореплаватель, выпускник Петербургской Морской академии (1721). В 1728 г. на пакетботе «Св. Гавриил» совершил плавание от устья р. Камчатки в Северный Ледовитый океан через пролив, получивший позднее название Берингова. Если бы В. Беринг прислушивался к мнению своего помощника, итоги этого морского похода могли быть значительнее. В 1746 г. назначен директором Морской академии.

Одним из отрядов II Камчатской (Сибирско-Тихоокеанской) экспедиции командовал Д. Я. Лаптев, в письме к нему от 11 декабря 1741 г. А. И. Чириков писал:

«Милостивый государь мой и друг Дмитрий Яковлевич!

О несчастливом нашем мореплавании доношу: отправились мы из здешней гавани вместе с г-ном капитан-командором мая 29 числа, а 20 числа июня, при обычных на здешнем море всегдашних туманах, стал великий ветер, которым нас разлучило с г-ном капитан-командором. И, по утишении сильного ветра, искал я его определенное время, точию сыскать не мог. И поныне он, г-н капитан-командор, со своим судном <«Св. Петр»> и сюды не возвратился, — статное дело, ежели не в несчастьи, то остался негде зимовать. А по разлучении с ним, г-ном командором, принужден был следовать в надлежащий нам путь один. <...>

И во все время бытности нашей на море почти всегда были в смертной опасности и несли великий труд и претерпевали многую нужду, а именно: страх от того, что плавание имели в неизвестном море и подле неизвестных берегов почти со всегда стоящими туманами, которые на здешнем море гораздо больше стоят, нежели на иных морях; а труд от продолжения времени, понеже беспрестанно имели паруса 4 месяца и 6 дней, и от частых неспокойных мокрых погод; а нужду претерпели от недовольства воды, которого ради недовольствия однажды давалась в неделю служителям каша, а в прочие же дни питались холодным, и пить принужден был давать воду малую мерою, которою только б жажду утолить, да и та вода очень испортилась и издавала из себя дух весьма противный. При котором оскудении и я со всеми офицерами принужден был по однажды в день вареное кушать, и пили только чаю по две или три чашки в день. А всех трудностей наших и описать невозможно. От которых трудов и от оскудения пици и питья и от всегдашнего сырого воздуха постигла всех нас жестокая цинготная болезнь, от которой многие слегли,

а остальные с нуждою и насилу судном <«Св. Павел»> управляли. <...>

А осталось нас, живых, 50 человек, а 21 человек, по воле божией, некоторые остались на удаленной земле в неизвестном несчастии, а прочие померли. <...>

С. П. КРАШЕНИННИКОВ. ИЗ «ОПИСАНИЯ КАМЧАТСКОГО НАРОДА»

Степан Петрович Крашенинников (1713—1755) был солдатским сыном. Учился он в московской Славяно-греко-латинской академии и в 1732 г. из философского класса взят в студенты Академии наук. Годом позже Крашенинников вместе с пятью другими студентами был отправлен в Камчатскую экспедицию. По словам М. В. Ломоносова, из всех их «дельным» вышел один Степан Крашенинников, а остальные все во время экспедиции «испортились» — «от недостатка смотра». В состав экспедиции вошли: натуралист И. Г. Гмелин, историк Г. Ф. Миллер (впоследствии они были заменены Г. В. Стеллером и И. Э. Фишером), астроном Л. Делиль. В Сибири академик Гмелин читал Крашенинникову лекции, продолжая тем самым обучение. По дороге академики собирали разного рода сведения, при этом по их поручению Крашенинников записывал наблюдения над образом жизни местных народов; списывал в городских архивах разные акты и проч. По собственному его желанию Степан Петрович в 1736 г. один был отправлен на Камчатку. Проведя в путешествии почти пять лет, объехав весь полуостров, С. П. Крашенинников не только проводил естественноисторические наблюдения, но и снимал копии со старинных грамот в разных острогах, собирал исторические сведения, вошедшие затем в главный его труд «Описание земли Камчатки». Долгое время эти данные были почти единственными научными сведениями о Камчатке в европейской литературе. Крашенинников возвратился в столицу в феврале 1743 г., а в 1745 г. стал адъюнктом Академии, а через пять лет — профессором ботаники. Он был первым русским ученым, преподававшим эту науку. В 1750 г. он выступил на публичном собрании Академии с речью «О пользе наук и художеств во всяком государстве». С 1748 г. Степан Петрович был ректором академической гимназии, занимался с учениками переводами с латыни и греческого.

С. П. Крашенинников успел подготовить «Описание земли Камчатки», но не увидел труда своего, вышедшего в свет: умер через несколько дней после прочтения последней корректуры.

Ниже приводится автобиография С. П. Крашенинникова:

«Я, нижеименованной, обучался в Московской иконоспаской школе с 1724 по 1732 год, в которых последних двух годах получал по сороку алтын на месяц, а до того по тридцати алтын. В исходе 1732 году указом Правительствующего Сената взят в Санктпетербург в Академию Наук, где обучался по август месяц 1733 году, а в августе месяце отправлен студентом при академической свите в Камчатскую экспедицию с жалованьем по сту рублей на год, из которой возвратился в Санктпетербург 1743 году в феврале месяце и получил на первой случай прибавки жалованья еще сто рублей, которая по представлению канцелярии Академии Наук указом сенатской конторы еще в 1738 году определена была.

В 1745 году по достоинству Академии Наук и по представлению канцелярии указом правительствующего Сената в небытность президента пожалован в адъюнкты с жалованьем по 360 ру<блей> на год, а в 1750 году по усмотрению его высокографским сиятельством Академии Наук господином президентом графом Кирило Григорьевичем Разумовским трудов моих в моей должности определен в профессора с жалованьем по 660 ру<блей> на год, в котором чину и окладе нахожусь и поныне, а оной оклад определен по академическому штату опробованному от ее императорского величества; от роду мне сорок третей год детей мужеска полу сын Василей осьми месяцев, а крестьян за мною не имеется. К сей скаске Академии Наук профессор Степан Петров сын Крашенинников руку приложил».

Текст печатается по изданию: Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. С приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов. М.—Л., 1949, с. 691—697 (в сокращении).

Г. В. КРАФТ ИЗ «ПОДЛИННОГО И ОБСТОЯТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ... ЛЕДЯНОГО ДОМА»

Георг-Вольфганг Крафт (1701—1754) родился в Дюттлингене, в Вюртембергском герцогстве, в семье пастора. Образование получил в Тюбингском университете, там же получил степень магистра. С конца 1725 г. Крафт — в России, работает в Петербургской Академии наук. В 1731 г. назначен академиком по кафедре «генеральной математики», а в 1733 г. занял кафедру физики. В мае 1738 г. Крафт стал инспектором академической гимназии, а спустя шесть лет получил по собственному прошению увольнение из Академии. Вернулся на родину, где стал профессором Тюбингенского университета.

В Российской Академии наук Г.-В. Крафт читал главным образом физику, много сделал для устройства физического кабинета; занимался, кроме того, метеорологическими наблюдениями. В 1729 г. Крафт приступил к составлению плана Петербурга, который лег в основу первого плана города, изданного академией в 1745 г. Было напечатано несколько десятков статей Г.-В. Крафта по астрономии, математике, метеорологии, физике. В 1736 г. он представил рукопись составленного им первого учебника по физике.

Текст печатается по изданию: Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санктпетербурге в генваре месяце 1740 года Ледяного дома и всех находившихся в нем домовых вещей и уборов с приложенными при том гридированными фигурами, также и некоторыми примечаниями о бывшей в 1740 году во всей Европе жестокой службе сочиненное для охотников до натуральной науки чрез Георга Вольфганга Крафта Санктпетербургския Императорския Академии Наук члена и физики профессора. СПб., 1741, с. 9—21 (в сокращении).

К с. 500. *Алексей Даниловича Татищев* (1699—1760) — генерал-аншеф, генерал-полицеймейстер Петербурга.

Франческо-Бартоломео Растрелли (1700—1771) родился в семье итальянского скульптора Карло Растрелли в Париже. В 1715 г. русский резидент во Франции Конон Зотов в одной из депеш царя Петра читал: «...понеже король французский <Людовик XIV> умер, а наследник зело молод (Людовику XV было пять лет), то, чаю, многие мастеровые люди будут искать фортуны в иных государствах, для чего наведывайся о таких и пиши, дабы потребных не пропускать...» 19 октября того же года был подписан договор о приглашении Растрелли на службу в Россию. На пути к новому месту работы мастер встречался и с самим Петром I: «В Кенингсберге явился к его величеству нанятой в Париже господином Лефортом архитектор и испытанной художник многих искусств Г. Растреллий, то монарх, с час препроводя с ним, дал ему к князю Меншикову следующее письмо: «Доноситель сего Растреллий, которой нанят во Франции, и которого трактament при сем прилагаю, и когда он к вам прибудет, то чтоб против договору исправно было плачено на наш шет, также квартиры и прочее, дабы ни в чем не удовольствован не был, для привады других. Также чтобы даром времени не тратил, велите пробы ему своего мастерства делать и модель палатам и огороду (саду) в Стрелине, и понеже вы не всегда в Петербурге будете, того для прикажите Брюсу, дабы он за ним смотрел, а они к нему и прибежище имеют».

Но сего казалось монарху не довольно; он сам к последнему сего же числа (16 февраля) писал следующее: «Мастеровые люди Растреллий с товарищи из Франции едут в наше службу, о которых я довольно писал к князю Меншикову; но понеже оной отлучаться будет, того для рекомендую вам, (о чем и к нему писал), дабы они к вам прибежище имели, и вы о них старайтесь же, чтоб даром не жили, но пробы своего мастерства делали; также чтоб модель палатам и огороду в Стрелине своего мнения сделали».

Контракт * оговаривал условия службы мастера с сыном и учеником его. «Проезд и дорожное содержание государево, безденежная квартира» и место на строение ему дома, которой когда построится, уволен будет на 10 лет от постоев и от всяких налогов; а буде он по истечении сроку не захочет остаться, то вольно ему будет дом свой продать и все свое вывезти, и проч.

Он же, Растреллий обязался обучить российских людей, сколько ему дано будет, всему тому, что он сам знает, безденежно; знания же его суть следующие:

1. Архитектура, снятие планов, и делание фонтанов; 2. Скульптурное из мраморов, порфиров и прочее украшение; 3. Литейное из меди и железа; 4. Литейное же всяких вещей из стали и отдельвание оных; 5. Делание из составов на подобие мрамора; 6. Резное штемпелей для монет и деталей; 7. Делание портретов из воску и гипса; 8. Живописное на мраморе и камнях; 9. Декорации для театров» **.

* Контракт с ним во Франции заключен на три года, по 1500 руб.

** Голиков И. И. Дополнение к деяниям Петра Великого к 1716 и 1717 годам. Т. XI. М., 1794, с. 105—107.

По приезду в Петербург семья Растрелли поселяется в бывшем дворце царицы Марфы Матвеевны на Первой Набережной улице. Франческо Растрелли участвует вместе с отцом в создании ряда моделей, а также в строительстве нескольких зданий. Первой самостоятельной работой Растрелли следует считать постройку дворца для Дмитрия Кантемира (1721—1727). Лишь в 1737 г. Растрелли-младший подает официальное прошение о принятии его на государственную службу, а двумя годами позже он получает звание обер-архитектора двора. За многие годы работы в России Ф.-Б. Растрелли создал несколько десятков архитектурных произведений, многие из которых и до сих пор являются жемчужинами среди памятников нашего Отечества. Но насколько блистательны были его творения, настолько незавидна была судьба автора. С горечью напишет он: «Служба архитектора в России изрядно тяжела... Архитектор на службе не имеет ничего кроме своего жалованья, без какого-либо другого вознаграждения, всегда допустимого в других странах; но пуще того, архитектора здесь ценят только тогда, когда в нем нуждаются.» (выделено нами. — Г. Г.). Лишь однажды Растрелли получил награждение за работу — в 1762 г. ему был пожалован орден Анны и звание генерал-майора. Совсем незадолго до смерти мастер был избран почетным членом (вольным общником) Академии художеств. Жила семья зодчего скромно, занимала небольшое казенное помещение близ церкви всех Скорбящих по Шпалерной улице.

Текст печатается по изданию: Сообщения Кабинета теории и истории Академии архитектуры. Вып. 1. М., 1940, с. 26—34. Полное название документа следующее: «Общее описание всех зданий, дворцов и садов, которые я, граф де Растрелли, обер-архитектор Двора, построил в течение всего времени, когда я имел честь состоять на службе их императорских величеств всероссийских, начиная с года 1716 до сего 1764 года».

К с. 504. *Модель Стрельнинского дворца* была создана Ф.-Б. Растрелли вместе с отцом в 1717 г.

В 1724 г. Ф.-Б. Растрелли вместе с отцом участвовал в конкурсе на строение здания Двенадцати коллегий.

Модель предполагавшегося мавзолея Петра I была создана также вместе с отцом.

Над проектами дворца И. Долгорукого и здания Арсенала Растрелли начал работать в 1728 г.

К с. 505. *Модель первого в России конного монумента* Б.-К. Растрелли создал в 1720-х гг., отливка выполнялась два десятилетия спустя. Памятник был установлен перед южным фасадом Михайловского (Инженерного) замка на располагавшейся там площади Коннетабль.

Зимний Анненгоф был сооружен отцом и сыном Растрелли в 1730 г.;

Летний Анненгоф был сооружен ими в Лефортове в 1731 г.; т у а з (туазы) — старинная французская мера длины, равная приблизительно 2 метрам.

К с. 506. *...для большого императорского маскарада...* — Известно, что кроме архитектурных работ, Ф.-Б. Растрелли брался за выполнение планов различных торжеств, иллюминаций, церемо-

ний и т. п. Особенно много подобного рода заказов он выполнял позднее, став придворным архитектором.

Зимний дворец для Анны Иоанновны Растрелли с отцом построил в 1733—1736 гг.

К с. 507. *...я начал большое здание Монастыря...* — В 1748 г. началась работа над проектом Вознесенского Новодевичьего монастыря в районе быв. Смоляного двора. В том же году монастырь был заложен. Строительство продолжалось до 1769 г., но полностью замысел архитектора осуществлен не был. Так, осталась недостроенной 140-метровая колокольня перед собором. Внутренняя отделка собора проведена в 1830-х гг. архитектором В. П. Стасовым. В 1923 г. площадь перед быв. Вознесенским Новодевичьим монастырем была названа именем Франческо-Бартоломео Растрелли.

Деревянная модель монастыря выполнена в 1750—1756 гг. В настоящее время — в экспозиции Научно-исследовательского музея Академии художеств СССР (Ленинград).

Повеление перестроить дворец в Петергофе Растрелли получил в 1745 г., через два года императрица утвердила проект перестройки. Сооружение дворца пришлось на 1747—1752 гг., внутренняя отделка Большого Петергофского дворца была закончена в 1755 г.

Проект достройки и отделки Большого Стрельнинского дворца Растрелли выполнил в 1751 г.

К с. 508. В 1749 г. архитектор возглавил работы по сооружению Большого дворца в Царском Селе; окончание строительства относится к 1756 г. Все работы в Царском Селе окончательно завершены в 1760 г.

К с. 509. *...я построил большой каменный Эрмитаж...* — Сооружение этого здания закончено в 1753 г.

К с. 510. На строительстве нового дворца в Кремле Растрелли работал в 1749 г.

Я построил охотничий дворец... — Проект перестройки дворца в Перове выполнен в 1747 г.

Строительство Андреевской церкви в Киеве выполнялось в 1748—1752 гг.

К с. 511. *Я выполнил... проекты для постройки новых двухэтажных лавок...* — В 1752 г. Растрелли было поручено разработать проект Гостиного двора на Большом (Невском) проспекте, проект утвержден в 1757 г. Годом позже началось строительство, но было прекращено в 1760 г.

К с. 512. *Я построил в камне большой Зимний дворец...* — Первый вариант нового Зимнего дворца создан в 1752 г., годом позже выполнен проект Зимнего дворца с планировкой площади перед ним, а в 1754 г. утвержден окончательный проект дворца. Тогда же началось строительство, в 1761 г. Зимний дворец подведен под крышу. Одновременно создан проект отделки его интерьеров.

К с. 513. *Дворец для М. И. Воронцова* строился в 1749—1757 гг. С 1810 г. в этом здании помещался Пажеский корпус, а в настоящее время здесь Суворовское военное училище (совр. Садовая ул., д. 26).

Дворец Строгановых (угол Невского просп. и Мойки) построен в 1752—1754 гг.

К с. 514. *...на большом проспекте большой дворец...* — Заказ-

чик дворца — автор проекта Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова) А. Н. Вильбоа. Затем дом перешел к князьям Голицыным; впоследствии стал известен как Дом Энгельгарта. Теперь здесь (совр. Невский просп., д. 30) Малый зал имени М. И. Глинки Ленинградской филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Это старейший концертный зал города.

Дворец Д. Кантемира считается первой самостоятельной архитектурной работой Ф.-Б. Растрелли в Петербурге.

АНТИОХ КАНТЕМИР. САТИРА I. НА ХУЛЯЩИХ УЧЕНИЯХ. К УМУ СВОЕМУ

Об авторе см.: комм. к с. 41.

Текст печатается по изданию: Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. Л., 1956, с. 57—67; с той лишь разницей, что авторские примечания помещаются не после стихотворного текста, а даются постранично. Именно так предполагал печатать свои сатиры сам Кантемир. «Примечания должно печатати на низу страницы, вмеща всякое примечание под стихом, к которому оно принадлежит». В «Письме стихотворца к приятелю» читаем: «Приложенные под всяким стихом примечанийцы нужны для тех, кои в стихотворстве никакого знания не имеют, и, кроме того, к совершенному понятию моего намерения служат».

К с. 514. Кантемир чаще всего дает своим сатирам двойное название. I часть заглавия указывает на объект сатиры, II — на собеседника автора.

К с. 517. *Мирскую в церковных власть руках лишну чают...* — мирскую власть считают лишней в руках церкви.

Поместья и вотчины весьма не пристали. — В начале XVIII в. церковь владела огромными земельными богатствами. Ей принадлежало около $\frac{1}{5}$ всей обрабатываемой земли в стране. Петр I предпринял ряд мер к ограничению церковного землевладения и поставил его под контроль государства. Это вызвало сопротивление реакционной части духовенства. В речи изображенного в сатире церковника-мракобеса Критона осуждается мнение тех, кто считает, что духовенству не пристало владеть поместьями и вотчинами.

К с. 518. *Подлых* — то есть недворян.

Буки, веди — в церковнославянской азбуке так называются буквы «б», «в».

К с. 519. *Часовник* — календарь.

Лука — русифицированный вариант римского имени Лукулл; имя, данное герою сатиры, содержит в себе намек на Лукулла (ок. 117 — ок. 56 до н. э.) — римского полководца, славившегося богатством, роскошью и пирами; «лукуллов пир» — крылатое выражение, обозначающее необычайно богатое пиршество.

К с. 520. *Песок да бумага.* — Песок употреблялся для просушивания чернила на бумаге.

Чернец одну есть станет вязигу — то есть монах перестанет в пост употреблять мясо.

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский философ и писатель.

Фунт доброй пудры — имеется в виду пудра, употребляемая для париков.

К с. 521. *Немее быть клуши.* — В ряде местностей клушей называется курица-наседка, в других — галка, чайка. У Кантемира — в первом значении.

Епископом хочешь быть... благоговейно отцом называти. — В окончатальной редакции автор не называет имени реального лица, чьи характерные черты воплощены в образе епископа. Но современные читатели хорошо знали, что речь идет о Георгии Дашкове (см. примеч. к с. 62).

К с. 522. *Клобук* — высокая цилиндрическая шапка с покрывалом, надеваемая епископами.

К с. 522. *Вздень перук с узлами* — надень парик с буклями. Парик был непременной принадлежностью форменного одеяния государственного служащего.

...Подьячий — мелкий чиновник, писец, помощник дьяка. Впоследствии слово «подьячий» сделалось синонимом взяточника, крючкотвора.

Крепить приговоры — подписывать приговоры.

К с. 523. *Науку невежество место уж посело...* — невежество вытеснило науку (взяло верх над наукой).

...гордится то — гордится невежество. В шитом платье ходит — имеется в виду вышитая одежда придворных.

Как, страдавши на море, корабельной службы — как страдавшие морской болезнью избегают корабельной службы.

Карты мешать — играть в карты.

Часовник, псалтырь, послания — церковные книги, изучаемые в низших церковных учебных заведениях.

В Златоусте не запнусь... — Иоанн Златоуст (ок. 350—407) — выдающийся церковный писатель-богослов.

Полком не владеет — то есть не командует.

К с. 524. *Писец тужит, за сукном что не сидит красным.* — За столами, накрытыми красным сукном, сидели судьи. Писец, то есть подьячий, тужит о том, что он еще не судья.

...изъясняя тую — то есть изъясняя пользу наук.

В. К. ТРЕДИАКОВСКИЙ. ОДА IV. ПОХВАЛА ИЖЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ И ЦАРСТВУЮЩЕМУ ГРАДУ САНКТПЕТЕРБУРГУ

Об авторе см.: комм. к с. 136.

Текст печатается по изданию: Тредиаковский В. К. Избр. произв. М.—Л., 1963, с. 179—181.

Ода написана, видимо, к 50-летию основания Санкт-Петербурга.

К с. 524. *Ижерская земля* — старое название, встречающееся в летописных источниках с XIII в., земель по берегам Невы и Финского залива.

Александр — князь Александр Ярославич, названный за победу над шведами на Неве в 1240 г. — Невским.

Лавра — укрепленный монастырь; в 1710 г. Петр I в память побед над шведами заложил Александро-Невский монастырь, впоследствии официально названный лаврой.

Там почернил багрянку ток Скамандру. — Там поток (Невы) посрамил багряную Скамандру. Река Скамандр во время троянской войны стала багряной от крови («Илиада»).

Сему коль граду свет... — Сколь громкие хвалы этому городу будет петь пришедший в восторг мир.

К с. 526. *Долгий Лондон.* — После пожара в XVII веке Лондон (расположенный вдоль Темзы) быстро застраивался к западу от Сити.

...Желаний вещь. — Все эти города — цель наших путешествий, предмет желаний.

Из всех тех стран... — Из Италии, Голландии, Англии, Франции.

Санктпетербург не образ есть чему? — Чему образцом не может быть сам Петербург?

Энгельс Ф. Об общественных отношениях в России. — Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произв. Т. II. М., 1955, с. 39—50.

Ленин В. И. О государстве. — Полн. собр. соч. Т. 39, с. 64—84.

ПУБЛИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ

Баженов В. И. Автобиография. — Искусство, 1947, № 4, с. 86.

Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. М., 1986.

Данилов М. В. Записки М. В. Данилова, артиллерии майора, написанные им в 1771 году. (1722—1762). Казань, 1913.

Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987.

Денисов Ю., Петров А. Зодчий Растрелли. Материалы к изучению творчества. Л., 1963.

Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. Т. 1. М., 1960.

Долгорукая Н. Б. Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой, дочери г. фельдмаршала, графа Бориса Петровича Шереметева. СПб., 1913.

Манштейн Х. Г. Записки Манштейна о России 1727—1744. СПб., 1875.

Миних Б. Х. Записки фельдмаршала Миниха. СПб., 1874.

Неплюев И. И. Записки Ивана Ивановича Неплюева (1693—1773). СПб., 1893.

* В данном списке не указываются издания, упомянутые в примечаниях.

Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. — Избранное. М., 1983, с. 425—452.

Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е, т. 7—16. СПб., 1830.

Прокопович Ф. История о избрании и восшествии на престол Анны Иоанновны самодержицы всероссийские. СПб., 1837.

Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII в. Сборник документов. М., 1984.

Сборник материалов для истории императорской Академии наук в XVIII веке. Издал А. Куник. Ч. I—II. СПб., 1865.

Сборник материалов для истории императорской С.-Петербургской академии художеств за сто лет ее существования. СПб., 1864.

Татищев В. Н. Избр. труды по географии России. М., 1950.

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. — В кн.: Столетье безумно и мудро. М., 1986, с. 317—390.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра. М., 1986.

Бенуа А. Н. Царское Село в царствование императрицы Елисаветы Петровны. СПб., 1910.

Висковатов А. Краткая история Первого кадетского корпуса. СПб., 1832.

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983.

История Академии наук СССР, т. I, 1724—1803. М.—Л., 1958.

История Москвы, т. II. Период феодализма. XVIII в. М., 1953.

История Московского университета, т. 1, 1755—1917. М., 1955.

История русской литературы, т. 1. Л., 1980.

История СССР с древнейших времен до наших дней, т. 3. М., 1967.

Ключевский В. О. Соч., т. 7, 8. М., 1959.

Козьяян Г. К. Ф.-Б. Растрелли. Л., 1976.

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, т. 3. СПб., 1911.

С. П. Крашенинников в Сибири. М.—Л., 1966.

Кузнецов А. А. Ордена и медали России. М., 1985.

Кулябко Е. С. Замечательные питомцы Академического университета. Л., 1977.

Мавродин В. В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в XVIII в. (1725—1773 гг.). Л., 1964.

Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий, т. 3. М., 1984.

Нечаев Н. В. Школы при горных заводах Урала в первой половине 18-го столетия. М., 1944.

Очерки истории Ленинграда, т. 1. Период феодализма (1703—1861 гг.). М.—Л., 1955.

Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в. М., 1956.

Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй четверти XVIII в. Народы СССР в первой половине XVIII в. М., 1957.

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII в. — первая половина XIX в. М., 1973.

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1985.

Пасецкий В. М. Витус Беринг. 1684—1741. М., 1982.

Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. т. 2, ч. III. — Соч., т. 21. М.—Л., 1925.

Семенова Л. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII в. Л., 1982.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен, кн. IX—XIII. М., 1963—1965.

Сопоцко А. А. История плавания В. Беринга на боте «Св. Гавриил» в Северный Ледовитый океан. М., 1983.

Строев В. Н. Бироновщина и кабинет министров. Очерк внутренней политики императрицы Анны, ч. 1—2. М.—СПб., 1909—1910.

Тихомиров М. Н. Русская культура X—XVIII вв. М., 1968.

Шепелев Л. Е. Отмененные историей. Чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977.

Юхт А. И. Государственная деятельность Татищева в 20-х — начале 30-х годов XVIII в. М., 1985.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Анисимов Г. А. От рук художества своего. М., 1987.

Блюмин Г. З. Юность Татищева. Л., 1986.

Глянка Н. И. Державин в Петербурге. Л., 1985.

Говоров А. А. Санктпетербургские кунсткамеры, или Семь светлых ночей 1726 года. М., 1985.

Гордин Я. А. Хроника одной судьбы. М., 1980.

Коняев Н. Ревизия Беринга. — Звезда, 1985, № 11.

Кузьмин А. Г. Татищев. М., 1937.

Лажечников И. И. Ледяной дом. М., 1980.

Марков А. С. Тайный советник. Волгоград, 1968.

Михайлов О. Н. Державин. М., 1977.

Нагибин Ю. М. Остров любви. М., 1977.

Овсянников Ю. Франческо Бартоломео Растрелли. Л., 1982.

Панова В. Ф. Тредьяковский и Волынский. — В кн.: Панова В. Ф. Поговорим о странностях любви... Пьесы. Л., 1968.

Русская поэзия XVIII века. М., 1972.

Русская проза XVIII века. М., 1971.

Чуковский Н. К. Беринг. М., 1961.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Предисловие. Л. Кислягина</i>	5
С. Десятков. <i>Верховники. Роман</i>	23
Ю. Нагибин. <i>Квасник и Буженинова. Повесть</i>	253
<i>Отечество во всех его пределах. Свидетельства эпохи</i>	
Для достопамятного вехом	339
Из «Записок...» В. А. Нащокина	341
Чехарда на престоле	369
Правительственные указы. Октябрь 1740-го — апрель 1741 года	371
Из «Записок...» князя Якова Петровича Шаховского.	380
Письмо Екатерины II к графу Станиславу-Августу Понятовскому	393
Известие о наградах Екатерины II участникам переворота	398
О скудости и богатстве	400
И. Т. Посошков. Доношение и вступление к «Книге о скудости и богатстве»	406
Краткие экономические до деревни следующие записки	412
Материалы о волнениях в Николо-Угрешском монастыре	425
Материалы о волнениях на Московском Суконном дворе	433
Пусть просвещение волнует век	443
Н. Н. Поповский. «Письмо о пользе наук и о воспитании во оных юношества»	450

Г. Н. Теплов. Из «Наставления сыну»	455
В. Н. Татищев. «Инструкция о преподавании в школах при Уральских заводах»	463
Именной указ императрицы Анны Иоанновны, дан- ный Сенату, об учреждении Кадетского кор- пуса	471
Челобитные А. Самарина и А. Чаадаева	472
Из «Записок.. Гаврилы Романовича Державина»	472
Из «Записок графа Александра Романовича Ворон- цова»	478
И. И. Шувалов. Представление в Сенат об уч- реждении Академии художеств	482
Для одной славы всероссийской	484
В. Беринг. Из «Довошения о деятельности Пер- вой Камчатской экспедиции»	486
С. П. Крашенинников. Из «Описания Кам- чатского народа»	492
Г. - В. Крафт. «Из Подлинного и обстоятельного описания... Ледяного дома»	499
Ф. - Б. Растрелли. «Общее описание всех зда- ний, дворцов и садов...»	504
Антиох Кантемир. Сатира I. На хулящих учения. К уму своему	514
В. К. Тредиаковский. Ода IV. Похвала Ижерской земле и царствующему граду Санкт- петербургу	524
<i>Примечания</i>	527
<i>Рекомендуемая литература</i>	567

В БИБЛИОТЕКЕ
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В РОМАНАХ,
ПОВЕСТЯХ, ДОКУМЕНТАХ»
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ТОМА:

«Откуда есть пошла Русская земля» кн. 1, 2
(века VI—X)

«Злато слово»
(век XII)

«За землю русскую»
(век XIII)

«Государство все нам держати»
(век XV)

«Все народы едины суть»
(век XV)

«Московское государство»
(век XVI)

«Встречь солнцу»
(века XVI—XVII)

«Стояти заодно»
(век XVII)

«Чтобы вовек едины были»
(век XVII)

«Бунташный век»
(век XVII)

«Россию поднял на дыбы» в 2-х книгах
(века XVII—XVIII)

«Жажда познания»
(век XVIII)

«Наука побеждать»
(век XVIII)

«Столетье безумно и мудро»

(век XVIII)

«Седой Урал»

(век XVIII)

«Горные ветры»

(века XIX—XX)

«На крутом переломе»

(век XX)

«Октябрьская буря»

(век XX)

«В огненном кольце»

(век XX)

«Коммуны будущей творцы»

(век XX)

«Союз нерушимый»

(век XX)

«Обновление земли»

(век XX)

«Священная война»

(век XX)

В 85 **Вслед подвигам Петровым... : Сборник / Сост., коммент., сопровод. текст Г. И. Герасимовой; Предисл. Л. Г. Кислягиной; Ил. Е. Флеровой. — М.: Мол. гвардия, 1988. — 574[2] с., ил. — (История Отечества в романах, повестях, документах. Век XVIII).**

ISBN 5-235-00012-9 (2-й з-д)

В сборник входят художественные произведения: повесть Ю. Нагибина «Квасник и Буженинова», роман С. Десяткова «Верховники», мемуары, документы, отрывки из воспоминаний, в которых рассказывается о политической и культурной жизни России во второй трети XVIII столетия, «эпохи дворцовых переворотов».

В 4702010000—213 137—88
078(02)—88

ББК 84P7 + 63.3(2)46

ИБ № 5859
ВСЛЕД ПОДВИГАМ ПЕТРОВЫМ

Старший редактор библиотеки
«История Отечества в романах
повестях, документах»
С. Елисеев

Редактор тома
Е. Калмыкова

Художественный редактор
А. Романова

Технический редактор
В. Пилкова

OCR - Давид Титиевский, сентябрь 2017 г., Хайфа

Сдано в набор 18.12.87. Подписано
в печать 27.05.88. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага книжно-журнальная № 2.
Гарнитура «Обыкновенная новая».
Печать высокая. Условн. печ.
л. 30.24. Условн. кр.-отт. 30.45.
Учетно-изд. л. 35.6. Тираж
200 000 экз. (100 001—200 000 экз.).
Цена 2 р. 20 к. Заказ 2584.
Заказ 2584.

Типография ордена Трудового
Красного Знамени издательско-
полиграфического объединения
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес ИПО: 103030, Москва,
Сушевская, 21.

ISBN 5-235-00012-9 (2-й з-д)

Генералъ

Моква

